

Библиотека Всемирной Литературы



АКУТАГАВА РЮНОСКЭ

Ворота Расёмон. Новеллы



Библиотека Всемирной Литературы



Акутагава Рюноскэ
Ворота Расёмон
Новеллы

Перевод с японского

Серия основана издательством
ЭКСМО в 2002 году

Москва



2007

УДК 82(1-87)
ББК 84(5 Япо)
А 44

Перевод с японского

Предисловие и комментарии *В. Гривнина*

Разработка серийного оформления *А. Бондаренко*

А 44 **Акутагава Р.** Ворота Расёмон: Новеллы / Акутагава Рюноскэ; [пер. с япон.; предисл. и коммент. *В. Гривнина*]. — М.: Эксмо, 2007. — 800 с.: ил. — (Библиотека Всемирной Литературы).

ISBN 978-5-699-20777-0

Еще в юности Акутагава определил для себя главную тему творчества: бесконечная вселенная человеческой души и тайны человеческой психологии. За короткий срок, что был отпущен ему судьбой, он создал около полтора ста новелл, эссе, десятки миниатюр, сценарии, стихотворения. Материалы для многих своих произведений писатель черпал из старинных хроник, средневековых анекдотов и феодального эпоса. Акутагава подчеркивал, что психология человека мало меняется на протяжении веков, и с тонким вкусом, неподдельным юмором и ярким литературным даром создавал свои бессмертные новеллы.

УДК 82(1-87)
ББК 84(5 Япо)

© Предисловие, перевод, комментарии.
В. Гривнин, 2007
© Перевод *Н. Фельдман*. Наследники, 2007
© Перевод *Б. Раскина*. Наследники, 2007
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2007

ISBN 978-5-699-20777-0

Содержание

В. Гривнин
ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК АКУТАГАВА РЮНОСКЭ 9

НОВЕЛЛЫ

ВОРОТА РАСЁМОН
Перевод Н. Фельдман 29

АД ОДИНОЧЕСТВА
Перевод В. Гривнина 36

ОТЕЦ
Перевод В. Гривнина 40

ОБЕЗЬЯНА
Перевод Н. Фельдман 45

НОСОВОЙ ПЛАТОК
Перевод Н. Фельдман 52

MENSURA ZOPI
Перевод Н. Фельдман 61

СЧАСТЬЕ
Перевод Н. Фельдман 67

МОМОТАРО
Перевод В. Гривнина 75

ДВА ПИСЬМА
Перевод В. Гривнина 81

ОИСИ КУРАНОСКЭ
В ОДИН ИЗ СВОИХ ДНЕЙ
Перевод Н. Фельдман 95

БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ
Перевод В. Гривнина 106

РАССКАЗ О ТОМ,
КАК ОТВАЛИЛАСЬ ГОЛОВА
Перевод Н. Фельдман 112

КЭСА И МОРИТО
Перевод Н. Фельдман 121

МУКИ АДА
Перевод Н. Фельдман 129

УБИЙСТВО
В ВЕК «ПРОСВЕЩЕНИЯ»
Перевод Б. Раскина 158

УЧИТЕЛЬ МОРИ
Перевод Н. Фельдман 170

СОБАКИ И СВИРЕЛЬ
Перевод В. Гривнина 184

О СЕБЕ В ТЕ ГОДЫ
Перевод Б. Раскина 194

ПРОСВЕЩЕННЫЙ СУПРУГ
Перевод Б. Раскина 215

МАНДАРИНЫ
Перевод Н. Фельдман 235

СОМНЕНИЕ
Перевод Н. Фельдман 239

ДЖУРИАНО КИТИСКЭ
Перевод Н. Фельдман 253

БАЛ
Перевод В. Гривнина 256

КАК ВЕРИЛ БИСЭЙ
Перевод Н. Фельдман 262

ОСЕНЬ
Перевод Н. Фельдман 264

ГРУСТЬ ТАНЭКО
Перевод В. Гривнина 278

РАССКАЗ ОБ ОДНОЙ МЕСТИ
Перевод Н. Фельдман 283

ЖЕНЩИНА
Перевод В. Гривнина 297

НАНКИНСКИЙ ХРИСТОС
Перевод Н. Фельдман 300

ПОДКИДЫШ
Перевод Н. Фельдман 312

О-РИЦУ И ЕЕ ДЕТИ
Перевод В. Гривнина 318

ВАЛЬДШНЕП
Перевод Н. Фельдман 349

СТРАННАЯ ИСТОРИЯ
Перевод Н. Фельдман 359

МАТЬ
Перевод В. Гривнина 365

СЛАДОСТРАСТИЕ
Перевод В. Гривнина 376

РАЗГОВОР ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ
ЗА ДРУЖЕСКИМ СТОЛОМ
Перевод В. Гривнина 391

В ЧАШЕ
Перевод Н. Фельдман 399

ГЕНЕРАЛ
Перевод Н. Фельдман 409

УСМЕШКА БОГОВ
Перевод Н. Фельдман 424

ВАГОНЕТКА
Перевод Н. Фельдман 434

ПОВЕСТЬ ОБ ОТПЛАТЕ ЗА ДОБРО
Перевод Н. Фельдман 440

САД
Перевод Н. Фельдман 456

БАРЫШНЯ РОКУНОМИЯ
Перевод Н. Фельдман 464

ЧИСТОТА О-ТОМИ
Перевод Н. Фельдман 472

О-ГИН
Перевод Н. Фельдман 482

КУКЛЫ-ХИНА
Перевод Н. Фельдман 488

ИЗ ЗАПИСОК ЯСУКИТИ
Перевод В. Гривнина 500

СНЕЖОК
Перевод Н. Фельдман 512

БОЛЕЗНЬ РЕБЕНКА
Перевод Б. Раскина 521

А-БА-БА-БА-БА
Перевод Н. Фельдман 529

КОМ ЗЕМЛИ	
Перевод Н. Фельдман	537
ТРИ СОКРОВИЩА	
Перевод В. Гривнина	549
ПРЕСТУПЛЕНИЕ САНЭМОНА	
Перевод Н. Фельдман	559
ХОЛОД	
Перевод Н. Фельдман	569
ОБРЫВОК ПИСЬМА	
Перевод Н. Фельдман	575
ЛОШАДИНЫЕ НОГИ	
Перевод Н. Фельдман	580
У МОРЯ	
Перевод В. Гривнина	594
ПОМИНАЛЬНИК	
Перевод Н. Фельдман	602
ОН	
Перевод В. Гривнина	608
ЕЩЕ ОДИН ОН	
Перевод В. Гривнина	615
ГОРНАЯ КЕЛЬЯ ГЭНКАКУ	
Перевод Н. Фельдман	623
ЗУБЧАТЫЕ КОЛЕСА	
Перевод Н. Фельдман	639
СОН	
Перевод В. Гривнина	669
ЖИЗНЬ ИДИОТА	
Перевод Н. Фельдман	677
СЛОВА ПИГМЕЯ	
Перевод В. Гривнина	696
КОММЕНТАРИИ В. Гривнина	759
СЛОВАРЬ ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ТЕКСТЕ ЯПОНСКИХ СЛОВ	794

ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК АКУТАГАВА РЮНОСКЭ

Появление на литературной арене Японии начала XX века такой уникальной фигуры, как Акутагава Рюноскэ, закономерно. Его творчество — блестящее воплощение в жизнь идейных основ пути, избранного выдающимися представителями японской интеллигенции, — прочно оставаясь на национальной почве, взять то лучшее, что можно было почерпнуть в западной науке и культуре в самом широком смысле этого слова.

Акутагава — характерная фигура для своего времени, характерная фигура для периода, который можно назвать периодом подъема японской литературы, и в то же время Акутагава — один из последних писателей, олицетворяющих этот подъем.

На переломе эпох, когда рождение нового общества несет людям духовное раскрепощение, всегда можно наблюдать бурный взлет искусств. Писатели, опьяненные захватывающей перспективой, которую открывает им только что родившееся общество, с восторгом, с упоением отдаются творчеству. Они видят себя создателями нового. Не это ли порождает теорию *искусства для искусства*, когда на искусство смотрят как на нечто способное господствовать в обществе, определять его движение вперед, когда искусство провозглашается верховным жрецом общества, а не одной из его функций, каким оно на самом деле является. Но проходят годы, опьянение кончается, и писатели начинают понимать, что духовное освобождение — фикция, что вновь рожденное общество оказывается не только неспособным разрешить старые противоречия эпохи феодализма, но чре-

вато своими, не менее, а, пожалуй, еще более острыми, начинают понимать, что призрачная свобода после столетий гнета не способна расковать дух. И тогда наступает отрезвление, на общество, которое в прошлом вызывало восторг, обрушивается критика. Но подъем искусств произошел, поворот к старому невозможен, хотя движение вперед и противоречиво, хотя на каждом шагу писатели наталкиваются на препятствия. И на этой волне одно за другим появляются произведения, отрицающие то общество, которое их породило.

Именно такое раскрепощение искусств можно было наблюдать в японской литературе девяностых годов XIX века.

Можно спорить о том, насколько значительной была японская литература тех лет, какие имена прочно вошли в историю японской литературы, можно спорить о самих этих именах, но несомненно одно — японская литература конца XIX — начала XX века была литературой поиска. Она искала новые формы, новое содержание, новые средства познания жизни. Традиционное и новое, временами сливаясь, временами расходясь к противоположным полюсам, рождало литературу, еще неведомую в Японии.

Появилось бесчисленное количество течений и групп, многие из которых опирались лишь на западную традицию, пренебрегая национальной, другие, наоборот, звали возвратиться к старой литературе, видя в ней источник Обновления современной. Именно в это сложное время в литературу пришел Акутагава.

Вспомним, что Акутагава родился в 1892 году, то есть всего через сорок лет после того, как было сломлено многовековое закрытие страны и Япония сделала первые, но уже достаточно активные шаги к установлению тесных отношений с Западом, к превращению из второстепенного, еще очень мало известного на Западе государства в мировую державу, о чем она решительно заявила, одержав победу в Японо-китайской войне 1892—1893 годов.

Молодежь была увлечена Францией, Германией, Россией, Англией, открывая в них массу нового и интересного.

Читая письма Акутагава, относящиеся ко времени его учебы в Токийском университете, поражаешься блестящему знанию им и его товарищами культуры этих стран, и в первую очередь литературы. Бесперывно сталкиваешься с именами Гёте, Гейне, Бодлера, Рембо, Толстого, Достоевского, Гоголя, Шекспира и многих других великих европейских писателей. Но при этом всегда существовала опасность стать эпигонами, раствориться в западной культуре. С наименее талантливыми именно так и происходило. Японцы превращались в некое подобие европейцев, отчего их произведения, как правило, теряли правдивость и естественность, страдали дурной подражательностью.

На прямо противоположных позициях стоял Акутагава. Его с полным основанием можно назвать родоначальником современной японской литературы. Именно его творчество способствовало тому, что японская литература влилась в общий поток мировой. Влияние Акутагава на японских писателей огромно. Признают они это или нет, но вряд ли можно сомневаться, что так, как писали до Акутагава, писать после Акутагава уже было невозможно, что так, как понимался реализм до Акутагава, пониматься после Акутагава он уже не мог. И в первую очередь потому, что он сумел слить в монолитный сплав национальное и мировое, что и определило качественный скачок современной японской литературы. Вот почему правильно понять и оценить творческие позиции Акутагава — значит правильно понять основные направления японской литературы двадцатого века.

Прочно оставаясь на национальной почве, Акутагава смог воспринять достижения мировой культуры, причем не эпигонски, не эклектически, а творчески, глубоко осмыслив их. Не будет преувеличением сказать, что особенно большое влияние оказала на него русская литература. В предисловии к русскому изданию своих новелл, впрочем, так и не увидевшему свет, он писал: «Среди всей современной иностранной литературы нет такой, которая бы оказала на японских писателей и читательские слои большее влияние, чем русская. Даже молодежь, незнакомя с японской класси-

кой, знает произведения Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова. Из одного этого ясно, насколько нам, японцам, близка Россия... Пишет это японец, который считает ваших Наташу и Соню своими сестрами».

Можно ли после этого удивляться, что поэтика Чехова оказалась столь близка Акутагава и образом уходящего дворянства послужил для него, как и для Чехова, сад, что жалкий герой «Бататовой каши» буквально «списан» с гоголевского Акакия Акакиевича.

Творчество Акутагава — сложное, противоречивое, но в то же время чрезвычайно интересное явление в японской литературе двадцатого века. Акутагава разворачивает перед нами мир, где свобода мысли, свобода творческой фантазии, наконец, свобода в самом прекрасном смысле этого слова скована обществом. Именно против него и направляет Акутагава острие своей сатиры.

Акутагава всегда в поиске. Он отбрасывает все, что его не удовлетворяет, и устремляется к новой вершине, часто перечеркивая достигнутое, которое на новом этапе поиска представляется ему неадекватным замыслу. Суждения Акутагава часто неожиданны и парадоксальны. Ироничность его всеобъемлюща. Именно ироничность позволяет ему с максимальной выразительностью вскрыть суть явления, помогает с саркастической улыбкой встретить горечь поражения. Читая Акутагава, ловишь себя на мысли, как широко, как разнообразны интересы писателя, как глубоко волнует его судьба человека, переживающего неисчислимые беды, которые обрушивает на него общество, основанное на лжи и обмане.

Акутагава — писатель-гуманист, которому близки идеалы Руссо. Несвобода «рожденного свободным» человека в современном ему обществе предстала перед ним в еще более неприкрытом виде, чем перед Руссо.

Независимо от того, где находит Акутагава источник сюжета — в древней хронике, средневековой повести или современности, — произведения его всегда актуальны. Именно в этом их жизненность, именно это объясняет огромный

интерес, с которым воспринимаются они сегодняшним читателем.

Акутагава жил в чрезвычайно сложный период японской истории. В период, когда ломались старые и нарождались новые представления, новые идейные течения. Видимо, этим можно объяснить тот факт, что творчество Акутагава далеко не всеми, даже весьма дальновидными и искушенными критиками понималось верно. Ему приписывалось многое, в чем он не был грешен, и одновременно перечеркивались серьезные его достижения.

Об Акутагава в японской критической литературе сложилось немало легенд. Одна, наиболее распространенная: Акутагава — поборник чистого искусства, писатель, стоящий в стороне от жизни и, даже более того, противопоставляющий искусство жизни, ставящий искусство над жизнью. При этом игнорируется весь творческий опыт писателя, его многоисленные высказывания по этому поводу. «Существует вульгарная точка зрения, — писал Акутагава, — что литература не связана с политикой. Это неверно. Скорее можно сказать, что особенность литературы состоит как раз в том, что она существует благодаря возможности быть связанной с политикой». Разумеется, слово «политика» следует понимать шире, как всю социальную сторону жизни. Можно привести и такие слова писателя: «Искусство для искусства, во всяком случае когда речь идет о художественном творчестве, может вызвать лишь зевоту». Это утверждение отнюдь не противоречит тому, что целью Акутагава всегда было создание произведений высокого искусства. Но произведений, связанных с живой жизнью.

Впрочем, однажды родившись, легенда об Акутагава как стороннике искусства для искусства продолжает существовать. Действительно, Акутагава писатель непростой и путь его в литературе неоднолинеен. Однако наметить основное направление его движения можно. Начав с новелл об эгоизме, с критики несовершенства человека, он перешел к критике социальной несправедливости и, наконец, к критике несовершенства общества в целом. В «Словах пигмея», од-

ном из итоговых произведений писателя, есть такие слова: «Уничтожить рабство — значит уничтожить рабское сознание. Но нашему обществу без рабского сознания не просуществовать и дня».

Акутагава интересуется прежде всего нравственная сфера человеческой жизни. Нравственное уродство изображается им чуть ли не как норма в социальном устройстве Японии того времени. И хотя в своих новеллах Акутагава создает определенный социальный тип, внешне, казалось бы, непосредственно не связанный с политической жизнью страны, опосредованно такая связь существует всегда. Человек и власть — главная проблема, волнующая писателя.

Внутренний мир и психология человека как объект познания, а не только как объяснение его поступков — вот то новое, что, следуя за Достоевским, принес в японскую литературу Акутагава, вот та новая грань реализма, которая в прошлом отсутствовала в японской литературе. Причем Акутагава показал внутренний мир человека не сам по себе, а в столкновении с окружающим миром. Реализм Акутагава формировала японская действительность. Другими словами, его реализм породила сама жизнь. Реализм Акутагава, как реализм японской литературы двадцатого века в целом, утверждался, преодолевая натурализм, с одной стороны, и такие течения, как эстетизм, неосенсуализм, — с другой.

Реализм как метод отображения действительности и реализм как правдивость изображения, следование жизни в смысле скрупулезно точного описания событий, людей, ситуаций, что лежало в основе натурализма, — Акутагава всегда проводит четкую грань между тем и другим. Слепое следование за фактом его не устраивало. Правда жизни, взятая в своих типических проявлениях, умышленный отход от узко понимаемой реалистичности во имя глубокого проникновения в реальность. Так понимал творческий метод реализма Акутагава.

Здесь уместно вспомнить слова Гегеля: «Познание, желающее брать вещи как они есть, впадает при этом в противоречие с самим собой». Именно стремление «брать вещи

как они есть» определило узость натурализма и одновременно определило главную его идею, которая оказалась неприемлемой для писателей, вскрывающих глубинные пласты жизни, человеческих отношений, человеческой психологии.

Зарождение натурализма в Японии относится к концу XX века, когда японские литераторы познакомились с программными документами французских натуралистов, в первую очередь Золя. Начинать они вполне ортодоксально, усвоив самые общие теоретические положения французских натуралистов. Но впоследствии японский натурализм так трансформировался, что превратился в метод, ничего общего с натурализмом не имеющий.

Основная их установка состояла в том, что писатель, если он хочет предельно точно, без прикрас рассказать о том или ином факте, обязан сам пережить его, то есть рассказать о самом себе, о пережитом. Другими словами, создать произведение в жанре повести о себе. Это был уже прямой отход от программы французских натуралистов, которые, хотя и видели мир, как говорил Анатоль Франс, «сквозь мушиный фасеточный глаз», все же смогли создать социальный роман, со всеми недостатками и издержками, но социальный роман, рисующий жизнь общества, его пороки. И этот социальный роман превратился в Японии в камерную повесть о себе, эго-беллетристику.

Повесть о себе — явление широко распространенное в японской литературе. Спорят о нем в Японии давно, с момента зарождения и по сей день. Представляется целесообразным остановиться на нем подробнее, поскольку иногда приходится слышать, что отдал ему дань и Акутагава, который в середине двадцатых годов создал ряд новелл, в которых главным героем был Хорикава Ясукити, то есть сам Акутагава.

В двадцатые годы, когда повесть о себе была объявлена главным, наиболее плодотворным жанром японской литературы, вокруг нее разгорелась острая дискуссия. Принял в

ней участие и Акутагава, творческие принципы которого шли вразрез с жанром повести о себе.

Японские исследователи обычно причисляют к первым произведениям этого жанра, хотя в момент появления они назывались еще повестями прототипа, «Дневник безвестного писателя» Кикиути Кана, опубликованный в 1918 году, и «Хороших друзей и плохих друзей» Кумэ Масао, появившиеся в 1919 году. Однако правильное, видимо, вести отсчет с «Постели» Таяма Катая, хотя в 1907 году, когда повесть увидела свет, еще и речи не было о жанре повести о себе или даже повести прототипа. Да и сам Таяма Катай, решив создать произведение, опирающееся целиком на его собственный опыт, исходил из совершенно иных посылок, чем Кикиути и Кумэ, явившиеся истинными создателями нового жанра в японской литературе.

Повесть о себе как жанр получила мощный импульс в период расцвета в Японии натурализма, когда писатели-натуралисты избрали его как средство «рассказать всю правду». Единственным объектом изображения они видели только себя, поскольку никого не знали так хорошо и исчерпывающе, как себя, и, следовательно, искать объект изображения вне себя значило для них допустить в свое произведение вымысел, а значит, неправду. Но при этом нужно иметь в виду, что писателей-натуралистов в первую очередь интересовала внешняя цепь событий, меньше — внутренние переживания героев и совсем не интересовала психология героев, вскрытие побуждений, причинно-следственных отношений в цепи событий. Они рассматривали повесть о себе не как жанр, а как творческий принцип — изображать только то, что пережил сам. Правда, впоследствии понимание сущности повести о себе трансформировалось, ее стали отождествлять с психологической повестью. Но это произошло значительно позже, когда жанр повести о себе оформился как самостоятельный.

Акутагава писал: «Мне бы хотелось разобраться в утверждениях Кумэ Масао и недавно поддержавшего его Уно Кодзи, который высказал мысль, что «генеральный путь про-

зы — повесть о себе». Но раньше чем разобраться в этом, нужно выяснить, что представляет собой повесть о себе. Согласно ее зачинателю Кумэ Масао повесть о себе не есть западный Ich-Roman. Кумэ-кун утверждает, что к повести о себе следует относить произведение, в котором описана жизнь автора, даже если повествование ведется не от первого лица, но не является обыкновенным автобиографическим произведением. Но разве по существу есть разница между автобиографией или исповедью, с одной стороны, и автобиографическим или исповедальным романом — с другой? А по Кумэ-куну получается, что «Исповедь» Руссо, например, обычная автобиография, а «Исповедь глупца» Стриндберга автобиографический роман. Но сравнение этих двух произведений неопровержимо доказывает, что «Исповедь» послужила образцом для «Исповеди глупца», и найти между ними жанровое различие решительно невозможно. Следовательно, повесть о себе отличается совсем не то, что она не представляет собой автобиографию».

Акутагава не считал, что повесть о себе как исповедальная проза вообще не имеет права на существование. Он возражал лишь против того, чтобы превращать этот жанр в генеральную линию развития японской литературы. И прежде всего потому, что в таком произведении автор выносит на суд читателя не только свои мысли, переживания, умонастроения, свое отношение к действительности, что естественно и необходимо, но и свой внутренний мир, всю свою жизнь, что совсем не обязательно должно становиться достоянием читателя, поскольку в целом ряде случаев не представляет для него никакого интереса. Чтобы повесть о себе превратилась в явление, писатель, работающий в этом жанре, должен представлять собой неординарную личность и в интеллектуальном, и в духовном, и в социальном плане. Только в этом случае повесть о себе может представлять общественный интерес, только в этом случае она действительно имеет право на существование. Но тогда, кстати, она перестанет быть ею в том виде, в каком она представлялась ее зачинателям.

Строго говоря, любое произведение в той или иной степени есть повесть о себе, поскольку представляет собой пропущенное через свое сознание, свой опыт, свое мироощущение отображение действительности. Вряд ли нужно доказывать, что без присутствия личности автора художественное произведение вообще немислимо. Видимо, вопрос лишь в мере, характере такого присутствия, в широте обобщений, наконец, в понимании типического, позволяющего выйти за рамки эго. Если автор не может или не хочет отвлечься от себя, взглянуть на явление объективно и превращает свой микрокосм в космос, свои частные, нетипические ощущения возводит в ранг универсальных, если не он есть частица окружающего мира, а весь окружающий мир сконцентрирован в нем, перед нами повесть о себе в своем классическом и потому крайнем выражении.

Я как таковой, как единственный объект познания и отображения или я как инструмент для познания и отображения действительности, в которой присутствует сам автор, — вот где проходит водораздел между повестью о себе и произведением, в котором герой — сам автор. Именно так рассматривал эту проблему Акутагава.

В своих многочисленных эссе и статьях Акутагава решительно выступал с критикой натурализма, повести о себе. Неприемлемыми оказались для него и многочисленные группы, подменявшие глубокое проникновение в жизнь формалистическими изысками, когда форма и содержание переставали быть единым сплавом, когда форма превалировала над содержанием. В первую очередь это относилось к эстетам и неосенсуалистам. Мог ли Акутагава согласиться с эстетам, провозгласившими создание художественных произведений для избранных, наделенных «абсолютным слухом»? Критически оценивая творческие принципы неосенсуалистов, Акутагава писал: «Что представляет собой их так называемая сенсуальность? Ёкомицу Риити, чтобы объяснить мне, что представляет собой провозглашенная ими сенсуальность, привел фразу из произведения Фудзисава Та-

кэо: «Лошадь бежала как рыжая мысль»... Эта строка родилась, несомненно, путем рационалистических ассоциаций. Таким образом, неосенсуалисты и свою так называемую сенсуальность не могут не освещать светом рационализма». Здесь Акутагава явно обозначает себя противником эмоционально-возвышенного метода отображения действительности. Выразительность ради выразительности, выразительность, за которой пустота, выразительность, возникающая якобы спонтанно, без взвешивания и измерения, непосредственное соприкосновение чувств писателя и чувств читателя, не замутненная рационалистическими выкладками, — такова была исходная позиция неосенсуалистов, раскритикованная Акутагава, для которого их построения были пустыми, ничем не подкрепленными декларациями, поскольку для него социальное назначение литературы было первостепенным. В основе его творчества лежало стремление во всей полноте и сложности вскрыть взаимоотношения человека и враждебного ему общества. Однако пришел к этому Акутагава не сразу, не с первых шагов своей творческой деятельности.

Акутагава стоял на совершенно иных творческих позициях. Исходный пункт Акутагава в литературе был тот же, что и исходный пункт выдающегося японского писателя Нацумэ Сосэки, настолько популярного, что годы его творчества назывались Годами Нацумэ. Темой большинства произведений Акутагава, во всяком случае ранних, как у Нацумэ, был людской эгоизм, полное отсутствие гуманистических идеалов. В романе Нацумэ «Сердце» есть такие слова: «На свете не существует заранее созданных по шаблону злодеев. Обычно все хорошие, во всяком случае — обыкновенные люди. Но в критический момент они вдруг превращаются в злодеев, это страшно».

Именно такой эгоизм мы находим в произведениях Нацумэ и вслед за ним — в произведениях Акутагава. Эгоизм не был у них проблемой только этической, проблемой, касающейся личности как таковой. Они показали эгоизм как острую социальную проблему, характерную для современного

им общества, показали как «государственный эгоизм» Японии, опоздавшей с выходом на мировую арену и теперь растаптывающей нормы морали, нравственности, чтобы вырваться вперед, грабящей соседей и видящей в этом «высшую справедливость». Вот почему романы Нацумэ и новеллы Акутагава воспринимались не просто как нравоучительные, порицающие зло, провозглашающие добро, а как исследования законов общества, разоблачающие его пороки. Акутагава-реалист формировался под непосредственным влиянием Нацумэ. И все его дальнейшие творческие поиски были освещены этим влиянием.

Стремление найти творческий метод, который бы позволил с максимальной полнотой и художественной выразительностью проникнуть в суть явлений и вызвать отклик читателей, заставило Акутагава и его университетских товарищей Кикичи Кана и Кумэ Масао, учившихся вместе с ним на филологическом факультете Токийского университета, объединиться в Группу нового мастерства и сформулировать свой метод, названный ими неореализмом, который был решительно противопоставлен натурализму.

Объясняя, почему они назвали свою группу Группой нового мастерства, Акутагава говорил, что они видят свою задачу в том, чтобы поднять мастерство на новый уровень, сделать мастерство своим знаменем. «Люди, отвергающие мастерство, — писал он, — либо ничего не понимают в искусстве, либо употребляют слово «мастерство» в дурном смысле». Создание высокохудожественного произведения, в котором содержание и форма представляют собой нечто целое, нерасторжимое, для чего и необходимо декларированное Группой мастерство, — такова была ее генеральная идея.

Определить метод неореализма, как понимал его Акутагава, можно, видимо, так: реалистическое воплощение действительности, для глубокого проникновения в суть которой берется яркий впечатляющий факт, трагический или комический, что позволяет с максимальной выразительностью раскрыть тему, широкое использование гротеска, при-

чудливое переплетение реального и вымышленного. С другой стороны — выявление глубины в обыденном. Вот те два потока, которые сформировал неореализм Группы нового мастерства.

Свои творческие замыслы Группа реализовала в издававшемся ею журнале «Синситё». В нем были напечатаны первые новеллы Акутагава, о нем заговорили как об интересном художнике, появившемся на литературном горизонте Японии. Все это происходило в годы учебы в университете. Окончив его в 1916 году, Акутагава в течение трех лет преподавал английский язык в военно-морской школе механиков, совмещая преподавание с творческой деятельностью, об активности которой говорит такой, например, факт, что только в 1917 году он написал семнадцать новелл, большое число миниатюр, хайку, критических статей. В 1919 году он оставляет службу и целиком посвящает себя писательскому труду.

В творчестве Акутагава можно выделить три основных периода. Ранний, заканчивающийся 1919 годом, можно назвать периодом поиска темы. Именно тогда были созданы «Ворота Расёмон» и «Нос». Кстати, Нацумэ Сосэки, прочитав «Нос», написал письмо Акутагава, в котором говорил, что, даже если он ничего больше не напишет, место в японской литературе ему обеспечено.

Если рассматривать новеллы этого периода с точки зрения сюжетов, мы увидим среди них построенные на материале, заимствованном в средневековых повестях, чаще всего в «Кондзяку моногатари («Ворота Расёмон», «Нос»), в повестях из истории христиан в Японии («Смерть христианина», «Табак и дьявол»), на материале современной японской жизни («Маска хёттоко», «Отец», «Учитель Мори»).

Если рассматривать их с точки зрения проблематики, мы увидим среди них новеллы о сложных, противоречивых, немирных отношениях человека и общества, о людском эгоизме, о скудости и суетности человеческих устремлений («Бататовая каша»), новеллы, развенчивающие японскую армию

(«Обезьяна»), сатирически рисующие современную Японию, в том числе и литературный мир («Mensura Zoili»), характерные ироническим неприятием слепой веры, будь то буддийской или христианской («Счастье»), неприятием узконационалистического понимания морали бусидо, в которой некоторые представители интеллигенции того времени видели чуть ли не панацею от всех бед, обрушившихся на Японию, предавшую свою страну и склонившую голову перед «растленным Западом» («Носовой платок», «Оиси Кураноскэ в один из своих дней»).

Большинство из названных тем были в дальнейшем развиты Акутагава. Они были углублены, получили значительно большую социальную остроту, даже новое содержание. Сатира на японскую военщину, например, в «Генерале» по своей язвительности, беспощадности не идет ни в какое сравнение с тем, что мы находим в «Обезьяне». Но отрицать, что антивоенная тема уже прозвучала, что она послужила запалом для будущих антимилитаристских новелл Акутагава, нельзя.

Именно в этот период начала складываться, пока еще в самых общих, самых приблизительных чертах, сюжетно-тематическая палитра Акутагава, что и позволяет рассматривать этот период как единый в творчестве писателя, который может быть назван ранним периодом, периодом поиска темы.

Следующий период — 1920—1923 годы — можно назвать периодом критики нравов, когда были созданы новеллы, вскрывающие человеческие пороки, в первую очередь эгоизм, рисующие несовершенство человека, его моральную ущербность. Они охватывают самые разные стороны жизни человека, в первую очередь духовной — проблемы морали и религии, в том числе буддизма, христианства, проблемы взаимосвязи искусства и жизни, социальной несправедливости. Много из этого можно найти и в ранних новеллах писателя, но главным отличием этого периода был решительный поворот к современной тематике.

В дальнейшем, когда Акутагава полностью перешел к те-

мам современности, начинают меняться его герои, он все глубже проникает в их внутренний мир, в окружающую их социальную действительность. Все чаще частный случай перерастает в типический, личная драма — в драму века. Особенно отчетливо это обнаружится в следующий период его творчества. Но уже и сейчас черты того, что в последующем станет органической сущностью творчества Акутагава, можно обнаружить во многих его новеллах этого периода («Вагонетка», «Из записок Ясукити», «Ком земли», «Любовный роман»).

Такой поворот к современной проблематике был вполне закономерен. Но здесь необходимо сделать оговорку. Японские исследователи утверждают, что обращение Акутагава в ранний период творчества к сюжетам старинных повестей, в частности к «Кондзяку моногатари», объясняется его стремлением отвернуться от действительности и окунуться в полный радости древний мир. Эта точка зрения неосновательна. Сам Акутагава, говоря о принципе использования старинных сюжетов, подчеркивал, что им руководило не стремление «воссоздать древность». Знаменательно его замечание: «Душа человека в древности и душа современного человека имеют много общего». В этом все дело. Акутагава искал в древности аналогии поступков, мыслей, психологии современных ему людей. «Я беру тему и решаю воплотить ее в рассказе, — писал он. — Чтобы сделать эту тему максимальной выразительной художественно, мне необходимо какое-то необычное событие. Но мне не удастся рассказать об этом необычном событии — именно потому, что оно необычное, — так, словно оно произошло в сегодняшней Японии. Если я все же пишу наперекор всему, не считаясь с тем, что мне это не удастся, я, как правило, вызываю у читателя ощущение неестественности. Единственное средство избежать такое затруднение — перенести событие в прошлое, рассказать о нем как о происшедшем давным-давно... Таким образом, хотя пишу я о старине, к старине как таковой у меня пристрастия нет».

Именно слова самого Акутагава, не говоря о его творче-

ском опыте, позволяют говорить о том, что его произведения, независимо от используемого материала, всегда были обращены к современности. Это несомненно. Но все же создание новелл, построенных на материале, восходящем к Средневековью, использование сказочных сюжетов неизбежно вело к некоторому сужению современного их звучания, к некоторой монотонности. Акутагава соотносил с современностью лишь общечеловеческие проблемы, свойственные всем эпохам. Когда он писал об эгоизме средневекового правителя, он подразумевал и эгоизм правителей современных; когда он рассказывал о средневековом художнике, противопоставившем искусство жизни, он имел в виду и художника современного, исповедовавшего идею чистого искусства; когда он писал о маленьком человеке, жившем много веков назад, он думал и о современном ему мелком чиновнике. Все это так. Но рассказать о современной эпохе во всей ее полноте и многообразии, о сложных проблемах, волнующих современников, можно было, только обратившись к своей эпохе. Ассоциативного отражения и восприятия действительности было уже недостаточно, имея в виду те огромные перемены, которые произошли в японском обществе в двадцатые годы.

Непосредственно обратиться к современности Акутагава заставил огромный его интерес к социальным проблемам, его волновали происходившие в стране острые социальные противоречия. Он еще верил в возможность переустройства Японии по образцу России. Русская революция еще не дискредитировала себя в глазах японской, как, впрочем, и западной, интеллигенции.

Последний период в творчестве Акутагава, охватывающий 1924–1927 годы, знаменуется разработкой больших тем современности. Все его новеллы еще ярче окрашиваются в социальные тона. Пороки общества критикуются им еще более четко и определенно. Он демонстрирует резкое неприятие милитаризма. Мы находим это не только в его новеллах, но и в эссе, литературно-критических статьях, письмах. Можно назвать хотя бы его знаменитые эссе «Слова пиг-

мея» и «Заметки Тёкодо», охватывающие широчайший круг проблем, как социальных, так и культурных и литературных. Облик писателя предстает в них удивительно масштабно, разносторонне.

Где следует искать причину такого решительного перехода к острым социальным проблемам? Прежде всего в самой японской действительности. В двадцатые годы именно эти проблемы в Японии приобрели такую остроту, что честный художник уже не мог ограничиться сферой морально-этической. Он должен был прямо и открыто столкнуться человека с враждебным ему обществом, показать всю глубину и безысходность человека в этом обществе.

Но было бы неверно утверждать, что Акутагава в этот период ограничивался лишь социальными проблемами, взятыми в общем, отказавшись от своей генеральной темы духовного мира человека. Она оказалась сквозной для всего творчества Акутагава. Присутствует она и в самых острых социальных его новеллах. Но дело в том, что если раньше психология человека, внутренний мир человека нередко представляли в его новеллах как нечто изолированное, как нечто вневременное, внесоциальное, присущее человеческой природе вообще, независимо от конкретных условий жизни и общества, то в новеллах, относящихся к последнему периоду его творчества, ткань их пронизывает жизнь общества.

Особенно показательна в этом отношении новелла «В стране водяных», представляющая собой беспощадный памфлет на современное Акутагава японское общество. Это итоговое произведение писателя, написанное в год его смерти, продемонстрировало результат идейных и творческих исканий Акутагава. Путь к «В стране водяных» не был прост и прям. Были и блуждания, были и ошибки, но при этом общее направление от вскрытия пороков человека к вскрытию пороков общества в целом — Акутагава выдерживал неизменно и последовательно.

Акутагава писал: «Пусть драгоценность разобьется, черепица уцелеет. Шекспир, Гёте, Тикамацу Мондзаэмон неиз-

бежно погибнут. Но породившее их лоно — великий народ — никогда не погибнет. Всякое искусство, как бы ни менялись его формы, родится из недр народа». Таково было кредо этого выдающегося писателя.

Неприятие социального зла, стремление побороть это зло и сознание бессилия осуществить свое стремление — вот тот трагический треугольник, из которого Акутагава оказался неспособным вырваться.

В 1927 году все более усиливающаяся депрессия, неудовлетворенность собой, страх окончить свои дни, как и мать, в психиатрической больнице сделали жизнь Акутагава невыносимой, и он принял смертельную дозу снотворного. Так завершил он свой жизненный путь.

В. ГРИВНИН

НОВЕЛЛЫ

ВОРОТА РАСЁМОН

Это случилось однажды под вечер. Некий слуга пережидал дождь под воротами Расёмон.

Под широкими воротами, кроме него, не было никого. Только на толстом круглом столбе, с которого кое-где облупился красный лак, сидел сверчок. Поскольку ворота Расёмон стоят на людной улице Судзаку, здесь могли бы пережидать дождь несколько женщин и молодых людей в ити-мэгаса и момизбоси. Тем не менее, кроме слуги, не было никого.

Объяснялось это тем, что в течение последних двух-трех лет на Киото одно за другим обрушивались бедствия — то землетрясение, то ураган, то пожар, то голод. Вот столица и запустела необычайно. Как рассказывают старинные летописи, дошло до того, что стали ломать статуи будд и священную утварь и, свалив в кучу на краю дороги лакированное, покрытое позолотой дерево, продавали его на дрова. Так обстояли дела в столице; поэтому о поддержании ворот Расёмон, разумеется, никто больше не заботился. И пользуясь их заброшенностью, здесь жили лисицы и барсуки. Жили воры. Наконец, повелось даже приносить и бросать сюда неприбранные трупы. И когда солнце скрывалось, здесь делалось как-то жутко и никто не осмеливался подходить к воротам близко.

Зато откуда-то собиралось несчетное множество ворон. Днем они с карканьем описывали круги над высоко загнутыми концами конька кровли. Под вечер, когда небо над воротами адело зарей, птицы выделялись на нем четко, точно рассыпанные зерна кунжута. Вороны, разумеется, прилетали клевать трупы в верхнем ярусе ворот. Впрочем, на этот

раз, должно быть из-за позднего часа, ни одной не было видно. Только на полуобрушенных каменных ступенях, в трещинах которых проросла высокая трава, кое-где белел высохший коровий помет. Слуга в застиранной синей одежде, усевшись на самой верхней, седьмой, ступеньке, то и дело потрагивал рукой чирей, выскочивший на правой щеке, и рассеянно смотрел на дождь.

Автор написал выше: «Слуга переждал дождь». Но если бы даже дождь и перестал, слуге, собственно, некуда было идти. Будь то обычное время, он, разумеется, должен был бы вернуться к хозяину. Однако этот хозяин несколько дней назад уволил его. Как уже говорилось, в то время Киото запустел необычайно. И то, что слугу уволил хозяин, у которого он прослужил много лет, было просто частным проявлением общего запустения. Поэтому, может быть, более уместно было бы сказать не «слуга переждал дождь», а «слуга, загнанный дождем под крышу ворот, сидел как потерянный, не зная куда деться». К тому же и погода немало способствовала подавленности этого хэйанского слуги. Не видно было и признака, чтобы дождь, ливший с конца часа Обезьяны, наконец перестал. И вот слуга, снова и снова перебирая бессвязные мысли о том, как бы ему, махнув на все рукой, прожить хоть завтрашний день, — другими словами, как-нибудь уладить то, что никак не ладилось, — не слушая, слышал шум дождя, падавшего на улицу Судзаку.

Дождь, окутывая ворота, надвигался издалека с протяжным шуршаньем. Сумерки опускали небо все ниже, и, если взглянуть вверх, казалось, что кровля ворот своим черепичным краем подпирает тяжелые темные тучи.

Для того чтобы как-нибудь уладить то, что никак не ладилось, разбираться в средствах не приходилось. Если разбираться, то оставалось, в сущности, одно — умереть от голода под забором или на улице. И потом труп принесут сюда, на верхний ярус ворот, и бросят, как собаку. Если же не разбираться... мысли слуги уже много раз, пройдя по этому пути, упирались в одно и то же. Но это «если» в конце концов по-прежнему так и оставалось «если». Признавая возможным не разбираться в средствах, слуга не имел мужества на деле

признать то, что естественно вытекало из этого «если»: хочешь не хочешь, остается одно — стать вором.

Слуга громко чихнул и устало поднялся. В Киото в час вечерней прохлады было так холодно, что мечталось о печке. Ветер вместе с темнотой свободно гулял между столбами ворот. Сверчок, сидевший на красном лакированном столбе, уже куда-то скрылся.

Втянув шею и приподняв плечи в синем кимоно, надетом поверх желтой нательной безрукавки, слуга оглянулся кругом: он подумал, что если бы здесь нашлось место, где можно было бы спокойно выспаться, укрывшись от дождя и не боясь человеческих глаз, то стоило бы остаться здесь на ночь. Тут, к счастью, он заметил широкую лестницу, тоже покрытую красным лаком, ведущую в башню над воротами. Наверху если и были люди, то только мертвецы. Придерживая висевший на боку меч, чтобы он не выскользнул из ножен, слуга поставил ногу в соломенной дзори на нижнюю ступеньку.

Прошло несколько минут. На середине широкой лестницы, ведущей наверх, в башню ворот Расёмон, какой-то человек, съежившись, как кошка, и затаив дыхание, заглядывал в верхний этаж. Свет, падавший из башни, слабо освещал его правую щеку. Ту самую, на которой среди короткой щетины адел гнойный прыщ. Слуга сначала пребывал в полнейшей уверенности, что наверху одни мертвецы. Однако, поднявшись на две-три ступени, он обнаружил, что наверху есть кто-то с зажженным светом, к тому же свет двигался то в одну сторону, то в другую. Это сразу бросалось в глаза, так как тусклый желтый свет, колеблясь, скользил по потолку, затканному по углам паутиной. Если в такой дождливый вечер в башне ворот Расёмон горел огонь, это было неспроста.

Неслышно, как ящерица, слуга наконец почти ползком добрался до верхней ступени. И затем, насколько возможно прижавшись всем телом к лестнице, насколько возможно вытянув шею, боязливо заглянул внутрь башни.

В башне, как о том ходили слухи, в беспорядке валялось множество трупов, но так как свет позволял видеть меньшее пространство, чем можно было предполагать, то, сколько их тут, слуга не разобрал. Единственное, что хоть и смутно,

но удавалось разглядеть, это — что были среди них трупы голые и трупы одетые. Разумеется, трупы женщин и мужчин вперемешку. Все они валялись на полу как попало, с раскрытыми ртами, с раскинутыми руками, словно глиняные куклы, так что можно было даже усомниться, были ли они когда-нибудь живыми людьми. Освещенные тусклым светом, падавшим на выступающие части тела — плечи или груди, отчего тени во впадинах казались еще черней, они молчали, как немые, вечным молчанием.

От трупного запаха слуга невольно заткнул нос. Но в следующее мгновение он забыл о том, что нужно затыкать нос: сильное впечатление почти совершенно лишило его обоняния.

Только в тот миг глаза его различили фигуру, сидевшую на корточках среди трупов. Это была низенькая, тощая, седая старуха, похожая на обезьяну, в кимоно цвета коры дерева хиноки. Держа в правой руке зажженную сосновую лучину, она пристально гляделась в лицо одного из трупов. Судя по длинным волосам, это был труп женщины.

Слуга от страха и любопытства позабыл, казалось, даже дышать. Употребляя старинное выражение летописца, он чувствовал, что у него «кожа на голове пухнет». Между тем старуха, воткнув сосновую лучину в щель между досками пола, протянула обе руки к голове трупа, на которую она до сих пор смотрела, и, совсем как обезьяна, ищущая вшей у детенышей, принялась волосок за волоском выдергивать длинные волосы. Они, по-видимому, легко поддавались ее усилиям.

По мере того как она вырывала один волос за другим, страх в сердце слуги понемногу проходил. И в то же время в нем понемногу поднималась сильнейшая ненависть к старухе. Нет, сказать «к старухе» было бы, пожалуй, не совсем правильно. Скорее в нем с каждой минутой усиливалось отвращение ко всякому злу вообще. Если бы в это время кто-нибудь еще раз предложил ему вопрос, о котором он думал внизу на ступенях ворот, — умереть голодной смертью или сделаться вором, — он, вероятно, без всякого колебания выбрал бы голодную смерть. Ненависть к злу разгорелась в нем так же сильно, как воткнутая в пол сосновая лучина.

Слуга, разумеется, не понимал, почему старуха выдергивает волосы у трупа. Следовательно, рассуждая логично, он не мог знать, добро это или зло. Но для слуги недопустимым злом было уже одно то, что в дождливую ночь в башне ворот Расёмон выдирают волосы у трупа. Разумеется, он совершенно забыл о том, что еще недавно сам подумывал сделаться вором.

И вот, напружинив ноги, слуга одним скачком бросился с лестницы внутрь. И, взявшись за рукоятку меча, большими шагами подошел к старухе. Что старуха испугалась, нечего и говорить.

Как только ее взгляд упал на слугу, старуха вскочила, точно ею выстрелили из пращи.

— Стой! Куда? — рявкнул слуга, заступая ей дорогу, когда старуха, спотыкаясь о трупы, растерянно кинулась было бежать. Все же она попыталась оттолкнуть его. Слуга, не пуская, толкнул ее обратно. Некоторое время они в полном молчании боролись среди трупов, сцепившись друг в друга. Но кто одолеет, было ясно с самого начала. В конце концов слуга скрутил старухе руки и повалил ее на пол. Руки ее были кости да кожа, точь-в-точь куриные лапки.

— Что ты делала? Говори. Если не скажешь, пожалеешь!

И, оттолкнув старуху, слуга выхватил меч и поднес блестящий клинок к ее глазам. Но старуха молчала. С трясущимися руками, задыхаясь, раскрыв глаза так, что они чуть не вылезали из орбит, она упорно, как немая, молчала. Только тогда слуга отчетливо осознал, что жизнь этой старухи всецело в его власти. Это сознание как-то незаметно охладило пылавшую в нем злобу. Остались только обычные после успешного завершения любого дела чувства покоя и удовлетворения. Глядя на старуху сверху вниз, он уже мягче сказал:

— Я не служу в городской страже. Я путник и только что проходил под воротами. Поэтому я не собираюсь тебя вязать. Скажи мне только, что ты делала сейчас здесь, в башне!

Старуха еще шире раскрыла и без того широко раскрытые глаза с покрасневшими веками и уставилась в лицо слуги. Уставилась острым взглядом хищной птицы. Потом, как будто жуя что-то, зашевелила сморщенными губами, из-за

морщин почти слившимися с носом. Было видно, как на ее тонкой шее двигается острый кадык. И из ее горла до ушей слуги донесся прерывистый, глухой голос, похожий на карканье вороны:

— Рвала волосы... рвала волосы... это на парики.

Слуга был разочарован тем, что ответ старухи, вопреки ожиданиям, оказался самым обыденным. И вместе с разочарованием в его сердце вернулась прежняя злоба, смешанная с легким презрением. Старуха, по-видимому, заметила это. Все еще держа в руке длинные волосы, выдернутые из головы трупа, она заквакала:

— Оно правда, рвать волосы у мертвецов, может, дело худое. Да ведь эти мертвецы, что тут лежат, все того стоят. Вот хоть та женщина, у которой я сейчас вырывала волосы: она резала змей на полоски в четыре сун и сушила, а потом продавала дворцовой страже, выдавая их за сушеную рыбу... Тем и жила. Не помри она от чумы, и теперь бы тем самым зажила. А говорили, что сушеная рыба, которой она торгует, вкусная, и стражники всегда покупали ее себе на закуску. Только я не думаю, что она делала худо. Без этого она умерла бы с голоду, значит, делала поневоле. Вот потому я не думаю, что и я делаю худо, нет! Ведь и я тоже без этого помру с голоду, значит, и я делаю поневоле. И эта женщина — она ведь хорошо знала, что значит делать поневоле, — она бы, наверно, меня не осудила.

Вот что рассказала старуха.

Слуга холодно слушал ее рассказ, вложив меч в ножны и придерживая левой рукой рукоятку. Разумеется, правой рукой он при этом потрагивал алевший на щеке чирей. Однако, пока он слушал, в душе у него рождалось мужество. То самое мужество, которого ему не хватало раньше внизу, на ступенях ворот. И направлено оно было в сторону, прямо противоположную тому воодушевлению, с которым недавно, поднявшись в башню, он схватил старуху. Он больше не колебался, умереть ли ему с голоду или сделаться вором; мало того, в эту минуту, в сущности, он был так далек от мысли о голодной смерти, что она просто не могла прийти ему в голову.

— Вот, значит, как? — насмешливо сказал он, когда рас-

сказ старухи пришел к концу. Потом шагнул вперед и вдруг, отняв руку от чирея, схватил старуху за ворот и зарычал: — Ну, так не пеняй, если я тебя оберу! И мне тоже иначе придется умереть с голоду.

Слуга сорвал с нее кимоно. Затем грубо пихнул ногой старуху, цепляющуюся за подол его платья, прямо на трупы. До лестницы было шагов пять. Сунув под мышку сорванное со старухи кимоно цвета коры дерева хиноки, слуга в мгновение ока сбежал по крутой лестнице в ночную тьму.

Старуха, сначала лежавшая неподвижно, как мертвая, поднялась с трупов, голая, вскоре после его ухода. Не то ворча, не то плача, она при свете еще горевшей лучины доползла до выхода. Нагнувшись так, что короткие седые волосы спутанными космами свесились ей на лоб, она посмотрела вниз. Вокруг ворот — только черная глубокая ночь.

Слуга с тех пор исчез бесследно.

Апрель 1915 г.

Этот рассказ я слышал от матери. Мать говорила, что слышала его от своего прадеда. Насколько рассказ достоверен, не знаю. Но, судя по тому, каким человеком был прадед, я вполне допускаю, что подобное событие могло иметь место.

Прадед был страстным поклонником искусства и литературы и имел обширные знакомства среди актеров и писателей последнего десятилетия правления Токугавы. Среди них были такие люди, как Каватакэ Мокуами, Рюка Тэйтанэ-кадзу, Дзэндзай Анэйки, Тозэй, Дандзюро-девятый, Удзи Сибун, Мияко Сэнтю, Кэнкон Борюсай и многие другие. Мокуами, например, с прадеда писал Кинокуню Бундзаэмона в своей пьесе «Эдодзакура киёмидзу сэйган». Он умер лет пятьдесят назад, но потому, что еще при жизни ему дали прозвище Имакибун («Сегодняшний Кинокуня Бундзаэмон»), возможно, и сейчас есть люди, которые знают о нем хотя бы понаслышке. Фамилия прадеда была Сайки, имя — Годзиро, литературный псевдоним, которым он подписывал свои трехстишия, — Кои, родовое имя — Ямасирогашино Цуто.

И вот этот самый Цуто однажды в публичном доме Таманоя в Ёсиваре познакомился с одним монахом. Монах был настоятелем дзэнского храма неподалеку от Хонго и звали его Дзэнтё. Он тоже постоянно посещал этот публичный дом и близко сошелся с самой известной там куртизанкой по имени Нисикидзё. Происходило это в то время, когда монахам было запрещено не только жениться, но и предаваться плотским наслаждениям, поэтому он одевался так, чтобы нельзя было в нем признать монаха. Он носил дорогое шелковое кимоно, желтое в бежевую полоску, с нашитыми на

нем черными гербами, и все называли его доктором. С ним то совершенно случайно и познакомился прадед матери.

Действительно, это произошло случайно: однажды поздно вечером в июле по лунному календарю, когда, согласно старинному обычаю, на всех чайных домиках Ёсивары вывешивают фонари, Цуто шел по галерее второго этажа, возвращаясь из уборной, как вдруг увидел облокотившегося о перила, любующегося луной мужчину. Бритоголового, низкорослого, худого мужчину. При лунном свете Цуто показалось, что стоящий к нему спиной мужчина — Тикунай, завсегдатай этого дома, шутник, вырядившийся врачом. Проходя мимо, Цуто слегка потрепал его за ухо. «Посмеюсь над ним, когда он в испуге обернется», — подумал Цуто.

Но, увидев лицо обернувшегося к нему человека, сам испугался. За исключением бритой головы, он ничуть не был похож на Тикунаю. Большой лоб, густые, почти сросшиеся брови. Лицо очень худое, и, видимо, поэтому глаза кажутся огромными. Даже в полутьме резко выделяется на левой щеке большая родинка. И, наконец, тяжелый подбородок. Таким было лицо, которое увидел оторопевший Цуто.

— Что вам нужно? — спросил бритоголовый сердито. Казалось, он чуть-чуть навеселе.

Цуто был не один, я забыл об этом сказать, а с двумя приятелями — таких в то время называли гейшами. Они, конечно, не остались безучастными, видя оплошность Цуто. Один из них задержался, чтобы извиниться за Цуто перед незнакомцем. А Цуто со вторым приятелем поспешно вернулся в кабинет, где они принялись развлекаться. Как видите, страстный поклонник искусств — и тот может опростоволоситься. Бритоголовый же, узнав от приятеля Цуто, отчего произошла столь досадная ошибка, сразу пришел в хорошее расположение духа и весело рассмеялся. Нужно ли говорить, что бритоголовый был Дзэнтё?

После всего случившегося Цуто приказал отнести бритоголовому поднос со сладостями и еще раз попросить прощения. Тот, в свою очередь, сочувствуя Цуто, пришел поблагодарить его. Так завязалась их дружба. Хотя я и говорю, что завязалась дружба, но виделись они лишь на втором этаже этого заведения и нигде больше не встречались. Цуто не

брал в рот спиртного, а Дзэнтё, наоборот, любил выпить. И одевался, не в пример Цуто, очень изысканно. И женщин любил гораздо больше, чем Цуто. Цуто говорил в шутку, что неизвестно, кто из них на самом деле монах. Полный, обрюзгший, внешне непривлекательный Цуто месяцами не стригся, на шее у него висел амулет в виде крохотного колокольчика на серебряной цепочке, кимоно он носил скромное, подпоясанное куском шелковой материи.

Однажды Цуто встретился с Дзэнтё, когда тот, набросив на плечи парчовую накидку, играл на сямисэне. Дзэнтё никогда не отличался хорошим цветом лица, но в тот день был особенно бледен. Глаза красные, воспаленные. Дряблая кожа в уголках рта время от времени конвульсивно сжималась. Цуто сразу же подумал, что друг его чем-то сильно встревожен. Он дал понять Дзэнтё, что охотно его выслушает, если тот сочтет его достойным собеседником, но Дзэнтё, видимо, никак не мог решиться на откровенность. Напротив, он еще больше замкнулся, а временами вообще терял нить разговора. Цуто подумал было, что Дзэнтё гложет тоска, такая обычная для посетителей публичного дома. Тот, кто от тоски предается разгулу, не может разгулом прогнать тоску. Цуто и Дзэнтё долго беседовали, и беседа их становилась все откровеннее. Вдруг Дзэнтё, будто вспомнив о чем-то, сказал:

— Согласно буддийским верованиям, существуют различные круги ада. Но в общем ад можно разделить на три круга: дальний ад, ближний ад и ад одиночества. Помните слова: «Под тем миром, где обитает все живое, на пятьсот ри простирается ад». Значит, еще издревле люди верили, что ад — преисподняя. И только один из кругов этого ада — ад одиночества — неожиданно возникает в воздушных сферах над горами, полями и лесами. Другими словами, то, что окружает человека, может в мгновение ока превратиться для него в ад мук и страданий. Несколько лет назад я попал в такой ад. Ничто не привлекает меня надолго. Вот почему я постоянно жажду перемен. Но все равно от ада мне не спастись. Если же не менять того, что меня окружает, будет еще горше. Так я и живу, пытаюсь в бесконечных переменах забыть горечь следующих чередой дней. Если же и это окажется мне не под силу, останется одно — умереть. Раньше, хотя я и жил

этой горестной жизнью, смерть мне была ненавистна. Теперь же...

Последних слов Цуто не расслышал. Дзэнтё произнес их тихим голосом, настраивая сямисэн... С тех пор Дзэнтё больше не бывал в том заведении. И никто не знал, что стало с этим погрязшим в пороке дзэнским монахом. В тот день Дзэнтё, уходя, забыл комментированное издание сутры «Кого». И когда Цуто в старости разорился и уехал в провинциальный городок Самукаву, среди книг, лежавших на столе в его кабинете, была и сутра. На обратной стороне обложки Цуто написал трехстишие собственного сочинения: «Сорок лет уж смотрю на росу на фиалках, устилающих поле». Книга не сохранилась. И теперь не осталось никого, кто бы помнил трехстишие прадеда матери.

Рассказанная история относится к четвертому году Ансэй. Мать запомнила ее, видимо, привлеченная словом «ад».

Просиживая целые дни в своем кабинете, я живу в мире совершенно ином, не в том, в котором жили прадед матери и дзэнский монах. Что же до моих интересов, то меня ни капли не привлекают книги и гравюры эпохи Токутавы. Вместе с тем мое внутреннее состояние таково, что слова «ад одиночества» вызывают во мне сочувствие к людям той эпохи. Я не собираюсь этого отрицать. Почему это так? Потому что в некотором смысле я сам жертва ада одиночества.

ОТЕЦ

История, которую я собираюсь рассказать, относится к тому времени, когда я учился в четвертом классе средней школы.

В тот год, осенью, проводилась школьная экскурсия — поход из Никко в Асио с тремя ночевками. «Сбор в шесть тридцать утра на вокзале Уэно, отправление в шесть пятьдесят...» — значилось в напечатанном на мимеографе извещении, полученном мной в школе.

Утром, наспех позавтракав, я выскочил из дома. До вокзала минут двадцать езды трамваем, и все же на сердце было тревожно. Стоя на остановке у красного столба, я ужасно волновался.

«Жаль, что небо в тучах. Неужели гудки бесчисленных заводов, сотрясая серую пелену, превратят ее в морозящий дождь?» — думал я. Под этим унылым небом по виадуку идет поезд. Едет подвода, направляющаяся на военный завод. Открываются двери лавок. На остановке уже собралось несколько человек. Они мрачно трут заспанные лица. Холодно. Наконец подходит первый утренний трамвай.

Когда в битком набитом вагоне мне удалось ухватиться за поручень, кто-то ударил меня по плечу. Я обернулся.

— Привет.

Это был Носэ Исоо. Как и на мне, на нем темно-синяя грубошерстная форма, через левое плечо перекинута шинель в скатке, на ногах — полотняные гетры, у пояса — корбка с едой и фляжка.

Мы вместе с Носэ окончили начальную школу и вместе поступили в среднюю. Никаких особо любимых предметов у него не было, не было и нелюбимых. Зато была у него удивительная способность: стоило ему хоть раз услышать модную

песенку, и он сразу же запоминал мелодию. Вечером, в гостинице, где мы останавливались во время школьной экскурсии, он уже самодовольно распевал ее. Он все умел: читать китайские стихи, старинные сказания, разыгрывать комические сценки, рассказывать всякие истории, подражать актерам Кабуки, делать фокусы. Он обладал, кроме того, удивительным даром смешить людей уморительными жестами и мимикой, поэтому пользовался большой популярностью среди соучеников, да и учителя к нему неплохо относились. Мы часто вместе ездили в школу и из школы, хотя особой дружбы между нами не было.

— Что-то ты рано сегодня.

— Я всегда рано. — Говоря это, Носэ высоко вздернул нос.

— Недавно ты, кажется, опоздал.

— Опоздал?

— На урок японского языка.

— А-а, это когда меня ругал Умаба. — У Носэ была привычка называть учителей, опуская вежливое «сэнсэй». — Что ж, и у великого каллиграфа бывают ошибки.

— Он и меня ругал.

— За опоздание?

— Нет, книгу забыл.

— Ох и зануда же этот Дзинтан! — Дзинтан — Красномордый — было прозвище, которым Носэ наградил учителя Умабу. Так, переговариваясь, мы доехали до вокзала Уэно. Мы с трудом выбрались из вагона, такого же переполненного, как и вначале, когда мы в него сели, и вошли в вокзал — было еще очень рано, и наших одноклассников собралось лишь несколько человек. «Привет», — поздоровались мы. Затем, толкаясь, сели на скамью в зале ожидания. И, как обычно, стали без умолку болтать. Мы были еще в том возрасте, когда вместо «ребята» говорят «ребя». И вот из уст тех, кого именовали «ребя», полились оживленные рассуждения и споры о предстоящей экскурсии, мы подтрунивали над товарищами, злословили в адрес учителей.

— Ловчила этот Идзуми. Достал где-то «Чойс» для учителей и теперь дома никогда не готовит чтение.

— Хирано ловчила еще почище. Перед экзаменами выписывает на ногти исторические даты, все до одной.

— А все потому, что и учителя хорошие ловчили.

— Конечно, ловчили. Да тот же Хомма. Он и сам-то как следует не знает, что раньше идет в слове «receive» — «е» или «i», а берет свой учебник для учителей и учит нас, будто сам все знает.

Единственной нашей темой были ловчили — ни о чем стоящем мы не говорили. Тут Носэ, бросив взгляд на ботинки сидевшего на соседней скамье с газетой в руках человека, с виду мастерового, вдруг заявил:

— «Кашкинли». — В те годы вошли в моду ботинки нового фасона, называвшиеся «Маккинли», а утратившие блеск ботинки этого человека просили каши — подошва отставала от носка.

— «Кашкинли» — это здорово. — Мы все невольно рассмеялись.

Развеселившись, мы разбирали по косточкам всех входивших в зал ожидания. И на каждого выплескивали такой поток злословия, какой и не снился тому, кто не учился в токийской школе. Среди нас не было ни одного благовоспитанного ученика, который отставал бы в этом от своих товарищей. Но характеристики, которыми награждал входящих Носэ, были самыми злыми и в то же время самыми остроумными и смешными.

— Носэ, Носэ, посмотри вон на того верзилу.

— Ну и физиономия, будто в брюхе у него живая рыба.

— А этот носильщик в красной фуражке тоже на него похож. Правда, Носэ?

— Нет, он вылитый Карл Пятый — у того тоже красная шляпа.

В конце концов в роли насмешника остался один Носэ. Вдруг кто-то из нас заметил странного человека, который стоял у расписания поездов и внимательно его изучал. На нем был порыжевший пиджак, ноги, тонкие, как палки для спортивных упражнений, обтянуты серыми полосатыми брюками. Судя по торчащим из-под черной старомодной шляпы с широкими полями волосам, уже изрядно поседевшим, он был не первой молодости. На морщинистой шее — щегольской платок в черную и белую клетку, под мышкой — тонкая бамбуковая палка.

И одеждой и позой — словом, всем своим обликом — он напоминал карикатуру из «Панча», вырезанную и помещенную среди этой толчи на железнодорожной станции. Тот, кто его заметил, видимо, обрадовался, что нашел новый объект для насмешек, и, трясая от хохота, схватил Носэ за руку:

— Посмотри вон на этого!

Мы все разом повернулись и увидели довольно странного вида мужчину. Слегка выпятив живот, он вынул из жилетного кармана большие никелированные часы на лиловом шнурке и стал сосредоточенно смотреть то на них, то на расписание. Мне виден был лишь его профиль, но я сразу же узнал отца Носэ.

Остальным это и в голову не могло прийти. Все с нетерпением уставились на Носэ, ожидая от него меткой характеристики этого смешного человека, и в любую минуту готовы были прыснуть от смеха. Четвероклассники еще не способны были понять, что творится в душе Носэ. Я нерешительно произнес было: «Это же отец Носэ».

— Этот тип? Да это же лондонский нищий.

Нужно ли говорить, как дружно все фыркнули. А некоторые даже стали передразнивать отца Носэ — выпятив живот, делали вид, будто вынимают из кармана часы. Я невольно опустил голову, у меня не хватало храбрости взглянуть на Носэ.

— До чего же точно ты назвал этого типа.

— Посмотрите, посмотрите, что за шляпа.

— От старьевщика с Хикагэтё.

— Нет, такую и на Хикагэтё не найдешь.

— Значит, из музея.

Все снова весело рассмеялись.

В тот пасмурный день на вокзале было сумрачно, словно вечером. Сквозь этот сумрак я внимательно наблюдал за «лондонским нищим».

Но вдруг на какой-то миг выглянуло солнце, и в зал ожидания из слухового окна пролилась узкая струйка света. В нее как раз попал отец Носэ... Вокруг все двигалось. Двигалось и то, что попадало в поле зрения, и то, что не попадало в него. Это движение, в котором трудно было различить от-

дельные голоса и звуки, точно туманом обволокло огромное здание. Не двигался только отец Носэ. Этот старомодный старик в старомодной одежде, сдвинув на затылок такую же старомодную черную шляпу и держа на ладони карманные часы на лиловом шнурке, неподвижно, точно изваяние, застыл у расписания поездов в головокружительном людском водовороте...

Позже я узнал, что отец Носэ, решив по дороге в университетскую аптеку, где он служил, посмотреть, как отправляются на экскурсию школьники, среди которых был его сын, зашел на вокзал, не предупредив его об этом.

Носэ Исоо вскоре после окончания средней школы заболел туберкулезом и умер. На панихиде, которая была в школьной библиотеке, надгробную речь перед портретом Носэ в форменной фуражке читал я. В свою речь я не без умысла вставил фразу: «Помни о своем долге перед родителями».

Дело было в то время, когда я, возвратившись из дальнего плавания, уже готов был проститься со званием «хангёку» (так на военных кораблях называют кадетов). Это произошло на третий день после того, как наш броненосец вошел в порт Ёкосука, часа в три дня. Как всегда, громко протрубил рожок, призывавший на перекличку увольняемых на берег. Не успела у нас мелькнуть мысль: «Да ведь сегодня очередь сходить на берег правобортовым, а они уже выстроились на верхней палубе!» — как вдруг протрубили общий сбор. Общий сбор — дело нештучное. Решительно ничего не понимая, мы бросились наверх, на бегу спрашивая друг друга, что случилось.

Когда все построились, помощник командира сказал нам так:

— За последнее время на нашем корабле появились случаи кражи. В частности, вчера, когда из города приходил часовщик, у кого-то пропали серебряные карманные часы. Поэтому сегодня мы произведем поголовный обыск команды, а также осмотрим личные вещи.

Вот что примерно он нам сказал. О случае с часовщиком я слышал впервые, но что у нас бывали покражи, это мы знали: у одного унтер-офицера и у двоих матросов пропали деньги.

Раз личный обыск, понятно, всем пришлось раздеться догола. Хорошо, что было только начало октября, когда кажется, что еще лето, — стоит лишь посмотреть, как ярко озаряет солнце буи, колышущиеся в гавани, — и раздеваться не так уж страшно. Одна беда: у некоторых из тех, кто собирался на берег повеселиться, при обыске нашли в карманах

порнографические открытки, превентивные средства. Они стояли красные, растерянные, не знали, куда деться. Кажется, двоих-троих офицеры побили.

Как бы там ни было, когда всей команды шестьсот человек, то для самого краткого обыска все-таки нужно время. И странное же это было зрелище, более странного не увидишь: шестьсот человек, все голые, толпятся, заняв всю верхнюю палубу. Те, что с черными лицами и руками, — кочегары; в краже заподозрили было их, и теперь они с мрачным видом стояли в одних трусах: хотите, мол, обыскивать, так ищите где угодно.

Пока на верхней палубе заваривалась эта каша, на средней и нижней палубах начали перетряхивать вещи. У всех люков расставили кадетов, так что с верхней палубы вниз — ни ногой. Меня назначили производить обыск на средней и нижней палубах, и я с товарищами ходил, заглядывая в вещевые мешки и сундучки матросов. За все время пребывания на военном корабле таким делом я занимался впервые, и рыться в койках, шарить по полкам, где лежали вещевые мешки, оказалось куда хлопотнее, чем я думал. Тем временем некий Мákита, тоже кадет, как и я, нашел украденные вещи. И часы, и деньги лежали в ящике сигнальщика по имени Нарасима. Там же нашелся ножик с перламутровой ручкой, который пропал у стюарда.

Скомандовали «разойтись» и сейчас же после этого — «собраться сигнальщикам». Остальные, конечно, были рады-радешеньки. В особенности кочегары, на которых пало подозрение, — они чувствовали себя прямо счастливыми. Но когда сигнальщики собрались, оказалось, что Нарасима среди них нет.

Я-то был еще неопытен и ничего этого не знал, но, как говорили, на военных кораблях не раз случалось, что украденные вещи находят, а виновник — нет. Виновники, разумеется, кончают самоубийством, причем в девяти случаях из десяти вешаются в угольном трюме, в воду же редко кто бросается. Рассказывали, впрочем, что на нашем корабле был случай, когда матрос распорол себе живот, но его нашли еще живого и, по крайней мере, спасли ему жизнь.

Поскольку случались такие вещи, то, когда стало известно, что Нарасима исчез, офицеры струхнули. Я до сих пор живо помню, как переполошился помощник командира. Говорили, что в прошлой войне он показал себя настоящим героем, но сейчас он даже в лице изменился и так волновался, что прямо смешно было смотреть. Все мы презрительно переглянулись. Постоянно твердит о воспитании воли, а сам так раскис!

Сейчас же по приказу помощника командира начались поиски по всему кораблю. Ну, тут всех охватило особого рода приятное возбуждение. Совсем как у зевак, бегущих смотреть пожар. Когда полицейский отправляется арестовать преступника, неизменно возникает опасение, что тот станет сопротивляться, однако на военном корабле это исключено. Хотя бы потому, что между нами и матросами строго — так строго, что штатскому даже не понять, — соблюдалось разделение на высших и низших, а субординация — великая сила. Охваченные азартом, мы сбежали вниз.

Как раз в эту минуту сбежал вниз и Макита и тоже с таким видом, что, мол, ужасно интересно, хлопнул меня сзади по плечу и сказал:

— Слушай, я вспомнил, как мы ловили обезьяну.

— Ничего, эта обезьяна не такая проворная, как та, все будет в порядке.

— Ну, знаешь, если мы будем благодушествовать, как раз и упустим — удерет.

— Пусть удирает. Обезьяна — она и есть обезьяна.

Так, перебрасываясь шутками, мы спустились вниз.

Речь шла об обезьяне, которую во время кругосветного плавания получил в Австралии от кого-то в подарок наш комендор. За два дня до захода в Вильгельмсгафен она стащила у капитана часы и куда-то пропала, и на корабле поднялся переполох. Объяснялся он отчасти и тем, что во время долгого плавания все изнывали от скуки. Не говоря уж о комендоре, которого это касалось лично, все мы, как были в рабочей одежде, бросились обыскивать корабль — снизу, от самой кочегарки, доверху, до артиллерийских башен, словом, суматоха поднялась невероятная. К тому же на корабле было

множество других животных и птиц, у кого — полученных в подарок, у кого — купленных, так что, пока мы бегали по кораблю, собаки хватили нас за ноги, пеликаны кричали, попугаи в клетках, подвешенных на канатах, хлопали крыльями, как ошалелые, — в общем, все было как во время пожара в цирке. В это время проклятая обезьяна вдруг выскочила откуда-то на верхнюю палубу и с часами в лапе хотела взобраться на мачту. Но у мачты как раз работали несколько матросов, и они, разумеется, ее не упустили. Один из них схватил ее за шею, и обезьяну без труда скрутили. Часы, если не считать разбитого стекла, остались почти невредимы. По предложению комендора обезьяну подвергли наказанию — двухдневной голодовке. Но забавно, что сам же комендор не выдержал и еще до истечения срока дал обезьяне моркови и картошки. «Как увидел ее такую унылую — хоть обезьяна, а все же жалко стало», — говорил он. Это, положим, непосредственно к делу не относится, но, принимаясь искать Нарасима, мы и в самом деле испытывали примерно то же, что и тогда в погоне за обезьяной.

Я первым достиг палубы. А на нижней палубе, как вы знаете, всегда неприятно темно. Лишь тускло поблескивают полированные металлические части и окрашенные железные листы. Кажется, будто задыхаешься, прямо сил нет. В этой темноте я сделал несколько шагов к угольному трюму и едва не вскрикнул от неожиданности: у входа в трюм торчала верхняя половина туловища. По-видимому, человек только что намеревался через узкий люк проникнуть в трюм и уже спустил ноги. С моего места я не мог разобрать, кто это, так как голова его была опущена и я видел только плечи в синей матросской блузе и фуражку. К тому же в полутьме вырисовывался только его силуэт. Однако я инстинктивно догадался, что это Нарасима. Значит, он хочет сойти в трюм, чтобы покончить с собой.

Меня охватило необыкновенное возбуждение, невыразимо приятное возбуждение, когда кровь закипает во всем теле. Оно — как бы это сказать? — было точь-в-точь таким, как у охотника, когда он с ружьем в руках подстерегает дичь. Не помня себя, я подскочил к Нарасима и быстрее, чем кидает-

ся на добычу охотничья собака, обеими руками крепко вцепился ему в плечи.

— Нарасима!

Я выкрикнул это имя без всякой брани, без ругательств, и голос мой как-то странно дрожал. Нечего говорить, что это и в самом деле был виновный — Нарасима.

Нарасима, даже не пытаясь высвободиться из моих рук, все так же видимый из люка по пояс, тихо поднял голову и посмотрел на меня. Сказать «тихо» — этого мало. Это было такое «тихо», когда все силы, какие были, иссякли — и не быть тихим уже невозможно. В этом «тихо» таилась неизбежность, когда ничего больше не остается, когда бежать некуда, это «тихо» было как полусорванная рея, которая, когда шквал пронесется, из последних сил стремится вернуться в прежнее положение. Бессознательно разочарованный тем, что ожидаемого сопротивления не последовало, и еще более этим раздраженный, я смотрел на это «тихо» поднятое лицо.

Такого лица я больше ни разу не видал. Дьявол, взглянув на него, заплакал бы — вот какое это было лицо! И даже после этих моих слов вы, не видевшие этого лица, не в состоянии себе его представить. Пожалуй, я сумею описать вам эти полные слез глаза. Может быть, вы сможете угадать, как конвульсивно подергивались мускулы рта, сразу же вышедшие из повиновения его воле. И само это потное, землисто-серое лицо — его я легко сумею изобразить. Но выражение, складывавшееся из всего этого вместе, — это страшное выражение его никакой писатель не опишет. Для вас, для писателя, я спокойно кончаю на этом свое описание. Я почувствовал, что это выражение как молния выжгло что-то у меня в душе — так сильно потрясло меня лицо матроса.

— Негодяй! Чего тебе тут надо? — сказал я.

И вдруг мои слова прозвучали так, словно «негодяй» — я сам. Что мог бы я ответить на вопрос: «Негодяй, чего тебе тут надо?» Кто мог бы спокойно сказать: «Я хочу сделать из этого человека преступника»? Кто мог бы это сделать, глядя на такое лицо? Так, как я сейчас вам рассказываю, кажется, что это длилось долго, но на самом деле все эти самообвинения

ния промелькнули у меня в душе за одну секунду. И вот в этот самый миг еле слышно, но отчетливо донеслись до моего слуха слова: «Мне стыдно».

Выражаясь образно, я мог бы сказать, что эти слова мне прошептало мое собственное сердце. Они отозвались в моих нервах, как укол иглы. Мне тоже стало «стыдно», как и Нарасима, и захотелось склонить голову перед чем-то, стоящим выше нас. Разжав пальцы, вцепившиеся в плечи Нарасима, я, как и пойманный мною преступник, с отсутствующим взглядом застыл над люком в трюм.

Остальное вы можете себе представить и без моего рассказа. Нарасима сейчас же посадили в карцер, а на другой день отправили в военную тюрьму в Урага. Не хочется об этом говорить, но заключенных там часто заставляют «таскать ядра». Это значит, что целыми днями они должны перетаскивать с места на место на расстояние нескольких метров чугунные шары весом в девятнадцать кило. Так вот, если говорить о мучениях, то мучительней этого для заключенных нет ничего. Помню, у Достоевского в «Мертвом доме», который вы мне когда-то давали прочесть, говорится, что если заставить арестанта много раз переливать воду из ушата в ушат, от этой бесполезной работы он непременно покончит с собой. А так как арестанты там действительно заняты такой работой, то остается лишь удивляться, что среди них не бывает самоубийц. Туда-то и попал этот сигнальщик, которого я поймал, — веснушчатый, робкий, тихий человек...

Вечером, когда я с приятелями-кадетами стоял у борта и смотрел на таявший в сумерках порт, ко мне подошел Макита и шутливо сказал:

— Твоя заслуга, что взяли обезьяну живой.

Должно быть, он думал, что в душе я этим горжусь.

— Нарасима — человек. Он не обезьяна, — ответил я резко и отошел от борта.

Остальные, конечно, удивились: мы с Макита еще в кадетском корпусе были друзьями и ни разу не ссорились.

Шагая по палубе от кормы к носу, я с теплым чувством вспомнил, как растерян был помощник командира, беспокоившийся о Нарасима. Мы относились к сигнальщику, как к

обезьяне, а он ему по-человечески сочувствовал. И мы, дураки, еще презирали его — невыразимая глупость! У меня стало скверно на душе, я понурил голову. И опять зашагал по уже темной палубе от носа к корме, стараясь ступать как можно тише. А то, казалось мне, Нарасима, услышав в карцере мои бодрые шаги, оскорбится.

Выяснилось, что Нарасима совершал кражи из-за женщин. На какой срок его приговорили, я не знаю. Во всяком случае, несколько месяцев он просидел за решеткой: потому что обезьяну можно простить и освободить от наказания, человека же простить нельзя.

Сентябрь 1916 г.

НОСОВОЙ ПЛАТОК

Профессор юридического факультета Токийского императорского университета Хасэгава Киндзо сидел на веранде в плетеном кресле и читал «Заметки о драматургии» Стриндберга.

Специальностью профессора было изучение колониальной политики. Поэтому то обстоятельство, что профессор читал «Заметки о драматургии», может показаться читателю несколько неожиданным. Однако профессор, известный не только как ученый, но и как педагог, непременно, насколько позволяло ему время, просматривал книги, ненужные ему по специальности, но в какой-то степени близкие мыслям и чувствам современного студенчества. Действительно, только по этой причине он недавно взял на себя труд прочесть «De profundis»¹ и «Замыслы» Оскара Уайльда — книги, которыми зачитывались студенты одного института, где профессор по совместительству занимал пост директора. А раз у профессора было такое обыкновение, не приходится удивляться, что в данную минуту он читал книгу о современной европейской драме и европейских актерах. Дело в том, что у профессора были студенты, которые писали критические статьи об Ибсене, Стриндберге или Метерлинке, и даже энтузиасты, готовые по примеру этих драматургов сделать сочинение драм делом всей своей жизни.

Окончив особенно интересную главу, профессор каждый раз клал книгу в желтом холщовом переплете на колени и обращал рассеянный взгляд на свисавший с потолка фонарь-гифу. Странно, стоило профессору отложить книгу,

¹ «Из глубины» (лат.).

как мысль его покидала Стриндберга. Вместо Стриндберга ему приходила на ум жена, с которой они покупали этот фонарь. Профессор женился в Америке, во время научной командировки, и женой его, естественно, была американка. Однако в своей любви к Японии и японцам она нисколько не уступала профессору. В частности, тонкие изделия японской художественной промышленности ей очень нравились. Поэтому висевший на веранде фонарь-гифу свидетельствовал не столько о вкусах профессора, сколько о пристрастии его жены ко всему японскому.

Каждый раз, опуская книгу на колени, профессор думал о жене, о фонаре-гифу, а также о представленной этим фонарем японской культуре. Профессор бы убежден, что за последние пятнадцать лет японская культура в области материальной обнаружила заметный прогресс. А вот в области духовной нельзя было найти ничего, достойного этого слова. Более того, в известном смысле замечался скорее упадок. Что же делать, чтобы найти, как велит долг современного мыслителя, пути спасения от этого упадка? Профессор пришел к заключению, что, кроме бусидо — этого специфического достояния Японии, иного пути нет. Бусидо ни в коем случае нельзя рассматривать как узкую мораль островного народа. Напротив, в этом учении содержатся даже черты, сближающие его с христианским духом стран Америки и Европы. Если бы удалось сделать так, чтобы духовные течения современной Японии основывались на бусидо, это явилось бы вкладом в духовную культуру не только Японии. Это облегчило бы взаимопонимание между народами Европы и Америки и японским народом, что весьма ценно. И возможно, способствовало бы делу международного мира. Профессору уже давно хотелось взять на себя, так сказать, роль моста между Востоком и Западом. Поэтому тот факт, что жена, фонарь-гифу и представленная этим фонарем японская культура гармонически сочетались у него в сознании, отнюдь не был ему неприятен.

Это чувство удовлетворения профессор испытывал уже не в первый раз, когда вдруг заметил, что, хотя он продолжал читать, мысли его ушли далеко от Стриндберга. Он сокрушенно покачал головой и опять со всем прилежанием ус-

тавился в строчки мелкой печати. В абзаце, за который он только что принял, было написано следующее:

«...Когда актер находит удачное средство для выражения самого обыкновенного чувства и таким образом добивается успеха, он потом уже, уместно это или неуместно, то и дело обращается к этому средству как потому, что оно удобно, так и потому, что оно приносит ему успех. Это и есть сценический прием...»

Профессор всегда относился к искусству, в частности к сценическому, с полным безразличием. Даже в японском театре он до этого года почти не бывал. Как-то раз в рассказе, написанном одним студентом, ему попало имя Байко. Это имя ему, профессору, гордившемуся своей эрудицией, ничего не говорило. При случае он позвал этого студента и спросил:

— Послушайте, кто такой этот Байко?

— Байко? Байко — актер театра Тэйкоку в Маруоути. Сейчас он играет роль Мисао в десятом акте пьесы «Тайкоки», — вежливо ответил студент в дешевеньких хакама.

Поэтому и о различных манерах игры, которые Стриндберг критиковал своим простым и сильным слогом, у профессора собственного мнения совсем не имелось. Это могло интересовать его лишь постольку, поскольку ассоциировалось с тем, что он видел в театре на Западе во время своей заграничной командировки. По существу, он читал Стриндберга почти так же, как читает пьесы Бернарда Шоу учитель английского языка в средней школе, выискивая английские идиомы. Однако, так или иначе, интерес есть интерес.

С потолка веранды свисает еще не зажженный фонарь-гифу. А в плетеном кресле профессор Хасэгава Киндзо читает «Заметки о драматургии» Стриндберга. Думаю, судя по этим двум обстоятельствам, читатель легко представит себе, что дело происходит после обеда в длинный летний день. Но это вовсе не значит, что профессор страдал от скуки. Сделать из моих слов такой вывод — значит намеренно стараться истолковать превратно чувства, с которыми я пишу... Но тут профессору пришлось прервать чтение Стриндберга на полуслове — чистым наслаждением профессора помешала горничная, доложившая вдруг о приходе посетителей.

Как ни длинен день, люди, видимо, не успокоятся, пока не умят профессора делами...

Отложив книгу, профессор взглянул на визитную карточку, поданную горничной. На картоне цвета слоновой кости было мелко написано: «Нисияма Токуко». Право, он как будто раньше с этой женщиной не встречался. У профессора был широкий круг знакомств, и, вставая с кресла, он на всякий случай перебрал в уме все вспомнившиеся ему имена. Однако ни одно подходящее не пришло ему в голову. Тогда профессор сунул визитную карточку в книгу вместо закладки, положил книгу на кресло и, беспокоясь, опираясь на себе легкое кимоно из шелкового полотна, опять мельком взглянул на висевший прямо перед ним фонарь-гифу. Вероятно, всякому случалось бывать в таком положении, и в подобных случаях ожидание более неприятно хозяину, который заставляет ждать, чем гостю, которого заставляют ждать. Впрочем, поскольку речь идет о профессоре, очень заботившемся о соблюдении своего достоинства, незачем особо оговаривать, что так обстояло всегда, даже если дело касалось и не такой незнакомой гостьи.

Выждав надлежащее время, профессор отворил дверь в приемную. Войдя, он выпустил дверную ручку, и почти в то же мгновение женщина лет сорока поднялась со стула ему навстречу. Гостья была одета в легкое кимоно лилово-стального цвета, настолько изысканное, что профессор даже не мог его оценить; и там, где хаори из черного шелкового газа, слегка прикрывавшее грудь, расходилось, виднелась нефритовая застежка на поясе в форме водяного ореха. Что волосы у гостьи уложены в прическу марумагэ — это даже профессор, обычно не обращавший внимания на подобные мелочи, сразу заметил. Женщина была круглолицая, с характерной для японцев янтарной кожей, по всей видимости — интеллигентная дама, мать семейства. При первом же взгляде профессору показалось, что ее лицо он уже где-то видел.

— Хасэгава, — любезно поклонился профессор: он подумал, что если они с гостьей уже встречались, то в ответ на его слова она об этом скажет.

— Я мать Нисиямы Конъитиро, — ясным голосом представилась дама и вежливо ответила на поклон.

Нисияму Конъитиро профессор помнил. Это был один из студентов, писавших статьи об Ибсене и Стриндберге. Он, кажется, изучал германское право, но со времени поступления в университет занялся вопросами идеологии и стал бывать у профессора. Весной он заболел воспалением брюшины и лег в университетскую больницу; профессор раза два его навещал. И не случайно профессору показалось, что лицо этой дамы он где-то видел. Жизнерадостный юноша с густыми бровями и эта дама были удивительно похожи друг на друга, словно две дыни.

— А, Нисияма-кун... вот как! — Кивнув, профессор указал на стул за маленьким столиком: — Прошу.

Извинившись за неожиданный визит и вежливо поблагодарив, дама села на указанный ей стул. При этом она вынула из рукава что-то белое, видимо носовой платок. Профессор сейчас же предложил ей лежавший на столе корейский веер и сел напротив.

— У вас прекрасная квартира.

Дама с преувеличенным вниманием обвела взглядом комнату.

— О нет, разве только просторная.

Профессор, привыкший к таким похвалам, пододвинул гостю холодный чай, только что принесенный горничной, и сейчас же перевел разговор на сына гостя.

— Как Нисияма-кун? Особых перемен в его состоянии нет?

— Н-нет...

Скромно сложив руки на коленях, дама умолкла на минуту, а потом тихо произнесла — произнесла все тем же спокойным, ровным тоном:

— Да я, собственно, и пришла из-за сына, с ним случилось несчастье. Он был многим вам обязан.

Профессор, полагая, что гостя не пьет чай из застенчивости, решил, что лучше самому подать пример, чем назойливо, нудно угощать, и уже собирался поднести ко рту чашку черного чая. Но не успела чашка коснуться мягких усов, как слова дамы поразили профессора. Выпить чай или не выпить?.. Эта мысль на мгновение обеспокоила его совершенно независимо от мысли о смерти юноши. Но не держать же

чашку у рта до бесконечности! Решившись, профессор залпом отпил полчашки, слегка нахмурился и сдавленным голосом проговорил:

— О, вот оно что!..

— ...и когда он лежал в больнице, то часто говорил о вас. Поэтому, хотя я знаю, что вы очень заняты, я все же взяла на себя смелость сообщить вам о смерти сына и вместе с тем выразить свою благодарность...

— Нет, что вы...

Профессор поставил чашку, взял синий вощенный веер и с прискорбием произнес:

— Вот оно что! Какое несчастье! И как раз в том возрасте, когда все впереди... А я, не получая из больницы вестей, думал, что ему лучше... Когда же он скончался?

— Вчера был как раз седьмой день.

— В больнице?

— Да.

— Поистине неожиданно!

— Во всяком случае, все было сделано, все возможное, значит — остается только примириться с судьбой. И все же, когда это случилось, я нет-нет да и начинала роптать. Нехорошо.

Во время разговора профессор вдруг обратил внимание на странное обстоятельство: ни на облик, ни на поведение этой дамы никак не отразилась смерть родного сына. В глазах у нее не было слез. И голос звучал обыденно. Мало того, в углах губ даже мелькала улыбка. Поэтому, если отвлечься от того, что она говорила, и только смотреть на нее, можно было подумать, что разговор идет о повседневных мелочах. Профессору это показалось странным.

...Очень давно, когда профессор учился в Берлине, скончался отец нынешнего кайзера, Вильгельм I. Профессор услышал об этом в своем любимом кафе, и, разумеется, известие не произвело на него особо сильного впечатления. С обычным своим энергичным видом, с тросточкой под мышкой, он возвращался к себе в пансионат, и тут, едва только открылась дверь, как двое детей хозяйки бросились к нему на шею и громко расплакались. Это были девочка лет двенадцати в коричневой кофточке и девятилетний маль-

чик в коротких синих штанишках. Не понимая, в чем дело, профессор, горячо любивший детей, стал гладить светловолосые головки и ласково утешать их, приговаривая: «Ну в чем дело, что случилось?» Но дети не унимались. Наконец, всхлипывая, они проговорили: «Дедушка-император умер!»

Профессор удивился тому, что смерть главы государства оплакивают даже дети. Но это заставило его задуматься не только над отношениями между царствующим домом и народом. На Западе его, японца, приверженца бусидо, постоянно поражала непривычная для его восприятия импульсивность европейцев в выражении чувств. Смешанное чувство недоверия и симпатии, которое он в таких случаях испытывал, он до сих пор не мог забыть, даже если бы хотел. А теперь профессор сам удивлялся тому, что дама не плачет.

Однако за первым открытием немедленно последовало второе.

Это случилось, когда от воспоминаний об умершем юноше они перешли к мелочам повседневной жизни и вновь вернулись к воспоминаниям о нем. Вышло так, что бумажный веер, выскользнув из рук профессора, упал на паркетный пол. Разговор не был настолько напряженным, чтобы его нельзя было на минуту прервать. Поэтому профессор нагнулся за веером. Он лежал под столиком, как раз возле спрятанных в туфли белых таби гости.

В эту секунду профессор случайно взглянул на колени дамы. На коленях лежали ее руки, державшие носовой платок. Разумеется, само по себе это еще не было открытием. Но тут профессор заметил, что руки у дамы сильно дрожат. Он заметил, что она, вероятно силясь подавить волнение, обеими руками изо всех сил комкает платок, так что он чуть не рвется. И наконец, он заметил, что в тонких пальцах вышитые концы смятого шелкового платочка подрагивают, словно от дуновения ветерка. Дама лицом улыбалась, на самом деле всем существом своим рыдала.

Когда профессор поднял веер и выпрямился, на лице его было новое выражение: чрезвычайно сложное, в какой-то мере театрально преувеличенное выражение, которое складывалось из чувства почтительного смущения оттого, что

он увидел нечто, чего ему видеть не полагалось, и какого-то удовлетворения, проистекавшего из сознания этого чувства.

— Даже я, не имея детей, хорошо понимаю, как вам тяжело, — сказал профессор тихим, прочувствованным голосом, несколько напряженно запрокинул голову, как будто он смотрел на что-то ослепляющее.

— Благодарю вас. Но теперь, как бы там ни было, это непоправимо.

Дама слегка наклонила голову. Ясное лицо было по-прежнему озарено спокойной улыбкой.

* * *

Прошло два часа. Профессор принял ванну, поужинал, затем поел вишен и опять удобно уселся в плетеное кресло на веранде.

В летние сумерки долго еще держится слабый свет, и на просторной веранде с раскрытой настежь стеклянной дверью все никак не темнело. Профессор давно уже сидел в полусумраке, положив ногу на ногу и прислонившись головой к спинке кресла, и рассеянно глядел на красные кисти фонаря-гифу. Книга Стриндберга снова была у него в руках, но, кажется, он не прочел ни одной страницы. Вполне естественно. Мысли профессора все еще были полны героическим поведением госпожи Нисиямы Токуко.

За ужином профессор подробно рассказал обо всем жене. Он похвалил поведение гостыи, назвав его бусидо японских женщин. Выслушав эту историю, жена, любившая Японию и японцев, не могла не отнестись к рассказу мужа с сочувствием. Профессор был доволен тем, что нашел в жене увлеченную слушательницу. Теперь в сознании профессора на некоем этическом фоне вырисовывались уже три представления — жена, дама-гостыя и фонарь-гифу.

Профессор долго пребывал в такой счастливой задумчивости. Но вдруг ему вспомнилось, что его просили прислать статью для одного журнала. В этом журнале под рубрикой «Письма современному юношеству» публиковались взгляды различных авторитетов на вопросы морали. Использовать

сегодняшний случай и сейчас же изложить и послать свои впечатления?.. При этой мысли профессор почесал голову.

В руке, которой профессор почесал голову, была книга. Вспомнив о книге, он раскрыл ее на недочитанной странице, которая была заложена визитной карточкой. Как раз в эту минуту вошла горничная и зажгла над его головой фонарь-гифу, так что даже мелкую печать можно было читать без затруднения. Профессор рассеянно, в сущности, не собираясь читать, опустил глаза на страницу. Стриндберг писал:

«В пору моей молодости много говорили о носовом платке госпожи Хайберг, кажется, парижанки. Это был прием двойной игры, заключающийся в том, что, улыбаясь лицом, руками она рвала платок... Теперь мы называем это дурным вкусом...»

Профессор опустил книгу на колени. Он оставил ее раскрытой, и на странице все еще лежала карточка Нисиямы Токуко. Но мысли профессора были заняты уже не этой дамой. И не женой, и не японской культурой. А чем-то еще неясным, что грозило разрушить безмятежную гармонию его мира. Сценический прием, мимоходом высмеянный Стриндбергом, и вопросы повседневной морали, разумеется, вещи разные. Однако в намеке, скрытом в прочитанной фразе, было что-то такое, что расстраивало благодушие изнеженного ванной профессора. Бусидо и этот прием...

Профессор недовольно покачал головой и стал снова смотреть вверх, на яркий свет разрисованного осенними травами фонаря-гифу.

Октябрь 1916 г.

Я сижу за столом посреди пароходного салона, напротив какого-то странного человека.

Погодите! Я говорю — пароходный салон, но я в этом не уверен. Хотя море за окном и вся обстановка вызывают такое предположение, но я допускаю, что, может быть, это и обыкновенная комната. Нет, все же это пароходный салон! Иначе бы так не качало. Я не Киносита Мокутаро и не могу определить с точностью до сантиметра высоту качки, но качка, во всяком случае, есть. Если вам кажется, что я вру, взгляните, как за окном то подымается, то опускается линия горизонта. Небо пасмурно, и по морю широко разлита зеленая муть, но та линия, где муть моря сливается с серыми облаками, качающейся хордой перерезывает круг иллюминатора. А те существа одного цвета с небом, что плавно пролетают среди мути, — это, вероятно, чайки.

Но возвращаюсь к странному человеку напротив меня. Сдвинув на нос сильные очки для близоруких, он со скучающим видом уставился в газету. У него густая борода, квадратный подбородок, и я, кажется, где-то видел его, но никак не могу вспомнить, где именно. По длинным, косматым волосам его можно было бы принять за писателя или художника. Однако с этим предположением не вяжется его коричневый пиджак.

Некоторое время я украдкой посматривал на этого человека и маленькими глотками пил из рюмки европейскую водку. Мне было скучно, заговорить с ним хотелось ужасно, но из-за его крайне нелюбезного вида я все не решался.

¹ Мера Зоила (лат.).

Вдруг господин с квадратным подбородком вытянул ноги и произнес, как будто подавляя зевок:

— Скучно! — Затем, кинув на меня взгляд из-под очков, он опять принялся за газету. В эту минуту я был почти уверен, что где-то с ним встречался.

В салоне, кроме нас двоих, никого не было.

Немного погодя этот странный человек опять произнес:

— Ох, скучно! — На этот раз он бросил газету на стол и стал рассеянно смотреть, как я пью водку. Тогда я сказал:

— Не выпьете ли рюмочку?

— Благодарю... — Не отвечая ни «да», ни «нет», он слегка поклонился. — Ну и скука! Пока доедешь, прямо помрешь.

Я согласился с ним.

— Пока мы ступим на землю Зоилии, пройдет больше недели. Мне пароход надоел до отвращения.

— Как? Зоилии?

— Ну да, Республики Зоилии.

— Разве есть такая страна — Зоилия?

— Признаюсь — удивлен! Вы не знаете Зоилии? Не ожидал. Не знаю, куда вы собрались ехать, но только этот пароход заходит в гавань Зоилии по обычному, старому маршруту.

Я смутился. В сущности, я не знал даже, зачем я на этом пароходе. А уж «Зоилия» — такого названия я никогда раньше не слышал.

— Вот как?..

— Ну разумеется! Зоилия — исстари знаменитая страна. Как вы знаете, Гомера осыпал отчаянными ругательствами один ученый именно из этой страны. До сих пор в столице Зоилии стоит прекрасная мемориальная доска в его честь.

Я был поражен эрудицией, которой никак не ожидал, судя по его виду.

— Значит, это очень древнее государство?

— О да, очень древнее! Если верить мифам, в этой стране сначала жили одни лягушки, но Афина Паллада превратила их в людей. Поэтому некоторые утверждают, что голоса жителей Зоилии похожи на лягушечье кваканье. Впрочем, это не совсем достоверно. Кажется, в лето-

писях самое раннее упоминание о Зоилии связано с героем, отвергавшим Гомера.

— Значит, теперь это довольно культурная страна?

— Разумеется. Например, университет в столице Зоилии, где собран цвет ученых, не уступает лучшим университетам мира. И в самом деле, такая вещь, как измеритель ценности, недавно изобретенный тамошними профессорами, слывет новейшим чудом света. Впрочем, я это говорю со слов «Вестника Зоилии».

— Что это такое — «измеритель ценности»?

— Буквально: аппарат для измерения ценности. Правда, он, кажется, применяется главным образом для измерения ценности романов или картин.

— Какой ценности?

— Главным образом — художественной. Правда, он может измерять и ценности другого рода. В Зоилии, в честь знаменитого предка, аппарат назвали *mensura Zoili*.

— Вы его видели?

— Нет. Только на иллюстрации в «Вестнике Зоилии»... По внешнему виду он ничем не отличается от обыкновенных медицинских весов. На платформу, куда обычно становится человек, кладут книги или полотна. Рамы и переплеты немного мешают измерениям, но потом на них делают поправку, так что все в порядке.

— Удобная вещь!

— Очень удобная. Так сказать, орудие культуры! — Человек с квадратным подбородком вынул из кармана папиросу и сунул в рот. — С тех пор как изобрели эту штуку, всем этим писателям и художникам, которые, торгуя собачьим мясом, выдают его за баранину, всем им — крышка. Ведь размер ценности наглядно обозначается в цифрах. Весьма разумно поступил народ Зоилии, немедленно установив этот аппарат на таможах.

— Это почему же?

— Потому что все рукописи и картины, которые ввозят из-за границы, проверяются на этом аппарате, и вещи, лишенные ценности, ввозить не разрешают. Говорят, недавно в одно и то же время проверяли вещи, привезенные из Японии, Англии, Германии, Австрии, Франции, России, Ита-

лии, Испании, Америки, Швеции, Норвегии и других стран, и, по правде сказать, результат для японских вещей, кажется, получился неважный. А ведь, на наш пристрастный взгляд, в Японии есть писатели и художники как будто сносные...

Во время этого разговора дверь отворилась, и в салон вошел негр-бой с пачкой газет под мышкой. Это был проворный мальчик в легком темно-синем костюме. Бой молча положил газеты на стол и исчез за дверью.

Стряхнув пепел с сигары, человек с квадратным подбородком развернул газету. Это и был так называемый «Вестник Зоилии», испещренный строчками странных клинообразных знаков. Я опять изумился эрудиции этого человека, читавшего такой странный шрифт.

— По-прежнему только и пишут о *mensura Zoili*, — сказал он, пробегая глазами газету, — а, опубликована ценность рассказов, вышедших в Японии за прошлый месяц! И даже приложены отчеты инженеров-измерителей.

— Фамилия Кумэ встречается? — спросил я, обеспокоенный за товарища.

— Кумэ? Должно быть, рассказ «Серебряная монета»? Есть.

— Ну и как? Какова его ценность?

— Никуда не годится! Во-вторых, импульсом к его написанию явилось открытие, что человеческая жизнь бессмысленна. А кроме того, всю вещь обесценивает этакий менторский тон всеведущего знатока.

Мне стало неприятно.

— Простите, весьма сожалею, — человек с квадратным подбородком насмешливо улыбнулся, — но ваша «Трубка» тоже упомяната.

— Что же пишут?

— Почти то же самое. Что в ней нет ничего, кроме общих мест.

— Гм!..

— И еще вот что: «Этот молодой писатель чересчур плодовит...»

— Ой-ой!

Я почувствовал себя более чем неприятно, пожалуй, даже глупо.

— Да не только вы — любому писателю или художнику, попади он на измеритель, придется туго: никакие надувательства тут не действуют. Сколько бы он сам свое произведение ни расхваливал, измеритель отмечает подлинную ценность, и все идет прахом. Разумеется, дружные похвалы приятелей тоже не могут изменить показания счетчика. Что ж, придется вам засесть за работу и начать писать вещи, представляющие настоящую ценность!

— Но каким же образом устанавливают, что оценки измерителя правильны?

— Для этого достаточно положить на весы какой-нибудь шедевр. Положат «Жизнь» Мопассана — стрелка сейчас же показывает наивысшую ценность.

— И только!

— И только.

Я замолчал: мне показалось, что у моего собеседника голова не особенно приспособлена к теоретическому мышлению. Но у меня возник новый вопрос.

— Значит, вещи, созданные художниками Зоилии, тоже проверяют на измерителе?

— Это запрещено законом Зоилии.

— Почему?

— Пришлось запретить, потому что народ Зоилии на это не соглашается: Зоилия исстари — республика. «*Vox populi — vox dei*»¹ — это у них соблюдается буквально. — Человек с квадратным подбородком как-то странно улыбнулся. — Носятся слухи, что, когда их произведения попали на измеритель, стрелка показала минимальную ценность. Раз так, они оказались перед дилеммой: либо отрицать правильность измерителя, либо отрицать ценность своих произведений, а ни то, ни другое им не улыбалось. Но это только слухи.

В эту минуту пароход сильно качнуло, и человек с квадратным подбородком в мгновение ока скатился со стула. На него упал стол. Опрокинулась бутылка с водкой и рюмки. Слетели газеты. Исчез горизонт за окном. Треск разбитых

¹ «Глас народа — глас божий» (лат.).

тарелок, грохот опрокинутых стульев, шум обрушившейся на пароход волны. Крушение! Это крушение! Или извержение подводного вулкана...

Придя в себя, я увидел, что сижу в кабинете на кресле-качалке; оказывается, читая пьесу St. John Ervine «The Critics»¹, я вздремнул. И вообразил себя на пароходе, вероятно, потому, что качалка слегка покачивалась.

А человек с квадратным подбородком... иногда мне кажется, что это был Кумэ, иногда кажется, что не он. Так до сих пор и не знаю.

Январь 1917 г.

¹ Сент-Джон Эрвин, «Критики» (англ.).

СЧАСТЬЕ

Перед входом висела реденькая тростниковая занавеска, и сквозь нее все, что происходило на улице, было хорошо видно из мастерской. Улица, ведущая к храму Киёмидзу, ни на минуту не оставалась пустой. Прошел бонза с гонгом. Прошла женщина в роскошном праздничном наряде. Затем — редкое зрелище — проехала тележка с плетеным камышовым верхом, запряженная рыжим быком. Все это появлялось в широких щелях тростниковой занавески то справа, то слева и, появившись, сейчас же исчезало. Не менялся только цвет самой земли на узкой улице, которую солнце в этот предвечерний час пригревало весенним теплом.

Молодой подмастерье, равнодушно глядевший из мастерской на прохожих, вдруг, словно вспомнив что-то, обратился к хозяину-гончару:

— А на поклонение к Каннон-сама по-прежнему народ так и валит.

— Да! — ответил гончар несколько недовольно, может быть, оттого, что был поглощен работой. Впрочем, в лице, да и во всем облике этого забавного старичка с крошечными глазками и вздернутым носом злости не было ни капли. Одет он был в холщовое кимоно. А на голове красовалась высокая помятая шапка момиебоси, что делало его похожим на фигуру с картин прославленного в то время епископа Тобу.

— Сходить, что ли, и мне поклониться? А то никак в люди не выйду, просто беда.

— Шутишь...

— Что ж, привалило бы счастье, так и я бы уверовал. Ходить на поклонение, молиться в храмах — дело нетрудное,

было бы лишь за что! Та же торговля — только не с заказчиками, а с богами и буддами.

Высказав это со свойственным его возрасту легкомыслием, молодой подмастерье облизнул нижнюю губу и внимательно обвел взглядом мастерскую. В крытом соломой ветхом домике на опушке бамбуковой рощи было так тесно, что, казалось, стоит повернуться, и стукнешься носом о стену. Но зато, в то время как по ту сторону занавески шумела улица, здесь стояла глубокая тишина; словно под легким весенним ветром, обвевавшим красноватые глиняные тела горшочков и кувшинов, все здесь оставалось неизменным давным-давно, уже сотни лет. И казалось, даже ласточки и те из года в год вьют свои гнезда под кровлей этого дома...

Старик промолчал, и подмастерье заговорил снова:

— Дедушка, ты на своем веку много чего и видал и слышал. Ну как, и вправду Каннон-сама посылает людям счастье?

— Правда. В старину, слышал я, это часто бывало.

— Что бывало?

— Да коротко об этом не расскажешь. А начнешь рассказывать — вашему брату оно и не любопытно.

— Жаль, ведь и я не прочь уверовать. Если только привалит счастье, так хоть завтра...

— Не прочь уверовать? Или не прочь поторговать?

Старик засмеялся, и в углах его глаз собрались морщинки. Чувствовалось, что он доволен, — глина, которую он мял, стала принимать форму горшка.

— Помышлений богов — этого вам в ваши годы не понять.

— Пожалуй, что не понять, так вот я и спросил, дедушка.

— Да нет, я не о том, посылают ли боги счастье или не посылают. Не понимаете вы того, что именно они посылают — счастье или злосчастье.

— Но ведь если оно уже выпало тебе на долю, чего же тут не понять, счастье это или злосчастье?

— Вот этого-то вам как раз и не понять!

— А мне не так непонятно, счастье это или злосчастье, как вот эти твои разговоры.

Солнце клонилось к закату. Тени, падавшие на улицу, стали чуть длиннее. Таща за собой длинные тени, мимо занавески прошли две торговки с кадками на голове. У одной в

руке была цветущая ветка вишни, вероятно — подарок домашним.

— Говорят, так было и с той женщиной, что теперь на Западном рынке держит лавку с пряжей.

— Вот я и жду не дождусь рассказа, дедушка!

Некоторое время оба молчали. Подмастерье, пощипывая бородку, рассеянно смотрел на улицу. На дороге что-то белело, точно блестящие ракушки: должно быть, облетевшие лепестки цветов с той самой ветки вишни.

— Не расскажешь, а, дедушка? — сонным голосом проговорил подмастерье немного погодя.

— Ну ладно, так и быть, расскажу. Только это будет рассказ о том, что случилось давным-давно. Так вот...

С таким вступлением старик-гончар неторопливо начал свое повествование. Он говорил степенно, неторопливо, как может говорить только человек, не думающий о том, долгие ли, короток ли день.

— Дело было лет тридцать-сорок тому назад. Эта женщина, тогда еще девица, обратилась с молитвой к этой самой Каннон-сама в храме Киёмидзу. Просила, чтоб та послала ей мирную жизнь. Что ж, у нее как раз умерла мать, единственная ее опора, и ей стало трудно сводить концы с концами, так что молилась она не зря.

Покойная ее мать раньше была жрицей в храме Хакусюся и одно время пользовалась большой славой, но с тех пор как разнесся слух, что она знается с лисой, к ней никто почти больше не ходил. Она была моложавая, свежая, статная женщина, а при такой осанке — что там лиса, и мужчина бы...

— Я бы лучше послушал не о матери, а о дочери...

— Ничего, это для начала. Ну, когда мать умерла, девица одна своими слабыми руками никак не могла заработать себе на жизнь. До того дошло, что она, красивая и умная девушка, робела из-за своих лохмотьев даже в храме.

— Неужто она была так хороша?

— Да. Что нравом, что лицом — всем хороша. На мой взгляд, ее не стыдно было бы показать где угодно.

— Жаль, что давно это было! — сказал подмастерье, одергивая рукав своей полинялой синей куртки.

Старик фыркнул и не спеша продолжал свой рассказ. За домом в бамбуковой роще неумолчно пели соловьи.

— Двадцать один день она молилась в храме, и вот вечером в день окончания срока она вдруг увидела сон. Надо сказать, что среди молящихся, которые пришли на поклонение в этот храм, был один горбатый бонза, который весь день монотонно гнусавил какие-то молитвы. Вероятно, это на нее и подействовало, потому что, даже когда ее стало клонить ко сну, этот голос все еще неотвязно звучал у нее в ушах — точно под полом трещал сверчок... И вот этот звук вдруг перешел в человеческую речь, и она услышала: «Когда ты пойдешь отсюда, с тобой заговорит человек. Слушай, что он тебе скажет!»

Ахнув, она проснулась — бонза все еще усердно читал свои молитвы. Впрочем, что он говорил, она, как ни старалась, разобрать не могла. В эту минуту она безотчетно подняла глаза и в тусклом свете неугасимых лампад увидела лик Каннон-сама. Это был давно почитаемый, величавый, проникновенный лик. И вот что удивительно: когда она взглянула на этот лик, ей почудилось, будто кто-то опять шепчет ей на ухо: «Слушай, что он тебе скажет!» И тут-то она сразу уверилась, что это ей возвестила Каннон-сама.

— Вот так так!

— Когда совсем стемнело, она вышла из храма. Только она стала спускаться по пологому склону к Годзэ, как в самом деле кто-то сзади схватил ее в объятия. Стоял теплый весенний вечер, но, к сожалению, было темно, и потому не видно было ни лица этого человека, ни его одежды. Только в тот миг, когда она пыталась вырваться, она задела его рукой за усы. Да, в неподходящее время это случилось — как раз в ночь окончания срока молений!

Она спросила его имя — имени он не назвал. Спросила, откуда он, — не ответил. Он твердил лишь одно: «Слушай, что я тебе скажу!» И, крепко обняв, тащил ее за собой вниз по дороге, все дальше и дальше. Хоть плачь, хоть кричи — пора была поздняя, прохожих кругом никого, так что спасения не было.

— Ну а потом?

— Потом он втащил ее в пагоду храма Ясакадэра, и там

она провела ночь. Ну а что там случилось, об этом мне, старику, говорить, пожалуй, незачем.

Старик засмеялся, и в углах его глаз опять собрались морщинки. Тени на улице стали еще длиннее. Легкий ветерок сбил к порогу рассыпанные лепестки цветов вишни, и теперь они белыми крапинками виднелись среди камней.

— Да чего уж там! — сказал подмастерье, словно что-то вспомнив, и опять принялся щипать бородку. — Что же, это все?

— Будь это все, не стоило бы и рассказывать. — Старик по-прежнему мял в руках горшок. — Когда рассвело, этот человек — должно быть, так уж судила ему судьба — сказал ей: «Будь моей женой!»

— Да ну!

— Не будь у ней вещего сна — дело другое, ну а тут девушка подумала, что так угодно Каннон-сама, и потому утвердительно кивнула. Они для порядка обменялись чарками, и он со словами: «Это тебе для начала!» — вынес из глубины пагоды кое-что ей в подарок: десять кусков узорчатой ткани и десять кусков шелка. Да, такая штука тебе, как ни старайся, пожалуй, и не под силу!

Подмастерье усмехнулся и ничего не ответил. Соловьи больше не пели.

— Вскоре этот человек сказал ей: «Вернись вечером!» — и торопливо куда-то ушел. Осталась она одна, и тоска одолела ее еще пуще. Какая она ни была умница, но после всего, что случилось, у нее, конечно, руки опустились. Тут, чтобы как-нибудь развлечься, она так, случайно, заглянула в глубь пагоды — чего только там не было! Что парча или шелка! Там стояли бесчисленные ящики со всякими сокровищами — драгоценными камнями, золотым песком. От всего этого даже у храброй девушки екнуло сердце.

«Всяко бывает, но раз уж у него такие сокровища, сомнения нет. Он либо вор, либо разбойник!»

До сих пор ей было только тоскливо, но от этой мысли стало вдобавок страшно, и она почувствовала, что больше здесь ей не выдержать ни минуты. В самом деле, если она попала в руки к преступнику, кто знает, что еще ждет ее впереди?

Решила она бежать и кинулась было к выходу, но вдруг из-за корзины кто-то ее хрипло окликнул. Само собой, она испугалась — ведь она думала, что в пагоде нет ни души. Глядит — какое-то существо, не то человек, не то трепанг, сидит, свернувшись, между нагроможденными кругом мешками с золотым песком. Оказалось, это монахиня лет шестидесяти, сгорбленная, низенькая, вся в морщинах, с гноящимися глазами. Догадалась ли старуха, что задумала девушка, нет ли, только она вылезла из-за мешков и поздоровалась вкрадчивым голосом, какого нельзя было от нее ожидать, судя по ее виду.

Особенно бояться было нечего, но девушка подумала, что, если она выдаст свое намерение убежать отсюда, будет худо, и потому волей-неволей облокотилась на ящик и нехотя повела обычный житейский разговор. Старуха сообщила, что живет у этого человека в служанках. Но стоило девушке завести разговор о его ремесле, как старуха почему-то умолкала. Это тревожило девушку, к тому же монахиня была глуховата и сто раз переспрашивала одно и то же. Все это девушку расстроило чуть не до слез.

Так продолжалось до полудня. И вот пока беседовали они о том, что в Киёмидзу распустились вишни, о том, что закончена постройка моста Годзё, монахиня задремала, должно быть, от старости. А может быть, это случилось оттого, что отвечала девушка довольно лениво. Тогда девушка, улучив минуту, тихонько подкралась к выходу, прислушалась к сонному дыханию старухи, приоткрыла дверь и выглянула наружу. На улице, к счастью, не было ни души.

Если бы она тут же и убежала, ничего бы дальше и не было, но она вдруг вспомнила об узорчатой ткани и о шелке, которые получила утром в подарок, и тихонько вернулась за ними к ящикам. И вот, споткнувшись о мешок с золотым песком, она нечаянно задела за колено старухи. Сердце у нее замерло. Монахиня испуганно открыла глаза и сначала никак не могла понять, что к чему, но затем вдруг как полоумная вцепилась ей в ноги. И чуть не плача, что-то быстро забормотала. Из тех обрывков, которые улавливала девушка, только можно было понять, что если, мол, девушка убежит, то ей, старухе, придется плохо. Но так как оставаться

здесь было опасно, то девушка вовсе не склонна была прислушиваться к таким речам. Ну, тут они в конце концов и вцепились друг в друга.

Дрались. Лягались. Кидали друг в друга мешки с золотым песком. Такой подняли шум, что мыши чуть не попадали с потолочных балок. К тому же старуха дралась как бешеная, так что, несмотря на ее старческую немощь, совладать с ней было нелегко. И все же, должно быть, сказалась разница в летах. Когда вскоре после того девушка с узорчатой тканью и шелком под мышкой, задыхаясь, выбралась за дверь пагоды, монахиня осталась лежать недвижимой. Об этом девушка услышала уже потом — ее труп, с испачканным кровью носом, с ног до головы осыпанный золотым песком, лежал в полутемном углу лицом вверх, точно она спала.

Девушка же ушла из храма Ясакадэра, и когда наконец показались более населенные места, зашла к знакомому в Годзё-Кёгоку. Знакомый этот тоже сильно нуждался, но, может быть, потому, что она дала ему локоть шелка, принялся хлопотать по хозяйству: приготовил ванну, сварил кашу. Тут она впервые облегченно вздохнула.

— Да и я наконец успокоился!

Подмастерье вытащил из-за пояса веер и ловко раскрыл его, глядя сквозь занавеску на вечернее солнце. Только что между ними и заходящим диском солнца промелькнули с громким хохотом несколько похоронных факельщиков, а тени их еще тянулись по мостовой...

— Значит, на этом и делу конец?

— Однако, — старик покачал головой, — пока она сидела у знакомого на улице, вдруг поднялся шум и раздались злобные крики: поглядите, вот он, вот он! А так как девушка чувствовала себя замешанной в темное дело, у нее опять сжалось сердце. Вдруг тот вор пришел рассчитаться с ней? Или за ней гонится стража? От этих мыслей каша не лезла ей в горло.

— Да ну?

— Тогда она тихонько выглянула из щели приоткрытой двери: окруженные зэваками, торжественно шли пять-шесть стражников; их сопровождал начальник стражи. Они вели связанного мужчину в рваной куртке, без шапки. По-видимо-

му, поймали вора и теперь тащили его, чтоб на месте выяснить дело.

Этот вор — уж не тот ли самый, что заговорил с ней вчера вечером на склоне Годзэ? Когда она увидела его, ее почему-то стали душить слезы. Так она мне сама говорила, но это не значит, что она в него влюбилась, вовсе нет! Просто, когда она увидела его связанным, у нее сразу защемило сердце, и она невольно расплакалась, вот как это было. И вправду, когда она мне рассказывала, я сам расстроился...

— Н-да...

— Так вот, прежде чем помолиться Каннон-сама, надо подумать!

— Однако, дедушка, ведь она после этого все-таки выбилась из бедности?

— Мало сказать «выбилась», она живет теперь в полном достатке. А все благодаря тому, что продала узорчатую ткань и шелк. Выходит, Каннон-сама сдержала свое обещание!

— Так разве нехорошо, что с ней все это произошло?

Заря уже пожелтела и померкла. То там, то здесь еле слышно шелестел ветер в бамбуковой роще. Улица опустела.

— Убить человека, стать женой вора... на это надо решиться...

Засовывая веер за пояс, подмастерье встал. И старик уже мыл водой из кружки выпачканные глиной руки. Оба они как будто чувствовали, что и в заходящем весеннем солнце, и в их настроении чего-то не хватает.

— Как бы там ни было, а она счастливица.

— Куда уж!

— Разумеется! Да дедушка и сам так думает.

— Это я-то! Нет уж, покорно благодарю за такое счастье.

— Вот как? А я бы с радостью взял.

— Ну так иди, поклонись Каннон-сама.

— Вот-вот. Завтра же засяду в храме!

Январь 1917 г.

Давным-давно, давным-давно в глухой чаще росло огромное персиковое дерево. Нет, сказать просто «огромное» — этого, пожалуй, недостаточно. Его ветви простирались за облака, его корни доходили до Страны мрака на самом дне земли. В предании говорится, что еще при сотворении мира бог Идзанаги, чтобы отогнать от себя восемь громов на равнине между Страной мрака и Миром живых, швырнул в них персиком — вот из этого-то персика Века богов и выросло огромное персиковое дерево.

С тех пор как существует Вселенная, это дерево цветет раз в десять тысяч лет и раз в десять тысяч лет приносит плоды. Цветы его похожи на алые зонты, обрамленные золотой бахромой. Плоды — нужно ли говорить, что и плоды вырастают огромные. Но самое удивительное то, что каждый плод несет в себе вместо косточки младенца.

Давным-давно, давным-давно персиковое дерево, раскинув над горами и долинами свои ветки, сплошь покрытые плодами, купалось в лучах солнца. Плоды, появившиеся раз в десять тысяч лет, зрели тысячу лет и не падали на землю. Но однажды тихим утром судьба в облике священного ворона опустилась на одну из ветвей дерева. Ворон стал клевать только начавший краснеть самый маленький персик, и тот полетел вниз. Он пролетел сквозь густые облака и упал в далекую горную речку. Рассыпая белые брызги, речка текла между утесами, разумеется, в Страну людей.

Как попал к людям персик с младенцем после того, как он покинул глухую чащу далеко в горах? Вряд ли стоит подробно об этом рассказывать. Это знает каждый японский ребенок: старуха полоскала в горной речке белье старика, который ушел в лес за дровами...

Родившийся из персика Момотаро задумал покорить Онигасиму — Остров Чертей. Почему он это задумал? Да потому, что ему было противно работать в лесу, на реке или в поле, как это делали старик и старуха. Услыхав о его решении, старики, которым порядком надоел этот своенравный, вздорный мальчишка, чтобы поскорее избавиться от него, сразу же стали собирать его на войну — дали ему знамя, меч, походный плащ. Мало того, по требованию Момотаро в дорогу ему напекли еще просяных лепешек.

Итак, Момотаро с победоносным видом отправился в поход на Онигасиму. Ему повстречалась огромная бродячая собака, которая заговорила с ним, сверкая голодными глазами.

— Момотаро-сан. Момотаро-сан. Что это висит у тебя на поясе?

— Это просяные лепешки, лучшие из всех лепешек в Японии, — гордо ответил Момотаро. По правде говоря, он и сам сомневался, действительно ли его лепешки — лучшие в Японии. Но собака, услышав о просяных лепешках, тут же подбежала к нему.

— Дай мне лепешку, и я пойду с тобой.

Момотаро прикинул:

— Нет, целой лепешки я тебе дать не могу. Дам половину.

Собака продолжала скулить: «Дай целую». Но Момотаро не отступал от своего: «Дам половину». Сколько ни торгуйся, тот, кто ничем не владеет, подчиняется тому, кто чем-то владеет. Так и собака, тяжело вздохнув, пошла с Момотаро за половину просяной лепешки.

За половину просяной лепешки Момотаро, кроме собаки, взял в услужение еще обезьяну и фазана. Но, к несчастью, слуги Момотаро не ладили между собой. Собака, обладавшая мощными клыками, постоянно оставляла в дураках простодушного фазана. Фазан, сведущий в сейсмологии и других науках, постоянно оставлял в дураках глупую собаку. Ссоры между ними не прекращались ни на минуту — в общем, Момотаро, взяв в услужение собаку, обезьяну и фазана, не нашел в них надежных помощников.

А тут еще обезьяна, почувствовав тяжесть в желудке,

вдруг взбунтовалась. Она заявила, что надо еще хорошенько подумать, стоит ли за половину просяной лепешки сопровождать Момотаро в походе на Онигасиму. Собака с лаем бросилась на обезьяну и чуть не загрызла ее. Если бы фазан не унял собаку, обезьяна наверняка погибла бы тут же, на месте, еще до того, как ей отомстил краб. Но фазан кое-как утихомирил собаку, а обезьяну стал обучать принципам верности господину и убеждать ее подчиняться приказам Момотаро. Однако обезьяна, избежав клыков собаки, влезла на дерево, росшее у дороги, и не обращала внимания на увещания фазана. И только благодаря ловкости Момотаро все же удалось наконец уговорить обезьяну. Глядя на нее и обмахиваясь веером, на котором было изображено восходящее солнце, он спокойно сказал ей:

— Ну что ж, не хочешь — не иди со мной. Но когда Онигасима будет покорен, ты не получишь своей доли сокровищ.

Алчная обезьяна вытаращила глаза:

— Сокровищ? А разве на Онигасиме есть сокровища?

— Еще какие! Там есть такое чудесное сокровище — молоточек счастья, — достаточно постучать им, и у тебя будет все, что пожелаешь.

— Значит, с помощью этого молоточка можно будет добыть сколько угодно таких же молоточков, и тогда у каждого из нас будет все, что мы пожелаем. Это хорошо. Прошу вас, возьмите меня с собой.

Момотаро, сопровождаемый собакой, обезьяной и фазаном, снова пустился в путь, чтобы поскорее покорить Онигасиму.

Онигасима — остров, затерявшийся далеко в море. Но на нем были не только голые скалы, как думали люди. На самом деле остров был очаровательным райским уголком, где росли кокосовые пальмы и щебетали райские птички. Черти, родившиеся в таком раю, больше всего на свете любили, естественно, мирную жизнь. Или лучше сказать так: те, кого называли чертями, были расой, возвращенной в радости гораздо большей, чем та, которая досталась людям. Черти, о которых рассказано в повести об избавлении от горба, тан-

цевали ночи напролет. Черти, о которых рассказано в по-вести о маленьком монахе, тоже, не ведая о грозившей им опасности, любовались девушками, направлявшимися в храм. Сютэн-додзи, промышлявший в горах Оэяма, или Ибараги-додзи, промышлявший у ворот Расёмон, считаются редкостными злодеями. Но, может быть, Ибараги-додзи нежно любит тракт Судзаку, как мы любим Гиндзу, и поэто-му время от времени появлялся у ворот Расёмон, которые стоят на этом такте? А Сютэн-додзи, я в этом убежден, пре-спокойно распивал свою водку в какой-нибудь пещере в го-рах Оэяма. Слухи же о том, что он похищал женщин (я не собираюсь судить о том, справедливы они или нет), распус-кали сами женщины, вот и все. Но можно ли безоговорочно утверждать, что женщины всегда рассказывают о себе прав-ду — уже двадцать лет я в этом сомневаюсь. Что же касается Райко и четырех знаменитых героев, то, может быть, они просто питали чрезмерную слабость к женщинам.

В буйных тропических зарослях черти играли на кото и танцевали, читали стихи древних поэтов — жили в мире и покое. Жены и дочери чертей ткали, варили сакэ, плели венки — в общем, жили так, как живут наши жены и дочери. А седые, с выпавшими клыками ведьмы нянчили внуков и рассказывали о том, как страшны мы, люди:

— Если будете баловаться, вас отправят на Остров Лю-дей. Всех чертей, которые попадают на Остров Людей, там обязательно убивают, как убили в старые времена Сютэн-додзи. Что? Кто такие люди? Люди — это страшные сущест-ва, безрогие, с белыми руками и ногами. А женщины у них мажут лица, руки и ноги белилами. Уже этим все сказано. Мужчины и женщины у людей всегда врут, они алчные, рев-нивые, самодовольные, убивают своих друзей и единомыш-ленников, совершают поджоги, воруют, беспросветно неве-жественны...

4

Момотаро нагнал на ни в чем не повинных чертей такой ужас, какого им не приходилось переживать со дня основа-ния своего государства. С криками: «Человек! Человек!» — черти бросились врассыпную.

— Вперед! Вперед! Перебьем всех чертей до единого!

Это командовал своими слугами — собакой, обезьяной и фазаном — Момотаро, размахивая флагом с изображением персика и веером с изображением восходящего солнца. Со-бака, обезьяна и фазан, как мы знаем, не были образцовыми слугами. Но, пожалуй, на всем свете не сыскать солдат доб-лестнее, чем голодные животные. Они вихрем помчались за разбегающимися чертями. Собака своими мощными клыка-ми загрызала молодых чертей. Фазан острым клювом убивал чертенят. Обезьяна — она сродни людям, — прежде чем заду-шить юную ведьму, насильовала ее...

После того как все мыслимые и немыслимые преступле-ния были совершены, вождь и несколько оставшихся в жи-вых чертей сдались на милость Момотаро. Но действитель-но ли мог торжествовать Момотаро? Онигасима уже не был раем, где щебетали райские птицы, как это было еще вчера. Кокосовая роща была усыпана трупами чертей. Момотаро в сопровождении трех слуг, размахивая флагом, вышел к рас-простершемуся ниц вождю чертей и возвестил:

— Движимый чувством сострадания, дарую вам жизнь. Но за это вы должны преподнести мне все без остатка со-кровища Онигасимы.

— Согласны, преподнесем...

— Кроме того, вы дадите мне в заложники своих детей.

— Слушаемся, исполним и это.

Вождь чертей снова уткнулся лбом в землю, а потом с опаской обратился к Момотаро:

— Мы знаем, что наказаны за нанесенное вам оскорбле-ние. Но ни я, ни черти с нашего острова Онигасимы не име-ем понятия, какое именно оскорбление мы нанесли вам. Не будете ли вы столь любезны объяснить, чем мы вас оскор-били?

Момотаро невозмутимо кивнул:

— Лучший из всех японцев, Момотаро, нанял трех вер-ных слуг: собаку, обезьяну и фазана — вот почему он пришел покорять Онигасиму.

— Понятно, но зачем вы наняли этих трех слуг?

— Я уже давно задумал покорить Онигасиму и поэтому с

помощью просяных лепешек нанял слуг. Ну как? Если ты скажешь, что и теперь не понимаешь, я всех вас перебью.

Вождь чертей испугался и, отскочив на почтительное расстояние, согнулся в поклоне.

5

Лучший из всех японцев, Момотаро, и его слуги — собака, обезьяна и фазан — впрягли в повозки с сокровищами чертенят, взятых в заложники, и с триумфом возвратились на родину... Это хорошо известно каждому японскому ребенку. И все же жизнь Момотаро не была счастливой. Чертенята, осмелев, убили сторожившего их фазана и сбежали обратно на Онигасиму. Но этого мало. Оставшиеся на острове черти время от времени переправлялись через море и то пытались убить спящего Момотаро, то поджигали его дворец. Во всяком случае, обезьяну, как утверждают, убили по ошибке. Момотаро лишь тяжело вздыхал, когда на него обрушивалось очередное несчастье.

— Как я страдаю от мстительности этих чертей!

— Действительно, негодяи, — забыть о благоденствии хозяина, даровавшего им жизнь, — причитала собака, участливо глядя на скорбное лицо Момотаро.

А в это время на побережье Онигасимы молодые черти, облитые светом прекрасной тропической луны, делали из кокосовых орехов бомбы, чтобы добиться независимости своего острова. Они забыли даже о любви к прекрасным юным ведьмам и работали молча, мрачно сверкая огромными, как плоски, глазами...

В неведомой людям глухой чаще далеко в горах и теперь, как и в старину, растет вознесшееся в заоблачную высь огромное персиковое дерево, сплошь усыпанное плодами. В горную реку упал и уплыл по ней, как известно, только тот, один персик, в котором был Момотаро. Но в растущих на дереве плодах спит несметное множество будущих героев. Когда же на ветке персикового дерева снова появится огромный священный ворон? Да, в растущих на дереве плодах спит несметное множество будущих героев...

ДВА ПИСЬМА

Случайно мне в руки попало два письма, которые я привожу ниже. Одно из них относится к середине февраля этого года, другое — к началу марта. Они адресованы начальнику полицейского управления и отправлены с оплаченным ответом. Письма, я надеюсь, сами объяснят, почему я решил опубликовать их.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Господин начальник полицейского управления!

Прежде всего убедительно прошу Вас поверить мне, что я нахожусь в здравом уме. Клянусь в этом всеми святыми. Еще раз настоятельно прошу Вас поверить, что психическим расстройством я не страдаю. В противном случае отправка Вам этого письма, боюсь, лишена всякого смысла. Итак, какие же страдания вынудили меня написать это длиннейшее письмо?

Я долго колебался, прежде чем решил обратиться к Вам. Почему? — потому что в своем письме я вынужден раскрыть тайну своей семьи. Это, разумеется, нанесет огромный ущерб моему доброму имени, но я дошел до такого состояния, когда каждый миг моей жизни доставляет мне такие невероятные муки, что я просто вынужден обратиться к Вам. Наконец-то я нашел в себе силы перейти к решительным действиям.

Справедливо ли меня, вынужденного прибегнуть к помощи полиции и написавшего это письмо, считать душевнобольным и не придать моим словам никакого значения? Я снова обращаюсь к Вам с просьбой. В любом случае не

ставьте под сомнение факт, что я в здравом уме. И последней, хоть это и обременительно, все же прочитайте мое письмо до конца. Ведь я написал его, поставив на карту не только свое доброе имя, но и доброе имя моей жены.

Я назойливо повторяю одно и то же, совсем не заботясь о том, чтобы избавить от ненужных беспокойств Вас, человека, перегруженного делами, не имеющего свободной минуты. Но факты, о которых я собираюсь говорить, таковы, что совершенно необходимо, чтобы у Вас не возникло ни малейшего сомнения в моем здравом рассудке. В противном случае сможете ли Вы поверить в эти сверхъестественные факты? Сможете ли Вы считать мыслимыми удивительные превращения созидательной энергии, о которых я собираюсь рассказать. Факты, к которым я решаюсь привлечь Ваше внимание, носят чрезвычайно таинственный характер. Именно поэтому я и решился обратиться к Вам с вышеизложенной просьбой. Написанное мной, не исключено, будет воспринято как обычная шутка. Но тогда, с одной стороны, это явится доказательством, что психическим расстройством я не страдаю, а с другой — наведет Вас на мысль, что совершенно определенная необходимость заставила меня сделать так, чтобы Вы убедились в мыслимости подобных фактов.

Пожалуй, одним из самых примечательных примеров в этой области были явления, наблюдавшиеся еще у Екатерины II. Не менее примечательными были явления, наблюдавшиеся затем у Гёте. Однако они уже давно широко известны, и здесь я их сознательно не буду касаться. Лучше я на двух-трех достаточно показательных примерах попытаюсь кратко объяснить характер таинственных фактов, о которых собираюсь рассказать. Начну со случая, который приводит Dr. Werner. По его сведениям, владелец ювелирного магазина в Людвигсбурге Retrel поздно вечером шел по улице и, в тот момент когда он поворачивал за угол, неожиданно столкнулся лицом к лицу с человеком, который был точной его копией. Вскоре Retrel, помогая дровосеку свалить дуб, был придавлен этим деревом и погиб. Примерно такой же случай произошел с профессором математики из Ростока по

фамилии Becker. Однажды вечером Беккер вел богословский спор с несколькими своими приятелями, и, чтобы привести необходимую цитату, ему понадобилась книга, за которой он направился в свой кабинет. Войдя туда, Беккер увидел, что еще один он сидит в его собственном кресле и читает какую-то книгу. Пораженный, он заглянул через плечо этого человека, чтобы посмотреть, что за книгу тот читает. Это оказалась Библия, причем палец правой руки человека указывал на строку: «Позаботься о своей могиле. Ты умрешь». Вернувшись в комнату, где сидели его приятели, Беккер сказал, что приближается час его смерти. И действительно, на следующий день, в шесть часов вечера, он тихо скончался.

Приведенные мной случаи наводят на мысль, что встреча с Doppelgänger'ом¹ есть предупреждение о смерти. Однако это совсем не обязательно. Dr. Werner описывает случай, когда женщина по фамилии Дилениус, ее шестилетний сын и сестра мужа встретили ее саму в черном платье, но никакого несчастья от этого не произошло. Это событие может служить примером того, что подобное явление наблюдают также и третьи лица. В это же число можно, пожалуй, включить приводимые профессором Stilling'ом случаи с чиновником Триплином из Веймара и знакомыми профессора по имени М.

Далее, не редки и такие случаи, когда двойники являются только третьему лицу. Есть сведения, что и сам Dr. Werner видел раздвоившуюся личность своей служанки. Человек по имени Pflazer, председатель верховного суда Ульма, свидетельствует, что его приятель увидел в своем кабинете сына, находившегося в Геттингене. К этому можно прибавить приводимый автором «Исследований, касающихся свойств привидений» факт, как семилетняя девочка увидела около какринтонской церкви в Кампланде раздвоившуюся личность своего отца, и приводимый автором «Таинственных сторон природы» факт, как некий ученый и художник Н. в ночь на 12 марта 1792 года увидел раздвоившуюся лич-

¹ Doppelgänger (нем.) — двойник.

ность своего дяди — в общем, можно привести множество подобных фактов.

Я думаю, мне не следует, умножая их, попусту занимать Ваше драгоценное время. Прошу Вас лишь об одном — верьте, что все приведенные мной факты неопровержимы. В противном случае то, о чем я собираюсь рассказать, возможно, покажется Вам недостойной внимания глупостью. Дело в том, что у меня самого есть двойник, доставляющий мне безмерные страдания. Именно в связи с этим я и хочу обратиться к Вам с просьбой.

Я написал «у меня есть двойник». Но если быть скрупулезно точным, нужно говорить о моем двойнике и двойнике моей жены.

Я живу в доме номер... квартала... по улице... района... Мое имя Сасаки Синъитиро. Возраст — тридцать пять лет. С момента окончания философского отделения факультета гуманитарных наук Токийского императорского университета и до настоящего времени я преподаю логику и английский язык в частном университете. Имя моей жены Фусако, мы поженились четыре года назад. В этом году ей исполняется двадцать семь лет, но детей у нас еще нет. Я бы хотел специально обратить Ваше внимание на то, что жена страдает истерией. Болезнь ее особенно обострилась вскоре после замужества — временами на нее находила такая тоска, что она даже со мной почти переставала разговаривать. Но в дальнейшем такие приступы совсем прекратились и, если сравнивать ее настроение с тем, каким оно было раньше, она стала даже чрезмерно оживленной.

Однако с осени прошлого года в ее душевном состоянии, видимо, снова наступила перемена, и теперь она нередко огорчает меня несуразными словами и поступками. Почему я всячески подчеркиваю истерию моей жены? Потому что она определенным образом связана с моим собственным толкованием странных явлений — подробно о своих толкованиях я расскажу чуть ниже.

Факт появления моего двойника и двойника моей жены наблюдался трижды. Я попытаюсь, используя свой дневник, с предельной точностью описать каждый из этих случаев.

Первый произошел седьмого ноября прошлого года примерно между девятью и половиной десятого вечера. В тот день мы с женой пошли в театр Юракудза на благотворительный концерт. Буду откровенным до конца — билеты на концерт любезно дали нам наши приятели супруги N, которым их навязали почти насильно, — сами они по какой-то причине не могли пойти. Подробно рассказывать о самом концерте особой необходимости нет. Честно говоря, я не питаю любви ни к пению, ни к танцам и пошел на концерт ради жены, поэтому большая часть программы лишь нагоняла на меня скуку. И если бы я вдруг решил рассказать о том, что видел, то, наверно, не смог бы, так как почти ничего не запомнил. В памяти осталось только «Повествование о турнире пред светлыми очами сёгуна в годы Канъэй», исполненное перед самым антрактом. Меня не покидает мысль: может быть, слушая это повествование, я освободился от подсознательно испытываемого мной тревожного предчувствия, что меня ждет что-то необычное.

Во время антракта, выйдя в фойе, я сразу же оставил жену и пошел в уборную. Нужно ли говорить, что во время антракта тесное фойе битком набито зрителями. Протискиваясь через толпу, я возвращался из уборной, и в том месте, где дугообразное фойе переходит в холл, мой взгляд, как я и ожидал, упал на жену, стоявшую у противоположной стены. Жена, скромно потупившись, будто в глаза ей бил яркий электрический свет, стояла неподвижно, в профиль ко мне. В этом не было ничего сверхъестественного. Страшный миг, чуть было не уничтоживший мою власть над зрением, а может быть, и власть над разумом, наступил, когда мой взгляд неожиданно — нет, лучше сказать, по какой-то недоступной человеческому уму таинственной причине — был привлечен мужчиной, стоявшим спиной ко мне рядом с женой.

Я сразу же признал в этом мужчине самого себя.

Мое второе «я», так же как и мое первое «я», было в хаори. Как и на первом моем «я», на нем были надеты хакама. И поза была совершенно той же, что у первого моего «я». Если бы этот человек повернулся в мою сторону, у него, на-

верно, и лицо оказалось бы таким же, как у меня. Просто не знаю, как лучше описать свое состояние. Вокруг меня беспрерывным потоком текли люди. Над моей головой множество электрических ламп излучали яркий свет — было светло как днем. Я бы сказал так: передо мной, сзади меня, слева и справа кипела жизнь совершенно несовместимая с какой бы то ни было таинственностью. И вот в этом вполне реальном мире я неожиданно увидел своими глазами сущее вне сущего. Моя галлюцинация от этого представилась мне еще более сверхъестественной. Мой страх от этого стал еще ужаснее. Если бы в эту минуту жена не подняла глаз и не посмотрела в мою сторону, я бы, наверно, громко закричал, чем привлек бы внимание окружающих к страшному призраку.

Но, к счастью, взгляд жены встретился с моим взглядом. И в то же мгновение мое второе «я» с быстротой, с какой разбегаются трещины на стекле, исчезло из моего поля зрения. Точно сомнамбула, в совершенной растерянности, я подошел к жене. Но, видимо, мое второе «я» осталось для жены невидимым. Когда я подошел к ней, она совершенно невозмутимо сказала: «Как ты долго». Потом, посмотрев на меня, спросила теперь уже с беспокойством: «Что случилось?» Я уверен, что мое лицо было пепельно-серым.

Отирая холодный пот, я колебался, рассказать жене о сверхъестественном явлении, которое я только что наблюдал, или нет. Но, увидев ее обеспокоенное лицо, подумал, что я просто не решусь рассказать ей о случившемся. И тогда, чтобы не волновать жену еще больше, я решил промолчать о моем втором «я».

Я бы ни за что не смог принять такого решения, если бы жена не любила меня и если бы я не любил жену. Я утверждаю это с полной ответственностью. Мы до сих пор горячо любим друг друга. Но люди не хотят этого признавать. Люди не хотят признать, что жена любит меня. Это ужасно. Это позорно. Я считаю, что это гораздо унижительнее утверждения, что я не люблю жену. Люди идут еще дальше — они высказывают сомнение в верности моей жены...

Преисполненный негодования, я непроизвольно уклонился от темы.

С того вечера мной овладело беспокойство. Ведь появление двойника, как видно из приведенных мной выше примеров, предвещает смерть. В такой тревоге я прожил месяц, но ничего не случилось. Потом наступил Новый год. Я, разумеется, не забыл свое второе «я». Но время шло, и мой страх, моя тревога постепенно улеглись — в конце концов я решил забыть всю эту историю, считая случившееся галлюцинацией.

И вот, чтобы наказать меня за беспечность, мое второе «я» снова появилось передо мной.

Это случилось семнадцатого января, в понедельник, примерно в полдень. В тот день я был в университете, и ко мне неожиданно зашел старый приятель — во второй половине дня занятий у меня не было, и мы вместе вышли из университета и поехали в кафе на Суругадайсита, чтобы поесть. Как Вам известно, на Суругадайсита, у перекрестка, висят огромные часы. Когда мы сходили с трамвая, я обратил внимание, что стрелки часов показывают четверть первого. Почему-то я испытал тогда страх от неподвижности белого циферблата огромных часов на фоне заснеженного свинцового неба. Возможно, и это тоже служило предзнаменованием того, что случилось? Неожиданно охваченный страхом, я непроизвольно перевел взгляд с огромных часов на магазин Наканисия, находившийся неподалеку от трамвайной линии. У одного из красных столбов, подпиравших выдвинутую вперед крышу магазина, мирно стояли рядом я и моя жена.

Жена была в черном пальто, из-под которого выглядывал темно-коричневый шарф. Она, казалось, что-то говорила мне, моему второму «я», в сером пальто и черной шляпе. Вы представляете, в тот день мое первое «я» тоже было в сером пальто и черной шляпе. С каким страхом смотрел я на эти два призрака! С какой ненавистью смотрел я на них! Особенно когда увидел, какой лаской полны глаза жены, устремленные на мое второе «я» — мне представилось это кошмарным сном. Мне даже не хватает мужества, чтобы снова

вернуться к тому состоянию, в котором я был тогда. Непроизвольно схватив приятеля за локоть, я в полной растерянности сошел с трамвая и застыл как изваяние. Поистине Божеской милостью было то, что в эту минуту с грохотом мчащийся с горы, от Суругадай, трамвай заслонил от меня сцену у магазина. Мы с приятелем стояли как раз на перекрестке трамвайных линий.

Трамвай быстро промчался мимо нас. Теперь перед моими глазами был лишь красный столб у магазина Наканисия. Призраков, которых на миг заслонил трамвай, нигде не было видно. Я шел быстрым шагом, увлекая за собой приятеля, удивленно смотревшего на меня, и со смехом рассказывая ему разные истории, в которых не было ничего смешного. И то, что мой приятель после нашей встречи стал распускать слухи о том, что я сошел с ума, нет ничего удивительного, имея в виду мое ненормальное поведение в тот день. Но я считаю для себя крайне оскорбительным, что причиной моего помешательства он считает неверность жены. Недавно я послал ему письмо, в котором поставил его в известность, что порываю с ним всякие отношения.

Я слишком конспективно излагаю факты и поэтому не привожу доказательств, что жена, которую я тогда видел, на самом деле была ее двойником. В тот день около полудня жена никуда не выходила из дому. Это подтверждает прежде всего сама жена, а также наша служанка. Кроме того, жена, которая впала в меланхолию, как она сказала, из-за головной боли, — и не собиралась никуда выходить. В таком случае кем, как не двойником жены, была та, которую я увидел. Я до сих пор отчетливо помню лицо жены, когда на мой вопрос, не выходила ли она из дому, она, сделав большие глаза, ответила: «Нет». Если бы, как говорят люди, жена меня обманывала, ей бы ни за что не удалось изобразить на лице такую детскую непосредственность.

Я никак не мог поверить в объективное существование моего второго «я» и, разумеется, начал с того, что усомнился в нормальности своего психического состояния. Но мой мозг в полном порядке. Я могу спокойно спать. Могу заниматься. Правда, с тех пор, как я снова увидел своего двойни-

ка, я стал немного пуглив, но это лишь следствие того, что я столкнулся со столь таинственным явлением, а отнюдь не причина. Я просто вынужден был поверить в это сущее вне сущего.

Однако и в тот раз я снова ничего не рассказал жене о призраках. И если бы судьба позволила, я бы до сих пор хранил молчание. Но мое упрямое второе «я» явилось мне в третий раз. Это произошло в прошлую субботу, то есть тринадцатого февраля, около семи часов вечера. И тогда создалось такое положение, что мне пришлось обо всем откровенно рассказать жене. Что мне было делать, если другого средства предотвратить несчастье не существовало. Но об этом я расскажу позже.

В тот день — это было как раз после ночного дежурства — я, закончив занятия, решил, по совету университетского врача, на машине побыстрее вернуться домой, так как меня мучила жестокая желудочная колика. Дождь лил с полудня, а тут еще поднялся ветер, и, когда я подъезжал к дому, разыгралась настоящая буря. У дома я расплатился с шофером и побежал к парадному. Преграждавшая вход решетка была, как всегда, заперта изнутри на крючок. Я мог откинуть его находясь снаружи и, быстро распахнув решетку, вошел в прихожую. Видимо, из-за сильного дождя звук открываемой решетки не был слышен. Ко мне никто не вышел. Я снял ботинки, повесил на вешалку шляпу и пальто и раздвинул внутреннюю перегородку, отделяющую кабинет. У меня вошло в привычку по дороге в гостиную оставлять здесь набитый учебниками и бумагами портфель.

И тут моему взору открылась невероятная картина. Стол у окна, выходящего на север, вертящееся кресло перед ним, книжные полки вдоль стен — все это, разумеется, осталось на своих местах. Но что за женщина стоит у стола в профиль ко мне, что за мужчина сидит в вертящемся кресле? Так я чуть ли не нос к носу столкнулся с моим двойником и двойником жены. Как я ни пытаюсь вычеркнуть из памяти страшное впечатление тех минут, мне этого не удастся. От порога, где я стоял, эти два человека, обращенные к столу, были видны в профиль. В холодном свете, шедшем из окна,

их лица отбрасывали резкие тени. Стоявшая перед ними на столе лампа под желтым шелковым абажуром показалась мне почти черной. Странная ирония судьбы. Они читали мой дневник, в котором я описывал это сверхъестественное явление. Я сразу же узнал, что книга, лежащая раскрытой на столе, именно мой дневник.

Когда я увидел эту картину, страшный крик, запомнилось, сорвался с моих губ — не знаю, что я кричал. Мне запомнилось также, что на мой крик призраки повернулись в мою сторону. Если бы они не были призраками, то уж во всяком случае от моей жены, бывшей одной из тех, кого я увидел, мне бы несомненно удалось узнать, что со мной случилось тогда. Но сделать это, разумеется, невозможно. Я твердо помню лишь, что почувствовал страшное головокружение — больше я не помню ничего. Я упал и потерял сознание. Когда жена, испуганная стуком, прибежала из гостиной, эти проклятые призраки уже, видимо, исчезли. Жена оставила меня в кабинете, быстро принесла пузырь со льдом и положила его мне на лоб.

Я пришел в себя минут через тридцать. Жена, увидев, что ко мне вернулось сознание, вдруг громко расплакалась. Она никак не могла понять случившееся. «Вы в чем-то меня подозреваете. Правда? Почему вам не поговорить со мной откровенно?» — упрекала она меня. Вам уже известно, что некоторые высказывали сомнение в верности моей жены. В то время подобные разговоры уже стали доходить до меня. Не исключено, что и жена от кого-то узнала об этих ужасных слухах. Я чувствовал, что слова жены связаны с опасением, не испытываю ли и я таких подозрений. Видимо, она думала, что такого рода подозрения и явились причиной случившегося. Кроме того, мое молчание могло лишь еще больше расстроить жену. Слегка, чтобы со лба не упал пузырь со льдом, я повернулся к жене и сказал: «Прости. Я действительно кое-что скрывал от тебя». И подробно рассказал ей о том, как мне трижды являлся двойник. «И слухи, как мне кажется, тоже распускаются людьми потому, что кто-то из них видел вместе наших с тобой двойников. Я тебе верю до конца. Прошу тебя, верь и ты мне». Последние сло-

ва я особо подчеркнул. Но для жены, слабой женщины, стать объектом подозрений окружающих было мучительно. Или, возможно, существование двойника — явление слишком необычное, чтобы развеять подозрения. Сидя у моей постели, жена долго плакала, громко всхлипывая.

Ссылаясь на примеры, приведенные мной выше, я настойчиво доказывал жене, что существование двойника вполне возможно. Вы понимаете, у такой женщины, как моя жена, страдающей истерией, особенно легко могут возникнуть подобные удивительные явления. В книгах можно найти сколько угодно примеров, подтверждающих это. Например, сомнамбула Auguste Müller демонстрировал раздвоение личности. Правда, здесь возможны серьезные возражения, сводящиеся к тому, что, поскольку в данном случае двойник появляется по воле сомнамбулы, это не подходит к случаю моей жены, полностью лишенной воли. Но может возникнуть и такое сомнение: если даже допустить, что раздвоение личности жены и можно объяснить хотя бы таким образом, раздвоение моей личности вообще необъяснимо. Но все эти вопросы не настолько сложны, чтобы я затруднился ответить на них. Почему? Да потому, что не подлежит никакому сомнению факт, что иногда встречаются индивиды, способные вызывать не своего двойника, а двойника другого человека. Судя по письму, которое получил Dr. Werneg от Франса фон Баделя, Эккерцхаузен незадолго до смерти публично заявил, что обладает способностью вызывать двойника другого человека. Что же касается второго вопроса, то он аналогичен первому — все сводится к тому, была на то воля жены или нет. И говорить в таком случае о наличии или отсутствии воли, как это ни покажется неожиданным, совершенно неправомерно. Действительно, не подлежит сомнению, что жена не имела намерения вызвать двойника. Но в то же время неотрывно думала обо мне. Или, возможно, хотела куда-то пойти вместе со мной. Разве же нельзя представить себе, что у человека психического склада моей жены это могло привести к тому же результату, как и непосредственное намерение вызвать двойника? Во всяком случае, я уверен, что это вполне возможно. Более того, известны и

другие случаи, подобные тому, который произошел с моей женой.

Говоря все это, я пытался утешить жену. В конце концов мне удалось ее убедить. Она перестала плакать и, пристально посмотрев на меня, сказала: «А тебя все равно жалко».

Вот в основном все, что я хотел рассказать Вам о пережитом мной раздвоении личности. Все случившееся было нашим с женой секретом, и я до сих пор никому не обмолвился об этом ни словом. Но сейчас наступило время сделать это. Окружающие стали открыто издеваться надо мной. Мало того — стали открыто враждебно относиться к моей жене. В последнее время мимо моего дома ходят люди, распеваяющие песни, в которых высмеивается неверность моей жены. Разве я могу закрывать на это глаза?

И все же я обращаюсь к Вам не только потому, что мы с женой подвергаемся ничем не оправданным оскорблениям. Дело в том, что в результате оскорблений, которые моей жене приходится выносить, у нее все больше развивается истерия. По мере же развития истерии появление двойника может значительно участиться. В этом случае сомнения людей в верности моей жены возрастут еще больше. Я просто не представляю себе, как разрешить дилемму.

Оказавшись в подобном положении, я прибегаю к последнему, к единственному средству — вверяю себя Вашей защите. Прошу Вас, верьте всему, что я рассказал. Прошу Вас, проявите сочувствие к нам с женой, страдающим от людской жестокости. Один из моих коллег в моем присутствии громко, захлебываясь от возбуждения, рассказал о прелюбодеянии, о котором он вычитал в газете. А мой университетский сокурсник прислал письмо, в котором, иронизируя над неверностью моей жены, рекомендовал мне развестись с ней. Больше того, студенты, которым я преподаю, не только перестали внимательно слушать мои лекции, но дошли до того, что на доске в аудитории нарисовали карикатуру на меня и на жену и сделали под ней подпись: «Поздравляем, поздравляем». Но все эти люди в той или иной степени все же связаны со мной, в последнее же время я нередко стал подвергаться унижительным оскорблениям со

стороны совершенно посторонних людей. Один из них прислал анонимную открытку, в которой пишет, что жена ведет себя по-скотски. Другой со значительно большим умением, чем студенты, сделал на черной стене моего дома двусмысленный рисунок и непристойную надпись. А еще один — в полном смысле слова нахал — пробрался к нам в дом и подсматривал, как мы с женой ужинаем. Как Вы считаете, разве такое поведение достойно человека?

Я написал Вам письмо только для того, чтобы рассказать обо всех этих фактах. Какие меры должны принять власти к тем, кто оскорбляет и запугивает нас с женой, — целиком находится в Вашей компетенции, и в мою компетенцию не входит. Но я позволю себе выразить уверенность, что Вы, человек достаточно мудрый, должным образом употребите свою власть в моих интересах и интересах моей жены. Я убедительно прошу Вас сделать все от Вас зависящее, чтобы наша эпоха всеобщего мира и благоденствия ничем не омрачалась.

Всегда готов ответить на все Ваши вопросы, если таковые появятся. Разрешите на этом закончить.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Господин начальник полицейского управления,

Ваша халатность навлекла на нас с женой ужасное несчастье. Моя жена вчера неожиданно исчезла, и, что сейчас с ней, мне неизвестно. Я беспокоюсь за ее судьбу. Не покончила ли она с собой, не в силах вынести преследования окружающих?

В конце концов они убили безвинного человека. И Вы тоже, вольно или невольно, оказались соучастником этого отвратительного преступления.

Сегодня я намерен переселиться в другой район. Могу ли я испытывать впредь хотя бы минимальное чувство покоя, когда мою безопасность обеспечивает находящаяся в Вашем ведении бездеятельная и бессильная полиция?

Ставлю Вас в известность, что позавчера я ушел из университета. Я собираюсь теперь отдать все свои силы изучению сверхъестественных явлений. Вы, как и боль-

шинство людей, наверно, саркастически улыбнетесь, узнав о моем намерении. Но разве это не позор, когда начальник полицейского управления решительно отвергает сверхъестественные явления, с которыми ему самому пришлось столкнуться?

Вам следовало бы задуматься над тем, как мало знают люди. Среди используемых Вами агентов многие страдают такими ужасными заразными болезнями, которые Вам и во сне не снились. Кроме меня, почти ни один человек не знает того факта, что эти болезни мгновенно передаются, причем главным образом через поцелуй. Примеры, которые я бы мог привести, разрушили бы до основания Ваше высокомерие...

Далее следуют бесконечные философские рассуждения, лишенные почти всякого смысла. Я решил не приводить их здесь, поскольку в них нет никакой необходимости.

ОИСИ КУРАНОСКЭ В ОДИН ИЗ СВОИХ ДНЕЙ

На плотно задвинутые сёдзи падал яркий солнечный свет, и тень старого вишневого дерева на несколько кэн — от правого края до левого — четко, как на картине, выделялась на всем этом освещенном пространстве. Оиси Курано́скэ Ёсика́цу, бывший вассал Аса́но Та́куми-но ка́ми, а ныне узник в доме князя Хосока́ва, сидел спиной к сёдзи, прямой, со скрещенными ногами, и не отрываясь читал. Это был, кажется, какой-то том «Троецарствия», который ему одолжил один из вассалов Хосокава.

Обычно в этой комнате находилось девять человек, но сейчас Ката́ока Гэнгоэмо́н вышел в отхожее место; Хая́ми Годзаэмо́н отправился поболтать в нижнюю комнату и еще не возвратился; остальные шестеро — Ёси́да Тюдзаэмо́н, Ха́ра Соэмо́н, Ма́са Кюда́йю, Оно́дэра Дзюна́й, Хори́бэ Яхэ́й и Хадза́ма Кихэ́й, — как будто не замечая солнца, освещавшего сёдзи, были погружены в чтение или заняты писанием писем. И не потому ли, что они, все шестеро, были люди старые — каждому перевалило за пятьдесят, — в комнате, чуть тронутой весной, было зловеще тихо. Даже когда кто-нибудь покашливал, звук был не настолько силен, чтобы поколебать застоявшийся в комнате легкий запах туши.

Курано́скэ отвел глаза от «Троецарствия» и, устремив взор куда-то вдаль, тихонько положил руки на стоявшее возле него хибати. В хибати, накрытом металлической сеткой, под тлевшими угольками поблескивали, освещая пепел, красивые красные огоньки. Курано́скэ ощутил их тепло, и душу его охватило чувство спокойной удовлетворенности. Той самой удовлетворенности, которую в пятнадцатый день последнего месяца прошлого года, после отмщения за своего

погибшего господина, когда они все ушли в храм Сэнгакудзи, он выразил в стихе:

Какая радость!
 Рассеялись заботы.
 Отдал я жизнь.
 Ясна луна на небе,
 Сошли с нее все тучи.

Как прожил он, стгорая от нетерпения и изощряясь в хитростях, эти долгие дни и месяцы, почти целых два года после того, как покинул замок Аки! Уже одно то, что приходилось терпеливо ждать, пока созреет случай, и при этом сдерживать пыл своих горячих товарищей, было совсем нелегко. К тому же за ним неотступно следил Сайсаку, подсланный домом его врага. Приходилось обманывать Сайсаку, маскируясь разгулом, и вместе с тем рассеивать подозрения друзей, которых этот разгул вводил в заблуждение. Он вспоминал про их прежние совещания в Ямасина и в Маруяма, и в его душу снова вернулось было тяжелое чувство. Но все пришло к тому, к чему шло.

Если что-либо и оставалось незавершенным, то это только приговор — приговор всем сорока семи. Но этот приговор, несомненно, не так уж далек. Да. Все пришло к тому, к чему шло. И дело не только в том, что свершен акт мести. Все произошло в той форме, которая почти полностью отвечала его моральным требованиям. Он чувствовал не только удовлетворение от исполнения долга, но и удовлетворение от воплощения в жизнь высоко нравственных начал. Думал ли он о цели мщения, думал ли о его средствах, — его чувство удовлетворения не омрачал никакой укор совести. Могло ли для него существовать удовлетворение выше?

При этих словах морщины между сдвинутыми бровями Кураноскэ разгладились, и он обратился через хибати к Ёсида Тюдзаэмону, который тоже, по-видимому, устал читать и теперь чертил что-то пальцем у себя на коленях, на которые опустил книгу.

— Сегодня как будто очень тепло.

— Да... Когда вот так сидишь, то, должно быть, оттого, что очень тепло, страшно хочется спать.

Кураноскэ усмехнулся. В его памяти вдруг всплыли стро-

ки стихов, которые в день Нового года сложил Томимори Скээмон после трех чарок новогоднего вина:

Весна сегодня,
 И даже самураю
 Соснуть не стыдно.

И эти строки дышали такой же удовлетворенностью, какую он сейчас чувствовал.

— Это и есть расслабление духа, которое означает, что задуманное исполнено.

— Да, пожалуй.

Тюдзаэмон поднял трубку, лежавшую тут же, и потихоньку затянулся. Голубоватый дымок чуть-чуть затуманил послеполуденный весенний воздух и исчез в светлой тиши.

— Мы ведь никак не думали, что сможем еще проводить такие мирные дни.

— Да, мне и во сне не снилось, что я встречу еще один Новый год.

— У меня все время такое чувство, будто мы — настоящие счастливицы.

Она с довольной улыбкой переглянулись.

Если бы в этот миг на сѣдзи позади Кураноскэ не появилась тень человека, если бы эта тень не исчезла, едва человек отодвинул сѣдзи, и вместо нее в комнате не показалась крупная фигура Хаями Тодзаэмона, быть может, Кураноскэ продолжал бы наслаждаться приятным теплом весеннего дня и чувством гордого удовлетворения. Но сейчас, сияя широкой улыбкой и румянцем щек, в их комнату бесцеремонно ввалился Тодзаэмон. Впрочем, они не обратили на него особого внимания.

— Там, внизу, кажется, было весело?

С этими словами Тюдзаэмон снова затянулся трубкой.

— Сегодня дежурный — Дэнъэмон, потому и разговоров было много. Катаока сейчас тоже засел там.

— Ну и правильно! Он все боялся опоздать.

Поперхнувшись дымом, Тюдзаэмон грустно засмеялся. Онодэра Дзюнай, все время что-то писавший, поднял голову, как будто о чем-то подумав, но сейчас же снова опустил глаза на бумагу и стал торопливо писать дальше. Вероятно,

он писал письмо жене в Киото. Кураноскэ засмеялся, морща уголки глаз.

— Ну и что же? Было что-нибудь интересное?

— Нет, как всегда — одна болтовня. Правда, когда Тикамацу рассказывал про Дзингоро, даже Дэнъэмон и тот слушал со слезами на глазах. Ну а кроме этого?.. Впрочем, одно было интересно. С того времени, как мы зарубили князя Кира, по всему Эдо один за другим следовали случаи мести.

— Кто бы мог подумать!

Тюдзаэмон недоуменно посмотрел на Тодзаэмона. Тот почему-то был очень доволен, что завел этот разговор.

— Нам рассказали о двух-трех случаях. Один очень забавный — тот, что произошел на улице Минато-мати и Минами-Хаттёбори. Хозяин тамошней рисовой лавки подрался в бане с мастером из соседней красильни. Все вышло как будто из-за того, что один брызнул на другого кипятком. Словом, из-за пустяка. В ответ мастер избил хозяина лавки шайкой. Тогда приказчик хозяина, затаив злобу, дождался темноты и, когда мастер вышел на улицу, всадил ему в плечо чуть ли не целый багор. При этом он заявил: «Это тебе за хозяина!»

Свой рассказ Тодзаэмон сопровождал жестами и хохотал.

— Но это же настоящее буйство!

— Да, мастер, кажется, здорово пострадал. Но вот что удивительно: там все кругом говорят, что приказчик поступил правильно. Кроме того, подобные случаи произошли в третьем квартале той же улицы, во втором квартале в Кодзи-мати и еще где-то, словом, всюду. Толкуют, что это все с нас берут пример. Не забавно ли?

Тодзаэмон и Тюдзаэмон посмотрели друг на друга и засмеялись. Конечно, слышать, какое впечатление произвел на умы эдосцев подвиг их мести, хотя дело шло и о пустяках, было приятно. Только Кураноскэ, приложив руку ко лбу, с недовольным лицом хранил молчание. Рассказ Тодзаэмона странным образом омрачил его чувство удовлетворенности. Это, разумеется, не значило, что он почувствовал ответственность за последствия, которые повлекло за собой содеянное ими. То, что после совершенного ими подвига отмщения в городе начались подобные акты мести, естественно,

его совесть никак не задевало. И тем не менее он чувствовал, что в его душу, согретую весенним теплом, проник холод.

По правде говоря, он был несколько удивлен тем, что влияние их поступка распространилось так далеко. Те случаи, над которыми он в другое время сам посмеялся бы вместе с Тюдзаэмоном и Тодзаэмоном, теперь посеяли в его душе, исполненной чувства удовлетворенности, семена чего-то неприятного. Это потому, что чувство удовлетворенности было приятным для него, приятным настолько, что — при ощущаемом где-то в глубине души противоречии с логикой — оно как-то утверждало и самый его поступок, и все то, что являлось последствием этого поступка. Разумеется, тогда он вовсе не рассуждал так аналитически. Он только почувствовал в весеннем воздухе струйку холода, и она была ему неприятна.

Однако то, что Кураноскэ не засмеялся, не привлекло особого внимания тех двоих. Скорее другое: такой простой и добрый человек, как Тодзаэмон, вероятно, был даже уверен, что его рассказы интересны Кураноскэ так же, как они интересны ему самому. Иначе он, конечно, не направился бы опять в нижнюю комнату, чтобы пригласить сюда Хориути Дэнъэмона — вассала дома Хосокава, бывшего в тот день дежурным. Он же, наоборот, решительный во всем, сказал Тюдзаэмону что-то вроде — «я позову Дэнъэмона», тут же раздвинул фусума и направился вниз. И, по-прежнему улыбаясь, довольный, вернулся назад, ведя за собой грубоватого на вид Дэнъэмона.

— Спасибо, что потрудились зайти к нам, — улыбаясь при виде Дэнъэмона, сказал Тюдзаэмон.

Благодаря простому, прямому нраву Дэнъэмона, с того времени, как они были отданы под его надзор, между ним и его подопечными установились теплые отношения, словно у старых друзей.

— Тодзаэмон сказал мне, чтобы я обязательно зашел. Вот я и пришел, хоть и помешал вам.

Усевшись, Дэнъэмон, поводя густыми бровями и двигая загорелыми щеками, как будто готовый вот-вот засмеяться, обвел взглядом присутствующих. Тогда и те, кто читал, и те,

кто писал, один за другим поздоровались с ним. Кураноскэ также учтиво приветствовал его. Было, правда, немножко смешно, когда Хорибэ Яхэй, дремавший, как был в очках, над начатым томом «Тайхэйки», вежливо наклонил голову и спросонок уронил очки. Даже Хидзама Кихэй, отвернувшись к ширме, с трудом сдерживал смех.

— Видно, что и вы, Дэнъэмон-доно, не любите стариков, вот к нам и не заглядываете.

Кураноскэ сказал это мягким тоном, непохожим на свой обычный: вероятно, оттого, что, хотя он и расстроился немного, в его груди все еще разлито было прежнее теплое чувство удовлетворения.

— Что вы, совсем нет! Просто меня там останавливал то один, то другой, вот я и заговорился.

— Как я сейчас услышал, там у вас рассказывали о чем-то очень интересном, — вмешался Тюдзаэмон.

— О чем-то интересном? То есть?

— О том, что по всему Эдо стали подражать нашей мести, об этом именно... — сказал Тодзаэмон и с улыбкой взглянул на Дэнъэмона и Кураноскэ.

— Ах, об этом! Да, поистине странно устроен человек! Восхитившись вашей верностью господину, даже горожане и мужики — и те захотели вам подражать. Еще неизвестно, как благотворно это повлияет на разложившиеся у нас нравы и в верхах, и в низах. Во всяком случае, сейчас больше не бегают на представления дзёрури или там Кабуки, и то хорошо.

Разговор стал принимать неприятный для Кураноскэ оборот. Тогда он намеренно внушительным тоном и употребляя простонародные выражения попытался повернуть его в другую сторону.

— За то, что вы похвалили нашу верность, за это вам спасибо. Но сдается мне, что нам прежде всего должно быть стыдно. — Проговорив это, он, обведя взглядом собравшихся, продолжал: — «Почему?» — спросите вы. А вот почему. В клане Ако самураев много, а видите вы перед собой одних только низших по положению. Правда, в самом начале с нами был сам старейшина клана Окуно Сёгэн, но на подороге он изменил свое решение и кончил тем, что вышел из наше-

го союза. Назвать это как-нибудь иначе, чем полнейшей неожиданностью, просто нельзя. С нами были и Синдо Гэнсиро Кавáмура Дэмбэй, Кóмура Гэнъюэмóн. По положению они выше Хáра Соэмóна. И еще Саса́ки Кодзаэмóн — он ниже Ёсида Тюдзаэмона. И все они, как только стало близиться к самому делу, раздумали. Среди них были и мои родственники. Если все это принять во внимание, понятно, что нам должно быть стыдно.

При этих словах Кураноскэ вся атмосфера — атмосфера веселости, царившая в комнате, — исчезла, и сразу ее место заступила серьезность. Можно сказать, что разговор принял тот оборот, к которому Кураноскэ и стремился. Но был ли этот оборот, в конце концов, так уж ему приятен, вопрос особый.

Услышав эти слова, Тодзаэмон, сжав кулаки, ударил несколько раз по коленям и первый сказал:

— Вся эта компания — не люди, а скоты. Никого из них к настоящему самураю и близко подпускать нельзя.

— Правильно! А что касается Такада Гомбэя, то он еще хуже скота.

Тюдзаэмон, подняв брови, взглянул на Хорибэ Яхэя, как бы ища у него одобрения. Вспльчивый Яхэй, конечно, не промолчал:

— Когда мы тогда утром уходили, я подумал: если бы пришлось с ним в эту минуту повстречаться, мало было бы плюнуть ему в лицо. Ведь представить себе только — явился к нам со своей наглой физиономией и говорит: «Желание ваше сбылось. Какая великая радость!»

— Что ж, Такада и есть Такада. Но вот Оямáда Сёдзаэмóн, тот действительно хорош, — сказал, ни к кому особо не обращаясь, Мáса Кюдáйю, и тут принялись в один голос бранить отступников и Хáра Соэмóн, и Онóдэра Дзюна́й. Даже молчаливый Хадзама Кихэй и тот, сам ничего не говоря, кивая седой головой, выражал свое согласие со всеми.

— Подумать только, в одном и том же клане столь верные вассалы, как вы, и вот такой народ. Поэтому-то все, про самураев уж и говорить нечего, но даже горожане и мужики — и те их ругают: собаки, дармоеды! Окобаяси Мокунóскэ-доно в прошлом году сделал себе харакири, и вот разнесся

слух, будто и родственники его по сговору тоже покончили с собой. Ну ладно, может быть, оно и не так, но раз уж дошло до этого, то не миновать позора. Тем более вашим. Теперь, когда всюду начались эти акты мести, не исключено, что найдется человек, который возьмет да и убьет их, ссылаясь на то, что быть храбрым в служении справедливости значит действовать по-эдоски и что и вы с давних пор в гнев на них.

Дэньэмон говорил горячо, с таким видом, как будто это не было для него посторонним делом. Казалось, он недоволен, что не может сам взять на себя обязанность убить их. Возбужденные разговором Ёсида Тюдзаэмон, Хара Сэмон, Хаями Годзаэмон и Хорибэ Яхэй, как будто почувствовав воодушевление, принялись осыпать бранью недостойных васалов и беспутных сыновей.

Среди всего этого только один человек, только Оиси Кураноскэ, положив руки на хибати, все более и более мрачнел, все меньше и меньше вмешивался в разговор и не отводил от хибати задумчивого взгляда.

Перед ним раскрылось нечто новое: оборот, который он придал разговору, привел к тому, что стали все больше и больше восхвалять их верность как бы в возмещение за измену бывших единомышленников. И вместе с тем весенний ветерок, который веял у него в груди, опять утратил часть своего тепла. Конечно, свое сожаление об отступниках он высказал не только для того, чтобы повернуть разговор в другую сторону. Он действительно сожалел об их измене, она была ему неприятна, но ему было жаль этих неверных самураев, и ненавидеть их он не мог. Для него, вдоволь насмотревшегося на всякие колебания человеческих чувств и всякие перемены житейских обстоятельств, их измена была более чем естественна. Если здесь допустимо слово «чистосердечно», то они поступили до сожаления чистосердечно. Поэтому он никогда не менял своего снисходительного к ним отношения. Тем более теперь, когда отмщение совершено, на них оставалось только смотреть с улыбкой сожаления. А люди считают, что их и убить мало. «Почему же, если нас называют рыцарями верности, то их надо считать скотами? Разница между нами и ими не так уж велика». Курано-

скэ, которому раньше было бы неприятно услышать о странном влиянии, оказанном их поступком на эдоских горожан, увидел теперь в общественном мнении, выраженном Дэньэмоном, хотя и в несколько ином смысле, как это влияние отозвалось на отступниках. И выражение горечи, появившееся на его лице, отнюдь не было случайным. Но его недовольству суждено было завершиться еще одной последней чертой.

Дэньэмон, видя, что он замолк, предположил, что это вызвано присущей ему скромностью. И вот этот простоватый самурай из Хиго, преклонявшийся перед ним, желая выразить свое преклонение, круто перевел разговор на эту тему и произнес целую речь, восхваляющую верность и преданность Кураноскэ.

— Как-то от одного сведущего человека я слышал, что в Китае один самурай, не помню, как его звали, так старательно выслеживал врага своего господина, что даже проглотил уголь, чтобы онеметь. Но по сравнению с тем, как Кураноскэ против всякого желания вел разгульную жизнь, это не так уж трудно.

После такого предисловия Дэньэмон начал длинно-длинно излагать всякие рассказы о том, что произошло год назад, когда Кураноскэ устраивал всевозможные кутежи; как тяжелы были ему, Кураноскэ, притворившемуся безумным, эти прогулки к красным клёнам в Такао и Атаго; как мучительны были ему, Кураноскэ, не щадившему себя ради осуществления планов мести, попойки в праздник цветущей вишни в Симабара и Гионе.

— Как я слышал, в те дни в Киото даже распевали песенку: «Оиси не камень, он не тверд, он легок, словно он бумажный»¹. Чтобы так обмануть всех на свете, нужно большое искусство. Недавно сам Аmano Ядзаэмон и тот похвалил: «Вот это настоящее мужество». И это совершенно правильно.

— Что вы! Ничего особенного тут нет, — принужденно отозвался Кураноскэ.

Его сдержанный ответ, по-видимому, не удовлетворил Дэньэмона. Однако он увлеклся все более и более. Поэтому

¹ Оиси — большой камень.

он отвернулся от Кураноскэ, к которому до сих пор обращал свою речь, и, оборотившись к Онодэра Дзюнаю, с которым некогда долгое время служил в Киото, принялся еще горячее выражать свое восхищение. Такая его чисто детская горячность была для Дзюная, пользовавшегося во всей их группе репутацией человека с большим опытом, смешна и в то же время трогательна. Он сам, в тон Дэнъэмоу, во всех подробностях рассказал, как Кураноскэ с целью обмануть Сайсаку, подосланного домом его врага, в облачении монаха пробрался к Югири из Масаю.

Кураноскэ, такой серьезный человек, сочинил даже песенку. Она стала очень модной. Не было публичного дома, где бы ее не распевали. В ней говорилось, как Кураноскэ в черной рясе монаха, пьяный, шагает по осыпанному лепестками вишен Гиону. Да, нет ничего удивительного, что и песенка пошла в ход, и кутежи прославились. И Югири, и Укихаси — все знаменитые куртизанки в Симабара и Суюмокумати, когда приходил Кураноскэ, не знали, как получше его принять.

Кураноскэ слушал рассказы Дзюная с горечью, как будто его обдавали презрением. И в то же время в его памяти, словно сами собой, пробудились воспоминания о былом разгуле. Это были какие-то до странности яркие, красочные воспоминания. В них он снова видел свет большой свечи, ощущал запах ароматического масла, слышал звуки сямисэна. Даже слова той песенки, о которой упомянул Дзюнай:

Оиси не камень,
Он не тверд, он легок,
Словно он бумажный... —

вызывали в его душе пленительные, словно живые, образы Югири и Укихаси, прямо как будто сбежавшие из Восточного дворца. Вспомнил, как он без всяких колебаний повел эту разгульную жизнь — ту самую, которая сейчас всплыла у него в памяти. Как он среди этого разгула моментами наслаждался свободой и привольем, совершенно забывая о деле мести. Он был слишком честен, чтобы отрицать тот факт, что обманывал и самого себя. Конечно, ему, понимающему человеческую природу, и во сне не могло присниться, что этот

факт аморален. Оттого-то ему и было неприятно, что им восхищаются, считая его разгул лишь средством выполнения долга верности. Это было ему неприятно, и вместе с тем он чувствовал себя виноватым.

И не было ничего удивительного в том, что, слушая восхваления своего притворного безумия и тех мучений, на которые он себя обрек, Кураноскэ сидел с самым мрачным видом. Получив еще и этот последний удар, он с полной ясностью почувствовал, как из его груди улетучиваются последние остатки весеннего тепла. В ней оставалась только досада на всеобщее непонимание, досада на собственное неразумие, на то, что он не сумел предвидеть такое непонимание. Холодная тень этого чувства все шире и шире ложилась на его душу. Ведь и память о его подвиге отщенила, о его товарищах и, в конце концов, о нем самом, вероятно, так и перейдет в последующие времена в сопровождении столь неоправданных восхвалений. Перед лицом этого нерадостного факта он, положив руки на хибати, где уже остывали угольки, и стараясь не встречаться глазами с Дэнъэмоном, печально вздохнул.

* * *

Это было немного спустя. Оиси Кураноскэ, вышедший из комнаты под первым же удобным предлогом, прислонившись к столбу наружной галереи, любовался яркими цветами, распустившимися на старом сливовом дереве среди мхов и камней старого сада. Свет солнца уже ослабел, и из бамбуков, насаженных в саду, надвигались сумерки. Там, за сэдзи, по-прежнему слышались оживленные голоса. Слушая эти голоса, Кураноскэ почувствовал, что его медленно окутывает печаль. Вместе с легким ароматом сливы все его существо охватило уныние, невыразимое уныние, проникшее в самую глубь его снова похолодевшего сердца.

Кураноскэ недвижно стоял, подняв глаза на эти твердые, холодные цветы, как будто врезанные в синее небо.

Сентябрь 1917 г.

БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ

(Этот рассказ я услышал от своего близкого университетского товарища, с которым встретился однажды летом в поезде Токио — Иокогама.)

История, которую я хочу рассказать, относится к тому времени, когда я по делам фирмы ездил в И. Однажды меня пригласили там на прием. В ресторане, где он был устроен, в нише кабинета висела литография генерала Ноги — дело ведь происходило в И., — а перед ней стояла ваза с пионами. С вечера лил дождь, посетителей было мало, и я получил большее удовольствие, чем ожидал. На втором этаже тоже как будто шел прием, но, к счастью, не особенно шумный, как это бывает обычно. И вдруг, представь себе, среди гейш...

Ты, наверно, ее тоже знаешь. В числе официанток, куда в свое время мы частенько ходили выпить, была О-Току. Такая забавная девица с приплюснутым носом и низким лбом. И вот, представляешь, вдруг входит она. В костюме гейши, с бутылочкой сакэ в руках, подчеркнуто серьезная, как и остальные ее подружки. Я было подумал, что обознался, но, когда она ко мне подошла, убедился, что это О-Току. Еще с тех времен у нее сохранилась привычка во время разговора вздергивать подбородок. Я остро ощутил, как быстротечна жизнь. Ты ведь помнишь — в нее в те годы был безнадежно влюблен Симура.

Теперь — генерал Симура, а в то время он покупал в баре Аокидо бутылочку мятного ликера и угощал О-Току с величайшей серьезностью: «Выпей, очень сладко». И ликер был приторным, и сам Симура тоже.

И вот эта самая О-Току служит теперь в таком месте.

«Каково было бы находящемуся в Чикаго Симуре узнать об этом», — подумал я и уже хотел было заговорить с ней, но постеснялся... Ведь это была О-Току. Значит, нужно было говорить о том времени, когда она служила на Нихонбаси.

Но неожиданно О-Току сама ко мне обратилась:

— Как давно я вас не встречала. В последний раз мы виделись, когда я служила в У. Вы совсем не изменились. — Она сказала мне что-то в этом роде. Ну и девица эта О-Току, день только начался, а она уже навеселе.

Хотя она и была навеселе, но мы так давно не виделись, да и тема была — Симура, и мы болтали без умолку. Но тут остальная компания подняла страшный шум, делая вид, будто ревнует меня, а устроитель приема заявил, что не даст мне уйти, пока я во всем не признаюсь, — в общем, все это было не очень приятно. Рассказывая им историю с мятным ликером Симуры, я сморозил ужасную глупость: «Мой близкий друг увивался за ней, а она его коленкой под зад». Устроитель приема был человек почтенного возраста, к тому же привел меня на прием родной дядя.

Правда, «коленкой под зад» вырвалось у меня как-то непроизвольно, и остальные гейши принялись дружно поддразнивать О-Току.

Но О-Току не признавала Счастливого дракона... Встретиться со Счастливым драконом, видимо, великое счастье. В комментарии к «Восьми псам» есть такое место: «Счастливым драконом называют счастье, ниспосланное человеку свыше». Странно только, что в большинстве случаев Счастливый дракон не приходит к человеку без стараний с его стороны. Впрочем, об этом можно было и умолчать... Но то, что О-Току не признавала Счастливого дракона, было, в общем-то, вполне логично. «Если Симура-сан, как вы говорите, был безнадежно влюблен в меня, это вовсе не значило, что и я должна была безнадежно влюбиться в него».

И еще она говорила: «Случись это так, я сама чувствовала бы себя гораздо счастливее в те годы».

Это называют грустью безответной любви. Наверно, поэтому О-Току и захотелось рассказать, что с ней произошло. И она поведала мне историю своей странной любви. Ее я и

хочу рассказать. Хотя, как всякая любовная история, она не так уж интересна.

Удивительно, правда? Нет более скучного занятия, чем выслушивать пересказы снов или любовных похождения.

(Я ответил на это: «Просто потому, что такая история не может быть интересна никому, кроме тех, кто замешан в ней». — «Верно, даже в романе и то трудно рассказать о снах или любовных похождениях». — «Скорее всего, потому, что сон относится к области чувств. Среди снов, описанных в романах, нет ни одного, который был бы похож на настоящий». — «А любовных романов, которые можно было бы назвать выдающимися произведениями, сколько угодно, ты этого не можешь отрицать». — «Но среди них не менее легко вспомнить великое множество дурацких творений, которые не останутся в памяти людей».)

В общем, если ты представляешь себе, что за историю услышишь от меня, я могу спокойно продолжать. Из всех дурацких творений, какие только можно вообразить, оно самое дурацкое. О-Току назвала бы ее «История моей безответной любви».

Слушая, что я рассказываю, имей это в виду.

Человек, в которого безнадежно влюбилась О-Току, был актером. О-Току пристрастилась к театру, еще когда жила с родителями на улице Таварамати, и все время бегала на представления в парк Асакуса, недалеко от дома. Ты, вероятно, думаешь, что это был какой-нибудь актеришка на выходных ролях в театре «Миятодза» или «Токивададза». Ничего подобного. Прежде всего ты ошибаешься, если полагаешь, что он японец. Представляешь, европеец. На ампула комических злодеев.

К этому еще нужно добавить, что О-Току не знала ни имени его, ни адреса. И, уж конечно, не знала, холост он или женат. Странно все это, правда? Безответная любовь всегда абсурдна. Посещая театр «Вакатакэ», мы могли не знать названия пьесы и имени актера, исполнявшего главную роль, но уж то, что он японец, что его сценическое имя Сёгику — это-то уж нам доподлинно было известно. Я насмешливо сказал об этом О-Току, но она ответила вполне серьезно: «По-

нимаешь, я очень хотела узнать. Но не удалось, ничего не поделаешь. Я встречала его только на полотне».

На полотне — странно. Если бы она сказала «на простыне», я бы еще понял. Я стал ее спрашивать и так и сяк и наконец выяснил, что человек, в которого она влюблена, — комик, снимающийся в западном кино. Тут уж я окончательно был сбит с толку. Действительно на полотне.

Может быть, слова О-Току покажутся кому-нибудь плохим каламбуром. И кто-то, не исключено, даже скажет: «Да она просто насмешничает». Ведь из портового города, так что остра на язык. Но, по-моему, О-Току говорила чистую правду. Во всяком случае, глаза у нее были абсолютно правдивыми.

«Я готова была хоть каждый день бегать в кино, но на это не хватило бы никаких денег. Поэтому ходила всего раз в неделю. Но это ладно, самое потрясающее дальше. Однажды я долго выпрашивала у мамы деньги, а когда наконец выпросила и прибежала в кино, там было уже полно народу и оставались только крайние места. Оттуда лицо его на экране казалось мне каким-то сплюсненным. И так грустно мне стало, так грустно». Она говорила и плакала, прикрыв лицо фартуком. Ей было грустно оттого, что лицо любимого человека на экране было искажено. Я искренне ей посочувствовал.

«Я видела его раз двенадцать-тринадцать в разных ролях. Длинное худое лицо, усики. Обычно он носил строгий черный костюм, вот как у вас». На мне была визитка. «И он был похож на меня?» — спросил я. «Гораздо лучше, — с вызовом ответила она, — гораздо лучше». Не слишком ли это было жестоко? «Ты говоришь, что встречалась с ним только на полотне. Я мог бы тебя понять, если бы ты видела его во плоти и крови, если бы он мог с тобой разговаривать, взглядом выражать свои чувства — а тут просто изображение. Да еще на экране». Она была бессильна отдалиться этому человеку, даже если бы и хотела. «Говорят: «желанный»... Но если нежеланный, ни за что не притворишься, что желанный. Возьмите хоть Симуру-сана — он часто угощал меня зеленым вином. Но я все равно не могла притворяться, будто он желанный. Судьба — от нее никуда не уйдешь». Она говорила вполне разумно. Ее слова поразили и в то же время тронули

меня. «Потом, когда я стала гейшей, гости часто водили меня в кино, но, не знаю почему, этот человек совсем перестал появляться в фильмах. Сколько я ни ходила в кино, там показывали одну чепуху вроде «Вожденных денег», «Зигомара», даже смотреть не хотелось. В конце концов я совсем перестала ходить в кино — чего зря ходить. Понимаете...»

В этой компании О-Току не с кем было поговорить, и, понимая это, она буквально вцепилась в меня и говорила, говорила. Чуть не плача.

«Через много лет, уже после того, как я переехала сюда, я пошла однажды вечером в кино и вдруг снова увидела его на экране. В каком-то городе на Западе. Там была мощенная бульжником площадь, посреди площади какие-то деревья, похожие на китайские зонтики. А по обеим сторонам — гостиницы. Только, может быть, потому, что фильм был старый, все выглядело коричневато-тусклым, точно дело происходило под вечер, дома и деревья странно подрагивали — грустная картина. И вдруг, представляете, с маленькой собачкой, дымя сигаретой, появляется он. В своем черном костюме, с тростью — ну несколько не изменился с тех пор, как я видела его в детстве...»

Через десять лет она снова встретила с любимым человеком. Тот не изменился, потому что это был старый фильм, а она, О-Току, поверила в Счастливого дракона. Мне было невыразимо жаль ее.

«Около деревьев он останавливается, поворачивается ко мне и, снимая шляпу, смеется. Скажите, разве нельзя было подумать, будто он здоровается со мной? Знай я его имя, обязательно окликнула бы...»

Попробовала бы окликнуть. Приняли бы за сумасшедшую. С тех пор как стоит город И., не было еще гейши, безнадежно влюбленной в кинофильмы. «Потом вдруг появляется маленькая женщина и набрасывается на него. Чтец-сопроводитель пояснил, что это его любовница. Она уже немолодая, да еще на голове у нее огромная шляпа с перьями — до чего мерзко она выглядела».

О-Току ревновала. Опять-таки к изображению на экране.

(Поезд подошел к Синагава. Мне нужно было сходить на Симбаси. Мой товарищ знал это и, боясь, что ему не удастся

закончить историю, торопливо продолжал, время от времени поглядывая в окно.)

В фильме происходило еще множество событий, и кончался он, кажется, тем, что мужчина попадает в полицию. О-Току подробно рассказала мне, за что его арестовали, но я, к сожалению, не помню.

«На него налетели, в момент скрутили. Нет, это было уже не на той улице. В каком-то баре. Там стояли в ряд бутылки вина, а в углу висела клетка с попугаем. Видимо, уже наступила ночь, все было в синей дымке. И в этой синеве, в этой синеве я увидела плачущее лицо того человека. Если бы вы увидели, вам тоже стало бы безумно жаль его. В глазах — слезы, рот приоткрыт...»

Потом раздался свисток — фильм окончился. Осталось только белое полотно. И тут О-Току произнесла замечательную фразу: «Все ушло. Ушло и превратилось в дым. И ничего не осталось».

В ее слезах не было притворства. Не исключено, что история ее безнадежной любви к изображению на экране — выдумка, а на самом деле она безответно любила кого-нибудь из нас.

(Наш поезд в это время, уже в сумерках, подошел к станции Симбаси.)

РАССКАЗ О ТОМ,
КАК ОТВАЛИЛАСЬ ГОЛОВА

НАЧАЛО

Хэ Сяоэр выронил шашку, подумал: «Мне отрубили голову!» — и в беспамятстве вцепился в гриву коня. Нет, пожалуй, он подумал это уже после того, как вцепился. Просто что-то с глухим звуком впилося в его шею, и в ту же секунду он вцепился в гриву. Едва Хэ Сяоэр повалился на луку седла, как конь громко заржал, вздернул морду и, прорвавшись сквозь гущу смешавшихся в одну кучу тел, поскакал прямо в необозримые поля гаоляна. Кажется, вслед прозвучали выстрелы, но до слуха Хэ Сяоэра они донеслись, как во сне.

Высокий, выше человеческого роста, гаолян, приминаемый бешено несущейся лошадей, ложился и вставал волнами. И справа и слева стебли то трепали косу Хэ Сяоэра, то хлестали его по мундиру, то размазывали льющуюся из шеи черную кровь. Но голова его неспособна была осознавать все это в отдельности. В его мозгу с мучительной отчетливостью стоял только один простой факт — зарезан. «Зарезан! Зарезан!» — твердил он мысленно и совершенно машинально бил каблуками по вспотевшему брюху лошади.

Хэ Сяоэр и его товарищи-кавалеристы, отправившись на разведку в сторону маленькой деревушки, отделенной от лагеря рекой, минут десять назад среди полей желтеющего гаоляна внезапно наткнулись на японский кавалерийский разъезд. Это произошло неожиданно, и ни свои, ни противник не успели взяться за винтовки. Во всяком случае, едва показались фуражки с красным кантом и обшитые красным кантом мундиры, как Хэ Сяоэр и его товарищи, не задумываясь, разом выхватили шашки и тотчас же повернули лошадей в сторону противника. Разумеется, в эту минуту ни одному из них не приходило в голову, что его могут убить. В мыслях было одно: вот враг. И, может быть, еще: убить врага.

Поэтому, повернув лошадей, оскалившись, как псы, они бешено ринулись на японских кавалеристов. Противник, видимо, был во власти тех же побуждений. Через мгновение справа и слева от них стали одно за другим вырастать лица, словно в зеркале появлялось отражение их собственных лиц с оскаленными зубами. И одновременно вокруг них взвились шашки.

А дальше... Дальше представление о времени исчезло. Хэ Сяоэр до странности ясно помнил, как качался, словно от порывов бури, высокий гаолян, а над верхушками покачивавшихся колосьев висело медно-красное солнце. Но долго ли продолжалась схватка и что и в какой последовательности произошло — этого он почти не помнил. Во всяком случае, все это время Хэ Сяоэр, громко выкрикивая как безумный что-то для него самого совершенно бессмысленное, без оглядки размахивал шашкой. Вдруг ему показалось, что шашка стала красной, но, по-видимому, от этого ничего не изменилось. Тем временем рукоять шашки сделалась скользкой от пота. И в то же время удивительно сохло во рту. Тут внезапно перед его лошадей вынырнуло искаженное лицо японского солдата с вытаращенными, чуть не вылезавшими из орбит глазами и широко раскрытым ртом. Сквозь дыру в разрушенной посередине фуражке с красным кантом видна была наголо обритая голова. Увидев его, Хэ Сяоэр взмахнул шашкой и изо всех сил рубанул по фуражке. Однако шашка коснулась не фуражки и не головы противника под фуражкой. Она встретила с взметнувшимся клинком шашки противника. В кипящем кругом шуме звук удара прозвенел отчетливо и страшно, и в ноздри ударил острый запах металла. Широкий клинок, ослепительно блеснувший на солнце, оказался прямо над головой Хэ Сяоэра и описал широкий круг... И в тот же миг что-то невыразимо холодное с глухим звуком впилося ему в шею.

* * *

Лошадь со стонущим от боли Хэ Сяоэром на спине бешено неслась вскачь по полям гаоляна. Гаолян рос густо, и полям его, казалось, нет конца. Голоса людей, лошадиное ржа-

ние, лязг скреживающихся шашек — все уже затихло. Осеннее солнце в Ляодуне сияло так же, как в Японии.

Хэ Сяоэр, как это уже упоминалось, покачивался на спине лошади и стонал от боли. Но звук, пробивавшийся сквозь стиснутые зубы, был не просто крик боли. В нем выражалась более сложное ощущение: Хэ Сяоэр страдал не только от физической муки. Он плакал от душевной муки — от головокругительного потрясения, в основе которого лежал страх смерти.

Ему было нестерпимо горько расставаться с этим светом. Кроме того, он чувствовал злобу ко всем людям и событиям, разлучившим его с этим светом. Кроме того, он негодовал на себя самого, вынужденного расстаться с этим светом. Кроме того... Все эти разнообразные чувства, набегая одно на другое, возникая одно за другим, бесконечно мучили его. И по мере того как набегали эти чувства, он пытался то крикнуть: «Умираю, умираю!», то произнести имя отца или матери, то выругать японских солдат. Но, к несчастью, звуки, срывавшиеся у него с языка, немедленно превращались в бессмысленные хриплые стоны — настолько раненый ослабел.

«Нет человека несчастней меня! Таким молодым пойти на войну и быть убитым, как собака. Прежде всего ненавижу японца, который меня убил. Потом ненавижу начальника взвода, пославшего меня в разведку. Наконец, ненавижу и Японию, и Китай, которые затеяли эту войну. Нет, ненавижу не только их. Все, кто хоть немного причастен к событиям, сделавшим из меня солдата, все они для меня все равно что враги. Из-за них, из-за всех этих людей я вот-вот уйду из мира, в котором мне столько еще хотелось сделать. И я, который позволил этим людям и этим событиям сделать со мной то, что они сделали, — какой же я дурак!»

Вот что выражали стоны Хэ Сяоэра, пока он, вцепившись в шею коня, несся все дальше и дальше по полям гаоляна. Время от времени то там, то сям вспархивали выводки перепуганных перепелов, но конь, разумеется, не обращал на них никакого внимания. Он мчался вскачь, с ключьями пены на губах, не заботясь о том, что всадник едва держится на его спине.

Поэтому, если бы позволила судьба, Хэ Сяоэр, неумолч-

но стеная и жалуясь небу на свое несчастье, трясся бы в седле целый день, пока медно-красное солнце не склонилось бы к закату. Однако равнина постепенно переходила в пологий склон, и когда на пути заблестела узкая мутная речонка, протекавшая между двумя стенами гаоляна, судьба представала у берега в виде нескольких ив, на низких ветвях которых скопилась опавшая листва. Как только конь Хэ Сяоэра стал продираться между деревьями, густые ветви вцепились во всадника и сбросили его в мягкую грязь у самой воды.

В момент падения Хэ Сяоэру почему-то привиделось в небе плавающее желтое пламя. Такое же ярко-желтое пламя, какое он в детстве видел дома, под большим котлом на кухне. «А огонь пылает!» — подумал он и тут же потерял сознание.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Совсем ли потерял сознание Хэ Сяоэр, упав с коня? Действительно, боль от раны вдруг почти прекратилась. Однако, лежа на пустынном берегу, выпачканный в крови и земле, он сознавал, что смотрит в высокое синее небо, которое глядят листья ив. Это небо было глубже и синей, чем любое другое небо, какое он видел до сих пор. Словно смотришь снизу в огромную опрокинутую темно-синюю чашу. И на дне этой чаши откуда-то появлялись облачка, похожие на сгустки пены, и опять куда-то тихо исчезали. Можно было подумать, что их все снова и снова стирают шевелящиеся листья ив.

Значит, Хэ Сяоэр не совсем потерял сознание? Однако между его глазами и синим небом как тени проносились разнообразные вещи, которых там на самом деле не было. Прежде всего появилась грязноватая юбка матери. Сколько раз ребенком он в радости и горе цеплялся за эту юбку! Но теперь, едва он протянул к ней руку, она исчезла у него из глаз. Исчезая, она стала тонкой, словно газ, и сквозь нее, как сквозь слюду, просвечивали клубы облаков.

Потом плавно проплыли широкие кунжутные поля, которые тянулись за домом, где он родился. Кунжутные поля в разгаре лета, поля с унылыми цветами, раскрытыми, будто

в ожидании сумерек. Хэ Сяоэр искал взглядом среди этих полей себя и своих братьев. Но на полях не видно было ни души. Слабый солнечный свет озарял лишь молчаливо застывшие бледные цветы и листья. Они проплыли наискосок по воздуху и исчезли, как будто их куда-то утянули.

Потом в воздухе появилось нечто странное, нечто извивающееся. Присмотревшись, он понял, что это большой «драконов фонарь», с каким ходят по улицам в ночь на пятнадцатое января. В длину он был, пожалуй, около пяти-шести кэн. Бамбуковый остов был обтянут бумагой, ярко разрисованной синей и красной краской. По форме фонарь ничем не отличался от дракона, как их рисуют на картинках. С зажженной, несмотря на яркий день, свечой внутри, он тускло маячил в синем небе. Кроме того, — удивительная вещь! — этот фонарь казался живым драконом и в самом деле свободно шевелил длинными усами... Пока Хэ Сяоэр рассматривал его, дракон медленно уплывал из глаз и сразу исчез.

Когда он скрылся, в небе вдруг показались изящные женские ножки. Их раньше бинтовали, поэтому они были не длиннее трех сун. На кончиках грациозно изогнутых пальцев мягко выделялись белые ноготки. В душе Хэ Сяоэра вызвало печаль, легкую и смутную, как укус блохи во сне, воспоминание о временах, когда он видел эти ножки. Если бы он мог коснуться их еще раз!.. Но это, конечно, невозможно. Отсюда до того места, где он видел эти ножки, много сотен ли пути. Так он думал, а ножки тем временем стали прозрачными и незаметно слились с тенями в облаках.

Это случилось тогда, когда исчезли ножки. Из глубины души Хэ Сяоэра поднялась ни разу до сих пор не испытанная странная печаль. Над его головой безмолвно распростерлось огромное синее небо. Под этим небом, под легким веянием ветерка люди вынуждены влачить свое жалкое существование. Как это грустно! И что он сам до сих пор не знал этой грусти — как это странно! Хэ Сяоэр глубоко вздохнул.

В этот миг между его глазами и небом стремительно, гораздо быстрее, чем это было в действительности, пронесся отряд японской кавалерии в фуражках с красным кантом.

И так же стремительно исчез. Ах, и им, наверно, так же грустно, как и ему! Не будь они призраком, хорошо было бы друг друга утешить и хоть ненадолго забыть свою печаль. Но и это сейчас слишком поздно.

На глаза Хэ Сяоэра все время набегали слезы. Какой безобразной показалась ему его прежняя жизнь, когда он взглянул на нее глазами, полными слез, — об этом не нужно и говорить. Ему хотелось у всех просить прощения. И самому хотелось всех простить.

«Если меня спасут, я во что бы то ни стало искуплю свое прошлое», — плача, повторял он про себя. Но бесконечно глубокое, бесконечно синее небо, как будто ничему не внемля, медленно, дюйм за дюймом, все ниже и ниже опускалось ему на грудь. В этом океане синевы там и сям что-то слегка сверкало — должно быть, звезды, которые видно и днем. Прежние призраки уже не заслоняли неба. Хэ Сяоэр еще раз вздохнул и, с дрожащими губами, медленно закрыл глаза.

КОНЕЦ

Со времени заключения мира между Китаем и Японией прошел год. Как-то ранней весной в одной из комнат японского посольства в Пекине сидели за столом военный атташе майор Кимура и только что приехавший из Японии инженер министерства сельского хозяйства и торговли, кандидат наук Ямакава. Они непринужденно беседовали, забыв о делах за чашкой кофе и папиросой. Несмотря на весну, в большом камине горел огонь, и в комнате было так тепло, что собеседники слегка потели. От карликовой красной сливы в горшке, стоявшей на столе, иногда долетал чисто китайский аромат.

Некоторое время разговор вертелся вокруг императрицы Ситайхоу, затем перешел на воспоминания о Японо-китайской войне, и тогда майор Кимура, видимо под влиянием какой-то мысли, вдруг встал и перенес на стол подшивку газет «Шэньчжоу жибао», лежавшую в углу. Он развернул одну из газет перед инженером Ямакава, указал пальцем на одну из заметок и взглядом предложил прочесть. Инженер не-

много оторопел от неожиданности: впрочем, он давно знал, что майор держится просто, совсем не как военный. Поэтому он мгновенно представил себе какой-то исключительный случай, связанный с войной, взглянул на газету, и действительно, там оказалась внушительная заметка, которая в переводе на японский газетный язык выглядела так:

«Владелец парикмахерской на улице... некий Хэ Сяоэр, будучи храбрым воином, не раз обнаруживал свою доблесть во время Японо-китайской войны. Тем не менее после своего славного возвращения он вел себя невоздержанно, губил себя вином и женщинами; ... числа, когда он выпивал в ресторане с приятелями, разгорелась ссора, в конце концов перешедшая в драку, вследствие чего он был ранен в шею и немедленно скончался. Весьма странные обстоятельства связаны с раной на шее убитого: она не была нанесена оружием во время драки, а это вскрылась рана, полученная им на поле битвы в Японо-китайскую войну, причем, судя по рассказам очевидцев, когда убитый во время драки упал, повалив стол, голова его внезапно отделилась от туловища и в потоках крови покатила по полу. Хотя власти сомневаются в достоверности этого рассказа и в настоящее время заняты строгими розысками виновного, все же если в «Странных историях» Ляо Чжэя повествуется о том, как у некоего человека из Чжучэня отвалилась голова, то почему то же самое не могло случиться и с Хэ Сяоэром?» и т.д.

— Что это значит? — изумленно произнес инженер Ямакава, прочитав заметку.

Майор Кимура, медленно выпуская струйки папиросного дыма, снисходительно улыбнулся:

— Любопытная история! Такая вещь только в Китае и может случиться.

— Да разве это мыслимо где бы то ни было?

Инженер Ямакава, усмехаясь, стряхнул пепел в пепельницу.

— Но еще интересней, что... — майор помедлил со странным серьезным лицом, — я знал этого Хэ Сяоэра.

— Знали? Удивительно! Надеюсь, при вашем звании атташе вы не станете заодно с репортером сочинять небывлицы?

— Кто же будет заниматься такой ерундой! Нет, когда я был ранен в битве при... этот самый Хэ Сяоэр тоже лежал в нашем полевом лазарете, и я для практики в китайском языке несколько раз беседовал с ним. Здесь ведь говорится, что у него была рана на шее, так что девять шансов из десяти, что это он и есть. Отправившись на разведку или что-то в таком роде, он попал в стычку с нашей кавалерией, и японская шашка угодила ему в шею.

— Странная история. Кстати, этот Хэ Сяоэр, судя по газете, гуляка. Пожалуй, умри такой человек тогда, все было бы только лучше.

— В то время это был чрезвычайно искренний, хороший, очень тихий человек, среди пленных такие просто редкость. Оттого и врачи его особенно любили и, по-видимому, лечили со всем усердием. Он рассказывал о себе очень интересные вещи. В частности, я до сих пор хорошо помню, как он описывал мне свое состояние, когда он, раненный, упал с лошади. Он скатился в грязь у реки, лежал и смотрел в небо над прибрежными ивами и будто бы отчетливо видел в этом небе материнскую юбку, женские ножки, кунжутные поля...

Майор Кимура бросил папиросу, поднес к губам чашку с кофе и, взглянув на сливу в горшке, прибавил, словно про себя:

— Он говорил, что именно тогда с горечью почувствовал, как отвратительна ему вся его прежняя жизнь.

— И как только кончилась война, он превратился в гуляку? Немногого же стоит человек!

Откинув голову на спинку стула и вытянув ноги, инженер Ямакава, иронически улыбаясь, выдохнул дым к потолку.

— «Немногого стоит человек»? Это вы в том смысле, что он просто прикидывался тихоней?

— Ну да.

— Нет, этого я не думаю. Я думаю, он так чувствовал все-ррез, по крайней мере тогда. Да и теперь, в ту самую секунду, когда у него (употребляя газетное выражение) отвалилась голова, он, вероятно, чувствовал то же самое. Я представляю себе это так: в драке его, пьяного, опрокинули

вместе со столом. Рана его открылась, и в тот же миг голова с болтающейся длинной косой покати́лась на пол. И юбка матери, женские ножки и цветущие кунжутные поля, которые он видел тогда, опять туманно проплыли у него перед глазами. А может быть, хотя над ним и была крыша, он смотрел далеко ввысь, в глубокое синее небо. И тогда он опять с горечью почувствовал, как отвратительна ему его прежняя жизнь. Но на этот раз было поздно. Впервые, когда он потерял сознание, японские санитары заметили и подобрали его. А теперь тот, с кем он дрался, набросился на него, колотил, пинал. И тут он, полный раскаяния, горько сожалея, испустил дух.

Инженер Ямакава пожал плечами и засмеялся.

— Вы большой фантазер. Но почему же в таком случае после стольких переживаний он сделался гулякой?

— А это потому, что человек немногo стоит, только в другом смысле. — Закурив новую папиросу, майор Кимура, улыбаясь, ясным, несколько назидательным голосом произнес: — Каждый из нас должен твердо знать, что он немногo стоит. В самом деле, только те, кто это знает, хоть чего-нибудь да стоят. А иначе, как знать, и у нас когда-нибудь отвалится голова, как отвалилась она у Хэ Сяозэра... Китайские газеты нужно читать именно так и никак иначе.

Январь 1918 г.

1

Ночь. Морито за оградой глядит на диск луны и ступает по опавшей листве, погруженный в думы.

Его разговор с самим собой:

«Вот и луна взошла. Обычно я жду не дождусь ее восхода, а сегодня боюсь света! При одной мысли о том, что я, такой, каким был до сих пор, в одну ночь исчезну и с завтрашнего дня сделаюсь убийцей, я дрожу всем телом. Представляю себе, как вот эти руки станут красными от крови. Как проклят я буду в своих собственных глазах! Я не мучился бы так, если бы убил человека, которого ненавижу. Но этой ночью я должен убить человека, к которому ненави́сти у меня нет.

По виду я его знаю давно. Его имя — Ватару Саэмондо дзэ — я узнал только теперь, но уже не помню, как давно мне знакомо его белое, слишком нежное для мужчины лицо. Когда я узнал, что он муж Кэса, я почувствовал ревность — это правда. Но эта ревность теперь исчезла, не оставив следа в моем сердце. И хотя Ватару — мой соперник в любви, у меня нет к нему ни ненависти, ни злобы. Нет, скорей даже я ему сочувствую. Когда я услышал, сколько стараний положил Ватару, чтобы завоевать Кэса в устье Коромогавы, я даже думал о нем с теплотой. Полный одним стремлением — сделать Кэса своей женой, разве не стал он даже учиться писать танка? Когда я представляю себе любовные стихи, написанные этим настоящим самураем, я не могу сдерживать улыбки. Но это вовсе не улыбка насмешки. Просто меня трогает человек, который так старается понравиться женщине. А может быть, его рвение доставляет мне, влюбленному, своеобразное удовлетворение, потому что он старается понравиться женщине, которую я люблю.

Но люблю ли я Кэса настолько, чтобы так говорить? Моя любовь к Кэса делится на две поры: теперь и раньше. Еще до того, как Кэса связала свою судьбу с Ватару, я ее любил. Или думал, что люблю. Но теперь я вижу, что тогда в моем сердце было много нечистого. Чего я желал от Кэса? Я не знал еще женщин и просто желал овладеть ее телом. Не будет большим преувеличением сказать, что моя любовь к Кэса была лишь чувствительностью, приукрашивавшей это желание. И вот подтверждение: перестав встречаться с Кэса, я все же три года действительно не мог ее забыть, но помнил бы я ее так, если бы тогда узнал ее тело? Как ни стыдно, у меня не хватает духа ответить: да, помнил бы так же. И позже в моей любви к Кэса значительную долю составляло сожаление о том, что я не знал ее тела. Снедаемый такими чувствами, я наконец вступил в связь, которой я так боялся и так ждал. «Ну и что же теперь? — снова спрашиваю я сам себя. — Действительно ли я люблю Кэса?»

Но прежде чем ответить на этот вопрос, мне, как ни тяжело, приходится припомнить некоторые обстоятельства. Случайно встретив Кэса после трехлетней разлуки на заупокойной службе у моста Ватанабэ, я полгода всеми средствами добивался тайного свидания с ней. И мне это удалось. Нет, удалось не только добиться свидания, но и овладеть ее телом, как это мне только снилось. Но меня толкнуло на это не только прежнее сожаление о том, что я не знаю ее тела. Сидя на циновках в одной комнате с Кэса в доме у Коромогавы, я заметил, что это сожаление как-то незаметно для меня ослабело. Может быть, дело было в том, что к тому времени я уже знал женщин. Но была причина важнее: Кэса подурнела. В самом деле, теперешняя Кэса уже не та, что три года назад. Кожа ее потеряла свой блеск, под глазами появились темные круги. Прежняя пышная мягкость щек и подбородка исчезла, как выдумка. Единственное, что не изменилось, это, пожалуй, только все те же властные, смелые черные глаза. Эта перемена нанесла моему желанию страшный удар. Я до сих пор хорошо помню, что, встретившись с Кэса впервые после трехлетней разлуки, я был так потрясен, что невольно отвел глаза.

Так зачем же, уже не чувствуя прежнего влечения к ней, я вступил с ней в связь? Во-первых, мною двигало странное желание покорить ее. Встретившись со мной, Кэса намеренно преувеличенно рассказывала мне о своей любви к Ватару. А во мне это почему-то вызвало только ощущение лжи. «Эту женщину связывает с мужем только одно чувство — тщеславие», — думал я. «А может быть, она просто сопротивляется, боится вызвать жалость?» — думал я также. И во мне все сильнее разгоралась жажда избаловать эту ложь. Но если меня спросят, почему я решил, что это ложь, и скажут мне, что в таких мыслях сказалась моя самовлюбленность, я не смогу возражать. И все же я был убежден, что это ложь. И убежден до сих пор.

Но и желание покорить ее было не все, что мною тогда владело. Кроме того... стоит мне это сказать, как я чувствую, что краска заливает мне лицо. Кроме того, мною владело чисто чувственное желание. Это не было сожаление о том, что я не знал ее тела. Нет, это было более низменное чувство, вовсе не нуждавшееся именно в этой женщине, это было желание ради желания. Даже мужчина, покупающий распутную девку, пожалуй, не так подл, как я был тогда.

Как бы то ни было, под влиянием всех этих побуждений я вступил в связь с Кэса. Или, вернее, опозорил Кэса. Теперь, возвращаясь к вопросу, который я поставил себе с самого начала... Нет, мне незачем спрашивать себя вновь, люблю ли я Кэса. Временами я скорее ненавижу ее. В особенности после того, как все уже было кончено и она лежала в слезах, а я поднял ее, насильно обнимая, — тогда она казалась мне бесстыдной, чем я, бесстыдный! Ее растрепанные волосы, ее потное лицо — все свидетельствовало о безобразии ее тела и ее души. Если раньше я ее и любил, то этот день был последним — любовь исчезла навек. Или если раньше я ее не любил, то с этого дня в душе у меня родилась ненависть — можно сказать и так. И вот... О! Разве не готов я сегодня ради этой женщины, которую я не люблю, убить мужчину, к которому не питаю ненависти?

В этом совершенно никто не виноват. Я заговорил об этом сам, своими собственными устами. «Убить Ватару?» —

прошептал я, приблизив губы к ее уху. Когда я вспоминаю об этом, мне начинает казаться, что я тогда сошел с ума! Но я это прошептал. С мыслью «не прошепчу», стиснув зубы, прошептал. Почему мне захотелось так шепнуть, я и теперь, оглядываясь назад, никак не пойму. Но если хорошенько подумать... Чем больше я ее презирал, чем больше я ее ненавидел, тем больше и больше хотелось мне чем-нибудь ее унижить. Ничто не приблизило бы меня к этой цели так, как слова, которые я произнес: «Убить Ватару?» — убить мужа, любовь к которому Кэса выставляла напоказ, вынудить у нее согласие на это. И вот я, точно одержимый злым духом, сам того не желая, вызвался совершить убийство. Но если даже этих моих побуждений, из-за которых я сказал «убить Ватару», было мало, то потом какая-то невидимая сила (наверное, сам дьявол) поработила мою волю и увлекла меня на путь зла — иначе объяснить это невозможно. Так или иначе, я неотступно шептал на ухо Кэса одно и то же.

Тогда немного погодя Кэса вдруг подняла лицо и прямо ответила, что согласна на мой замысел. Для меня не только легкость этого ответа оказалась неожиданной. Когда я взглянул на ее лицо, в ее глазах таился странный блеск, какого я ни разу еще у нее не видел. Прелюбодейка! — вот что сразу же пришло мне в голову. И чувство, похожее на отчаяние, в один миг развернуло перед моими глазами весь ужас задуманного мною. Разумеется, излишне упоминать, что меня и тогда мучило отвращение к ее развратному, поблекшему виду. Если бы я только мог, я бы тут же на месте нарушил свое обещание. Я повергнул бы эту неверную жену на дно гнуснейшего позора. Возможно, тогда — пусть я и играл этой женщиной — моя совесть могла бы укрыться за справедливым негодованием. Но на это я уже не был способен. Когда лицо ее вдруг изменилось и она, точно видя меня насквозь, пристально посмотрела мне в глаза, признаюсь прямо: я принужден был дать обещание убить Ватару и назначил день и час потому, что я боялся: если я не соглашусь, Кэса мне отомстит. И до сих пор страх неотвязно сковывает мне сердце. Если кто-нибудь посмеется надо мной как над трусом — пусть смеется! Это сделает только тот, кто не видел Кэса то-

гда. «Если я не убью его, то Кэса — пусть и не собственными руками — все равно убьет меня. Так пусть лучше я сам убью Ватару!» — с отчаянием думал я, глядя в ее глаза, плачущие без слез. Я дал клятву, и когда я увидел, как Кэса опустила глаза и засмеялась, так что на ее бледных щеках появились ямочки, разве основательность моего страха не подтвердилась?

О, из-за этой проклятой клятвы я должен на свою обещанную, дважды обещанную душу принять грех убийства! Если бы этой ночью я нарушил клятву... Нет, этого я тоже не вынесу. Во-первых, есть та, кому я клялся. И кроме того, я говорил, что боюсь мести. И это не ложь. Но есть и еще нечто. Что? Что это за великая сила, которая гонит меня, такого труса, на убийство безвинного? Не знаю. Не знаю, но иногда... Нет, не может быть! Я презираю эту женщину. Боюсь. Ненавижу. И все-таки... и все-таки... может быть, я все еще люблю ее...

Продолжая ходить взад и вперед, Морито больше не произносит ни слова. Лунный свет. Слышно, как где-то поют песни имаё:

О душа, о сердце
человека!
Ты, как непроглядный мрак,
темно и глухо!
Ты горишь одним огнем —
страстей нечистых.
Угасаешь без следа —
и вот вся жизнь!

2

Ночь. Кэса, встав с постели и отвернувшись от света лампы, кусает рукав, погруженная в думы.

Ее разговор с самой собой:

«Придет ли он? Или не придет? Не может быть, чтобы не пришел. Однако луна уже склоняется к закату, шагов не слышно — может быть, он раздумал? Вдруг он не придет?.. О, тогда я опять должна буду смотреть на солнце со стыдом, как распутная девка! Как выдержу я такую мерзость, такую

гнуּность? Тогда я буду все равно что труп, валяющийся на дороге. Опозоренная, попираемая, в довершение всех зол обреченная нагло выставлять свой позор на свет, я все же должна буду молчать, как немая. Если это случится, пусть я умру — даже смерть не облегчит моих мук! Нет, нет, он непременно придет! Я не могу думать иначе с тех пор, как при прощании я видела его глаза. Он боится меня. Ненавидит, презирает и все же боится. В самом деле, если бы я надеялась только на себя, я не могла бы сказать, что он непременно придет. Нет, я надеюсь на подлый страх, рожденный его себялюбием. Вот почему я могу так сказать. Он непременно прокрадется сюда...

Я, неспособная больше надеяться на самое себя, — что я за жалкий человек! Три года назад я больше всего надеялась на себя, на свою красоту. Три года назад... может быть, ближе к правде будет сказать — до того дня. В тот день, когда я встрети́лась с ним в одной комнате, в доме у тетки, я с первого же взгляда увидела в его сердце свое безобразие. Лицо его оставалось спокойным, он как ни в чем не бывало говорил мне нежные слова, чтобы меня увлечь. Но разве может поддаться таким словам сердце женщины, однажды понявшей свое безобразие! Я только терзалась. Боялась. Горевала. Я вспомнила, как мне было жутко, когда в детстве, на руках у няньки, я смотрела на лунное затмение, — но насколько тогда было лучше, чем теперь! Все мои мечты сразу развеялись. И меня охватила тоска, как на дождливом рассвете. Дрожа от тоски, я в конце концов отдала свое все равно что мертвое тело этому человеку. Этому человеку, которого я не люблю, который меня ненавидит, который меня презирает, этому сластолюбцу... Может быть, я не могла вынести тоски, охватившей меня, когда я увидела свое безобразие? И я хотела обмануть всех, когда, словно в порыве страсти, прижала голову к его груди! Или же меня, как и его, толкала только гнусная чувственность? От одной этой мысли мне стыдно. Стыдно! Стыдно! Особенно в тот миг, когда я высвободилась из его объятий, как презирала я сама себя!

Как ни хотела я сдержать слезы, от гнева и тоски они лились опять и опять. Но это была не только печаль о нару-

шенной верности. Мучительнее всего было то, что, заставив меня нарушить мою верность, меня еще и унизили, что, ненавидя меня, как прокаженного пса, меня еще и терзают. Что же я потом сделала? Теперь это представляется мне смутным, как далекое воспоминание. Я только помню, как я рыдала, и вдруг его усы коснулись моего уха, и он, горячо дыша, тихо прошептал: «Убить Ватару?» Услышав эти слова, я почувствовала еще мне самой непонятное, странное ощущение возвращения жизни. Жизни? Если сияние луны можно назвать светом, то и это было возвращение жизни. Но как эта жизнь непохожа на свет солнца! И все же разве эти ужасные слова не утешили меня? О, неужели я, неужели женщина может так радоваться любви другого мужчины, что готова убить своего мужа?

Ощущая это возвращение жизни, тоскливой, как лунный свет в эту ночь, я все еще плакала. А потом? Потом? Когда, как я взяла с него клятву убить мужа? Только принимая клятву, я в первый раз вспомнила о муже. Я открыто говорю — в первый раз. До тех пор я была поглощена лишь мыслями о самой себе, о своем тихом муже... нет, не о муже. Перед моими глазами, как живое, всплыло лицо мужа, что-то с улыбкой мне говорящего. Наверно, мой замысел шевельнулся в моей душе как раз в тот миг, когда я вспомнила это лицо. Потому что как раз тогда я решила умереть. Я радовалась, что я в силах решиться. Но вот, перестав плакать, я подняла лицо, взглянула на Морито, снова, как и раньше, прочла в его сердце, что я безобразна, и вся моя радость сразу погасла. Я опять вспомнила мрак лунного затмения, которое я видела, лежа на руках у кормилицы. Как будто разом вырвались на волю все притаившиеся на дне радости злые духи. Если я заменю собой мужа, значит ли это, что я действительно люблю его? Нет, нет, мне только хочется под этим предлогом искупить свой собственный грех — то, что я отдалась этому человеку. Я, у которой не хватает мужества покончить с собой! Я, исполненная подлого желания выставить себя перед людьми в лучшем свете! Но это еще можно было бы изменить. Я была еще подлей! Еще, еще безобразней! Под предлогом заменить собою мужа не хотела ли я отомстить

этому человеку за его ненависть, за его презрение, за его гнусную чувственность, в угоду которой он сделал меня своей игрушкой, отомстить за все? Вот подтверждение: когда я увидела его лицо, странное оживление, похожее на лунный свет, потухло во мне, и мое сердце вдруг оледенила печаль. Я умру не ради мужа. Я хочу умереть ради себя самой. Я хочу умереть из-за горечи оттого, что изранили мое сердце, и из-за злобы оттого, что осквернили мое тело. Вот почему я хочу умереть. О, моя жизнь ничего не стоит! Ничего не стоит и моя смерть.

Но насколько эта смерть, даже если она и ничего не стоит, желанней, чем жизнь! Скрывая печаль, я принудила себя улыбнуться и еще раз взяла с него клятву убить мужа. Он догадлив, и он по этим моим словам, вероятно, догадался, что я натворю, если он нарушит клятву. А если так — он должен прийти, дав клятву, он не может не прийти... Что это, ветер? Когда я подумаю, что мои мучения, начавшиеся с того дня, этой ночью наконец прекратятся, у меня становится легко на сердце. Завтра солнце бросит холодный свет на мой обезглавленный труп. Когда это увидит мой муж... Нет, о муже не надо думать, муж меня любит. Но эта любовь мне не нужна. С давних пор я могла любить только одного человека. И этот единственный человек сегодня ночью придет меня убить. Даже при свете лампы мне слишком светло. Мне, измученной моим возлюбленным...»

Кэса гасит светильник. Вскоре в темноте — слабый звук отодвигаемой ставни. И сквозь щель падает бледный свет луны.

Апрель 1918 г.

Второго такого человека, как его светлость Хорикава, раньше-то, уж конечно, не было, да и впредь вряд ли будет. Ходила молва, будто перед его рождением у изголовья достопочтенной матушки явился сам святой Дайитоку. Как бы то ни было, он с самого рождения своего, говорят, непохож был на обыкновенных людей. И оттого ни разу не случилось, чтобы мы не подивились тому, что ему угодно было сделать. Посмотреть хоть на его дворец у реки Хорикава, такой, как это говорят, «величественный», что ли? Там такое понаделано, что нам с нашим простым разумением этого и не понять. Люди рассказывают о его светлости невесть что, сравнивают его светлость с императором Ши Хуанди и Ян Ди, да ведь это, пожалуй, все равно что, как говорится в пословице, слепому на ощупь судить о слоне. Однако его светлость помышлял не только о себе, о своем блеске и славе. Нет, он вникал и в то, что было куда ниже его. Он, как говорится, радовался вместе со всем миром — такое уж у него было великодушное сердце.

Вот почему, даже когда его светлость оказался во дворце Нидзэ во время ночных бесчинств злых духов, с ним не приключилось ничего дурного. И дух самого садайдзина Тору, который, как шла молва, из ночи в ночь появлялся во дворце Кахараин, на Третьей Восточной улице, — в том дворце, что прославлен изображением видов Сиогама в Митиноку, — так вот, даже этот призрак исчез, стоило его светлости на него прикрикнуть. Вот какое могущество было у его светлости, так что не удивительно, что народ во всей столице — стар и млад, мужчины и женщины, когда заходила речь о его светлости, говорили о нем, как о живом Будде. Прошел даже

слух, что когда при возвращении из дворца с праздника сливовых цветов понесли быки, впряженные в колесницу его светлости, и примяли одного старика, как раз там проходившего, то старик только сложил руки и благодарил за то, что по нему прошли быки его светлости.

Вот как все обстояло, и поэтому много чего можно будет порассказать о жизни его светлости даже в грядущие времена. Как он на пиру выставил в подарок гостям целых тридцать белых коней, как он при постройке моста Нагара отдал «в сваи» своего любимого отрока, как повелел китайцу-монаху, что знал искусство врачевания, разрезать себе нарыв на ляжке... Если перебирать все по отдельности — и конца не будет! Но из всего этого множества рассказов самый страшный, пожалуй, будет о том, как появились ширмы с картиной мук ада, что и сейчас в доме его светлости почитаются самой большой драгоценностью. Ведь даже его светлость, которого ничто на свете не могло расстроить, и тот был тогда потрясен. А мы, кто ему прислуживал, еле живы остались — об этом что уж говорить! Даже мне, служившей у его светлости целых тридцать лет, никогда больше не приходилось видеть такие ужасы.

Но прежде чем поведать вам об этом, нужно сначала рассказать о мастере-художнике Ёсихидэ, что нарисовал эти ширмы с изображением мук ада.

2

Ёсихидэ... верно, и теперь еще есть люди, которые его помнят. Это был такой знаменитый художник, что вряд ли в то время нашелся бы человек, который мог бы с кистью в руках сравниться с ним. В ту пору было ему, пожалуй, лет под пятьдесят. Посмотришь на него — такой низенький, тощий, кожа да кости, угрюмый старик. Во дворец к его светлости он являлся в темно-желтом платье каригину, на голове — шапка момизэбоси. Нрава был он прегадкого, и губы его, почему-то не по возрасту красные, придавали ему неприятное сходство с животным. Говорили, будто он лижет кисти и оттого к губам пристаёт красная краска, а что это было на са-

мом деле — кто его знает? Злые языки говорили, что Ёсихидэ всеми своими ухватками похож на обезьяну, и даже кличку ему дали: Сарухидэ¹.

Да, раз уж я сказала Сарухидэ, то расскажу заодно вот еще о чем. В ту пору во дворце его светлости возвели в ранг камеристки единственную пятнадцатилетнюю дочь Ёсихидэ, милую девушку, совсем непохожую на своего родного отца. К тому же, может, оттого, что она рано лишилась матери, она была задумчивая, умная не по летам, ко всем внимательная, и потому все другие дамы, начиная с дворцовой управительницы, любили ее.

Вот по какому-то случаю его светлости преподнесли ручную обезьяну из провинции Тамба, и сын его светлости, большой проказник, назвал ее Ёсихидэ. Обезьяна и сама по себе смешная, а тут еще такая кличка, вот никто во дворце и не мог удержаться от смеха. Ну, если бы только смеялись, это еще ничего, но случилось, что, когда она взберется на сосну в саду или запачкает татами в покоях, люди забавы ради подымали крик: «Ёсихидэ, Ёсихидэ!» — чем, конечно, сильно донимали художника.

Как-то раз, когда дочь Ёсихидэ, о которой я сейчас говорила, шла по длинной галерее, неся ветку сливы с письмом, из противоположной двери навстречу ей, прихрамывая, кинулась обезьянка Ёсихидэ — она, видно, повредила себе лапу и не могла взобраться на столб, как обычно делала. А за ней — что бы вы думали? — гнался молодой господин, размахивая хлыстом и крича:

— Негодный воришка! Постой, постой!

Увидев это, дочь Ёсихидэ было растерялась, но тут как раз обезьянка подбежала, уцепилась за ее подол и жалобно заскулила. Девушке сразу стало так ее жалко — прямо не совладать с собой. С веткой сливы в руке она отвела пахнущий фиалками рукав, нежно обняла обезьянку и, склонившись перед молодым господином, ясным голоском обратилась к нему:

— Осмелюсь сказать, это ведь животное. Пожалуйста, простите ее.

¹Сару — обезьяна.

Но молодой господин уже стоял перед ними. Он гневно нахмурился и топнул ногой.

— Чего заступаешься! Обезьяна украла мандарины.

— Ведь это животное... — повторила девушка, набравшись смелости, а потом с грустной улыбкой добавила: — К тому же ее зовут Ёсихидэ. Выходит, будто вы гневаетесь на моего отца, и я не могу спокойно смотреть на это.

Тогда, конечно, молодой господин овладел собой.

— Вот как!.. Ну, раз просишь за отца, я, так и быть, уступлю и прошу, — сказал он неохотно, бросил хлыст и ушел через ту самую дверь, откуда показался.

3

Дружба дочери Ёсихидэ с обезьянкой и началась с этого случая. Девушка подвязала ей на шею, на красивой красной ленте, золотой колокольчик, полученный в подарок от молодой госпожи, и обезьянка уже не отходила от девушки. А когда однажды дочь Ёсихидэ, простудившись, лежала в постели, обезьянка неотлучно сидела возле нее — может, это только казалось — с грустной мордочкой и все время кусала себе ногти.

С тех пор — странная вещь! — никто уже больше не мучил обезьянку, как бывало раньше. Напротив, мало-помалу ее стали ласкать, даже сам молодой господин иногда кидал ей персионы или каштаны. Мало того, когда однажды кто-то из слуг пнул обезьянку ногой, молодой господин очень разгневался; и говорили, что вскоре за тем его светлость повелел дочери Ёсихидэ явиться к нему с обезьянкой на руках именно потому, что ему стало известно, как разгневался молодой господин. Тут, кстати, до него дошли и рассказы о том, почему девушка так любит обезьянку.

— Девчонка — хорошая дочь. Хвалю.

Так по воле его светлости девушка получила в награду алое акомэ. А когда и обезьянка почтительно взяла в руки акомэ, делая вид, будто его рассматривает, его светлость изволил еще больше развеселиться. Да, вот как это было, и, значит, его светлость стал благоволить к дочери Ёсихидэ

именно потому, что одобрил ее почтение и любовь к отцу, сказавшиеся в ее любви к обезьяне, а вовсе не потому, что был сластолюбив, как говорили люди. Правда, и такая молва пошла не без причины, но об этом я расскажу не торопясь, как-нибудь в другой раз. Пока же довольно сказать, что при всей ее красоте не такой был человек его светлость, чтобы засматриваться на какую-то дочь художника.

Так вот, дочь Ёсихидэ удалилась от его светлости с честью, но так как она была девушка умная, то не навлекла на себя зависти остальных камеристок. Напротив, с тех пор ее вместе с обезьянкой стали баловать, и так часто сопровождала она молодую госпожу на прогулку, что, можно сказать, почти не отходила от нее.

Однако оставлю пока что девушку и расскажу еще об ее отце Ёсихидэ. Да, обезьяну вскорости все полюбили, но самого-то Ёсихидэ по-прежнему терпеть не могли и по-прежнему за спиной звали Сарухидэ. И так было не только во дворце. В самом деле, и отец настоятель из Ёкогавы, когда произносили при нем имя Ёсихидэ, менялся в лице, словно встретился с чертом, и вообще изволил его ненавидеть. Правда, поговаривали, будто причина в том, что Ёсихидэ изобразил отца настоятеля на шуточных картинках, но это болтали низшие слуги, и не могу сказать наверняка, так ли это. Во всяком случае, отзывались о нем дурно везде, кого ни спросишь. Если кто не говорил о нем плохо, то разве два-три приятеля-художника. Да еще люди, которые видели его картины, но не знали его самого.

Однако Ёсихидэ не только с виду был гадкий, у него был отвратительный нрав, и нельзя не сказать, что ему доставалось по заслугам.

4

А нрав у него был вот какой: он был скупой, бессовестный, ленивый, алчный, а пуще всего — спесивый, заносчивый человек. Что он первый художник в стране — это прямо-таки капало у него с кончика носа. Ладно бы дело шло только о живописи, но он и в другом не хотел никому уступать и вы-

смеивал даже нравы и обычаи. Один старый ученик Ёсихидэ рассказывал мне, что, когда как-то раз в доме одной знатной особы в знаменитую жрицу Хигаки вселился дух и она начала вещать страшным голосом, Ёсихидэ и слушать ее не стал, а взял припасенную кисть и спокойно срисовал ужасное лицо жрицы. Должно быть, и нашествие духа было в его глазах просто детским надувательством.

Вот какой это был человек, и потому лицо будды Киссётэн он срисовал с простой потаскушки; а будду Фудо писал с оголтелого каторжника, и много чего непотребного он делал, а когда его за это упрекали, он только посвистывал. «Что же, боги и будды, которых Ёсихидэ нарисовал, его же за это накажут? Чудно!» Такие слова пугали даже учеников, и многие из них в страхе за будущее торопились его оставить. Как бы там ни было, он думал, что такого замечательного человека, как он, в его время нет нигде на свете.

Нечего говорить о том, какой высоты Ёсихидэ достиг в искусстве живописи. Правда, так как его картины и по рисунку, и по краскам во многом отличались от произведений других художников, то среди его недоброжелателей, собратьев по кисти, поговаривали, что он шарлатан. По их словам, когда дело касается картин Каванари, или Канаока, или других знаменитых старых мастеров, то о них ходят удивительные рассказы: то будто на разрисованной створке двери в лунные ночи благоухает слива, то будто слышно, как придворные, изображенные на ширме, играют на флейте... Когда же речь идет о картинах Ёсихидэ, то говорят только странные и жуткие вещи. Например, о картине «Круговорот жизни и смерти», которую Ёсихидэ написал на воротах храма Рюгайдзи, рассказывали, что когда поздно ночью проходишь через ворота, то слышатся стоны и рыдания небожителей. Больше того, находились такие, которые уверяли, что чувствовали даже зловоние разлагающихся трупов. А портреты женщин, нарисованные по приказу его светлости? Говорили ведь, что не проходит и трех лет, как те, кто на них изображен, заболевают, словно из них вынули душу, и умирают. Послушать злоязычных, так это самое верное доказательство, что в картинах Ёсихидэ замешано колдовство.

Но поскольку Ёсихидэ, как я уже говорила, был человек особенный, то он только гордился этим, и когда как-то раз его светлость изволил пошутить: «Ты, кажется, любишь уродство?» — то он, неприятно усмехнувшись своими не по возрасту красными губами, самодовольно ответил: «Да, всем этим художникам-верхоглядам не понять красоты уродства!» Пусть он и первый художник в стране, но так кичиться в присутствии его светлости... Недаром ученик, о котором я давеча упоминала, потихоньку дал ему кличку Тираэйдзю, хуля его за то, что он зазнается. Вы, наверно, знаете: Тираэйдзю — так звали черта, который давно, в старину, прибыл к нам из Китая.

Но даже у Ёсихидэ, даже у этого человека, который не признавал никого и ничего, было одно настоящее человеческое чувство.

5

Ёсихидэ до безумия любил свою единственную дочь, ту самую девушку-камеристку. Я уже говорила, что девушка была нежная, хорошая дочь, но и его любовь к ней отнюдь не уступала ее чувству, и если рассказать, что этот человек, который на храмы никогда не жертвовал, на платья дочери или украшения для ее волос денег не жалел никогда, может показаться, что это просто ложь.

Впрочем, любовь Ёсихидэ к дочери сводилась лишь к тому, что он ее лелеял, а найти ей хорошего мужа — этого у него и в мыслях не было. Какое там! Если за девушкой кто-нибудь приударял, он, наоборот, не останавливался перед тем, чтоб набрать головорезов, которые нападали на смельчака и его убивали. Поэтому, когда по слову его светлости девушку произвели в камеристки, старик отец был очень недоволен и даже перед лицом его светлости хмурился. Должно быть, отсюда-то и пошли толки о том, что его светлость увлечен красотой девушки и держит ее во дворце, не считаясь с недовольством отца.

Впрочем, хотя толки-то были ложные, но что Ёсихидэ из любви к дочери постоянно просил, чтобы ее отпустили из

дворца, это правда. Однажды, рисуя по приказу его светлости младенца Мондзю, он очень удачно изобразил лицо любимого отрока его светлости, и его светлость, весьма довольный, изволил милостиво сказать:

— В награду дам тебе что хочешь. Выскажи твое желание не стесняясь.

Тогда Ёсихидэ — что бы вы думали? — дерзко сказал:

— Пожалуйста, отпустите мою дочь!

В других дворцах — дело особое, но тех, кто служил его светлости Хорикава, так ласкали... Где же еще найдется человек, который бы так грубо обратился с подобной просьбой? Это даже его светлость, такого великодушного, видимо, рассердило, и он некоторое время только молча смотрел в лицо Ёсихидэ, а потом изволил резко сказать: «Нельзя», — и тут же поднялся. И такие вещи повторялись несколько раз. Как вспомнишь теперь, пожалуй, с каждым разом его светлость изволил смотреть на Ёсихидэ все холоднее. Да и девушка, должно быть беспокоясь за отца, часто приходила в комнаты камеристок и горько плакала, кусая рукав. Тогда толки о том, что его светлость влюбился в дочь Ёсихидэ, еще усилились. Некоторые даже говорили, будто ширмы с муками ада появились-де из-за того, что девушка противилась желаниям его светлости; но этого, разумеется, не могло быть.

Как я понимаю, его светлость не хотел отпустить дочь Ёсихидэ потому, что он с жалостью думал о судьбе молодой девушки. Он милостиво полагал, что, чем оставлять ее у такого упрямого отца, лучше держать ее у себя во дворце, где ей жилось привольно. Разумеется, он благоволил к милой девушке. Но что у него были сластолюбивые помыслы, это досужие выдумки. Да нет, можно сказать, что это просто ложь, лишенная всяких оснований.

Но как бы там ни было, только уж в то время, когда Ёсихидэ из-за дочери оказался почти в немилости, его светлость — о чем он помыслил, не знаю — вдруг призвал к себе художника и повелел ему разрисовать ширмы, изобразив на них муки ада.

Стоит только сказать: «Ширма с муками ада», — как эта страшная картина так и встает у меня перед глазами.

Если взять другие изображения мук ада, то надо сказать вот что: то, что нарисовал Ёсихидэ, не похоже на картины других художников прежде всего, как бы это сказать, по расположению. В углу на одной створке мелко нарисованы десять князей преисподней, а по всему остальному пространству бушует такое яростное пламя, что можно подумать, будто пылают меч-горы, поросшие нож-деревом. Только кое-где желтыми или синими крапинками пробивается китайская одежда адских слуг, а так, куда ни кинь взгляд, все сплошь залито алым пламенем, и среди огненных языков, изогнувшись, как крест мандзи, бешено вьется черный дым разбрызганной туши и летят горящие искры развеянной золотой пыли.

Уже в этом одном сила кисти поражает взор, но и грешники, корчащиеся в огне, — таких тоже почти что не бывает на обычных картинах ада. Среди множества грешников Ёсихидэ изобразил людей всякого звания, от высшей знати до последнего нищего. Важные сановники в придворных одеяниях, очаровательные юные дамы в шелковых нарядах, буддийские монахи с четками, молодые слуги на высоких асида, отроковицы в длинных узких платьях, гадатели со своими принадлежностями — перечислять их всех, так и конца не будет! В бушующем пламени и дыму, истязуемые адскими слугами с бычьими и конскими головами, эти люди судорожно мечутся во все стороны, как разлетающиеся по ветру листья. Там женщина, видно жрица, подхваченная за волосы на вилы, корчится со скрюченными, как лапы у паука, ногами и руками. Тут мужчина, должно быть какой-нибудь наместник, с грудью, насквозь пронзенной мечом, висит вниз головой, как летучая мышь. Кого стегают железными бичами, кто придушен тяжестью камней, которых не сдвинет и тысяча человек, кого терзают клювы хищных птиц, в кого впились зубы ядовитого дракона — пыток, как и грешников, там столько, что не перечесть.

Но самое ужасное — это падающая сверху карета, со-

скользнувшая до середины нож-дерева, которое торчит, как клык хищного животного. За бамбуковой занавеской, приподнятой порывами ветра преисподней, женщина, так блистательно разряженная, что ее можно принять за фрейлину или статс-даму, с развевающимися в огне длинными черными волосами, бьется в муках, откинув назад белую шею, и взять ли эту женщину, взять ли пылающую карету — все, все так и вызывает перед глазами муки огненного ада. Кажется, будто ужас всей картины сосредоточился в этой одной фигуре. Это такое нечеловеческое искусство, что, когда глядишь на картину, в ушах сам собой раздается страшный вопль.

Да, вот такая это вещь, и для того, чтобы она была написана, и произошло то страшное дело. Ведь иначе даже сам Ёсихидэ — как мог бы он так живо нарисовать муки преисподней? За то, что он создал эту картину, ему пришлось перенести такие страдания, что сама жизнь ему опостылела. Можно сказать, этот ад на картине — тот самый ад, куда предстояло попасть и самому Ёсихидэ, первому художнику своей страны.

Может быть, торопясь поведать вам об этой удивительной ширме с муками ада, я забежала вперед. Ну теперь буду продолжать по порядку и перейду к Ёсихидэ в ту пору, как он получил от его светлости повеление написать картину мук ада.

7

Месяцев пять-шесть Ёсихидэ совсем не показывался во дворец и занимался только своей картиной. Странное дело, стоило ему сказать себе: «Ну, принимаюсь за работу!» — как он, такой чадолюбивый отец, забывал даже родную дочь. Тот ученик, о котором я давеча упоминала, рассказывал мне, что, когда Ёсихидэ брался за работу, в него точно лиса вселялась. И правда, в то время прошел слух, будто Ёсихидэ составил себе имя в живописи потому, что дал обед богу счастья. В подтверждение некоторые говорили, что надо только потихоньку подсмотреть, как Ёсихидэ работает, и тогда непременно увидишь, как вокруг него — и спереди, и сзади,

и со всех сторон — вьются призраки-лисицы. Правда то, что, взяв в руки кисть, он забывал обо всем на свете, кроме своей картины. И днем и ночью сидел он, запершись, и редко выходил на дневной свет. А когда писал ширму с муками ада, то стал совсем как одержимый.

Мало того, что у себя в комнате, где и днем были спущены занавеси, он при свете лампад тайными способами растирал краски или, нарядив учеников в суйкан или каригину, тщательно срисовывал каждого в отдельности. От таких чудачеств он не воздерживался никогда, даже еще до того, как стал писать ширмы с муками ада, при любой работе. Когда он писал в храме Рюгайдзи картину «Круговорот жизни и смерти», то спокойно присаживался перед валявшимися на дорогах трупами, от которых всякий обыкновенный человек нарочно отворачивается, и точка в точку срисовывал полуразложившиеся руки, ноги и лица. Каким образом находил на него такой стих — это, пожалуй, не всякий поймет. Рассказывать подробно сейчас не хватит времени, но если поведать вам самое главное, то вот как это происходило.

Однажды, когда один из учеников Ёсихидэ (тот самый, о котором я уже говорила) растирал краски, мастер вдруг подошел и сказал ему:

— Я хочу немного соснуть. Только в последнее время все вижу плохие сны.

В этом не было ничего особенного, и ученик, не бросая работы, коротко ответил:

— Хорошо.

Однако Ёсихидэ — что бы вы думали! — с небывало грустным видом смущенно попросил:

— Не посидишь ли ты возле меня, пока я буду спать?

Ученику показалось странным, что мастер принимает так близко к сердцу какие-то сны, но просьба не была обременительна, и он согласился. Тогда мастер опять встревоженно и как-то смущенно продолжал:

— Тогда ступай в заднюю комнату. А если придут другие ученики, то пусть ко мне не входят.

Это была та комната, где он писал картины, и там при задвинутой, как ночью, двери в тусклом свете лампад стояла

ширма с картиной, пока набросанной только тушью. Ну вот, когда они пришли туда, Ёсихидэ подложил под голову локоть и крепко заснул, как будто совсем обессилев от усталости. Но не прошло и получаса, как до слуха сидевшего возле него ученика стали доноситься какие-то непонятные, еле слышные стоны.

8

Стоны становились громче и постепенно перешли в прерывистую речь — казалось, будто утопающий стонет и вскрикивает, захлебываясь в воде.

— Что ты говоришь: «Приходи ко мне?» — Куда приходишь? — «Приходи в ад. Приходи в огненный ад!» — Кто ты? Кто ты, говорящий со мной? Кто ты? — «Как ты думаешь, кто?»

Ученик невольно перестал растирать краски и украдкой боязливо взглянул на мастера: морщинистое лицо старика побледнело, на нем крупными каплями выступил пот, рот с редкими зубами и пересохшими губами был широко раскрыт, как будто он задыхался. А во рту что-то шевелилось, быстро-быстро, словно дергали за нитку, — да, да, это был его язык. Отрывистые слова срывались с этого языка.

— «Как ты думаешь, кто?» — Да, это ты. Я так и думал, что это ты. Ты пришел за мной? — «Говорю тебе, приходи. Приходи в ад!» — В аду... в аду ждет меня моя дочь.

Ученику стало жутко, ему вдруг померещилось, будто с ширмы соскользнули какие-то зыбкие, причудливые тени. Разумеется, ученик сейчас же протянул руку к Ёсихидэ и что было сил стал трясти его, чтобы разбудить, но мастер продолжал во сне, как в бреду, говорить сам с собой и никак не мог проснуться. Тогда ученик, собравшись с духом, плеснул ему в лицо стоявшую рядом воду для мытья кистей.

— «Она ждет, садись в экипаж... садись в этот экипаж и приезжай в ад!..»

В ту же минуту эти слова превратились в стон, как будто говорящему сдавили горло, и Ёсихидэ, раскрыв глаза, вскочил так быстро, словно его кольнули. Должно быть, необы-

чайные видения сна еще витали под его веками. Некоторое время он испуганно смотрел прямо перед собой с широко раскрытым ртом и, наконец придя в себя, вдруг грубо приказал:

— Мне уже лучше, ступай!

Зная, что мастеру нельзя перечить, иначе непременно получишь выговор, ученик поспешно вышел из комнаты, и когда он опять попал на яркий солнечный свет, то облегченно вздохнул, как будто сам проснулся от дурного сна.

Но это еще ничего, а вот примерно через месяц Ёсихидэ позвал к себе в комнату другого ученика: художник, кусая кисть, сидел при тусклом свете лампы и, резко обернувшись к вошедшему, сказал:

— Слушай, у меня к тебе просьба: разденься догола!

Так как и раньше случалось, что мастер давал такое приказание, ученик, быстро скинув одежду, разделся донага. Тогда Ёсихидэ как-то странно скривился.

— Я хочу посмотреть на человека, закованного в цепи, так что, как мне ни жаль тебя утруждать, исполни ненадолго мою просьбу, — хладнокровно произнес он.

Этот ученик был крепко сложенный юноша, которому больше пристало держать в руках меч, чем кисти, но тут даже он испугался. Позже, рассказывая об этом, он всегда повторял: «Я думал, уж не сошел ли мастер с ума, не хочет ли он убить меня». Но мастера его нерешительность, должно быть, вывела из терпения. Перебирая в руках откуда-то взявшуюся тонкую железную цепь, он стремительно, точно набрасываясь на врага, схватил ученика за плечи, силой скрутил ему руки и обмотал цепью все тело, потом рванул за конец, и ученик, потеряв равновесие, во весь рост грохнулся на пол.

9

В эту минуту ученик похож был на опрокинутую бутылку сакэ. Руки и ноги его были безжалостно скручены, так что шевелить он мог только головой. К тому же цепь так стягивала его полное тело, что кровь в нем остановилась, и не

только на лице и на груди, но на всем теле кожа у него стала багровой. Но Ёсихидэ все это ничуть не беспокоило. Расхаживая вокруг этого тела, похожего на опрокинутую бутылку, и рассматривая его со всех сторон, он один за другим делал наброски. Какие мучения испытывал скованный ученик, об этом, пожалуй, незачем и говорить.

Так, вероятно, продолжалось бы долго, если бы не произошло нечто неожиданное. К счастью (а может быть, лучше сказать — к несчастью), из-за стоявшего в углу комнаты горшка вдруг, извиваясь, узкой лентой потекло что-то похожее на струю черного масла. Вначале оно двигалось вперед медленно, как липкая жидкость, но потом стало скользить быстрее и, поблескивая, подтекло к самому носу ученика. Тогда он с трудом, не помня себя, застонал: «Змея, змея!» Как он потом рассказывал, ему казалось в эту минуту, что вся кровь в нем застыла — и было отчего. Змея уже чуть не касалась своим холодным жалом его шеи, в которую вьелись цепи. Это неожиданное вмешательство испугало даже бесчеловечного Ёсихидэ. Поспешно бросив кисть, он нагнулся и мигом ухватил змею за хвост, так что она повисла вниз головой. Змея, покачиваясь, подняла голову и обвилась сама вокруг себя, но никак не могла дотянуться до его руки.

— Из-за тебя пропал рисунок, — хрипло и злобно пробормотал он, бросил змею в горшок в углу комнаты и с явной неохотой развязал цепь, которой был опутан ученик. Это было все, он даже не сказал ученику доброго слова. Должно быть, он досадовал не столько из-за того, что ученика могла укусить змея, сколько из-за того, что испортил рисунок. Потом уже стало известно, что и эту змею он нарочно держал у себя, чтобы рисовать с нее.

Пожалуй, довольно рассказать одно это, чтобы вы в общем представили себе его увлечение работой — неистовое, прямо бешеное. Но уж расскажу заодно, как другой ученик, лет тринадцати-четырнадцати, из-за ширмы с муками ада пережил такой ужас, который чуть не стоил ему жизни. У этого ученика была белая, как у женщины, кожа. Однажды вечером мастер позвал его в свою комнату, и он, ничего не подозревая, пошел на зов. Смотрит — Ёсихидэ при свете

лампады кормит с рук сырым мясом какую-то невиданную птицу. Величиной она была, пожалуй, с кошку. Да и перья, торчавшие с обеих сторон, как уши, и большие круглые янтарные глаза — все это тоже напоминало кошку.

10

Ёсихидэ обычно терпеть не мог, чтобы кто-нибудь совал нос в его дела. Так было и со змеей, о которой я сейчас рассказывала, и вообще о том, что делалось у него в комнате, он ученикам не сообщал. То на столе у него стоял череп, то красовались серебряные шарики или лакированные подносики; смотря по тому, что он рисовал, в комнате его появлялись самые неожиданные предметы. И куда он потом все это деваает — никто не знал. Пожалуй, и толки о том, что ему помогает бог счастья, пошли отсюда.

Поэтому ученик, решив, что и эта невиданная птица понадобилась мастеру для картины с муками ада, стоя перед мастером, почтительно спросил:

— Что вам угодно?

Но Ёсихидэ, как будто не слыша его, облизнул свои красные губы и указал подбородком на птицу.

— Ну что, совсем ручная, а?

— Как она называется? Я такой никогда не видал! — сказал ученик, с опаской поглядывая на ушастую птицу, похожую на кошку.

— Что, не видал? — усмехнулся Ёсихидэ. — По-городскому воспитан, вот беда... Эта птица называется филин, мне ее несколько дней назад подарил охотник из Курамы. Только ручные среди них, пожалуй, редко попадаются.

С этими словами он медленно поднес руку к птице, только что кончившей есть, и тихонько погладил ее по спине, от хвоста вверх. И что ж? — в тот же миг птица издала пронзительный крик и вдруг как взлетит со стола, да как расправит когти, да как ринется прямо на ученика! Если бы он не успел закрыться рукавом, она, наверно, истерзала бы ему лицо. Ахнув от страха, ученик стал махать рукавом, стараясь отогнать филина, а птица, щелкая клювом, опять на него... Тут

уж ученику было не до того, что здесь сам мастер: он принался и стоя отбиваться, и сидя ее гнать, и метаться по тесной комнате то туда, то сюда, а диковинная птица все за ним — то повыше взлетит, то пониже опустится и так и метит все через какую-нибудь щелочку прямо в глаз. При этом она страшно хлопала и шелестела крыльями, и от этого ему почему-то чудился не то запах опавших листьев, не то брызги водопада, не то прелый дух перебродивших фруктов, что обезьяны прячут в дуплах... Сказать «жутко» — мало. Сердце у него сжималось, и тусклый свет лампы казался ему лунным сиянием, а комната учителя — далеким горным ущельем, осажженным демонами.

Однако ученика испугало не только то, что на него накинулся филин. Нет, волосы у него встали дыбом, когда мастер Ёсихидэ, хладнокровно глядя на весь этот переполох, спокойно развернул бумагу, вынул кисть и стал срисовывать эту страшную картину — как женоподобного юношу терзает диковинная птица. Стоило ученику одним глазом увидеть это, как его охватил несказанный страх, и он даже подумал, уж не собирается ли мастер убить его.

11

Да и в самом деле, нельзя сказать, чтобы мастер не был на это способен. Ведь похоже было на то, что он нарочно позвал ученика, чтобы натравить на него птицу и срисовать, как он будет метаться. Поэтому, когда ученик увидел, что делает мастер, он, не помня себя, спрятал голову в рукава, закричал страшным голосом и скорчился на полу у двери в углу комнаты. Тогда Ёсихидэ как-то испуганно вскрикнул и вскочил, но тут птица зашумела крыльями еще сильнее, и в этот миг раздался оглушительный грохот, как будто что-то упало и разбилось. Ученик, полумертвый от страха, невольно опустив рукав, поднял голову, смотрит — в комнате совершенно темно, и только слышно, как мастер сердито кличет учеников.

Наконец издалека отозвался какой-то ученик и торопливо вошел со свечой в руке. При коптящем огоньке стало вид-

но, что лампада опрокинута, пол и татами залиты маслом и на полу валяется филин, судорожно хлопая одним крылом. Ёсихидэ так и застыл, приподнявшись над столом, и с ошеломленным видом бормочет что-то непонятное. И неудивительно: вокруг филина, захватив его голову и полтуловища, обвилась черная змея. Должно быть, когда ученик скорчился у порога, он опрокинул горшок. Змея выползла, филин хотел ее клюнуть — вот и началась вся эта кутерьма. Ученики переглянулись и только подивились представшему перед ними странному зрелищу, а потом молча поклонились мастеру и быстро вышли из комнаты. Что стало со змеей и птицей дальше — никто не знает.

Подобным историям не было числа. Я забыла сказать — ширмы с муками ада художнику повелели написать в начале осени, и вот до самого конца зимы ученики все время жили под страхом этих чудачеств мастера. Но в конце зимы у мастера с работой стало что-то не ладиться, вид у него сделался еще мрачнее, говорил он с раздражением. А картина на ширме как была набросана на три четверти, так дальше и не подвигалась. Мало того, порой художник даже замазывал то, что раньше нарисовал, и этому не видно было конца.

Но что именно у него не ладилось — никто не знал. Да вряд ли кто и старался узнать: наученные горьким опытом, ученики чувствовали себя так, словно сидели в одной клетке с тигром или волком, и только старались не попадаться мастеру на глаза.

12

За это время не случилось ничего такого, о чем стоило бы рассказывать. Вот только... у упрямого старикашки почему-то глаза стали на мокром месте; бывало, как останется один — плачет. Один ученик говорил мне — раз он зачем-то зашел в сад и видит: мастер стоит на галерее, смотрит на весеннее небо, а глаза у него полны слез. Ученику стало как-то неловко, он молча повернулся и торопливо ушел. Ну, не странно ли, что этот самонадеянный человек, который для «Круговорота жизни и смерти» срисовывал трупы, валяю-

щиеся по дорогам, плакал, как дитя, из-за того, что ему не удается, как хочется, написать картину.

Но пока Ёсихидэ работал как бешеный над своей картиной, будто совсем потеряв рассудок, его дочь отчего-то становилась все печальней, и даже мы стали замечать, что она то и дело глотает слезы. Она и всегда была задумчивая, тихая, а тут еще и веки у нее отяжелели, глаза ввалились — совсем грустная стала. Сначала мы гадали — то ли об отце думает, то ли любовная тоска, ну а потом пошли толки, будто его светлости угодно стало склонять ее к своим желаниям, и уж после этого все разговоры как ножом отрезало, точно все о ней вдруг позабыли.

Как-то ночью, когда уже пробила стража, я одна проходила по галерее. Вдруг откуда-то подбежала обезьянка Ёсихидэ и ну дергать меня за подол юбки. Была теплая ночь, луна слабо светила, казалось, пахнет цветущими сливами. Вот я при свете луны и увидела — что вы думаете? — обезьянка оскалила свои белые зубы, сморщила нос и кричит как сумасшедшая. Мне стало как-то не по себе, досада меня взяла, что она дергает за новую юбку, и я было оттолкнула ее и хотела пройти дальше, но потом передумала: ведь уже был случай, когда один слуга обидел обезьянку и ему досталось от молодого господина. К тому же видно было, что и обезьянка так поступала неспроста. Тогда я решила узнать, в чем дело, и нехотя прошла несколько шагов в ту сторону, куда она меня тащила.

Так я оказалась у того места, где галерея поворачивала за угол и откуда за изогнутыми ветвями сосен был виден пруд, чуть поблескивавший даже в ночном полумраке. И вдруг я с испугом услышала из комнаты рядом тревожный и в то же время странный тихий шум чьего-то спора. Кругом все замерло в полной тишине, не слышно было человеческого голоса, и только не то в лунных лучах, не то в ночной мгле — не поймешь — плескались рыбы. Поэтому, услышав эти звуки, я невольно остановилась. «Ну, если это кто-нибудь озорничает, я им покажу!» — подумала я и, сдерживая дыхание, тихонько прильнула к двери.

Обезьянке, видно, казалось, что я мешкаю. Она нетерпеливо покружилась у моих ног, потом жалобно застонала, точно ее душили, и вдруг вскочила мне на плечо. Я невольно отвела голову в сторону, хотела от нее увернуться, а обезьянка, чтобы не соскользнуть вниз, вцепилась мне в рукав, — и в эту минуту, совсем забывшись, я покачнулась и всем телом ударилась о дверь. Ну тут уж медлить нельзя было. Я быстро раздвинула дверь и хотела было кинуться в не освещенную луной глубину комнаты, но тут же остановилась в испуге, потому что навстречу мне, словно стрела, спущенная с тетивы, выскочила из комнаты какая-то женщина. В дверях она чуть не столкнулась со мной, кинулась наружу, как вдруг упала на колени и, задыхаясь, испуганно уставилась на меня так, словно увидела перед собой что-то страшное.

Я думаю, незачем и говорить, что это была дочь Ёсихидэ. Но в этот вечер она показалась мне прямо на себя непохожей. Глаза широко раскрыты. Щеки пылают румянцем. К тому же беспорядок в одежде придал ей прелесть, необычную при ее всегдашнем младенческом виде. Неужто это в самом деле нежная, пугливая дочь Ёсихидэ? Я прислонилась к двери, глядя на эту красивую девическую фигуру, озаренную луной, и, указывая в ту сторону, откуда слышались чьи-то поспешно удалявшиеся шаги, спросила глазами: кто?

Но девушка, закусив губы, молча покачала головой. Какой у нее был расстроенный вид!

Тогда я нагнулась и, приблизив губы к ее уху, шепнула: «Кто?» Но опять она только покачала головой и ничего не ответила. Мало того, на ее длинных ресницах повисли слезы, и она еще крепче сжала губы.

Я от природы глупа и, кроме самых простых, всем понятных вещей, ничего не смыслю. Поэтому я просто не знала, что еще сказать, и некоторое время стояла неподвижно, словно прислушивалась, как бьется ее сердце. Да и расспрашивать ее дальше мне почему-то казалось нехорошо...

Сколько времени это продолжалось, не знаю. Наконец я задвинула дверь и, оглянувшись на девушку, которая, видно, уже немного пришла в себя, как можно мягче сказала: «Сту-

пай к себе в комнату». Потом с какой-то тревогой в душе, как будто я увидела что-то недозволенное, и чувствуя себя неловко — а перед кем, не знаю, — я пошла туда, куда направлялась. Но не прошла и десяти шагов, как кто-то опять робко потянул меня сзади за подол. Я испуганно оглянулась. Как вы думаете, кто это был?

Смотрю — у моих ног стоит обезьянка Ёсихидэ и, сложив руки, как человек, звеня золотым колокольчиком, учтиво мне кланяется.

14

После происшествия этого вечера минуло дней двадцать. Однажды Ёсихидэ неожиданно пришел во дворец и попросил приема у его светлости: художник был человек низкого звания, но давно уже пользовался благоволением его светлости. И его светлость, который не так-то легко принимал кого бы то ни было, и на этот раз охотно соизволил дать свое согласие и сейчас же позвал его к себе. Ёсихидэ был в своем всегдашнем темно-желтом каригину и помятой момизэбоси; с видом еще более угрюмым, чем обычно, он почтительно простерся ниц перед его светлостью и хриплым голосом проговорил:

— Дело идет о ширме с картиной мук ада, что ваша светлость давно изволили повелеть мне написать. С великим усердием днем и ночью держал я кисть и добился успеха. Большая часть моей работы уже сделана.

— Прекрасно, я доволен.

Однако голос его светлости, изволившего произнести эти слова, звучал как-то вяло, без воодушевления.

— Нет, ничего прекрасного нет! — Ёсихидэ с несколько рассерженным видом опустил глаза. — Большая часть сделана, но одного я сейчас никак не могу нарисовать.

— Что такое?! Не можешь нарисовать?

— Да, не могу. Я никогда не могу рисовать то, чего не видел. А если нарисую, то недоволен. Выходит, все равно что не могу.

Услыхав эти слова, его светлость насмешливо улыбнулся.

— Значит, чтобы нарисовать ширмы с муками ада, тебе нужно увидеть ад?

— Да, ваша светлость изволят говорить правду. Но несколько лет назад, во время большого пожара, я собственными глазами видел такой яростный огонь, что он может сойти за пламя ада. И пламя на картине «Ёдзири-Фудо» я написал благодаря тому, что мне привелось видеть этот пожар. Ваша светлость изволят знать эту картину.

— А как же с грешниками? Да и адских слуг ты вряд ли видел?

Его светлость задавал один вопрос за другим с таким видом, как будто слова Ёсихидэ совершенно не доходили до его ушей.

— Я видел человека, закованного в цепи. Я полностью срисовал, как другого человека терзала хищная птица. Так что нельзя сказать, что я совсем не знаю мучений грешников. И адские слуги... — Ёсихидэ криво усмехнулся, — и адские слуги не раз являлись мне не то во сне, не то наяву. Черты с бычьими мордами, с конскими головами или с тремя лицами и шестью руками, бесшумно хлопая в ладоши, беззвучно разевая рты, приходят меня истязать, можно сказать, ежедневно и еженощно. Нет... что я хочу и не могу нарисовать — это не то.

Такие слова, должно быть, изумили даже его светлость. Некоторое время его светлость недовольно смотрел на Ёсихидэ, а потом, грозно сдвинув брови, отрывисто бросил:

— Говори, чего же ты не можешь нарисовать?

15

— Я хочу в самой середине ширмы нарисовать, как сверху падает карета.

Сказав это, Ёсихидэ в первый раз устремил пронизывающий взгляд в лицо его светлости. Я слышала, что, говоря о картинах, он как будто делается сумасшедшим, и вот в эту минуту от его взгляда действительно становилось жутко.

— А в карете, — продолжал художник, — разметав охваченные пламенем черные волосы, извивается в муках изящная придворная дама. Задыхаясь от дыма, искривив брови,

она запрокинула лицо вверх. Рука срывает бамбуковую занавеску, может быть, чтобы избавиться от сыплющихся с нее дождей искр. Над нею, шелкая клювами, кружат и вьются десять, двадцать диковинных птиц... Вот эту даму в карете — ее-то мне и не удастся никак нарисовать!

— Ну и что же? — почему-то с довольным видом понукал художника его светлость.

А Ёсихидэ с трясущимися, точно от лихорадки, красными губами еще раз, как во сне, повторил:

— Ее-то мне и не удастся нарисовать... — И вдруг резко, точно набрасываясь на кого-то, он выкрикнул: — Прошу вашу светлость — сожгите у меня на глазах карету. И кроме того, если можно...

Лицо его светлости потемнело, но вдруг он громко захотал. И давясь от смеха, изволил проговорить:

— Я сделаю все, как ты просишь. А можно или нельзя — об этом рассуждать ни к чему.

Когда я услышала эти слова, сердце у меня екнуло и мне вдруг стало страшно. Да и в самом деле, вид у его светлости тоже был необыкновенный — на губах пена, в бровях гроза, можно было подумать, что его заразило безумие Ёсихидэ. Его светлость замолчал было, но вдруг точно что-то прорвалось в нем, и он опять, безостановочно, громко смеясь, сказал:

— Сожгу карету! И посажу туда изящную женщину, наряженную придворной дамой. И женщина в карете, терзаемая пламенем и черным дымом, умрет мучительной смертью. Тот, кто замыслил это нарисовать, действительно первый художник на свете! Хвалю. О, хвалю!

Услышав слова его светлости, Ёсихидэ сразу побледнел, только губы у него шевелились, точно он ловил ртом воздух, и вдруг, как будто все тело его ослабело, он припал руками к полу и тихо, едва слышно, поблагодарил:

— Это великое счастье!

Должно быть, при словах его светлости перед ним воочию предстал весь ужас его замысла. За всю мою жизнь я только в этот единственный раз его пожалела.

Это случилось через два-три дня, ночью. Его светлость, согласно своему обещанию, изволил позвать Ёсихидэ, чтобы дать ему посмотреть своими глазами, как горит карета. Разумеется, это произошло не во дворце у реки Хорикава. Карету сожгли на загородной вилле, где раньше, кажется, изволила проживать сестра его светлости. Эту виллу в просторечии называли «Дворец Юкигэ».

Этот «Дворец Юкигэ» был давно уже необитаем, и большой заброшенный сад совсем запустел. Это место выбрали, вероятно, по предложению тех, кто видел, как здесь пустынно. Ходили всякие толки и о скончавшейся здесь сестре его светлости: например, будто и теперь в безлунные ночи по галерее таинственно, не касаясь земли, скользит ее алое платье. Здесь и днем было мрачно, и выпти жутко носились при свете звезд, точно какие-то диковинные существа.

И тогда как раз была темная безлунная ночь. При светильниках можно было видеть, как его светлость в придворном платье — желтой наоси и темно-лиловых хакама с гербами — сидит, скрестив ноги, у края наружной галереи на подушке, окаймленной белой парчой. Вокруг него почти-точно расположились приближенные. Среди них особенно бросался в глаза один силач, о котором рассказывали, что еще недавно, во время войны в Митиноку, он от голода ел человеческое мясо и с тех пор мог сломать рога живому оленю. Он с внушительным видом восседал в углу, опоясанный широким поясом, держа меч рукояткой вниз. Ветер колебал пламя светильников, и человеческие фигуры то выступали на свет, то уходили в тень, и все это было похоже на сон и почему-то наводило страх.

А в саду сверкала золотыми украшениями, как звездами, карета, незапряженная, с оглоблями, опущенными наклонно на подставку. Над высоким верхом ее нависал густой мрак, и при взгляде на нее холод пробегал по спине, даром что уже начиналась весна. Синяя бамбуковая занавеска с узорчатой каймой была опущена донизу и скрывала то, что находилось внутри. Вокруг кареты стояли наготове слуги с

горящими сосновыми факелами в руках, следя за тем, чтобы дым не относился к галерее.

Сам Ёсихидэ сидел на корточках поодаль, напротив галереи. В своем всегдашнем каригину и помятой шапке моми-эбоси он казался каким-то особенно маленьким, жалким, словно его давила тяжесть звездного неба. Позади него в таком же костюме сидел, по-видимому, сопровождавший его ученик. Так как они оба были далеко и в темноте, с моего места под галереей нельзя было различить даже цвета их платья.

17

Время близилось к полуночи. Темнота, окутывавшая сад с его деревьями и ручейками, поглощала все звуки, и в тишине, когда кажется, будто слышишь свое дыхание, раздавался только легкий шелест ветерка; при каждом его дуновении доносился запах копоти и дыма факелов. Его светлость некоторое время изволил молча смотреть на эту причудливую картину, а потом, нагнувшись вперед, резким голосом позвал:

— Ёсихидэ!

Художник как будто что-то ответил, но до моего слуха доносился лишь невнятный стон.

— Ёсихидэ! Сегодня я, как ты хотел, сожгу карету.

Проговорив это, его светлость бросил беглый взгляд на приближенных. В эту минуту они как будто многозначительно переглянулись и улыбнулись, а может быть, мне это показалось. Ёсихидэ поднял голову и почтительно посмотрел на галерею, но ничего не сказал.

— Смотри же хорошенько! Это карета, в которой я раньше ездил. Ты ее, наверно, помнишь. Я хочу сейчас зажечь ее и воочию показать тебе огненный ад. — Его светлость замолчал и опять кинул взгляд на приближенных. Потом вдруг жестко произнес: — Внутри, связанная, сидит преступница. И значит, когда карету зажгут, тело негодницы сгорит, кости обуглятся, и она погибнет в жестоких мучениях. Для твоей ширмы это неповторимая натура! Не упустите же, присмотритесь,

как запылает белоснежная кожа. Смотри хорошенько, как, воспламенившись, искрами разлетятся черные волосы.

Его светлость замолчал в третий раз, но потом, точно что-то вспомнив и смеясь, — на этот раз неслышно, так, что только тряслись плечи, — произнес:

— Такого зрелища не увидишь до скончания века! Я тоже на него погляжу. Ну-ка, подымите занавески, покажите Ёсихидэ, кто сидит внутри!

Услышав повеление, один из слуг с высоко поднятым факелом подошел к карете и, протянув руку, одним движением откинул занавеску. Пламя пылающего факела алым колеблющимся светом ярко озарило тесную внутренность кареты. Женщина, беспощадно закованная в цепи... о, кто бы мог ошибиться! На роскошное, затканное цветами вишни шелковое платье изящно спускались блестящие черные волосы, красиво сверкали косо воткнутые золотые шпильки. По костюму ее было не узнать, но хрупкая фигурка, белая шея и грустно-застенчивое личико... Это была дочь Ёсихидэ! Я чуть не вскрикнула.

И тогда... силач, сидевший против меня, встал и, схватившись за рукоятку меча, устремил грозный взгляд на Ёсихидэ. Испуганная, я увидела, что Ёсихидэ чуть не лишился рассудка. До сих пор он сидел на корточках внизу, но теперь вскочил и, протянув вперед обе руки, не помня себя, хотел броситься к карете. К сожалению, он был далеко от меня и было темно, так что выражение его лица я не разглядела. Но не успела я об этом пожалеть, как бледное, обескровленное лицо Ёсихидэ, нет, не лицо, а вся его фигура, как будто подтянутая в воздух какой-то невидимой силой, прорезав тьму, вдруг отчетливо встала у меня перед глазами. Это, по слову его светлости «зажечь!», слуги бросили факелы, и, подожженная ими, ярко вспыхнула карета, в которой сидела дочь художника.

18

Пламя быстро охватило верх кареты. Лиловые кисти, которыми были увешаны ее края, заколыхались, как от ветра, снизу вырвались белые даже в темноте клубы дыма, искры

посыпались таким дождем, словно не то занавеска, не то расшитые рукава одежды женщины, не то золотые украшения разом рассыпались и разлетелись кругом... Страшнее этого ничего не могло быть! А пламя, что, вытягивая огненные языки, обвивало кузов и полыхало до небес, — как его описать? Казалось, точно упало само солнце и на землю хлынул небесный огонь. В первый миг я чуть было не закричала, но теперь душа у меня отлетела, и я только в ужасе смотрела с раскрытым ртом на эту страшную картину. Но отец, Ёсихидэ...

Лица Ёсихидэ я не могу забыть до сих пор. Он хотел было, не помня себя, броситься к карете, но в тот миг, когда вспыхнуло пламя, остановился и, вытянув вперед руки, впивающимся взглядом смотрел туда, не отрываясь, точно его притягивал дым, окутавший карету. Залитое светом морщинистое, безобразное лицо его было ясно видно все до кончика бороды. Широко раскрытые глаза, искривленные губы, судорожно подергивающиеся щеки... весь ужас, отчаяние, страх, попеременно овладевавшие душой Ёсихидэ, были написаны на его лице. У вора перед казнью, у грешника с десятком грехами и пятью злодеяниями, представшего перед князьями преисподней, — вряд ли даже у них может быть такое страдальческое лицо! И даже силач побледнел и со страхом смотрел на его светлость.

Но его светлость, кусая губы и только иногда зловеще посмеиваясь, не сводил глаз с кареты. А там... что я увидела там — у меня не хватает духа об этом рассказывать. Это запрокинутое лицо задыхающейся от дыма женщины, эти длинные спутанные волосы, охваченные пламенем; это красивое, затканное цветами вишни платье, которое на глазах у всех превращалось в огонь... о, что это был за ужас! В особенности в ту минуту, когда порыв ночного ветра отогнал дым и в расступившемся пламени, в алом, мерцающем золотой пылью зареве стало видно, как она, кусая повязку, которой ей завязали рот, бьется и извивается так, что чуть не лопаются цепи, — о, в эту минуту у всех, начиная с меня и кончая тем силачом, волосы стали дыбом, словно мы собственными глазами видели муки ада!

И вот опять будто порыв ночного ветра пробежал по вер-

хушкам деревьев... Так, верно, подумали все. И едва этот звук пронесся по темному небу, как вдруг что-то черное, не касаясь земли, не паря по воздуху, — как падающий мяч, одной прямой чертой сорвалось с крыши дворца прямо в пылающую карету. И за обгоревшей дымящейся решеткой прижалось к откинутым плечам девушки и испустило резкий, как треск разрываемого шелка, протяжный, невыразимо жалобный крик... еще раз... и еще раз... Мы все, не помня себя, вскрикнули: на фоне пламени, поднявшегося стеной, прильнув к девушке, скорчилась привязанная было во дворце у реки Хорикава обезьянка с кличкой Ёсихидэ.

Но животное видно было одно лишь мгновение. Золотые искры снопом взметнулись к небу, и сразу же не только обезьянка, но и девушка скрылись в клубах черного дыма. Теперь в саду с оглушительным треском полыхала только горящая карета. Нет, может быть, верней будет сказать, не горящая карета, а огненный столб, взмывающий прямо в звездное небо.

Ёсихидэ как будто окаменел перед этим огненным столбом... Но странная вещь: он, который до тех пор как будто переносил адскую пытку, стоял теперь, скрестив на груди руки, словно забыв о присутствии его светлости, с каким-то непередаваемым сиянием — я бы сказала, сиянием самозабвенного восторга — на морщинистом лице. Можно было подумать, что его глаза не видели, как в мучениях умирает его дочь. Красота алого пламени и мятущаяся в огне женская фигура беспредельно восхищали его сердце и поглотили его без остатка.

И взор его, когда он смотрел на смертные муки единственной своей дочери, был не просто светел. В эту минуту в Ёсихидэ было таинственное, почти нечеловеческое величие, подобное величию разгневанного льва, каким он может присниться во сне. И даже бесчисленные ночные птицы, испуганные неожиданным пламенем и с криками носившиеся по воздуху, даже они — а может быть, это только казалось — не приближались к его помятой шапке. Пожалуй, даже глаза

бездушных птиц видели это странное величие, окружавшее голову Ёсихидэ золотым сиянием.

Даже птицы. И тем более мы — все мы, вплоть до слуг, затаив дыхание, дрожа всем телом, полные непонятной радости, смотрели не отрываясь на Ёсихидэ, как на новоявленного будду. Пламя пылающей кареты, гремящее по всему поднебесью, и очарованный им окаменевший Ёсихидэ... О, какое величие, какой восторг! И только один — его светлость наверху, на галерее, с неузнаваемо искаженным лицом, бледный, с пеной на губах, обеими руками вцепился в свои колени, покрытые лиловым шелком и, как зверь с пересохшим горлом, задыхаясь, ловил ртом воздух...

20

О том, что в эту ночь его светлость во «Дворце Юкигэ» сжег карету, как-то само собой стало известно повсюду, и пошли всякие слухи: прежде всего, почему его светлость сжег дочь Ёсихидэ? Больше всего толковали, что это месть за отвергнутую любовь. Однако помышления его светлости клонились совсем к другому: он хотел проучить злобного художника, который ради своей картины готов был сжечь карету и убить человека.

В самом деле, я это слышала из собственных уст его светлости.

А Ёсихидэ, у которого прямо на глазах сгорела родная дочь, все же не оставил своего твердого, как камень, желания написать картину, напротив, это желание как-то даже окрепло в нем. Многие поносили его, называли злодеем с лицом человека и сердцем зверя, позабывшим ради картины отцовскую любовь. Отец настоятель из Ёкогавы тоже держался таких мыслей и, бывало, изволил говорить: «Сколь бы превосходен ни был он в искусстве и в умении своем, но если не понимает он законов пяти извечных отношений, быть ему в аду».

Через месяц ширма с картиной мук ада была наконец окончена. Ёсихидэ сейчас же принес ее во дворец и почтиительно поверг на суд его светлости. Как раз в это время и отец настоятель был тут же, и, кинув взгляд на картину, он,

конечно, был поражен страшной огненной бурей, бушевавшей в преисподней, изображенной на ширме. Раньше он все хмуро косился на Ёсихидэ, но тут произнес: «Превосходно!» Я и теперь еще не могу забыть, как его светлость усмехнулся, услышав эти слова.

С тех пор никто, по крайней мере во дворце, уже не говорил о Ёсихидэ ничего дурного. Может быть, потому, что, несмотря на прежнюю ненависть, теперь всякий при взгляде на ширмы, подавленный странной мощью картины, как будто воочию видел перед собой великие муки огненного ада.

Но в это время Ёсихидэ уже присоединился к тем, кого нет. Закончив картину на ширмах, он в следующую же ночь повесился на балке у себя в комнате. Вероятно, потеряв единственную дочь, он уже не в силах был больше жить. Тело его до сих пор лежит погребенным в земле там, где раньше был его дом. Впрочем, простой надгробный камень, на все эти долгие годы отданный во власть дождей и ветра, так оброс мхом, что никто и не знает, чья это могила.

Июль 1918 г.

УБИЙСТВО
В ВЕК «ПРОСВЕЩЕНИЯ»

То, что прочитаете ниже, — это предсмертное письмо покойного доктора, назовем его Китабатакэ Гиитиро, которое недавно дал мне прочесть человек, фигурирующий в данном повествовании под вымышленным именем виконта Хонда. На мой взгляд, нет смысла называть настоящего имени доктора Китабатакэ, поскольку ныне его вряд ли уж кто-либо помнит. Я и сам впервые узнал о нем лишь после того, как сблизился с виконтом Хонда, который рассказал мне немало прелюбопытных историй, случившихся в первые годы Мэйдзи. Что это был за человек, каковы были его характер и поступки — обо всем этом можно составить некоторое представление, прочитав предсмертное письмо доктора. Я лишь добавлю несколько фактов, о которых мне случайно довелось услышать. Доктор Китабатакэ был в свое время известным специалистом по внутренним болезням и в то же время слыл знатоком театрального искусства, придерживавшимся радикальных взглядов в области реформы театра. Говорят даже, что он сам написал комедию в двух действиях, положив в основу ее события Токугавской эпохи, переработав для этого некоторые главы из вольтеровского «Кандида». С фотографии Китабатакэ, снятой в ателье Китанива Цукуба, на вас глядит человек атлетического телосложения, с лицом, обрамленным бакенбардами на английский манер. Доктор Китабатакэ, как говорил виконт Хонда, по своим физическим данным превосходил европейцев и еще с юношеских лет проявлял недюжинные способности в любом деле, за которое брался. Некоторые особенности его характера можно уловить даже по почерку: письмо Китабатакэ написано размашистыми, крупными иероглифами в стиле Чжэн Баньцяо.

Должен признаться, что при опубликовании этой исповеди я позволил себе некоторые вольности. Так, хотя в то время еще не существовало титулов, я называю Хонда виконтом. В то же время могу смело утверждать, что весь дух письма почти полностью сохранен в том, что вы прочитаете ниже.

* * *

«Ваша светлость виконт Хонда, госпожа виконтесса!

Уходя из жизни, я решил признаться вам в постыдной тайне, которую вот уже три года храню в глубине своей души, и раскрыть перед вами свой мерзкий, не поддающийся какому-либо оправданию поступок. Для меня было бы неслыханным счастьем, если бы у вас, по прочтении этой исповеди, шевельнулось чувство сострадания ко мне, уже чувствующему хлад могилы. Но я не скажу ни слова и в том случае, если вы сочтете меня ненормальным, заслуживающим осуждения даже после смерти. Однако факты, в которых я хочу вам признаться, выходят за рамки обычного, и это может действительно навести вас на мысль о том, что я сумасшедший. Прошу вас, не думайте так обо мне. Правда, последние несколько месяцев я сильно страдал от бессонницы, но мое сознание остается ясным, и я очень чутко реагирую на все происходящее. Заклинаю вас нашим двадцатилетним знакомством (не смею сказать — дружбой), не сомневайтесь в том, что психически я вполне здоровый человек! В противном случае эта исповедь, в которой я хочу раскрыть перед вами весь позор своей жизни, превратится всего лишь в никому не нужный жалкий клочок бумаги.

Господин виконт, виконтесса! Я презренный человек, совершивший убийство в прошлом и замышлявший совершить такое же преступление в будущем. Причем на этот раз (вы будете воистину крайне удивлены) я не только намеревался, но уже готов был совершить убийство человека, самого близкого для одного из вас. Позвольте при этом вновь вас предупредить, что я пишу в полном сознании и все, мною написанное, является правдой, одной только правдой. Верьте мне и не считайте эти несколько листков предсмертного

письма — единственной памяти о моей жизни — бессмысленным бредом сошедшего с ума человека.

Мне остается жить совсем немного, и именно это заставляет поспешить с рассказом о мотивах, побудивших меня совершить убийство, о том, как оно было совершено, и о том странном состоянии, которое охватило меня после того, как все было кончено. Однако, о, однако и сейчас я явственно ощущаю, как согрел собственным дыханием застывшую тушь, со страхом положил перед собой лист бумаги и безуспешно пытаюсь успокоиться. Снова проследить свое прошлое и изложить его на бумаге — значит для меня пережить все заново. Снова я замышляю убийство, снова совершаю его, снова должен пережить все страдания этого последнего года. Хватит ли у меня сил, выдержу ли я? Я вновь обращаюсь к моему Иисусу Христу, от которого отвернулся много лет тому назад. О боже, молю тебя! Ниспосли мне силы...

С юношеских лет я был влюблен в мою кузину, носившую в девичестве фамилию Канродзи Акико, ныне супругу виконта Хонда (простите меня великодушно за то, что говорю о Вас, виконтесса, в третьем лице). Нужно ли мне перечислять все те счастливые часы, которые я провел вместе с Акико? Думаю, что не стоит докучать вам этим, ибо трудно будет вам в таком случае прочитать мое письмо до конца. Не могу умолчать лишь об одном светлом воспоминании, которое навсегда запечатлелось в глубине моей души. Мне тогда исполнилось шестнадцать, а Акико не было и десяти. В один чудесный майский день мы с Акико играли на газоне под шпалерами глициний во дворе ее дома. Акико спросила, как долго смогу я простоять на одной ноге. Я ответил, что вообще не сумею этого сделать. Тогда Акико подняла ногу, ухватила ее за носок одной рукой, удерживая равновесие, грациозно подняла вверх другую руку и долго так стояла. Наверху покачивались лиловые глицинии, перебирая падавшие на них лучи весеннего солнца, а под ними, словно прекрасное изваяние, замерла Акико. Эта картина, словно живая, до сих пор стоит у меня перед глазами. Мысленно оглядываясь назад, я с удивлением убеждаюсь, что уже тогда, в тот день, когда я увидел Акико под лиловыми глициниями, я любил ее всем сердцем. Эта любовь все сильнее охватывала меня, все

мои мысли были только о ней, и я почти совершенно забросил занятия. Но я так и не собрался с духом, чтобы раскрыть перед ней свою душу. Так прошло несколько лет, во время которых я то погружался во мрак, то чувствовал, что на меня нисходит свет, то плакал от безысходного горя, то смеялся от великой радости. И вот, когда мне исполнился двадцать один год, отец неожиданно сообщил мне, что отправляет меня в далекий Лондон изучать медицину — традиционную специальность нашей семьи. Я хотел при расставании сказать Акико о своей любви, но в нашей семье, придерживавшейся строгих традиций, не принято открыто выражать свои чувства, да и сам я, будучи воспитан в конфуцианском духе, боялся наказания за нарушающий приличия поступок и отправился в далекую английскую столицу, унося в сердце беспредельную печаль разлуки.

Сколько раз за те три года, гуляя по Гайд-парку, вспоминал я Акико, замершую под лиловыми глициниями. Нужно ли говорить, как, бродя где-нибудь по улице Пэл-Мэл, я просто умирал от одиночества в этой чужой стране. Лишь розовые мечты о будущем, о нашей грядущей совместной жизни в какой-то степени облегчали мои страдания. И вот, возвратившись на родину, я узнаю, что Акико вышла замуж за директора банка Мицумура Кэхэя. Я тут же решил покончить жизнь самоубийством, но из-за малодушия и христианской веры, которую я принял в Англии, к несчастью, у меня и рука не поднялась. Если бы вы знали, каким это было для меня горем! Тогда я решил снова уехать в Лондон, чем навлек на себя гнев отца. Мое душевное состояние было таково, что Япония без Акико стала для меня совершенно чужой. Чем влачить жизнь душевно разбитого человека на ставшей для меня чужой родине, лучше, взяв с собой томик «Чайльд-Гарольда», уехать в дальние края, бродить в одиночестве по свету и сложить свои кости где-нибудь на чужбине, думал я. Однако домашние обстоятельства вынудили меня отказаться от намерения уехать в Англию. Я стал принимать в больнице моего отца бесчисленных пациентов, которые предпочитали меня другим врачам, поскольку я только что вернулся из-за границы, и так изо дня в день я с утра до вечера был прикован к своему кабинету.

Тогда-то я и обратился к богу, умоляя его исцелить мое сердце от разбитой любви. В ту пору в Цукидзи я близко подружился с английским миссионером Генри Таунсендом. Именно ему, прочитавшему и объяснившему мне смысл нескольких глав из Библии, я обязан тем, что моя любовь к Акико после долгих переживаний постепенно переросла в горячее и в то же время спокойное братское чувство. Вспоминаю, как мы говорили с Таунсендом о боге, о божественной и человеческой любви. Споры эти затягивались далеко за полночь, и мне не раз приходилось в одиночестве возвращаться домой по безлюдным кварталам Цукидзи. Может быть, моя сентиментальность вызовет у вас снисходительную улыбку, но, не скрою, нередко, проходя по ночным улицам, я взирал на серп луны и втайне молил бога о счастье для моей кухни Акико... А сколько раз, не будучи в силах сдержатъ нахлынувшие чувства, я безутешно рыдал!

Мне не хватало ни мужества, ни сил для того, чтобы разобратъся, вызван ли новый поворот в моей любви тем, что я, так сказать, «примирился с судьбой», либо иной какой-нибудь причиной. В одном лишь я был убежден твердо: возникшее во мне чувство братской любви излечило мою сердечную рану. Первое время по возвращении на родину я всячески избегал Акико и ее супруга, страшился даже услышать разговор о них; теперь же, напротив, стал желать сближения с ними. Ах, сколь легкомысленно было надеяться, что все мои страдания кончатся и на меня снизойдет успокоение, когда я своими глазами увижу их счастливую супружескую жизнь.

Именно эта надежда свела меня наконец с супругом Акико Мицумура Кёхэем. Встреча произошла третьего августа в одиннадцатый год Мэйдзи во время большого фейерверка близ моста Рёгоку; нас познакомил один мой друг, и мы впервые провели вечер вместе в ресторане Манбати в обществе нескольких гейш, развлекались, пили, веселились... Веселился ли я? Нет, печаль была значительно глубже, чем радость. В дневнике я записал: «Когда я вспоминаю, что Акико — жена этого низкого развратника Мицумура, мое сердце готово разорваться от гнева и печали. Господь научил меня видеть в Акико сестру, но как посмел он отдать мою сестру в

руки такому чудовищу? О нет, я не в силах больше терпеть козни этого жестокого и лживого бога. Разве можно обращать глаза к небу и поминать имя господне, когда жена и сестра отдана в руки грязному насильнику! Отныне я не уповаю на бога, я сам вырву мою сестру Акико из рук сластолюбивого дьявола».

Я пишу свою исповедь, а перед глазами неумолимо всплывает картина этого празднества — будь оно проклято! Вновь я вижу прозрачный туман над водой, тысячи красных фонариков и бесконечные караваны разукрашенных прогулочных лодок. Разве могу я забыть вспыхивающие и гаснувшие огни фейерверка, зажигавшие всполохами полнеба, забыть эту пьяную жирную свинью Мицумура, громким голосом распевавшего скабрзные песенки, от которых хотелось заткнуть уши и бежать куда глаза глядят, этого низкого развратника Мицумура, который, развалясь на циновках, обнимал одной рукой старую, выдавшую виды гейшу, а другой — молоденькую девочку, едва распустившийся бутон... Боже мой! Я помню даже три герба с изображением переплетающихся ростков мёга на его тонком черном хаори. Именно тогда, в тот вечер, когда мы любовались фейерверком из ресторана Манбати, я почувствовал, что должен его убить. Я знаю, меня побудила убить Мицумура не просто ревность, нет, моими мыслями, моей рукой руководило негодование, ибо я хотел наказать разврат, восстановить справедливость.

С той поры я стал тайно наблюдать за Мицумура. Мне надо было убедиться, действительно ли он такой сластолюб и развратник, каким мне показался в тот вечер. К счастью, мне помогли в этом знакомые репортеры. Они мне сообщили о таких страшных случаях, свидетельствовавших о преступной развращенности Мицумура, что трудно было даже в них поверить. Именно в эти дни мой друг и старший товарищ Нарусима Рёхоку рассказал мне о том, что Мицумура соблазнил в киотоском публичном доме «Гион» несовершеннолетнюю гейшу, из-за чего она в конце концов умерла. И это чудовище еще смело обращаться как с прислугой со своей женой, олицетворением кротости и преданности. Чума, ниспосланная на человечество, — вот подходящее для

него имя! Я понял, что его существование разрушает мораль, угрожает нашим нравственным принципам, а его уничтожение окажет помощь старцам и принесет успокоение юным. Тогда-то возникшая во мне решимость убить Мицумура стала постепенно воплощаться в конкретный план убийства.

Тем не менее я все еще колебался, приводить ли мне этот план в исполнение. К счастью или к несчастью, в эти тяжкие дни судьба свела меня с моим юным другом виконтом Хонда. Однажды вечером, в чайном домике Касивая, что в квартале Хокудзэ, я из уст Хонда услышал печальную историю его любви. Я впервые узнал, что виконт Хонда и Акико были уже обручены, когда вмешался Мицумура и с помощью денег добился расторжения помолвки. Этот рассказ возмутил меня еще больше. Я и теперь дрожу от негодования, когда вспоминаю все подлости Мицумура, о которых рассказал мне виконт Хонда в тот вечер в комнате ресторана с опущенными цветными камышовыми шторами, при тусклом свете единственного светильника. И в то же время помню, как сейчас, что меня охватила неопишуемая печаль, когда, возвращаясь на рикше домой, я вдруг вспомнил о том, что Хонда и Акико были обручены. Прошу вас позволить мне вновь обратиться к своему дневнику. «После встречи нынешним вечером с виконтом Хонда я принял окончательное решение в ближайшие же дни убить Мицумура. Из рассказа виконта я понял, что он и Акико не только были обручены, но, по-видимому, действительно любят друг друга. (Так вот почему виконт не желает менять свою холостяцкую жизнь!) Итак, если я убью Мицумура, виконту и Акико не составит особого труда соединиться. Похоже, само небо помогает мне в осуществлении моих планов — ведь Акико на протяжении своей супружеской жизни с Мицумура не родила ему ребенка. Не могу сдержать улыбку при мысли о том, что, убив это чудовище Мицумура, помогу моим дорогим виконту и Акико начать счастливую жизнь». Так записал я в своем дневнике.

И вот я приступил к осуществлению своего плана. После длительных раздумий и тщательного взвешивания всех «за» и «против» я наконец выбрал подходящее для убийства ме-

сто. Нашел также и средство, с помощью которого решил лишить его жизни. Думаю, в этом письме нет необходимости подробно описывать, как все это было осуществлено. Помните ли вы вечер двенадцатого июня двенадцатого года Мэйдзи, когда театр Синтомидза посетил его высочество внук германского императора? Помните ли вы, что в тот вечер возвращавшийся из театра в свой особняк Мицумура внезапно скончался в карете? Так вот, думаю, для вас будет достаточно, если я скажу, что некий пожилой доктор обратил внимание Мицумура на нездоровый цвет его лица и предложил ему принять пилюлю... О, если бы вы могли представить, что творилось в душе этого доктора! Освещаемый светом кроваво-красных фонариков, он стоял у выхода из театра Синтомидза и провожал взглядом удалявшуюся под проливным дождем карету Мицумура. В его душе в дикой пляске переплелись вчерашняя ненависть и сегодняшняя радость. Из его горла вырывался то хриплый смех, то горькие стоны, и он совершенно забыл, где находится и сколько времени прошло. Знайте же, когда, смеясь и рыдая словно сумасшедший, он возвращался, ступая по грязи, домой, его губы беспрерывно шептали одно и то же имя: Акико...

В ту ночь я не уснул ни на минуту. То вставал, меряя шагами свой кабинет, то снова садился. Радовался ли я? Или печалился? Я и сам не мог в этом разобраться. Какое-то невыразимо острое и сильное чувство охватило все мое существо и ни на миг не позволяло мне успокоиться. На столе стояла бутылка шампанского. Рядом в вазе букет роз. Тут же лежала... коробочка с теми самыми пилюлями. Казалось, что дьявол и ангелы решили разделить со мной мою необычную трапезу...

Никогда не был я так счастлив, как в последующие несколько месяцев. Как я и предполагал, врач из полиции установил, что смерть произошла от кровоизлияния в мозг, останки Мицумура были преданы земле, и теперь в крошечной тьме их пожирали черви. Отныне навряд ли кто-либо мог заподозрить меня в убийстве. К тому же, как я узнал, впервые после смерти мужа Акико ожила и почувствовала себя человеком. Все это наполняло меня радостью. Я про-

должал лечить своих больных, а в свободное время вместе с виконтом Хонда с удовольствием посещал театр Синтомидза только потому, что меня обуревало странное желание снова и снова видеть огни рампы и красную обивку лож, видеть то славное поле боя, на котором я одержал окончательную победу.

Всего несколько месяцев испытывал я радость и удовлетворение. И по мере того как они проходили, мною начало постепенно овладевать страшное искушение, ставшее позором всей моей жизни. Нет, мне не хватает ни смелости, ни сил, чтобы рассказать вам о том, какую ожесточенную борьбу мне пришлось выдержать, как постепенно эта борьба вынудила меня наложить на себя руки. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, я поминутно должен вступать в смертельный бой с этой гидрой искушения. Если вы хотите хоть в какой-то степени представить себе мои страдания, прочтите, прошу вас, несколько выдержек из моего дневника.

«...октября. У Акико нет ребенка от Мицумура, она покидает его дом. В последний раз мы видели друг друга шесть лет тому назад. И я решил вместе с виконтом Хонда навестить ее. С тех пор как я приехал из Англии, я ни разу не виделся с Акико, вначале потому, что боялся за себя, потом из опасения, что ей тяжела будет эта встреча, и так это тянется по сей день. Такие ли лучистые у Акико глаза, как и шесть лет тому назад?

...октября. Сегодня зашел за виконтом Хонда, чтобы вместе с ним посетить Акико. Был поражен, узнав от Хонда, что они без меня уже несколько раз встречались. Почему виконт стал так чуждаться меня? Мне стало не по себе, и, сославшись на неотложный визит к больному, я поспешно покинул дом Хонда. После моего ухода виконт, наверно, отправился к Акико один.

...ноября. Вместе с виконтом нанес визит Акико. Красота ее несколько поблекла, но, глядя на нее, все еще нетрудно представить девочку, стоявшую под лиловыми глициниями. Ах, наконец повидался с Акико. Но почему же грудь мою

стеснила невыразимая тоска? Почему? Не знаю причины и потому еще сильнее страдаю.

...декабря. Виконт, по-видимому, намеревается жениться на Акико. Итак, цель, которую я себе поставил, убив супруга Акико, вскоре будет достигнута. И все же... И все же меня не покидает странное, мучительное чувство, будто я вновь теряю Акико.

...марта. Говорят, что свадьба между виконтом и Акико намечена на конец нынешнего года. Молюсь, чтобы это произошло как можно скорее. Иначе я никогда не смогу освободиться от мучительного ощущения потери Акико.

Июнь, 12-го дня. Был в театре Синтомидза. Глядя на сцену, не переставал удовлетворенно улыбаться, вспоминая жертву, которую в прошлом году в этот самый день постигло мое возмездие. Но на пути домой был настолько поражен внезапно вспыхнувшей в моем мозгу мыслью о мотивах убийства, что забыл, куда направляюсь. Ради кого же я убил Мицумура?! Ради виконта Хонда? Ради Акико? А может быть, ради себя самого? Что я могу ответить на это?

...июля. Сегодня вечером виконт, Акико и я отправились посмотреть, как пускают по реке Сумида фонарики. В бликах света, проникавших сквозь окно кареты, лучистые глаза Акико казались еще прекраснее, и я был настолько очарован, что даже забыл о сидевшем рядом виконте. Но сейчас не время писать об этом. Когда виконт внезапно стал жаловаться на боли в желудке, я опустил руку в карман и нащупал коробочку с пилюлями. Я замер, как громом пораженный. Ведь это была коробочка с теми самыми пилюлями. Почему они оказались при мне в этот вечер? Случайно ли? О, как горячо я надеюсь, что это было случайностью. Но так ли это на самом деле?

...августа. Я пригласил виконта и Акико на ужин. Весь вечер я не мог забыть о пилюлях, которые лежали у меня в кармане. Похоже, на дне моей души скрывается непостижимое для меня самого чудовище.

...ноября. Виконт и Акико наконец сыграли свадьбу. Чувствую, как во мне кипит гнев на самого себя. Так сбжавший с поля боя солдат испытывает гнев за однажды проявленную трусость.

...декабря. По просьбе виконта я осмотрел его. Рядом была Акико. Сказала, что по ночам у него резко подскакивает температура. После осмотра я успокоил Акико, сообщив, что это всего лишь простуда, и сразу же отправился домой, чтобы приготовить для виконта лекарство. В течение двух часов, пока я его готовил, меня с неодолимой силой влекли к себе «те пилюли».

...декабря. Прошлой ночью видел кошмарный сон, будто убил виконта. Весь день неодолимая тоска сжимает мне грудь.

...февраля. О, теперь наконец я понял: чтобы не убить виконта, я должен убить самого себя. А как же Акико?»

Господин виконт и виконтесса! Это был лишь небольшой отрывок из моего дневника, но даже из него, я уверен, вы поймете, какие муки я испытывал в течение многих дней и ночей. Чтобы не убить виконта Хонда, я должен умереть сам. Я бы мог убить его ради того, чтобы спасти себя. Но чем бы в таком случае я смог объяснить мотивы, по которым убил Мицумура? Может быть, я отравил Мицумура, бесознательно стремясь к достижению своих эгоистических целей? В таком случае рухнет мое «я», моя мораль, мои устои, моя честность. Этого я не смог бы перенести. На мой взгляд, лучше наложить на себя руки, чем потерпеть духовное банкротство. Поэтому ради утверждения собственной личности я решил нынешней ночью разделить участь некогда павшей от моей руки жертвы, воспользовавшись той же коробочкой с пилюлями.

Ваша светлость виконт Хонда, госпожа виконтесса! Теперь вы знаете, что побудило меня покончить жизнь самоубийством. Когда вы получите мою исповедь, я превращусь уже в холодный труп. Глядя в глаза смерти, я решил так подробно раскрыть перед вами тайну своей проклятой жизни лишь для того, чтобы хоть в какой-то степени оправдать себя в ваших глазах. Но если, по-вашему, я заслуживаю ненависти, возненавидьте меня, если сострадания — пожалейте! Я, который сам себя ненавидит и жалеет, с радостью приму и вашу ненависть, и ваше сострадание. Итак, я кончаю. Че-

рез несколько минут прикажу подать карету и отправлюсь в театр Синтомидза. И когда окончится половина программы, я проглочу несколько «тех пилюль» и снова сяду в карету. Сейчас, конечно, другое время года, но мелкий моросящий дождик напомнит мне дождь, который шел тогда, когда наливались плоды сливы. И я так же, как эта жирная свинья Мицумура, буду глядеть на огоньки проезжающих мимо карет и прислушиваться к стуку капель вечернего дождя, разбивающихся о верх кареты. Не успею я отъехать от театра, как наступит последняя минута моей жизни.

Мое письмо вы, наверно, получите уже после того, как утром прочитаете в газетах: доктор Китабатакэ Гиитиро скончался в карете на пути домой из театра, смерть наступила мгновенно от кровоизлияния в мозг.

Прощайте. От души желаю вам счастья и здоровья.

Всегда преданный вам слуга

КИТАБАТАКЭ ГИИТИРО».

Июль 1918 г.

УЧИТЕЛЬ МОРИ

Как-то в конце года я и мой приятель, критик, шли под вечер в сторону Кандабаси по аллее, обсаженной уже голыми ивами, по так называемой «дороге чиновной мелюзги». Справа и слева от нас в еще не угасшем полусвете сумерек какие-то люди, видимо, такие же мелкие чиновники, к которым когда-то негодуяще обратился Симадзаки Тосон: «Держите голову выше!», понуро семенили по дороге. Понуро, вероятно, потому, что знали всю безнадежность стараний разогнать общее уныние. Мы шли тесно, плечо к плечу, слегка ускорив шаг и не произнося почти ни слова, пока не миновали трамвайной остановки на Отэмати. И тогда мой приятель, окинув взглядом фигуры съезжившихся от холода людей, ожидавших у красного столба очередного трамвая, неожиданно вздрогнул и как будто про себя пробормотал:

— Вспомнился Мори-сэнсэй.

— Мори-сэнсэй? Это кто такой?

— Учитель в школе, где я учился. Я тебе еще о нем не рассказывал?

Вместо того чтобы ответить «нет», я только нагнул край шляпы. Ниже следуют воспоминания об учителе Мори, которые по дороге поведал мне приятель.

* * *

Это произошло лет десять назад, когда я был учеником третьего класса одной префектуральной средней школы. Во время зимних каникул от крупозного воспаления легких — осложнения после инфлюэнцы — скончался молодой учитель Адати-сэнсэй, преподававший в нашем классе английский язык. Это случилось совершенно внезапно, не было

времени подыскать подходящего преемника, и поэтому-то, вероятно, и прибегли к крайней мере. Уроки покойного Адати-сэнсэя поручили старику Мори, который в то время служил преподавателем английского языка в какой-то частной школе.

Я впервые увидел учителя Мори в тот день, когда он приступил к занятиям. Мы были вне себя от любопытства, ожидая встречи с новым учителем, и, едва в коридоре послышались его шаги, в классе стало небывало тихо. Вот эти шаги остановились перед дверью нашего уже бессолнечного, холодного класса, дверь раскрылась и — ах, эта картина и сейчас как живая встает перед моими глазами. Когда, открыв дверь, учитель Мори вошел, он своим маленьким ростом прежде всего напомнил нам человека-паука из праздничного балагана. Единственное, что скрашивало это впечатление, была голова учителя, почти красивая по форме, блестящая и совершенно лысая; хотя на затылке еще сохранилось несколько полуседых волосков, она почти не отличалась от яйца страуса, как его изображают на картинках в учебнике естествознания. Наконец, незаурядную внешность учителя дополняла удивительная визитка, заношенная буквально до синевы, так что трудно было поверить, что в прошлом она была черной. Вдобавок у грязноватого воротника, похожий на бабочку, красовался щегольски завязанный бант. Все это я помню с поразительной отчетливостью. И так, едва учитель вошел в класс, как в разных углах неожиданно послышался сдержанный смех, в чем не было ничего удивительного.

Однако учитель Мори, с хрестоматией и классным журналом в руках, совершенно невозмутимо, точно никого из учеников не замечая, поднялся на кафедру, ответил на наше приветствие и с ласковой улыбкой на своем добром, изжелта-бледном лице пронзительным голосом воскликнул:

— Господа!

За прошедшие три года никогда еще ни один школьный учитель не обращался к нам со словом «господа». И услышав «господа» от учителя Мори, мы, естественно, широко раскрыли глаза от изумления. Вместе с тем мы, затаив дыхание, ждали, что за обращением «господа» по-

следует большая речь о порученных ему занятиях или что-нибудь в таком роде.

Однако, сказав «господа», учитель Мори только обводил класс глазами и некоторое время больше не раскрывал рта. На его одутловатом лице блуждала спокойная улыбка, но углы рта нервно подергивались, а ясные глаза, в которых было что-то коровье, беспокойно поблескивали. И была, казалось, в этом молчании обращенная к нам немая мольба, только какая, учитель и сам не мог бы определить.

— Господа! — немного спустя повторил учитель Мори тем же тоном. На этот раз он сразу же, точно желая не дать отзвучать слову «господа», с величайшей поспешностью добавил: — Начиная с сегодняшнего дня я буду учить вас по хрестоматии.

Любопытство наше разгорелось, и, боясь произвести малейший шум, мы жадно уставились ему в лицо. Но учитель Мори окинул класс тем же умоляющим взглядом и вдруг, словно внутри у него лопнула какая-то пружина, сел. Положив рядом с уже развернутой хрестоматией классный журнал, он раскрыл его и стал просматривать. Незачем и говорить, как разочаровало нас такое внезапное окончание вступительной речи, вернее, разочаровало и рассмешило.

К счастью, учитель, предупреждая наш смех, оторвал свои коровьи глаза от журнала и сразу же вызвал одного из нас, прибавив к фамилии «сан». Разумеется, это был знак встать и начать переводить. Ученик поднялся и бойким тоном, свойственным токийским школьникам, стал переводить отрывок из какой-то английской книги, кажется из «Робинзона Крузо».

Учитель Мори, время от времени поднося руку к своему лиловому банту, стал вежливо поправлять ученика — не только ошибки в переводе, но даже малейшие неточности в произношении. Произношение учителя Мори было несколько искусственное, но в общем правильное, ясное, и похоже было, что он сам в глубине души особенно им гордится.

Однако, когда ученик сел на место и переводить начал учитель, в классе стали раздаваться смешки. Дело в том, что учитель, у которого и без того было неестественное произношение, обнаружил при переводе еще и непостижимое для

японца незнание японских слов. Вероятно, зная он их знал, но не мог вспомнить в нужную минуту. Например, одну строку он переводил так: «Тогда Робинзон Крузо решил разводить. Кого же он решил разводить? Этих странных животных... их много в зоопарке... как их зовут... они любят кривляться... да вы их хорошо знаете! Такие с красной мордой... что, обезьяны? Да-да, обезьяны! Он решил разводить обезьян». Само собой разумеется, что раз так обстояло даже с обезьяной, то если дело касалось хоть сколько-нибудь затруднительного слова, он натывался на нужный перевод с трудом, только после долгих блужданий вокруг да около. Причем каждый раз учитель Мори ужасно терялся и, беспрестанно поднося руку к горлу и чуть не обрывая свой лиловый бант, подымал смущенное лицо и кидал на нас смятенные взгляды. И тут же, обхватив руками свою лысую голову, опять опускал лицо над столом и подавленно замолкал. Тогда и без того маленькое тело учителя беспомощно съеживалось, совсем как воздушный шарик, из которого выпустили воздух, и нам даже представлялось, что его свешивающиеся со стула ноги болтаются в пространстве. Учеников это забавляло, и они посмеивались. Пока учитель повторял перевод, смех постепенно становился более дерзким, и наконец на передней парте раздался открытый хохот. Как, вероятно, горек был наш смех для доброго учителя Мори — право, при одном воспоминании об этих жестоких звуках мне и теперь хочется заткнуть себе уши.

И все же учитель Мори храбро продолжал переводить, пока не прозвучал сигнал на перемену. Тогда, дочитав последний отрывок, он с тем же невозмутимым видом ответил на наше прощальное приветствие и, словно позабыв только что выдержанную жестокую битву, спокойно вышел из класса. Мы разразились неудержимым хохотом, зашумели, нарочно стуча крышками парт; некоторые ученики, вскочив на кафедру, сразу же принялись передразнивать повадки и голос нового учителя... Ах, да и я сам, со значком старосты класса, окруженный другими учениками, задрал нос и стал указывать им ошибки в переводе учителя... надо ли все это вспоминать? В самом деле, тогда я даже похвалялся тем, чего не знал наверно: действительно ли это ошибки или нет?

Это было в час отдыха, через три-четыре дня. Мы, несколько учеников, собрались у песчаной горки на гимнастической площадке и, греясь на теплом зимнем солнце, без конца болтали о предстоящих в недалеком будущем годовых экзаменах. Громко скомандовав «раз-два!», на песок прыгнул учитель Тамба, весивший целых восемнадцать кан, который упражнялся со школьниками на железном столбе, и рядом с нами появилась его фигура в жилете и спортивной кепке.

— Ну, как он, ваш новый учитель Мори? — осведомился он. Тамба-сэнсэй тоже преподавал в нашем классе английский язык, но он был известный любитель спорта, и так как он с давних пор хорошо распевал стихи, то пользовался большой популярностью в компании героев — мастеров дзюдо и фехтования, не терпевших никакого английского языка. Поэтому в ответ на слова учителя один из героев, поигрывая боксерской перчаткой, с несвойственной ему робостью ответил:

— Да, уж очень... как бы это сказать, уж очень, как будто... не так уж хорошо знает.

Страхивая платком песок с брюк, учитель Тамба самодовольно рассмеялся.

— Хуже тебя, что ли?

— Нет, по сравнению со мной-то лучше.

— Ну так чего ж тут рассуждать!

Герой почесал рукой в перчатке голову и бесславно ступеялся. Но первый по английскому языку ученик нашего класса, поправляя свои очки с толстыми стеклами, возразил не по возрасту благоразумным тоном:

— Ведь большинство из нас, сэнсэй, намерены держать вступительные экзамены в специальные институты, поэтому мы хотели бы учиться у преподавателя, который может выходить за рамки программы.

Но Тамба-сэнсэй, по-прежнему богатырски смеясь, сказал:

— Чего там, ведь дело идет об одном семестре, так у кого ни учись, все едино.

— Значит, Мори-сэнсэй будет преподавать у нас только один семестр?

Этот вопрос, видимо, и учителя Тамбу слегка задел за живое. Житейски опытный учитель намеренно не ответил и, сняв спортивную кепку, стал энергично стряхивать пыль со своей коротко стриженной головы, а затем, обведя нас взглядом, искусно переменял тему:

— Видите ли, Мори-сэнсэй — очень старый человек и поэтому немного другой, чем мы... Вот сегодня утром вхожу я в трамвай, а Мори-сэнсэй сидит в самой середине, и когда трамвай подходил к остановке, где ему надо было пересаживаться, он вдруг завопил: «Кондуктор, кондуктор!» Мне стало смешно, сил нет. Во всяком случае, он немного странный человек.

Но если уж речь зашла об этой стороне личности учителя Мори, то и без Тамбы-сэнсэя мы знали многое, что приводило нас в изумление...

— И еще Мори-сэнсэй в дождь ходит в гэта, хотя на нем европейский костюм.

— А у пояса у него всегда висит что-то завернутое в белый носовой платок, и подумайте — это его завтрак!

— Я видел, как Мори-сэнсэй в трамвае держался за ремень, и перчатки у него были совсем дырявые.

Окружив учителя Тамбу, мы наперебой болтали невероятную чушь. Видимо, поддавшись этому, учитель Тамба, когда наши голоса стали громче, произнес веселым тоном, вертя в руке свою кепку:

— Да это что! Шляпа-то у него старая...

И в этот самый момент — кто бы мог подумать? — на расстоянии каких-нибудь десяти шагов от нас у входа в двухэтажное здание училища, напротив спортивной площадки, появилась невозмутимая тщедушная фигурка учителя Мори в старом котелке; рука его, как обычно, прикасалась к лиловому банту. У входа несколько первоклассников играли в лошадки; увидев учителя, они наперебой стали вежливо кланяться. И Мори-сэнсэй, стоя на солнце, лучи которого падали на каменные ступени входа, с улыбкой ответил на поклоны, приподняв котелок. При виде этой картины мы почувствовали какой-то стыд, и оживленный смех на некоторое время затих. Только Тамба-сэнсэй, видимо, был слиш-

ком смущен и растерян, чтобы просто замолчать. Произнеся: «Шляпа-то у него старая», — он слегка высунул язык, быстро надел свою кепку и вдруг, круто обернувшись и громко крикнув «раз!», забросил свое полное тело, облаченное в жилетку, на железный столб. Затем, подтягиваясь по-рачьи и вытягивая ноги далеко вверх, он крикнул «два!» и, отчетливым силуэтом пронзая синее зимнее небо, легко взобрался на самый верх. Вполне естественно, что эта комичная попытка учителя Тамбы скрыть свое смущение всех нас рассмешила. Глядя вверх на учителя Тамбу, ученики на спортивной площадке, на минуту были притихшие, громко загалдели и захопатали учителю Тамбе, совсем как болельщики на футболе.

Разумеется, я аплодировал вместе со всеми. Но уже тогда начинал, правда пока еще инстинктивно, ненавидеть учителя Тамбу. Это не значит, что я так уж проникся сочувствием к учителю Мори. Доказательством служили аплодисменты, которыми я награждал учителя Тамбу, заключавшие в себе косвенное недоброжелательство к учителю Мори. Анализируя себя теперь, я, пожалуй, могу объяснить свое тогдашнее состояние духа таким образом: презирая Тамбу-сэнсэя, я вместе с тем презирал заодно и Мори-сэнсэя. А может быть, и так, что мое презрение к учителю Мори стало более наглым, словно получив подтверждение в словах учителя Тамбы — «а шляпа-то у него старая». Поэтому, продолжая аплодировать, я через плечо торжествуяще оглянулся на вход в школу. А там наш невозмутимый учитель Мори, как зимняя муха, жадно греющаяся на солнце, одиноко стоял на каменных ступенях и с интересом наблюдал за невинными играми первоклассников. Его котелок и лиловый галстук... Почему эта картина, которую я тогда охватил одним взглядом и которая показалась мне достойной осмеяния, до сих пор не выходит у меня из головы?

* * *

Чувство презрения, которое в первый же день занятий возбудил в нас учитель Мори своим костюмом и своими знаниями, особенно с тех пор как учитель Тамба допустил оплошность, понемногу крепло во всем классе. Дело было как-

то утром, менее чем через неделю. С прошлого вечера шел снег, и на торчавшей перед окнами крыше здания, заменявшего в дождь спортивную площадку, больше не просвечивали черепицы. Но в классе стояла печка, где пылал раскаленный уголь, и даже снег, оседавший на оконных стеклах, таял, не успевая блеснуть своей голубизной. Поставив стул перед печкой, учитель Мори своим пронзительным голосом с увлечением объяснял помещенную в хрестоматии «A Psalm of Life», но никто, конечно, его серьезно не слушал. Мало того, что не слушал: мой сосед по парте, мастер дзюдо, подложил под хрестоматию развернутый журнал «Букё-сэкай» и с самого начала читал приключенческий роман Осикавы Сюнро.

Так продолжалось минут двадцать-тридцать. Затем учитель Мори вдруг поднялся со стула и, пересказывая стихотворение Лонгфелло, которое он только что объяснял, принялся толковать о вопросах человеческой жизни. В чем состояла суть его разговоров, я не помню, но думаю, что это были не столько рассуждения, сколько какие-то впечатления его собственной жизни, потому что из того, что он говорил взволнованным голосом, все время взмахивая обеими руками, как птица с ободранными крыльями, мне смутно припоминаются такие фразы:

— Вы еще не знаете человеческой жизни. Хотите узнать, но не знаете. И в этом ваше счастье. Когда станете такими, как мы, то прекрасно узнаете жизнь. Узнаете и то, что есть в ней много тяжелого... Понимаете? Много тяжелого. Вот и у меня — двое детей. Надо отдать их в школу. А чтоб отдать, э... чтоб отдать... плата за учение? Да. Нужна плата за учение. Понимаете? Поэтому есть очень много тяжелого.

Но настроение, с которым учитель жаловался на жизненные трудности школьникам, ничего не знаящим о жизни, жаловался, может быть, и сам того не желая, разумеется, не могло нам быть понятным. Более того, видя только смешную сторону самого факта его жалоб, мы во время его речи стали потихоньку посмеиваться. Этот смешок не превратился в обычный громкий смех, вероятно, лишь потому, что жалкая одежда учителя и выражение его лица, когда он разглагольствовал своим пронзительным голосом, словно во-

площадь в себе сами тяготы жизни, пробудили в нас некоторое сочувствие. Но хотя наш смех не стал громче, зато немного спустя сидевший рядом со мной мастер дзюдо вдруг отложил журнал и подчеркнуто резко встал.

— Сэнсэй, мы пришли в класс, чтобы нас учили английскому языку. А раз нас не учат, то и незачем приходить в класс. И если вы будете продолжать разговаривать, я уйду в гимнастический зал.

С этими словами он скорчил ужасную гримасу и с шумом опустился на место. Никогда не видел я такого странного лица, как у учителя Мори в эту минуту. Как пораженный громом, он с полуоткрытым ртом остолбенел у печки и в течение двух-трех минут только молча смотрел в лицо дерзкому ученику. Потом в его коровьих глазах мелькнуло то самое умоляющее выражение, и вдруг, поднеся руку к лиловому галстуку и улыбаясь так, словно он плакал, он стал повторять, несколько раз склоняя свою лысую голову:

— Я виноват. Я виноват и глубоко извиняюсь. В самом деле, вы приходите в класс учиться английскому языку. Я виноват, что не учил вас английскому языку. Я виноват и глубоко извиняюсь. Понимаете? Глубоко извиняюсь.

При свете красного пламени, косо падавшем из раскрытой двери печки, еще более четко выступали потертые места на плечах и боках его визитки. И лысая голова учителя, каждый раз, когда он ее наклонял, отливавшая красивым медным блеском, еще больше напоминала яйцо страуса.

Но и эта жалкая картина мне, каким я был тогда, только раскрывала низость Мори-сэнсэя как учителя. Он до того боится потерять место, что подлаживается к ученикам. Значит, он учителем вовсе не потому, что интересуется преподаванием, а потому, что вынужден к этому жизнью. Предаваясь таким туманным рассуждениям и чувствуя презрение не только к его одежде и знаниям, но и к самой его личности, я, облокотившись на хрестоматию, снова и снова нагло смеялся над учителем, который перед пылающей печкой и духовно, и физически сгорал на огне. Разумеется, так делал не я один. Когда учитель, изменившись в лице, стал извиняться, донявший его мастер дзюдо мельком взглянул в мою сторону и с лукавой улыбкой вернулся к изучению спря-

танного под хрестоматией приключенческого романа. После этого до самого сигнала к перерыву учитель Мори, еще более растерянный, чем обычно, с отчаянием переводил несчастного Лонгфелло. «Life is real, life is earnest»¹, — повторял он, бледный, обливаясь потом, словно умоляя о чем-то, и его пронзительный голос, как будто застревающий у него в горле, до сих пор звучит у меня в ушах. Но тогда такие же, как этот голос, трагические голоса миллионов других людей были слишком далеко, чтобы достичь нашего слуха. Поэтому весь этот час скука наслаивалась на скуку, и не я один без стеснения зевал во весь рот. А учитель Мори, вытянувшись перед печкой своим маленьким телом и не обращая никакого внимания на снег, бьющий в оконные стекла, размахивал хрестоматией и упорно, словно в голове у него развернулась какая-то пружина, с отчаянием восклицал: «Life is real, life is earnest»!

* * *

Так как дело шло таким порядком, то, когда окончился семестр, составлявший срок договора, и фигура учителя Мори опять исчезла у нас из вида, мы радовались, а отнюдь не сожалели. Вернее, мы настолько равнодушно отнеслись к его уходу, что даже не обрадовались по-настоящему. В особенности, когда я и другие в последующие семь-восемь лет переходили из средней школы в высшую нормальную, а из высшей нормальной школы в университет, никто из нас не чувствовал к нему никакой привязанности, так что мы совершенно позабыли о самом его существовании.

И вот осенью, в год окончания университета... Это случилось в первой декаде декабря, когда к концу дня часто бывает густой туман и с ив и платанов в аллеях летят желтые листья, в вечер после дождя. Порыскав по букинистическим лавкам в Канде, я раздобыл несколько немецких книг, которые со времени европейской войны стали редкостью. Подняв воротник для защиты от промозглого воздуха поздней осени, я проходил мимо магазина Наканисия. Почему-то

¹ Жизнь реальна, жизнь сурова (англ.). — Перевод М. Зенкевича.

мысль об оживленных голосах и горячих напитках вдруг показалась мне привлекательной, и без всякой определенной цели я зашел в тамошнее кафе.

Оказалось, однако, что это кафе, хотя и маленькое, совершенно пусто, ни одного посетителя в нем не было. На стоящих рядами мраморных столиках в позолоте сахарниц холодно отражался электрический свет. С чувством грусти, как будто меня кто-то обманул, я сел за столик, стоявший перед вделанным в стену зеркалом. Подошедшему официанту я заказал кофе, вынул сигару и, перепортив кучу спичек, наконец зажег ее. Вскоре на моем столике появилась чашечка дымящегося кофе, но все же охватившее меня уныние, как и туман за окном, никак не рассеивалось. Книга по философии, которую я купил у букиниста, была с мелкой печатью, и в знаменитой статье, ради которой я ее купил, нельзя было прочесть ни страницы. Тогда я волей-неволей откинулся на спинку стула и, берясь то за бразильский кофе, то за гаванскую сигару, лениво устремил блуждающий взор на зеркало, висевшее прямо передо мной.

В зеркале, ярко и холодно, словно часть сцены, отражалась лестница на второй этаж, видимая сбоку за ней противоположная стена, белая окрашенная дверь, висящая на стене афиша концерта. Кроме того, виден был мраморный столик. Виден был большой вазон с хвойным деревом. Видна была висячая электрическая лампа. Видна была большая фаянсовая газовая печь. Видны были фигуры трех-четырех официантов, которые разговаривали о чем-то, сидя перед печкой. И наконец... так, по порядку разглядывая все, что было видно в зеркале, я добрался до официантов, сидевших перед печкой, и тут изумился, увидев среди них за столиком фигуру посетителя. Вероятно, я сначала не обратил на него внимания, потому что, видя его среди официантов, бессознательно принял его за повара этого кафе или кого-то в том же роде. Но изумился я не только тому, что, вопреки моему первому впечатлению, здесь оказался еще один посетитель. Дело в том, что хотя фигура посетителя в зеркале была мне едва видна в профиль, однако по лысой голове, похожей на лицо страуса, по визитке, вытертой до синевы, по цвету веч-

но лилового банта — я узнал с одного взгляда нашего учителя Мори.

Едва я увидел его, в моем уме отчетливо всплыли те семь-восемь лет, которые нас разделяли. Староста класса в средней школе, учившийся по английской хрестоматии, и я, который, сидя за столиком, спокойно выпускал через нос дым сигары... мне эти годы не могли показаться короткими. Но не оттого ли, что уносящий все «поток времени» с одним только учителем Мори, уже перешагнувшим за свой век, не смог поделаться ничего... Учитель, который сейчас, в этот вечер, сидел в кафе за столиком с официантами, был тот самый человек, который давным-давно в классе, куда не заглядывало заходящее солнце, учил нас по английской хрестоматии. Его лысая голова не изменилась. Лиловый галстук был все тот же. И пронзительный голос... Да ведь, кажется, он своим пронзительным голосом озабоченно объясняет что-то официантам... Невольно улыбаясь и позабыв о своем унынии, я внимательно прислушался к голосу учителя.

— Этим существительным управляет вот это прилагательное. «Наполеон» — имя человека, поэтому оно называется существительным. Поняли? А за этим существительным, прямо за ним, — знаете вы, что стоит за ним? Ну, скажи ты.

— Относительно... относительное существительное, — заикаясь, ответил один из официантов.

— Что, относительное существительное? Относительных существительных не бывает. Относительные... относительные... местоимения? Ну да, относительное местоимение. Местоимение — оно замещает существительное «Наполеон». Поняли? Местоимение — это слово, употребляющееся вместо имени.

Судя по разговору, учитель Мори преподавал в этом кафе официантам английский язык. Я передвинулся вместе со стулом и посмотрел в зеркало с другой точки. Действительно, на столике лежала какая-то развернутая книга, похожая на хрестоматию. Учитель Мори тыкал пальцем в ее страницы и, по-видимому, никак не мог закончить свои объяснения. В этом он тоже был все такой же, как раньше. Только обступившие его официанты, в отличие от тогдашних

школьников, тесно сбившись в кучу, с горящими глазами по-лушно внимали его сбивчивым объяснениям.

Пока я наблюдал в зеркало эту сцену, на поверхность моего сознания понемногу всплыло теплое чувство к учителю Мори. Что, если я подойду к нему и выражу сожаление, что так долго с ним не встречался? Но вряд ли учитель помнит меня, поскольку видел меня только в классе в течение всего одного семестра. А если даже и помнит... Вспомнив недоброжелательный смех, которым мы тогда награждали учителя Мори, я вдруг сообразил, что выкажу гораздо больше уважения к нему, если не назову себя. Поэтому, поскольку кофе как раз был выпит, я тихонько поднялся, оставив недокурную сигару. Но как я ни старался не производить ни малейшего шума, все же я, по-видимому, привлек внимание учителя. В тот миг, как я встал, изжелта-бледное круглое лицо, грязноватый воротник и лиловый галстук оказались обращенными в мою сторону. И на мгновение коровьи глаза учителя встретились в зеркале с моими глазами. Но, как я и ожидал, в его глазах не показалось такого выражения, какое говорило бы о том, что он увидел старого знакомого. Единственное, что в них мелькнуло, это, как бывало и раньше, жалкое выражение какой-то вечной мольбы.

Опустив глаза, я принял у официанта счет и, чтобы рассчитаться, молча подошел к конторке у входа в кафе. У конторки со скучающим видом сидел знакомый мне старший официант с ровным пробором в приглаженных волосах.

— Там у вас учатся английскому языку. Это их обучают по просьбе кафе? — спросил я, уплачивая.

И старший официант, не сводя глаз с прохожих за дверью, пренебрежительно ответил:

— Какое там, никто его не просил! Просто приходит каждый вечер и вот так учит. Что ж, говорят, он бывший учитель английского языка, теперь одряхлел, нигде его на работу не берут, вот он и таскается, чтобы убить время. За одной чашкой кофе просиживает целый вечер, так что и нам не такой уж интерес.

Слушая этот ответ, я так и видел перед собой глаза учителя Мори, молящие о чем-то неизвестном ему самому. Ах, учитель Мори! Мне показалось, что теперь я начинаю смут-

но представлять его себе — его благородную личность. Если существуют педагоги от рождения, то таким был он. Перестать учить английскому языку хоть на минуту было для него так же невозможно, как перестать дышать. Случись это, его жизненная сила, как лишенное влаги растение, сразу же увяла бы. Вот почему он каждый вечер приходит в это кафе выпить чашку кофе. Разумеется, он делает это не от скуки, не для того, чтобы убить время, как думает старший официант. Я вспоминал, как мы, сомневаясь в искренности учителя, издевались над ним, считая, что он преподает только ради заработка, и теперь это представилось мне заблуждением, из-за чего я мог лишь краснеть. Подумать только, как должен был страдать наш учитель Мори от этих злостных кривотолков — «чтобы убить время», «ради заработка». И при таких страданиях он всегда сохраняет невозмутимость и, в неизменном котелке, с лиловым бантом, неустрашимо делает свои переводы, делает их храбрее, чем шел на подвиги Дон Кихот. Только иногда все же в глазах его проскальзывает мольба, обращенная к ученикам, которых он учил, а может быть, и ко всем людям, с которыми он имел дело, — мучительная мольба о сочувствии.

Охваченный этими мгновенно промелькнувшими мыслями, подавленный каким-то непонятым волнением, я не знал, плакать мне или смеяться, и, спрятав лицо в поднятый воротник, поспешно вышел из кафе. А позади, под слишком ярким холодным электрическим светом, учитель Мори, пользуясь отсутствием посетителей, по-прежнему своим пронзительным голосом учил английскому языку жадно внимавших ему официантов:

— Так как это слово замещает имя, то его называют местоимением. Поняли? Местоимением... Ясно?

Январь 1919 г.

СОБАКИ И СВИРЕЛЬ

Посвящая Икуко-сан

1

Давным-давно в Ямато, у подножия горы Кацурагияма жил молодой дровосек по прозвищу Длинноволосый. У него было доброе нежное лицо, как у девушки, и длинные волосы, как у девушки, за что его и прозвали Длинноволосый.

Он очень хорошо играл на свирели и каждый раз, отправляясь в лес рубить деревья, в перерывах между работой вытаскивал из-за пояса свирель и наслаждался ее звуком. И, как это ни странно, птицы, звери и даже травы и деревья чувствовали, как прекрасен звук свирели. Стоило Длинноволосому заиграть на свирели, как травы начинали колыхаться, деревья — шелестеть, птицы и звери окружали его и слушали, пока он не кончал играть.

И вот однажды, когда он, как обычно, сид на огромный пенек и стал самозабвенно играть на свирели, перед ним вдруг появился огромный одноногий человек, шея которого была украшена ожерельем магатама из зеленых драгоценных камней, и сказал:

— Ты прекрасно играешь на свирели. Я уже давным-давно живу в пещере далеко в горах и все это время только и делал, что смотрел сны о Веке богов, но с тех пор, как ты стал приходить сюда рубить деревья, меня увлек звук свирели и стали посещать интересные мысли. Я пришел сегодня сюда специально, чтобы отблагодарить тебя, проси у меня все, что хочешь.

Дровосек ненадолго задумался и ответил так:

— Я люблю собак, подари мне собаку.

Огромный человек, рассмеявшись, сказал:

— Ты просишь всего-навсего одну собаку, значит, ты совсем не жадный. Я восхищен тем, что ты такой не жадный, и

подарю тебе чудесную собаку, какой еще свет не видывал. Говорит это тебе одноногий бог с горы Кацурагияма.

Он громко свистнул, и тут же из леса, вздымая груды опавших листьев, примчалась белая собака.

Одноногий бог, указывая на собаку, сказал:

— Это очень умная собака, ее зовут Ищи, и стоит позвать ее, она тут же найдет тебя, как бы далеко ты от нее ни находился. Всю свою жизнь люби и береги ее теперь вместо меня.

Только он произнес это, как тут же растаял, подобно туману, и стал невидим.

Длинноволосый, испытывая огромную радость, вернулся с белой собакой в деревню, на следующий день снова пошел в лес и, как ни в чем не бывало, заиграл на свирели, и тут откуда-то появился огромный однорукий человек, шея которого была украшена ожерельем магатама из черных драгоценных камней, и сказал:

— Вчера мой старший братец, одноногий бог, как я знаю, подарил тебе собаку, я тоже пришел сегодня, чтобы отблагодарить тебя. Если ты что-то хочешь, скажи, не стеснясь. Я однорукий бог с горы Кацурагияма.

На это Длинноволосый сказал то же самое:

— Я хочу собаку, которая была бы не хуже Ищи.

Огромный человек тут же свистнул, и на его зов примчалась черная собака.

— Имя этой собаки Лети, стоит кому-то сесть ей на спину, и она может пролететь по небу хоть сто, хоть тысячу ри. Завтра, наверное, наш младший брат придет, чтобы отблагодарить тебя.

Сказав это, он в то же мгновение исчез.

На следующий день, не успев Длинноволосый заиграть на свирели, как с неба, точно несомый ветром, слетел огромный одноглазый человек, шея которого была украшена ожерельем магатама из красных драгоценных камней.

— Я одноглазый бог с горы Кацурагияма; как я знаю, мои старшие братцы приходили, чтобы отблагодарить тебя, я тоже подарю тебе прекрасную собаку не хуже Ищи и Лети.

После этих слов тут же по лесу разнесся его свист и примчалась, обнажив клыки, пятнистая собака.

— Эту собаку зовут Грызи. Если она на кого-то нападет — конец. Любого, даже самого страшного злого демона загрызет до смерти. И еще одно, наши собаки, как бы далеко они ни были, сразу же прибегут к тебе, как только ты заиграешь на свирели, но без нее не прибегут, никогда не забывай об этом.

Сказав это, одноглазый бог, точно ветер, пронесся сквозь зашумевшую листву деревьев и взмыл ввысь.

2

Это случилось дней через пять. Длинноволосый вместе со своими тремя собаками, наигрывая на свирели, случайно оказался у развилки трех дорог, идущих вдоль подножия горы Кацурагияма, и тут к нему по правой и левой дороге медленно подъехали на могучих лошадях два молодых самурая, вооруженные луками и стрелами.

Увидев их, Длинноволосый заткнул свирель за пояс и, вежливо поклонившись, спросил:

— Простите, господа, куда вы изволите ехать?

Самурай, один за другим, ответили:

— Две дочери министра двора Асука, видимо, похищены какими-то злыми демонами, и никто не знает, где они.

— Министр двора в отчаянии, он сказал, что любого, кто найдет его дочерей, ждет большая награда, поэтому мы спрашиваем всех, не знает ли кто-нибудь, где они сейчас находятся.

Сказав это, самурай, насмешливо глянув на женоподобного дровосека и трех его собак, быстро уехали.

Длинноволосый, подумав, что услышал интересную для себя вещь, погладил по голове белую собаку и сказал:

— Нюхай. Нюхай. Вынюхай, куда подевались девушки.

Тут же белая собака, повернув голову против ветра, стала изо всех сил принюхиваться и вдруг, задрожав всем телом, ответила:

— Гав, гав, старшая дочь министра двора находится в плену у человека, которого называют Моллюском-отшельником, он живет в пещере на горе Икомааяма.

Это был очень плохой человек, который в давние времена держал огромного восьмиглавого змея.

Дровосек, обняв одной рукой белую, а другой — пятнистую собаку и сев на спину черной, громко закричал:

— Лети! Лети! Побыстрее лети к пещере на горе Икомааяма, где живет Моллюск-отшельник.

Не успел он это сказать, как могучий вихрь охватил снизу ноги Длинноволосого и в мгновение ока черная собака взмыла в небо, подобно листку дерева, и полетела прямо в сторону возвышавшейся вдали горы Икомааяма, окутанной белыми облаками.

3

Подлетев наконец к горе Икомааяма, Длинноволосый увидел примерно посредине горы огромную пещеру, в которой сидела красавица-девушка с золотым гребнем в волосах и плакала.

— Госпожа, госпожа, не беспокойтесь, я пришел за вами. Побыстрее собирайтесь, и мы вернемся к вашему батюшке.

Когда Длинноволосый сказал это, три собаки схватили зубами подол и рукава кимоно девушки и пролаляли:

— Быстрее собирайтесь, гав, гав.

Однако девушка, в глазах которой еще стояли слезы, показала пальцем в глубину пещеры и сказала:

— Там спит после попойки похитивший меня Моллюск-отшельник. Проснувшись, он тут же погонится за нами. И лишит жизни и меня, и вас.

Длинноволосый весело улыбнулся:

— Я ни капельки не боюсь этого ничтожного Моллюска-отшельника. Вы сами увидите, как я сейчас без всякого труда усмирю его. — С этими словами он погладил пятнистую собаку по спине и сказал решительно: — Грызи. Грызи. Загрызи до смерти Моллюска-отшельника, который там, в глубине пещеры.

Пятнистая собака, обнажив клыки и с громоподобным ревом бросившись в глубь пещеры, вцепилась в горло и, виляя хвостом, выволокла из пещеры окровавленного Моллюска-отшельника.

И тут произошло чудо: в то же мгновение из утонувшей в снегу лощины вырвался порыв ветра и кто-то спрятавшийся в нем произнес приятным голосом:

— Длинноволосый-сан, благодарю вас. Вашего доброго дела я никогда не забуду. Я Комахимэ с горы Икомайма, которую мучил здесь Моллюск-отшельник.

Однако дочь министра двора, радуясь, что жизнь ее спасена, видимо, не слышала этого голоса и, повернувшись к Длинноволосому, сказала с беспокойством:

— Вы спасли мне жизнь, но где сейчас моя младшая сестра, что с ней?

Услышав это, Длинноволосый, глядя белую собаку по голове, сказал:

— Нюхай. Нюхай. Вынюхай, где сейчас эта госпожа.

Белая собака, глядя в лицо хозяина и непрерывно поводя носом, ответила:

— Гав, гав, младшая сестра этой госпожи пленница Земляного паука, обитающего в пещере на горе Касагияма.

Этот самый Земляной паук — отвратительный карлик, который в древности был наказан императором Дзимму.

Как и в прошлый раз, Длинноволосый, прижав к бокам двух собак и сев с девушкой на черную, сказал:

— Лети. Лети. Лети на гору Касагияма, где в пещере обитает Земляной паук.

И тут же черная собака взлетела высоко в небо и быстрее стрелы помчалась к горе Касагияма, покрытой белыми облаками.

4

Когда они подлетели к горе Касагияма, Земляной паук, который был очень хитрым, увидев Длинноволосого, сразу же с деланой улыбкой вышел ко входу в пещеру встретить его и сказал:

— Милости просим, милости просим, Длинноволосый-сан. Благодарю, что наконец добрались до меня в такую даль. Заходите, пожалуйста. Ничего подходящего, чтобы угостить вас, у меня нет, но можно закусить печенью живого оленя и зародышем медведя.

Однако Длинноволосый покачал головой:

— Нет-нет, я приехал, чтобы вернуть похищенную тобой девушку. Хорошо, если ты сразу же отдашь ее мне, но, если откажешься, будешь убит, как Моллюск-отшельник, подумай об этом! — зло прокричал он.

Земляной паук весь съежился и сказал дрожащим голосом:

— О-о, конечно, верну, сделаю все, что вы требуете. Девушка как раз находится в этой пещере. Заходите туда, не стесняйтесь и забирайте ее.

Длинноволосый вместе со старшей дочерью и тремя собаками вошел в пещеру, там жалобно плакала прекрасная девушка с серебряным гребнем в волосах.

Она испуганно посмотрела на вошедших и вдруг увидела старшую сестру.

— Сестра.

— Сестричка.

Девушки побежали друг к другу, обнялись и залились счастливыми слезами. Глядя на эту сцену, Длинноволосый тоже заплакал, но тут вдруг собаки ошетинились.

— Гав. Гав. Какая сволочь этот Земляной паук.

— Омерзительный. Гав. Гав.

— Гав. Гав. Гав. Смотрите. Гав. Гав. Гав.

Собаки лаяли как сумасшедшие, и, когда Длинноволосый обернулся, он увидел, что коварный Земляной паук в какой-то момент снаружи завалил вход в пещеру огромным камнем, не оставив и щелочки. И к тому же еще оттуда доносились хлопки в ладоши и веселый смех.

— Так тебе и надо, Длинноволосый. Останетесь там, и месяца не пройдет, как вы все перемерете с голоду. Вы, наверное, потрясены моей хитростью.

Сначала даже Длинноволосый растерялся — здорово его надули, но, к счастью, вспомнил о заткнутой за пояс свирели. Ведь стоит заиграть на ней, как не только птицы и звери, но даже травы и деревья заслушиваются ее звуками, так что они должны тронуть сердце и коварного Земляного паука. К Длинноволосому вернулось мужество, и, успокоив лаявших собак, он заиграл на свирели, вкладывая в игру всю душу.

Привлеченный звуками свирели, отвратительный Земляной паук все больше терял самообладание. Сначала, приложив ухо к камню, завалившему вход в пещеру, он стал внимательно прислушиваться, потом, потеряв над собой власть, начал потихоньку отодвигать камень.

И вот появилась большая щель, через которую мог пройти человек. Тогда Длинноволосый, погладив пятнистую собаку по спине, сказал:

— Грызи! Грызи. Загрызи до смерти Земляного паука, который стоит у входа в пещеру.

Потрясенный услышанным, Земляной паук припустился бежать, но было поздно. Грызи, как молния, вылетела из пещеры и без труда загрызла насмерть Земляного паука.

И тут произошло чудо: в то же мгновение из лощины вырвался порыв ветра и послышался приятный голос:

— Длинноволосый-сан, благодарю вас. Вашего доброго дела я никогда не забуду. Я Косахимэ с горы Касагияма, которую мучил здесь Земляной паук.

5

После этого Длинноволосый, сев на спину черной собаки, вместе с двумя сестрами и тремя собаками с вершины горы Касагияма полетел по небу, направляясь прямо в столицу, где была резиденция министра двора Асука. По дороге сестры сделали вот что: вынув свои золотой и серебряный гребни, они тихонько воткнули их в длинные волосы Длинноволосого. Он даже не заметил этого. И лишь, изо всех сил подгоняя черную собаку, летел по небу и смотрел на расстилавшуюся внизу прекрасную страну Ямато.

Когда они подлетели к тому месту, где была развилка трех дорог, куда еще в самом начале добрался Длинноволосый, там оказались возвращавшиеся, видимо, откуда-то те самые два самурая, которые на своих лошадях спешили в столицу. И тогда Длинноволосому захотелось рассказать им о своих великих подвигах.

— Спускайся, спускайся, садись вон на ту развилку, — приказал он черной собаке.

Там уже были два самурая. Они тщательно обыскали все

вокруг, но так и не смогли узнать, куда пропали сестры, и теперь уныло ехали на лошадях, а тут вдруг обе сестры вместе с женоподобным лесорубом верхом на могучей черной собаке спустились прямо с неба — невозможно передать, как они были потрясены.

— Господа, после того как мы распрощались, я сразу же полетел к горам Икомайма и Касагияма, и мне удалось спасти обеих сестер.

Однако самураи, задирая нос перед этим грубым дровосеком, страшно разозлились, завидуя ему, досадуя на него. Но, делая вид, что безмерно рады, превозносили подвиги Длинноволосого, говорили, сколь чудесно появление трех собак, свирель за его поясом. Воспользовавшись невнимательностью Длинноволосого, они сначала тайком вытащили у него из-за пояса столь необходимую ему свирель, а потом вскочили на черную собаку, втащив к себе двух сестер и двух собак.

— Лети. Лети. Лети в столицу, где живет министр двора! — завопили они.

Потрясенный Длинноволосый подскочил к ним, но тут поднялся страшный ветер и черная собака, на которой сидели самураи, поджав хвост, взмыла в небесную высь.

У Длинноволосого остались лишь брошенные самураями две лошади, поэтому ему не оставалось ничего другого, как понуро стоять на перекрестке и жалобно плакать.

Вдруг с вершины горы Икомайма подул ветер и донесся голос, тихо прошептавший:

— Длинноволосый-сан. Длинноволосый-сан. Я Комахимэ с горы Икомайма.

Одновременно с горы Касагияма тоже вдруг подул ветер и послышался голос, тихо прошептавший:

— Длинноволосый-сан. Длинноволосый-сан. Я Косахимэ с горы Касагияма.

Потом голоса эти слились:

— Не беспокойтесь, мы прямо сейчас погонимся за самураями и вернем тебе свирель.

Не успели они произнести это, как взвыл ветер и бешено понесся в ту сторону, куда улетела черная собака.

Прошло немного времени, и ветер, доносивший тот же шепот, спустился с неба к развилке.

— Оба самурая, которые вместе с двумя сестрами уже предстали перед министром двора Асука, получили щедрые награды. Ничего-ничего, быстрее играй на свирели и вызывай трех собак. А мы в это время позаботимся о том, чтобы тебе было не стыдно отправиться в столицу и сделать карьеру.

Сразу же после этих слов перед Длинноволосым дождем посыпались такая необходимая ему свирель, а кроме нее и золотые доспехи, и серебряный шлем, и стрелы с павлиньим оперением, и лук из благоухающего дерева, и прекрасная одежда военачальника.

6

Когда богоподобный Длинноволосый с луком из благоухающего дерева и стрелами с павлиньим оперением за плечами, верхом на черной собаке и держа под мышками белую и пятнистую, спустился с неба в резиденцию министра двора Асуки, два молодых самурая перепугались, не зная, что делать.

Не только они, испуган и удивлен был даже сам министр двора, который, ничего не понимая, некоторое время изволил лицезреть величественную фигуру Длинноволосого, будто тот явился ему во сне.

Длинноволосый начал с того, что, сняв шлем, вежливо поклонился министру двора и сказал ему:

— Меня зовут Длинноволосый, и я живу в этой стране у подножия горы Кацурагияма, именно я спас двух ваших дочерей, а самураи и пальцем не пошевелили, чтобы усмирить Моллюска-отшельника и Земляного паука.

Услыхав это, самураи, которые до этого горделиво заявили, что именно им принадлежит заслуга в том, о чем только что рассказал Длинноволосый, покраснели и, перебивая друг друга, стали защищаться:

— Этот человек несет несусветную ложь. Не кто иной, как мы, свернули шею Моллюску-отшельнику, не кто иной, как мы, разрушили козни Земляного паука.

Министр двора, стоя между ними, не в силах определить, кто говорит правду, переводил взгляд с самураев на Длинноволосого, а потом, обернувшись к дочерям, спросил:

— У меня нет другого способа, как узнать у вас. Кто из них ваш спаситель?

Обе девушки, бросившись на грудь отца, сказали со стыдом:

— Нас спас Длинноволосый. Доказательством может служить то, что в его длинных волосах воткнуты наши гребни, можете сами увидеть.

Действительно, на голове Длинноволосого сверкали золотой и серебряный гребни.

После этого самураям не оставалось ничего другого, как, распростершись перед министром двора, с дрожью сказать:

— Мы совершили предательство, заявив, будто спасение ваших дочерей наша заслуга, хотя она принадлежит Длинноволосому. Примите во внимание наше чистосердечное признание и сохраните нам жизнь.

Вряд ли нужно говорить о том, что произошло дальше. Длинноволосый, получив большую награду, стал зятем министра двора, а два молодых самурая, преследуемые тремя собаками, убежали из столицы. Одно только осталось неизвестным, поскольку дело было очень давно: какая из двух сестер стала женой Длинноволосого.

О СЕБЕ В ТЕ ГОДЫ

Все, что вы прочтаете ниже, может быть, и нельзя отнести к жанру рассказа. Да я вообще затрудняюсь ответить на вопрос, к какому жанру это можно было бы отнести. Я просто попытался правдиво и, по возможности, без предубеждения рассказать о некоторых событиях, случившихся несколько лет тому назад. Боюсь, это может показаться скучным тем читателям, которые не питают интереса к моей жизни, жизни моих друзей и веяниям того времени.

Тем не менее я решил опубликовать эти воспоминания, успокаивая себя тем, что подобное опасение неизбежно возникает при издании любого художественного произведения. Наконец, я хотел бы добавить, что сказанное мною о правдивом изложении не обязательно распространяется и на последовательность в изложении фактов. Только сами факты, в общем, описаны правдиво.

1

Было ясное ноябрьское утро. Спустя долгое время я снова надел неудобную студенческую форму и отправился в университет. У входа я встретился с Нарусэ, на котором была такая же точно форма. Я сказал: «Давненько!» Он ответил: «Давненько!» Мы положили рядом наши квадратные студенческие фуражки и вошли в старое кирпичное здание юридического и литературного факультетов. У входа перед доской объявлений стоял одетый по-японски Мацуока. Мы еще раз обменялись нашими «давненько».

Сначала мы поговорили о нашем журнале «Синситё», который собирались выпустить в ближайшие дни. Затем Ма-

цуока рассказал о том, как он после долгого перерыва появился в университете, зашел не то в аудиторию по истории западной философии, не то в какую-то другую, сел и стал ждать. Сколько он ни ждал, ни преподаватель, ни студенты не появлялись. Мацуока это показалось странным. Он вышел наружу и спросил у посыльного, в чем дело. Оказалось, он пришел в выходной день. Для такого рассеянного человека, как Мацуока, в этом не было ничего необычного. Ведь это он однажды, намереваясь сесть на трамвай, вышел из дома с десятью сэнами в кармане, зашел в табачную лавку и преспокойно сказал: «Один билет туда и обратно».

Тем временем мимо нас промчался похожий на горбуна посыльный, который изо всех сил тряс звонок, извещающий о начале утренних лекций.

Первой была лекция ныне покойного Лоуренса. Мы распрощались с Мацуока и вместе с Нарусэ поднялись на второй этаж. В аудитории уже было полно студентов. Одни читали свои конспекты, другие болтали о разных разностях. Мы заняли стол в углу и начали обсуждать темы рассказов, которые собирались написать для журнала «Синситё». Над нашими головами висела на стене табличка «Курить воспрещается», но мы, беседуя, вытащили из карманов «Сикисима»¹ и закурили. Курили не только мы. Другие студенты тоже преспокойно дымили папиросами. В этот момент, держа портфель под мышкой, в аудиторию поспешно вошел Лоуренс. Поскольку я уже успел докурить свою «Сикисима» и даже выбросил окурочек, опасаться мне было нечего, и я спокойно раскрыл конспекты. У Нарусэ папироса еще дымилась во рту. Он быстро бросил окурочек под стол и наступил на него, пытаясь погасить. К счастью, Лоуренс не обратил внимания на струйку дыма, поднимавшуюся из-под нашего стола. Поэтому, проверив по списку присутствующих, он сразу же приступил к лекции.

Все сходились в то время на том, что лекции Лоуренса крайне скучны. Но в то утро лекция была особенно неинтересна. Вначале Лоуренс конспективно изложил ее содержание. Причем это происходило по следующей схеме: акт пер-

¹ «Сикисима» — марка папирос.

вый, сцена вторая — краткое изложение. И так акт за актом, сцена за сценой. Не было никаких человеческих сил выносить подобную скуку. Прежде во время лекции меня всегда охватывала мысль: какой злой рок заставил меня поступить в университет?! Теперь я даже об этом не думал. Настолько я покорился судьбе, вынуждавшей меня молча выслушивать эти великолепные лекции. В то утро я, как обычно, механически двигал пером, прилежно записывая нечто напоминавшее английский перевод содержания пьесы императорского театра. Но вскоре меня стало клонить ко сну. И я, конечно, уснул.

У меня была законспектирована всего одна страничка, когда я сквозь сон услышал какие-то странные интонации в голосе Лоуренса, заставившие меня проснуться. Вначале мне показалось, что Лоуренс заметил, будто я сплю, и ругает меня за это. Но в следующий момент я понял, что Лоуренс размахивает «Макбетом» и с увлечением говорит голосом шута. Я подумал, что и сам-то я отношусь к разряду шутов. Мне показалось это комичным, и сонливость мгновенно исчезла. Рядом Нарусэ конспектировал лекцию. Иногда он поглядывал в мою сторону и потихоньку смеялся. Я успел испортить еще несколько страниц, когда наконец прозвенел звонок, извещавший об окончании лекции. Вслед за Лоуренсом мы дружной толпой выплеснулись в коридор.

Стоя в коридоре, мы любовались пожелтевшей листвой росших во дворе деревьев. Подошел Тоёда Минору. «Покажите на минутку ваш конспект», — попросил он. Я дал ему конспект, но оказалось, что того места, которое его интересовало, в конспекте не было: я его как раз проспал. Я, естественно, почувствовал себя неловко. «Ну ладно», — сказал Тоёда и неторопливо двинулся дальше. Слово «неторопливо» употреблено здесь мною не случайно. Ведь ты и правда всегда ходил неторопливо... Где ты теперь? Чем занимаешься? Точно не знаю. Хотел бы только сказать, что среди поклонников Лоуренса, или, если сказать по-другому, среди студентов, которым симпатизировал Лоуренс, Тоёда был единственным, к которому если не все мы, то, по крайней мере, я питал в некоторой степени дружеские чувства. И даже теперь, когда я пишу эти строки, я вспоминаю твою нето-

ропливую походку, и мне хочется снова встретиться с тобой в коридоре университета и обменяться обычными приветствиями.

Тем временем снова прозвенел звонок, и мы с Нарусэ спустились на первый этаж, в аудиторию. Следующей была лекция по филологии профессора Фудзиока Каудзи. Остальные студенты пришли заранее и заняли места поближе к кафедре. А такие лентяи, как мы, всегда приходили последними и садились за стол в самом углу. В то утро мы, как всегда, до самого звонка проболтались в коридоре второго этажа, откуда открывался прекрасный вид на окрестности. Лекции профессора Фудзиока по филологии имели право на существование уже хотя бы потому, что профессор обладал прекрасно поставленным звучным голосом и пересыпал свои лекции оригинальными шутками. Правда, я, как человек, от рождения лишенный филологического мышления, сказал бы несколько по-иному: только поэтому они и имели право на существование. Вот почему и сегодня, то делая записи, то прекращая их, я с интересом слушал изобилвавшую интересными подробностями лекцию о Максе Мюллере.

Передо мной сидел студент с длинными волосами. Иногда он откидывал голову назад, и его волосы шуршали по моим записям, словно подметая их. Я даже не знал имени этого человека, и вплоть до сегодняшнего дня у меня все не было случая спросить, с какой целью он отрастил себе такую шевелюру. Во всяком случае, именно на этой лекции по филологии я сделал открытие, что его прическа, может быть, и совпадала с его личными эстетическими потребностями, но вступала в противоречие с практическими потребностями других. Но поскольку, к счастью, моя практическая потребность в слушании этой лекции была не столь настоятельна, я не записывал те места лекции, во время которых мне мешали его волосы. В промежутках, когда мне они не мешали, я вместо записей рисовал картинки. К несчастью, прозвенел звонок, а я не успел и наполовину зарисовать профиль сидевшего напротив потрясающего франта. Этот звонок, извещавший об окончании лекции, одновременно означал, что наступил полдень.

Вместе с Нарусэ мы отправились в харчевню «Иппаку-ся», что напротив университета. Там, на втором этаже, мы купили содовой воды и заказали обед за двадцать сэнов. За едой обсуждали различные проблемы. Мы с Нарусэ были друзьями. Причем наша дружба не омрачалась особыми расхождениями. В то время у нас было много общего и в идейном плане. Случайно мы оба почти одновременно прочитали «Жана Кристофа», и оба были покорены этим романом. За обедом мы всегда без устали беседовали, перескакивая с одной темы на другую. В тот день к нам подсел официант Тани и завел разговор о бирже. «На худой конец, надо всегда быть готовым к этому», — решительно заключил Тани, выворачивая руки назад, будто его ведут полицейские. «Дурак», — заключил Нарусэ и перестал его слушать. Меня же все, что рассказывал Тани, очень интересовало, так как я в то время писал рассказ «Кошелек». Я проговорил с Тани до конца обеда и в один присест узнал больше десятка слов из биржевого жаргона.

После обеда лекций в университете не было, и мы, выйдя из харчевни, отправились в гости к Кумэ, который поблизости снимал комнату в Мияура. Будучи еще большим лодырем, чем мы, Кумэ вообще не посещал лекций. Он писал рассказы и пьесы. Когда мы пришли, он читал не то «Братьев Карамазовых», не то что-то еще, придвинув к столу жаровню для обогривания ног.

— Садитесь сюда, — пригласил Кумэ.

Мы сели, протянув ноги к жаровне. В нос ударил исходящий от пятен на подушках запах растительного масла, а также запах раскаленных углей. Кумэ сообщил нам, что он пишет рассказ об отце, покончившем жизнь самоубийством, когда Кумэ еще был ребенком. Это был вроде бы его дебют, и поэтому, по словам Кумэ, он измучился вконец, не зная, как к этому подступиться. Тем не менее Кумэ, как всегда, прекрасно выглядел, и на его лице нельзя было обнаружить какие-либо следы испытываемых им мук творчества. Потом он у меня спросил:

— Как дела?

— Написал наконец половину «Носа», — ответил я.

Нарусэ сказал, что он приступил к очерку о своей поезд-

ке в Японские Альпы летом этого года. Попивая приготовленный Кумэ кофе, мы долго разговаривали о различных проблемах творчества.

Кумэ начал подвизаться на литературном поприще значительно раньше нас. По сравнению с нами, он, несомненно, обладал и большим писательским мастерством. Меня в особенности поражало его умение легко и в короткий срок создавать трехактные и одноактные пьесы. Среди нас только один Кумэ с достаточной уверенностью занимал или собирался занять в литературных кругах соответствующее положение. Надо сказать, что он способствовал пробуждению уверенности и у нас, непрестанно страдавших от того, что высота идеала не соответствовала нашим способностям. В самом деле, что касается лично меня, то если бы не дружба с Кумэ, если бы он искусственно меня не подбадривал и не воодушевлял, я бы, возможно, ничего не написал и на всю жизнь удовольствовался лишь ролью рядового читателя. Вот почему, когда у нас возникал творческий разговор о литературе, им, как правило, дирижировал Кумэ. В тот день он тоже вел за собой наш оркестр. Наша беседа то оживлялась, то замирала. Помню, по какой-то причине мы часто упоминали имя Таяма Катая.

Справедливости ради следует сказать, что личность Таяма и его энергия сыграли не последнюю роль в серьезном влиянии, которое оказало на литературную жизнь Японии натуралистическое течение. И в этом смысле Таяма, — сколь бы скучными мы ни считали его «Жену» и «Школьного учителя» и сколь бы примитивной ни была его теория плоского отображения, — если не заслуживал уважения со стороны нашего, более молодого поколения, то, по крайней мере, привлекал к себе наш интерес. К сожалению, в то время мы были еще не способны в должной мере оценить его быющую через край творческую индивидуальность. Именно поэтому мы ничего не могли открыть в его произведениях, кроме лунного света и сексуальных картинок. В то же время его заметки и критические статьи, в которых Таяма рассказывал в стиле Гюисманса о любопытных подробностях из жизни новообращенного, только вызывали у нас холодную усмешку, ибо нам приходило в голову комичное сопоставление Таяма

с Дюрталем. Но это не означало, что мы видели в нем ловкача. Правда, мы не считали его и солидным романистом или мыслителем. Прежде всего мы признавали в нем талантливую автора путевых заметок. В то время я дал ему псевдоним *Sentimental landscape-painter*¹. В самом деле, в перерывах между романами и критическими заметками Таяма усердно писал путевые заметки. Мало того, выражаясь несколько гиперболически, можно сказать, что и большинство его романов представляли собой путевые заметки, в которые там и сям вкрапливались образы мужчин и женщин — поклонников *Venus Libentina*². Когда Таяма писал свои путевые заметки, он просто преображался. Он чувствовал себя свободно, становился веселым, откровенным, был прост и наивен. Ну прямо как осел, который дорвался до свежей зеленой травки. Думаю, с полным правом можно сказать, что в этой уж области Таяма был уникален. В то же время тогда еще в большей степени, чем теперь, мы не считали Таяма авторитетным идеологом и столпом натурализма в литературных кругах. Если же говорить без обиняков, мы пренебрежительно относились к его заслугам в области натуралистического течения и считали, что «все это благодаря тому, что такое уж тогда было время».

Покончив с обсуждением Таяма Катая, я и Нарусэ простились с Кумэ. Когда мы вышли на улицу, короткий зимний день уже клонился к вечеру и солнце отбрасывало на тротуар длинные тени. Ощущая хорошо нам знакомое и всегда желанное творческое возбуждение, мы дошли пешком до Хонго, 3, простились и поехали по домам.

2

Спустя некоторое время в погожий солнечный день я и Нарусэ после утренних лекций отправились к Кумэ. Мы вместе пообедали, и Кумэ показал нам рукопись пьесы, которую ему прислал утром Кикиути из Киото. Это была одноактная пьеса «Любовь Сака́та Тодзюро», главным героем которой

¹ Сентиментальный пейзажист (англ.).

² Богиня чувственной любви (лат.).

являлся известный актер Токугавской эпохи. Кумэ предложил мне просмотреть ее. Я начал читать. Тема была интересная. Однако непомерно многословные диалоги, своей пестротой напоминавшие ткани в стиле юдзэн, портили все дело. Создалось впечатление, будто подбьедаеть остатки со стола Нага́и Ка́фу и Танидза́ки Дзюньити́рô. «Весь грех в многословии», — вынес я свой приговор. Нарусэ тоже прочитал пьесу и выразил отрицательное к ней отношение. «И меня она не восхищает. Чувствуется какой-то школярский подход», — согласился с нами Кумэ. От нашего имени Кумэ написал Кикиути письмо, изложив в нем критические замечания по поводу пьесы. Тем временем к Кумэ зашел Мацуока. В отличие от нас троих, обосновавшихся на литературном факультете, Мацуока занимался на философском. Но он, как и все мы, посвятил себя писательской деятельности. Среди нас троих он был особенно близок с Кумэ. Одно время они вместе снимали комнату в доме, расположенном позади военного арсенала. В этом доме изготовляли рабочую спецодежду. Будучи романтиком в практической жизни, Кумэ часто погружался в беспочвенные мечты о том, как он наденет на себя один из этих голубых рабочих комбинезонов, поставит европейский стол в своем личном кабинете, который напминал бы студию художника, и назовет этот кабинет творческой мастерской Кумэ Масао. Всякий раз, когда я посещал снимаемый ими угол, я вспоминал эту мечту Кумэ. Однако Мацуока владели мысли и настроения, не имевшие ничего общего с рабочей спецодеждой. Еще не освободившись от плена сентиментализма, он уже в то время все глубже и глубже погружался в волны религии. Он помышлял создать новый Иерусалим, не связанный ни с Западом, ни с Востоком, увлекался Киркегором, пытался писать довольно странные акварели. Я и сейчас хорошо помню, что среди его акварелей была одна, которая более напоминала картину, когда ее ставили вверх ногами. После того как Кумэ переехал из их общей комнаты в Мияура, Мацуока снял угол в доме на Хонго, 5. Он и сейчас живет там и пишет трехактную пьесу на тему из жизни Сакия Муни. Попивая приготовленный Кумэ кофе и немилосердно курая, мы вчетвером оживленно обсуждали разнообразные проблемы. Это

было время, когда на вершину Парнаса вот-вот должен был вступить Мусякодзи Са изацу. И, естественно, его произведения и высказывания нередко становились темой наших бесед. Мы с радостью ощущали, что Мусякодзи открыл нам стужу окна на нашем литературном Парнасе и впустил струю свежего воздуха. Очевидно, эту радость с особой силой почувствовало наше поколение, пришедшее в литературу вслед за Мусякодзи, а также молодежь, которая появилась после нас. Поэтому неизбежны были расхождения (в большей или меньшей степени) в оценке творчества Мусякодзи писателями и читателями предшествовавшего нам периода и периода, следовавшего после нас. Такое же расхождение имело место и в оценке творчества Таяма Катая (вопрос в том, для кого из них, для Мусякодзи или для Таяма, эта степень расхождения более соответствовала истине. Хотел бы лишь отметить, что, когда я выше говорил «такое же расхождение», я не имел в виду одинаковую «степень расхождения»). В то время мы тоже не считали Мусякодзи литературным мессией. Существовало также расхождение в оценке его как писателя и как мыслителя. Говоря о нем как о писателе, следует, к сожалению, отметить, что он всегда слишком спешил с завершением своих произведений. Несмотря на то что Мусякодзи часто в своей «Смеси» подчеркивал тесную связь между формой и содержанием, он, опиравшийся не столько на терпеливую, тщательную обработку, сколько на вдохновение, в своей практической творческой деятельности забывал о тонких и своеобразных взаимоотношениях между формой и содержанием. Поэтому форма, к которой прежде Мусякодзи относился с пренебрежением, в «Его сестре» и последующих произведениях стала восставать против него. В пьесах Мусякодзи постепенно исчезал неповторимый элемент драматизма (правда, нельзя сказать, что он исчез полностью. Даже в «Мечте одного юноши», которую некоторые критики вообще не причисляли к пьесам, если читать фразу за фразой, можно обнаружить целый ряд отрывков, написанных с мощной драматической выразительностью), и вместо того, чтобы обрисовывать характер героя, он постепенно все в большей степени стал использовать пьесу для изложения своих собственных

мыслей. А поскольку для изложения этих мыслей и чувств не требовалось особой драматической выразительности, постольку они получались значительно слабее, чем то, о чем он писал в «Смеси». Будучи знакомыми с произведениями Мусякодзи еще с тех времен, когда была опубликована «Одна семья», мы испытывали серьезное неудовлетворение этой его новой тенденцией, которая стала проявляться, начиная с «Его сестры». Но фактом было также и то, что во многих его заметках, публиковавшихся под рубрикой «Смесь», таились могучие силы, которые, подобно тайфуну, раздували стремление к идеалу, извергая иногда мощные протуберанцы пламени. Часто некоторые критики указывали на отсутствие логики в идеях, излагавшихся Мусякодзи в «Смеси». Однако в нас слишком много было человеческого для того, чтобы признавать за истину только то, что уже удостоверено логикой. Нет, одна из великих и светлых истин Мусякодзи состояла прежде всего в том, чтобы серьезно относиться именно к человеческому. Когда втоптаный в грязь и давным-давно потерявший свое истинное лицо гуманизм вновь появился на литературной арене, где, как сказано в главе о Христе из Эммауса, «день уже склонился к вечеру», все мы вместе с Мусякодзи почувствовали, как «горело в нас сердце наше». В наше время я часто слышал от подобных мне людей, в том числе даже от писателей, которые придерживаются противоположных Мусякодзи взглядов, что, когда они снова перечитывают его «Смесь», к ним всегда возвращается былое и столь дорогое сердцу волнение. Мусякодзи показал нам — по крайней мере, мне — пример, как для того, чтобы встретить гуманность, которую «посадили на осленка», он «постилал одежды свои по дороге», рубил ветви деревьев и устилал ими дорогу...

Поговорив у Кумэ о том о сем, мы все вместе вышли на улицу. У Хонго, 3, расставшись с Нарусэ и Мацуока, я и Кумэ сели в трамвай, направлявшийся к Гиндза. Мы поужинали несколько раньше обычного в кафе «Лайон» и двинулись в театр Кабуки, где купили билеты на стоячие места. Мы попали на вторую пьесу репертуара того дня. Пьеса была новая. Не только сюжет, но и само название ее было нам незнакомо. На сцене стояли декорации, плохо имитиро-

вавшие чайный домик. Там и сям были наклеены искусственные цветы сливы, напоминавшие изделия из ракушек. На наружной галерее чайного домика Тюся, игравший самурая, объяснялся с девушкой, роль которой исполнял Утаэмон. Я вырос в торговых кварталах Токио и не питал особого интереса к вещам, созданным в эдоском вкусе, в том числе и к пьесам. Я был к ним настолько равнодушен, что любая драматическая ситуация почти никогда не оказывала на меня впечатления. (А может быть, меня сделали равнодушным. Ведь родители брали меня с собой в театр начиная с двухлетнего возраста.) Поэтому в театре я в большей степени, чем содержанием пьесы, интересовался игрой актеров, и в большей степени, чем игрой актеров, интересовался публикой, сидевшей в дома и сэдзики. И на этот раз меня гораздо больше, чем великие актеры, привлекал похожий на приказчика человек в спортивной шапке с козырьком, который грыз сладкие каштаны и не отрываясь смотрел на сцену. Я сказал, что он не отрываясь смотрел на сцену, но должен добавить, что мой приказчик в то же время ни на минуту не прекращал есть каштаны. Он запускал руку за пазуху, доставал горсть каштанов, лущил их и тут же отправлял в рот. Отправив в рот очередную партию, он снова залезал рукой за пазуху, вытаскивал новую горсть каштанов, лущил и снова отправлял в рот. Причем во время всего этого процесса он ни на секунду не отрывал глаз от сцены. Заинтересовавшись столь тонким разделением зрительных и вкусовых ощущений, я в течение некоторого времени внимательно наблюдал за его лицом. Наконец у меня появилось желание спросить у него, каким из этих двух дел он занимался серьезно. Как раз в этот момент сидевший рядом со мной Кумэ истошным голосом завопил: «Татибана!» Я вздрогнул и невольно бросил взгляд на сцену. Вдоль двора спокойно шествовал игравший молодого самурая Удаэмон, который не был способен на что-либо другое, кроме исполнения роли обольстителя женщин. Однако сидевший рядом приказчик словно и не слышал выкрика Кумэ. Он по-прежнему упивался сладкими каштанами и не отрываясь смотрел на сцену, словно хотел вцепиться в нее. Я подумал, что комичность приказчика слишком серьезна, чтобы смеяться над ней. В то

же время я почувствовал, что ситуация заслуживает того, чтобы отобразить ее в каком-нибудь рассказе. Несмотря на появление на сцене Татибана, сам спектакль был еще более ужасен, чем картины Икэда Тэрука. Не дожидаясь окончания первого действия, я воспользовался моментом, когда поворачивалась сцена и менялись декорации, и бросился вон из театра, увлекая за собой упиравшегося Кумэ.

Когда мы вышли на освещенную луной улицу, я сказал Кумэ:

— Что за идиотизм так орать в театре!

— Почему? Я просто замечательно кричал, — ответил Кумэ, не желая признать глупость своего поведения. Вспоминая теперь об этом эпизоде, я предполагаю, что на поведении Кумэ сказались изрядная доза виски, выпитая им в кафе «Лайон».

3

«Все же существование чисто литературного факультета в университете явление очень странное. Известно, что он включает в себя отделения японской, китайской, английской, французской и немецкой литературы. Но чем же на этих отделениях практически занимаются? По правде говоря, это для меня остается неясным. Несомненно, предмет изучения там является литература каждой страны. И эту, так сказать, литературу там, несомненно, рассматривают как один из разделов искусства. Говорят об изучении литературы как о науке, но действительно ли это наука? (Точнее сказать, действительно ли это самостоятельная наука?) Если видеть в ней науку, если (употребляя более трудное выражение) имеются все условия для того, чтобы видеть в ней Wissenschaft¹, то тогда она будет, безусловно, идентична эстетике. И не только эстетике. Я полагаю, что, например, история литературы полностью идентична исторической науке. Правда, среди лекций, которые читаются теперь на чисто литературном факультете, многие не имеют ничего общего ни с эстетикой, ни с историей. Эти лекции даже из

¹ Наука (нем.).

приличия нельзя считать наукой. Мягко говоря, они представляют собой изложение точки зрения преподавателей. Грубо говоря, это просто вздор. Поэтому я считаю, что правильной было бы ликвидировать этот чисто литературный факультет. Лекции обзорного порядка можно объединить с эстетикой. Историю литературы присоединить к лекциям по исторической науке. Остальные же лекции, поскольку они представляют собой чистейший вздор, следует вообще изъять из программы. Если слово «вздор» звучит слишком грубо, можно выразиться более высокопарно: эти лекции не гармонируют с таким заведением, как университет, где ставят целью изучение научных дисциплин. Осуществление этих мероприятий является неотложной задачей. В противном случае публика будет значительно легче поддаваться вздору, которым напичканы читаемые в университете лекции, поскольку он подается в более качественной упаковке, чем тот же вздор, который публикуется в газетных или журнальных критических статьях. А так как статьи, публикуемые в газетах и журналах, рассчитаны на широкие слои населения, а университетские лекции только на студентов, то вздорный характер последних легче скрыть от широкой публики. При любых обстоятельствах было бы несправедливым еще более приукрашивать этот совершенно спокойно распространяемый на лекциях вздор. Для меня лично еще куда ни шло. Ведь я поступил в университет лишь с тем, чтобы получить возможность пользоваться библиотекой. Ну а если бы я вдруг загорелся серьезным желанием исследователя?! Каким путем я смог бы заняться изучением литературы? В конце концов я оказался бы в крайне затруднительном положении. В таких условиях можно, конечно, создать солидную работу, если, например, подобно Итикава Сэнки исследовать английскую литературу с точки зрения филологии. Но в таком случае драмы Шекспира и поэмы Мильтона превратятся лишь в набор английских слов. Заниматься подобными исследованиями у меня нет никакого желания, да если бы оно и появилось, я не смог бы создать что-либо стоящее. Можно, конечно, удовлетвориться и вздором, но зачем для этого утруждать себя поступлением в университет? Если же у кого-либо появилось желание изучать литературу в эстети-

ческом либо историческом плане, то в тысячу раз было бы полезней поступить не на литературный, а на другие факультеты. Исходя из этой точки зрения, смысл существования чисто литературного факультета оправдывается всего лишь мотивами практического удобства. Но сколь бы это ни было удобно, вред, приносимый его существованием, перевешивает. Поэтому лучше бы такого факультета не существовало вообще. А раз так, то было бы более справедливым его ликвидировать. Что? Вы говорите, что он необходим для подготовки преподавателей средних школ? Послушайте, ведь я не шучу, а говорю более чем серьезно. Для подготовки преподавателей средних школ существует специальный педагогический институт. Вы требуете, чтобы в таком случае этот институт ликвидировали? Но ведь говорить так — это все равно что ставить вопрос с ног на голову. Уж если следовать такой логике, то в первую очередь следует ликвидировать в университете чисто литературный факультет и как можно быстрее слить его с педагогическим институтом».

Все эти мысли я заставил выслушать Нарусэ во время прогулки по улице Канда, известной множеством букинистических лавок.

4

Однажды вечером в конце ноября мы с Нарусэ отправились в императорский театр на концерт. В театре встретились с Кумэ, который, так же как и мы, был одет в студенческую форму. В то время среди нас троих я считался наиболее сведущим в музыке. Можно представить себе, насколько все мы были далеки от музыки, если даже я считался ее знатоком. Надо сказать, что на концерты я ходил без разбора. К тому же у меня было очень странное понимание музыки, да и воспринимал я ее на особый лад. Лучше всего я понимал Листа. Однажды в отеле Тэйкоку я слушал в исполнении в то время уже очень пожилой госпожи Петцольд «Святого Антония, шествующего по волнам» (кажется, так называлось это произведение Листа. Прошу прощения, если я ошибся). Ни на миг не замирая, лились звуки фортепиано, и перед моими глазами вставала удивительно яркая картина. Во все сторо-

ны этой картины бесконечно двигались волны. По верхушкам волн двигались ноги человека. Причем каждый их шаг вызывал мелкую рябь. Наконец над волнами и ногами возникло ослепительное сияние, которое начало двигаться по небу, словно гонимое ветром солнце. Затаив дыхание, я смотрел на это яркое видение, и, когда окончилась музыка и раздался аплодисменты, я с грустью ощутил одиночество и пустоту окружающего меня мира, из которого исчезли волнующие звуки музыки.

Но такое со мной случалось лишь тогда, когда я слушал Листа. Что же касается Бетховена и других композиторов, то понимание их произведений ограничивалось для меня тем, что одни мне нравились, а другие нет. Поэтому концерты симфонической музыки я слушал отнюдь не как музыкант. Я только недоверчиво прислушивался к вихрю звуков, которые доносились до меня из леса инструментов.

В вечер, о котором идет речь, на концерте присутствовал его высочество принц Канъин-номия, и поэтому ложи и первые ряды партера были заполнены нарядными мамашами и девицами. Рядом со мной чинно восседала старуха. Лицо — кожа да кости, на нем — толстый слой пудры, на пальцах — золотые кольца, на груди — золотая цепочка от часов, на широком поясе оби — золотая пряжка. И ко всему прочему ее рот был полон золотых зубов (я заметил это, когда она зевала). На этот раз (в отличие от последнего посещения театра Кабуки) меня в большей степени интересовали Шопен и Шуберт, чем пришедшие на концерт щеголи и щеголихи. Поэтому я перестал обращать внимание на эту старуху, погребенную под горами пудры и золота. Видно, она считала себя очень значительной персоной. На ее лице было написано такое безразличие к музыке, такое разочарование... Она беспрерывно крутила головой, не устаивая взглядом лишь Ямада Косаку, взмахивавшего на сцене дирижерской палочкой.

Кажется, после соло супруги Ямада наступил перерыв, и мы втроем поднялись на второй этаж в курительную комнату. У входа в нее стоял низенький человек, у которого из-под черного сюртука выглядывал красный жилет. Вместе со своим спутником, одетым в хакама и хаори, он курил сигареты

с золотым мундштуком. Увидав его, Кумэ наклонился к нам и шелкнул: «Это Танидзаки Дзюньитиро». Я и Нарусэ, проходя мимо, исподтишка внимательно разглядывали этого известного писателя-эстета. Характерная особенность его лица состояла в том, что глаза мыслителя и губы животного все время как бы соревновались между собой, пытаясь утвердить свою волю. Мы сели в удобные кресла, открыли коробку «Сикисима» — одну на всех — и, покуривая, стали обсуждать творчество Танидзаки. В то время Танидзаки на издавна возделываемой им, подернутой таинственной вуалью ниве эстетизма выращивал такие зловещие «цветы зла», как «Убийство Оцуя», «Вундеркинд», «Осай и Миноскэ» и другие. Эти великолепные, словно сверкающая цветами радуги шпанская мушка, цветы зла хотя и испускали тот же величественный аромат разложения, что и произведения По и Бодлера, к которым тяготел Танидзаки, но по своему направлению коренным образом отличались от них. За болезненным эстетизмом По и Бодлера стояла до ужаса холодная, безразличная душа. И эта окаменевшая душа, хотели они того или нет, вынуждала их отбросить мораль, покинуть бога, отказаться от любви. Однако, погружаясь в старое болото декаданса, они в то же время не хотели согласиться с таким концом. И это нежелание должно было в них враждовать с ощущением, выраженным в строфе «Une Vieille gabade sans mots sur une mer monstrueuse et sans bord»¹. Поэтому их эстетизм порождал вереницу ночных бабочек, которые неизбежно поднимались и взлетали со дна их истерзанных этим ощущением душ. Поэтому в произведениях По и Бодлера безысходная скорбь («Ah! Seigneur, donnez-moi la force et le courage de contempler mon coeur et mon corps sans dégoût»²) всегда перемешивалась с ядовитыми испарениями гнилого болота. Нас глубоко потряс их эстетизм именно благодаря тому, что мы увидели, например, в «Дон Жуане в аду», страдания холодной души. Эстетизм же Танидзаки вместо атмосферы не-

¹ «И носился мой дух, обветшалое судно, среди неба и волн, без руля, без ветрил» (Бодлер, перевод В. Левика).

² «О боже! Дай мне сил глядеть без омерзенья на сердца моего и плоти наготу!» (Бодлер, перевод И. Лихачева).

подвижного удушья был слишком уж переполнен эпикурейством. Танидзаки вел свой корабль по морю, где там и сям вспыхивали и гасли светляки преступления и зла, с таким упорством и воодушевлением, словно искал Эльдorado. Этим Танидзаки напоминал нам Готье, на которого он сам смотрел свысока. Болезненные тенденции в творчестве Готье несли на себе тот же самый отпечаток конца столетия, что и у Бодлера, но, в отличие от последнего, они были, так сказать, полны жизненных сил. Это были, выражаясь высокопарно, болезненные тенденции пресыщенного султана, страдающего от тяжести висящих на нем бриллиантов. Поэтому в произведениях Готье и Танидзаки не хватало той напряженности, которая была характерна для По и Бодлера. Однако взамен этого в описаниях чувственной красоты они проявляли поистине потрясающее красноречие, напоминавшее реку, несущую вдаль бесконечные волны. (Думаю, когда недавно Хироцу Кадзубо, критикуя Танидзаки, высказал свое сожаление по поводу чересчур здорового характера его творчества, он, очевидно, имел в виду эту самую полную жизненных сил болезненную тенденцию. Но сколь бы творчество Танидзаки ни было переполнено жизненными силами, для него остается несомненным присутствие болезненной тенденции, подобно тому, как она сохраняется на всю жизнь у страдающего ожирением больного.) И мы, ненавидевшие такой эстетизм, не могли не признать недюжинный талант Танидзаки именно благодаря его блестящему красноречию. Танидзаки умел выискивать и шлифовать различные японские и китайские слова, превращать их в блестящие чувственной красоты (или уродства) и словно перламутром инкрустировать ими свои произведения (начиная с «Татуировки»). Его рассказы, словно «Эмали и Камеи», от начала до конца пронизаны ясным ритмом. И даже теперь, когда мне случается читать произведения Танидзаки, я часто не обращаю внимания на смысл каждого слова или отрывка, а ощущаю наполовину физиологическое наслаждение от плавного, неиссякаемого ритма его фраз. В этом отношении Танидзаки был и остается непревзойденным мастером. Пусть он не зажжет «звезду страха» на мрачных литературных небе-

сах, но среди возвращенных им радужных цветов в Японии нежданно начался шабаш ведьм...

Прозвенел звонок. Мы прервали разговор о Танидзаки, спустились в зал и заняли свои места. По дороге Кумэ спросил у меня:

— А ты, вообще-то, понимаешь музыку?

На что я ему ответил:

— Уж побольше, чем сидящая рядом кожа да кости, золото и пудра.

Я снова занял свое место рядом с этой старухой. Пианист Шольц исполнял, если не ошибаюсь, ноктюрн Шопена. Симонс писал, что однажды в детстве он слушал похоронный марш Шопена и все понял. Глядя на быстрые пальцы Шольца, я думал, что в этом смысле мне далеко до Симонса, даже если не принимать во внимание разницы лет. Не помню сейчас, что исполнялось дальше на этом концерте. Когда он окончился и мы вышли на улицу, стоянка перед театром была настолько забита каретами и автомобилями, что трудно было даже пройти. И тут мы увидели, как к одному из автомобилей подошла, пряча в меха лицо, та самая в пудре и золоте старуха, которая сидела рядом с нами на концерте. Мы подняли воротники пальто и, пробравшись наконец между машинами, вышли на улицу, где гулял пронизывающий ветер. И в этот момент перед нами внезапно выросло уродливое здание полицейского управления, которое высилось в небе черной громадой. Я почувствовал какое-то беспокойство из-за того, что там находилось полицейское управление.

— Странно, — невольно сказал я.

— Что странно? — стал допытываться Нарусэ.

Я сказал ему первое, что мне пришло в голову, не желая углубляться в обсуждение охватившего меня настроения. Тем временем мимо нас стали одна за другой пронеситься автомашины и кареты.

На следующий день после лекции, которую читал профессор Оцука (эта лекция на тему о философии Риккерта была наиболее поручительной из всех, которые мне довелось слушать), мы с Нарусэ, подгоняемые пронизывающим ветром,

отправились в харчевню Иппакуса, чтобы съесть свой обед за двадцать сэнов.

— Ты не знаком с женщиной, которая на концерте сидела позади нас? — неожиданно спросил меня Нарусэ.

— Нет. Единственная, с кем я знаком, это сидевшая рядом золото, кожа да кости и пудра.

— Золото, кожа... О чем это ты?

— Не имеет значения. Во всяком случае, ясно, что это не женщина, которая сидела сзади. А ты что, влюбился?

— Какое там влюбился! Я даже не знал...

— Что за чепуху ты говоришь! Если ты ее не знал, то какая разница, сидела она позади нас на концерте или нет?

— Дело в том, что, когда я вернулся домой, мама спросила, видел ли я женщину, которая сидела позади меня. Оказывается, ее прочат мне в жены.

— Значит, тебе устроили смотрины?

— До смотрин еще не дошло.

— Но раз ты захотел ее увидеть, это и есть смотрины. Не так ли? Твоя мамаша тоже хороша. Уж раз она хотела показать тебе эту девушку, надо было ее посадить впереди нас. Поверь, если бы мы имели глаза на затылке, мы бы не пробалялись, как теперь, обедом за двадцать сэнов.

Услышав от меня такую тираду, воспитанный в почтении к родителям Нарусэ удивленно взглянул на меня, затем заговорил снова:

— Если предположить, что эти смотрины устраивались в первую очередь для нее, то получается, что нас правильно посадили впереди.

— В самом деле, если в таком месте хотят устроить смотрины, кому-либо одному ничего не остается, как подняться на сцену... Ну а что ты ответил матери?

— Сказал, что не видел. Я ведь на самом деле не видел ее.

— Ну и что же. Теперь ты собираешься излить мне свои горести. Не выйдет... Эх, жаль. Сглупили мы. Не надо было устраивать эти смотрины на концерте. Другое дело, если бы шла какая-нибудь пьеса. Во время пьесы меня и просить не надо. Я глазею на всех, кто пришел в театр. Ни одного не пропускаю.

Тут мы с Нарусэ не выдержали и расхохотались.

В этот день после обеда были занятия немецким языком. Мы посещали их, так сказать, по ямбической системе: когда Нарусэ шел на лекцию, я отдыхал, когда я присутствовал на занятиях, отдыхал Нарусэ. Мы по очереди пользовались одним учебником, проставляя канвой транскрипцию немецких слов, и по нему потом вместе готовились к экзаменам. На этот раз была очередь Нарусэ, и я, вручив ему после обеда учебник, вышел из харчевни на улицу.

Пронизывающий ветер поднимал в небо тучи пыли. Он подхватывал на аллее желтые листья гингко и загонял их даже в букинистическую лавку, что напротив университета. Внезапно мне пришла в голову мысль навестить Мацуока. В отличие от меня (да и, должно быть, от большинства людей), Мацуока считал, что в ветреные дни на него находит душевное успокоение. Вот я и подумал, что в такую погоду, как сегодня, он обязательно находится в приятном расположении духа, и, придерживая то и дело норовившую слететь с головы шапку, отправился на Хонго, 5. У входа меня встретила старушка, которая сдавала Мацуока комнату.

— Господин Мацуока изволит отдыхать, — сказала она с выражением сожаления на лице.

— Неужели еще спит? Ну и соня!

— Нет, он изволил работать всю ночь и совсем недавно еще был на ногах. Он сказал мне, что ложится спать и теперь, наверно, изволит отдыхать.

— А может быть, он еще не уснул. Пойду-ка я взгляну. Если спит, сразу же спущусь обратно.

Ступая на носки, я поднялся на второй этаж, где находилась комната Мацуока. Раздвинув фусума, я вошел в полутемную из-за закрытых ставен комнату, середину которой занимала постель Мацуока. У изголовья стоял своеобразный столик из папье-маше, на котором в беспорядке громоздились страницы рукописи. Под столом на разостланной старой газете лежала довольно большая горка шелухи от земляных орехов. Я сразу вспомнил, как Мацуока однажды сказал, что работает над трехактной пьесой. «Пишет», — подумал я. При обычных обстоятельствах я бы сел за стол и попросил Мацуока прочитать только что вышедшую из-под пера рукопись. К сожалению, Мацуока, который должен был откликнуться на мою просьбу, спал как убитый, прижавшись к по-

душке давно не бритой щекой. У меня, конечно, и в мыслях не было разбудить отдыхавшего после ночных трудов Мацуока. Но в то же время мне почему-то не хотелось просто так встать и уйти. Я присел у его изголовья и стал наудачу читать отдельные страницы рукописи. В этот момент резкий порыв ветра потряс весь второй этаж. Но Мацуока по-прежнему спал, тихо посапывая. Я понял, что делать мне здесь больше нечего, нехотя поднялся и стал потихоньку отходить от изголовья. В это время я случайно взглянул на Мацуока и увидел у него между ресницами слезы. Мало того. На его щеках были тоже видны следы слез. Он спал и плакал во сне. В тот самый момент, когда я обратил внимание на столь необычное его лицо, бодрое настроение, которое охватило меня вначале (мол, человек пишет, работает) куда-то улетучилось. В душе внезапно поднялось чувство невыносимой безысходности, словно я тоже всю ночь напролет страдал, одну за другой исписывая страницы рукописи. «Глупый человек! Занимается таким тяжелым трудом, от которого плачет даже во сне. А если здоровье потеряешь? Что ж ты будешь делать тогда?» — такими словами хотел я обругать Мацуока. Но за этим желанием скрывалось и другое — похвалить: «Вот ведь как он страдает!» Когда я так подумал, у меня самого незаметно выступили на глазах слезы.

Я потихоньку спустился по лестнице вниз. Старуха с беспокойством спросила:

— Он изволит почивать?

— Спит, как сурок, — резко ответил я и, не желая, чтобы старуха заметила мое заплаканное лицо, быстро вышел на улицу.

На улице по-прежнему ветер поднимал тучи пыли. В небе что-то ужасно ревело. Я раздраженно взглянул вверх. Высоко в небе плыл в зените маленький белый диск солнца. Я остановился посреди улицы и стал думать, куда бы теперь пойти.

Январь 1919 г.

Некоторое время тому назад в музее Уэно открылась выставка, посвященная культуре раннего Мэйдзи. Однажды, когда пасмурный день уже клонился к вечеру, я пришел на выставку и стал обходить зал за залом, внимательно рассматривая выставленные экспонаты. Войдя в последний зал, я обратил внимание на человека, разглядывавшего несколько тронутых временем эстампов. Это был пожилой господин, стройный и даже несколько франтоватый, в безукоризненном черном костюме и дорогом котелке. С первого взгляда я узнал в нем виконта Хонду, с которым меня познакомили на одном рауте несколько дней тому назад. Мне и раньше было известно о нелюдом характере виконта, поэтому я сразу же отошел в сторону, раздумывая, приветствовать его или нет. Тем временем виконт Хонда, очевидно, услышал звук шагов и медленно повернулся в мою сторону. В следующий момент на его губах, наполовину прикрытых седеющими усами, мелькнула тень улыбки. Он слегка приподнял котелок и мягким голосом приветствовал меня. Я сразу почувствовал себя несколько свободнее, вежливо поклонился и не спеша направился к нему.

Виконт Хонда принадлежал к той породе людей, у которых старческая красота озаряет лицо, словно отблеск вечерней зари. В то же время глубокие душевные страдания оставили на нем необычный для представителя аристократии отпечаток задумчивости. Помню, что во время первого знакомства, так же как и сегодня, я обратил внимание на булавку с большой жемчужиной, которая меланхолически блеснула на однотонном черном фоне его костюма. Я смотрел

на нее, и мне казалось, что я заглядываю в самое сердце виконта...

— Как вы находите эти эстампы? Здесь, кажется, изображен сеттльмент Цукидзи. Гравюра выполнена мастерски, не правда ли? Интересно использовано сочетание света и тени.

Виконт говорил тихим голосом, одновременно указывая серебряным набалдашником, украшавшим его тонкую трость, на один из эстампов, висевших за стеклом стенда. Я утвердительно кивнул.

— Токийский залив со слюдяными волнами, пароходы, украшенные флагами разных стран, европейские мужчины и женщины, прогуливающиеся по улице, одинокая сосна в стиле Хиросигэ, простирающая ветви над европейским домом, — чувствуется смешение японского и европейского как в выборе темы, так и в методе исполнения — то самое смешение, которое создавало чудесную гармонию, присущую искусству раннего Мэйдзи. С тех пор эта гармония была навсегда утрачена нашим искусством. Она исчезла и в нашем родном Токио.

Выслушав виконта, я снова кивнул в знак согласия и сказал, что гравюра, изображающая сеттльмент Цукидзи, интересна не только сама по себе. Она напоминает о невозвратно ушедшей в прошлое эпохе просветительства с ее двухместными колясками рикш, украшенными стилизованными изображениями львов, с ее дагерротипами, с которых视рают на нас нарядные гейши... Виконт с улыбкой выслушал меня и не спеша направился к витрине напротив, где висели гравюры укиё, созданные Тайсо Ёситоси.

— Взгляните на этого Ёситоси, — сказал он. — Одетый в европейский костюм Кикугоро и Хансиро в парике стили итёгаэси разыгрывают под театральной луной трагедию. Смотришь на это, и перед глазами встает та далекая эпоха, когда древняя столица Эдо уже потеряла какие-то свои черты, но еще не превратилась в Токио, когда, если можно так выразиться, день и ночь еще не были отделены друг от друга.

Мне приходилось слышать, что Хонда лишь недавно стал таким нелюдимым, а в былые времена, когда виконт только

возвратился из путешествия в Европу, он слыл человеком светским и пользовался известностью не только в официальных кругах, но и среди обыкновенной публики. И здесь, в безлюдном выставочном зале, среди старинных гравюр слова Хонды прозвучали как бесспорная истина. Однако именно эта бесспорность вызвала во мне какой-то внутренний протест, и я, выслушав его, попытался перевести разговор на тему о развитии жанра укиё вообще. Но виконт, указывая на гравюры Ёситоси, продолжал тихим, проникновенным голосом:

— Представьте, когда такие люди, как я, смотрят на эти гравюры, им начинает казаться, будто события тридцати-, сорокалетней давности произошли только вчера и стоит открыть свежий номер газеты, как сразу наткнешься на что-нибудь вроде заметки о бале-маскараде в клубе Рокумэйкан. Сказать по правде, с тех пор как я сюда вошел, я никак не могу отделаться от странного ощущения, будто люди тех времен ожили и, невидимые для наших глаз, бродят по этому залу. И будто иногда эти призраки останавливаются рядом и начинают шептать мне на ухо истории прошлых лет. Взгляните на тот портрет Кикугоро в европейском костюме. Он удивительно похож на одного моего друга. Когда я стоял перед ним, меня настолько захватило ощущение его присутствия, что мне захотелось с ним поздороваться и выразить сожаление, что мы так давно не встретились. Если вы не против, я мог бы рассказать вам о нем.

В голосе Хонды слышалось беспокойство, и он отвел глаза в сторону, словно не был уверен, что я соглашусь его выслушать. Я вспомнил, что несколько дней тому назад, когда я впервые познакомился с Хондой, мой друг, взявший на себя труд представить меня, сказал виконту: «Он писатель, и если вы вспомните что-нибудь интересное, обязательно расскажите ему». Но я и без того готов был хоть сейчас нанять карету и вместе с Хондой отправиться на окутанную туманом прошлого нарядную улицу «кирпичных домов». настолько увлекли меня воспоминания виконта о давно минувших днях. Поэтому я с радостью согласился выслушать его рассказ.

— Пройдемте туда, — предложил Хонда.

Мы прошли к стоявшей в центре зала скамье. В зале никого не было. Нас окружали лишь стенды, за стеклом которых одиноко висели озаренные холодным светом пасмурного дня тронутые временем эстампы и гравюры укиёэ. Опустив подбородок на серебряный набалдашник трости, виконт Хонда некоторое время внимательно оглядывал зал, словно сверялся с собственной памятью, затем обратил взгляд в мою сторону и тихим голосом начал:

— Моего друга звали Миура Наоки. Я случайно сблизился с ним на пароходе, возвращаясь на родину из Франции. Ему было двадцать пять лет. Столько же, сколько и мне тогда. Такое же, как на изображенном Ёситоси портрете Кикугоро, узкое белое лицо, обрамленное длинными, расчесанными на прямой пробор волосами. На всем его облике лежал отпечаток цивилизации, характерный для раннего Мэйдзи. Во время долгого путешествия у нас незаметно возникла взаимная симпатия, которая переросла в столь близкую дружбу, что по возвращении в Японию мы стали встречаться чуть ли не каждую неделю. По словам Миуры, его родители были крупными помещиками из Ситая и один за другим отошли в мир иной, когда он уехал во Францию. Миура был единственным сыном и после смерти родителей стал обладателем солидного состояния. В ту пору, когда я познакомился с Миурой, он жил в полном достатке, что давало ему возможность беззаботно развлекаться и лишь для проформы ходить на службу в один из банков. Вскоре по возвращении на родину Миура заново обставил в западном стиле кабинет в бывшем особняке родителей близ Рёгоку и зажил жизнью вполне обеспеченного человека.

Я рассказываю вам об этом, а перед моими глазами возникает обстановка кабинета Миуры столь же четко, как рисунок, изображенный на том эстампе. Выходящие на реку Сумида французские окна, белый потолок с золотым бордюром, кресла и диван, обтянутые красной марокканской кожей, портрет Наполеона Первого на стене, резной книжный шкаф черного дерева, мраморный камин с зеркалом, карликовая сосна на камине, которую так любил покойный отец Миуры, — такова была характерная для той эпохи обстановка кабинета, вызывавшая странное ощущение какой-

то старой новизны, угрюмой крикливости, обстановка, чем-то напоминавшая, если позволительно использовать еще одно сравнение, звучание расстроенного инструмента. Окруженный этими вещами, Миура обычно надевал дорогое шелковое кимоно, усаживался под портретом Наполеона Первого и читал что-нибудь вроде «Les Orientales»¹ Гюго. Эта обстановка вполне могла послужить сюжетом для любого из выставленных здесь эстампов. Помнится, я со странным чувством наблюдал, как плыли по реке лодки, то и дело закрывая от света большими белыми парусами французские окна его кабинета.

Хотя Миура жил в роскоши, он не посещал, подобно другим молодым людям его возраста, увеселительные заведения в Симбаси или Янагибаси. Каждый день он уединялся в своем заново обставленном кабинете и с увлечением читал. Короче говоря, он вел жизнь не столько банкира, сколько удалившегося от дел молодого отшельника. Виною тому, разумеется, было и хрупкое телосложение, не позволявшее Миуре совершать поступки, которые могли повредить его здоровью. Но была и другая причина. По своей натуре Миура, в противоположность тогдашним материалистическим веяниям, был чистейшим идеалистом. И поэтому предпочитал одиночество. Он являл собой образец джентльмена эпохи проникновения в Японию западной цивилизации, хотя своей идеалистически настроенной натурой скорее напоминал политических мечтателей, живших в еще более раннюю эпоху.

Доказательством тому может служить разговор, который произошел однажды между нами, когда мы смотрели пьесу о мятеже Симпурэн. Помню, после сцены, в которой Оно Тэпэй кончает жизнь самоубийством, Миура внезапно обернулся ко мне и с серьезным видом спросил:

— Ты мог бы им посочувствовать?

Поскольку в то время я только что вернулся из поездки в Европу и просто не переваривал все, что пахло стариной, я очень холодно ответил: «Нет, янисколько им не сочувствую. Думаю, что для тех, кто поднимает бунт из-за указа о за-

¹ «Восточные мотивы» (франц.).

прещении носить мечи, подобная смерть является вполне заслуженной». Миура отрицательно покачал головой.

— Возможно, их требования были ошибочными. Но думаю, что их стремление пожертвовать собой ради исполнения своих требований заслуживает более чем сочувствия.

— В таком случае ты, подобно этим бунтовщикам, без сомнения, готов расстаться с единственной и неповторимой жизнью ради детской мечты вернуть нашу современную жизнь в эпоху Мэйдзи, и даже в древнюю эру богов, — возразил я со смехом.

На что он все так же серьезно, словно на что-то решившись, ответил:

— Для меня достаточно, если человек готов отдать жизнь ради того, во что верит. Пусть это будут даже детские мечты.

Тогда мне показалось, что все это просто красивые слова, и я не придал им особого значения. Теперь же, сопоставив все известное мне, я понял, что на эти слова наложила смутный, едва уловимый отпечаток постигая его в последующие годы печальная судьба. Вы убедитесь в этом, выслушав всю историю до конца.

Миура во всем придерживался своих принципов. Поэтому, когда вопрос заходил о женитьбе, он без сожаления отвергал многочисленные блестящие партии, заявляя:

— Я женюсь только по любви.

К тому же его понимание любви отличалось от обычного, и если даже девушка очень ему нравилась, Миура всячески старался не доводить дело до женитьбы, говоря:

— В моих чувствах еще много несовершенного.

Смотреть со стороны на это становилось невыносимо, и я иногда вмешивался, предлагая свои услуги.

— Если по любому поводу столь досконально анализировать свои чувства, как делаешь это ты, то жизнь превратится в кошмар. Поэтому надо смириться с тем, что мир развивается не в соответствии с твоими идеалами, и довольствоваться более или менее приемлемой кандидатурой.

Однако Миура никак не поддавался на уговоры и, с жалостью глядя на меня, отвечал:

— Если бы я мог удовлетвориться тем, что ты предлагаешь, я давным-давно покончил бы с холостяцкой жизнью.

И если я, друг Миуры, молча выслушивал его сентенции, то родственники, помня о его слабом здоровье и опасаясь, как бы не прекратился род Миура, предлагали ему обзавестись, на худой конец, наложницей. Однако не такой был Миура человек, чтобы внимать подобным советам. Мало того, ему крайне претило само слово «наложница». Обычно он, горько улыбаясь, говорил мне:

— Мы как будто считаемся сейчас просвещенной страной, а наложницы у нас, в Японии, по-прежнему существуют совершенно открыто.

Вот почему, возвратившись в Японию, Миура в течение двух или трех лет упорно занимался чтением, сидя у себя в кабинете наедине с портретом Наполеона Первого, и мы — его друзья — вовсе потеряли надежду на то, что он когда-нибудь женится по любви.

Однажды по делам своего ведомства я предпринял поездку в Корею в город Кэйдзэ. И представьте себе, не прошло и месяца, как вдруг я получаю от Миуры письмо, в котором он извещает меня о помолвке. Вообразите, как я был удивлен. Вместе с тем это известие не могло не вызвать у меня улыбку: наконец-то и у него появилась подруга жизни. Письмо было исключительно кратким. Он лишь сообщал, что помолвлен с Фудзии Кацуми — дочерью правительственного поставщика. Из последующих писем я узнал некоторые подробности. Однажды Миура забрел в храм Хагидэра на острове Янагисима и случайно встретился там с владельцем антикварной лавки, частым гостем в его особняке. Вместе с господином Фудзии и его дочерью он пришел в храм помолиться. И вот во время прогулки по окружавшему храм парку Миура и Кацуми влюбились друг в друга. Что и говорить, храм Хагидэра с его крытой соломой крышей и воротами со статуями бога Нио, с его обелиском среди кустов хаги, на котором выбита известная строфа Басё, отличался утонченной красотой и, несомненно, представлял собой идеальное место для «удивительной встречи талантливого юноши с прекрасной девушкой». Однако для такого стопроцентного джентльмена эпохи Просвещения, как Миура, который вы-

ходил на улицу не иначе, как в костюме парижского покроя, любовь с первого взгляда возникла по чересчур стереотипной схеме, и если первое его сообщение о браке вызвало у меня улыбку, то теперь я просто не мог удержаться от смеха. Не требовалось также большой догадливости, чтобы понять ту роль, которую сыграл в сватовстве владелец антикварной лавки. Все устроилось как нельзя лучше. Без задержки были посланы официальные сваты, и той же осенью сыграли свадьбу. Все говорило о том, что между новобрачными сложились безупречные отношения. Должен, правда, заметить, что одно обстоятельство вызывало у меня удивление и в то же время зависть: даже по письмам, в которых Миура сообщал мне о подробностях своей супружеской жизни, можно было понять, что этот рассудительный и холодный, ученого склада человек совершенно преобразился, стал веселым и общительным.

До сих пор у меня хранятся все его письма, и когда я перечитываю их теперь, перед глазами неизменно появляется его веселое, смеющееся лицо. С детской непосредственностью рассказывал Миура о подробностях своей повседневной жизни: о том, что в этом году никак не растет посаженный им вьюнок, что он пожертвовал деньги детскому дому в Уэно, что из-за большой влажности его книги отсырели и покрылись плесенью, что нанятый им рикша заболел столбняком, что он смотрел фокусы какого-то европейского фокира в театре Миякодза, что в Курамаэ был пожар, — можно было бы без конца перечислять все новости, о которых он мне сообщал. Но с особой радостью Миура сообщил мне вот о чем: он заказал художнику Годзэте Хобаю портрет жены. Наполеон Первый со стены был снят, и его место занял портрет жены. Там я его потом и увидел. Госпожа Кацуми была изображена в профиль, стоящей перед трюмо. Волосы причесаны на западный манер, черное платье вышито шерстью и золотом, в руках букет роз. Портрет этот я имел счастье лицезреть, но вот Миуру я с тех пор никогда больше не видел живым и веселым.

Виконт Хонда вздохнул и некоторое время молчал. Захваченный его рассказом, я слушал не шелохнувшись и, когда он остановился, с испугом взглянул на него, не будучи в

силах сдержать беспокойство. Я почему-то решил, что Миуры уже не было в живых, когда виконт возвратился из Кэйдзэ. Но виконт, видимо, догадался о причине моего беспокойства и, покачав головой, спокойно продолжал:

— Нет, Миура в мое отсутствие не скончался. Но когда спустя год я вернулся на родину, он снова был холодно-спокоен и, кажется, чем-то опечален. Я это почувствовал, когда мы, после долгого перерыва, снова пожали друг другу руки на станции Симбаси, куда Миура пришел меня встретить. Вернее, я не столько почувствовал это, сколько был встревожен его холодным равнодушием. Взглянув на его лицо, я ощутил такое беспокойство, что воскликнул:

— Что с тобой? Ты не болен?

Он подозрительно посмотрел на меня и ответил, что не только он, но и его супруга находится в добром здравии. «Да, — подумал я, — так и должно быть. Характер у него все тот же. Он и не мог резко измениться за год «супружества по любви». Я решил не говорить больше на эту тему и лишь со смехом заметил:

— Пожалуй, освещение виновато. Мне показалось, что у тебя нездоровый цвет лица.

Чтобы понять те муки, которые он скрывал за маской равнодушия, и почувствовать, сколь неуместен был мой смех, потребовалось еще несколько месяцев. Однако буду последователен в своем повествовании и скажу несколько слов о том, что из себя представляла его жена.

Впервые я встретился с ней вскоре по возвращении из Кэйдзэ в особняке на Окавабате, куда Миура пригласил меня пообедать. Она была примерно одних лет с Миурой, но, может быть благодаря маленькому росту, казалась на два-три года моложе. На круглом лице со свежей кожей выделялись густые брови. В тот вечер она была в перехваченном чудесным шелковым поясом кимоно из старинной материи с узором из мотыльков и птиц. Употребляя модное в те годы выражение, она, можно сказать, производила впечатление дамы «высокого класса». Ее внешность в чем-то противоречила тому облику спутницы жизни Миуры, который я рисовал в своем воображении. Но только «в чем-то», а в чем — мне и самому было неясно. Некоторое подобие разочарова-

ния я не раз испытывал и потом. Но тогда эта мысль мелькнула у меня и исчезла. В общем, решил я, нет никаких оснований не радоваться женитьбе Миуры.

Наоборот, пока мы сидели за столом, освещенным керосинокальной лампой, я был просто покорен живой и одаренной натурой супруги Миуры. Ее тонкость в обращении, умение понимать с полуслова можно было, пожалуй, определить несколько вульгарным выражением: тронешь — и зазвучит. В конце концов я не выдержал и совершенно серьезно сказал:

— Госпожа, такой женщине, как вы, надо было родиться не в Японии, а хотя бы во Франции.

— Вот-вот! Я все время твержу то же самое, — перебил Миура, поддразнивая жену. Возможно, мне только показалось, что в этих его словах в какой-то момент прозвучали неприятные нотки. Одной ли только подозрительности можно было приписать то, что мне почудилось, будто выражение глаз госпожи Кацуми, метнувшей полный ненависти взгляд в сторону Миуры, слишком уж не вязалось со всем ее откровенно кокетливым обликом. Во всяком случае, эта коротенькая сцена словно молнией осветила для меня всю их жизнь. Теперь, размышляя над этим, я прихожу к выводу, что присутствовал при начале трагедии всей жизни Миуры. Тогда же беспокойство у меня скользнуло как тень, и только. Затем как ни в чем не бывало мы продолжали беседовать с Миурой, время от времени наполняя чашечки сакэ. Мы весело провели остаток вечера, и когда я, покинув их особняк, ехал на рикше, подставляя захмелевшую голову ветру, дувшему с реки, я не раз мысленно поздравлял Миуру с удачной «женитьбой по любви».

С тех пор прошел месяц, в течение которого я не раз посещал супругов Миура и принимал их у себя. Однажды мой друг доктор пригласил меня в театр Синтомидза на пьесу «Одэн-но Кавабуми». Разглядывая зрителей в ложах на противоположной стороне, я заметил среди них супругу Миуры. В те годы я всегда брал с собой бинокль. И вот впервые в его окулярах я увидел госпожу Кацуми за барьером ложи, покрытым огненно-красной материей. В ее волосах красовалась, кажется, роза, белый подбородок покоился на наклад-

ном воротнике платья из материи спокойной расцветки. Словно почувствовав, что ее разглядывают, госпожа Кацуми одарила меня своим кокетливым взглядом и едва заметно мне подмигнула. Я опустил бинокль и в свою очередь приветствовал ее. Но тут вдруг заметил, что она опять взволнованно отвечает на приветствие. Причем куда почтительнее, чем в первый раз. Наконец-то я понял, что ее кокетливый взгляд и подмигивание предназначались не мне, а кому-то другому. Я стал обводить взглядом ложи, надеясь отыскать этого другого. И обратил внимание на молодого человека в модном полосатом костюме, который, кажется, тоже искал того, кому предназначалось одно из приветствий. Посасывая дорогую сигару, он пристально смотрел в мою сторону. На миг наши взгляды скрестились. В его смуглом лице было что-то отталкивающее, и я быстро отвел глаза, поднял бинокль и снова направил его в сторону ложи госпожи Кацуми. Рядом с ней я увидел известную сторонницу эмансипации женщин Нараяма, о которой вы, возможно, слышали. Жена довольно популярного в те времена адвоката Нараямы, она активно выступала за равноправие женщин, однако пользовалась весьма сомнительной репутацией. Госпожа Нараяма сидела, расправив плечи, в черном кимоно с гербами, всем своим видом напоминая ассистента на сцене. И то, что она сидела рядом с супругой Миуры, почему-то вызвало во мне недоброе предчувствие. Эта воительница за эмансипацию женщин все время поворачивала в нашу сторону — точнее, в сторону того самого полосатого пиджака — свое костлявое, слегка напудренное лицо и бросала ему многозначительные взгляды, с раздражением оттягивая воротник платья, словно он ей мешал. Без преувеличения скажу, что во время представления я смотрел не столько на сцену, где играли знаменитые Кикугоро и Садандзи, сколько следил за супругой Миуры, полосатым пиджаком и госпожой Нараяма. Находясь в мире веселой музыки и свисающих со сцены веток цветущей вишни, я безгранично страдал от зловещих предположений, не имеющих ничего общего с тем, что происходило на сцене. И когда вскоре после интермедии обе женщины покинули ложу, я вздохнул с облегчением, но в то же время ощутил такую слабость, словно все силы оконча-

тельно меня покинули. Женщины ушли, но полосатый пиджак из соседней ложи оставался на месте, нещадно дымил своей сигарой и время от времени поглядывал в мою сторону. Когда два главных действующих лица из трех исчезли, я почему-то почувствовал к этому человеку со смуглым лицом еще большую неприязнь. Может быть, причиной тому была моя излишняя подозрительность. Но так или иначе, с самого начала между нами возникла вражда. Поэтому я, как мне показалось, ощутил чувство, близкое к замешательству, словно столкнулся с неразрешимой загадкой, когда сам Миура в том самом своем кабинете, выходящем окнами на реку, познакомил меня с этим человеком. По словам Миуры, он был кузеном его супруги. Несмотря на молодость, он занимал солидное положение в одной из текстильных компаний. Должен сказать, что даже за тот короткий промежуток, пока мы вели легкую светскую беседу за чаем, я сразу понял, что этот ни на минуту не выпускавший изо рта сигару человек наделен недюжинными способностями. Но его одаренность не уменьшила антипатии, которую я к нему испытывал. Все же я неоднократно взывал к чувству здравого смысла, стараюсь убедить себя в том, что ничего странного в обмене приветствиями в театре между братом и сестрой нет и быть не может. Я даже попытался, насколько это было возможно, сблизиться с этим человеком. Но всякий раз, когда мне казалось, что мои старания вот-вот принесут плоды, он начинал со свистом прихлебывать чай, либо бесцеремонно стряхивал на стол пепел сигары, либо громко смеялся над своими же шутками — короче, совершал очередную бестактность, и моя антипатия вспыхивала с новой силой. Поэтому, когда спустя полчаса он откланялся, объявив, что по делам службы ему надо присутствовать на банкете, я встал и, движимый безотчетным желанием очистить атмосферу от миазмов вульгарности и невоспитанности, широко распахнул французские окна, впустив в кабинет струю свежего речного воздуха.

— До чего же ты ненавидишь его! — с упреком сказал Миура, усевшись на обычное свое место под портретом госпожи Кацуми с букетом роз.

— Ничего не могу с собой поделать, — ответил я. — Уж

очень он неприятен. Никак не свыкнусь с мыслью, что он кузен твоей супруги.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Слишком они не похожи друг на друга.

Миура некоторое время молча глядел на реку, освещенную на миг лучами заходящего солнца, и вдруг без всякой связи с предыдущим сказал:

— А не съездить ли нам как-нибудь половить рыбу?

Меня несказанно обрадовало, что тема разговора переменялась. Поэтому я сразу же с готовностью согласился.

— Прекрасно. В рыбной ловле я чувствую себя куда увереннее, чем в дипломатии.

— Чем в дипломатии, говоришь? А я, н-да, пожалуй, в рыбной ловле я чувствую себя куда увереннее, чем в амурных делах.

— Считаешь, значит, что можешь выудить добычу более драгоценную, чем твоя супруга?

— А почему бы и нет. Вот только ты станешь мне еще больше завидовать.

В словах Миуры мне послышалось нечто, больно кольнувшее мой слух. Но лицо его в вечернем сумраке по-прежнему хранило выражение равнодушия, и он продолжал упорно глядеть сквозь французские окна на освещенную лучами заходящего солнца реку.

— Итак, когда мы отправляемся на рыбную ловлю? — спросил я.

— В любое удобное для тебя время.

— В таком случае сообщу письмом, — заключил я, нехотя поднялся из обтянутого марокканской кожей кресла, молча пожал Миуре руку и вышел из таинственного сумрака кабинета в еще более темный коридор. За дверью я едва не столкнулся с кем-то, явно подслушивавшим наш разговор. Фигура метнулась мне навстречу.

— Как, вы уже уходите? — услышал я кокетливый голос. Опешил на мгновение, но быстро оправился и, холодно глядя на госпожу Кацуми, у которой и сегодня прическа была украшена розами, молча поклонился и поспешил к выходу, где меня ждал рикша. В голове у меня все смешалось, смешалось настолько, что я перестал даже сознавать, что происхо-

дит. Помню только, что рикша уже проезжал мост Рёгоку, а я все продолжал шептать одно и то же имя: Далила.

Тогда-то мне и открылся секрет, который скрывал за своим сумрачным обликом Миура. Нужно ли объяснять, что этот секрет тотчас выжег в моей душе свое гнусное имя: прелюбодеяние. Но если совершенно явным было нарушение супружеской верности, почему такой идеалист, как Миура, решительно не потребовал развода? Или, может быть, не было доказательств, подтверждающих его подозрение в неверности жены? А если такие доказательства и были, Миура так любил госпожу Кацуми, что не решался расстаться с ней? Я настолько дал волю воображению, перебирая одну версию за другой, что начисто забыл о нашей договоренности поехать на рыбную ловлю. Так прошло примерно с полмесяца. Иногда я писал Миуре, но заходить в особняк на Окавабате, столь часто посещаемый мною прежде, перестал. Вскоре произошло еще одно событие, свидетелем которого мне случайно довелось быть. Оно вынудило меня решиться на откровенный разговор с Миурой. Тогда-то я и вспомнил о рыбной ловле и поспешил воспользоваться ею с тем, чтобы, оставшись с Миурой один на один, откровенно поделиться своими опасениями.

Однажды, возвращаясь все с тем же своим другом доктором из театра Накамурадза, мы встретились с одним из старейших репортеров газеты «Акэбоно». Точно помню, он подписывал свои статьи псевдонимом «Коротышка». Начавшийся после захода солнца дождь лил не переставая, и мы решили зайти в харчевню Икуинэ близ Янагибаси, чтобы опрокинуть по стаканчику рисовой водки. Мы поднялись на второй этаж и, потягивая водку, прислушивались к доносившимся издалека звукам сямисэна, который воскрешал, казалось, былую жизнь древнего Эдо. Тем временем наш Коротышка вошел в раж и, словно фельетонист эпохи западного просветительства, стал забавлять нас веселыми шутками и занимательными историями. Не обошел он вниманием и скандальную историю госпожи Нараяма, которая прежде была наложницей иностранца, а затем перешла на содержание к Саньютэю Энтё. В то время она была в зените своего расцвета, о чем свидетельствовали без малого шесть золо-

тых колец, украшавших ее пальцы. Однажды Нараяма не смогла вовремя возвратить деньги, которые заняла для того, чтобы тут же пустить на ветер, и оказалась в безвыходном положении. Немало рассказал наш репортер и других пикантных подробностей из жизни госпожи Нараяма. Но мне особенно было неприятно узнать от него, что в последнее время госпожу Нараяма повсюду сопровождает некая молодая матрона. Причем, по его словам, ходили слухи, будто иногда они, в сопровождении мужчины, останавливались в гостинице близ Суйдзинского леса. Когда я услышал об этом, мое веселое настроение — а оно не могло быть иным, поскольку мы выпивали в хорошей компании, — мгновенно улетучилось. Надо было смеяться, а у меня словно комок застрял в горле, и перед глазами все время стояло задумчивое лицо Миуры. К счастью, доктор, видно, почувствовал мое угнетенное состояние и умело перевел болтовню репортера на тему, не имеющую ничего общего с похождениями госпожи Нараяма. Это дало мне возможность прийти в себя и принять участие в беседе хотя бы в той мере, в какой это необходимо было, чтобы окончательно не испортить нашу приятную встречу. Но в этот вечер моим испытаниям, видно, еще не суждено было кончиться. Когда я с начисто испорченным настроением вышел из харчевни Икуинэ и подзвал рикшу, ко входу лихо подкатила двухместная тележка с блестящим от дождя поднятым верхом. Пропитанный тунговым маслом верх откинулся, и на порог прыгнул один из седоков. Я узнал его в тот короткий миг, когда вскочил в тележку и рикша подхватил оглобли. Меня охватило необыкновенное возбуждение.

— Ведь это он, — прошептал я.

Да, это был тот самый смуглолицый мужчина в полосатом пиджаке, выдававший себя за кузена супруги Миуры. Я ехал по сверкающей огнями Хирокодзи. Мое сердце, словно тискама, сжимало страшное беспокойство, когда я пытался представить себе, кто находился с этим человеком в тележке. Была это госпожа Нараяма или, может быть, госпожа Кацуми с алыми розами в волосах? Охваченный этими неразрешимыми сомнениями, я был в то же время очень зол на себя за свою трусость. Ах, зачем я тогда так поспешно

нырнул под спасительный верх тележки! Должно быть, боялся, как бы мои сомнения не рассеялись. До сих пор для меня остается загадкой, была ли в тележке супруга Миуры или воительница за эмансипацию женщин.

Виконт Хонда вытащил откуда-то большой шелковый носовой платок, вежливо высморкался, оглядел начавший погружаться в сумерки выставочный зал и продолжал тихим голосом:

— Оставляя в стороне это происшествие, я решил, что, как бы то ни было, рассказ репортера должен заинтересовать Миуру. Поэтому на следующий же день отправил ему письмо, в котором предложил встретиться, порыбачить, а заодно и отдохнуть. Миура незамедлительно ответил согласием. Время встречи падало как раз на шестнадцатую ночь, поэтому он предлагал отправиться, как только за вечерет, с тем чтобы не столько порыбачить, сколько полюбоваться полной луной. Я не был таким уж заядлым рыбаком и сразу же согласился. Мы встретились на лодочной станции близ Янагибаси, сели в длинную остроносую лодку и выгребли на середину реки. Уже стемнело, но луна еще не взошла.

В те времена вечерний пейзаж на реке Сумида еще сохранял следы красоты, присущей гравюрам укиёэ. Когда, проплыв под рестораном Манбаты, мы вышли на середину реки, нашим глазам открылась удивительная картина: в осеннем небе над волнами реки, в которых отражались блики бледного вечернего света, отчетливо виднелись перила моста Рёгоку, казавшиеся черной, словно одним взмахом проведенной тушью, изогнутой линией. Тени карет, пронесшихся по мосту, расплывались в поднимавшемся над рекой тумане, и чудилось, будто над водой мчатся взад и вперед лишь крохотные точки их фонарей, алые, словно вишенки.

Миура. Каков пейзаж, а?

Я. Да-а. В Европе, сколько ни ищи, такого, пожалуй, не увидишь.

Миура. Итак, когда дело касается пейзажа, ты не такой уж противник старины.

Я. Да, только когда дело касается пейзажа.

Миура. А вот я в последнее время просто возненавидел все, что связано с западным просветительством.

Я. Знаешь, однажды, обратив внимание на проходивших по бульвару японцев из Миссии доброй воли, некогда направленной феодальным правительством во Францию, известный остро слов Мериме сказал стоявшему рядом с ним не то Дюма, не то кому-то еще: «Взгляни, кто это привязал японцев к таким непомерно длинным мечам?» Берегись, не то попадешь со своими взглядами на злой язык Мериме.

Миура. А я могу рассказать тебе о другом случае. Когда-то китайский посол по имени Хэ Шучжан, прибыв в Японию, остановился в гостинице в Йокохаме. Увидав японский спальный халат, он умилился и сказал: «Это древнее спальное одеяние — свидетельство того, что в вашей стране свято соблюдают древние обычаи Ся и Чжоу». Вот тебе пример того, что нельзя без разбора охаивать все старое.

Увлечшись разговором, мы не заметили, как воды реки от начавшегося прилива внезапно потемнели. Мы огляделись и обнаружили, что мост Рёгоку остался далеко позади и наша лодка, подгоняемая частыми ударами весел, уже приблизилась к знаменитой «сосне свиданий», черным силуэтом выделявшейся на темном небе. Решив, что наступил подходящий момент для того, чтобы перевести разговор на госпожу Кацуми, я подхватил последнюю фразу Миуры и кинул пробный камень:

— Как в таком случае совместить твоё преклонение перед стариной с твоим отношением к столь просвещенной супруге?

Словно не услышав моего вопроса, Миура некоторое время молча глядел на безлунное небо над Отакэгурой, потом обратил свой взгляд на меня и тихим, но полным внутренней силы голосом сказал:

— Да никак. Неделю тому назад я развелся.

Я был так поражен столь неожиданным ответом, что растерялся и невольно ухватился за борт лодки.

— Значит, ты тоже знал? — тихо спросил я.

— А ты сам, все ли ты знал? — подчеркивая каждое слово, возразил Миура.

Я. Все или не все — не знаю. Слышал лишь о том, что твоя супруга подружилась с госпожой Нараяма.

Миура. А о связи между моей женой и ее кузеном?

Я. Догадывался.

Миура. В таком случае мне больше нечего тебе сообщить.

Я. А ты... когда ты узнал об этом?

Миура. О связи между женой и ее кузеном? Спустя три месяца после свадьбы. Как раз накануне того, как попросил Годзэту Хобаю написать известный тебе портрет жены.

Можете себе представить, сколь неожиданным мне оказался и этот ответ Миуры.

Я. Как же ты мог до сих пор терпеть это?

Миура. Почему «терпеть»? Я это одобрял.

И снова я был настолько поражен ответом Миуры, что некоторое время лишь ошеломленно глядел на него.

— Конечно, — спокойно продолжал Миура, — это не означает, что я одобряю их нынешнюю связь. Нет. Я относился с одобрением к тем сложившимся между ними отношениям, которые в то время рисовал у себя в воображении. Ты, должно быть, помнишь, что я был сторонником «женильбы по любви». Но при этом, должен тебе сказать, я не преследовал какие-то эгоистические цели. Просто я ставил любовь превыше всего. И когда после женильбы понял, что любовь между нами не настоящая, то пожалел о поспешности, с которой связал свою судьбу с этой женщиной. Вместе с тем меня не покидало чувство жалости к жене, которая была вынуждена делить со мной ложе и кров. Тебе ведь известно, что я с давних пор не мог похвалиться здоровьем. Кроме того, пусть я считал, что люблю ее, но она ведь могла и не любить меня. А может быть, моя любовь с самого начала была настолько слаба и несовершенна, что оказалась неспособной вызвать серьезное ответное чувство... И я решил пожертвовать собой ради друживших с детских лет жены и ее кузена, раз возникшее между ними чувство чище и искреннее, чем то, которое существовало между нами. Ибо если бы я поступил иначе, мой принцип ставить любовь превыше всего оказался бы на деле лишь красивой фразой. Поэтому-то я и решил на всякий случай заказать известный тебе портрет жены, с тем чтобы он заменил мне ее, как только станет ясно, что жена любит другого.

Миура умолк и снова вперил взгляд в небо, которое чер-

ным пологом висело над особняком Кимацуура. Пока не было и признака, что вот-вот засветятся облака и взойдет луна. Я закурил сигару и спросил:

— Что же было потом?

— Вскоре я убедился, что любовь между моей женой и ее кузеном не настоящая. Говоря откровенно, я узнал, что он находится в интимной связи не только с моей женой, но и с госпожой Нараяма. Как мне это удалось — думаю, что и тебе не будет особенно интересно услышать об этом, да и мне не хотелось бы сейчас распространяться на эту тему. Скажу только, что случайно мне лично довелось быть свидетелем их тайного свидания.

Стряхивая пепел сигары за борт, я живо представил себе ту дождливую ночь и неожиданную встречу у входа в харчевню Икуинэ.

— Для меня это было первым ударом, — спокойно продолжал Миура. — Половина основания, на котором зиждилось мое одобрение их связи, рухнула. Больше я не мог, как прежде, благосклонно смотреть на интимные отношения моей жены и ее кузена. Ты в это время как раз возвратился из своей поездки в Корею. И вот я стал думать над средством, с помощью которого можно было бы их разлучить. Тогда я верил, что, несмотря на обман кузена, любовь к нему со стороны моей жены была истинной. Поэтому, а также и ради счастья жены, я считал необходимым вмешаться. Жена и он не могли предположить, что я давно знал об их связи. Поэтому они — по крайней мере жена — по-видимому, решили, что мною движет ревность. С тех пор жена стала враждебно ко мне относиться и даже следить за мной. Да и на тебя она смотрела с опаской.

— Действительно, однажды она, стоя за дверью кабинета, подслушивала наш с тобой разговор.

— Вполне возможно. Такая женщина могла пойти и на это.

Некоторое время мы молча глядели на черную гладь реки. Наша лодка миновала мост Оумаябаси и, оставляя едва заметный след на воде, приблизилась к Комакате.

— Но я продолжал верить в честность жены, — продолжал Миура свой рассказ, — и еще сильнее страдал из-за того, что она не хотела понять моего настроения. Не только не

хотела, но даже возненавидела меня. И вот, с тех пор как я встретил тебя на вокзале в Симбаси, я всячески пытался подавить в себе мучившие меня мысли...

Неделю тому назад прислуга по ошибке принесла в мой кабинет письмо, предназначенное жене. Я сразу решил, что письмо от ее кузена, и... вскрыл его. К своему удивлению, я понял, что в моих руках оказалось любовное послание от неизвестного мужчины. Так я убедился, что те чувства, которые жена питала к кузену, тоже никак нельзя назвать чистой любовью. Я получил второй и значительно более жестокий удар, который начисто разбил мои идеалы. И в то же время на меня снизошло печальное успокоение, словно тяжесть ответственности, давившая мне все время на плечи, внезапно исчезла.

Миура умолк. В этот миг из-за складов Намигура выплыла кроваво-красная полная луна. Я и вспомнил эту историю с Миурой, глядя на одетого в европейский костюм Кикугоро с гравюры Ёситоси, именно потому, что театральная луна на гравюре была похожа на ту, которую мы увидели с лодки. В лунном свете четко выделялся продолговатый овал лица Миуры, обрамленного расчесанными на пробор длинными волосами. Глядя на луну, Миура вдруг тяжело вздохнул и с горьким смехом произнес:

— Помнишь, однажды ты осудил жертвовавших жизнью ради своего идеала повстанцев Симпурэн, назвав это детской мечтой. Значит, в твоих глазах моя супружеская жизнь...

— Да. Тоже, возможно, напоминала детскую мечту. Но ведь и просвещение, к которому мы теперь так стремимся, спустя столетие превратится всего лишь в детскую мечту. Не так ли?

В этот момент подошедший к нам сторож напомнил, что час уже поздний и выставку пора закрывать. Мы с виконтом медленно поднялись со скамьи, в последний раз окинули взглядом висевшие вокруг гравюры и эстампы и молча покинули начавший погружаться в сумерки зал. Казалось, мы сами были призраками прошлого, сошедшими с картин, висевших за стеклом стендов.

Январь 1919 г.

Стояли пасмурные зимние сумерки. Я сидел в углу вагона второго класса поезда Йокосука — Токио и рассеянно ждал свистка к отправлению. В вагоне давно уже зажгли электричество, но почему-то, кроме меня, не было ни одного пассажира. И снаружи, на полутемном перроне, тоже почему-то сегодня не было никого, даже провожающих, и только время от времени жалобно тявкала запертая в клетку собачонка. Все это удивительно гармонировало с моим тогдашним настроением. На моем сознании от невыразимой усталости и тоски лежала тусклая тень, совсем как от пасмурного снежного неба. Я сидел неподвижно, засунув руки в карманы пальто и не имея охоты даже достать из кармана и просмотреть вечернюю газету.

Наконец раздался свисток. С чувством слабого душевного облегчения я прислонился головой к оконной раме и стал ждать, когда станция перед моими глазами начнет медленно отодвигаться назад. Но тут со стороны турникета на перроне послышался громкий стук гэта, тотчас же за ним — негодующий возглас кондуктора; дверь моего вагона со стуком растворилась, и, запыхавшись, вошла девочка лет тринадцати-четырнадцати. В ту же секунду поезд, качнувшись, медленно тронулся. Столбы на перроне, один за другим отскакившие отрезок поля зрения, тележка с баком для воды, как будто кем-то брошенная и забытая, носильщик, кланявшийся кому-то в поезде, — все это в клубах застилавшего окно пепельного дыма как-то неохотно покатило назад. Наконец-то, вздохнув с облегчением, я закурил папиросу и только тогда поднял вялые веки и бросил взгляд на лицо девочки, усевшейся напротив меня.

Это была настоящая деревенская девочка: сухие волосы без признака масла были уложены в прическу итэгаэси, рябоватые потрескавшиеся щеки были так багрово обожжены, что даже производили неприятное впечатление. На ее коленях, куда небрежно свисал замызганный зеленый шерстяной шарф, лежал большой узел. В придерживавшей его от мороженой руке она бережно сжимала красный билет третьего класса. Мне не понравилось мужицкое лицо этой девочки. Кроме того, мне было неприятно, что она грязно одета. Наконец, меня раздражала ее тупость, с которой она не могла понять даже разницу между вторым и третьим классом. Поэтому, закуривая папироску, я решил забыть о самом существовании этой девочки и от нечего делать развернул газету. Вдруг свет из окна, падавший на страницы, превратился в электрический свет, и неотчетливая печать газеты с неожиданной яркостью выступила перед моими глазами. Очевидно, поезд вошел в первый из многочисленных на линии Йокосука туннелей.

Однако, хотя я пробегал взглядом освещенные электричеством страницы, все, что случилось на свете, было слишком банально, чтобы рассеять мою тоску. Вопросы заключения мира, молодожены, опять молодожены, случаи взяточничества чиновников, объявления о смерти... Испытывая странную иллюзию, будто поезд, войдя в туннель, вдруг помчался в обратном направлении, я почти машинально переводил глаза с одной унылой заметки на другую. Но все это время я, разумеется, ни на минуту не мог отделаться от сознания, что передо мной сидит эта девочка, живое воплощение серой действительности в человеческом образе. Этот поезд в туннеле, эта деревенская девочка, да и эта газета, набитая банальными статьями, — что же это все, если не символ непонятной, низменной, скучной человеческой жизни? Все мне показалось бессмысленным, и, отшвырнув недочитанную газету, я опять прислонился головой к оконной раме, закрыл глаза, как мертвый, и начал дремать.

Прошло несколько минут. Внезапно, словно испуганный чем-то, я невольно оглянулся — оказалось, что девочка незаметно встала со своего места на противоположной скамейке и, остановившись рядом со мной, упорно старалась открыть

окно. Но тяжелая рама никак не поддавалась. Потрескавшиеся щеки девочки еще больше покраснели, и я слышал, как, хлопоча у окна, она иногда шмыгала носом и прерывисто дышала. Конечно, ее усилия не могли не вызвать у меня известного сочувствия. Однако уже по одному тому, что склоны холмов, на которых светлела в сумерках засохшая трава, с обеих сторон надвигались на окна, легко можно было сообразить, что поезд опять подходит к туннелю. И все же девочка хотела спустить нарочно закрытое окно — зачем, мне было непонятно. Я мог считать это только капризом. Поэтому с прежней суровостью в глубине души я холодно смотрел, как обмороженные руки бьются, пытаясь спустить стекло. Я желал, чтобы эти усилия так и не увенчались успехом. Но вдруг поезд с ужасным грохотом ворвался в туннель, и в тот же миг рама, которую девочка старалась спустить, наконец со стуком упала. И в прямоугольное отверстие разом густо хлынул внутрь и разлился по вагону черный, точно пропитанный сажей, воздух, превратившийся в удушливый дым. Я не успел даже закрыть платком лицо, как меня обдала целая волна дыма, и, давно уже страдая горлом, я закашлялся так, что чуть не задохнулся. А девочка, не обращая на меня ни малейшего внимания, высунулась в окно, и, подставив волосы трепавшему их ветру, смотрела вперед по ходу поезда. Я глядел на нее, окутанную дымом и электрическим светом, и если бы только за окном вдруг не стало светлеть и оттуда освежающе не влился запах земли, сена, воды, то я, наконец-то перестав кашлять, несомненно, жестоко выругал бы эту незнакомую девочку и опять закрыл бы окно.

Но поезд уже плавно выскользнул из туннеля и проходил через переезд в бедном предместье, сдавленном с обеих сторон горами, покрытыми на склонах сухой травой. Вокруг повсюду грязно и тесно жались убогие соломенные и черепичные крыши, и — должно быть, это махал стрелочник — уныло развевался еще белевший в сумерках флажок. Как только поезд вышел из туннеля, я увидел, что за шлагбаумом пустынного переезда стоят рядышком три краснощеких мальчугана. Все трое, как на подбор, были коротышки, словно придавленные этим пасмурным небом. И одежда на них была такого же цвета, как все это угрюмое предместье. Не

спуская глаз с проносившегося мимо поезда, они разом подняли руки и вдруг, не щадя своих детских глоток, изо всех сил грянули какое-то неразборчивое приветствие. И в тот же миг произошло вот что: девочка, по пояс высунувшаяся из окна, вытянула свои обмороженные ручки, взмахнула ими направо и налево, и вдруг на детей, провожавших взглядом поезд, посыпалось сверху несколько золотых мандаринов, окрашенных так тепло и солнечно, что у меня затрепетало сердце. Я невольно затаил дыхание. И мгновенно все понял. Она, эта девочка, уезжавшая, вероятно, на заработки, бросила из окна припрятанные за пазухой мандарины, чтобы отблагодарить братьев, которые вышли на переезд проводить ее.

Утонувший в сумерках переезд, трое мальчуганов, завещавших, как птицы, свежая яркость посыпавшихся на них мандаринов — все это промелькнуло за окном почти мгновенно. Но в моей душе эта картина запечатлелась почти с мучительной яркостью. И я почувствовал, как меня заливают какое-то непонятное светлое чувство. Вздвинувшись головой, я совсем другими глазами посмотрел на девочку. Вернувшись на свое место, напротив меня, она по-прежнему прятала потрескавшиеся щеки в зеленый шерстяной шарф и, придерживая большой узел, крепко сжимала в руке билет третьего класса...

И только тогда мне удалось хоть на время забыть о своей невыразимой усталости и тоске и о непонятной, низменной, скучной человеческой жизни.

Апрель 1919 г.

СОМНЕНИЕ

Лет десять с лишним назад, как-то раз весной, мне было поручено прочесть лекции по практической этике, и я около недели прожил в городе Огаки, в префектуре Гифу. Исконно опасаясь обременительной любезности в виде теплого приема местных деятелей, я заранее послал пригласившей меня учительской организации письмо с предупреждением о том, что намерен отказаться от встреч, банкетов, а также от осмотра местных достопримечательностей и вообще от всяких прочих видов напрасной траты времени, связанной с чтением лекций по приглашению. К счастью, слухи о том, что я оригинал, видимо, давно уже дошли сюда, и когда я приехал, то благодаря стараниям мэра города Огаки, являвшегося председателем этой организации, все оказалось устроено согласно моим желаниям и даже больше того: меня избавили от обычной гостиницы и предоставили в мое распоряжение тихое помещение на даче местного богача господина Н. Я собираюсь рассказать обстоятельства одного трагического происшествия, о котором случайно услышал во время пребывания на этой даче.

Дача помещалась в районе, близком к замку Короку и весьма далеко от житейской суеты веселых кварталов. Небольшое, в восемь циновок, помещение в стиле павильона для занятий, где я поселился, было, к сожалению, почти лишено солнца, но со своими довольно выцветшими фусума и сёдзи представляло собой комнату, полную удивительного спокойствия. Прислуживавшие мне сторож дачи и его жена, когда их услуги не требовались, всегда уходили к себе на кухню, так что в этой полутемной комнате большей частью было тихо и совершенно безлюдно. Тишина стояла такая, что

можно было отчетливо услышать, как с магнолии, простирающей свои ветви над гранитным рукомошкой, иногда осыпается белый цветок. Я ходил на лекции ежедневно, но только по утрам, и мог проводить в этой комнате послеобеденные часы и вечер в полном покое. В то же время, не имея при себе ничего, кроме чемоданчика с учебниками и сменной одежды, я нередко чувствовал весенний холодок.

Впрочем, в послеобеденное время меня иногда развлекали посетители, так что я был не так уж одинок. Но когда зажигалась старинная лампа на подставке из ствола бамбука, то мир, согретый человеческим дыханием, сразу суживался до моего непосредственного окружения, озаряемого этим слабым светом. Однако во мне даже это окружение отнюдь не вызывало чувства надежности. В токонома за моей спиной угрюмо высились тяжелые медные вазы без цветов. Над ними, на таинственном какэмоно с изображением «Ивой Каннон» на золотом фоне закопченного парчового обрамления тускло чернела тушь. Время от времени я отводил глаза от книги и оглядывался на эту старинную буддийскую картину, и мне всегда казалось, что я чувствую запах нигде не курившихся ароматических свечек, настолько моя комната полна была атмосферой монастырской тишины. Поэтому я ложился довольно рано. Однако и улегшись, я долго не засыпал. За ставнями раздавались пугавшие меня крики ночных птиц, носившихся не то рядом, не то где-то вдали — не поймешь. Эти крики описывали круги, центром которых была высящаяся над моим жилищем башня. Даже днем, взглянув на нее, я видел, как эта башня, вздымавшая среди мрачной зелени сосен белые стены своих трех ярусов, непрестанно сыпала со своей выгнутой крыши в небо бесчисленные стаи ворон... И, погружаясь в некрепкий сон, я продолжал чувствовать, как глубоко в моем теле разливается, словно вода, весенний холодок.

И вот как-то вечером... Это случилось, когда курс моих лекций уже подходил к концу. Я, как всегда, сидел перед лампой, скрестив ноги, погруженный в бесцельное чтение, как вдруг фусума, отделявшая мою комнату от соседней, до жути тихо приоткрылась. Заметив, что она открылась, и бессознательно предполагая, что явился сторож дачи, я равнодуш-

но обернулся, намереваясь, кстати, попросить его опустить в ящик недавно написанную открытку. Но на татами возле фусума в полутьме сидел, выпрямившись, незнакомый мне мужчина лет сорока. По правде говоря, на миг меня охватило изумление, — вернее, своеобразное чувство, близкое к суеверному страху. Действительно, вид у этого человека при тусклом свете лампы был странно прозрачный, вполне оправдывающий такой шок. Однако он, оказавшись со мной лицом к лицу, почтительно наклонил голову, высоко, по-старинному, подняв при этом локти, и более молодым голосом, чем я ожидал, почти механически произнес такое приветствие:

— Не нахожу слов, чтобы просить извинения за то, что вторгся к вам вечером и помешал вашим занятиям, но, имея к сэнсэю почтительную просьбу, я решился на нарушение приличий и позволил себе прийти.

Оправившись от первоначального шока, я во время этой речи впервые рассмотрел своего посетителя. Это был полуседой, благородного вида человек с широким лбом, впальми щеками и не по возрасту живыми глазами. На нем было приличное, хотя и без гербов, хаори и хакама, а у колен он, как полагается, держал в руке веер. Но что меня моментально ударило по нервам, это то, что на левой руке у него не хватало одного пальца. Едва заметив это, я невольно отвел глаза от его руки.

— Что вам угодно?

Закрывая книгу, которую я начал было читать, я нелюбезно задал ему этот вопрос. Нечего и говорить, что его внезапное появление оказалось для меня неожиданностью и вместе с тем рассердило меня. Странно было и то, что сторож дачи ни одним словом не предупредил меня о приходе гостя. Однако, нисколько не смутившись моими холодными словами, этот человек еще раз коснулся лбом циновки и тем же тоном, точно читая вслух:

— Извините, что не сказал сразу, но позвольте представиться: меня зовут Накамура Гэндо. Я каждый день хожу слушать лекции сэнсэя, но, разумеется, я только один из многих, так что сэнсэй вряд ли меня помнит. Однако как слуша-

тель ваших лекций я осмеливаюсь теперь просить у сэнсэя указаний.

Мне показалось, что я наконец понял цель его посещения. Но то, что мое тихое удовольствие от вечернего чтения оказалось испорченным, было мне по-прежнему решительно неприятно.

— В таком случае, не скажете ли, что именно в моих лекциях вызвало вопрос?

Спросив его так, я в глубине души уже приготовил приличные слова для отступления: «Раз это вопрос, то задайте его завтра в аудитории». Однако гость, не шевельнув ни одним мускулом лица и устремив глаза на свои прикрытые хакама колени:

— Не вопрос. Но я, собственно говоря, хотел бы услышать мнение, суждение сэнсэя относительно всего моего поведения. То есть дело в том, что еще двадцать лет тому назад довелось мне пережить неожиданное происшествие, и после него я сам себе стал непонятен. И вот, узнав о глубоких теориях такого авторитета в науке этики, как сэнсэй, я подумал, что теперь все разъяснится само собой, и потому сегодня вечером и позволил себе прийти. Как прикажете? Не сообразите ли, хоть это и скучно, выслушать историю моей жизни?

Я заколебался. Я хоть и в самом деле был специалистом по этике, но, к сожалению, не мог обольщаться, будто обладаю достаточно быстрой сообразительностью, чтобы, пользуясь своими специальными знаниями, тут же на месте дать жизненное разрешение стоящему передо мной практическому вопросу. Он, видимо, сразу заметил мои колебания и, подняв взор, до того устремленный на колени, полупросительно и робко следя за выражением моего лица, более естественным голосом, чем раньше, почтительно продолжал так:

— Нет, это, разумеется, не значит, что я позволю себе во что бы то ни стало настаивать на том, чтобы сэнсэй высказал свое суждение. Но только этот вопрос до нынешних моих лет неотвязно удручает мою душу, и если бы такой человек, как сэнсэй, хотя бы послушал о моих мучениях, уже это одно послужило бы мне некоторым утешением.

После этих его слов я ради одного приличия не мог отказаться выслушать рассказ незнакомца. Но в то же время я ощутил на сердце тяжесть какого-то дурного предчувствия и своего рода смутное чувство ответственности. Желая рассеять эти тревожные чувства, я заставил себя принять беззаботный вид и пригласил гостя сесть ближе, по другую сторону тускло светившей лампы:

— Ну, так прошу приступить к рассказу. Правда, как вы сами об этом сказали, не знаю, удастся ли мне высказать мнение, могущее послужить вам на пользу.

— Нет, если только вы сообразите меня выслушать, это будет больше того, на что я смел надеяться.

Человек, назвавший себя Накамура Гэндо, рукой, лишенной одного пальца, взял с циновки веер и, время от времени медленно поднимая глаза и украдкой взглядывая не столько на меня, сколько на «Ивовую Каннон» в токонома, довольно невыразительным, мрачным тоном, то и дело прерывая, повел свой рассказ.

* * *

Дело было как раз в двадцать четвертом году Мэйдзи. Как вы знаете, двадцать четвертый год — это год великого землетрясения на равнине Нобби, и с тех пор наш Огаки принял совсем другой вид; а в то время в городке имелись две начальные школы, из которых одна была построена князем, другая — городом. Я служил в начальной школе К., учрежденной князем; за несколько лет до того я окончил первым учеником префектуральную учительскую семинарию и с тех пор, пользуясь известным доверием директора, получал высокое для своих лет жалованье в пятьдесят иен. В нынешнее время те, кто получают пятьдесят иен, еле сводят концы с концами, но дело было двадцать лет назад; сказать, что это много, — нельзя, но на жизнь вполне хватало, так что среди товарищей такие, как я, являлись предметом зависти.

Из близких у меня на всем свете была только жена, да и на ней я был женат всего два года. Жена была дальней родственницей школьного директора; она с детства лишилась родителей и до замужества жила на попечении директора и

его жены, заботившихся о ней, как о родной дочери. Звали ее Саё; может быть, из моих уст это прозвучит странно, но была она женщиной от природы очень прямой, застенчивой и уж чересчур молчаливой и грустной, словно тень. Но, как говорится, муж и жена на одну статью, так что хоть особого счастья у нас и не было, но мы мирно жили день за днем.

И вот произошло великое землетрясение — никогда мне не забыть — двадцать восьмого октября в семь часов утра. Я чистил зубы у колодца, а жена в кухне засыпала в котел рис... На нее рухнул дом. Это случилось в какие-нибудь одну-две минуты: ураганом налетел страшный подземный гул, дом сразу же стал крениться набок все больше и больше, и потом только и видно было, как во все стороны летят кирпичи. Я и ахнуть не успел, как упал, сбитый с ног рухнувшим навесом крыши, и некоторое время лежал без памяти, встряхиваемый волнами подступавших толчков; а когда в конце концов в тучах взметенной земли я выбрался из-под навеса, то увидел перед собой крышу своего дома, между черепицами которой росла трава, разбитой вдребезги и поверженной на землю.

Что я тогда почувствовал — ужас ли, растерянность, не знаю. Я прямо обезумел и тут же повалился без сил, словно под ногами моими было бурное море; справа и слева я видел дома с обрушенными крышами, слышал подземный гул, стук балок, треск ломающихся деревьев, грохот обваливающихся стен, бурлящий шум и крики мечущихся тысяч людей. Но это длилось только мгновение; едва я увидел то, что шевелилось поодаль под навесом, как сразу же вскочил и с бессмысленным криком, точно очнувшись от кошмара, бросился туда. Под навесом, наполовину придавленная балкой, корчилась моя жена Саё.

Я тянул жену за руки. Я старался пошевелить ее, толкая за плечо. Но придавившая ее балка не сдвинулась ни на волос. Теряя голову, я стал отдиравать с навеса доски одну за другой. Отдирая, я кричал жене: «Держись!» Кого я подбодрял? Жену? Или самого себя? Не знаю. Жена сказала: «Тяжко!» Еще она сказала: «Как-нибудь, пожалуйста!» Но меня нечего было просить, я и без того с искаженным лицом из последних сил старался приподнять балку, и в моей памяти до сих пор живо мучительное воспоминание о том, как руки

жены, настолько окровавленные, что не видно было ногтей, дрожая, силились нащупать бревно.

Это продолжалось долго-долго... И вдруг я заметил, что откуда-то в лицо мне пахнул удушливый черный дым, густыми клубами стлавшийся над крышей. И в тот же миг где-то за пеленой дыма раздался грохот, как будто что-то взорвалось, и в небо взметнулись и золотой пылью рассыпались огненные искры.

Как безумный вцепился я в жену. И еще раз отчаянными усилиями попытался вытащить из-под балки ее тело. Но нижняя половина ее тела по-прежнему не сдвинулась ни на дюйм. Клубы дыма налетали снова и снова, и тогда я, упершись коленом в навес, не то сказал, не то прорычал жене. Может быть, вы спросите что? Да нет, непременно спросите. Но что именно я сказал, я совершенно забыл. Только помню, как жена, вцепившись своими окровавленными руками в мой рукав, произнесла одно слово: «Вы...» Я взглянул в ее лицо. Это было страшное лицо, лишенное всякого выражения, и только одни глаза были широко раскрыты. В этот миг на меня, ослепляя, налетел уже не только дым, а язык пламени, рассеявший тучи искр. Я решил, что все пропало. Жена сгорит заживо. Заживо? Сжимая окровавленные руки жены, я опять что-то крикнул. И жена снова произнесла одно слово: «Вы...» Сколько разных значений, сколько разных чувств услышал я в этом «вы!». Заживо? Заживо? Я в третий раз что-то крикнул. Помню, что я как будто сказал: «Умру». Помню, что сказал: «Я тоже умру». Но, не понимая, что я говорю, я как попало хватал рухнувшие кирпичи и один за другим швырял их на голову жене.

Что было дальше, сэнсэй сам может себе представить. Я один остался в живых. Преследуемый пламенем, опустошившим почти весь город, сквозь клубы дыма я пробрался между обрушившимися крышами, которые, как холмы, преграждали дорогу, и кое-как спасся. К счастью или к несчастью, не знаю. Только я до сих пор не могу забыть, как в тот вечер, когда я глядел на алевшее в темном небе зарево еще пылающего пожара и вместе со школьными товарищами учителями получал рисовые колобки, сваренные в бараке во дворе разрушенной школы, у меня беспрестанно лились из глаз слезы.

* * *

Накамура Гэндо замолк и боязливо опустил глаза на цинковку. Неожиданно услышав такой рассказ, я почувствовал, будто весенний холодок просторной комнаты забирается мне за воротник, и не имел духу даже сказать: «Да...»

В комнате слышалось только потрескивание керосина в лампе. Да еще дробно отмеривали время мои карманные часы, лежавшие на столе. И в этой тишине послышался вздох, такой слабый, словно шевельнулась «Ивовая Каннон» в токонома.

Подняв встревоженные глаза, я пристально посмотрел на поникшую фигуру гостя. Он ли вздохнул или я сам? Но раньше, чем я разрешил этот вопрос, Накамура Гэндо тем же тихим голосом, не спеша, возобновил свой рассказ.

* * *

Излишне говорить, что я горевал о кончине жены. Больше того, слыша в школе от всех кругом, начиная с директора, теплые слова сочувствия, я плакал, не стыдясь людей. Но что во время землетрясения я убил свою жену, в этом, как ни странно, я не мог признаться. «Я думал, что это лучше, чем заживо сгореть, и убил ее собственной рукой», — за такое признание меня, наверно, не отправили бы в тюрьму. Нет, скорее, за это все кругом, несомненно, стали бы мне сочувствовать еще больше. Но каждый раз, когда я собирался заговорить, признание застревало у меня в горле и язык не поворачивался произнести хоть одно слово.

В то время я полагал, что причина коренится всецело в моей робости. Однако на самом деле существовала другая причина, которая крылась не в робости, а гораздо глубже. И все же до тех пор, пока со мной не заговорили о втором браке и не настала пора вступить в новую жизнь, об этой другой причине я и сам не знал. А когда я о ней узнал, то неизбежно превратился в жалкого, душевно разбитого человека, неспособного больше жить, как все.

Разговор о втором браке завел со мной школьный директор, приемный отец Саё; что он делает все это всецело ради искренних забот обо мне, я и сам хорошо понимал. Да и в са-

мом деле, со времени землетрясения прошло уже больше года, и еще до того, как директор затронул со мной эту тему, не раз случалось, что тот или другой, заводя со мной такой разговор, потихоньку выведывал мое отношение к этому делу. Однако когда со мной заговорил директор, то, к моему удивлению, оказалось, что за меня прочат вторую дочь господина Н., в доме которого сэнсэй сейчас живет; с ее старшим братом, учеником четвертого класса начальной школы, я в то время иногда занимался у них на дому. Разумеется, я сразу же отказался: во-первых, между мной, учителем, и семьей богача Н. существовала явная разница в общественном положении; кроме того, мне казалось малоприятным, если в силу моего положения домашнего учителя на меня до свадьбы по каким-нибудь поводам падут необоснованные подозрения. В то же время за моим нежеланием стояло другое: призрачная, как хвост кометы, меня обволакивала тень Саё, которую я сам убил и о которой, по поговорке «с глаз долой — из сердца вон», думал уже не с такой печалью, как раньше.

Однако директор, достаточно уяснив себе мое настроение, стал меня настойчиво уговаривать, приводя всевозможные доводы: что человеку в моем возрасте трудно продолжать жить холостяком, что предполагаемый брак составляет предмет горячих желаний самой невесты, что, поскольку директор сам охотно возьмет на себя обязанности свата, никаких дурных толков не подымется, а кроме того, что давно лелеемое мною желание поехать учиться в Токио после заключения брака осуществить будет гораздо легче. Слыша такие разговоры, я уже не считал возможным отказываться наотрез. К тому же девушка слыла красавицей, да и, как ни стыдно признаться, меня прельщало богатство семьи Н.; и когда, поощряемый директором, я стал ходить туда чаще, то начал понемногу сдаваться и говорил то: «Я серьезно обдумываю», то: «После Нового года». И в начале лета следующего, двадцать шестого, года Мэйдзи наконец положено было осенью сыграть свадьбу.

И вот с тех пор, как дело было решено, у меня почему-то стало тяжело на душе, настолько тяжело, что я, к моему собственному удивлению, потерял всякий интерес к работе.

Придя в школу, я садился в учительской за стол и нередко, рассеянно погрузившись в мысли, пропускал мимо ушей даже стук колотушек, возвещавших начало занятий. И все же, что именно лежало у меня на душе, я и сам не мог ясно определить. У меня только было неприятное ощущение, будто зубчатые колесики в моем мозгу перестали цепляться друг за друга, и вот за этими не цепляющимися друг за друга колесиками притаилась какая-то непостижимая для моего сознания тайна.

Так тянулось, должно быть, месяца два. И вот во время летних каникул, как-то раз под вечер прогуливаясь по городу, я остановился рассмотреть новинки на прилавке у входа в книжный магазин позади местного храма Хонгандзи; там лежали лакированные обложки нескольких номеров популярного в ту пору журнала «Иллюстрированное обозрение» рядышком с рассказами о привидениях и альбомами рисунков. Стоя у прилавка, я просто так взял в руки номер «Иллюстрированного обозрения» и увидел на обложке картинку с изображением того, как рушатся дома и занимаются пожары, а под ней в две строки было крупно напечатано: «Издано тридцатого октября двадцать четвертого года Мэйдзи; описание землетрясения двадцать восьмого октября». Когда я это увидел, у меня вдруг сжалось сердце. Мне даже почудилось, будто у самого моего уха кто-то злорадно шепчет: «Вот оно! Вот оно!» Свет в магазине еще не зажигали, и я в полутьме торопливо раскрыл обложку. На первой странице была помещена картина трагической гибели целой семьи, раздавленной рухнувшими балками. На следующей — земля, расколовшись, поглощала женщину с детьми. На следующей... Незачем перечислять все подряд. В эту минуту журнал снова развернул перед моими глазами картины происшедшего два года назад землетрясения. Рисунки обвалившегося моста через Нагарагава, разрушенного здания текстильной компании Овари, раскопок трупов солдат третьей дивизии, спасения раненых в больнице Анти — такие трагические картины одна за другой снова втягивали меня в проклятые воспоминания о том времени. Глаза у меня увлажнились, я задрожал. Непонятное чувство не то боли, не то радости беспощадно скручивало мои нервы. И когда передо мной от-

крылась картина на последней странице... до сих пор ужас этой минуты жив в моей душе. Это была картина того, как в муках корчится женщина, до пояса придавленная свалившейся балкой. Балка лежала поперек ее тела, а позади вздымались клубы черного дыма, и, казалось, отсвечивая красным, разлетались огненные искры! Кто же это мог быть, как не моя жена, что же это могло быть, как не кончина моей жены! Я чуть не выронил из рук журнал. Чуть не закричал во весь голос. И в тот миг я испугался еще больше: все кругом вдруг засветилось алым светом, и в нос мне ударил запах дыма, наводящий на мысль о пожаре. С трудом подавляя волнение, я положил журнал на место и тревожно осмотрелся кругом. У входа в магазин приказчик только что зажег висючую лампу и выбросил на улицу, где уже разливалась темнота, еще дымящуюся обгорелую спичку.

С тех пор я стал еще более мрачным, чем раньше. До этого меня преследовало только чувство непонятной тревоги, а теперь в уме у меня затаилось одно сомнение, мучившее меня днем и ночью. То, что я тогда во время землетрясения убил жену, — было ли это неотвратимо?.. Говоря более откровенно, не оттого ли я убил жену, что с самого начала имел намерение ее убить, а землетрясение предоставило мне удобный случай? Вот какое сомнение меня мучило. Разумеется, не помню, сколько раз я на это сомнение отвечал: «Нет!» Но тот, кто у прилавка книжного магазина шептал мне на ухо: «Вот оно! Вот оно!» — и теперь донимал меня насмешливым вопросом: «Так почему же ты не мог признаться, что убил жену?» Когда моя мысль натыкалась на этот факт, сердце у меня замирало. Ах, почему, раз я убил жену, я не мог сказать о том, что ее убил? Почему до сегодняшнего дня крепко-накрепко скрываю такую ужасную тайну? И вот тогда в моей памяти ярко ожил постыдный факт — что в то время я в глубине души ненавидел свою жену. Стыдно об этом говорить, и, может быть, вы меня не поймете, но Саё, к несчастью, была физически неполноценной женщиной. (Далее восемьдесят две строки опущено. — Прим. автора). Так что до тех пор я, хотя и смутно, был уверен, что мое нравственное чувство одержало победу. Но вот случилось это великое бедствие, и все пути, накладываемые общест-

вом, смело с лица земли, — так разве могу я сказать, что вместе с этим не надломилось и мое нравственное чувство? Разве могу я сказать, что мое себялюбие не подняло свою огненную руку? И когда я убил жену, не сделал ли я это просто ради того, чтоб убить? Я не мог отмахнуться от этого сомнения. И то, что я мрачнел все больше и больше, можно назвать только естественным.

Но у меня еще оставалась лазейка: «Даже если бы я тогда не убил жену, она все равно погибла бы, сгорев во время пожара. А раз так, значит, то, что я ее убил, вовсе не следует называть злодейством». Но однажды — лето тогда уже подходило к концу и начались занятия в школе, — когда мы, учителя, сидели за столом в учительской и пили чай, болтая о том о сем, по какому-то поводу разговор опять коснулся землетрясения, происшедшего два года назад. Я тогда замолчал и старался не прислушиваться к тому, что говорили товарищи. Рассказывали, как обвалилась крыша храма Хонгандзи, как обрушилась у Фунамати дамба, как на улице Табарамати расселась земля. Разговор переходил с одного на другое, и один из учителей рассказал, что хозяйка винной лавки «Бингоя» на улице Накамати попала под рухнувшую балку и почти не могла пошевелиться; но тем временем начался пожар, балка загорелась и, к счастью, обломилась, и женщина спаслась. Когда я это услышал, в глазах у меня потемнело и мне показалось, что даже дыхание у меня прервалось. Действительно, в ту минуту я как бы потерял сознание. Когда я наконец пришел в себя, оказалось, что товарищи, видя, как я изменился в лице, и опасаясь, что я упаду вместе со стулом, столпились вокруг меня и суетились, кто поднося мне воду, кто предлагая лекарство. Но голова у меня была так забита новым сомнением, что я не в силах был даже поблагодарить их. Не убил ли я жену ради того, чтобы убить? Не убил ли я ее, опасаясь, что, и придавленная балкой, вдруг она все же спасется? Если бы я оставил ее, не убивая, может быть, она, как та хозяйка «Бингоя», благодаря какой-нибудь случайности могла бы чудом спастись? И ее я безжалостно убил кирпичами... Как я страдал от этой мысли, прошу сэнсэя представить себе самому. И в этих страданиях я принял решение

хоть немного очиститься, по крайней мере, отказавшись от разговоров с семьей Н. о браке.

Однако, когда пришло время покончить с делом, решимость, доставшаяся мне с таким трудом, к сожалению, опять поколебалась. Ведь речь шла о том, чтобы в такую пору, когда приближается срок свадьбы, вдруг заявить об отказе, а для этого следовало прежде всего раскрыть обстоятельства совершенного мною во время землетрясения убийства жены, а также мое мучительное душевное состояние перед отказом. И когда наступила решительная минута, у меня, малодушного, как я себя ни подстегивал, не хватило мужества выполнить задуманное. Сколько раз корил я себя самого за трусость. Но корил тщетно и ни одного должного шага не делал, а тем временем последнее летнее тепло сменилось утренним холодком, и вот уже совсем немного оставалось до дня свадьбы.

В это время я даже редко с кем-нибудь разговаривал. Не один из моих товарищей говорил мне: «Не отложить ли день свадьбы?» И директор целых три раза советовал мне: «Не пойти ли показаться врачу?» Но у меня тогда в ответ на такие сердечные речи уже не хватало энергии, чтобы хоть внешне позаботиться о своем здоровье. И в то же время мне казалось, что воспользоваться беспокойством товарищей и под предлогом болезни отложить свадьбу теперь только трусливая полумера. Вдобавок, с другой стороны, глава семьи господин Н. ошибочно полагал, будто моя мрачность объясняется влиянием холостой жизни. Он все время настаивал: как можно скорей женись, — и в конце концов я дал согласие на бракосочетание, правда, в другой день, но в том же месяце — в октябре, в котором два года назад произошло землетрясение; местом был выбран особняк семьи Н. Когда, изнуренного непрерывными душевными терзаниями, облаченного в жениховскую одежду с гербами, меня привели в зал, где вдоль стен были расставлены импозантные золотые ширмы, как стыдился я самого себя! Мне казалось, будто я негодяй, который украдкой от людей готов совершить злодейство. Нет, не «будто». Я на самом деле был извергом, который, скрыв совершенное им преступление — убийство, теперь замышляет украсть у семьи Н. дочь и состояние. Лицо мое залила краска, сердце мучительно сжалось. И мне захо-

телось, если будет возможность, тут же честно признаться в том, как я убил жену. Этот порыв бурей забушевал у меня в душе. В это время на татами прямо перед тем местом, где я сидел, словно во сне появились белые атласные таби. За ними показалось кимоно, на подоле которого, на фоне волнистого неба, как в тумане, вырисовывались сосны и цапли. Потом глазам моим представился пояс из золотой парчи, серебряная цепочка, белый воротничок и далее высокая прическа, в которой тускло блестели черепаховые гребни и шпильки. Когда я все это увидел, горло мне сжал смертельный страх, и, с трудом переводя дыхание, я, не помня себя, низко склонился, положил руки на татами и отчаянным голосом крикнул: «Я убийца! Я ужасный преступник!..»

* * *

Закончив этими словами рассказ, Накамура Гэндо некоторое время пристально смотрел на меня и потом с вымученной улыбкой на губах:

— Что было дальше, незачем рассказывать. Единственное, что я хочу вам сказать, это что я до нынешнего дня принужден доживать свою жалкую жизнь, слывая сумасшедшим. Действительно ли я сумасшедший, это я всецело оставляю на суд сэнсэя. Но если я и сумасшедший, то не сделало ли меня им чудовище, которое у нас, людей, таится в самой глубине души? Пока живо это чудовище, и среди тех, кто сегодня насмешливо зовет меня сумасшедшим, завтра может появиться такой же сумасшедший, как я... Так я думаю, но не знаю...

Между мной и моим жутким гостем по-прежнему в весеннем холодке колебалось тусклое пламя лампы. Не забывая о том, что позади «Ивовая Каннон», я даже не смел спросить, отчего у него нет одного пальца, и мог лишь сидеть и молчать.

Август 1919 г.

1

Дзюриано Китискэ был родом из деревни Ураками уезда Синюки провинции Хидзэн. Рано лишившись отца и матери, он с малых лет поступил в услужение к местному жителю Отонэ Сабуродзи. Но, отроду придурковатый, он постоянно служил посмешищем для товарищей, которые помыкали им, как скотом, и принуждали выполнять самую тяжелую работу.

Этот Китискэ в возрасте восемнадцати-девятнадцати лет влюбился в единственную дочь Сабуродзи — Канэ. Канэ, разумеется, не обращала внимания на чувства слуги. Вдобавок злые товарищи, быстро все подметившие, стали еще больше над ним издеваться. При всей своей глупости, Китискэ, видимо, стало не вмоготу терпеть эти мучения, и однажды ночью он потихоньку бежал из ставшего родным дома.

С тех пор в течение трех лет о Китискэ не было ни слуху ни духу.

Однако потом он нищим оборванцем снова вернулся в деревню Ураками. И опять стал служить в доме у Сабуродзи. Теперь он не принимал к сердцу презрение товарищей и только старательно работал. Дочери хозяина Канэ он был предан, как собака. Канэ уже была замужем и жила с мужем на редкость счастливо.

Так без всяких происшествий миновали год-два. Но тем временем товарищи почуяли в поведении Китискэ что-то подозрительное. Одержимые любопытством, они принялись внимательно следить за ним. И действительно, обнаружили, что по утрам и вечерам он крестит себе лоб и шепчет молитву. Они сейчас же донесли об этом хозяину. Видимо, опасаясь плохих для себя последствий, Сабуродзи тотчас препроводил Китискэ в управление деревни Ураками.

Когда стражники вели его в нагасакскую тюрьму, он не выказывал никаких признаков страха. Нет, как говорит легенда, глуповатое лицо Китискэ в это время исполнено было такого удивительного величия, что можно было подумать, будто его озаряет небесный свет.

2

Приведенный к судье, Китискэ открыто признался в том, что принадлежит к секте христиан. Тогда между ним и судьей состоялся такой диалог.

Судья. Как называются боги твоей секты?

Китискэ. Принц страны Бэрэн, Эсу Киристо-сама, а также принцесса соседнего царства Санта-Мария-сама.

Судья. Какого же они вида?

Китискэ. Эсу Киристо, являющийся нам во сне, красивый юноша, облаченный в лиловое офурикодэ. Принцесса Санта-Мария в кайдори, расшитом золотом и серебром.

Судья. Какие же основания к тому, что они стали богами этой секты?

Китискэ. Эсу Киристо-сама влюбился в принцессу Санта-Мария, умер от любви и потому стал богом, помышляя спасти тех, кто страдает так же, как он.

Судья. Откуда и от кого ты принял такое учение?

Китискэ. В течение трех лет я скитался по разным местам. И тогда на берегу моря меня просветил незнакомый мне рыжеволосый человек.

Судья. Какой обряд был совершен при твоём посвящении?

Китискэ. Я принял святую воду и был наречен Даюриано.

Судья. А куда направился потом тот рыжеволосый человек?

Китискэ. Это дивная вещь. Он ступил на бурные волны и куда-то скрылся.

Судья. Твой конец близок, а ты рассказываешь небылицы! Смотри, тебе плохо придется.

Китискэ. Я не лгу. Все чистая правда.

Судье речи Китискэ показались странными. Они совер-

шенно расходились с речами христиан, которых он допрашивал раньше. Однако, сколько он ни допрашивал Китискэ со всей строгостью, тот упорно не отступал от того, что сказал раньше.

3

Согласно законам страны, Дзюриано Китискэ в конце концов был приговорен к распятию.

В назначенный день его провели по всему городу, а затем на лобном месте безжалостно пригвоздили к кресту. Крест вырисовывался силуэтом на фоне неба высоко над окружающей бамбуковой оградой. Подняв взор к небу и громким голосом возглашая молитву, Китискэ бесстрашно перенес удары копий палачей. Когда он начал молиться, в небе над его головой сгустились клубы туч и на лобное место потоками хлынул ужасающий дождь. Когда небо опять прояснилось, распятый Дзюриано Китискэ уже испустил дух. Но тем, кто стоял за оградой, казалось, что в воздухе еще разносится его голос, творящий молитву.

Это была простая, бесхитростная молитва: «О принц страны Бэрэн, где ты теперь? Слава тебе!»

Когда его тело сняли с креста, палачи изумились: оно источало дивный аромат. А изо рта у него, сияя свежей белизной, расцвела лилия.

Такова жизнь Дзюриано Китискэ, как она рассказана в «Нагасаки-тёмонсю», «Кокё-идзи», «Кэйко-хайсёкудан» и так далее. И из всех японских мучеников веры это жизнь моего самого любимого святого глупца.

Сентябрь 1919 г.

БАЛ

1

Вечер 3 ноября 1886-го. Акико, семнадцатилетняя девушка, поднимается вместе со своим отцом по широкой лестнице в клубе «Рокумэйкан», где должен состояться бал. Освещенная яркими газовыми фонарями лестница по обеим сторонам обсажена тремя рядами крупных хризантем, похожих на искусственные. В третьем ряду — красные хризантемы, во втором — ярко-желтые, в первом — белоснежные. Их лепестки свисают бахромой. Из танцевального зала, выходящего на верхнюю площадку лестницы, где ряды хризантем кончаются, безудержно льются исполненные ликования браурные звуки оркестра. Акико с детства учили французскому языку и танцам. Но в ее жизни это был первый настоящий бал. Поэтому по дороге сюда, сидя в коляске, она рассеянно отвечала изредка заговаривавшему с ней отцу. Так глубоко в сердце девушки пустило корни беспокойство, которое скорее можно было назвать радостной тревогой. Пока коляска не остановилась у клуба «Рокумэйкан», Акико нетерпеливо поглядывала на проплывавшие мимо редкие фонари, тускло освещавшие токийские улицы.

Но как только она вошла в клуб, произошел случай, заставивший ее сразу же забыть о тревоге. Примерно на середине лестницы они с отцом поравнялись с поднимавшимся перед ними китайским дипломатом. Довольно полный, он посторонился, пропуская их, и устремил на Акико восхищенный взгляд. Бледно-розовое бальное платье, изящная голубая бархотка вокруг шеи, душистая роза в густых волосах — действительно, в тот вечер Акико, потрясая своим обликом китайского дипломата с длинной косой, как бы олицетворяла собой прелесть японской девушки, приобщившейся к цивилизации. А тут еще сбежавший с лестницы

молодой японец во фраке невольно остановился и, чуть повернув голову, тоже стал с восхищением смотреть вслед Акико. Потом, спохватившись, поправил белый галстук и снова заспешил вниз, в вестибюль.

Акико с отцом поднялись на второй этаж, где у входа в зал гостей с достоинством приветствовали хозяева — граф с поседевшими бакенбардами и увешанной орденами грудью и его жена, которая была старше своего мужа, в тщательно продуманном туалете в стиле эпохи Людовика XV. От Акико не укрылось восхищение, появившееся на бесстрастном лице графа, когда он ее увидел. Отец Акико, человек добродушный, радостно улыбаясь, представил дочь графу и его супруге. Акико то робела, то ликовала. Но обуревавшие девушку чувства не помешали ей уловить в лице высокомерной графини что-то вульгарное.

Танцевальный зал тоже был весь украшен буйно цветущими хризантемами. Повсюду в аромате духов бесшумно плыли волны кружев, цветы, веера из слоновой кости, которыми в ожидании кавалеров обмахивались дамы. Акико сразу же оставила отца и присоединилась к одной из этих блестящих групп. Она состояла из девушек, с виду ровесниц, в почти одинаковых голубых и розовых платьях. Они встретили Акико веселым щебетаньем, наперебой восхищаясь ее красотой, тем, как чудесно она сегодня выглядит.

Не успела Акико присоединиться к подругам, как к ней неожиданно подошел морской офицер — француз и, вытянув руки по швам, вежливо поклонился на японский манер. Акико почувствовала, что ее щеки зарделись. Она сразу поняла, что означает этот поклон, и, повернувшись к стоявшей рядом с ней девушке в голубом платье, попросила ее поддержать веер. В ту же минуту офицер, вежливо улыбнувшись, неожиданно обратился к Акико по-японски, хотя с акцентом:

— Разрешите пригласить вас на танец?

И Акико закружилась с офицером в вальсе «Голубой Дунай». У него было загорелое лицо с правильными чертами, густые усы. Акико едва доставала рукой в длинной перчатке до плеча своего кавалера, но, искушенный в танцах, он без

труда вел Акико в толпе вальсирующих, шепча ей на ухо комплименты на певучем французском языке. Девушка отвечала офицеру застенчивой улыбкой и время от времени поглядывала по сторонам, осматривая зал. Под ниспадавшей широкими складками драпировкой из шелкового лилового крепа с вышитыми на ней гербами императорского дома и под китайскими государственными флагами, на которых, выпустив когти, извивались голубые драконы, стояли вазы с хризантемами, весело поблескивая серебром или мрачно отливая золотом в потоке танцующих. И этот поток, подхлестываемый вскипающим, как шампанское, вихрем звуков великолепного немецкого оркестра, ни на миг не прекращал своего головокружительного движения. Встретившись взглядом с танцующей подругой, Акико радостно ответила ей на кивок. В это мгновение к Акико мотыльком разлетелся еще один кавалер: он словно бы заблудился.

Акико знала, что глаза французского офицера неотрывно следят за каждым ее движением. Видимо, в этом еще не свыкшемся с Японией иностранце вызывала интерес легкость, с которой Акико танцевала. Неужели эта прелестная девушка живет, точно кукла, в домике из бумаги и бамбука? Неужели из разрисованной зелеными цветами мисочки величиной с ладонь она ест рис, захватывая его тонкими палочками? Эти вопросы, казалось, мелькали в его приветливой улыбке, во взгляде. Для Акико это все было ново и в то же время лестно. Наверно, поэтому всякий раз, когда удивленный взгляд кавалера устремлялся к ногам Акико в изящных розовых тифельках, они с еще большей легкостью начинали скользить по зеркальному полу.

Наконец офицер заметил, что его похожая на маленького котенка партнерша устала, и участливо заглянул ей в лицо:

— Будем еще танцевать?

— Нон, мерси, — твердо ответила запыхавшаяся Акико.

Тогда офицер, продолжая вальсировать, повел Акико, ловко лавируя, сквозь колышущиеся волны кружев и цветов к вазам с хризантемами. Сделав последний тур, он усадил девушку на стоявший там стул и, выпятив грудь, снова склонился в почтительном, на японский манер, поклоне.

Станцевав еще польку и мазурку, Акико под руку с французским офицером спустилась по лестнице, вдоль которой тянулось три ряда хризантем, белых, желтых и красных, в огромный зал.

Там среди исчезавших и вновь появлявшихся фраков и обнаженных плеч виднелось множество столов, сервированных серебром и хрусталем, — на одних лежали горы мяса и трюфелей, на других высились башни из сэндвичей и мороженого, на третьих были воздвигнуты пирамиды из гранатов и инжира. У стены, где были высажены хризантемы, стояла изящная золотая решетка, увитая искусно сделанными виноградными лозами. Среди листьев висели похожие на осиние гнезда лиловые гроздья винограда. У решетки стоял отец Акико с каким-то господином одного с ним возраста и курил сигару. Увидев Акико, отец, очень довольный, кивнул ей и тут же повернулся к своему знакомому, снова задымив сигарой.

Офицер с Акико направились к одному из столов и взяли мороженое. От Акико не ускользнуло, что ее кавалер не может оторвать глаз от ее рук, волос, шеи, охваченной голубой бархоткой. Это, разумеется, льстило девушке. Но в какой-то миг в ней не могла не шевельнуться свойственная женщинам подозрительность. И когда мимо них прошла молодая женщина, с виду немка, в черном бархатном платье с приколотой к груди красной камелией, Акико, побуждаемая этой подозрительностью, сказала:

— Как прекрасны европейские женщины!

С неожиданной серьезностью офицер покачал головой:

— Японские женщины не менее прекрасны. Особенно вы...

— Вы не правы.

— Не подумайте, что это комплимент. Вы можете смело показаться на любом парижском балу. И очаруете всех. Вы похожи на девушку с картины Ватто.

Акико не знала Ватто. Поэтому воскрешенная словами офицера прекрасная картина прошлого — фонтаны среди деревьев, увядающие розы — мгновенно исчезла, не оставив в ее воображении никакого следа. Но Акико была гораздо

сообразительнее многих своих подруг и, продолжая есть мороженое, ухватилась за спасительную тему:

— Я была бы счастлива побывать на парижском балу.

— Ничего интересного, в Париже балы такие же, как и здесь.

Говоря это, морской офицер обвел взглядом толпившихся у стола людей, хризантемы, и глаза его весело блеснули. Он перестал есть мороженое и добавил, будто обращаясь к самому себе:

— И не только в Париже. Балы везде одинаковы.

Через час Акико под руку с офицером вместе с другими гостями — японцами и иностранцами — вышла на балкон полюбоваться лунной ночью. Обнесенный балюстрадой балкон выходил в огромный парк, где росли, переплетаясь ветвями, сосны с красными фонариками на верхушках. Разлитый в холодном воздухе запах мха и палых листьев напоминал о приближающейся осени. А в танцевальном зале, на фоне драпировки из шелкового лилового крепа, на которой были вышиты шестнадцатилепестковые хризантемы, все так же без устали колыхались волны кружев и цветов. И все так же подхлестывал вихрь звуков оркестра этот людской поток.

Оживленный разговор и смех на балконе нарушали ночную тишину. А когда в темном небе над соснами вспыхнул фейерверк, у всех вырвались громкие возгласы восхищения. Акико весело переговаривалась с подругами. Вдруг она заметила, что офицер, придерживавший ее за локоть, задумчиво любит спустившейся над парком лунной ночью. Акико подумала, что он страдает от ностальгии, и, заглянув ему в лицо, спросила не без кокетства:

— Вы, наверно, думаете сейчас о своей родине?

Офицер, в глазах которого по-прежнему таилась улыбка, медленно повернулся к ней. И вместо того чтобы сказать «нон», погладил ее, как ребенка, по голове.

— О чем же вы тогда думаете?

— Попробуйте отгадать.

Стоявшие на балконе вдруг снова зашумели — будто нале-

тел порыв ветра. Офицер и Акико, словно сговорившись, умолкли, устремив взгляд в нависшее над соснами ночное небо. Там медленно гасли красные и зеленые огни фейерверка, яркими всполохами разгонявшие тьму. Фейерверк показался Акико настолько прекрасным, что ей даже стало грустно.

— Я думал о фейерверке. О том, что жизнь наша подобна фейерверку, — ответил офицер поучительным тоном, глядя сверху вниз в лицо Акико.

2

Осень 1918 года. Акико, ехавшая в свой загородный дом в Камакуре, случайно оказалась в одном вагоне со знакомым молодым писателем. Молодой человек положил на багажную полку букет хризантем, которые он вез своей камакурской знакомой. Вдруг Акико — теперь пожилая замужняя дама Н. — сказала, что всякий раз, когда она видит хризантемы, ей вспоминается одна история, и подробно рассказала про бал в клубе «Рокумэйкан». Молодого человека не могли заинтересовать эти воспоминания, услышанные из первых уст.

Когда рассказ был окончен, молодой человек без всякого умысла спросил:

— Вам неизвестно имя этого французского офицера?

Ответ был совершенно неожиданным:

— Разумеется, известно. Он назвался Жюльеном Вио.

— Значит, это был Loti. Тот самый Пьер Лоти, который написал «Госпожу Хризантему».

Молодой человек пришел в радостное возбуждение. Но госпожа Н., с удивлением глядя на него, тихим голосом несколько раз повторила:

— Нет, Лоти он не назвался. Жюльеном Лоти он не назвался.

КАК ВЕРИЛ БИСЭЙ

Бисэй стоял внизу под мостом и ждал ее.

Наверху, над ним, за высокими каменными перилами, наполовину обвитыми плющом, по временам мелькали полы белых одежд проходивших по мосту прохожих, освещенные ярким заходящим солнцем и чуть-чуть колыхающиеся на ветру... А она все не шла.

Бисэй с легким нетерпением подошел к самой воде и стал смотреть на спокойную реку, по которой не двигалась ни одна лодка.

Вдоль реки сплошной стеной рос зеленый тростник, а над тростником кое-где круглились густые кupy ив. И хотя река была широкая, поверхность воды, стиснутая тростниками, казалась узкой. Лента чистой воды, золотя отражение единственного перламутрового облачка, тихо вилась среди тростников... А она все не шла.

Бисэй отошел от воды и, шагая взад и вперед по неширокой отмели, стал прислушиваться к медленно наполнявшейся сумраком тишине.

На мосту движение уже затихло. Ни звука шагов, ни стука копыт, ни дребезжанья тележек — отсюда не слышалось ничего. Шелест ветра, шорох тростника, плеск воды... потом где-то пронзительно закричала цапля. Бисэй остановился: видимо, начался прилив, вода, набегающая на илистую отмель, сверкала ближе, чем раньше... А она все не шла.

Сердито нахмурившись, Бисэй стал быстрыми шагами ходить по полутемной отмели под мостом. Тем временем вода потихоньку, шаг за шагом затопляла отмель. И его кожи коснулась прохлада тины и свежесть воды. Он поднял глаза — на мосту яркий блеск заходящего солнца уже потух, и на

бледно-зеленоватом закатном небе чернел четко вырезанный силуэт каменных перил... А она все не шла.

Бисэй наконец остановился.

Вода, уже лизнув его ноги, сверкая блеском холодней, чем блеск стали, медленно разливалась под мостом. Несомненно, не пройдет и часа, как безжалостный прилив зальет ему и колени, и живот, и грудь. Нет, вода уже выше и выше, и вот уже его колени скрылись под волнами реки... А она все не шла.

Бисэй с последней искрой надежды снова и снова устремлял взор к небу, на мост.

Над водой, заливавшей его по грудь, давно уже сгустилась вечерняя синева, и сквозь призрачный туман доносился печальный шелест листы ив и густого тростника. И вдруг, задев Бисэя за нос, сверкнула белым брюшком выскочившая из воды рыбка и промелькнула над его головой. Высоко в небе зажглись пока еще редкие звезды. И даже силуэт обвитых плющом перил растаял в быстро надвигавшейся темноте... А она все не шла.

* * *

В полночь, когда лунный свет заливал тростник и ивы вдоль реки, вода и ветерок, тихонько перешептываясь, бережно понесли тело Бисэя из-под моста в море. Но дух Бисэя устремился к сердцу неба, к печальному лунному свету, может быть, потому, что он был влюблен. Тайно покинув тело, он плавно поднялся в бледно светлеющее небо, совсем так же, как бесшумно поднимается от реки запах тины, свежесть воды...

А потом, через много тысяч лет, этому духу, претерпевшему бесчисленные превращения, вновь была доверена человеческая жизнь. Это и есть дух, который живет во мне, вот в таком, какой я есть. Поэтому, пусть я родился в наше время, все же я не способен ни к чему путному: и днем и ночью я живу в мечтах и только жду, что придет что-то удивительное. Совсем так, как Бисэй в сумерках под мостом ждал возлюбленную, которая никогда не придет.

Сентябрь 1919 г.

ОСЕНЬ

1

За Нобуко со времени ее пребывания в женском колледже укрепилась слава талантливой. Почти никто не сомневался в том, что рано или поздно она выступит на литературном поприще. И некоторые даже распространяли слухи, будто она еще в университете написала автобиографический роман в триста с лишним страниц. Однако по окончании университета оказалось, что при матери, вдовствовавшей с двумя дочерьми на руках — Нобуко и ее младшей сестрой Тэруко, еще не окончившей школы, — не очень-то поставишь на своем, да и вообще не обошлось без разных осложнений. И поэтому, прежде чем приняться за писание, она принуждена была, как это обычно водится на свете, начать с замужества.

У нее был двоюродный брат Сюнкити. В то время он еще числился студентом филологического факультета, но в будущем, видимо, намеревался вступить в ряды писателей. Нобуко давно уже была со своим кузеном-студентом в хороших отношениях. А с тех пор как у них появились общие литературные интересы, их отношения стали еще более дружескими. Только, в отличие от Нобуко, Сюнкити не проявлял никаких признаков преклонения перед модным в то время толстовством. Он все время сыпал ироническими замечаниями и афоризмами в духе Франса. Такая насмешливость Сюнкити иногда сердила во всем серьезную Нобуко. Но, даже сердясь, она невольно чувствовала в иронии и афоризмах Сюнкити нечто такое, чего она не могла презирать.

Поэтому во время пребывания в колледже она нередко ходила с ним на выставки и концерты. Впрочем, большей частью их сопровождала и ее младшая сестра Тэруко. И по

дороге из дому, и на пути домой они непринужденно смеялись и болтали. Только сестренка Тэруко иногда оказывалась в стороне от разговора. Но она с детским интересом разглядывала в витринах зонтики и шелковые шали, видимо не чувствуя особого недовольства от того, что с ней не считались. Впрочем, едва заметив это, Нобуко непременно меняла тему и сейчас же старалась опять вовлечь сестру в разговор. И тем не менее первой забывала о Тэруко всегда сама Нобуко. А Сюнкити, как будто нисколько всем этим не интересуясь, по-прежнему весело пошучивая, шел медленно, крупными шагами в головокружительном людском потоке.

Само собой разумеется, отношения между Нобуко и Сюнкити в глазах всех, кто их знал, были достаточным основанием для предположений, что со временем они поженятся. Однокурсницы завидовали ее будущему, ревновали ее. И особенно сильно (как это ни смешно) ревновали те, кто не знал Сюнкити. Сама Нобуко, с одной стороны, отрицала справедливость их догадок, с другой — намеренно давала почувствовать, что они не лишены основания. Таким образом, в колледже ее однокурсницы всегда представляли себе ее и Сюнкити вместе, совсем как на фотографии жениха и невесты.

Однако по окончании колледжа Нобуко вопреки всем ожиданиям вдруг вышла замуж за одного молодого человека, выпускника Высшего коммерческого училища, который должен был в ближайшее время поступить на службу в торговую фирму. И через два-три дня после свадьбы она вместе с мужем уехала в Осака, на место его службы. По рассказам тех, кто провожал ее на Центральном вокзале, Нобуко, такая же, как всегда, с ясной улыбкой утешала и ободряла сестру Тэруко, ежеминутно готовую расплакаться.

Подруги Нобуко недоумевали. К этому недоумению приешивалось и чувство странной радости, и чувство ревности, но совсем в другом смысле, чем раньше. Одни верили в Нобуко и приписывали все воле матери. Другие сомневались в ней и говорили, что ее чувства переменялись. Но они не могли сами не понимать, что все эти объяснения не более как догадки. Отчего она не вышла замуж за Сюнкити? Некоторое время после ее отъезда они при каждой встрече

непрерывно серьезно обсуждали этот вопрос. А потом, по прошествии двух месяцев, Нобуко была совершенно забыта. Понятно, и толки о романе, который Нобуко должна была написать, — тоже.

Нобуко тем временем в одном из пригородов Осаки строила домашний очаг, долженствовавший принести счастье. Их дом стоял в сосновой роще, в месте, исключительно тихом даже для этого района. Запах сосновой смолы и солнечный свет — все это в отсутствие мужа всегда заполняло живую тишину нового домика с мезонином. В такие тихие предвечерние часы Нобуко иногда отчего-то задумывалась и тогда, выдвинув ящик рабочего столика, разворачивала сложенную на дне его розовую почтовую бумагу. На этой бумаге мелко пером написано было следующее:

«...как подумаю о том, что сегодня я провожу последний день с моей сестрой, даже в эту минуту, когда пишу, у меня все время льются слезы. Сестрица! Пожалуйста, пожалуйста, простите меня. Тэруко не знает, чем ей ответить на благодарную жертву сестры.

Сестрица решилась на этот брак ради меня. Пусть она говорит, что это не так, я все прекрасно понимаю. В тот вечер, когда мы вместе были в театре Тэйкёку, сестрица спросила меня, люблю ли я Сюн-сана. И еще сказала, что, если я люблю его, она сделает все, что может, и пусть я выйду за Сюн-сана. Сестрица тогда, наверно, прочитала письмо, которое я хотела отдать Сюн-сану. Когда это письмо пропало, я, право, очень досадовала на сестрицу. (Простите меня! Уже за это одно не знаю, как мне просить прощения.) Вот поэтому в тот вечер и сердечные слова сестрицы показались мне насмешкой. Я рассердилась и даже не ответила как следует — сестрица, наверно, это не забыла. Но когда через несколько дней вдруг сразу решилось замужество сестрицы, я готова была умереть, лишь бы только выпросить у нее прощение. Сестрица тоже любит Сюн-сана. (Не скрывайте, я хорошо знаю!) Если бы только не ее заботы обо мне, она непременно вышла бы за него сама. И все же сестрица столько раз меня уверяла, что не думает о Сюн-сане. И наконец решилась на замужество, к которому у ней совсем не лежала душа. Дорогая сестрица! Помните ли вы еще, как я сегодня

пришла с курицей в руках и сказала ей: «Простись с сестрицей! Она уезжает в Осака!» Я хотела, чтобы и моя курица просила прощения у сестрицы! И даже мама, которая ни о чем не знает, тоже заплакала.

Сестрица! Завтра вы уедете в Осака. Но, пожалуйста, никогда не забывайте вашей Тэруко! Тэруко каждое утро, кормя курицу, вспоминает о сестрице и потихоньку плачет...»

Каждый раз, когда Нобуко читала это совсем детское письмо, у нее наворачивались слезы на глаза. В особенности невыразимо щемило у нее сердце при воспоминании о Тэруко в ту минуту, когда они на вокзале садились в вагон и сестра потихоньку сунула ей в руку это письмо. Но действительно ли ее замужество было от начала до конца жертвой, как это казалось ее сестре? Такие сомнения после только что пролитых слез ложились на ее душу тяжестью. Чтобы избавиться от этой тяжести, Нобуко обычно тихо погружалась в приятную грусть. Тихо, глядя на то, как за окном солнечные лучи, озаряющие сосновый лес, понемногу окрашиваются закатной желтизной...

2

Три месяца после свадьбы они, как и всякие молодожены, провели счастливо.

Муж Нобуко был немного женственный, молчаливый человек. У него было обыкновение каждый день, придя со службы, проводить после ужина несколько часов с Нобуко. Шевеля крючком свое вязанье, Нобуко рассказывала ему о нашумевших в последнее время романах и драмах. Иногда в этих рассказах проскальзывало мировоззрение студентки женского колледжа, отдававшее христианством. Муж, раскрасневшись от выпитой за ужином водки, слушал ее с любопытством, опустив на колени недочитанную вечернюю газету. Но чего-нибудь похожего на собственное мнение он никогда не высказывал.

Почти каждое воскресенье они на целый день отправлялись отдыхать куда-нибудь в места для прогулок, в Осака или

в окрестности. Если им приходилось пользоваться поездом или трамваем, Нобуко всегда бросалась в глаза грубость жителей Кансай, не стеснявшихся есть и пить где попало. И она с особым удовольствием думала о том, как благородно держится ее тихий муж. Действительно, казалось, среди этих людей изящная фигура ее мужа, начиная от шляпы и пиджака и кончая желтыми ботинками на шнурках, распространяет какую-то особую, похожую на запах туалетного мыла атмосферу опрятности. А когда как-то раз во время летнего отпуска они выбрались посмотреть на девочек-танцовщиц и она сравнила мужа с сослуживцами, случайно оказавшимися в том же чайном домике, то невольно почувствовала что-то похожее на гордость. Но муж, к ее удивлению, относился к своим вульгарным сослуживцам, по-видимому, вполне дружелюбно.

Тем временем Нобуко вспомнила о давно уже заброшенной литературной работе. И вот в отсутствие мужа она стала на час-другой садиться за стол. Муж, услышав об этом, сказал: «Что ж, в конце концов станешь писательницей», — и его нежный рот сложился в улыбку. Однако хотя Нобуко и садилась за стол, вопреки ее ожиданиям перо не двигалось. И она то и дело ловила себя на том, что сидит, опершись на руку, и рассеянно прислушивается к хору цикад в сосновой роще, дремлющей под палящим небом.

Но вот, когда последний период жары уже готов был смениться ранней осенью, однажды, отправляясь на службу, муж захотел сменить пропотевший воротничок. К сожалению, ни одного воротничка дома не оказалось, все были сда ны в прачечную. Муж, всегда приветливый, недовольно нахмурился. Пристегивая подтяжки, он — чего раньше никогда не случалось — колко сказал:

— Плохо, если ты только и знаешь, что писать романы.

Нобуко молчала и, опустив глаза, счищала пыль с пиджака.

Через два-три дня вечером муж, начав с помещенной в вечерней газете статьи по продовольственному вопросу, говорил о том, нельзя ли еще немного уменьшить месячные расходы.

— Не вечно же тебе оставаться студенткой! — вырвалось у него.

Нобуко, равнодушно отвечая, вышивала мужу галстук. Муж с совершенно неожиданной настойчивостью продолжал свое.

— Вот хоть этот галстук — разве не дешевле купить готовый? — сказал он раздраженным тоном.

Она опять промолчала. В конце концов муж, надувшись, уткнулся в какой-то свой коммерческий журнал. Но когда свет в спальне был потушен, Нобуко, лежа спиной к мужу, почти шепотом произнесла:

— Я не буду больше писать романов.

Муж не ответил. Немного погодя она еще тише повторила то же самое. И сейчас же за тем заплакала. Муж слегка побранил ее. Все же и после этого слышались ее прерывистые всхлипывания. Но потом Нобуко вдруг тесно прижалась к мужу...

На другой день они опять стали дружными супругами, как было раньше.

Но вскоре случилось так, что и после полуночи муж еще не вернулся со службы. Когда же он наконец пришел, то от него несло водкой и он не мог снять с себя макинтош.

Нобуко, насупив брови, быстро передела мужа. А он, с трудом ворочая языком, еще и съязвил:

— Сегодня вечером меня не было дома, верно, роман здорово подвинулся!

Несколько раз с его женственных губ слетали подобные слова. Когда в этот вечер Нобуко ложилась спать, из глаз у нее невольно покатались слезы. Если бы это видела Тэруко, как бы она плакала вместе с ней! «Тэруко! Тэруко! Единственное мое прибежище — это ты...» — не раз мысленно взывала Нобуко к сестре, мучаясь тем, что от спящего мужа разит винным перегаром, и ворочалась в постели всю ночь, не смыкая глаз.

Но и это на другой день кончилось тем, что они само собой незаметно помирились.

Так это повторялось не раз и не два, а тем временем наступила поздняя осень. Нобуко все реже садилась за стол и все реже бралась за перо. В это время и муж уже не выслуши-

вал ее разговоров о литературе с прежним любопытством. По вечерам, сидя друг против друга за хибати, они убивали время в мелочных разговорах о домашнем хозяйстве. Такие темы для мужа, по крайней мере после вечерней водки, представляли наибольший интерес. Все же иногда Нобуко глядела на него с сожалением. Но он, ни о чем не подозревая, покусывая недавно отпущенную бородку, откровенней, чем обычно, говорил с задумчивым видом:

— Если бы хоть пошли дети...

Между тем вскоре в ежемесячных журналах стало появляться имя двоюродного брата. Выйдя замуж, Нобуко, точно забыв о Сюнкити, прекратила переписку с ним. Только из писем сестры она знала, что с ним, — что он окончил университет, что он организовал с товарищами журнал. Она и не обнаруживала желаний знать о нем сколько-нибудь больше. Но когда видела в журналах его рассказы, на сердце у нее становилось тепло, как в прежние времена. Перелистывая страницы, Нобуко улыбалась про себя. Сюнкити и в своих рассказах применял, как Миямото Мусаси, два меча — иронию и юмор. Ей, однако, — может быть, беспричинно, — казалось, что за этой веселой иронией чувствуется какая-то разочарованность, раньше ему несвойственная. И думала она об этом не без самообвинения.

С этих пор Нобуко стала держаться по отношению к мужу еще нежней. За остывшим к ночи хибати муж видел ее всегда ясно улыбающееся лицо. Это лицо было напудрено и казалось моложе, чем раньше. Раскладывая свое рукоделие, она вслух перебирала воспоминания о времени их свадьбы в Токио. То, что она так подробно это помнила, было для мужа и неожиданно, и приятно. «Ты даже это помнишь!» — подтрунивал он, и Нобуко отвечала ему только безмолвным ласковым взглядом. Но почему все это так врезалось в ее память — она и сама иногда удивлялась про себя.

Вскоре письмо матери известило Нобуко, что она приготовила свадебные подарки для младшей дочери. В письме говорилось также, что Сюнкити перед свадьбой с Тэруко переехал в новый дом в пригороде, в районе Яманотэ. Нобуко сейчас же написала матери и сестре длинное поздравительное письмо. «Мы тут только вдвоем, без прислуги, и по-

тому, как ни жаль, на свадьбу я не смогу приехать...» И когда она так писала, ее кисть (отчего — она сама не знала) не раз останавливалась на бумаге. Тогда она поднимала глаза и смотрела на сосновую рощу за окном. Сосны темнели густой зеленью под бледным зимним небом.

Вечером Нобуко говорила с мужем о замужестве Тэруко. Муж, по обыкновению слегка улыбаясь, с интересом слушал, как Нобуко подражает манере сестры разговаривать. А Нобуко почему-то казалось, словно она рассказывает о Тэруко самой себе.

— Ну, пора спать! — заметил через несколько часов муж, поглаживая свою мягкую бородку, и лениво поднялся от хибати. Нобуко, раздумывая, что подарить сестре, что-то чертила щипцами на золе и вдруг, подняв голову, сказала:

— А странно, мне кажется, будто и у меня появился брат.

— Ну, конечно, раз у тебя есть сестра! — сказал муж, но и на эти слова она, по-прежнему задумчиво глядя перед собой, ничего не ответила.

Свадьба Тэруко и Сюнкити состоялась в середине декабря. В тот день перед полуднем посыпались белые хлопья. Нобуко, позавтракав в одиночестве, долго не могла отделаться от запаха рыбы, которую она ела за завтраком. «Может быть, в Токио тоже идет снег», — думала она, прислонившись к хибати в полутемной столовой. Снег пошел сильней. А привкус рыбы во рту упорно не проходил.

3

Осенью следующего года Нобуко вместе с мужем, получившим служебную командировку, после двухлетнего отсутствия снова ступила на улицы Токио. Но у мужа в распоряжении было всего несколько дней; занятый делами, он почти не имел возможности пойти с ней куда-нибудь и только на несколько минут заглянул с ней к ее матери. Поэтому, отправившись навестить сестру и ее мужа в их новой квартире в пригороде, Нобуко, сойдя на конечной загородной остановке трамвая, покачивалась в коляске рикши в одиночестве.

Их дом стоял на самой окраине, где улицы уже подходили к полям. Но по сторонам теснились ряды новых домиков,

видимо, сдававшихся внаем. Ворота с навесом, живые изгороди, белье, развешанное на шестах для просушки, — все это повсюду было одинаково. Этот обиденный вид жилищ немного разочаровал Нобуко.

Но когда она у входа окликнула хозяев, навстречу ей вдруг вышел сам кузен, Сюнкити. Увидев редкую гостью, он, как бывало прежде, весело закричал:

— Ты?

Нобуко заметила, что волосы у него не такие вихрастые и плохо остриженные, как раньше.

— Давно не видались.

— Входи! К сожалению, я один.

— А Тэруко? Нет дома?

— Пошла по делу. И прислуга тоже.

Нобуко, как-то странно смущаясь, тихо сняла в углу передней пальто с элегантно подкладкой.

Сюнкити провел ее в небольшую комнату — кабинет и одновременно гостиную. Повсюду груды лежали книги. Вокруг столика из темно-красного сандалового дерева, на который сквозь слегка раздвинутые сѣдзи светило закатное солнце, газет, журналов, рукописей было разбросано столько, что не подступиться. Единственное, что среди всего этого свидетельствовало о присутствии молодой жены, — это прислоненное к стене токонома новое кото. Нобуко некоторое время не сводила удивленных глаз с этой обстановки.

— Что ты приезжаешь, я знал из письма, но что приедешь сегодня — не думал. — Зажигая папиросу, Сюнкити кинул на гостью теплый взгляд. — Ну, как живет в Осака?

— А Сюн-сан как? Счастлив? — Нобуко тоже после первых же слов почувствовала, как в ней оживает совсем прежнее теплое чувство. Тягостные воспоминания этих двух лет, когда они даже почти не переписывались, вопреки ожиданию не создавали неловкости.

Грея руки у хибати, они говорили о том о сем. Литературные произведения Сюнкити, новости про общих знакомых, сравнение Токио и Осака... Тем для разговора находилось столько, что всех было не затронуть. Но, точно сговорившись, они совершенно не касались повседневной жизни.

И это еще сильнее заставляло Нобуко чувствовать, что она разговаривает с двоюродным братом.

Иногда, однако, между ними водворялось молчание. Каждый раз в этих случаях Нобуко, все так же улыбаясь, опускала глаза на золу в хибати. Сама себе не сознавая, она смутно чего-то ждала. Тогда, намеренно или случайно, Сюнкити сейчас же находил новую тему для разговора и всегда разбивал это ее ожидание. Нобуко невольно взглядывала на Сюнкити. Но он спокойно курил папиросу, и лицо его сохраняло выражение полной непринужденности.

В это время вернулась домой Тэруко. Увидев сестру, она так обрадовалась, что не в силах была протянуть к ней руки. У Нобуко губы улыбались, а на глаза уже навертывались слезы. Обе они, позабыв о Сюнкити, стали расспрашивать друг друга и рассказывать друг другу о своей жизни за эти годы. Тэруко, оживленная, с проступившим на щеках румянцем, не упустила случая рассказать даже о курах, которых она и теперь разводила. Сюнкити с папиросой во рту, довольный, смотрел на них и по-прежнему только усмехался.

Тут пришла и служанка. Сюнкити взял пачку открыток, которую она принесла, и, усевшись за стол, забегал пером. Для Тэруко то, что и служанка тоже уходила, по-видимому, явилось неожиданностью.

— Значит, когда сестрица пришла, никого не было.

— Да, один Сюн-сан.

Нобуко казалось, что ответить так — значит заставить себя быть спокойной. Тогда Сюнкити, не оборачиваясь, сказал:

— Поблагодари мужа. И чай тоже я устроил.

Тэруко переглянулась с сестрой и шаловливо засмеялась. Но мужу она намеренно не ответила.

Потом Нобуко с сестрой и ее мужем сели за стол ужинать. Как пояснила Тэруко, яйца, поданные на стол, были от собственных кур. Сюнкити, угощая Нобуко вином, высказывал разные мысли в духе социалистов, вроде таких: «Человеческая жизнь основана на грабеже. Начиная хотя бы с этих яиц!» Несмотря на это, из них троих больше всех любил яйца, несомненно, сам Сюнкити. Тэруко нашла, что это забавно, и по-детски рассмеялась. За ужином и болтовней Нобуко

невольно вспоминала печальные сумерки в столовой домика в далекой сосновой роще.

Разговор не умолкал и после того, как съели фрукты. Сюнкити, слегка навеселе, сидел, скрестив ноги, под электрической лампой и до поздней ночи с жаром сыпал своими обычными парадоксами. Его красноречие еще больше молодило Нобуко. С загоревшимися глазами она сказала:

— Пожалуй, и я начну писать!

Тогда кузен вместо ответа процитировал изречение Реми де Гурмона. Оно гласило: «Музы — женщины, значит, полонить их могут только мужчины». Нобуко и Тэруко, объединившись, не пожелали признать авторитета Гурмона.

— Значит, никому, кроме женщин, нельзя стать музыкантом! Аполлон ведь мужчина! — серьезно сказала Тэруко.

В таких разговорах прошло время, становилось поздно. Нобуко оставалась ночевать.

Перед тем как лечь, Сюнкити отодвинул ставни на наружной галерее, в ночном халате спустился в тесный садик и, ни к кому в отдельности не обращаясь, произнес:

— Выйдите-ка! Чудная луна!

Нобуко одна последовала его примеру и, уже сняв чулки, сунула ноги в гэта. Босые ноги ощущали холодок росы.

Луна висела на ветвях тощего кипарисовика в углу сада. Кузен стоял под деревом и смотрел на светлое ночное небо.

Трава уже разрослась.

Пугливо оглядывая запущенный сад, Нобуко осторожно подошла к нему. Но он, не сводя глаз с неба, только пробормотал:

— Вот она, тринадцатая ночь!

Несколько минут длилось молчание, потом он тихо перевел взгляд и сказал:

— Пойдем посмотрим курятник!

Нобуко молча кивнула. Курятник был как раз в противоположном углу сада. Они медленно, плечо к плечу, пошли туда. Но внутри покрытой рогожами будочки пахло курами и виднелись только смутные тени. Заглянув в будочку, Сюнкити едва слышно шепнул:

— Спят!

«Куры, у которых люди отбирают яйца...» — невольно подумала Нобуко, стоя на траве.

Когда они вернулись из сада, Тэруко, сидя за столом мужа, задумчиво смотрела на лампу. На лампу, по абажуру которой ползла зеленая муха...

4

На другое утро Сюнкити надел свой лучший пиджак и сейчас же после завтрака торопливо направился в переднюю. Ему надо было идти на заупокойную службу по случаю годовщины смерти одного товарища.

— Подожди меня, хорошо? Я еще до полудня непременно вернусь, — убеждал он Нобуко, надевая пальто. Но она, держа его шляпу в своих тонких руках, только молча улыбалась.

Проводив мужа, Тэруко усадила сестру у хибати и стала хлопотливо угощать ее чаем. О соседях, о посещениях репортеров, о заграничном театре, куда они ходили с Сюнкити, — им как будто было еще о чем поговорить и поговорить с удовольствием. Но Нобуко ушла в себя. Спихватившись, она замечала, что сидит и отделяется ничего не значащими ответами. В конце концов это не укрылось и от Тэруко. Она тревожно всматривалась в лицо сестры и спрашивала:

— Что с вами?

Но что с ней, Нобуко и сама как следует не понимала.

Когда стенные часы пробили десять, Нобуко, подняв грустные глаза, сказала:

— А Сюн-сана все нет.

Тэруко при словах сестры тоже взглянула на часы, но с неожиданной сухостью коротко ответила:

— Еще нет.

Нобуко показалось, что в этих словах сказывается настроение молодой женщины, пресыщенной любовью мужа. От этой мысли на сердце у нее стало еще тоскливей.

— Тэру-сан счастлива... — полушутя сказала Нобуко, пряча подбородок в воротник кимоно. Но она не могла скрыть проскользнувший в этих словах тон серьезной зависти. Однако Тэруко с невинным видом весело засмеялась и сделала сердитые глаза:

— Я вам покажу! — И сейчас же, ласкаясь, добавила: — Ведь и сестрица счастлива. — Эти слова больно резанули Нобуко.

Слегка подняв веки, она возразила:

— Ты думаешь? — Возразив, она сейчас же раскаялась. Изумленный взгляд Тэруко на мгновение встретился со взглядом сестры. На ее лице тоже виднелось с трудом скрываемое раскаяние. Нобуко с усилием улыбнулась: — Я счастлива уже тем, что ты так думаешь.

Наступило молчание. Сидя под отстукивающими секунды стенными часами, они бессознательно прислушивались к бульканью котелка на хибати.

— Разве братец к вам неласков? — немного погодя спросила Тэруко боязливым шепотом. В ее голосе явно слышалось сочувствие. Но в эту минуту душе Нобуко ненавистней всего была жалость. Положив на колени газету, она опустила глаза и ничего не ответила. В газете, как и в тех, что в Осака, писали о ценах на рис.

В это время в затихшей столовой раздался еле слышный плач. Нобуко оторвалась от газеты и увидела за хибати сестру, закрывшую лицо руками.

— Не надо плакать.

Но Тэруко, несмотря на увещевания сестры, все не переставала плакать. Чувствуя жестокую радость, Нобуко молча смотрела на вздрагивающие плечи сестры. Потом, как будто боясь, чтобы не услышала прислуга, нагнулась к Тэруко и тихо проговорила:

— Если я виновата, прости. Если только Тэру-сан счастлива, это мне всего дороже. Право! Если только Сюн-сан любит Тэруко...

Пока она так говорила, голос ее под действием собственных слов постепенно смягчился. Тогда Тэруко вдруг опустила рукав и подняла залитое слезами лицо. В ее глазах сверх ожидания не было ни печали, ни гнева. Их высушила и зажгла непобедимая ревность.

— Почему же сестрица... почему сестрица вчера вечером... — Не договорив, Тэруко опять закрыла лицо руками и судорожно зарыдала...

Два-три часа спустя Нобуко, торопясь попасть к конеч-

ной остановке трамвая, снова покачивалась в коляске рикши. Весь видимый ее глазам мир помешался в четырехугольном целлулоидном оконце, прорезанном в поднятом верхе коляски. В оконце медленно, безостановочно уходили назад домики предместья и пожелтевшие ветви деревьев. И неподвижным среди всего этого было только одно покрытое легкими облачками холодное осеннее небо.

На душе у Нобуко был покой. Но над этим покоем господствовала печальная покорность судьбе. Когда припадок Тэруко прошел, то примирение, вызвав новые слезы, без труда сделало их прежними дружными сестрами. Но случившееся, поскольку оно случилось, все еще тяжело лежало у Нобуко на сердце. И когда, не дожидаясь кузена, она садилась в коляску, ее сердце леденила мысль, что теперь они с сестрой навеки чужие.

Вдруг Нобуко подняла глаза. В целлулоидном оконце показалась фигура кузена, с тросточкой в руках шагавшего по грязной улице. У нее дрогнуло сердце. Остановить коляску? Или проехать мимо? Сдерживая биение сердца, она в своей коляске с поднятым верхом некоторое время бесплодно колебалась. Но расстояние между ней и Сюнкити все сокращалось. Он медленно шел под тусклым солнечным светом по покрытой лужами улице.

«Сюн-сан!» — чуть не сорвалось с ее губ. В самом деле, в эту минуту фигура Сюнкити, такая знакомая ей, очутилась у самой коляски. Она все еще не решалась. И Сюнкити, ничего не подозревая, прошел мимо. Затуманенное небо, там и сям ряды крыш, пожелтевшие ветви деревьев — в оконце опять виднелись только пустынные улицы предместья.

И, ежась под поднятым верхом, всем существом своим ощущая печаль, Нобуко невольно с горечью подумала: «Осень...»

Апрель 1920 г.

Танэко, получив приглашение на свадебную церемонию дочери приятеля мужа, некоего предпринимателя, взволнованно заговорила с мужем, уходящим на работу:

— Ты считаешь, что я тоже должна идти?

— По-моему, должна.

Завязывая галстук, муж ответил изображению Танэко в зеркале. Поскольку она отражалась в зеркале, стоявшем на комод, он ответил не Танэко, а скорее ее бровям.

— Это будет проходить в Императорском отеле?

— В Императорском?

— А ты разве не знал?

— Знал, ой — жилет!

Танэко быстро помогла мужу надеть жилет и снова заговорила о приглашении.

— В Императорском отеле будет, видимо, европейская еда?

— Само собой разумеется.

— Я могу попасть в трудное положение.

— Почему?

— Почему? Потому, что меня никогда не учили есть европейскую еду.

— А разве кого-нибудь учили?

Муж надел пиджак и фетровую шляпу и пробежал глазами лежавшее на комод приглашение.

— Оно же на шестнадцатое апреля? — сказал он.

— Да, там значилось шестнадцатое или семнадцатое...

— Тогда есть еще три дня. Можешь подучиться.

— Ну что ж, своди меня в воскресенье куда-нибудь!

Однако муж ушел на фирму, оставив просьбу без ответа.

Провожая его глазами, Танэко не могла не испытать грусть. Эта грусть передавалась всему ее телу. У нее не было детей, и, оставшись одна, она взяла лежавшую у хибати газету и стала ее просматривать, статью за статьей, пытаясь найти то, что ее интересовало. Меню она нашла, а о том, как нужно есть европейскую еду, не нашла ни слова. Как едят эту европейскую еду, ничего не говорилось. Предполагая, что об этом должно быть написано в учебнике для женской гимназии, она быстро вынула из ящика комода два старых тома энциклопедии домоводства. Эти книги сохранили еще следы пальцев. Более того, они еще хранили обаяние прошлого. Раскрыв их на коленях, Танэко пробежала глазами оглавление, еще старательнее, чем когда читала роман.

— Стирка хлопчатобумажных и полотняных тканей. Платки, фартуки, таби, скатерти, тюль...

— Дорожки, татами, линолеум...

— Кухонная утварь. Фарфор, фаянс, металлическая посуда...

Потерпев неудачу с первым томом, Танэко взялась за второй.

— перевязка. Твердая повязка, ее наложение...

— Роды. Одежда ребенка, родильная комната, акушерские принадлежности...

— Доходы и расходы. Жалованье, проценты, доходы от бизнеса...

— Уход за домом. Обычаи семьи, обязанности хозяйки, экономия, общение, вкус...

Танэко отбросила оказавшуюся бесполезной энциклопедию и стала причесываться, устроившись у туалетного столика из моми. И единственное, что ей не попало на глаза, — как есть европейскую еду...

На следующий день муж, видя беспокойство Танэко, повел ее в ресторан на Гиндзе. Сев за столик, Танэко убедилась, что, кроме них, в ресторане нет никого, и успокоилась. Она решила, что ресторан сейчас не в моде, но потом подумала, что и на бонусы мужа оказывает влияние неблагоприятная конъюнктура.

— Жаль, что посетителей нет.

— Не нужно шутить. Я специально привел тебя сюда, когда нет посетителей.

Потом муж взял нож и вилку и стал учить жену, как надо есть европейскую еду. Разумеется, он все это делал несколько приблизительно. Втыкая в каждую спаржу нож, он отдавал обучению Танэко все свои знания. Она, конечно, тоже старалась изо всех сил. Когда им принесли апельсины и бананы, она не могла не подумать о том, сколько им все это будет стоить.

После ресторана они прогулялись по Гиндзе. Выполнив свой долг, муж испытывал удовлетворение. А Танэко без конца вспоминала, как нужно пользоваться вилкой, как пить кофе. А потом испытывала болезненный страх: «А вдруг я ошибусь?» Узкие переулочки Гиндзы были тихими. Падавшие на асфальт солнечные лучи предвещали скорую весну. Но Танэко смогла лишь наполовину ответить на заботу мужа и шла, с трудом волоча ноги...

В отель Тэйкоку она пришла, разумеется, впервые. Когда она поднималась вслед за мужем, который был в кимоно с фамильным гербом, по узкой лестнице, ей стало немного неуютно от роскошной отделки с использованием ояиси и дорогой черепицы. Ей даже показалось, что по стене бежит огромная мышь. Показалось? На самом деле это ей действительно показалось. Она потянула мужа за рукав:

— Ой, посмотри, мышь.

Но муж, повернувшись, растерянно спросил:

— Где? Ты, наверное, ошиблась.

Еще до того как она сказала это мужу, Танэко знала, что с ней иногда случаются оптические обманы. Но каждый раз, сталкиваясь с этим, не могла не почувствовать, что с нервами у нее не все в порядке.

Сидя за столом, они старательно орудовали ножом и вилкой. Танэко время от времени поглядывала на невесту, на голову которой была белая шелковая косынка на красной подкладке. Но еще больше тревожило ее блюдо с какой-то едой. Положив кусочек хлеба в рот, она вся задрожала. А уж когда уронила на пол нож, совсем растерялась. К счастью, банкет подошел к концу. Когда она увидела блюдо с салатом, сразу же вспомнила слова мужа:

— Когда подадут салат, знай, что с банкетом покончено.

Танэко вздохнула наконец с облегчением, но тут нужно было встать и выпить бокал шампанского. Это были самые печальные минуты за все время банкета. Она неловко поднялась со стула и, подняв бокал до нужного уровня, почувствовала, что по спине у нее бегут мурашки.

Они сели в трамвай на последней остановке и свернули на узкую улочку Токотё. Муж был довольно пьян. Танэко, следя за тем, чтобы он не споткнулся, что-то оживленно говорила. Они как раз проезжали мимо хорошо освещенной закусочной. Там какой-то мужчина, заигрывая с официанткой, пил сакэ, закусывая осьминогом. Эту сценку увидела, конечно, только Танэко. И она не смогла не отругать этого обросшего мужчину. И в то же время не могла не позавидовать его раскованности. Когда они проехали закусочную, начались кварталы жилых домов. Поэтому улицы становились все темнее. В тот вечер Танэко все отчетливее ощущала запах распускавшихся почек и все острее вспоминала о своей родной деревне. О своей матери, гордившейся тем, что, купив двадцать три облигации, «она теперь стала владелицей крупной недвижимости(!)»...

На следующее утро Танэко с кислым выражением лица спросила мужа. Тот, как всегда, повязывал перед зеркалом галстук.

— Ты читал сегодняшнюю газету?

— Нет.

— Не читал, что дочь торговца бэнто в Хондзё сошла с ума?

— Сошла с ума? Почему?

Повязывая галстук, муж смотрел на отражавшуюся в зеркале Танэко. Не на саму Танэко, а на ее брови.

— На работе ее кто-то поцеловал.

— Разве от этого сходят с ума?

— Значит, сходят. Я подумала, что сходят. И мне приснился страшный сон...

— Какой сон? Этот галстук с нового года придется поменять.

— Я сделала какую-то очень серьезную ошибку. Что за

ошибка, не знаю. Но, сделав ее, я бросилась под поезд. Поезд как раз подходил.

— Когда ты подумала, что он тебя задавит, нужно было тут же просыпаться.

Муж надел пиджак и фетровую шляпу. Потом повернулся к зеркалу, проверяя, как повязан галстук.

— Нет, и после того как меня переехал поезд, я продолжала жить во сне. И когда мое тело было раздавлено на мелкие куски, на рельсах остались лишь мои брови. И все это только потому, что последние несколько дней единственное, чем я занималась, — училась, как следует есть европейскую еду.

— Может быть, ты и права.

Провожая мужа, Танэко говорила как бы про себя:

— Если, вернувшись вечером домой, ты меня выгонишь, я не буду знать, что делать.

Однако муж, ничего не ответив, быстро пошел на фирму. Оставшись наконец одна, Танэко села у хибати и стала пить дешевый зеленый чай. Но покой в ее душе не наступал. В газете, которую она держала на коленях, была фотография цветущего Уэно. Рассеянно глядя на нее, она решила выпить еще чашечку чая. Но на нем появилась какая-то пленка, похожая на слюду. К тому же, непонятно почему, она напомнила ее брови.

—

Танэко, подперев щеку, неотрывно смотрела на чай, не делая даже движения, чтобы пойти причесаться.

РАССКАЗ ОБ ОДНОЙ МЕСТИ

ЗАВЯЗКА

Среди вассалов князей Хосокава в Хиго был некий самурай по имени Таока Дзиндайю. Прежде он был ронином дома Ито в Хюга, но затем по рекомендации Найто Сандзаэна, возвысившегося до положения старейшины вассалов у князей Хосокава, был принят на службу к этим князьям в их новых владениях с жалованьем в сто пятьдесят коку.

Весною седьмого года Камбун во время состязания в воинских искусствах он в бою на копьях одолел шестерых самураев. На состязании вместе со своими старшими вассалами присутствовал сам князь Цунатоси; ему очень понравилось, как Дзиндайю владеет копьем, и он пожелал, чтобы было устроено состязание и на мечех. Дзиндайю, взяв бамбуковый фехтовальный меч, опять уложил троих самураев. Четвертым его противником был Сэнума Хээй, обучавший молодых самураев клана искусству владения мечом. Щадя репутацию его как учителя фехтования, Дзиндайю решил уступить ему победу. Правда, ему хотелось при этом проиграть так искусно, чтобы его намерение уступить победу другому было ясно тем, кто понимает дело. Хээй, схватившись с Дзиндайю, подметил это намерение и сразу же воспылил злобой к своему противнику. И когда Дзиндайю стал в оборонительную позицию, Хээй изо всей силы нанес ему прямой удар. Меч вонзился Дзиндайю в горло, и он тут же свалился навзничь. Вид у него был при этом самый жалкий. Цунатоси, только что похваливший его за искусное владение копьем, после этого состязания нахмурился и не произнес ни слова благодарности.

Поражение Дзиндайю скоро стало предметом разговоров за его спиной.

Что стал бы делать Дзиндайю на поле боя, если бы у него обломали древко копья? Жалкое положение! Он даже фехтовальным мечом не умеет владеть, как порядочный воин.

Такие разговоры сразу же пошли среди самураев клана. Разумеется, сюда примешивались чувства ревности и зависти со стороны равных ему по положению. Что же касается рекомендовавшего его Найто Сандзаэмона, то ему нельзя было просто промолчать перед князем. Поэтому он позвал Дзиндайю и сурово сказал ему:

— Ты так позорно дал себя победить, что дело не может окончиться простым признанием того, что я в тебе ошибся. Либо ты пойдешь на новое — тройное — состязание, либо во искупление своей вины перед князем я сделаю себе характеры.

Воинскую честь Дзиндайю и так уже задевали доходившие до него разговоры. Поэтому он сразу же внял словам Сандзаэмона и подал прошение о своем желании еще раз сразиться с учителем фехтования в тройном поединке.

В скором времени оба они в присутствии князя начали свой поединок. В первой схватке Дзиндайю нанес своему противнику удар в руку; во второй схватке Хээй нанес удар Дзиндайю в лицо. Но в третьей схватке Дзиндайю опять нанес противнику удар в руку. Цунатоси похвалил Дзиндайю и приказал увеличить его жалованье на пятьдесят коку. Поглаживая вспущую руку, Хээй с мрачным видом отошел от князя.

Прошло три-четыре дня, и вот однажды в дождливую ночь один из самураев клана — Кóно Хэйтарó — оказался тайно убитым за оградой храма Сэйгандзи. Хэйтаро был одним из ближайших вассалов князя с жалованьем в двести коку; это был старик, сведущий в счете и письме; судя по его обычному поведению, никак нельзя было предположить, чтобы он мог стать предметом чьей-либо ненависти. Однако уже на другой день узнали, кто был его враг: в этот день внезапно скрылся Санума Хээй. Дзиндайю и Хэйтаро были разного возраста, но фигуры их были очень схожи. Кроме того, и герб у обоих был один и тот же — цветок мёга в круге. Хээй был введен в заблуждение этим гербом на фонаре, который нес слуга Хэйтаро, освещая дорогу господину; его ввела в за-

блуждение и фигура Хэйтаро, вдобавок закутанная в плащ и полускрытая зонтом; вот он скоропалительно и убил старика, приняв его за Дзиндайю.

У Хэйтаро был семнадцатилетний наследник Мотомэ. Мотомэ сейчас же решил испросить разрешения отправиться вместе со своим молодым слугой по имени Эгóси Кисабуро, как это было принято у самураев в то время, в путешествие для отмщения. И Дзиндайю — возможно, потому, что он не мог не чувствовать себя ответственным за смерть Хэйтаро, — заявил, что и он хочет пуститься в путь, чтобы оберегать Мотомэ. Подал просьбу о разрешении быть сукэдати и самурай по имени Цудзаки Сакон, у которого с Мотомэ имелся договор быть во всем вместе. Поскольку дело было необычным, Цунатоси на просьбу Дзиндайю согласие дал, но Сакона он не отпустил.

Мотомэ вместе с Дзиндайю и Кисабуро отслужили в седьмой день после кончины Хэйтаро поминальную службу и покинули городок при замке Кумамото, где уже — в здешних теплых краях — осыпались цветущие вишни.

1

Цудзаки Сакон, которому было отказано в просьбе отправиться в качестве сукэдати, два-три дня не выходил из дому. Ему было горько, что договор во всем быть вместе, который они с Мотомэ заключили, оказался всего лишь клочком бумаги. Его весьма удручала также мысль, как бы товарищи не стали за его спиной показывать на него пальцем. Но больше всего его тревожило то, что своего друга Мотомэ он доверил одному лишь Дзиндайю. И вот ночью того дня, когда трое ушедших на отмщение покинули Кумамото, он, не сказавшись даже родителям и только оставив письмо, ушел из дому, чтобы последовать за своим другом и его спутником Дзиндайю.

Он догнал их сейчас же за самой границей провинции. Путники в это время отдыхали от ходьбы в харчевне на почтовой станции в горах. Простирая руки к Дзиндайю, Сакон стал молить дозволить ему пойти с ними вместе. Дзиндайю сначала был очень суров:

— А я что же, по-твоему, ничего не смыслю в воинском искусстве? — И не похоже было, чтобы он легко согласился.

Однако в конце концов он сдался и, искоса поглядывая на Мотомэ, как будто уступил посредничество Кисабуро и разрешил Сакону присоединиться к ним. Слабый, как женщина, Мотомэ, у которого еще волосы на темени не были сбриты, не мог скрыть, как ему хочется, чтобы Сакон пошел с ними. У Сакона же от радости на глаза навернулись слезы, и он даже к Кисабуро все время обращался со словами благодарности.

Путникам было известно, что у Хёэя в клане Асано есть младшая замужняя сестра; поэтому они начали с того, что переправились через пролив Модзигасэки и пустились в далекий путь по тракту Тюгоку к замку Хиросима. Однако по приходе туда, разузнавая местонахождение своего врага, они из разговоров швей, работавшей в домах самураев, узнали, что Хёэй побывал в Хиросима, а потом потихоньку ушел в провинцию Иё — в Мацуяма, где у его зятя был знакомый. Поэтому путники нашли корабль из Иё и в самый разгар лета седьмого года Камбун без всяких злоключений добрались до городка при замке Мацуяма.

В Мацуяма все четверо, надвинув низко на глаза амигаса, каждый день бродили повсюду кругом, стараясь напасть на след врага. Но Хёэй, видимо, был осторожен, и открыть его местопребывание оказалось нелегко. Как-то раз Сакон обратил внимание на человека, по одежде — бродячего заклинателя, который показался ему похожим на Хёэя, и стал за ним следить, но в конце концов выяснилось, что это кто-то совсем другой, не имеющий с Хёэем ничего общего. А тем временем уже подул осенний ветер, и под окнами самурайских домов в призамковом городке из-под густой травы, запылавшей ров, все шире и шире разливалась вода. От этого сердца четверых путников все сильнее обуревало нетерпение. Особенно горел желанием встретиться с врагом Сакон; он почти все время — и днями, и ночами — бродил по Мацуяма, следя за всем. Ему хотелось, чтобы первый удар меча отмщения был нанесен им. Если бы его опередил Дзиндайю, его репутация воина, который присоединился к остальным,

бросив своего господина и родителей, погибла бы. Так он твердо решил про себя.

Однажды, через два с лишним месяца по прибытии в Мацуяма, Сакон проходил по берегу моря у самого городка и заметил, что двое молодых самурайских слуг, сопровождавших какой-то со всех сторон закрытый паланкин, готовят лодку, торопя рыбаков. Когда приготовления были закончены, из паланкина вышел самурай. Он сразу же надвинул на глаза амигаса, но на миг мелькнувшее лицо было, несомненно, лицом Сэнума Хёэя. Сакон на мгновение заколебался: очень жаль, что тот не повстречается здесь с Мотомэ. Но если не убить Хёэя сейчас же, он опять куда-нибудь скроется. А поскольку он поедет морем, то уже совсем невозможно будет его задержать. Придется вызвать его на бой одному.

Сакон решил все это в один миг и, даже не подумав, что следует подготовиться к бою, сорвал с себя амигаса и воскликнул:

— Сэнума Хёэй! Я — Цудзаки Сакон, названный брат Кано Мотомэ, его сукэдати. Узнаешь? — С этими словами он выхватил меч и подскочил к Хёэю.

Но тот, не приподымая амигаса, даже не шевельнулся. Глядя на Сакона, он крикнул:

— погоди! Ты принял меня за другого!

Сакон невольно остановился. В тот же миг рука самурая схватилась за рукоятку меча и на Сакона обрушился страшный удар. Падая, Сакон наконец ясно различил под низко надвинутой амигаса черты Сэнума Хёэя.

2

Оставшиеся трое, невольные виновники убийства Сакона, еще целых два года скитались в поисках врага и прошли почти всю область Токайдó, от самых пристольных провинций. Однако о Хёэе не было ни слуху ни духу.

Настала осень девятого года Камбун. Вслед за перелетными дикими гусями путники наконец ступили на землю Эдо. Они надеялись, что в Эдо, где всегда бывает много народу — и старых, и молодых, и знатных, и незнатных, — им удастся что-нибудь узнать об их враге.

Первым делом они устроились в гостинице на одной из внутренних улочек Канда; затем Дзиндайю превратился в бродячего самурая, зарабатывающего на пропитание распеванием уличных песенок; Мотомэ принял облик торговца, который ходит по дворам с корзиной мелочных товаров за плечами; а Кисабуро нанялся на срок в дом хатамото Носэ Созмона в качестве слуги, носящего за господином его дзори.

Мотомэ и Дзиндайю день за днем ходили по городу. Опытный Дзиндайю, принимая на свой рваный веер подаяния, старательно заглядывал во все харчевни и трактиры и был неутомим. Но в душу молодого Мотомэ даже в ясные осенние дни, когда он, скрывая исхудавшее лицо под амигаса, проходил по Нихонбаси, все чаще и чаще закрадывалось уныние: ему начинало казаться, что в конце концов все их усилия отомстить врагу кончатся ничем.

Тем временем со стороны горы Цукубá задул осенний ветер, становилось все холоднее и холоднее, и Мотомэ простудился; у него то и дело начинался жар. Однако, преодолевая озноб, он по-прежнему изо дня в день с корзиной за спиной выходил на торговлю. Дзиндайю при встрече с Кисабуро всегда говорил ему, как стойко держится Мотомэ, чем всегда вызывал слезы у этого преданного молодого слуги. Но ни тот, ни другой не заметили уныния, которое охватило Мотомэ и не давало ему как следует заняться своей болезнью.

Наступила весна десятого года Камбун. С этого времени Мотомэ потихоньку от своих стал посещать публичный дом в Ёсивара. Его подругой там была некая Каэдэ из заведения Идзумия, так называемая «девица второго ранга». Эта женщина всячески угождала Мотомэ независимо от своих обязанностей. Только с Каэдэ он забывал на время гнетущую его душу тоску.

Однажды, когда кругом шли разговоры о цветущих вишнях в Сибуя, он, тронутый сердечностью Каэдэ, признался ей, что задумал мечь. И неожиданно для себя услышал от нее, что один самурай, похожий на Хэя, вместе с другими самураями из клана Мацуя месяц тому назад приходил погулять в Идзумия. К счастью, в памяти Каэдэ, которой по жре-

бию выпало быть подругой этого самурая, довольно хорошо сохранилось все — от наружности до того, что у него с собой имелось. Более того: из их разговоров она уловила, что в ближайшие два-три дня он собирался покинуть Эдо и направиться в Мацуя. Мотомэ, разумеется, очень обрадовался. Однако при мысли, что, если он снова отправится в путь, ему придется расстаться с Каэдэ на некоторое время, а может быть, и навсегда, мужество покинуло его душу. В этот день он с нею напился, как никогда раньше. А когда он вернулся в гостиницу, у него тут же хлынула горлом кровь.

Со следующего дня Мотомэ слег. Но почему-то он ни словом не обмолвился Дзиндайю о том, что он почти наверняка узнал, где находится его враг. Дзиндайю продолжал ходить за милостыней и в свободные от своих хождений часы всячески ухаживал за больным. Но вот однажды, когда он, обойдя все балаганы на улице Фукия, вернулся вечером в их гостиницу, оказалось, что Мотомэ умер горькой смертью, воткнув себе в живот меч. Он лежал у зажженного фонаря с зажатым в зубах письмом. Потрясенный Дзиндайю развернул письмо. В письме содержались сведения об их враге и излагалась причина самоубийства: «Я слаб и все время болею. Поэтому я и думаю, что не смогу выполнить свое намерение отомстить врагу...» В этом и состояла вся причина. Но в окрашенное кровью письмо было вложено еще другое. Пробежав глазами это второе письмо, Дзиндайю тихонько пододвинул фонарь и поднес огонь к письму. Пламя охватило бумагу, озарив мрачное лицо Дзиндайю.

Это был договор быть вместе и в этом, и в будущем мире, который Мотомэ весной этого года заключил с Каэдэ.

3

Летом десятого года Камбун Дзиндайю и Кисабуро добрались до городка при замке Мацуя. Когда они ступили на мост Охаси и увидели облачные вершины, громоздившиеся высоко в небе над озером Синдзико, в душе у них обоих вспыхнуло восхищение этим величием, и они подумали: с той поры, как они оставили свой родной город Кумамото, они встречают вот уже четвертое лето.

Первым делом они устроились на постоялом дворе неподалеку от моста Кёхаси и сразу же на другой день, как всюду, принялись за поиски врага. Уже наступала осень, когда они открыли, что в доме самурая Онти Кодзаэмона, обучавшего воинскому искусству вассалов князей Магүдайра, скрывается самурай, похожий на Хёэя. Оба подумали: наконец-то их цель достигнута! Вернее, должна быть достигнута. Особенно Дзиндайю: с того дня, как они узнали об этом, у него в душе неудержимо горели чувства и гнева, и радости. Хёэй теперь был враг уже не одного только Хэйтаро; он был врагом и Сакона; он был врагом и Мотомэ. Но еще в большей степени он был ненавистным врагом самого Дзиндайю, врагом, вынудившим его целых три года претерпевать всевозможные тяготы. При этой мысли Дзиндайю, — что было совершенно непохоже на него, всегда спокойного и хладнокровного, — готов был тут же, сейчас же ворваться в дом Онти и вступить в бой.

Но Онти Кодзаэмон был известным по всей области Санъиндо мастером в искусстве владения мечом. К тому же у него было много преданных ему учеников. Поэтому, как ни горячился Дзиндайю, он должен был выждать случая, когда Хёэй выйдет из дома один.

Но такой случай все не представлялся. Хёэй почти безвыходно дни и ночи сидел дома. А тем временем в саду постоянного двора уже отцвели мирты, и солнечные лучи, падающие на камни в саду, становились все бледней. В таком состоянии мучительного нетерпения они встретили годовщину смерти Сакона, убитого три года назад. Кисабуро в этот вечер пошел в находившийся поблизости храм Сёкоин и заказал там поминальную службу. К его большому удивлению, там оказались посмертные таблички с именами Сакона и Хэйтаро. Когда служба окончилась, Кисабуро с самым безразличным видом спросил у служившего монаха об этих табличках. И еще более удивил его ответ монаха: один из приближенных Онти Кадзаэмона, прихожанина их храма, два раза в месяц в дни кончины этих людей всегда приходит сюда для поминовения. «И сегодня он уже побывал здесь», — добавил ничего не подозревавший монах.

Выходя из храма, Кисабуро чувствовал такую душевную силу, как будто ее дали ему души покойных отца и сына Коно и Сакона.

Слушая рассказ Кисабуро, Дзиндайю радовался тому, что судьба наконец повернулась к нему лицом, но вместе с тем досадовал, как это они до сих пор не заметили, что Хёэй ходит в этот храм. «Через восемь дней будет годовщина смерти моего старого господина. Совершить отмщение именно в день кончины — это, несомненно, сама судьба!» — такими словами Кисабуро закончил свой радостный рассказ.

Подобная же мысль возникла и у Дзиндайю. Но оба они совсем не думали о том, что творилось в душе Хёэя, совершавшего поминовение по их покойникам.

День кончины Хэйтаро все приближался. Оба они, натачивая свои клинки, спокойно ждали этого дня. Теперь вопрос, удастся ли отомстить, уже отпал. Все их мысли были обращены только к этому дню, только к этому часу. Дзиндайю даже обдумал то, как им скрыться после выполнения своего заветного желания.

Наконец наступило утро долгожданного дня. Еще до рассвета оба они снарядились при свете фонаря. Дзиндайю облачился в кожаные штаны с тисненым узором в виде ирисов и куртку из плотной черной чесучи; поверх куртки он накинул украшенное фамильными гербами хаори из такой же материи, под которым были тасуки из тонкого ремня. Из оружия у него были большой меч работы Хасэбэ Норинага и малый меч работы Рая Кумитоси. На Кисабуро хаори не было, он надел на себя простую легкую накидку. Обменявшись чарками холодного сакэ, они расплатились по сегодняшней день и в приподнятом духе вышли из постоялого двора.

Улицы еще были безлюдны. Все же они надвинули амигаса на глаза и направились к воротам храма Сёкоин, давно уже намеченными ими как место отмщения. Но не успели они отойти от своего жилища два-три квартала, как Дзиндайю вдруг остановился и сказал:

— Подожди! При расчете на постоялом дворе нам недодали четырех монов сдачи. Я пойду назад и возьму эти четыре мона.

Кисабуро недовольно заметил:

— Четыре мона! Ведь это же гроши. Стоит ли возвращаться? — Ему хотелось как можно скорее дойти до цели — до храма Сёкоин.

Однако Дзиндайю не слушал.

— Разумеется, не об этой мелочи я думаю. Но ведь до конца века на мне останется позор: самурай Дзиндайю так разволновался перед местью, что, расплачиваясь на постоялом дворе, ошибся в счете. Ступай вперед! А я вернусь на постоялый двор. — С этими словами он повернул назад. Преклоняясь перед таким самообладанием, Кисабуро, как ему было сказано, в одиночку поспешил к месту отщепенца.

Вскоре и Дзиндайю присоединился к Кисабуро, ожидавшему его у ворот храма. В тот день в небе плыли легкие облачка, сквозь них пробивались неяркие лучи солнца, время от времени накрапывал дождь. Оба они, каждый по свою сторону ворот, медленно шагали вдоль ограды, над которой уже желтела листва ююбы, и ждали прихода Хёэя.

Но вот уже близился полдень, а Хёэй все не появлялся. Кисабуро не выдержал и спросил у привратника, придет ли сегодня Хёэй в храм. Однако привратник и сам недоумевал, почему он все не идет.

Так, сдерживая биение своих сердец, стояли они за оградой храма. А тем временем час за часом безжалостно проходил. Стали ложиться вечерние тени; в воздухе уныло раздавалось карканье ворон, клевавших плоды ююбы. Потеряв терпение, Кисабуро подошел к Дзиндайю.

— Не сбегать ли мне к дому Онти, — прошептал он. Но Дзиндайю покачал головой и не позволил.

Скоро в небе над воротами храма между облаками там и сям заблестали редкие звезды. И все же Дзиндайю, прислонившись к ограде, упорно ждал Хёэя. В самом деле: Хёэй, возможно, узнал, что его подстерегают враги, и хочет прийти в храм незаметно, когда стемнеет.

Наконец прозвучал колокол первой ночной стражи. Затем прозвучал колокол второй стражи. Они, мокрые от росы, все не отходили от храма.

Хёэй так и не появился.

Дзиндайю и Кисабуро, перейдя на другой постоялый двор, снова принялись выслеживать Хёэя. Но прошло всего несколько дней, и вдруг у Дзиндайю открылась жестокая рвота и понос. Сильно встревоженный Кисабуро хотел сразу же побежать за врачом, но больной, опасаясь, как бы все не открылось, решительно не позволил ему этого.

Весь день Дзиндайю пролежал в постели, возлагая надежды на купленное в аптеке лекарство. Однако рвота и понос не прекращались. Кисабуро не мог оставаться равнодушным и наконец уговорил больного дать осмотреть себя врачу. Тут же немедленно он обратился к хозяину постоялого двора с просьбой позвать местного врача. Хозяин сейчас же послал за врачом по имени Моруки Рантай, промышлявшим в этих местах своим искусством.

Рантай учился у самого Мукаи Рэйрана и славился как замечательный врач. Но он обладал при этом нравом мужа-самурая, дни и ночи проводил за чаркой и не думал о деньгах:

Взлетает на небо,
Под облака, в долинах
Поток глубокий
Переплывает — вот цапля
Что делает обычно.

И действительно: обращались к нему за лечением все — от знатнейших вассалов клана до жалких нищих и париев.

Даже не пощупав пульса Дзиндайю, Рантай сразу же определил дизентерию. Однако и лекарства такого знаменитого врача не помогли. Кисабуро, ухаживая за больным, молился о выздоровлении Дзиндайю всем богам. И сам больной долгими ночами, вдыхая дымок от снадобья, варившегося у его изголовья, молился про себя о том, чтобы как-нибудь дожить до исполнения своего заветного желания.

А между тем наступила поздняя осень. Кисабуро по дороге к Рантаю за лекарством часто наблюдал, как в небе летят вереницы перелетных птиц. И вот однажды в прихожей Рантая он столкнулся с одним самурайским слугою, также пришедшим к Рантаю за лекарством. Из разговоров с ним

Кисабуро стало ясно, что больной человек — из дома Онти Кодзаэмона. Когда слуга ушел, Кисабуро обратился к знакомому ученику и спросил:

— Видно, даже такой воин, как Онти-доно, и тот не справляется с болезнью?

— Нет, болен не Онти-доно, а гость, остановившийся у него, — ничего не подозревая, ответил добродушный ученик.

Теперь каждый раз, приходя за лекарством, Кисабуро старался что-нибудь разузнать о Хёэе. И тут, расспрашивая все подробнее, он выяснил, что Хёэй с того самого дня — с годовщины смерти Хэйтаро — страдает той же болезнью, что и Дзиндайю. Понятно, что он в тот день не пришел в храм Сёкоин только из-за болезни. Когда Дзиндайю об этом услышал, его болезнь стала для него еще тягостней. Ведь если Хёэй умрет, то как бы он ни хотел убить его в отмщение, это уже никак не удастся. С другой стороны, пусть Хёэй и останется в живых, но если он, Дзиндайю, сам распространится с жизнью, тяготы всех этих лет пойдут прахом. Грызя изголовьё, Дзиндайю молился о своем выздоровлении и вместе с тем не мог не молиться и о выздоровлении своего врага Сэ-нума Хёэя.

Однако судьба была жестока к Таока Дзиндайю до конца. Болезнь его все обострялась, и не прошло и десяти дней с тех пор, как он стал принимать лекарства Рантая, а его состояние стало таким, что не сегодня-завтра мог наступить конец. Но, даже тяжко страдая, он ни на мгновение не забывал о мести. Кисабуро слышал, как сквозь стоны больного прорываются слова: «Великий бодхисаттва Хатиман!» Однажды ночью, когда Кисабуро, как обычно, давал больному лекарство, Дзиндайю, пристально глядя на него, слабым голосом позвал:

— Кисабуро! — И, помолчав, произнес: — Жизнь моя кончена.

Кисабуро в отчаянии, упершись руками в циновку на полу, не в силах был даже поднять головы.

На следующий день Дзиндайю вдруг, под влиянием какой-то мысли, послал Кисабуро за Рантаем. Рантай, от кото-

рого и в этот день несло запахом сакэ, тотчас же пришел к больному.

— Примите мою признательность за столь долгую заботу обо мне, — с трудом проговорил Дзиндайю при виде врача, приподнявшись на своем ложе. — Но мне бы хотелось, пока я еще жив, попросить вас об одном деле. Вы выслушаете меня?

Рантай с готовностью кивнул головой. И Дзиндайю, минутно прерываясь, рассказал ему все о мести, ради которой они высматривали Санума Хёэя. Голос его был едва слышен, но каждое слово в его длинном рассказе звучало как должно. Рантай, сдвинув брови, внимательно слушал. Закончив рассказ, Дзиндайю, задыхаясь, спросил:

— Последнее в этой жизни: я хотел бы знать, каково состояние Хёэя? Он еще жив?

Кисабуро уже плакал. И Рантай, слыша эти слова, не мог удержать слез. Придвинувшись к больному, он нагнулся к самому его уху и проговорил:

— Будьте покойны. Хёэй-доно скончался. Сегодня утром в час Тигра я сам присутствовал при его смерти.

На лице Дзиндайю показалась улыбка. И вместе с ней на исхудавшей щеке холодно блеснула слеза.

— Хёэй! Хёэй! Счастлив твой бог, — с горечью пробормотал Дзиндайю и, словно желая поблагодарить Рантая, склонил на постель свою голову со спутанными волосами.

И — его не стало.

В конце десятого месяца по лунному календарю десятого года Камбун слуга Кисабуро, простившись с Рантаем, направился в обратный путь, на родину, в Кумамото. В дорожной корзинке за плечами у него были пряди волос трех человек — Сакона, Мотомэ и Дзиндайю.

Эпилог

В первом месяце одиннадцатого года Камбун на кладбище храма Сёкоин в Мацуя были поставлены четыре плиты в память умерших. Тот, кто их поставил, видимо, тщательно скрывался, и ни один человек не знал, кто он. Но когда эти плиты были установлены, ранним утром в ворота храма вошли двое, по облику монахи, с ветками цветущих слив в ру-

ках. Один из них был известный в городке при замке Маруки Рантай. Другой — изможденный болезнью человек очень жалкого вида, в осанке которого все же чувствовалось что-то самурайское. Пришедшие положили ветки сливы у плит. Затем окропили каждую из четырех плит жертвенной водой и ушли.

Прошли года. На праздник святого Эрина в храм Обаку явился странствующий монах, очень похожий на изможденного болезнью человека, тогда посетившего кладбище. Кроме того, что в монастыре его нарекли Дзюнкаку, о нем не было известно ничего.

Май 1920 г.

ЖЕНЩИНА

Облитая лучами щедрого летнего солнца, паучиха притаилась в глубине красной розы и о чем-то думала.

Неожиданно на цветок с жужжанием опустилась пчела. Паучиха мгновенно впиалась в нее взглядом. В тихом полуденном воздухе еще плыло, затухая, тихое жужжание.

Паучиха бесшумно поползла вверх. Пчела, обсыпанная цветочной пылью, погрузила свой хоботок в нектар, скопившийся у основания пестика.

Прошло несколько секунд мучительной тишины. На лепесток красной розы за спиной опьяневшей от нектара пчелы медленно выползла паучиха. И тут же стремительно бросилась на нее: Бешено заработав крыльями, пчела делала отчаянные попытки ужалить врага. Пыльца, покрывшая ее крылья, плясала в лучах яркого солнца. Но паучиха не разжимала челюстей.

Сражение было коротким.

Крылья сразу же перестали слушаться пчелу. Потом у нее отнялись лапки. Последним несколько раз конвульсивно дернулся вверх длинный хоботок. Это был конец трагедии. Конец ужасной трагедии, под стать смерти человека. Спустя секунду пчела, вытянув хоботок, лежала в глубине красной розы. Ее крылья и лапки были обсыпаны душистой пылью...

Паучиха, не шевелясь, бесшумно высасывала кровь пчелы.

Не ведающие стыда солнечные лучи, нарушая вновь вернувшееся к розе безмолвие, освещали победно-самодовольную паучиху, убившую пчелу. Брюшко точно серый атлас, похожие на черные бусинки глаза, сухие, с безобразными

суставами, будто пораженные проказой лапки — паучиха, воплощение зла, кровожадно восседала на мертвой пчеле.

Такая же до предела жестокая драма повторялась неоднократно и впоследствии. А красная роза, ничего не подозревая, день за днем лила в знойной духоте одуряющий аромат...

И вот однажды в полдень паучиха, будто вспомнив о чем-то, побежала между листьями и цветами розового куста и добралась до конца тоненькой веточки. Там, издавая сладковатый запах, засыхал бутон, лепестки которого скрутила жара. Паучиха начала проворно сновать между ним и веточкой. И скоро бесчисленные блестящие нити заткали полуувядший бутон и обвили кончик веточки.

Через некоторое время на летнем солнце до боли в глазах засверкал белизной будто сотканный из шелка кокон.

Соткав кокон, паучиха отложила на дно этого хрупкого мешочка бесчисленное множество яиц. Отверстие мешочка она заткала толстыми нитями и, усевшись на эту подстилку, натянула тонкий полог, соорудив еще один купол. Полог отгородил жестокою серую паучиху от синего полуденного неба. А паучиха, отложившая яйца, распластав исхудалое тело в своих белоснежных покоях, забыв и о розе, и о солнце, и о жужжании пчелы, лежала неподвижно, погруженная в думы.

Прошло несколько недель.

В коконе, сотканном паучихой, начали просыпаться новые жизни, дремавшие в бесчисленных яйцах. Первой заметила это одряхлевшая паучиха-мать, которая лежала в своих белоснежных покоях, не позволяя себе даже есть. Паук, почувствовав под подстилкой рождение новой жизни, с трудом подполз и прогрыз кокон, в котором укрывалась мать с детьми. Бесчисленные паучата битком набили белоснежные покои. Или, лучше сказать, сама подстилка задвигалась, превратившись в неисчислимое множество крупинок.

Паучки сразу же пролезли через окошечко купола и рассеялись по веткам розы, залитой солнцем и обдуваемой ветром. Одни из них толклись на обжигающе горячих листьях. Другие, как до этого их родители, нырнули в цветы, полные нектара. Третьи — между ветками розы, прочерчивающими вдоль и поперек синее небо, стали ткать нити, такие тон-

кие, что их даже невозможно было различить глазом. Если бы роза не была нема, то в этот ясный летний день она, несомненно, горестно заплакала бы тонким голоском, и показалось бы, что это поет от ветра висящая на ее ветвях крохотная скрипка.

А в это время у окошечка в куполе исхудавшая, как тень, сидела в одиночестве паучиха-мать, не выказывая ни малейшего желания даже пошевелить лапками. Безмолвие белоснежных покоев, запах увядшего бутона розы — под тонким пологом, где соединились воедино родильная комната и могила, паучиха, произведя на свет бесчисленных паучат, с сознанием беспредельной радости матери, выполнившей свое небесное предназначение, приняла смерть. Приняла смерть жившая в разгар лета и воплощающая зло женщина, которая убила пчелу.

НАНКИНСКИЙ ХРИСТОС

I

Была осенняя полночь. В Нанкине в доме на улице Циванцзе сидела бледная девушка-китаянка и, облокотившись на старенький стол, со скучающим видом грызла арбузные семечки, которые брала с лакированного подносика.

Лампа на столе светила слабо. Ее свет не столько рассеивал темноту, сколько усугублял унылый вид комнаты. В углу у стены с ободранными обоями свешивался пыльный полог над тростниковой кроватью, небрежно накрытой шерстяным одеялом. По другую сторону стола стоял, как будто позабытый, старенький стул. Кроме этих вещей, самый внимательный взгляд не обнаружил бы ничего, что могло бы украсить украшением комнаты.

Но время от времени девушка переставала грызть семечки и, подняв ясные глаза, пристально смотрела на противоположную стену: в самом деле, там прямо перед ней на крючке скромно висело маленькое бронзовое распятие. А на нем смутной тенью вырисовывался полустертый незатейливый барельеф, изображавший распятого Христа с высоко раскинутыми руками. Каждый раз, когда девушка смотрела на этого Иисуса, выражение грусти за длинными ресницами на мгновение исчезало, и вместо него в ее глазах загорался луч наивной надежды. Но девушка сейчас же отводила взгляд, каждый раз вздыхала, устало поводила плечами, покрытыми кофтой из черного шелка, и снова принималась грызть арбузные семечки.

Девушку звали Сун Цзиньхуа, это была пятнадцатилетняя проститутка, которая, чтобы свести концы с концами, по ночам принимала в этой комнате гостей. Среди многочисленных проституток Циньвая девушек с такой наружно-

стью, как у нее, безусловно, было много. Но чтобы нашлась другая с нравом столь же нежным, как у Цзиньхуа, во всяком случае, сомнительно. Она, в отличие от своих товарок, других продажных женщин, — не лживая, не взбалмошная, с веселой улыбкой развлекала гостей, каждую ночь посещавших ее угрюмую комнату. И если их плата изредка оказывалась больше установленной, она радовалась, что может угостить отца — единственного близкого ей человека — лишней чашечкой его любимого сакэ.

Такое поведение Цзиньхуа, конечно, объяснялось ее характером. Но имелась еще и другая причина, а именно: она с детства придерживалась католической веры, в которой ее воспитала покойная мать, о чем свидетельствовало висевшее на стене распятие.

Кстати сказать, как-то раз у Цзиньхуа из любопытства провел ночь молодой японский турист, приехавший весной этого года посмотреть шанхайские скачки и заодно полюбоваться видами Южного Китая. С сигарой в зубах, в европейском костюме, он беспечно обнимал маленькую фигурку Цзиньхуа, сидевшую у него на коленях, и, случайно заметив крест на стене, недоверчиво спросил на ломаном китайском языке:

— Ты что, христианка?

— Да, меня крестили пяти лет.

— А занимаешься таким ремеслом?

В его голосе слышалась насмешка. Но Цзиньхуа, положив к нему на руку головку с иссиня-черными волосами, улыбнулась, как всегда, светлой улыбкой, обнажавшей ее мелкие, ровные зубки.

— Ведь если б я не занималась этим ремеслом, и отец, и я, мы оба умерли бы с голоду.

— А твой отец — старик?

— Да... он уже с трудом держится на ногах.

— Однако... Разве ты не думаешь о том, что если будешь заниматься таким ремеслом, то не попадешь на небо?

— Нет. — Мельком взглянув на распятие, Цзиньхуа задумчиво произнесла: — Я думаю, что господин Христос на небе сам, наверное, понимает, что у меня на сердце. Иначе госпо-

дин Христос был бы все равно что полицейский из участка в Йоцзякао.

Молодой японский турист улыбнулся. Он пошарил в карманах пиджака, вытащил пару нефритовых сережек и сам вдел их ей в уши.

— Эти сережки я купил, чтобы отвезти их в подарок в Японию, но дарю их тебе на память об этой ночи.

И действительно, с той ночи, как она впервые приняла гостя, Цзиньхуа была спокойна в этой своей уверенности.

Однако месяц спустя эта набожная проститутка, к несчастью, заболела: у ней появились злокачественные сифилитические язвы. Услышав об этом, ее товарка Чэн Шаньча посоветовала ей пить опийную водку, уверяя, что это унимает боль. Потом другая ее товарка — Мао Инчунь — с готовностью принесла ей остатки пилюль «гунланьвань» и «цзялumi», которые она сама употребляла. Но, несмотря на то что Цзиньхуа сидела взаперти, не принимала гостей, здоровье ее почему-то нисколько не улучшалось.

И вот однажды Чэн Шаньча, зайдя навестить Цзиньхуа, с полной убежденностью сообщила ей такой (явно основанный на суеверии) способ лечения:

— Раз твоя болезнь перешла на тебя от гостя, то поскорей отдай ее кому-нибудь обратно. И тогда ты через два-три дня будешь здорова.

Цзиньхуа сидела, подперев щеку рукой, и подавленное выражение ее лица не изменилось. Но, по-видимому, слова Шаньча пробудили в ней некоторое любопытство, и она коротко переспросила:

— Правда?

— Ну да, правда! Моя сестра тоже никак не могла поправиться, вот как ты сейчас. А как передала болезнь гостю, сразу же выздоровела.

— А гость?

— Гостя-то жаль! Говорят, он от этого даже ослеп.

Когда Шаньча ушла, Цзиньхуа, оставшись одна, опустилась на колени перед распятием и, подняв глаза на распятие Христа, стала горячо молиться:

— Господин Христос на небесах! Для того чтоб кормить моего отца, я занимаюсь презренным ремеслом. Но мое ре-

месло позорит только меня, а больше я никому не причиняю зла. Поэтому я думаю, что, даже если я умру такой как есть, все равно я непременно попаду на небо. Но теперь я могу продолжать заниматься своим ремеслом, только если передам болезнь гостю. Значит, пусть даже мне придется умереть с голода — а тогда болезнь тоже пройдет, — я должна решить не спать больше ни с кем в одной постели. Ведь иначе я ради своего счастья погублю человека, который не сделал мне никакого зла! Но я все-таки женщина. Я могу в какую-то минуту поддасться соблазну. Господин Христос на небесах! Пожалуйста, оберегайте меня! Кроме вас, мне не от кого ждать помощи.

Приняв такое решение, Цзиньхуа, как ни уговаривали ее Шаньча и Инчунь, больше не пускала к себе гостей. А если иногда к ней заходили постоянные гости, она позволяла себе только посидеть, покурить с ними и больше не исполняла никаких их желаний.

— У меня страшная болезнь. Если вы ляжете со мной, она пристанет к вам, — говорила Цзиньхуа всегда, когда пьяный гость все же пытался насильно ею овладеть, и даже не стыдилась показывать доказательства своей болезни. Поэтому гости постепенно перестали к ней ходить. И жить ей становилось день ото дня труднее.

В этот вечер она долго сидела, облокотившись на стол, ничего не делая и задумчиво глядя перед собой. Гости по-прежнему не заходили к ней. А тем временем надвигалась ночь, все затихло, и до ушей Цзиньхуа откуда-то доносилось только стрекотанье сверчка. К тому же в нетопленной комнате от каменного пола поднимался холод, который, как вода, пропитал сначала ее серые шелковые туфельки, а потом и изящные ножки в этих туфельках.

Цзиньхуа некоторое время задумчиво смотрела на тусклый свет лампы, потом вздрогнула и подавила легкую зевоту. Почти в ту же минуту крашеная дверь вдруг открылась от толчка, и в комнату ввалился незнакомый иностранец. Вероятно, оттого, что дверь распахнулась настежь, лампа на столе вспыхнула, и темная комната озарилась странным красным коптящим светом. Гость, с ног до головы озаренный

этим светом, отступил назад и тяжело прислонился к красной двери, которая тут же захлопнулась.

Цзиньхуа невольно поднялась и изумленно уставилась на этого незнакомого иностранца. Гостю было лет тридцать пять, это был загорелый бородатый мужчина с большими глазами, в коричневом полосатом пиджаке и в такой же кепке. Одно только было непонятно: хотя он, несомненно, был иностранцем, но, как ни странно, по его виду нельзя было определить, азиат он или европеец. Когда он, с выбившимися из-под кепки черными волосами, с потухшей трубкой в зубах, встал у входа, заслоняя собой дверь, его можно было принять за мертвецки пьяного прохожего, который забрел сюда по ошибке.

— Что вам угодно? — почти с укором в голосе спросила несколько испуганная Цзиньхуа, не выходя из-за стола. Гость покачал головой, показывая, что не понимает по-китайски. Потом вынул изо рта трубку и произнес какое-то непонятное иностранное слово. На этот раз Цзиньхуа пришлось покачать головой, от чего нефритовые серьги сверкнули в свете лампы.

Увидев, как она в замешательстве нахмурила свои красивые брови, гость вдруг громко захохотал, непринужденно сбросил кепку и, пошатываясь, направился к ней. Обессиленно опустился на стул, стоявший по другую сторону стола. В эту минуту он показался Цзиньхуа каким-то близким, как будто она раньше его уже видела, хотя и не могла вспомнить, где и когда. Гость бесцеремонно сгреб с подносика горсть арбузных семечек, но грызть их не стал, а только пристально посмотрел на Цзиньхуа и опять, странно жестикулируя, заговорил на иностранном языке. Цзиньхуа не поняла смысла его речи, но, хоть и смутно, все же догадалась, что гость имеет представление о том, чем она занимается.

Проводить долгие ночи с иностранцами, не понимающими по-китайски, не представляло для Цзиньхуа ничего необычного. Поэтому она опять села и, улыбаясь приветливой улыбкой, что почти вошло у нее в привычку, принялась болтать, усыпая свою речь совершенно непонятными гостю шутками. Однако гость через два слова в третье так весело

хохотал, словно понимал ее, и при этом жестикулировал еще быстрее, чем раньше.

От гостя пахло водкой, но на его пьяном красном лице была разлита такая мужественная жизненная сила, что казалось, в этой унылой комнате стало светлей. Во всяком случае, в глазах Цзиньхуа он был прекраснее всех иностранцев, которых она до сих пор видела, не говоря уже о ее соотечественниках из Нанкина. Тем не менее она никак не могла отделаться от ощущения, что где-то раньше встречалась с ним. Глядя на его свешивающиеся на лоб черные кудрявые волосы и все время весело улыбаясь, она изо всех сил старалась вспомнить, где же она видела это лицо раньше.

«Не тот ли это, который ехал с толстой женой на шаланде? Нет, нет, тот гораздо рыжее. А может быть, это тот, который фотографировал мавзолей Кун-цзы в Циньвае? Но тот был как будто старше этого гостя. Да, да, однажды я видела, как перед рестораном у моста Лидацяо толпился народ и какой-то человек, точь-в-точь похожий на этого гостя, толстой палкой бил по спине рикшу. Пожалуй... однако у того глаза как будто были синее».

Пока Цзиньхуа раздумывала об этом, иностранец все с тем же веселым видом набил трубку и, закурив, выпустил приятно пахнущий дым. Потом он вдруг опять что-то сказал, засмеялся, на этот раз тихонько, и, подняв два пальца, поднес их к глазам Цзиньхуа, показывая жестом: «два». Что два пальца обозначают два доллара, это, разумеется, было известно всем. Однако Цзиньхуа, больше не принимавшая гостей, по-прежнему ловко щелкала семечки и, тоже улыбаясь, в знак отказа два раза отрицательно покачала головой. Тогда гость, нахально облокотившись на стол, при слабом свете лампы придвинул свое осоловелое лицо к самому лицу Цзиньхуа и пристально на нее уставился, а потом с выжидающим видом поднял три пальца.

Цзиньхуа, все еще с семечками в зубах, немного отодвинулась, и лицо ее выразило смущение. Гость, по-видимому, подумал, что она не отдается за два доллара. А между тем было совершенно невозможно объяснить ему, в чем дело, раз он не понимает по-китайски. Горько раскаиваясь в своем

легкомыслии, Цзиньхуа холодно отвела глаза в сторону и волей-неволей еще раз решительно покачала головой.

Однако иностранец, слегка улыбнувшись и как будто немного поколебавшись, поднял четыре пальца и снова сказал что-то на иностранном языке. Вконец растерявшись, Цзиньхуа подперла щеку рукой и не в состоянии была даже улыбнуться, но в эту минуту она решила, что, раз уж дело так обернулось, ей остается только качать головой до тех пор, пока гостю не надоест. Но тем временем на руке гостя, как будто хватая что-то невидимое, раскрылись все пять пальцев.

Потом в течение долгого времени они вели разговор с помощью мимики и жестов. Настойчиво прибавляя по одному пальцу, гость в конце концов показал, что ему не жалко даже десяти долларов. Но даже десять долларов, большая сумма для проститутки, не поколебали решения Цзиньхуа. Еще раньше встав со стула, она стояла боком к столу, и когда гость показал ей пальцы обеих рук, она сердито топнула ногой и несколько раз подряд покачала головой. В тот же миг распятие, висевшее на стене, почему-то сорвалось с крючка и с легким звоном упало на каменный пол к ее ногам.

Цзиньхуа поспешно протянула руку и бережно подняла распятие. В эту минуту она случайно взглянула на лицо распятого Христа, и, странная вещь, это лицо оказалось живым отображением лица иностранца, сидевшего за столом.

«То-то мне показалось, что я где-то раньше его видела, — ведь это лицо господина Христа!»

Прижимая бронзовое распятие к груди, покрытой черной шелковой кофтой, Цзиньхуа ошеломленно уставилась на сидевшего против нее гостя. Гость, у которого красное от вина лицо по-прежнему было освещено лампой, время от времени попыхивал трубкой и многозначительно улыбался. И его глаза не отрываясь скользили по ее фигурке, по белой шее и ушам, с которых свешивались нефритовые серьги. Но Цзиньхуа казалось, что даже в таком виде он полон какого-то мягкого величия.

Немного погодя гость вынул трубку изо рта и, многозначительно наклонив голову, смеющимся голосом что-то сказал. Эти слова подействовали на Цзиньхуа, как шепот искус-

ного гипнотизера. Не забыла ли она о своем великодушном решении? Опустив улыбающиеся глаза и перебирая руками бронзовое распятие, она стыдливо подошла к таинственному иностранцу.

Гость пошарил в кармане брюк и, побрякивая серебром, некоторое время, любуясь, смотрел на Цзиньхуа смеющимися, как и прежде, глазами. Но вдруг улыбка в его глазах сменилась горячим блеском, гость вскочил со стула и, крепко обняв Цзиньхуа, прижал ее к своему пахнущему водкой пиджаку. Цзиньхуа, словно теряя сознание, с запрокинутой головой, со свешивающимися нефритовыми сережками, но с румянцем на бледных щеках, зачарованно смотрела в его лицо, придвинувшееся прямо к ее глазам. Разумеется, ей уже было не до того, чтобы раздумывать, отдаться ли этому странному иностранцу или уклониться от его поцелуя из опасения заразить гостя. Подставляя губы его бородавотому рту, Цзиньхуа знала только одно — что ее грудь заливают радость жгучей, радость впервые познанной любви.

2

Через несколько часов в комнате с уже потухшей лампой еле слышное стрекотанье кузнечиков придавало осеннюю грусть сонному дыханию двух людей, доносящемуся с постели. Но сон, который в это время снился Цзиньхуа, вознесся из-под пыльного полога кровати высоко-высоко над крышей в лунную звездную ночь.

* * *

...Цзиньхуа сидела на стуле из красного сандалового дерева и кушала палочками разные блюда, расставленные на столике. Тут были ласточкины гнезда, акульи плавники, тушеные яйца, копченый карп, жареная свинина, уха из трепангов — всего не перечесать. А посуда вся состояла из красивых блюд и мисок, сплошь расписанных голубыми лотосами и золотыми фениксами.

За ее спиной было окно, завешанное кисейной занавеской, и оттуда — там, должно быть, протекала река — слыша-

лось непрестанное журчание воды и всплеск весел. Цзиньхуа казалось, будто она в своем родном с детства Циньвае. Но она, несомненно, находилась сейчас в небесном граде, в доме у Христа.

Время от времени Цзиньхуа опускала палочки и осматривалась кругом. Но в просторной комнате видны были только столбы с резными фигурами драконов и горшки с большими хризантемами, окутанные паром от кушаний; кроме нее, больше не было ни души.

И все же, как только блюдо пустело, перед глазами Цзиньхуа, распространяя теплый аромат, откуда-то появлялось другое. И вдруг жареный фазан, к которому она еще не успела прикоснуться, захлопал крыльями и, опрокинув сосуд с вином, взвился к потолку.

В это время Цзиньхуа заметила, что кто-то неслышно пошел сзади к ее стулу. Поэтому, не кладя палочек, она быстро оглянулась. Там, где, как она почему-то думала, должно было находиться окно, вместо окна на стуле из сандалового дерева, застланном атласным покрывалом, с длинной бронзовой трубкой для кальяна в зубах величественно сидел незнакомый иностранец.

Цзиньхуа с первого же взгляда увидела, что это тот самый мужчина, который пришел к ней сегодня ночью. Только над головой этого иностранца, на расстоянии одного сяку, висел в воздухе тонкий светящийся ободок, похожий на трехдневный месяц.

Тут вдруг перед Цзиньхуа, как будто выскочив прямо из стола, появилось на большом блюде вкусное ароматное кушанье. Она сейчас же протянула палочки и хотела было взять лакомый кусочек, но вдруг вспомнила о сидящем сзади иностранце, оглянулась через плечо и застенчиво сказала:

— Не сядете ли и вы сюда?

— Нет, ешь одна. Если ты съешь это, то твоя болезнь за ночь пройдет.

Иностранец с нимбом, не вынимая изо рта длинной трубки для кальяна, улыбнулся улыбкой, исполненной беспредельной любви.

— Значит, вы не хотите покушать?

— Я? Я не люблю китайской кухни. Ты меня еще не узнала? Иисус Христос никогда не ел китайских блюд.

Сказав это, нанкинский Христос медленно поднялся с сандалового стула и, подойдя сзади, нежно поцеловал в щеку ошеломленную Цзиньхуа.

* * *

Цзиньхуа проснулась от райского сна, когда по тесной комнате уже разливался холодный осенний рассвет. Но под пыльным пологом в постели, похожей на лодочку, еще царил теплый полумрак. В этой полутьме смутно вырисовывалось запрокинутое, с еще закрытыми глазами, лицо Цзиньхуа, закутанной по самый подбородок в выцветшее старое шерстяное одеяло. На бледных щеках, вероятно от ночного пота, слиплись спутанные напوماженные волосы, а между полураскрытыми губами, как крупинки риса, чуть белели мелкие зубки.

Хотя Цзиньхуа проснулась, душа ее еще бродила среди видений ее сна — пышные хризантемы, плеск воды, жареные фазаны, Иисус Христос... Но под пологом становилось все светлей, и в ее блаженные грезы стало вторгаться отчетливое сознание грубой действительности, сознание того, что вчера она легла на эту тростниковую постель вместе с таинственным иностранцем.

«А вдруг болезнь пристанет к нему...»

От этой мысли Цзиньхуа сразу стало тяжело, и ей показалось, что она не в силах будет сегодня утром еще раз взглянуть ему в лицо. Но, уже проснувшись, все еще не видеть его милого загорелого лица было для нее еще тяжелей. Поэтому, немного поколебавшись, она робко открыла глаза и окинула взглядом постель под пологом, где уже стало совсем светло. Однако, к ее удивлению, рядом с ней, кроме нее самой, закутанной в одеяло, не было не только иностранца с лицом, похожим на распятого Христа, но и вообще никого.

«Выходит, и это мне приснилось...»

Цзиньхуа сбросила грязное одеяло и привстала. Затем, протерев руками глаза, она приподняла тяжело свисавший полог и все еще заспанными глазами оглядела комнату.

В комнате в холодном утреннем воздухе все предметы вырисовывались с беспощадной отчетливостью. Старенький стол, потухшая лампа, стулья — один валялся на полу, другой был повернут к стене, — все было так же, как накануне вечером. Мало того, в самом деле на столе, среди разбросанных арбузных семечек, тускло блестело маленькое бронзовое распятие. Мигая ослепленными глазами и оглядывая комнату, Цзиньхуа некоторое время сидела на смятой постели и, зябко поеживаясь, не двигалась с места.

— Нет, это был не сон... — прошептала Цзиньхуа, думая о непонятном исчезновении иностранца. Конечно, можно было подумать, что он потихоньку ушел из комнаты, пока она спала. Но ей не верилось, что он, так горячо ее ласкавший, ушел, не сказав ни слова на прощание, — вернее, ей было слишком тяжело этому поверить. К тому же она забыла получить с таинственного иностранца обещанные десять долларов.

«Неужели он и вправду ушел?»

С тяжелым сердцем она хотела было надеть сброшенную на одеяло черную шелковую кофту. Но вдруг ее протянутая рука остановилась, и лицо залила живая краска. Услышала ли она за крашеной дверью звук шагов таинственного иностранца или запах водки, пропитавший подушки и одеяла, пробудил смутившие ее воспоминания ночи? Нет, в этот миг Цзиньхуа почувствовала, что благодаря чуду, свершившемуся в ее теле, злокачественные сифилитические язвы за одну ночь бесследно исчезли.

«Значит, это был Христос!»

Не помня себя, она в одной рубашке чуть не скатилась с постели и, преклонив колена на холодном каменном полу, как прекрасная Мария из Магдалы, беседовавшая с воскресшим Господом, вознесла горячую молитву.

3

Однажды вечером весной следующего года молодой японский турист, который когда-то уже посещал Цзиньхуа, опять сидел против нее за столом при тусклом свете лампы.

— А распятие-то все еще висит? — заметил он в разговоре

слегка насмешливым тоном, и тогда Цзиньхуа, сразу же сделавшись серьезной, рассказала ему удивительную историю о том, как Христос, сойдя однажды ночью в Нанкин, исцелил ее от болезни.

Слушая этот рассказ, молодой японский турист думал про себя вот что:

«Я знаю этого иностранца. Это японо-американский метис. Зовут его, кажется, Джордж Мерри. Он хвастался моему знакомому корреспонденту из агентства Рейтер, что однажды в Нанкине провел ночь с проституткой, с христианкой, а когда она сладко заснула, потихоньку сбежал. Когда я прошлый раз был в Нанкине, он как раз остановился в том же отеле, что и я, так что в лицо я его до сих пор помню. Он выдавал себя за корреспондента английской газеты, но был совершенно недостойный, дурной человек. Потом он на почве сифилиса сошел с ума... Выходит, что он, пожалуй, заразился от этой женщины. А она до сих пор принимает этого беспутного метиса за Христа! Открыть ли ей глаза? Или промолчать и оставить ее навеки в этом сне, похожем на старинные западные легенды?..»

Когда Цзиньхуа кончила, он, как будто опомнившись, зажег спичку и закурил душистую сигару. И, нарочно приняв заинтересованный вид, выжал из себя вопрос:

— Вот как... Странно... И ты ни разу с тех пор не болела?

— Нет, ни разу, — не колеблясь, ответила Цзиньхуа с ясным лицом, продолжая грызть арбузные семечки.

Июль 1920 г.

ПОДКИДЫШ

На улице Нагасуми-тё в Асакуса есть храм Сингёдзи — нет, это не большой храм. Впрочем, там имеется деревянная статуя святого Нитирё, так что у него есть своя история. Осенью двадцать второго года Мэйдзи у ворот этого храма был подкинут мальчик. Разумеется, ему не было и года, и бумажки с именем при нем не оказалось. Завернутый в кусок старого желтого шелка, он лежал головой на женских дзори с оборванными шнурками.

Настоятелем храма Сингёдзи в ту пору был старик по имени Тамура Ниссо; как раз когда он совершал утреннюю службу, к нему подошел пожилой привратник и сообщил, что подкинули младенца. Настоятель стоял лицом к статуе будды; почти не оглядываясь на привратника, как будто ни в чем не бывало, он ответил:

— Вот как! Принеси его сюда.

Больше того, когда привратник робко принес младенца, настоятель сейчас же взял его на руки и стал беззаботно ласкать, говоря:

— А славный мальчуган! Не плачь! Не плачь! С нынешнего дня я возьму тебя на воспитание.

Обо всем этом привратник, питавший слабость к настоятелю, нередко рассказывал прихожанам, продавая им ветки иллиция и курительные свечи. Вы, может быть, не знаете, что настоятель Ниссо раньше был штукатуром в Фукугава, но девятнадцати лет от роду упал с подмостков, потерял сознание и вдруг возымел желание уйти в монахи. Очень странный был человек и нрава неумного.

Настоятель назвал этого подкидыша Юноске и стал воспитывать его, как родного сына. Я сказал «стал воспитыв-

вать», однако, так как дело было в храме, куда со времени революции не ступала нога женщины, то это оказалось задачей нелегкой. И нянчился, и заботился о молоке — все делал в свободное от чтения сутр время сам настоятель. Да что, однажды, когда Юноске заболел, кажется, простудился — а как раз, к несчастью, служили панихиду по знатному прихожанину Каси-но Ниситацу, — настоятель, одной рукой прижимая к груди пылающего жаром ребенка, а в другой держа хрустальные четки, как обычно, спокойно читал сутры.

Однако настоятель, чувствительный при всем своем молодечестве, втайне думал о том, чтобы, если возможно, найти ребенку его настоящих родителей. Когда настоятель поднялся на амвон — и теперь еще можете увидеть на столбе у ворот старенькую дощечку с надписью: «Проповедь ежемесячно шестнадцатого числа», — он, приводя в пример случаи из древности в Японии и в Китае, с жаром говорил, что не забывать своей родительской любви — значит воздавать благодарность Будде. Но дни проповедей проходили один за другим, а не находилось никого, кто бы явился сам и назвался отцом или матерью подкидыша. Впрочем, нет, один раз, когда Юноске было три года, случилось, что пришла сильно набеленная женщина, заявившая, что она его мать. Но она, по-видимому, замышляла использовать подкидыша для недоброго дела. И так как тщательные расспросы обнаружили, что женщина эта внушает подозрения, вспыльчивый настоятель жестоко ее выругал и, чуть не пустив в ход кулаки, тут же выгнал вон.

И вот настала зима двадцать седьмого года Мэйдзи, когда пошли усиленные слухи о Японо-китайской войне; шестнадцатого числа в обычный день проповеди, когда настоятель вернулся в свою келью, вслед за ним вошла изящная женщина лет тридцати четырех — тридцати пяти. В келье возле очага, на котором стоял котел, Юноске чистил мандарин. Увидев его, женщина без всяких приготовлений протянула к настоятелю просительно сложенные руки и, подавляя дрожь в голосе, решительно сказала: «Я мать этого ребенка». Настоятель, естественно изумленный, некоторое время не в силах был даже с ней поздороваться. Но женщина, не обращая на него внимания, уставившись глазами в циновку

на полу, словно затвердив наизусть, — хотя ее душевное волнение отражалось во всем ее облике, — вежливо и обстоятельно выражала благодарность за воспитание ребенка до того дня.

Так это продолжалось некоторое время, пока настоятель, подняв свой веер с красными спицами, не заставил ее сначала рассказать, почему она подкинула ребенка. Тогда, по-прежнему не поднимая глаз от циновки, женщина рассказывала следующее.

Пять лет тому назад ее муж открыл рисовую лавку на улице Тавара-мати в Асакуса. Но не успел он получить первую прибыль, как растратил все свое состояние, и тогда они решили потихоньку уехать в Йокогаму. Но их связывал по рукам и ногам только что родившийся у них мальчик. Вдобавок у матери, к несчастью, совсем не было молока, и поэтому в тот вечер, перед самым отъездом из Токио, супруги, обливаясь слезами, подкинули младенца к воротам храма Сингёдзи.

Потом с помощью одного едва знакомого человека они, даже не пользуясь поездом, добрались до Йокогамы, муж поступил на службу в извозное заведение, а женщина пошла служить в лавку, и два года они работали не покладая рук. Судьба ли тем временем повернулась к ним лицом, только летом третьего года хозяин извозного заведения, ценя честную работу мужа, поручил ему вести недавно открытое маленькое отделение на улице Омото-дори в районе Хоммокухэн. Лишнее говорить, что женщина сейчас же оставила свое место и стала жить с мужем.

Дела в отделении шли довольно бойко. Кроме того, на следующий год у них родился мальчик. Разумеется, в это время в глубине души у них зашевелились горькие воспоминания о брошенном дитяти. В особенности женщине, когда она подносила к роту младенца свою бедную молоком грудь, всегда отчетливо вспоминался вечер их отъезда из Токио. Но работы по заведению было много, ребенок день ото дня подрастал. В банке у них появились кое-какие сбережения. Так обстояло дело, и, как бы то ни было, супруги снова получили возможность зажечь счастливой семейной жизнью.

Но повезло им ненадолго. Не успели они порадоваться, как весной двадцать седьмого года муж заболел тифом и, не пролежав и недели, сразу скончался. Если бы только это одно, то женщина, вероятно, примирилась бы с судьбой, но безутешной ее сделало то, что не наступил и сотый день со смерти мужа, как долгожданный ребенок вдруг умер от дизентерии. В то время женщина днем и ночью рыдала как безумная. Нет, не только в то время. Почти полгода она была как потерянная.

Когда ее горе стало утихать, первое, что всплыло в ее душе, — это мысль повидать подкинутого старшего сына. «Если только этот ребенок жив и здоров, я возьму его к себе и воспитаю сама, как бы ни было мне тяжело», — думала она и от нетерпения не находила себе места. Она сейчас же села в поезд и, как только приехала в милый ее сердцу Токио, тут же пошла к воротам милого ее сердцу храма Сингёдзи. Это было как раз шестнадцатого, в день проповеди.

Она хотела сейчас же подойти к покоям настоятеля, чтобы узнать у кого-нибудь о ребенке. Но пока проповедь не кончилась, она, конечно, не могла повидаться с настоятелем. Поэтому, горя нетерпением, она замешалась в толпу благочестных мужчин и женщин, заполнивших весь храм, и краем уха стала слушать проповедь настоятеля Ниссо или, вернее сказать, просто стала ждать, пока кончится проповедь.

А настоятель и в этот день, изложив рассказ о том, как женщина Лотос встретила со своими пятьюстами детьми, проникновенно проповедовал святость родительской любви. Женщина Лотос снесла пятьсот яиц. Эти яйца поплыли по течению и попали к царю соседней страны. Пятьсот богатырей, вышедшие из этих яиц, не зная, что женщина Лотос их мать, напали на ее замок. Услышав об этом, женщина Лотос поднялась на башню замка и сказала: «Я мать всех вас пятисот. Вот доказательство». И, обнажив груди, она нажала на них своей красивой рукой. И молоко, как струи из пятисот источников, полилось из груди женщины с высокой башни прямо в рты всем пятисот богатырям. Эта индийская притча произвела на несчастную женщину, которая рассеянно слушала проповедь, сильнейшее впечатление.

Поэтому-то, как только проповедь закончилась, она, не утирая слез, вышла из храма и поспешила по галерее искать настоятеля.

Расспросив о подробностях, настоятель Ниссо подозвал Юноскэ, сидевшего у очага, и свел его, после пятилетней разлуки, с матерью, лица которой ребенок не знал. Что женщина не лгала, настоятелю, разумеется, было понятно. Взяв на руки Юноскэ, она всеми силами старалась не плакать, и у великодушного настоятеля вместе с улыбкой на ресницах заблистала слеза.

Что было потом, вы, в общем, знаете и без моих слов. Юноскэ уехал с матерью в Йокогама. После смерти мужа и сына женщина, по предложению сострадательного хозяина извозного заведения и его жены, стала учить людей шитью и таким образом могла хоть и скромно, но без тягот зарабатывать на жизнь.

Закончив свой долгий рассказ, посетитель взял стоявшую перед ним чашку. Но, так и не коснувшись ее губами, взглянул на меня и тихо добавил:

— Этот подкидыш — я.

Молча кивнув, я подлил в чайник воды. Что эта трогательная история о подкидыше — история детства моего гостя Мацубара Юноскэ, даже я давно догадался, хотя встречался с ним впервые.

После нескольких часов молчания я обратился к гостю:

— Ваша мать еще в добром здравии?

И получил неожиданный ответ:

— Нет, она скончалась год назад. Но... женщина, о которой я вам рассказывал, не была моя мать.

Видя мое изумление, гость улыбнулся одними глазами:

— Что ее муж имел на Тавара-мати в Асакуса рисовую лавку, что он уехал в Йокогама и работал там — все это, конечно, правда. Но позже я узнал, что рассказ о том, будто они подкинули ребенка, был ложью. За год до того, как умерла мать, я по делам лавки — как вы знаете, я торгую хлопчатобумажной пряжей — ходил в окрестности Ниигата и как-то раз очутился в одном поезде с торговцем мешками, который в свое время жил рядом с домом матери на улице Тавара-мати. Он и без моих расспросов рассказал, что у матери тогда ро-

дилась девочка, которая еще перед закрытием лавки умерла. Вернувшись в Йокогама, я сейчас же потихоньку от матери посмотрел посемейный список, и оказалось, что в самом деле, как и сказал торговец мешками, когда она жила на улице Тавара-мати, у нее родилась дочка. И умерла на третьем месяце жизни. Мать по каким-то соображениям, чтобы взять меня, который ей не сын, выдумала историю о подкидыше. И после этого в течение двадцати с лишком лет заботилась обо мне, забывая о сне и пище.

По каким соображениям — этого я до сих пор, сколько ни думал, не понимаю. Но хотя я и не знаю, так ли это на самом деле, все же самой правдоподобной причиной мне представляется то, что проповедь настоятеля Ниссо произвела на душу матери, лишившейся мужа и ребенка, сильнейшее впечатление. Пока она слушала эту проповедь, ей и захотелось стать именно той матерью, которой я не знал. Пожалуй, так. О том, что меня подобрали у храма, она, вероятно, узнала от прихожан, пришедших на проповедь. Или же ей об этом рассказал храмовый привратник.

Мой гость замолчал и, точно спохватившись, с задумчивым видом стал пить чай.

— И вы сказали матери о том, что вы ей не родной сын, что вы знаете о том, что вы ей не сын?

Я не мог удержаться от этого вопроса.

— Нет, не сказал. Это было бы слишком жестоко по отношению к матери. И мать до самой своей смерти не сказала мне об этом ни слова. Вероятно, она тоже думала, что сказать — жестоко по отношению ко мне. Да и в самом деле, мое чувство к матери, после того как я узнал, что я ей не сын, несколько изменилось.

— В каком смысле?

Я пристально посмотрел в глаза гостю.

— Оно стало еще теплее, чем раньше. Потому что с тех пор, как я узнал обо всем, она для меня, подкидыша, стала больше, чем матерью, — мягко ответил гость. Словно не зная, что он сам был ей больше, чем сын.

Август 1920 г.

О-РИЦУ И ЕЕ ДЕТИ

1

Дожливый день. Ёйти, окончивший в этом году среднюю школу, сидит, низко склонившись над столом, в своей комнате на втором этаже и сочиняет стихотворение в стиле Китахары Хакусю. Вдруг до него доносится оклик отца. Ёйти поспешно оборачивается, не забывая при этом спрятать стихотворение под лежащий рядом словарь. К счастью, отец, Кэндзо, как был, в летнем пальто, останавливается на темной лестнице, и Ёйти видна лишь верхняя часть его тела.

— Состояние у О-Рицу довольно тяжелое, так что пошли телеграмму Синтаро.

— Неужели она так плоха? — Ёйти произнес это неожиданно громко.

— Да нет, она еще достаточно крепка, и надеюсь, ничего непредвиденного не случится, но Синтаро — ему все же надо бы...

Ёйти перебил отца:

— А что говорит Тодзава-сан?

— Язва двенадцатиперстной кишки. Беспокоиться, говорит, особенно нечего, но все же...

Кэндзо старается не смотреть Ёйти в глаза.

— Но все же я пригласил на завтра профессора Танимуру. Тодзава-сан порекомендовал... В общем, прошу тебя дать телеграмму Синтаро. Ты ведь знаешь его адрес.

— Да, знаю... Ты уходишь?

— Мне надо в банк... О-о, кажется, тетушка Асакава пожаловала.

Отец ушел. Ёйти показалось, что шум дождя за окном усилился. Мешкать нельзя — это он отчетливо сознавал.

Встав из-за стола, он быстро сбежал по лестнице, держась рукой за медные перила.

По обеим сторонам лестницы тянулись полки, забитые картонными коробками с образцами трикотажа, — это был большой оптовый магазин. У выхода Кэндзо в соломенной шляпе уже всовывал ноги в гэта, стоявшие у порога.

— Господин, звонят с фабрики. Просят узнать, будете ли вы сегодня у них... — обратился к Кэндзо говоривший по телефону приказчик в тот момент, когда в магазин спустился Ёйти. Остальные приказчики, человек пять, кто у сейфа, кто у алтаря, с почтением провожая хозяина, не могли дожидаться, когда наконец он уйдет, — нетерпение было написано на их лицах.

— Сегодня не смогу. Скажи, что буду завтра.

И Кэндзо, будто только и ждал конца разговора, раскрыл зонт и быстро вышел на улицу. Некоторое время еще было видно, как он шагает, отражаясь в лужах на асфальте.

— Камияма-сан здесь?

Сидевший за конторкой Ёйти взглянул на одного из приказчиков.

— Нет, недавно ушел по делам. Рё-сан, не знаешь куда?

— Камияма-сан? I don't know.

Ответивший это приказчик, который уютно устроился на пороге, стал насвистывать.

Ёйти начал быстро строчить пером по лежавшему на конторке бланку. И вдруг перед ним всплыло лицо старшего брата, прошлой осенью поступившего в один из провинциальных колледжей, — более темное и более полное, чем у него, Ёйти. «Мама плоха, приезжай немедленно», — написал он, но тут же порвал бланк, взял новый и написал: «Мама больна, приезжай немедленно». Но слово «плоха», которое он написал сначала, точно дурное предзнаменование, сверлило мозг.

— Сходи отправь.

Протянув написанную наконец телеграмму одному из приказчиков, Ёйти скомкал испорченный бланк, бросил его на кухню, помещавшуюся за магазином, а сам пошел в полутемную столовую. Там, на балке над жаровней, висел большой календарь, выпущенный в качестве торговой рекламы.

У жаровни сидела коротко остриженная, всеми позабытая тетушка Асакава и ковыряла в ухе. Услышав шаги Ёити, она, не отнимая руки от уха, подняла на него воспаленные глаза:

— Здравствуй. Отец ушел?

— Да, только что. Сколько беспокойства у вас из-за мамы.

— Беспокойства действительно много. У нее болезнь, которая даже названия не имеет.

Ёити опустился на колени у жаровни. За фусума лежала больная мать. При мысли об этом сидевшая напротив старомодная старуха вызвала в нем раздражение, большее, чем обычно. Помолчав, тетушка глянула на Ёити исподлобья, потом сказала:

— Скоро придет О-Кину-тян.

— Разве она уже выздоровела?

— Говорит, что чувствует себя хорошо. У нее ведь был просто насморк.

В словах тетушки, чуть презрительных, сквозила теплота.

О-Кину нравилась тетушке больше обоих братьев, видимо, потому, что меньше всех доставляла хлопот О-Рицу. Кроме того, покойная жена Кэндзо, мать О-Кину, была в большой дружбе с тетушкой, Ёити вспомнил, что от кого-то слышал об этом, и сейчас без особой охоты говорил о больной сестре, в позапрошлом году вышедшей замуж за торговца мануфактурой.

— Как дела у Син-тяна? Отец перед уходом сказал, что надо бы ему сообщить о болезни О-Рицу.

Тетушка вспомнила об этом, вдоволь наговорившись об О-Кину.

— Я только что велел отправить телеграмму. Придет сегодня же, уверен.

— Пожалуй. Ведь от Киото до Осаки совсем близко...

Тетушка произнесла это нерешительно, ибо не была сильна в географии. Это почему-то пробудило таившееся в сердце Ёити беспокойство. Приедет ли брат? И он подумал, что следовало отправить более тревожную телеграмму. Мать хочет увидеться с сыном. Тот все не едет, а мать умирает. Сестра же и тетушка Асакава осуждают брата как непоч-

тительного сына. Эта картина пронеслась перед мысленным взором Ёити.

— Если телеграмма придет сегодня, он завтра же будет здесь.

Ёити сказал это, чтобы успокоить не столько тетушку, сколько самого себя.

Пока они разговаривали, вошел, стараясь ступать бесшумно, приказчик Камияма, на лбу у него блестели капельки пота. Он куда-то ходил — рукава его полосатого хаори были мокрыми от дождя.

— Здравствуйте. Простите, что заставил вас так долго ждать.

Поздоровавшись с тетушкой Асакавой, Камияма вытащил из-за пазухи конверт.

— Теперь с больной все будет в порядке, — сказал он. — В этом письме подробно изложено, что надо делать.

Прежде чем вскрыть конверт, тетушка надела очки. В конверте, вместе с письмом, лежал сложенный вчетверо листок бумаги, на котором была написана единица.

— Камияма-сан, а где это Дайкёдо?

Ёити удивленно заглянул в письмо, которое читала тетушка.

— Знаете европейский ресторан на углу? Нужно свернуть — и сразу налево.

— Кажется, где-то там живет твой учитель Киёмото?

— Совершенно верно.

Весело улыбаясь, Камияма тербил агатовую печатку, висевшую на цепочке от часов.

— Значит, там и живет гадатель, да? Больную нужно положить головой к югу, написано в письме. А как лежит мама?

Тетушка сквозь очки с укоризной взглянула на Ёити:

— Видимо, к востоку. Юг, по-моему, здесь.

Ёити, у которого немного отлегло от сердца, по-прежнему заглядывая через плечо тетушки в письмо, шарил в глубоком рукаве кимоно, пытаясь найти пачку сигарет.

— Смотри, а дальше говорится, что можно и головой к востоку. Камияма-сан, хочешь сигаретку? Бросаю тебе пачку. Надеюсь, ты меня простишь?

— Благодарю вас. О-о, «ЕСК». Возьму одну. Я вам больше не нужен? Если потребуюсь, не стесняйтесь.

Сунув сигарету с золотым мундштуком за ухо, Камияма направился было в магазин. Но тут сёдзи раздвинулись, и прямо в пальто вошла О-Кину с забинтованным горлом, неся в руках корзину с фруктами. О-Кину была причесана, как обычно причесываются замужние женщины.

— Заходи, заходи.

— Такой дождь, а вы все же пришли, — в один голос произнесли тетушка и Камияма. Поклонившись им, О-Кину быстро сняла пальто и устало опустилась на циновку. Камияма, оставив в комнате корзину с фруктами, которую он взял у О-Кину, поспешно вышел из столовой. В корзине были красиво уложены красные яблоки и бананы.

— Как мама? Поезд был битком набит. Простите.

О-Кину ловко сняла перепачканные белые носки. Ёити смотрел на эти носки, и ему казалось, что он ощущает брызги дождя, плывущие вокруг сестры.

— У нее все еще боли. Еще бы, ведь температура почти тридцать девять.

Тетушка, не выпуская из рук листка бумаги, полученного от гадателя, занялась приготовлением чая вместе со служанкой Мицу, которая появилась после того, как ушел Камияма.

— Но по телефону как будто сказали, что сегодня ей гораздо лучше? Правда, раньше я все равно не могла бы прийти, так как не выходила из дому. Кто же это звонил? Ты, Ёити?

— Нет, не я. Может быть, Камияма-сан?

— Совершенно верно.

Это сказала Мицу, подавая чай.

— Камияма-сан?

О-Кину с недовольным видом села поближе к жаровне.

— Что случилось? Почему у тебя такое лицо? Дома все здоровы?

— Да, благодарю. А у вас, тетушка, тоже все благополучно?

Ёити слушал этот разговор, зажав сигарету в зубах и разглядывая отрывной календарь. С тех пор как Ёити окончил школу, числа он еще помнил, но дни недели всегда забывал.

Это его огорчало. А тут еще через месяц вступительные экзамены, держать которые у него нет ни малейшего желания. Если же он провалится...

— Как похорошела Мицу.

Слова сестры Ёити воспринял как предостережение. Но промолчал, только сделал глубокую затыжку. Правда, в это время Мицу уже была на кухне.

— Нет, что ни говори, такие лица нравятся мужчинам...

Убирая письмо и очки, тетушка укоризненно улыbnулась. О-Кину удивленно на нее посмотрела:

— Что случилось, тетушка?

— Камияма-сан только что принес письмо от гадателя. Зайди, Ё-тян, к маме. Недавно она, правда, спала, но, может быть, уже проснулась.

Ёити очень не хотелось идти, но он принял в пепельнице окурочку и, избегая взглядов тетушки и сестры, поднялся. Изобразив на лице улыбку, он вошел в соседнюю комнату.

Там, за раздвижными стеклянными сёдзи, виднелся крохотный внутренний дворик, где одиноко рос толстый падуб и стоял умывальный таз. О-Рицу в холщовом ночном кимоно тихо лежала спиной к Ёити с пузырьком льда на голове. Подле нее устроилась сиделка, которая, близоруко склонившись над историей болезни, лежавшей у нее на коленях, что-то писала вечным пером.

Увидев Ёити, она чуть кокетливо поздоровалась с ним одними глазами. Ёити ответил неприветливо, хотя не оставался равнодушным к ее привлекательности. Потом обошел вокруг матраса и сел так, чтобы видеть лицо матери.

О-Рицу лежала с закрытыми глазами. Ее худое лицо казалось сегодня совсем изможденным. Но когда она открыла затуманенные жаром глаза и посмотрела на Ёити, в них промелькнула ее обычная улыбка. Ёити стало стыдно, что он так долго разговаривал с тетушкой и сестрой. После некоторого молчания О-Рицу с трудом сказала:

— Послушай...

Ёити кивнул. Ему было неприятно горячее дыхание матери. О-Рицу не продолжала. Ёити начал испытывать беспокойство. Ему даже казалось, что это ее последнее слово.

— Тетушка Асакава еще не ушла? — произнесла наконец мать.

— И тетушка здесь, и сестра только что пришла.

— Тетушка...

— У тебя к ней дело?

— Нет, тетушке я хочу подарить умэгавского угря.

На этот раз Ёити улыбнулся.

— Передай это Мицу. Ладно? Вот и все.

Произнеся это, О-Рицу попыталась повернуть голову. В тот же миг пузырь со льдом упал. Ёити сам положил его на лоб матери, не дав сделать это сиделке. Неожиданно он почувствовал, что веки его стали горячими. «Плакать не следует», — подумал он. Но было поздно. У ноздрей уже застыли стекавшие ручейком слезы.

— Глупенький.

Прошептав это, мать устало прикрыла глаза.

Ёити покраснел и, стыдясь взгляда сиделки, с тяжелым сердцем вернулся в столовую. Тетушка Асакава обернулась и посмотрела ему в глаза.

— Ну как мама? — спросила она.

— Лежит с закрытыми глазами.

— С закрытыми? Плохо.

Тетушка и О-Кину, сидевшие друг против друга у жаровни, переглянулись. Сестра, которая, хмурясь, чесала шпилькой голову, опустив наконец руку, спросила:

— Ты не сказал ей, что Камияма-сан вернулся?

— Не сказал. Лучше, если это сделаешь ты.

Ёити стоял у фусума и старался потуже затянуть пояс. Стоял и думал: нет, ни в коем случае нельзя укорачивать матери путь к могиле, нельзя. Ни в коем случае.

2

Утром Ёити завтракал в столовой с отцом. На столе стояла чашка с рисом и для тетушки, заночевавшей у них. Но сама она еще не пришла, так как находилась возле матери вместо сиделки, которая обычно очень долго занималась своим туалетом.

Работая палочками для еды, отец и сын изредка перекидывались словами.

Последнюю неделю они вот так вдвоем сидели за своей грустной трапезой. Но сегодня им было тяжелее, чем в предыдущие дни, разговаривать друг с другом. Прислуживавшая Мицу безмолвно подавала еду.

— Как ты думаешь, приедет сегодня Синтаро?

Кэндзо выжидательно посмотрел на Ёити, но Ёити молчал. Приедет ли брат сегодня — не это его мучило, его мучило другое — что брат вообще не приедет.

— Может быть, завтра?

На этот раз Ёити не смог промолчать.

— Но ведь у него сейчас, кажется, экзамены.

— Ты полагаешь?

Кэндзо умолк, о чем-то задумавшись. Потом, протягивая Мицу чашку, чтобы та налила чай, обратился к Ёити:

— Тебе тоже нужно учиться. Не забывай, что осенью Синтаро станет студентом университета.

Ёити отодвинул еду и ничего не ответил. Он злился на отца, который заставлял его учиться, запрещая заниматься любимой литературой. Кроме того, что общего между студенчеством старшего брата и учебой младшего?

Ёити хотелось посмеяться над нелогичностью отца.

— О-Кину сегодня придет?

Кэндзо решил переменить тему разговора.

— Вероятно. Она ведь просила ей позвонить, когда придет Годзава-сан.

— У О-Кину дома тоже неблагополучно. Они близки к разорению.

— Да, убытки у них огромные.

Ёити слушал, продолжая пить чай. Четыре месяца назад разразился невиданный кризис. В результате банкротства одного осакского промышленника, с которым их фирма заключила крупные сделки, Кэндзо пришлось прибегнуть к займу. В общем, его убытки составляли самое малое тридцать тысяч иен. Ёити слышал об этом краем уха.

— Хоть бы все оставалось как есть. Ведь при нынешнем положении в любое время может произойти непредвиденное.

Говоря об этих невеселых делах в несколько шутовском тоне, Кэндзо встал из-за стола. Потом раздвинул фусума и вошел в соседнюю комнату, где лежала больная.

— И суп съела, и молоко выпила? О-о, это настоящее событие. Нужно, чтобы она как следует ела.

— Если бы она еще могла принимать лекарство, а то примет — и ее тут же вырвет.

Такой разговор услышал Ёити. Он до завтрака заходил к матери — жар у нее был значительно меньше, чем накануне и третьего дня. Говорила она не с таким трудом, двигалась гораздо свободнее. «Боли еще не прошли, но самочувствие значительно лучше», — это сказала сама мать. А теперь и аппетит появился — как знать, быть может, все тревоги уже позади и она пойдет на поправку. Так тешил себя надеждой Ёити, заглядывая в соседнюю комнату. Но в то же время он испытывал суеверный страх, что матери может стать хуже, если он раньше времени успокоится.

— Господин, вас к телефону.

Продолжая держаться за фусума, Ёити обернулся. Мицу, подобрав рукава, вытирала стол. А к телефону Ёити позвала служанка по имени Мацу, которая была старше Мицу. С мокрыми руками она стояла в дверях кухни, через которые виднелась всякая утварь.

— Кто просит?

— Даже и не знаю кто...

— Ну ладно, вечно ты со своим «даже и не знаю кто».

Ворча, Ёити быстро вышел из столовой. Ему почему-то было приятно отругать непонятливую Мацу при Мицу, которая ему нравилась.

Он подошел к телефону — звонил сын аптекаря Тамура, с которым они вместе окончили школу.

— Здравствуй. Давай сходим в «Мэйдзидза». Там сегодня играет Иноуэ. На Иноуэ ты, конечно, пойдешь.

— Не могу. Мать больна.

— А я и не знал. Прости. Жаль. Вчера мы кое-где были...

Закончив разговор, Ёити поднялся на второй этаж, в свою комнату. Сел к столу, но желания готовиться к экзаменам у него не появилось, даже читать не хотелось. Ёити постоял у решетчатого окна, из которого было видно, как пе-

ред оптовой фирмой игрушек мужчина в хантэне накачивает шины велосипеда, и ему почему-то стало не по себе. Спускаться вниз тоже не хотелось. И Ёити улегся на циновку, подложив под голову объемистый китайско-японский словарь.

Он стал вспоминать своего брата, с которым не виделся с весны. У брата был другой отец, но Ёити ни разу даже в долгу не пришло, что они сводные, а не родные братья. Да и о том, что его мать вышла второй раз замуж, имея ребенка, которым и был его брат, он узнал сравнительно недавно. В памяти запечатлелось лишь то, что у брата другой отец.

Это случилось в то время, когда они с братом еще учились в начальной школе. Однажды Ёити, играя с Синтаро в карты, поспорил с ним. Синтаро, всегда сдержанный, как ни злился на Ёити, даже голоса не повысил. Только стыдил брата, осуждающе глядя ему в глаза. Ёити пришел в бешенство, схватил карты и швырнул Синтаро в лицо. Карты рассыпались по полу. Брат вlepил ему оплеуху.

— Не нахальничай.

Не успел брат сделать это, как Ёити зубами впился ему в руку. Синтаро был крупнее Ёити. Зато Ёити был отчаяннее. Они вцепились друг в друга, как звери, и начали драться.

На шум прибежала мать.

— Что вы делаете?

Только мать это произнесла, как Ёити тут же расплакался. А брат застыл на месте, опустив голову.

— Синтаро, ты старший. Зачем же обижаешь младшего?

Получив выговор от матери, Синтаро дрожащим голосом возразил:

— Это Ёити во всем виноват. Он швырнул мне карты в лицо.

— Врешь. Ты первый ударил меня. — И Ёити еще сильнее расплакался. — Зачем обманываешь маму?

— Что?

Возмущенный брат двинулся на Ёити.

— Опять ты на него нападаешь? Я же сказала — ты старший, значит, должен просить прощения.

Мать оттащила Синтаро от Ёити. Глаза брата загорелись недобрым огоньком.

— Хорошо же.

Он, точно безумный, замахнулся на мать. Но тут же заплакался еще сильнее, чем Ёити.

Какое лицо было в этот момент у матери? Этого Ёити не запомнил. Но налитые злостью глаза брата до сих пор отчетливо видит перед собой. Возможно, брат вспыллил оттого, что мать несправедливо его отругала. Но это было всего лишь предположение. После отъезда брата в провинцию стоило Ёити вспомнить выражение глаз Синтаро, как он начинал думать, что мать смотрела тогда на брата совсем не так, как на него, Ёити. В этой мысли его укрепляло еще одно воспоминание.

Это было три года назад. В сентябре, за день до отъезда брата в провинцию, в колледж, Ёити отправился с ним за покупками, и они вышли на Гиндзу.

— И с этими часами я расстаюсь навсегда.

Когда они дошли до улицы Охари, Ёити, будто разговаривая сам с собой, сказал:

— Тогда бы лучше тебе поступить в первый колледж.

— А я не желаю туда поступать.

— Просто не хочешь признавать себя побежденным. Что хорошего в деревне? Ни мороженого нет. Ни кинематографа... — Ёити продолжал шутливо: — И если кто-нибудь из нас заболит, ты не сможешь сразу приехать...

— Разумеется...

— А если мама умрет?

Брат, шагавший по краю тротуара, сорвал с ивы листок и лишь тогда ответил:

— Если даже мама умрет, мне ни капельки не будет ее жаль!

— Брось врать, — возмутился Ёити. — Как можно так говорить!

— Я не вру. — Голос брата неожиданно дрогнул от волнения. — Ты много читаешь. Поэтому должен знать, что есть на свете люди, подобные мне. Они действительно странные.

Ёити был потрясен. И тут в памяти его отчетливо всплыло то выражение глаз, которое было у брата, когда он замах-

нулся на мать. Он взглянул на Синтаро — тот невозмутимо шагал, глядя прямо перед собой...

От этих воспоминаний Ёити стало не по себе: приедет брат или не приедет? Пусть из-за экзаменов задержится на день, другой — лишь бы не пренебрег сыновним долгом. Пусть опоздает — лишь бы приехал... Тут Ёити услышал, что кто-то поднимается по лестнице. Он стремительно вскочил на ноги.

Появилась сторбленная фигура тетушки Асакавы, щурившей свои слабые глаза.

— Ты что, решил вздремнуть после еды?

Уловив в словах тетушки насмешку, Ёити подвинул ей дзабутон, на котором только что сидел. Но она села прямо на циновку и, прислонившись спиной к столу, заговорила шепотом, с таким видом, будто произошло что-то ужасное.

— Мне нужно с тобой посоветоваться.

У Ёити сжалось сердце.

— Что-нибудь случилось с мамой?

— Нет, я не о маме собираюсь с тобой говорить. Речь идет о сиделке. Теперь, правда, трудно что-нибудь сделать...

И тетушка начала говорить, медленно и нерешительно.

Вчера, когда пришел Годзава-сан, сиделка позвала его в столовую и спросила: «Сэнсэй, сколько еще протянет больная? Если долго, я бы хотела хоть на несколько дней взять отпуск». Сиделка, разумеется, была уверена, что никого поблизости нет. Но находившаяся в кухне Мацу все слышала. И, разозлившись на сиделку, рассказала тетушке. Та стала присматриваться к сиделке и убедилась, что она плохо ухаживает за больной. Утром, не обращая внимания на больную, больше часа красилась и пудрилась...

— Конечно, она привыкла к страданиям больных, такая у нее профессия, но не слишком ли много она себе позволяет? По-моему, следует нанять другую сиделку.

— Да, пожалуй, так и надо сделать. Скажем папе...

То, что сиделка считала дни до смерти матери, не раздражало Ёити, скорее подавляло.

— Видишь ли, отец уже уехал на фабрику. А я забыла с ним поговорить.

Тетушка смотрела на Ёити широко раскрытыми воспаленными глазами.

— Но раз мы решили сменить сиделку, то чем быстрее мы это сделаем, тем лучше.

— Тогда нужно попросить Камияму-сана прямо сейчас позвонить в общество сиделок... А папе расскажем обо всем, как только он вернется...

— Правильно, так и сделаем.

Ёити быстро сбежал по лестнице.

— Камияма-сан, позвони, пожалуйста, в общество сиделок.

Приказчики удивленно посмотрели на Ёити из-за груды разложенных товаров. И тут же вскочил сидевший за конторкой Камияма, у которого на ярком фартуке горкой лежали обрывки шерстяной пряжи.

— Какой там номер телефона?

— Я думал, ты знаешь.

Стоявший у лестницы Ёити, листая вместе с Камиямой телефонную книгу, не мог не испытывать неприязни к царившей в магазине атмосфере будничности безразличия к тому, что волновало его и тетушку.

3

Под вечер Ёити зашел в столовую — там у жаровни сидел в летнем хаори только что вернувшийся отец. Перед ним, опершись локтями о жаровню, сидела О-Кину с красиво подобранными на затылке волосами. Горло у нее сегодня уже не было забинтовано.

— Да, чуть не забыла.

— В чем дело?

О-Кину подняла лицо, которое было еще бледнее, чем вчера, и ответила на приветствие Ёити. Потом со смущенной улыбкой, будто стесняясь его, продолжала прерванный разговор:

— Что будет дальше, не знаю. Акции упали...

— Ладно-ладно, я все понял.

Отец сказал это шутливым тоном, но выражение лица у него было недовольное. В прошлом году, когда сестра выхо-

дила замуж, отец обещал подарить ей какие-то вещи, но пока обещание так и осталось обещанием. Ёити, которому это было хорошо известно, устроился на некотором расстоянии от жаровни и, молча развернув газету, стал просматривать рекламу театра «Мэйдзидза», куда его приглашал утром Та-мура.

— Я огорчена, что ты так поступаешь.

— Тебе огорчаться нечего, это я должен огорчаться твоим поведением. Мать тяжело больна, а ты только и знаешь, что ныть...

После этих слов отца Ёити невольно стал прислушиваться к тому, что происходит в комнате больной. Время от времени оттуда доносились стоны, но не такие, как в предыдущие дни.

— Маме сегодня совсем плохо.

Слова Ёити лишь на короткий миг прервали разговор отца с дочерью. О-Кину выпрямилась и, осуждающе глядя на отца, осыпала его упреками:

— Маме плохо! А ведь я давно предлагала пригласить другого врача, и все было бы хорошо. Ты же без конца колебался, ни на что решиться не можешь...

— Именно поэтому, только поэтому я и пригласил профессора Танимуру, — досадливо поморщившись, сказал Кэндзо.

Ёити был на стороне сестры и с неприязнью слушал весь этот разговор.

— В котором часу придет Танимура-сан?

— Обещал часа в три. Я, когда был на фабрике, просил еще раз позвонить ему.

Обняв колени, Ёити поднял глаза к большим стенным часам:

— Может быть, сказать, чтобы снова позвонили?

— Тетушка говорила, что недавно уже просила позвонить.

— Недавно?

— Вскоре после того, как ушел Годзава-сан.

Пока продолжался этот разговор, О-Кину с мрачным ли-

цом неожиданно поднялась и быстро вышла в соседнюю комнату.

— Освободились наконец от твоей сестрицы.

Горько усмехнувшись, Кэндзо вынул портсигар. Но Ёйти, не отрывая глаз от часов, ничего не ответил.

Из соседней комнаты по-прежнему доносились стоны О-Рицу. Может быть, ему так казалось, но теперь они были громче, чем прежде. Почему не идет профессор Танимура? Впрочем, мать не единственная его пациентка, как раз сейчас обход больных. Нет, вот-вот пробьет четыре, так поздно он никогда не задерживается в больнице. Не исключено, что он уже у входа в магазин...

— Ну как?

Голос отца избавил Ёйти от мрачных мыслей. В светлом промежутке между фусума появилось обеспокоенное лицо тетушки.

— Она ужасно страдает... А врача все еще нет.

Прежде чем ответить, Кэндзо выпустил изо рта дым.

— Что же делать? Сказать, чтобы еще раз позвонили?

— Пожалуй. Чем ей мучиться так еще час или больше, лучше пригласить Тодзаву-сана.

— Я позвоню.

Ёйти быстро вскочил.

— Позвони. Узнай, вышел ли уже профессор. Его телефон Коисикава, номер ***. В общем...

Не успел Кэндзо договорить, как Ёйти выскочил из столовой и вбежал на кухню. Там Мацу с закатанными рукавами резала сушеного тунца. Когда Ёйти проходил мимо нее, на него чуть не налетела Мицу. Они едва не столкнулись.

— Простите.

Смущенно извинившись, Мицу, с аккуратно причесанными благоухающими волосами, побежала в столовую.

Сконфуженный Ёйти поднес к уху телефонную трубку. Не успела телефонистка ответить, как раздался голос сидевшего у конторки Камиямы:

— Ёйти-сан, вы звоните в больницу Танимуре?

— Да, в больницу Танимуре.

Не кладя трубки, Ёйти повернулся к Камияме. Тот, не

глядя в его сторону, ставил на место, на зарешеченный стеллаж, большую бухгалтерскую книгу.

— Оттуда только что звонили. О-Мицу-сан как раз побегала сказать об этом.

— Что сказали?

— Что профессор только что вышел. Только что, да, Рёсан?

Приказчик, к которому обратился Камияма, сидел на лестнице, доставая с высокой полки ящик с товарами.

— Нет, сказали, что он еще в больнице.

— Вот как? Так и надо было сказать Мицу.

Ёйти положил трубку и направился было в столовую. Но случайно взглянул на висевшие в магазине часы и в недоумении остановился.

— В чем дело? На них уже двадцать минут пятого!

— Они спешат на десять минут. Так что сейчас десять минут пятого.

Камияма посмотрел на свои золотые часы:

— Совершенно верно, десять минут.

— А часы в столовой отстают. Так что Танимура-сан задерживается еще больше, чем мы предполагали.

Постояв немного в нерешительности, Ёйти быстро вышел из магазина и стал смотреть на затихшую улицу, над которой уже сгущались сумерки.

— Все не идет. А вдруг он не может нас найти, хотя вряд ли... Камияма-сан, я, пожалуй, пройдусь немного, — бросил он через плечо Камияме и, надев гэта, оставленные у порога кем-то из приказчиков, почти бегом направился к большой оживленной улице, забитой автомобилями и трамваями.

Эта улица находилась в полуквартале от магазина. Стоявшее там на углу здание было разделено на две половины: в одной небольшое почтовое отделение, в другой — магазин импортных товаров. В витрине между оригинально расположенными соломенными шляпами и тростями были выставлены на манекенах яркие купальные костюмы.

Повернувшись спиной к витрине, Ёйти принял нетерпеливо рассматривать прохожих и автомобили. Так он про-

стоял некоторое время, но не заметил, чтобы в переулок, где в ряд стояли оптовые магазины, завернул хоть один рикша или хоть одна машина, если не считать забрызганного грязью такси с табличкой «свободен».

Неожиданно появился мчащийся на велосипеде приказчик лет пятнадцати из их магазина. Увидев Ёйти, он ловко затормозил и оперся рукой о телефонный столб. Не снимая ног с педалей, сказал:

— Только что звонил Тимура-сан.

— Какое у него ко мне дело?

Разговаривая, Ёйти внимательно осматривал улицу.

— Да никакого.

— И ты приехал, чтобы сообщить мне об этом?

— Нет, я еду на фабрику. Да, хозяин просил передать, что вы ему нужны.

— Отец?

Сказав это, Ёйти вдруг бросился бежать, забыв о приказчике. В переулок сворачивал рикша. Поравнявшись с ним, Ёйти поднял в приветствии обе руки и закричал сидевшему в коляске юноше:

— Брат!

Рикша, откинувшись назад, остановил коляску. В ней сидел Синтаро в летней форменной тужурке, в фуражке с белым кантом, обняв обеими руками лежавший на коленях чемодан.

— Привет. — Синтаро без всякого выражения посмотрел на Ёйти. — Как мама?

Глядя снизу вверх на брата, Ёйти почувствовал, как забурлила в жилах кровь, как заплыла щеки.

— В последние дни ей хуже. Говорят, язва двенадцатиперстной кишки.

— Вот как? Да...

Синтаро ограничился этим холодным замечанием. Но в его глазах, унаследованных от матери, промелькнуло выражение, которого Ёйти так ждал, но на которое не смел надеяться. Ёйти уловил в глазах брата раскаяние и продолжал быстро и беспорядочно:

— Сегодня ей особенно плохо... Молодец, что приехал... Поезжай быстрее...

Он сделал знак рикше, и тот снова пустился бежать. Синтаро вспомнил, как садился утром в вагон третьего класса, словно это был не он, а кто-то другой. Чувствуя у своего плеча плечо розовощекой деревенской девушки, устроившейся рядом с ним, он думал, что ему будет не так тяжело следовать за мертвой матерью, как встретиться взглядом с умирающей. А глаза его в это время были устремлены на сборник стихов Гёте в издании «Реклам»...

— Синтаро, экзамены еще не начались?

Синтаро бросил удивленный взгляд на говорившего. Ёйти, стуча гэта, бежал рядом с коляской.

— Завтра начинаются. Что ты здесь делаешь?

— Мы ждем профессора Танимуру. Но он что-то опаздывает, и я вышел его встретить...

Ёйти ответил, учащенно дыша. Синтаро хотелось посочувствовать брату. Но это сочувствие вылилось в самые обычные слова:

— И давно ты ждешь?

— Да нет, минут десять.

— С тобой был, кажется, кто-то из приказчиков? Приехали.

Рикша пробежал еще несколько шагов и остановил коляску у магазина. Магазина с массивной застекленной дверью, такого близкого и родного Синтаро.

4

Через час на втором этаже магазина вокруг профессора Танимуры собрались с мрачными лицами Кэндзо, Синтаро и муж О-Кину. Они пригласили профессора сюда, чтобы узнать, каков результат осмотра О-Рицу. Профессор Танимура, человек крепкого сложения, выпил поданный ему чай, повертел в толстых пальцах золотую цепочку, свешивавшуюся из жилетного кармана, и наконец, внимательно глядя в освещенные электричеством лица мужчин, сказал:

— Надо бы вызвать ее лечащего врача. Вы, кажется, называли Годзаву-сана...

— Ему только что звонили. Должен скоро прийти.

Точно ища подтверждения своих слов, Кэндзо повернулся к Синтаро. Так и не переодев форменной тужурки, он сидел, хмурый, между профессором и отцом.

— Да, с минуты на минуту должен явиться.

— Тогда дождемся его, а потом все обсудим. Какая неустойчивая сегодня погода.

Говоря это, профессор вынул портсигар из марокканской кожи.

— Сезон дождей в этом году так затянулся!

— Погода действительно ужасная, под стать финансовым делам, тоску нагоняет... — добавил муж О-Кину.

Пришедший навестить больную молодой хозяйин мануфактурного магазина, с короткими усиками и в очках без оправы, был одет скорее как адвокат или служащий фирмы.

Синтаро, которого раздражала вся эта болтовня, угрюмо молчал.

Вскоре появился домашний врач Годзава. В черном шелковом хаори, чуть подвыпивший, он учтиво поклонился профессору Танимура и обратился к сидевшему наискосок от него Кэндзо:

— Вы уже осведомялись относительно диагноза? — У него был сильный тохокусский акцент.

— Нет, решил спросить об этом после вашего прихода.

Профессор Танимура с зажатой между пальцами короткой сигаретой ответил вслед за Кэндзо:

— Прежде всего нужно было выслушать вас...

Тодзава подробно рассказал о состоянии больной за последнюю неделю и об избранном им методе лечения. Внимание Синтаро привлекли редкие брови профессора, которые непрерывно двигались, пока он слушал Тодзаву.

Когда тот умолк, профессор Танимура несколько раз важно кивнул головой:

— Ну что ж, все понятно. Язва двенадцатиперстной кишки. Правда, сейчас осмотр показал, что у нее, видимо, начался перитонит. Об этом свидетельствуют пульсирующие боли в нижней части живота...

— Пульсирующие боли в нижней части живота? — Тодза-

ва, торжественно упершись локтями в ляжки, обтянутые саржевыми хакама, повернулся к профессору.

Некоторое время все сидели, затаив дыхание, не решаясь заговорить.

— Но сегодня температура значительно ниже, чем вчера... — прервал наконец молчание Кэндзо.

Однако профессор, бросив в пепельницу сигарету, бесцеремонно прервал его:

— Это ничего не значит. Температура все время будет понижаться, а пульс учащаться. Такова особенность этой болезни.

— Ах вот оно что! Это нужно знать и нам, людям молодым.

Муж О-Кину, скрестив на груди руки, время от времени пощипывал усы. Синтаро уловил в словах шурина безразличие совершенно чужого человека.

— Я при осмотре больной как будто не обнаружил симптомов перитонита...

Профессор Танимура ответил со свойственной ему профессиональной любезностью:

— Возможно. Не исключено, что перитонит начался позднее. К тому же он, видимо, еще не прогрессирует. И все же я не сомневаюсь, что перитонит начался.

— Может быть, следует немедленно положить ее в больницу?

Это заговорил наконец Синтаро, сохраняя на лице суровое выражение. Профессор из-под тяжелых век внимательно посмотрел на Синтаро, словно для него было неожиданным, что тот заговорил.

— Перевозка больной сейчас исключена. Ей надо согреть живот. Если боль усилится, пусть Тодзава-сан сделает укол... Ночью, я полагаю, ей станет хуже. Уколы, разумеется, не панацея, но при этой болезни они необходимы, чтобы облегчить страдания.

Профессор Танимура говорил, не глядя на собеседника, и вдруг, будто спохватившись, вынул из жилетного кармана часы и поднял их:

— Простите, мне пора.

Синтаро вместе с отцом и шурином поблагодарил профессора за визит. Лицо его выражало отчаяние.

— Не смогли бы вы, профессор, в ближайшие дни еще раз навестить больную?.. — спросил, прощаясь, Тодзава.

— Разумеется, я прибуду в любое время...

Больше профессор ничего не сказал. Спускаясь последним по темной лестнице, Синтаро понял, что это конец...

5

После ухода Тодзавы и мужа О-Кину переодевшийся в кимоно Синтаро, тетушка Асакава и Ёити собрались в столовой у жаровни. Из-за фусума по-прежнему доносились стоны О-Рицу. И все, вяло перебрасываясь словами под свисавшей над самой жаровней лампой, точно сговорившись, внимательно прислушивались к этим стонам.

— Просто невысказано. Такие ужасные страдания.

Крепко сжимая щипцы для угля, тетушка смотрела в одну точку.

— Ведь Тодзава-сан говорил, что все хорошо?

Не отвечая тетушке, Ёити обратился к брату, сидевшему с сигаретой в зубах:

— Он просил профессора прийти в ближайшие дни.

— Странно. Почему он об этом просил?

На этот раз Синтаро ничего не ответил, лишь стряхнул пепел.

— Син-тян, что сказала мама, когда увидела тебя?

— Ничего не сказала.

— Но я слышал, как она смеялась.

Ёити сбоку внимательно посмотрел на брата.

— Верно... Скажи лучше, почему мамина постель благоухает дорогими духами?

Тетушка с улыбкой повернулась к Ёити, но, не дождавсь от него ответа, сказала:

— Это О-Кину-тян побрызгала мамину постель духами. Ты знаешь, Ё-тян, что это за духи?

— Что за духи?.. Наверно, специально для постели.

Неожиданно из-за фусума показалось измученное лицо О-Кину.

— Где отец?

— Он в магазине. Что-нибудь нужно?

— Да, мама хотела...

Не дав ей договорить, Ёити вскочил.

Когда он выбежал из столовой, туда на цыпочках вошла, забько охватив себя руками, О-Кину с болеутоляющими пластырями на висках и села на место, с которого только что вскочил Ёити.

— Что случилось?

— Никак не может принять лекарства... Новая сиделка хоть и пожилая, но действует спокойно и уверенно.

— Как температура?

Синтаро, продолжая молчать, поморщился и выдохнул дым.

— Только что измеряли, тридцать семь и две...

О-Кину, пряча подбородок в ворот кимоно, задумчиво посмотрела на Синтаро:

— После ухода Тодзавы-сана снизилась еще на одну десятую.

Снова наступило молчание. Его нарушил громкий звук шагов вошедшего Кэндзо, вслед за которым появился и Ёити.

— Тебе только что звонили из дому. Муж просит чуть попозже позвонить. — С этими словами Кэндзо обратился к О-Кину, после чего направился в соседнюю комнату.

— Ну что ты будешь делать! Две служанки в доме, а толку от них никакого.

О-Кину, досадливо прищелкнув языком, переглянулась с тетушкой.

— Такие теперь служанки пошли... Моя, так та, наоборот, во все сует нос.

Пока женщины переговаривались, Синтаро, не выпуская сигареты изо рта, заговорил с печально сидевшим Ёити:

— К вступительным экзаменам готовишься?

— Готовлюсь... Но в этом году держать не буду.

— По-прежнему пишешь стихи?

Ёити, морщась, прикурил сигарету.

— У меня нет такой склонности к учению, как у тебя. А математику я просто ненавижу.

— Хоть и ненавидишь, но если не заниматься...

Синтаро прервала сидевшая напротив него тетушка, тихим голосом переговаривавшаяся с подошедшей к приоткрытым фусума сиделкой:

— Син-тян, мама зовет.

Погасив окурок, он встал. И, не взглянув на сиделку, прошел в соседнюю комнату.

— Проходи сюда. Мама сказала, что хочет тебя видеть, — кивнул ему головой отец, сидевший у изголовья больной. Синтаро послушно примостился рядом с ним.

— Ты меня звала?

Мать повернула к нему голову. В свете лампы, завешанной куском материи, лицо ее выглядело еще более осунувшимся.

— Понимаешь, Ёити не желает заниматься... Хоть бы ты ему сказал... Он прислушивается к твоему мнению...

— Хорошо, обязательно скажу. Кстати, только что мы уже с ним говорили об этом.

Синтаро ответил чересчур громко.

— Да? Смотри не забудь... Я думала, что вчерашнего дня не переживу, а вот видишь...

Превозмогая боль, мать широко улыбнулась.

— Может быть, помог амулет Тайсяку-сана — вот и жар спал; глядишь, еще и поправлюсь... Мицу говорила, что у ее дяди тоже была язва двенадцатиперстной кишки, а он через полмесяца поправился. Видно, не такая это страшная болезнь...

Синтаро до боли стало жаль мать, которая все еще надеялась на выздоровление.

— Конечно, поправишься. Непременно поправишься, лекарства обязательно помогут.

Мать кивнула:

— Давайте еще раз попробуем выпить.

Подошедшая сиделка ловко поднесла ко рту О-Рицу мензурку. Мать, зажмурившись, в два глотка выпила содержимое. На какой-то миг у Синтаро отлегло от сердца.

— Вкусно.

— Смогла все же принять наконец.

Сиделка и Синтаро радостно переглянулись.

— Раз стала принимать лекарства, все в порядке. В общем, залежалась ты, пора подниматься. И устроим праздничный обед, будем есть рис с красной фасолью.

Шутка Кэндзо вызвала у стоявшего на коленях Синтаро желание уйти. В это время мать неожиданно подозрительно глянула на него.

— Лекция? Где сегодня вечером лекция? — спросила она.

Испуганный Синтаро, ища спасения, посмотрел на отца.

— Никакой лекции нет. Нигде ее не будет. Так что можешь лежать спокойно.

Успокаивая О-Рицу, Кэндзо одновременно делал глазами знаки Синтаро. Тот поспешно поднялся и вернулся в ярко освещенную столовую.

Там по-прежнему сестра и Ёити тихо разговаривали с тетушкой. Когда он вошел, все трое повернулись, вопросительно глядя на Синтаро. Однако Синтаро молча, с каменным лицом, сел на свое место.

— Зачем тебя звали?

Молчание нарушила О-Кину, все еще зябко кутая подбородок в ворот кимоно.

— Ничего особенного.

— Значит, мама просто хотела посмотреть на тебя?

В тоне сестры Синтаро уловил раздражение. Но ничего не ответил, лишь горько усмехнулся.

— Ё-тян, не побудешь ночью с больной? — после непродолжительного молчания, зевнув, обратилась к Ёити тетушка.

— Хорошо... Сестра тоже обещала побыть этой ночью с матерью...

— А ты, Син-тян?

О-Кину из-под припухших век посмотрела на Синтаро.

— Мне все равно, не знаю.

— Син-тян, как всегда, колеблется. Я думала, поступление в колледж прибавит ему решительности...

— Наверно, он просто устал, — с укором ответила О-Кину тетушка.

— Тогда пусть сейчас ложится спать. Тем более что дежурить придется, наверно, не одну ночь...

— Ну что ж, пойду спать, ладно?

Синтаро поднес спичку к сигарете брата. Только что он видел умирающую мать и поэтому ненавидел себя за эту услужливость...

6

Синтаро поднялся на второй этаж и около двенадцати лег. Он действительно очень устал, тетушка не зря сказала. Но, погасив свет, долго еще ворочался с боку на бок.

Рядом тихо посапывал Кэндзо. Впервые за последние несколько лет он спал в одной комнате с отцом. Неужели раньше он не храпел, недоумевал Синтаро, глядя на спящего отца.

Перед Синтаро неотступно стоял образ матери — воспоминания о ней его преследовали. Воспоминания были самые разные, и приятные, и неприятные. Но все одинаково печальны. «Все прошло. И хорошее и плохое», — думал Синтаро, стараясь поудобнее пристроить на подушке голову с коротко остриженными волосами.

...Однажды, когда Синтаро еще учился в начальной школе, отец купил ему новую фуражку. С большим козырьком и высокой тульей, о такой Синтаро давно мечтал. Увидев ее, сестра О-Кину сказала отцу, что в будущем месяце будет репетиция хора и ей нужно сшить кимоно. Отец расхохотался и пропустил ее слова мимо ушей. Сестра разозлилась. Отвернувшись от отца, она стала ворчать:

— Ты любишь одного Син-тяна.

Отец все еще продолжал улыбаться.

— Одно дело фуражку, другое — кимоно.

— А мама на что? Она недавно сама сшила хаори.

Сестра снова повернулась к отцу и зло глянула на него.

— Но я ведь не так давно купил тебе шпильку и гребень.

— Да, купил. Ну и что, ты и должен был купить.

Сестра вытащила из волос шпильку, украшенную искусственными белыми хризантемами, и швырнула на пол.

— Возьми свою шпильку.

Отец поморщился:

— Не делай глупостей.

— Чего же ждать от меня, глупой? Я глупая, не то что Син-тян. И моя мама была глупой...

Побледневший Синтаро оказался свидетелем этой сцены. Когда сестра расплакалась, он молча подобрал с пола шпильку и стал нервно обрывать лепестки с цветка.

— Что ты делаешь, Син-тян?

Сестра как безумная схватила его за руку.

— Ты же сама сказала, что шпилька тебе не нужна. А раз не нужна, не все ли равно, что я с ней сделаю? Женщины любят ссориться, ну и ссорься, пожалуйста...

Синтаро поднял рев, и они с сестрой стали драться, вырывая друг у друга шпильку, пока на цветке не осталось ни одного лепестка... Сейчас Синтаро удивительно отчетливо представил себе душевное состояние сестры, лишившейся матери...

Синтаро стал прислушиваться. Кто-то, стараясь неслышно ступать, поднимался по темной лестнице... Вдруг раздался голос Мицу:

— Господин...

Кэндзо, который, казалось, спал, сразу же поднял голову с подушки.

— Что случилось?

— Вас зовет госпожа.

— Хорошо. Иду.

После ухода отца Синтаро неподвижно застыл на постели с широко открытыми глазами, прислушиваясь к тому, что делается в доме. И почему-то в его памяти вдруг всплыло далекое светлое воспоминание, никак не связанное с трагичностью этой минуты.

...Это тоже случилось в то время, когда он учился в начальной школе; мать взяла его с собой на кладбище на могилу отца. Был солнечный воскресный полдень — среди сосен и живой изгороди ярко белели цветы магнолий. Мать подошла к небольшой могилке и сказала, что это могилка отца. Синтаро остановился и слегка склонил голову:

— Надеюсь, больше ничего от меня не требуется?

Поливая могилу, мать с улыбкой на него посмотрела:

— Ничего.

К отцу, которого он не знал, Синтаро относился с тепло-

той. Но этот жалкий каменный столбик не вызывал в нем никаких чувств.

Мать постояла еще некоторое время, сложив руки. Вдруг раздался выстрел духового ружья. Синтаро, стоявший за спиной матери, пошел в ту сторону, откуда донесся выстрел. Обойдя живую изгородь, он очутился на узкой тропинке — там мальчик с виду старше Синтаро, державший духовое ружье, и двое его младших братьев с жалостью смотрели на вершину какого-то дерева, которую, точно дымом, обволокло начавшими распускаться почками...

В это время послышались шаги на лестнице. Синтаро с тревогой приподнялся на постели.

— Кто это?

— Ты не спишь?

Это был голос Кэндзо.

— Что случилось?

— Я ходил вниз, меня мама звала.

Отец произнес это с унылым видом и снова лег в постель.

— Зачем она тебя звала, ей хуже?

— Нет, просто хотела сказать мне, чтобы я завтра, если пойду на фабрику, надел летнее кимоно, которое лежит в верхнем ящике комода.

Синтаро жалел мать. Хоть она и была женой совершенно чужого ему человека.

— Как все это тяжело! Она так страдает.

— Может быть, попросить Годзаву-сана сделать ей еще укол?

— Нет, пожалуй, нельзя так часто делать уколы.

— Ну что ж, нельзя так нельзя, но все равно как-то надо облегчить ей страдания.

Синтаро казалось, что Кэндзо пристально смотрит на него.

— Твоя мать святая женщина... За что же на ее долю выпали такие муки?

Оба помолчали.

— Наверно, никто еще не ложился?

Синтаро стало невыносимо вот так молчать, глядя друг на друга.

— Тетушка уже легла. Не знаю только, уснула или нет... Сказав это, отец вдруг приподнял голову и стал прислушиваться.

— Папа, мама что-то...

Теперь это был тихий голос О-Кину, поднявшейся до середины лестницы.

— Иду.

— Я тоже встану.

Синтаро накинул на плечи ночное кимоно.

— Можешь лежать. Если понадобится, я сразу же тебя позову.

Отец стал быстро спускаться по лестнице вслед за О-Кину.

Какое-то время Синтаро сидел на постели, потом встал и зажег свет. Снова сел и стал осматривать освещенную тусклой лампой комнату. Возможно, мать позвала отца просто так, хочет, чтобы он побыл с ней... Это вполне вероятно.

Неожиданно взгляд Синтаро упал на валявшийся под столом исписанный листок бумаги. Он поднял листок.

— Посвящаю М... ко...

Дальше шло стихотворение Ёити.

Бросив листок, Синтаро лег, закинув руки за голову. Перед ним отчетливо всплыло миловидное лицо Мицу...

7

Когда Синтаро проснулся, в комнате, куда сквозь щели в ставнях проникал слабый свет, сестра и отец о чем-то тихо разговаривали. Синтаро вскочил будто от толчка.

— Тебе надо немного поспать, — сказал Кэндзо О-Кину и поспешно сбежал с лестницы.

За окном слышался шум, будто на черепичную крышу низвергался водопад. Ливень... Думая об этом, Синтаро стал быстро одеваться. О-Кину, с распущенным оби, ехидно сказала ему:

— Син-тян, доброе утро.

— Доброе утро. Как мама?

— Ночь была очень тяжелой...

— Не спала?

— Сказала, что хорошо поспала, но я видела, что она и

пяти минут не вздремнула. И говорила такие странные вещи... Мне всю ночь было не по себе.

Одевшись, Синтаро вышел на лестницу, но вниз не стал спускаться. В той части кухни, которая была видна сверху, Мицу, подвернув подол, протирала пол тряпкой... Услыхав голос Синтаро и О-Кину, она поспешно одернула кимоно. Синтаро взялся за медные перила, но все не решался спуститься вниз, точно ему что-то мешало.

— Какие же странные вещи говорила мама?

— Поддюжины. Разве поддюжины не все равно что шесть штук?

— Это у нее с головой неладно... А как сейчас?

— Пришел Тодзава-сан.

— Так рано?

Мицу вышла из кухни, и Синтаро стал медленно спускаться по лестнице.

Через несколько минут он уже был в комнате больной.

Тодзава сам только что сделал ей укол дигитамина. Мать, которую сиделка укрывала после укола, металась по подушке — отец говорил об этом вчера вечером.

— Пришел Синтаро.

Это громким голосом сказал матери Кэндзо, сидевший рядом с Тодзавой, и сделал Синтаро знак глазами.

Синтаро сел напротив отца и, скрестив руки на груди, стал смотреть на мать.

— Возьми ее руку.

Синтаро послушно спрятал в своих ладонях руку матери. Она была холодной и неприятно влажной.

Увидев сына, мать чуть кивнула ему и сразу же перевела взгляд на Тодзаву:

— Доктор, плохи, наверно, мои дела. Вот и руки стали немать.

— Это ничего. Потерпите еще день-другой. — Тодзава мыл руки. — Скоро вам станет лучше... О-о, сколько здесь всего!

На подносе, стоявшем у постели матери, лежали талисманы Удзиками из синтоистского храма Дайдзингу, талисманы Тайсяку из буддийского храма в Сибамата... Взглянув ис-

коса на поднос, мать ответила прерывающимся голосом, будто задыхаясь:

— Ночью мне было очень плохо... А сейчас боли почти утихли...

Отец чуть слышно сказал сиделке:

— По-моему, у нее стал заплетаться язык.

— Видимо, во рту пересохло... Дайте ей водички.

Синтаро взял у сиделки смоченную в воде кисточку и несколько раз провел ею во рту у матери. Мать прижала языком кисточку и проглотила капельку воды.

— Я еще зайду. Никаких оснований для беспокойства нет. — Тодзава громко сказал это, повернувшись к больной, и, закрывая свой чемоданчик, обратился к сиделке: — В десять часов сделайте укол.

Сиделка поморщилась и что-то пробурчала. Синтаро с отцом пошли провожать Тодзаву. В соседней комнате, как и вчера, уныло сидела тетушка. Проходя мимо, Тодзава не принужденно ответил на ее приветствие и заговорил с Синтаро:

— Как идет подготовка к экзаменам? — Тут же сообразив, что он ошибся, доктор весело улыбнулся. — Простите. Я имел в виду вашего младшего брата.

Синтаро горько усмехнулся.

— В последнее время, встречаясь с вашим братом, я говорю с ним только об этом. Наверно, потому, что мой сын тоже готовится к экзаменам...

Когда Тодзава шел через кухню, он все еще весело улыбался.

После ухода доктора, скрывшегося за сплошной пеленой дождя, Синтаро, оставив отца в магазине, поспешно вернулся в столовую. Теперь рядом с тетушкой там сидел с сигаретой в зубах Ёити.

— Хочешь спать?

Синтаро присел к жаровне.

— Сестра уже спит. Ты тоже ложись.

— Ладно... Всю ночь курил, даже язык щиплет.

Морщась, Ёити с унылым видом бросил в жаровню недокурную сигарету.

— Как хорошо, что мама перестала стонать.

— Ей, кажется, лучше.

Тетушка зажгла сухой спирт в грелке.

— До четырех часов ей было плохо.

Из кухни выглянула Мицу, причесанная на прямой пробор.

— Простите. Господин просит вас зайти в магазин.

— Хорошо-хорошо, сейчас иду.

Тетушка протянула Синтаро грелку:

— Син-тян, зайди к маме.

Сказав это, она вышла, вслед за ней, подавляя зевок, поднялся и Ёйти.

— Пойду посплю немного.

Оставшись один, Синтаро положил грелку на колени и задумался. О чем — он и сам не знал. Шум ливня, низвергавшегося на невидимую крышу с невидимого неба, — единственное, что его сейчас заполняло.

Неожиданно вбежала сиделка.

— Идите кто-нибудь. Хоть кто-нибудь...

Синтаро вскочил и в тот же миг влетел в комнату больной. Он обнял О-Рицу, прижал к себе.

— Мама, мама!

Лежа в его объятиях, мать дернулась несколько раз.

В уголках губ выступила пена.

— Мама!

В те секунды наедине с матерью Синтаро громко звал ее, жадно всматривался в лицо умершей.

Это было под вечер, в мае 1880 года. Иван Тургенев, гостивший в Ясной Поляне через два года после того, как он там был последний раз, и граф Толстой, хозяин усадьбы, пошли в лес за Воронку поохотиться на вальдшнепов.

На охоту вместе с этими двумя старыми писателями отправились моложавая еще жена Толстого и дети с собакой.

Дорога до Воронки пролежала через поля ржи. Поднявшийся на закате легкий ветерок, тихо пролетая над колосьями, доносил запах земли. Толстой с ружьем за плечами шагал впереди. Время от времени, обернувшись назад, он заговаривал с Тургеневым, который шел рядом с его женой. Каждый раз автор «Отцов и детей», как будто с некоторым удивлением поднимая глаза, обрадованно отвечал мягким голосом и при этом иногда смеялся хриплым смехом, от которого тряслись его плечи. По сравнению с грубоватым Толстым, его манера говорить была изящной и притом несколько женственной.

Когда дорога пошла полого в гору, к ним подбежали два деревенских мальчика, видимо братья. При виде Толстого оба они сразу остановились и поклонились. Потом, сверкая подошвами босых ног, опять опрометью побежали в гору. Сзади один из детей Толстого громко крикнул им что-то велед. Но те, как будто не слыша, бежали дальше и скрылись из виду во ржи.

— Деревенские дети интересны! — обратился к Тургеневу Толстой, подставляя лицо лучам заходящего солнца. — Слышится, что, слушая эту детвору, я учусь простым, прямым оборотам речи, о которых мы и понятия не имеем.

Тургенев обернулся. Теперь он не тот, что раньше. Рань-

ше слова Тургенева волновали его, как ребенка, и он иронизировал...

— Недавно, когда я учил эту детвору, — продолжал Толстой, — один вдруг хотел выскочить из класса. Я его спрашиваю: «Ты куда?» — а он говорит: «Мелку откусить». Не сказал ни «взять мелку», ни «отломить мелку», а сказал именно «откусить». Употребить такое слово могут только русские дети, которые действительно откусывают мел зубами. Нам, взрослым, так не сказать.

— В самом деле, на это способны одни только русские дети. И когда я слышу такие разговоры, я остро чувствую, что вернулся в Россию.

Тургенев огляделся, как будто увидел поля ржи впервые.

— Да, пожалуй. Во Франции даже дети не стесняются курить папиросы.

— Да, кстати, ведь, кажется, и вы в последнее время совсем перестали курить? — Толстая искусно избавила гостя от возможных колкостей Толстого.

— Да, я совсем бросил курить: в Париже были две красавицы, которые говорили, что от меня несет табаком и поэтому они не позволят мне их целовать.

На этот раз криво усмехнулся Толстой.

Тем временем перешли через Воронку и добрались до места тяги. Это была болотистая поляна недалеко от речки, где лес уже редел.

Толстой уступил Тургеневу лучшее место, а сам стал шагах в полтора в углу поляны. Толстая стала возле Тургенева, а дети разбрелись кто куда.

Небо еще алело. Ветви деревьев, оплетавшие небо, туманно дымилась — это, конечно, теснилась на них душистая молодая листва. Тургенев стоял с ружьем в руке и словно пронзал взором листву. Из сумрачной глубины леса время от времени доносился легкий шорох еле заметного ветерка.

— Малиновки и чижи поют, — как будто про себя сказала Толстая, склонив голову набок.

Медленно, в молчании прошло полчаса.

Тем временем небо стало как вода. Только там и сям белели стволы берез. Вместо пения малиновок и чижей теперь

изредка долетал крик поползня... Тургенев опять стал пронзительно всматриваться в листву. Но в глубине леса все уже погрузилось в вечерний сумрак.

Вдруг по лесу разнесся звук выстрела. Не успел он отзвучать, как ожидавшие поодаль дети наперегонки с собакой бросились искать добычу.

— Ваш супруг меня опередил, — сказал Тургенев, с улыбкой оглянувшись на Толстую.

Вскоре, пробираясь через густую траву, к матери подбежал второй сын — Илья. Он сообщил, что Толстой застрелил вальдшнепа.

Тургенев вмешался в разговор:

— А кто нашел?

— Дора (кличка собаки). Когда она его отыскала, он еще был живой.

Опять обернувшись к матери, мальчик, здоровое лицо которого разгорелось от возбуждения, принялся подробно рассказывать, как Дора нашла вальдшнепа.

В воображении Тургенева мелькнула картинка рассказа вроде главы из «Записок охотника».

Когда Илья ушел, опять воцарилась прежняя тишина. Из сумрачной глубины леса лился весенний аромат молодой листвы и запах сырой земли. По временам издали слышался крик какой-то сонной птицы.

— А это?

— Зяблик, — сейчас же ответил Тургенев.

Зяблик вдруг смолк. И на некоторое время в вечернем сумраке леса не слышалось ни звука. Небо... замер малейший ветерок, небо понемногу окутывало безжизненный лес своей синевой, — и вдруг над головой с печальным криком пролетела иволга.

Звук выстрела снова нарушил безмолвие леса спустя целый час.

— Видно, Лев Николаевич и в охоте на вальдшнепов меня побивает, — сказал Тургенев, пожимая плечами и смеясь одними глазами.

Топот бегущих детей, изредка лай Доры... Когда опять все затихло, на небе уже там и сям крапинками сверкали

звезды. Лес, насколько хватал взгляд, замкнулся в молчании ночи, не шевелилась ни одна ветка. Двадцать минут, тридцать минут... скучно тянулось время, и вместе с тем во влажной темноте к ногам откуда-то подползал белесоватый туман. Но все еще не было никаких признаков появления вальдшнепов.

— Что это сегодня сделалось? — пробормотала Толстая, и в словах ее прозвучало сочувствие. — Редко так бывает, но...

— Слушайте! Соловей поет.

Тургенев намеренно перевел разговор совсем на другую тему.

Из глубины темного леса действительно долетало звонкое соловьиное пенье. Оба они на некоторое время замолчали и, думая каждый о своем, заслушались соловья...

И вдруг, пользуясь словами самого Тургенева, «и вдруг — но одни охотники поймут меня», вдруг поодаль из травы с криком, в котором нельзя было ошибиться, взмыл вальдшнеп. Белая подкрыльями, он полетел среди свешивающихся ветвей, стремясь скрыться в вечерней тьме. В тот же миг Тургенев вскинул ружье и быстро нажал на спусковой крючок.

Взвился дымок, блеснул огонь — и по затихшему лесу прокатился выстрел.

— Попали? — громко спросил, подходя к нему, Толстой.

— Попал! Камнем упал...

Дети с собакой уже столпились вокруг Тургенева.

— Идите искать! — приказал им Толстой.

Дети, с собакой впереди, принялись везде искать. Но сколько ни искали, убитый вальдшнеп не находился. Дора рыскала, не щадя сил, лишь иногда останавливалась и недовольно скулила.

Наконец на помощь детям пришли Толстой и Тургенев. Но им не попадалось на глаза ни перышка, которое бы показывало, куда делся вальдшнеп.

— Видно, вы его не убили, — обратился минут через двадцать Толстой к Тургеневу из темноты между деревьями.

— Да как же я мог не убить? Ведь я видел, как он камнем упал.

Говоря так, Тургенев искал кругом в траве.

— Попасть-то попали, но, может быть, только в крыло. Он хоть и упал, но мог убежать.

— Да нет же, я попал не в крыло. Я наверняка его убил.

Толстой в замешательстве нахмурил свои густые брови.

— Тогда собака должна была б его найти. Подстреленную дичь Дора всегда принесет.

— Однако раз я наверняка знаю, что убил его, то делать нечего, — раздраженно ответил Тургенев, не выпуская из рук ружья. — Убил или не убил, эту разницу и ребенок знает. Я ясно видел.

Толстой насмешливо взглянул на Тургенева.

— А что же такое с собакой?

— Не знаю, что с собакой. Я только говорю то, что видел. Камнем упал, — неожиданно пронзительным голосом сказал Тургенев, видя в глазах Толстого вызывающий блеск. — Il est tombe comme pierre, je t'assure¹.

— Тогда Дора не могла б его не найти.

К счастью, в это время в разговор стариков писателей как ни в чем не бывало вмешалась Толстая, с улыбкой подошедшая к ним. Она сказала, что завтра утром пошлет детей еще раз поискать, а теперь лучше оставить все как есть и вернуться в усадьбу. Тургенев сейчас же согласился.

— Тогда я их попрошу. Завтра непременно узнаем.

— Да, завтра наверняка узнаем, — бросил со злобной иронией Толстой, все еще недовольный, повернулся к Тургеневу спиной и быстрыми шагами пошел из леса...

* * *

В этот вечер Тургенев удалился к себе в спальню около одиннадцати часов. Оставшись наконец один, он тяжело опустился на стул и растерянно осмотрелся кругом.

Тургеневу была отведена комната, которая обычно служила Толстому кабинетом. Большие книжные шкафы, бюст в нише, три-четыре портрета, висящая на стене голова оле-

¹ Камнем упал, я тебя уверяю (франц.).

ня — все это при свете свечи казалось неуютным, лишенным всякого признака веселости. И все же то, что он остался один, по крайней мере в этот вечер, Тургенева до странности радовало.

...До того как удалиться в спальню, гость вместе со всей семьей коротал вечер в разговорах за чайным столом. Тургенев, насколько мог, оживленно разговаривал и смеялся. Однако Толстой все время сидел с угрюмым видом и почти не принимал участия в разговоре. Тургеневу это было и неприятно, и обидно. Поэтому он нарочно старался не замечать молчания хозяина, более обычного расточая любезности членам семьи.

Каждый раз, когда Тургенев отпускал удачную шутку, подымался общий смех. Когда он искусно показал детям, как кричит слон в гамбургском зоологическом саду, и изобразил повадки парижского уличного мальчишки, смех стал еще громче. Но по мере того как за столом делалось веселей, у Тургенева на душе становилось все более тяжело и неловко.

Когда разговор перешел на французскую литературу, Тургенев, не в силах больше разыгрывать оживление, вдруг обернулся к Толстому и заговорил с ним намеренно легким тоном:

— Вы знаете, что недавно появился новый многообещающий писатель?

— Нет, не знаю. Кто такой?

— Де Мопассан. Ги де Мопассан. По крайней мере, это писатель с неподражаемо острой наблюдательностью. У меня как раз с собой в чемодане сборник его рассказов «La maison Tellier»¹. Если будет время, прочитайте.

— Де Мопассан?

Толстой с сомнением посмотрел на гостя. Но он так и не ответил, прочтет ли рассказы или нет. Тургенев помнил, как в детстве его мучили злые старшие дети... Точно такая же обида и теперь подступала к его сердцу.

— Раз уж заговорили о новых писателях, то и у нас появился один удивительный.

¹ «Заведение Телье» (франц.).

Заметив его замешательство, Толстая сейчас же стала рассказывать о посещении чудаковатого гостя. С месяц назад, под вечер, явился довольно бедно одетый молодой человек и заявил, что хочет непременно видеть Толстого, так что его провели в комнаты. И вот первые его слова при виде Толстого были: «Прошу вас немедленно дать мне рюмку водки и хвост селедки». Этим одним он немало всех удивил, но нельзя было не удивиться еще больше тому, что этот странный молодой человек — уже пользующийся некоторой известностью начинающий писатель.

— Это был Гаршин.

Когда Тургенев услышал это имя, ему еще раз захотелось попытаться вовлечь Толстого в разговор: помимо того, что отчужденность Толстого становилась ему все неприятней, теперь появился удобный повод: когда-то он первый обратил внимание Толстого на произведения Гаршина.

— Неужели Гаршин? Кажется, его рассказы неплохи. Я не знаю, что вы после того читали, но...

— Кажется, неплохи.

Все-таки Толстой ответил равнодушно, лишь бы отделаться...

Тургенев встал и принялся ходить по кабинету, покачивая седой головой. Его тень, которую отбрасывала на стену стоявшая на столе свеча, то росла, то уменьшалась. Он шагал молча, заложив руки за спину и не отводя грустных глаз от голых досок пола.

В душе Тургенева одно за другим всплывали яркие воспоминания более чем двадцатилетней давности — того времени, когда он был дружен с Толстым. Как Толстой, тогда офицер, прокутив несколько ночей подряд, нередко приходил ночевать к нему в его петербургскую квартиру... Как Толстой в гостиную у Некрасова, победоносно глядя на него, забывал все на свете в своих нападках на Жорж Санд... Как Толстой, который как раз тогда написал «Двух гусаров», гуляя с ним в лесу Спасского, останавливался и восхищался красотой летних облаков... И, наконец, как Толстой в доме у Фета и сам он, сжав кулаки, бросали в лицо друг другу самые ужасные оскорбления... Какое ни возьми из этих воспомина-

ний, всегда упрямый Толстой был человеком, не признающим за другими никакой искренности. Человеком, который во всем, что делают другие, подозревает фальшь. И так не только тогда, когда то, что делали другие, расходилось с тем, что делает он сам. Пусть кто-нибудь распутничал так же, как он, он не мог простить распутство другому так, как он прощал его себе самому. Он не мог поверить даже тому, что другой способен так же чувствовать красоту летних облаков, как чувствует он сам. Он ненавидел и Жорж Санд поэтому, что питал сомнение в ее искренности. И когда он одно время порвал с Тургеневым... Да нет, и теперь, как и раньше, он в утверждении, что Тургенев убил вальдшнепа, подозревает ложь...

Тургенев глубоко вздохнул и остановился перед нишей. В нише, освещенной далеко стоящей свечой, смутной тенью вырисовывался мраморный бюст. Это был бюст старшего брата Льва Толстого — Николая. Подумать только, с тех пор как ушел из жизни дорогой и ему, Тургеневу, привязчивый к людям Николай, прошло уже больше двадцати лет. Если бы брат мог хоть вполтину так, как Николай, считаться с чувствами других... Словно не замечая, как текут часы весенней ночи, Тургенев долго стоял перед нишей, устремив на полутемный бюст печальные глаза...

* * *

На другое утро Тургенев довольно рано вышел в залу, которая в этом доме служила столовой. Стены залы увешаны были портретами предков, и под одним из них Толстой за столом просматривал почту. Кроме него, в зале не было больше никого.

Старики писатели поздоровались.

Тургенев и теперь, всматриваясь в выражение лица Толстого, готов был помириться с ним, заметь он хоть малейший признак доброжелательности. Но Толстой, все еще раздраженно проронив два-три слова, в том же полном молчании возобновил просмотр почты. Тургенев придвинул стоящий поблизости стул. Взял со стола газету и волей-нево-

лей тоже безмолвно принялся читать. В сумрачной зале некоторое время не слышалось ни звука, кроме бульканья кипящего самовара.

— Хорошо спали ночь? — обратился Толстой к Тургеневу, окончив просмотр почты и как будто о чем-то подумав.

— Хорошо.

Тургенев опустил газету и ждал, что Толстой заговорит еще раз. Но хозяин, наливая себе из самовара чай в серебряную чашку, больше не произнес ни слова.

Так повторилось раз или два, и Тургеневу, как и накануне вечером, все тяжелее было смотреть на недовольное лицо Толстого. В особенности сейчас, утром, когда с ними не было никого из посторонних, ему становилось прямо невмоготу. «Хоть бы жена Толстого пришла», — несколько раз подумал он, внутренне волнуясь. Но почему-то все еще никто не приходил.

Пять минут, десять минут... Словно не в силах больше вытерпеть, Тургенев бросил газету и неуверенно встал со стула.

В это время за дверь раздались громкие голоса и топот ног. Слышно было, как наперегонки с шумом взбегали по лестнице... И в тот же миг дверь резко распахнулась и в комнату, оживленно болтая, влетело несколько мальчиков и девочек.

— Папа! Нашелся!

Илья, стоявший впереди других, с торжеством потряс чем-то, что держал в руке.

— Я первая заметила! — закричала Татьяна, очень похожая на мать, не желая уступать брату.

— Он, видно, зацепился, когда падал. Повис на ветке березы, — объяснил наконец самый старший — Сергей.

Толстой ошеломленно обводил глазами детей. Но когда он понял, что вчерашний вальдшнеп благополучно найден, на его заросшем бородой лице сразу появилась ясная улыбка.

— Вот как? Зацепился за ветку дерева? Вот почему собака его не нашла.

Поднявшись, он подошел к Тургеневу, стоявшему среди детей, и протянул ему свою сильную руку.

— Иван Сергеевич! Теперь и я могу успокоиться. Я не такой человек, чтобы лгать. Если бы эта птица упала, Дора непременно б ее нашла.

Тургенев почти со стыдом пожал руку Толстому. Кто нашелся — вальдшнеп или автор «Анны Карениной»? Душу автора «Отцов и детей» залила такая радость, что на этот вопрос он не мог ответить.

— И я не такой человек, чтобы лгать. Смотрите — разве я его не убил? Ведь когда раздался выстрел, он тут же камнем упал.

Старики писатели переглянулись и, как будто сговорившись, расхохотались.

Январь 1921 г.

СТРАННАЯ ИСТОРИЯ

Однажды вечером я гулял по Гиндза со своим старым приятелем Мураками.

Вдруг, точно случайно вспомнив, Мураками заговорил о своей младшей сестре, жившей в Сасэбо:

— Недавно пришло письмо от Тиэко. Она тебе кланяется.

— Тиэко-сан здорова?

— Да, в последнее время совсем поправилась. А когда жила в Токио, у нее нервы сильно расшатались — ты с ней в это время встречался?

— Встречался. Но насчет нервов...

— Неужели ты не знал? Она тогда была прямо сумасшедшая. То плачет, то смеется. Странная с ней история...

— Странная история?

Прежде чем ответить, Мураками толкнул стеклянную дверь кафе. Мы сели друг против друга за столик, откуда видна была улица.

— Да, странная история. Я еще тебе не рассказывал? Я узнал ее от Тиэко перед моим отъездом в Сасэбо.

Как ты знаешь, муж Тиэко был офицер команды броненосца, отправленного во время европейской войны на Средиземном море. На время его отсутствия сестра переехала ко мне, и когда война стала подходить к концу, у нее вдруг ужасно расшатались нервы. Главной причиной, пожалуй, было то, что письма от мужа, которые она до того получала каждую неделю, вдруг перестали приходить. Ну, так как Тиэко рассталась с мужем всего через полгода после свадьбы, то смеяться над тем, что она радовалась его письмам, даже мне, человеку достаточно бесцеремонному, казалось жестоким.

Вот тогда это и случилось. Однажды... Да, это было в праздник Кигэнсэцу, день был холодный, с утра лил дождь, но Тиэко заявила, что хочет съездить в Камакура, давно там не была. В Камакура жила одна ее школьная подруга, замужем за каким-то дельцом. Тиэко хотела поехать к ней в гости, но поскольку в такой дождь непременно ехать в гости в Камакура вовсе не было надобности, то мы — и я сам, конечно, и жена — несколько раз заговаривали, не лучше ли ей поехать завтра. Но Тиэко упрямо твердила, что хочет ехать непременно сегодня. И наконец, рассердившись, быстро собралась и ушла.

— Может случиться, что я останусь ночевать и вернусь только завтра утром. — С этими словами она ушла, но немного погодя — что с ней случилось? — вернулась, мокрая до нитки и бледная-бледная. Между прочим, оказалось, что от Центрального вокзала до трамвайной остановки Хорибата она шла без зонтика. Почему? Вот в этом и заключается странная история.

Когда Тиэко подошла к Центральному вокзалу... Впрочем, нет, еще раньше с ней случилось вот что. В трамвае, на который она села, к ее огорчению, все места были заняты. Когда она взялась рукой за ремень, за окном прямо перед ее глазами смутно обрисовалось море. Так как трамвай в это время проходил по Дзимбо-мати, морю, конечно, показываться было неоткуда. Тем не менее через окно видно было, как в воздухе, над улицей колышутся набегающие волны. А когда на окно попадали капли дождя, в тумане даже обозначилась едва заметно линия горизонта. По одному этому можно судить, что у Тиэко уже в то время нервы были не в порядке.

Когда она подошла к Центральному вокзалу, стоявший у дверей носильщик в красной шапке внезапно поклонился ей и сказал: «О вашем супруге никаких новостей?» Это, конечно, было странно. Но еще более странным было то, что Тиэко не нашла в этом вопросе ничего странного! Она даже ответила: «Благодарю вас. Только за последнее время почему-то ничего от него не получаю». Тогда носильщик сказал: «В таком случае я с ним повидаюсь». Повидается? Но ведь муж далеко, на Средиземном море... Только тут Тиэко обра-

тила внимание на то, что этот незнакомый носильщик говорит какие-то странные вещи. Но пока она собралась его переспросить, носильщик слегка поклонился и скрылся в толпе. И как Тиэко ни искала, больше она этой красной шапки не видела. Нет, не то чтобы не видела, а просто лица этого носильщика — странное дело! — она никак не могла припомнить. Поэтому она и не могла его найти, а в то же время каждую красную шапку она принимала за этого самого носильщика. Притом у нее почему-то было такое ощущение, словно этот таинственный носильщик все время за ней наблюдает. Тут не то что ехать в Камакура, а даже оставаться на вокзале ей стало как-то жутко. В конце концов, даже не раскрыв зонтика, она под проливным дождем, как во сне, убежала от туда.

Разумеется, вся эта история приключилась с ней просто из-за нервов, но на этой прогулке Тиэко простудилась. Со следующего дня у нее целых трое суток держался сильный жар и она все время бредила, словно обращаясь к мужу, говорила то: «Простите меня!», то: «Отчего вы не возвращаетесь?» Но история злополучной поездки в Камакура на этом не окончилась. Даже когда простуда совсем прошла, стоило Тиэко услышать слово «носильщик», как она на целый день расстраивалась и почти не раскрывала рта. Один раз произошел даже смешной случай: на вывеске какой-то транспортной конторы был нарисован носильщик, и когда она это увидела, то дальше не пошла, а повернула домой.

Однако прошел месяц, и ее страх перед носильщиком понемногу почти исчез. «Сестрица, в одном рассказе Кёка говорится о носильщике с кошачьей физиономией. Может быть, эта странная вещь приключилась с тобой от чтения этого рассказа?» Но как-то в марте ее опять напугал носильщик. И с тех пор до возвращения мужа Тиэко ни под каким видом, даже если нужно было, не ходила на вокзал. И тебя не пошла провожать тоже из-за того, что боялась носильщика.

В этот мартовский день из Америки после двухлетнего отсутствия приехал приятель ее мужа. Тиэко с утра отправилась к нему. Как ты знаешь, в том районе даже днем малолюдно. На пустынной улице у тротуара стоял, точно забы-

тый, передвижной ларек с игрушечными мельницами. День был пасмурный, ветреный, и цветные вертушки, установленные на лотке, бешено вертелись. У Тизэко от одного этого зрелища почему-то сжалось сердце. Когда же, проходя мимо лотка, она случайно подняла глаза, — спиной к ней сидел на корточках человек в красной шапке. Вероятно, это просто уселся покурить продавец вертушек или кто-нибудь в таком роде. Но когда Тизэко увидела, что шапка у него красная, ее почему-то охватило странное предчувствие, и она даже подумала, не вернуться ли ей домой.

Однако с момента прихода на вокзал до того, как она встретила приехавшего, к счастью, ничего не случилось. Только когда встречающие во главе с приятелем мужа выходили с перрона через полутемную дверь вокзала, кто-то сзади обратился к Тизэко со словами: «Ваш супруг, говорят, ранен в правую руку. Поэтому он и не пишет». Тизэко мгновенно обернулась, но никакой красной шапки позади не оказалось. За Тизэко шел морской офицер с женой, ее хорошие знакомые. Понятно, этот морской офицер не стал бы ни с того ни с сего говорить ей такие вещи, поэтому слова, которые она услышала, иначе как странными назвать было никак нельзя. И все-таки Тизэко обрадовалась, что красной шапки нигде не видно. Пройдя через здание вокзала, они всей компанией направились к подъезду проводить товарища мужа до автомобиля. Тогда сзади опять кто-то отчетливо произнес: «Сударыня, вероятно, ваш супруг через месяц вернется домой». Тизэко опять обернулась, но позади стояли только знакомые, встречавшие приятеля мужа, и никакой красной шапки не было видно. Но хотя сзади ее и не было, зато впереди двое носильщиков укладывали в автомобиль багаж. Один из них на секунду повернул голову и как-то странно усмехнулся. Увидев его, Тизэко так побледнела, что даже окружающие это заметили. Когда же она немного овладела собой, то убедилась, что там, где она видела двоих носильщиков, багаж укладывает один. И совсем не тот, который только что усмехался. Она подумала, что уж теперь-то запомнила лицо усмехнувшегося носильщика. Но потом все же оказалось, что она по-прежнему помнит его смутно. И как она ни старалась, в памяти всплывало только лицо без

глаз и без носа да красная шапка... Вот вторая странная история, которую рассказала Тизэко.

Потом через месяц — да, примерно в то время, когда ты уехал в Корею, — муж действительно вернулся. И, странное дело, он и вправду некоторое время не мог писать из-за раны в правую руку. Моя жена сразу же стала подшучивать над Тизэко: «Она все время думала о муже, естественно, что она это знала!» Через две недели Тизэко с мужем уехали на место его службы в Сасэбо, но не успели они обосноваться там, как мы, к величайшему изумлению, прочли в присланном ею письме третью странную историю.

Когда они уезжали с Центрального вокзала и поезд уже тронулся, носильщик, который нес их багаж, заглянул к ним в окно, должно быть, чтобы пожелать им доброго пути. При виде его лицо мужа приняло странное выражение, и немного погодя он смущенно рассказал Тизэко следующее. Во время стоянки их корабля в Марселе, когда он сидел с приятелем в кафе, внезапно к столу подошел японец-носильщик и фамильярным тоном спросил, как обстоят дела. Конечно, по улицам Марселя японцы-носильщики не расхаживают. Но муж Тизэко почему-то нисколько не удивился и рассказал, что ранен в правую руку и скоро возвращается домой. В эту минуту какой-то пьяный опрокинул рюмку коньяку. И когда муж моей сестры испуганно оглянулся, японец-носильщик исчез, как сквозь землю провалился. Что же это такое? Глаза у него были открыты, но он не мог понять, приснилось ли это ему или случилось на самом деле? Вдобавок приятели держали себя так, как будто они не заметили, чтобы к нему кто-либо подходил. Поэтому он в конце концов решил никому об этом случае не рассказывать. Но когда он вернулся в Японию, то узнал, что Тизэко два раза встречала какого-то таинственного носильщика. Тогда он подумал, что в Марселе, пожалуй, видел именно его; однако это слишком походило на рассказы о привидениях. Кроме того, он боялся подтруниваний над тем, что во время славного похода он думает о жене; поэтому он все еще молчал. Но когда он увидел носильщика, только что заглянувшего в окно, оказалось, что этот носильщик ни на волос не отличается от того, который заходил в кафе в Марселе... Рассказав эту историю, муж по-

молчал, но потом, тревожно понизив голос, добавил: «Не странно ли? Я сказал: «Ни на волос не отличается», а между тем никак не могу отчетливо припомнить его лицо. Только в тот миг, когда он заглянул в окно, я подумал: «Он самый!...»

Когда Мураками дошел до этого места, к нашему столу приблизилось несколько человек, только что вошедших в кафе — по-видимому, его знакомые, — и стали шумно здороваться с ним. Я поднялся.

— Ну, пока, до свиданья. До отъезда в Корею загляну к тебе.

Выйдя из кафе, я невольно глубоко вздохнул: только теперь я понял, почему три года назад Тиэко, дважды нарушив обещание прийти на тайное свидание со мной на Центральный вокзал, прислала мне письмо, в котором кратко сообщала, что хочет навеки остаться верной женой.

Январь 1921 г.

1

В зеркале, стоящем в углу, отражается убранство номера на втором этаже обычной шанхайской гостиницы — стены, на европейский манер, выкрашены, а пол, на японский манер, устлан циновками. Стена небесно-голубого цвета, новехонькие циновки и, наконец, спина женщины, причесанной по-европейски, — все это с беспощадной отчетливостью отражается в холодном зеркале. Женщина, видимо, давно уже занята шитьем.

Она сидит спиной к зеркалу в скромном шелковом кимоно, из-под рассыпавшихся по плечам волос чуть виден бледный профиль. Видно прозрачное нежное ухо. Между длинными прядями волос.

В этой комнате с зеркалом ничто не нарушает мертвой тишины — только плач ребенка за стеной. Да еще шум непрекращающегося дождя, от которого царящая здесь тишина кажется гнетущей.

— Послушай, — вдруг робко окликает кого-то женщина, продолжая работать.

«Кто-то» — это мужчина, который в дальнем углу лежит ничком на циновке, укрывшись ватным кимоно, и читает английскую газету. Будто не слыша оклика, он, не отрывая глаз от газеты, стряхивает пепел в стоящую рядом пепельницу.

— Послушай, — снова окликает его женщина. Ее глаза прикованы к игле.

— Что тебе?

Мужчина досадливо поднимает голову — у него энергичное лицо, круглое, полноватое, с коротко подстриженными усами.

— Этот номер... сменить бы его, а?

— Сменить? Но ведь лишь вчера вечером мы в него переехали.

На лице мужчины недоумение.

— Ну и что, что лишь вчера переехали? Наш старый номер, наверно, еще не занят.

На какой-то миг в его памяти всплыла полутемная комната третьего этажа, нагонявшая целых две недели, пока они в ней жили, тоску... Облупленные стены, на окне длинные, до самого полу, выцветшие ситцевые занавески. На подоконнике — пыльная герань с редкими цветами — неизвестно, когда в последний раз ее поливали. За окном — грязный переулок и китайские рикши в соломенных шляпах, которые слоняются без дела.

— Ведь ты сама без конца твердила, что тебе невыносима эта комната.

— Да. Стоило мне зайти в эту комнату, как и она сразу стала невыносимой.

Женщина подняла от шитья грустное лицо. Выразительное лицо со сросшимися бровями и удлинненным разрезом глаз. Под глазами темные круги — свидетельство того, что на нее обрушилось горе. Она выглядела болезненно еще и потому, что за ухом у нее билась жилка.

— Ведь это можно, наверно... Или никак нельзя?

— Но эта комната больше, чем та, и гораздо лучше — так что она не может тебе не нравиться. Возможно, она еще из-за чего-нибудь тебе неприятна?

— Да нет, не из-за чего...

Женщина заколебалась на миг, но ничего больше не сказала. И опять с настойчивостью спросила:

— Нельзя, никак нельзя?

На этот раз мужчина промолчал, лишь выпустил над газетой дым.

В комнате снова воцарилась тишина. Только снаружи по-прежнему доносился неумолкаемый шум дождя.

— Весенний дождь... — будто вслух размышляя, сказал через некоторое время мужчина, перевернувшись на спину. —

Поселимся мы в Уху, может, я начну там трехстишья сочинять, а?

Женщина, не отвечая, продолжала шить.

— Уху не такое уж плохое место. Во-первых, фирма предоставляет там большой дом и сад, тоже огромный, — хочешь разводить цветы — пожалуйста. Не зря его раньше называли Юньцзяхуаюань — сад цветов Юнцзя...

Мужчина умолк. В комнате, где до этого тишину нарушал лишь его голос, неожиданно раздались чуть слышные рыдания.

— Что случилось?

Снова воцарилась тишина. И тут же плач — тихий, прерывистый.

— Что случилось, Тосико?

Мужчина с растерянным видом приподнялся на локте:

— Мы же с тобой договорились. Договорились, что не будешь хныкать. Постарайся не плакать. Постарайся... — Мужчина широко раскрыл глаза. — Может быть, еще что-нибудь произошло, что тебя печалит? Ты хочешь вернуться в Японию, не хочешь ехать в китайскую глушь?

— Нет-нет. Ничего подобного. — Продолжая плакать, Тосико решительно замотала головой. — С тобой я готова ехать куда угодно. И все же...

Тосико опустила глаза и прикусила нижнюю губу, чтобы не плакать. Казалось, под мертвенно-бледными щеками пылает невидимое взору пламя. Вздрагивающие плечи, влажные ресницы — глядя на жену, мужчина невольно ощутил, насколько она очаровательна.

— И все же... мне эта комната невыносима.

— Ты и в прежней это твердила. Почему же теперешняя комната тебе невыносима? Ты хоть объясни — и...

Сказав это, мужчина почувствовал, что Тосико пристально на него смотрит. В ее глазах, в глубине ее наполненных слезами глаз мелькнула печаль, смешанная с враждебностью. Почему эта комната стала ей невыносима? Она и сама безмолвно обращалась к мужу с этим вопросом. Встретившись взглядом с женой, муж заколебался: продолжать или не продолжать?

Но молчание длилось лишь несколько секунд. По выражению его лица видно было, что он начинает понимать, в чем дело.

— Это? — спросил мужчина сухо, чтобы скрыть волнение. — Мне это тоже действует на нервы.

У Тосико снова полились слезы, капая ей на колени.

За окном заходящее солнце постепенно затягивало розовой дымкой пелену дождя. А за небесно-голубой стеной, споря с шумом дождя, все плакал и плакал ребенок.

2

В окно комнаты на втором этаже падают яркие лучи утреннего солнца. Напротив, освещенный отраженным светом, стоит трехэтажный дом из красного, чуть замшелого кирпича. Если смотреть из полутемного коридора, окно на фоне этого дома кажется огромной картиной. А прочные дубовые переплеты окна можно принять за раму. В центре картины виден профиль женщины, которая вяжет детские носки.

Женщина с виду моложе Тосико. Омытые дождем лучи утреннего солнца щедро заливают ее полные плечи, обгнутые дорогим шелковым кимоно, ее розовое, опущенное вниз личико, нежный пушок над пухлой губкой.

Время между десятью и одиннадцатью утра в гостинице — самое тихое. В это время постояльцы — и те, кто приехал по торговым делам, и туристы — обычно покидают гостиницу. Живущие в гостинице служащие тоже возвращаются только к вечеру. И в бесконечно длинных гостиничных коридорах лишь изредка раздаются шаги горничных в мягких комнатных туфлях.

Как раз в этот час в конце коридора, куда выходила открытая дверь комнаты, послышались шаги и тенью промелькнула горничная лет сорока, неся поднос с чайной посудой. Если бы ее не позвали, она, возможно, прошла бы, не заметив сидевшей у окна женщины. Но женщина, увидев горничную, приветливо ее окликнула:

— О-Киё-сан!

Поклонившись, горничная подошла к окну:

— О, вы настоящая труженица... Как мальчуган?
— Как мой молодой господин? Молодой господин сейчас спит.

Перестав вязать, женщина по-детски улыбнулась:

— Кстати, О-Киё-сан...

— Что-нибудь случилось? У вас такой озабоченный вид.

Горничная в накрахмаленном фартуке, сверкавшем в лучах солнца, улыбнулась своими темными глазами.

— Наш сосед Номура-сан... кажется, Номура-сан, а его жена?

— Номура Тосико.

— Тосико-сан? Значит, ее зовут так же, как меня. Они уже съехали?

— Нет, проживут еще дней пять-шесть. А потом уедут в Уху или еще куда...

— Странно, я недавно проходила мимо их комнаты — там никто не живет.

— Совершенно верно, вчера они неожиданно переехали на третий этаж.

— А-а.

Женщина задумчиво опустила свое круглое личико.

— Это, кажется, у них... Сразу же после приезда, в тот же день умер ребенок, да?

— Да. К великому сожалению. Как только он заболел, они отвезли его в больницу, но...

— Значит, он умер в больнице? Вот почему я ничего не знала.

На лбу, прикрытом прядью волос, пролегли горестные морщинки. Но тут же лицо ее снова озарилось радостной улыбкой и взгляд стал беспечным.

— Ты мне больше не нужна. Может, зайдешь к ним?

— Ну вот еще! — Горничная рассмеялась. — Если будете так говорить, когда позвонят из заведения Цутиная, я тут же тайком позову господина.

— Ну и хорошо. Иди быстрее. А то чай остынет.

Когда горничная исчезла, женщина, тихо напевая, снова принялась за вязание.

Время между десятью и одиннадцатью утра в гостинице — самое тихое. Именно в этот час горничные выбрасыва-

ют из ваз, стоящих в каждом номере, увядшие цветы. А бой начищает медные перила лестницы. Воцарившаяся в гостиной тишину нарушает лишь шум уличного движения, врывающийся через открытые окна вместе с солнечными лучами.

С колен женщины соскользнул клубок шерсти. Оставляя за собой красную полоску, он, упруго подскакивая, выкатился в коридор, но кто-то, как раз проходивший там, поднял его.

— Большое спасибо.

Женщина встала со стула и застенчиво поклонилась. Подняв глаза, она увидела худощавую женщину из соседнего номера, о которой только что говорила с горничной.

— Пожалуйста.

Клубок перешел из тонких пальцев в белоснежные пальцы, держащие спицы.

— Какая здесь жара!

Войдя в комнату, Тосико прищурилась от слепящего света.

— Да, даже когда я вяжу, и то приходится прикрывать глаза.

Глядя друг на друга, женщины безмятежно улыбались.

— Какие миленькие носочки!

Голос Тосико звучал спокойно. Но, услышав эти слова, женщина невольно отвела глаза.

— Целых два года не вязала и вот снова взялась за спицы. Некуда девать свободное время.

— А я, даже когда у меня есть свободное время, все равно ленюсь, ничего не делаю.

Женщина бросила вязанье на стул и понимающе улыbnулась. Слова Тосико, на первый взгляд такие невинные, причинили ей боль.

— Ваш мальчик... я не ошиблась, мальчик? Сколько ему?

Проводя рукой по волосам, Тосико пристально смотрела на женщину. Плач ребенка, доносившийся из соседней комнаты, еще вчера невыносимый для Тосико, не вызывал в ней сейчас ничего, кроме любопытства. При этом она отчетливо сознавала, что, удовлетворив любопытство, снова

начнет страдать. Может быть, она была загнипнотизирована своим страданием, как зверек, замирающий перед коброй? Или это больная психика вынудила ее упиваться своим страданием, как упивается подчас болью раненый, когда бередят его рану.

— Только в мае родился.

Ответив, женщина умолкла. Но тут же подняла глаза и продолжала с участием:

— Я слышала, у вас большое горе?

Глаза Тосико повлажнели, она попыталась улыbnуться.

— Да, он заболел пневмонией — все это было как во сне.

— Действительно, ужасное несчастье. Даже не знаю, как вас утешить. — В глазах женщины блеснули слезы. — Если бы у меня случилось такое, просто не представляю, что бы со мной было.

— Сначала я убивалась, а потом немного успокоилась, что поделаешь?

Обе матери грустно смотрели на солнечные лучи.

— Ветры здесь страшные.

Женщина задумчиво продолжала прерванный разговор:

— А как хорошо на родине. Такой неустойчивой погоды, как здесь, никогда не бывает.

— Я приехала совсем недавно и еще ничего не знаю, но, говорят, дожди здесь проливные.

— В этом году их особенно много... Ой, кажется, плачет.

Женщина прислушалась и отчужденно улыbnулась:

— Простите, я вас оставлю на минутку.

Не успела она это сказать, как, громко шаркая комнатными туфлями, появилась с плачущим ребенком на руках горничная, которая недавно была здесь. Тосико пристально посмотрела на ребенка, высунувшего сморщенное в плаче личико из красивого шерстяного капора, — ребенка с упитанным, здоровым личиком.

— Я пошла мыть окно, а он тут же проснулся.

— Очень вам благодарна.

Женщина неловко прижала к груди ребенка.

Склонившись над ним, Тосико почувствовала острый запах молока.

— Ой-ой, какой толстенький.

С раскрасневшегося лица женщины не сходила счастливая улыбка. Это, разумеется, не означало, что она не сочувствует Тосико. Просто она не в силах была удержать рвущуюся наружу материнскую гордость.

3

Смоковницы и ивы в Юньцзяхуаюане, шелестя на легком послеполуденном ветерке, рассыпают в саду по траве и по земле блики света. Нет, не только по траве и земле. Рассыпают их и по натянутому между смоковницами голубому гамаку, так не гармонирующему с этим садом. И по телу полного мужчины в летних брюках и безрукавке, лежащему в гамаке.

Мужчина держит в руке зажженную сигарету и смотрит на китайскую клетку, висящую на ветке смоковницы. В ней сидит не то рисовка, не то какая-то другая птичка. В бликах света она прыгает с жердочки на жердочку, изредка удивленно поглядывая на мужчину. Мужчина то улыбается и берет сигарету в зубы, то, будто обращаясь к человеку, говорит пичужке: «ну?» или «что тебе?».

Вместе с шелестом листвы до него доносится пряный запах травы. Один-единственный раз высоко в небо унесся гудок парохода, и теперь не слышно ни звука. Пароход, видимо, уже уплыл. Уплыл, быть может, на восток по красноватомутной Янцзы, оставляя блестящий след за кормой. На молу сидит человек, почти голый, и грызет арбузную корку, наверно, нищий. Там же, наверно, дерутся между собой поросята, стараясь протиснуться к соскам растянувшейся на земле свиньи. Все эти мысли одолели уставшего наблюдать за птичкой мужчину, и он задремал.

— Послушай.

Мужчина открыл глаза. Возле гамака стояла Тосико, выглядевшая куда лучше, чем в то время, когда они жили в шанхайской гостинице. Стояла Тосико без малейших следов косметики на лице, на ее волосах и на легком узорчатом кимоно тоже играли блики. Глядя на жену, мужчина, не церемонясь, сладко зевнул и сел в гамаке.

— Посмотри почту.

Смеясь одними глазами, Тосико протянула мужчине не-

сколько писем. Затем вынула из-за пазухи маленький розовый конверт и показала мужчине.

— И мне пришло письмо.

Сидя в гамаке, мужчина прикусил зубами теперь уже короткую сигарету и стал небрежно просматривать письма. Тосико продолжала стоять, опустив глаза на листок бумаги, такой же розовый, как и конверт. Смоковницы и ивы в Юньцзяхуаюане, шелестя на легком послеполуденном ветерке, рассыпали блики света на этих двух пребывающих в мире людей. Лишь изредка доносился щебет рисовки. Мужчина не на плечо села стрекошущая букашка, но тут же улетела...

После недолгого молчания Тосико, не поднимая глаз, неожиданно вскрикнула:

— Послушай, мне пишут, что соседский малыш тоже умер.

— Соседский? — Мужчина насторожился. — Что значит соседский?

— Говорю же, соседский. Помнишь, в шанхайской гостинице?

— А-а, тот самый ребенок? Какая жалость!

— Таким здоровеньким выглядел...

— Чем же он заболел?

— Тоже простудился, пишут. Сначала думали, обычная простуда.

Тосико в возбуждении продолжала быстро читать письмо:

— «Когда мы поместили его в больницу, оказалось, что уже поздно...» Совсем как у нас, правда?.. «И уколы делали, и кислород давали, чего только не предпринимали...» Читать дальше?.. «А он только плакал и плакал. Плач его становился все тише, и ночью, в одиннадцать часов пять минут, он перестал дышать. Можете представить себе мое отчаяние...»

— Какая жалость!

Мужчина снова стал укладываться в качающийся гамак. Он словно видел перед собой умершего ребенка, слышал его последний, чуть слышный вздох. Когда-нибудь этот вздох снова превратится в плач. Плач здорового ребенка, заглушающий шум дождя. Захваченный этим видением, мужчина слушал жену, которая читала письмо:

— «...мое отчаяние... Я вспомнила о нашей встрече, о том, что когда-то и вы пережили такое же... Не могу, не могу. Как ужасна жизнь!»

Тосико оторвала от письма грустные глаза и нервно сдвинула густые брови. Но после секундного молчания, увидев рисовку в клетке, радостно хлопала в ладоши:

— О-о, мне пришла в голову прекрасная мысль! Давай выпустим ее на волю.

— Выпустить на волю? Птичку, которую ты так любишь?

— Да-да, не важно, что люблю. Это мы сделаем в память о том мальчике. В память о нем я сейчас же выпущу. Как обрадуется птичка... Только мне, наверно, не достать клетку. Сними, пожалуйста.

Подойдя к смоковнице, Тосико встала на цыпочки и, как могла, вытянула руку. Но не дотянулась до клетки. Рисовка неистово хлопала крыльями. Из кормушки посыпалось просо. Но мужчина лишь с интересом смотрел на Тосико. На ее напрягшуюся шею и грудь, на стоявшие на носках ноги, с трудом сдерживающие тяжесть тела.

— Не достать. Нет, не достать.

Тосико, продолжая стоять на носках, повернулась к мужу:

— Сними, пожалуйста. Слышишь?

— Я, наверно, тоже не достану. Надо на что-нибудь встать. Потом выпустим, не обязательно сию же минуту.

— Нет, я хочу сейчас. Сними, пожалуйста. Все равно не дам тебе лежать. Этого ты добиваешься? Возьму и отвяжу гамак.

Тосико сердито посмотрела на мужчину. Но не могла сдерживать улыбки, мелькнувшей в глазах и на губах. Счастливой улыбки возбужденного человека. В этой улыбке мужчине почудилась чуть ли не жестокость. За подернутыми солнечной дымкой растениями словно бы притаилась злая сила, неустанно наблюдавшая за людьми.

— Не делай глупостей, — стал выговаривать жене мужчина, отбросив сигарету. — Как тебе не стыдно! У женщины умер ребенок, а ты смеешься, суетишься...

Услышав это, Тосико побледнела. Как обиженный ребенок, она опустила глаза с длинными ресницами и, не сказав

больше ни слова, разорвала розовое письмо. Мужчина поморщился. Но чтобы смягчить свой упрек, оживленно заговорил:

— Хорошо, что все это уже позади. Вспомни, что с тобой творилось тогда, в Шанхае. Положили ребенка в больницу только для собственного успокоения, не положить — было страшно...

Муж вдруг умолк. Тосико потупилась, на щеках ее блеснули слезы. Муж молчал, задумчиво теребя короткие усы.

— Послушай.

Когда в гнетущей тишине раздался голос Тосико, она все еще стояла перед мужем, опустив бледное лицо.

— Что?

— Я... я поступила дурно? Ребенок умер, а я... — Тосико посмотрела на мужа горящими глазами. — Ребенок умер, а я радуюсь. Нет, мне его очень жаль, но... я все равно радуюсь. Это, наверно, плохо, что я радуюсь? Плохо?

В голосе Тосико слышалась несвойственная ей жестокость. Муж, теперь весь залитый солнцем, лежал неподвижно, не в силах ответить. Будто перед ним возникла преграда, преодолеть которую человек не в силах.

СЛАДОСТРАСТИЕ

Сластолюбец Хэйтю повсюду выискивал женщин, прежде всего тех, кто служит при дворе.

«Удзиской моногатари».

Хэйтю заболел от одной мысли, что ему не удалось встретиться с одной из них. Он так страдал, что даже умер.

«Кондзяку моногатари».

Быть сластолюбцем — значит вести себя именно так.

«Дзиккинсё».

ПОРТРЕТ

Из-под полей изящной шляпы, какие носили в эпоху Тайхэй, показалось круглое лицо. Полные щеки были сияюще-розовыми, но не благодаря румянам. У юноши была удивительно нежная белая кожа, сквозь которую пробивался естественный яркий румянец. Под носом были прекрасной формы усы, или, лучше сказать, с двух сторон тонких губ тянулись, казалось, остатки усов, нарисованных сильно разведенной тушью. Локоны, свисавшие над ушами, отливали чуть заметной синевой, напоминавшей цвет неба, когда еще не рассеялся туман. Сквозь локоны проглядывали лишь мочки ушей. Они были теплого цвета, как раковинки моллюска хамагури — видимо, от падавшего на них слабого света. В глазах, похожих на узенькие щелки, всегда теплилась улыбка. Притаившаяся в глубине глаз открытая, ничем не затуманенная улыбка, будто он любовался благоухающей веткой сакуры. Но при более внимательном взгляде можно было, наверное, увидеть, что улыбка таила не только счастье. Это была улыбка вожделения. И в то же время улыбка

презрения ко всему, что его окружало. Для его крупной головы шея выглядела слишком хрупкой. На этой шее ворот белого кадзами и ворот желтоватого цвета суйкана, источающего благовония, составляли прямую линию. Все было так утонченно, что за его спиной мерещилась удивительная картина с вытканым на ней журавлем. Или, возможно, сёдзи, на которых изображены сосны на пологом склоне горы. В общем, за ним разливался слабый свет, напоминающий затуманенное серебро...

Таков был портрет Таира Садабуми, «самого чувственного человека на свете», явившийся мне из древних повестей. У Таира Ёсикадзэ было трое детей, и Садабуми, родившийся вторым, имел прозвище Хэйтю, Средний Таира, который был для меня портретом Дон Жуана.

САКУРА

Хэйтю, прислонившись к опоре, рассеянно смотрел на сакуру. Склонившая ветви к самому карнизу сакура уже начала отцветать. На ее цветах, немного утративших красноватый оттенок, лучи послеполуденного солнца сквозь затейливо переплетенные ветки бросали причудливые тени. Но хотя глаза Хэйтю были устремлены на сакуру, сердце его оставалось равнодушным к ней. Он уже давно погрузился в мысли о придворной даме, занимавшей высокий пост Дзидзю.

— Впервые я увидел Дзидзю... — размышлял Хэйтю, — впервые я увидел Дзидзю, действительно, когда же это было? Да, конечно, я тогда сказал, что собираюсь посетить дворец, чтобы поклониться богу Инари, значит, это было в день хацуума, то есть в начале февраля. Та женщина как раз садилась в коляску, а я проходил мимо, вот тогда-то это и произошло. На миг перед моими глазами промелькнуло открытое веером лицо, на ней было фиолетовое верхнее кимоно, под которым два других — цвета розовой сливы и желтовато-зеленое, — женщина была невыразимо прекрасна. Она как раз садилась в коляску и, придерживая рукой подол юбки, изящно наклонилась — я был буквально потрясен. В резиденции министра двора было очень много женщин,

но ни одна из них не могла сравниться с ней. Хотя я и говорю, что Хэйтю влюбился...

Лицо Хэйтю стало немного серьезнее.

— Но влюбился ли я на самом деле? Если скажу, что влюбился, то, возможно, и влюбился, если скажу, что не влюбился, то... но, если представить себе такое, окончательно запутаешься, нет, скорее всего влюбился. Разумеется, это мое личное дело, и как бы я ни был влюблен в Дзидзю, голова у меня не закружится. Когда-то ходили слухи о Норидзанэ и Дзидзю, говорили, будто слышали, что у нее, к сожалению, слишком редкие волосы, да и сам Норидзанэ сразу же обратил на это внимание. Норидзанэ и другим ее мужчинам разрешалось, кажется, немного поиграть на флейте, но в день, когда они заговаривали о чувственных наслаждениях... нет, не буду касаться этого. Сейчас мне бы хотелось думать только о Дзидзю и поэтому... но если немного коснуться охватившего меня страстного желания, оно родилось от невыразимой грусти, написанной на ее лице. Если говорить только об этой грусти, то следует заметить, что в ней была изысканность под стать той, которую можно видеть на старинных гравюрах, но ее грусть походила на бессердечность, была в чем-то удивительно спокойной. В общем, все это указывало на то, что полагаться на Дзидзю было нельзя. Но такое ее лицо, как ни странно, обманывало людей, влекло их к ней. Оно не было белым, но и смуглым его нельзя было назвать, скорее янтарным. Всякий раз, когда я видел эту женщину, она была ослепительна, восторгаясь Дзидзю, хотелось заключить ее в свои объятия. Она действительно знала какой-то удивительный секрет, неведомый ни одной женщине...

Хэйтю, опираясь хакама на колени, рассеянно смотрел на небо над карнизом. Сквозь махровые грозди цветов сакуры проглядывало голубое небо...

— И все же то, что я не получил ни одного ответа на все свои любовные послания, говорит о ее упрямстве, но все же должна быть мера. После третьего письма любая женщина склонялась передо мной. Ни одной из них, даже самой упорной, мне не приходилось писать больше пяти любовных писем. Дочь ваятеля будд Эгэна сдалась после первого

же стихотворения. Причем стихотворение это сочинил не я. А кто же? Да-да, его сочинил Ёсискэ. Стихотворение в самом деле написал Ёсискэ, и оно, как говорили, ни в коем случае не было обращено к невинной девушке, но, если бы даже это стихотворение сочинил я сам, особенно гордиться им не приходилось, поскольку Дзидзю все равно бы мне не ответила. Но я не терял надежды, что рано или поздно она обязательно ответит, а уж если ответит, то мы встретимся. Если встретимся, произойдет большой переполох. И уж когда он произойдет... я просто носом его чую. Все же существует такая вещь, как репутация. Ведь за один лишь месяц я написал Дзидзю чуть ли не двадцать любовных посланий, и ни одного письма в ответ. В своих посланиях я следую принятым в таких случаях стилям, но рано или поздно и они исчерпываются, мои письма не оставляют никакого следа. Однако в сегодняшнем своем послании я попросил: «Напиши хоть словечко — «прочла», — и надеюсь, что на этот раз ответ придет». Неужели не придет? Если и сегодня его не будет... ничего, я останусь непреклонным, безвольным меня не назовешь. Еще в древности лиса из дворца Буракуин превращалась в женщину, но мне кажется, что, скорее всего, наоборот, женщина превращалась в лису. Такая же лиса, лиса с крутой дороги под Нара, превращалась в огромную криптомерию обхвата в три. Лиса из Сага превращалась в коляску, запряженную волком. Лиса у реки Каягава превращалась в девочек. Лиса из персикового сада превращалась в огромный пруд — в общем, о лисах можно говорить что угодно. Да, так о чем же я думал?

Продолжая смотреть на небо, Хэйтю подавил зевок. В лучах солнца, пробивавшихся сквозь цветы сакуры, в которых утонул карниз, временами мелькало что-то белое. Где-то ворковали голуби.

— Получается, что я отступаю. Если бы мне удалось хоть раз поговорить с ней, прежде чем она скажет, что не встретится со мной, я бы, несомненно, овладел ею. Ну а уж если бы провел с ней вечер... ведь и Сэтцу, и Котюдзэ, до того как узнали меня, прикидывались мужененавистницами. А попав в мои руки, стали такими любящими. Что же касается Дзидзю, недоступность, холодность не присущи ей, и в облаках

она, должно быть, тоже не витает. Значит, в момент, когда это случится, вряд ли проявит застенчивость, как это было с Котюдэ. В то же время вряд ли она будет притворяться и недоступной, что делала Сэтцу. Скорее всего, прикусит рукав, а глаза при этом у нее будут смеяться...

— Господин...

— Дело происходит ночью, горит светильник. Свет от него падает на волосы женщины...

— Господин.

Хэйтю поспешно обернулся. За его спиной стояла девочка, которая, опустив глаза, протягивала ему письмо. Кажется, она изо всех сил сдерживается, чтобы не улыбнуться.

— Письмо?

— От Дзидзю-сама...

Сказав это, девочка низко поклонилась.

— От Дзидзю-сама? Правда?

Хэйтю с трепетом развернул письмо на тонкой голубоватой бумаге.

— Может быть, это проделка Норидзанэ или Ёсискэ? Они ведь отпетые бездельники и с удовольствием занимаются такими розыгрышами... ой, так это же письмо Хэйтю. Да, несомненно, письмо Хэйтю, но что это за письмо?

Хэйтю отбросил письмо. В нем говорилось: «Напиши хоть одно словечко — «прочла», так вот, из посланного им письма было вырезано «прочла» и приклеено на нем отдельно.

— О-о-о, даже меня, о котором говорят как о самом чувственном человеке на свете, одурачила эта женщина, никуда не денешься. Ну и нахалка же эта Дзидзю! Зато теперь я знаю, что делать...

Обхватив колени, Хэйтю рассеянно посмотрел на верхушку сакуры. Зеленые листья были усыпаны лепестками цветов, которые сдувал на них ветер...

Дождливая ночь

С тех пор прошло два месяца. Однажды в дождливую ночь Хэйтю направился во дворец, в покои для придворных дам, в которых жила Дзидзю. Дождь был такой, что казалось, буд-

то ночное небо расплавилось и с пронзительным грохотом обрушивается на землю. Дорога была не просто грязная, а затоплена водой по колено. Выходить из дому в такую погоду, да еще к бессердечной Дзидзю, мог только безумно влюбленный в нее — с этой мыслью Хэйтю подошел к ее покоям и, шурша отделанным серебром веером, кашлянул, как бы прося разрешения войти. Девочка лет пятнадцати сразу же вышла к нему. Лицо у нее было не по годам взрослое, напудренное, хотя по нему было видно, что она только-только проснулась. Наклонившись к ней, Хэйтю тихим голосом попросил доложить о нем Дзидзю.

Девочка ушла, тут же появилась снова и таким же тихим голосом передала ответ:

— Подождите меня, пожалуйста. Когда все лягут спать, я смогу встретиться с вами.

Хэйтю самодовольно улыбнулся. Сопровождаемый девочкой, он оказался у раздвижной двери и сел около нее — видимо, она вела в гостевую комнату Дзидзю.

— Умный я все-таки человек.

Девочка куда-то ушла, и Хэйтю остался в одиночестве.

— Кажется, на этот раз даже Дзидзю и та отступила. Ведь женщинам обычно свойственно сострадание. Когда проявляешь к женщине сердечность, она в конце концов сдается. Пусть Ёсискэ и Норидзанэ, которым неведомо это свойство женщин, говорят что хотят, я буду ждать до конца. Но все равно было бы слишком хорошо, если бы нынешней ночью мне действительно удалось встретиться с ней...

Тут Хэйтю забеспокоился.

— Тому, у кого не было любовных встреч, легко говорить о них. Но, может быть, тут играет роль моя недоверчивость? Что ни говори, я отправил ей шестьдесят писем, в ответ не получил ни одного, так что недоверчивость вполне естественна. Если же не недоверчивость... нет, достаточно как следует поразмыслить, и станет ясно — все же нельзя не признать, что моя недоверчивость вполне обоснованна. Как бы ни была Дзидзю покорена моей любезностью, она до сих пор даже не взглянула... причем не взглянула именно на меня. У меня бы сердце разорвалось от счастья, если бы только Дзидзю подумала обо мне.

Хэйтю, запахивая на груди кимоно, стал осматриваться по сторонам. Но ничего не мог разглядеть, кроме окружавшей его тьмы. Слышался лишь шум дождя, бывшего по крыше из кипарисовой коры.

— Если считать это недоверчивостью, она действительно похожа на нее, если не недоверчивостью... нет, если и сейчас я считаю это недоверчивостью, она перестанет быть таковой, если считать это не недоверчивостью, то, как это ни парадоксально, мне представляется, что придется согласиться, что это недоверчивость. Те, кто говорит, что такова уж моя судьба, просто иронизируют надо мной. И все же я думаю, что моя недоверчивость необоснованна. Значит, вот эта женщина... о-о, кажется, все уже стали укладываться спать.

Хэйтю прислушался. И обратил внимание, что шум все еще лившего дождя сопровождается звуком шагов женщин, расходившихся по своим покоям после императорского приема.

— Нужно набраться терпения. Еще каких-нибудь полчаса, и я спокойно рассею все свои сомнения. Но в глубине души мне кажется, я не смогу обрести покой. И это даже хорошо. Даже если я считаю себя человеком, которому не суждено встретиться, все равно произойдет чудо и я смогу встретиться. Но ироничная судьба, наверное, видит насквозь все эти мои тайные расчеты. Буду думать, что встреча произойдет. И все-таки, по моим расчетам, думать так... ой, какая боль в груди. Лучше буду думать о чем-то не связанном с Дзидзю. Во всех покоях стало совсем тихо. Слышен лишь шум дождя. Закрою-ка я глаза и подумаю, ну хотя бы о дождях. Харусамэ — весенний дождь, самидарэ — майский дождь, юдати — ливень, акисамэ — осенний дождь... постой-ка, а есть такое слово «акисамэ»? Но все равно о дожде можно сказать много: дождь осенью, дождь зимой, капли дождя, дождь, пробивающийся сквозь крышу, дождевой зонт, молитва о ниспослании дождя, дракон дождя, дождевая лягушка, тент от дождя, навес от дождя...

Пока Хэйтю размышлял, уши его вдруг уловили поразивший его звук. И не только поразил, Хэйтю, услышавшего этот звук, переполнила радость, несравнимая даже с той, ко-

торую испытывает глубоко верующий монах, когда к нему приходит будда Амида, чтобы проводить в Рай. Почему? Потому что из-за раздвижной двери до его ушей донесся звук отодвигаемого засова.

Хэйтю стал открывать дверь. Как он и предполагал, она заскользила в пазах. Перед ним была тьма, наполненная лившимся откуда-то удивительным запахом. Тихонько закрыв дверь, Хэйтю на ощупь пополз в глубь комнаты. Но в этой очаровательной тьме, кроме шума дождя над потолком, не было и намека на то, что в ней кто-то прячется. Он дотронулся до чего-то, но это оказались вешалка для одежды и туалетный столик. Сердце Хэйтю стало бешено колотиться.

— Неужели никого нет? Если бы кто-то был, отозвался бы.

Не успел он это подумать, как рука его неожиданно коснулась мягкой женской ручки. Потом коснулась рукава шелкового кимоно. Коснулась укрытой под ним груди. Коснулась круглых щечек и подбородка. Коснулась волос холоднее льда. Так в кромешной тьме Хэйтю нашел тихо лежавшую любимую Дзидзю.

Это не было ни сном, ни призрачным видением. Перед Хэйтю в шелковом кимоно, как ребенок, лежала Дзидзю. Он сжался, его охватила дрожь. А Дзидзю по-прежнему лежала не шелохнувшись. Хэйтю показалось, что точно такое же было описано в какой-то повести. Скорее всего, он давным-давно прочел ее в свитке при свете масляного светильника.

— Благодарю тебя. Благодарю. До сих пор я считал тебя бессердечной, но отныне хочу вручить свою жизнь не Будде, а тебе.

Хэйтю пытался прошептать это на ухо Дзидзю, привлекая ее к себе. Но сколько он ни старался, язык его бесстыдно обволакивал запах волос Дзидзю, запах ее удивительно теплого тела. Лица Хэйтю коснулось ее свежее дыхание.

Мгновение, еще бы одно мгновение, и они в буре страсти забыли бы и о шуме дождя, и о запахе незажженного светильника, и о министре двора, и о девочке. Но когда должен был наступить самый ответственный момент, Дзидзю поднялась и, приблизив свое лицо к лицу Хэйтю, сказала застенчиво:

— Подожди, пожалуйста. Дверь еще не заперта, пойду задвину засов.

Хэйтю кивнул. Дзидзю подошла к двери — подстилка, на которой они лежали, все еще сохраняла ее тепло.

— Весенний дождь, Дзидзю, будда Амида, навес от дождя, капли дождя, Дзидзю, Дзидзю...

Хэйтю широко раскрыл глаза и стал думать о самых разных вещах, не отдавая себе отчета, что он делает. Из темноты послышался звук задвигаемого засова.

— Дракон дождя, курительница для ароматических веществ, обсуждение достоинств женщин в дождливую ночь, реальность тьмы, черной, как воронье крыло, — все это сон, всего лишь сон... Что случилось? Я думал, она уже давно заперла дверь...

Хэйтю поднял голову. Все та же очаровательная тьма, источающая запах незажженного светильника. Куда ушла Дзидзю? Не слышен даже шорох ее одежды.

— Вот это да... хотя, может быть, у нее какое-нибудь дело...

Хэйтю пополз по подстилке и, как и раньше, на ощупь добрался до противоположных сёдзи. Сёдзи были крепко заперты на засов снаружи. И сколько он ни напрягал слух, звука шагов до него не доносилось. Все покои в этот страшный ливень замерли во сне.

— Хэйтю, Хэйтю, никакой ты не самый чувственный на свете человек...

Прислонившись к сёдзи, Хэйтю шептал, чуть ли не теряя сознание:

— И красота твоя увяла. И ум твой не так глубок, как прежде. Ты еще более презренно-беспомощен, чем Норидзанэ и Ёсискэ.

БЕСЕДА О ЧУВСТВЕННОСТИ

Это небольшой отрывок из болтовни приятелей Хэйтю, Ёсискэ и Норидзанэ, о чувственности.

Ёсискэ. Та женщина, Дзидзю, как я и думал, не поддавалась Хэйтю.

Норидзанэ. Да, ходят такие слухи.

Ёсискэ. Это ему хороший урок. Он любую пытается соблазнить, если только это не наложница императора. Надо бы ему быть посдержаннее.

Норидзанэ. Ха-ха, я вижу, ты тоже ученик Конфуция?

Ёсискэ. Учения Конфуция я не знаю. Но зато знаю, сколько женщин проливали слезы из-за Хэйтю. Добавлю к этому — мы еще не знаем, сколько было страдающих мужей, сколько было возмущенных родителей, сколько было обиженных вассалов. Человек, доставляющий столько беспокойств, должен с барабанным боем быть осужден прилюдно. Ты так не считаешь?

Норидзанэ. Нет, этого делать не следует. Может быть, Хэйтю действительно доставляет беспокойство людям. Но разве вину за свои прегрешения должен нести один Хэйтю?

Ёсискэ. А кто же еще должен нести ее, кроме него?

Норидзанэ. Ее следует возложить и на женщин, конечно.

Ёсискэ. Очень жаль возлагать ее на женщин.

Норидзанэ. Однако жаль и Хэйтю, на которого возлагают всю вину.

Ёсискэ. Но ведь дело в том, что именно Хэйтю соблазняет женщин.

Норидзанэ. На поле боя мужчина открыто скрещивает свой меч с мечом противника, а женщина только и знает, что обманывать. Чем это отличается от греха убийства?

Ёсискэ. Хватит заступаться за Хэйтю. И вот что я тебе скажу. Мы не доставляем беспокойства людям, а Хэйтю доставляет.

Норидзанэ. Не знаю, так ли это. Мы люди, и такова уж, видно, наша карма — и минуты не можем прожить без того, чтобы не ранить друг друга. Только Хэйтю доставляет беспокойство людям намного чаще, чем мы. Но такова уж неминуемая судьба гения.

Ёсискэ. Брось шутить. Поставить Хэйтю рядом с гением — все равно что поставить рядом гольца из этого пруда и дракона.

Норидзанэ. Хэйтю в самом деле гений. Посмотри на его лицо. Послушай его голос. Прочти его любовные посла-

ния. Если бы ты был женщиной, хорошо бы тебе провести с ним хотя бы одну ночь. Подобно святому Кукаю, подобно Оно Тофу, не успев покинуть утробу матери, он уже обладал недожинными способностями. Если утверждать, что такой человек, как он, не гений, то, значит, на свете гениев вообще не существует. В этом такие люди, как мы с тобой, ни в коем случае не могут тягаться с Хэйтю.

Ё с и с к э. Но все же. Все же гений, как ты говоришь, не способен творить только грехи, верно ведь? Посмотри, например, на произведения Тофу — такая удивительная сила кисти, послушай, как читает сутры святой Кукай...

Н о р и д з а н э. Я не говорю, что гений только и делает, что грешит. Просто говорю, что и грешит тоже.

Ё с и с к э. Но Хэйтю отличается от такого гения. Он только и делает, что грешит.

Н о р и д з а н э. Нам этого не понять. Тем, кто букв слоговой азбуки и то писать как следует не умеет, тому и творения Тофу ни к чему, правда? А неверующим песни в представлениях кукольного театра интереснее чтения сутр святого Кукай. Чтобы понять добрые дела гения, нужно обладать немалыми познаниями.

Ё с и с к э. Ты, возможно, и прав, но добрые дела уважаемого Хэйтю...

Н о р и д з а н э. Вот я и говорю, то же относится и к Хэйтю, правда ведь? Добрые дела гения чувственности должны знать только женщины. Ты только что говорил: сколько женщин проливали слезы из-за Хэйтю, но я хочу сказать обратное: сколько женщин благодаря Хэйтю вкусили невыразимую радость, сколько женщин благодаря Хэйтю почувствовали прелесть жизни, сколько женщин благодаря Хэйтю научились уважать жертвенность, сколько женщин благодаря Хэйтю...

Ё с и с к э. Хватит перечислять эти «сколько». Следуя твоей логике, даже никчемного человека легко превратить в могучего воина, облаченного в доспехи.

Н о р и д з а н э. Для таких ревнивых людей, как ты, и могучий воин, облаченный в доспехи, предстает никчемным человеком.

Ё с и с к э. Я ревнивый? Х-ха, не ожидал от тебя такого.

Н о р и д з а н э. Чем больше ты поносишь Хэйтю, тем меньше поносишь распутниц, тебе это не кажется? На словах ты их, конечно, ругаешь, но в глубине души, скорее всего, не ругаешь. Рано или поздно между мужчинами ревность неизбежно возникает. Мы все в той или иной степени испытываем тайное честолюбивое стремление стать Хэйтю, если только мы в состоянии сделать это. Мы ненавидим Хэйтю сильнее, чем мятежника. Если вдуматься, это очень жаль.

Ё с и с к э. А ты бы не хотел стать Хэйтю?

Н о р и д з а н э. Я? Особого желания не имею. Потому-то судить о Хэйтю я могу беспристрастнее, чем ты. Покорив женщину, Хэйтю тут же охладевал к ней. И, как это ни смешно, сразу же начинал мечтать о другой. В мыслях он всегда смутно представлял ее себе лишенной моральных принципов красавицей, подобной небесной фее с волшебной горы Ушань. Во всех женщинах на свете Хэйтю хочет видеть такую красоту. Думаю, влюбившись, он действительно может видеть ее. Но после второй-третьей встречи подобный мираж, разумеется, рассеивается. Вот почему он целиком посвятил себя тому, чтобы все время переходить от одной женщины к другой. К тому же в нашем брэнном, стоящем на пороге гибели мире просто не может существовать женщины, о которой он мечтает, поэтому счастья он не обретет до конца своей жизни. В этом смысле мы с тобой намного счастливее, чем он. Но несчастья Хэйтю вызваны, если можно так сказать, его гениальностью. Хэйтю не одинок. Святой Кукай и Оно Тофу тоже были, наверное, очень схожи с ним. Во всяком случае, чтобы стать счастливым, нужно быть самой заурядной личностью, как ты, например...

ЧЕЛОВЕК, СКОРБЕВШИЙ О ТОМ,
ЧТО И НЕЧИСТОТЫ ЕЕ ОКАЗАЛИСЬ
СЛИШКОМ ПРЕКРАСНЫМИ

Хэйтю стоял, замерев, в галерее, рядом с дворцовыми покоем Дзидзю. Маслянистый цвет проглядывавшего туда солнца указывал на то, что сегодня будет еще жарче. Но со сна, переплетенные ветви которой виднелись на фоне неба за навесом крыши, тихо хранила прохладу.

— Дзидзю не хочет видеть меня рядом с собой. Я тоже забуду о ней.

Так думал побледневший, осунувшийся Хэйтю.

— Но как я ни стараюсь забыть Дзидзю, она всегда, точно призрак, стоит перед моими глазами. Не знаю, сколько раз после той дождливой ночи, ради одного того, чтобы забыть ее, я взывал ко всем богам и буддам, прося их освободить меня от этой горькой любви. Я ходил в храм Камо-но-миясино, и в стоявшем там зеркале как живой появлялся божественный облик Дзидзю. Когда я входил в храм Киёмидзу-но-митэра, даже бодхисаттва Кандзэон сразу же превращалась в Дзидзю. Если ее облик никогда не исчезнет из моего сердца, я умру от любви.

Хэйтю печально вздохнул:

— Однако, чтобы забыть ее, есть лишь одно средство. Своими глазами увидеть нечто презренное, связанное с этой женщиной. Дзидзю не богиня и должна освободиться от нечистот. Если мне удастся хоть однажды увидеть их, призрак Дзидзю рассыплется в прах, будто я заметил хвост у девушки, в которую обернулась лиса. С этого мгновения моя жизнь снова окажется в моих руках. Но где занимается она этим постыдным, куда освобождается от нечистот — этого не скажет мне никто. Милосердный бодхисаттва Кандзэон, укажи мне это место, мне нужно твое свидетельство, что Дзидзю делает это так же, как нищенка на речном берегу...

Думая об этом, Хэйтю вдруг лениво поднял глаза.

— Постой, не та ли это девочка из покоев Дзидзю появилась там?

Эта умненькая девочка, в кимоно из легкой материи с нарисованными на нем гвоздиками и в темных шароварах-хакама, шла прямо на него. Красным бумажным разрисованным веером она прикрывала какую-то коробку — не иначе, шла выбрасывать нечистоты Дзидзю. Достаточно было Хэйтю взглянуть на нее, чтобы сердце его точно молнией пронзила отчаянная решимость.

Переполненный злостью, он преградил путь девочке. Выхватив у нее из рук коробку, Хэйтю тут же побежал в пустую комнату в конце галереи. Застигнутая врасплох девочка,

разревевшись, опрометью бросилась за ним. Но Хэйтю, вбежав в комнату, тут же запер дверь на задвижку.

— Да. Загляну внутрь, и все будет в порядке. После этого даже столетняя любовь в мгновение ока рассеется как дым...

Хэйтю положил дрожащие руки на коробку, завернутую в желтовато-красный кусок материи. Развернув его, он обнаружил, что это не обыкновенная коробка, а, как ни странно, совершенно новая лакированная шкатулка тонкой работы, инкрустированная золотом и серебром.

— В ней нечистоты Дзидзю. И, одновременно, моя жизнь...

Замерев, Хэйтю неотрывно смотрел на прекрасную шкатулку. Снаружи доносился жалобный плач девочки. Но в какой-то миг для Хэйтю наступила мертвая тишина. И раздвижная дверь, и сёдзи начали исчезать подобно туману. Мало того, он уже не мог определить, день сейчас или ночь. Перед его глазами отчетливо виднелась лишь шкатулка, на которой была инкрустация в виде кукушки...

— Будет ли спасена моя жизнь, расстанусь ли я до конца своих дней с Дзидзю, зависит от шкатулки. Стоит мне только открыть ее... нет, об этом нужно еще подумать. Хорошо ли для меня забыть Дзидзю, хорошо ли длить мою бесполезную жизнь — у меня нет ответа на эти вопросы. Пусть я умру от любви, но, может быть, лучше не открывать шкатулку?..

На исхудавшем лице Хэйтю сверкали слезы, он снова заколебался. Но после недолгих раздумий вдруг, сверкая глазами, завопил про себя:

— Хэйтю! Хэйтю! Какой же ты безвольный! Неужели забыл ту дождливую ночь? Может быть, Дзидзю до сих пор смеется над твоей любовью. Я буду жить! Буду жить прекрасно! Если только я увижу твои нечистоты, Дзидзю, то смогу торжествовать победу над тобой...

Точно безумный, Хэйтю открыл шкатулку. В заполнявшей ее наполовину желтоватой воде плавало несколько коричневатых кусочков. В нос ударил запах гвоздичного дерева — уж не сон ли это? Неужели это и есть нечистоты Дзидзю? Такое недоступно даже небесной фее Кисе. Нахмурившись, Хэйтю взял двумя пальцами плававший сверху маленький кусочек, поднес его к самому носу и стал

нюхать. Он благоухал удивительным ароматическим веществом дзинко.

— Что это значит? И вода в шкатулке тоже, кажется, издает прекрасный запах...

Хэйтю наклонил шкатулку и отхлебнул воды. Конечно же, это был сироп из вываренного гвоздичного дерева.

— Значит, и это кусочки благоухающего дерева?

Он откусил от того, который держал двумя пальцами. И почувствовал сладкий, чуть горьковатый вкус. Во рту он был даже прохладнее, чем цветы мандаринового дерева, и удивительно ароматным. Может быть, Дзидзю как-то догадалась и, чтобы разрушить замысел Хэйтю, изготовила эти ароматные подделки нечистот.

— Дзидзю! Ты убила Хэйтю!

С этим воплем он выронил из рук шкатулку. И сам повалился на пол как подкошенный. Его полумертвые глаза сверкнули сиреневатым золотом, перед ними возник облик улыбающейся Дзидзю...

РАЗГОВОР ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ
ЗА ДРУЖЕСКИМ СТОЛОМ

— Что ни говори, но сейчас нужно держать ухо востро. Если уж такой человек, как Вада, обзавелся гейшей.

Адвокат Фудзии, выпив очередную рюмку китайской водки Ляодзю, откинулся назад и стал переводить взгляд с одного на другого. Вокруг стола сидело шесть человек, людей уже немалодых, живших когда-то вместе в университетском общежитии. Место встречи — второй этаж китайского ресторана Тототэй в Хибия, время — дождливый июньский вечер. Разумеется, Фудзии изрек это, когда наши лица уже покраснелись от выпитого.

— Когда Вада похвастался мне, я с особой остротой почувствовал, как много изменилось с тех времен, — весело продолжал свой рассказ Фудзии. — Ведь это же наш Вада с медицинского факультета, который участвовал в соревнованиях по дзюдо, был зачинщиком битья посуды в столовой, чтобы заставить повара лучше готовить, поклонником Ливингстона, даже в самые морозные дни ходивший в летнем кимоно, в общем, был в наших глазах героем, правда? И вот теперь он обзаводится гейшей. Зовут ее Оэн, она с Янагибаси.

— Ты теперь другие заведения посещаешь? — неожиданно вмешался в разговор управляющий отделением банка Иинума.

— Другие заведения? Почему?

— Ты, должно быть, взял с собой Вада, и тот встретился с гейшей, верно?

— С чего ты взял? Разве я брал с собой Вада? — с победоносным видом поднял брови Фудзии.

— Это случилось в прошлом месяце, какой же это был

день? Понедельник или вторник. Мы давно не виделись с Вада и вдруг встречаемся, он предлагает пойти в Асакуса. В общем, Асакуса мне не особенно по душе, но туда предлагает пойти мой старый приятель, и я послушно соглашаюсь. Был полдень, и мы отправились в шестой квартал.

— Куда же вы пошли, в кинематограф? — опередил я на этот раз остальных.

— В кинематограф еще бы ничего, нет, мы пошли показаться на карусели. Да к тому же еще сели верхом на деревянных лошадок. Вспоминая сейчас о происшедшем, я понимаю, что это было дурацкое предприятие. Но карусель предложил не я. Этого захотел Вада, и я решил немного покататься с ним за компанию. Но он не получил от этого никакого удовольствия. При несварении желудка, как, например, у Ногуты, на карусели лучше не кататься.

— Вы же не дети. Зачем нужно было садиться на этих деревянных лошадок?

Профессор университета Ногуты, с наслаждением жуя приготовленное по-китайски иссиня-черное яйцо Сунхуа, презрительно рассмеялся. Однако Фудзии, время от времени снисходительно поглядывая на Вада, самозабвенно продолжал свой рассказ:

— Вада сидел на белой лошадке, я — на красной, и вот когда мы начали крутиться вокруг оркестра, я подумал: чем, интересно, кончится вся эта затея? Зад подскакивает, голова кружится, весь в напряжении, чтобы не свалиться. Но, несмотря на все это, среди стоящих за перилами карусели зрителей я вдруг замечаю женщину, по виду гейшу. Мертвенно-бледная, глаза затуманены слезами, удивительно грустное лицо...

— Коль скоро ты все это разглядел, значит, чувствовал себя прекрасно. Очень сомневаюсь, что так уж у тебя кружилась голова, — снова выразил сомнение Иинума.

— Разве я не сказал: «несмотря на все это»? Так вот, перед мной стоит изящная женщина, точно сошедшая с иллюстрации из романа о жизни квартала публичных домов, причесанная, конечно, в стиле «бабочка», на ней прекрасное шелковое кимоно в бледно-голубую полосу и шелковое оби с красивым рисунком. Что делает здесь эта женщина? — думаю

я. И вдруг она скользнула взглядом по моему лицу и приветливо улыбнулась. Ух ты! — я даже удивиться этому не успел. Сидя на деревянной лошадке, я уже промчался мимо женщины. Кто же она? — подумал я, но тут перед моей красной лошадкой появился оркестр...

Мы дружно рассмеялись.

— Второй раз повторяется то же самое. Женщина снова приветливо улыбается. Но вижу я ее лишь мгновение. Перед моими глазами проносятся одни и те же картины, лошадки скачут, коляски подпрыгивают, труба трубит, барабан бьет. На что это похоже? — подумал я. Эта карусель символизирует нашу жизнь. Мы все в настоящей жизни мчимся на таких же деревянных лошадках, случайно встречаясь иногда с тем, что именуется счастьем, но, так и не ухватив его, сразу же проносимся мимо. Если же все-таки хотим попытаться ухватить его, нужно не раздумывая соскочить с деревянной лошадки...

— Ты хочешь сказать, что соскакать не стал? — с издевкой спросил главный инженер электрической компании Кикура.

— Оставь свои шуточки. Философия есть философия, жизнь есть жизнь... Ну так вот, пока я думаю обо всем этом, мы несемся по кругу в третий раз, и представьте себе, что происходит. Я вдруг обнаруживаю — и это поражает меня, — женщина улыбалась, как это ни печально, не мне. А зачинщику битья посуды, поклоннику Ливингстона, etc, etc...¹ — в общем, Вада Рёхэю.

— Так или иначе, это твое счастье, что ты не последовал своей философии и не соскочил с лошадки, — сказал молчавший до сих пор Ногуты.

Однако Фудзии по-прежнему был поглощен своим рассказом.

— Оказавшись перед женщиной, Вада тоже радостно поклонился ей. Поклонился так низко, что подались вперед колени, сжимавшие бока белой лошадки и стал болтаться галстук.

¹ И так далее (фр.).

— Ври больше, — нарушил молчание Вада. Он уже давно, криво ухмыляясь, пот гивал водку.

— Что, разве я когда-нибудь вру?.. Но это бы еще ничего. Когда карусель наконец остановилась и мы сошли с нее, Вада, точно забыв о моем существовании, разговаривал только с этой женщиной, не был ли этого? А та без конца повторяла: сэнсэй, сэнсэй. Я же оказался третьим лишним.

— В самом деле, забавная история, — обернулся Иинума к сидевшему рядом с ним Вада, тыча серебряной вилкой в лежавшее на блюде акулье филе, — послушай, может быть, в таком случае все расходы за сегодняшнюю нашу встречу ты возьмешь на себя?

— Глупости все это. Та женщина — содержанка одного моего приятеля, вот и все, — резко бросил Вада, опираясь локтями о стол. Его лицо было более загорелым, чем у остальных. И он не был похож на горожанина. К тому же его коротко стриженная голова выглядела как огромный булыжник. Еще в давние времена во время школьных спортивных соревнований он, повредив левый локоть, все же смог уложить пятерых противников. Этот его давний героический облик в чем-то сохранился, хотя сейчас он был одет по моде — в черном пиджаке и полосатых брюках.

— Иинума, уж не твоя ли это содержанка? — с пьяной улыбкой спросил Фудзии, посмотрев на него исподлобья.

— Возможно, — холодно парировал Иинума и снова повернулся к Вада: — Кто же этот твой приятель?

— Вакацуки, он коммерсант. Никто из вас не знает его? Окончил Кэйё или еще какой-то университет, сейчас имеет свой банк. Он примерно нашего возраста. Белокожий, глаза красивые, короткие усы, в общем, элегантный красавец-мужчина.

— Вакацуки Минэтаро, стихи подписывает Сэйгэй, да? — вмешался я в разговор.

Дней пять назад с этим коммерсантом Вакацуки я ходил в театр.

— Совершенно верно. Под этим именем он выпустил сборник стихов. Так вот, он и есть покровитель Оэн. Хотя нет, был покровителем еще месяца два назад, а сейчас оставил ее.

— Хм, и этот самый Вакацуки...

— Мы учились с ним вместе в школе.

— Да, нехорошо ты поступил! — весело воскликнул Фудзии.

— Выходит, тайком от нас со своим школьным товарищем развлекаешься с гейшами.

— Не говори глупостей. Я встретился с этой женщиной, когда она пришла в университетскую клинику, Вакацуки попросил меня помочь ей, чтобы меньше было сложностей. Нужна была какая-то пустячная операция.

Хлебнув еще водки, Вада сказал задумчиво:

— Что там ни было, а женщина эта очень интересная.

— Уж не влюбился ли ты в нее? — насмешливо спросил Кимура.

— Может, и влюбился, а может, и не влюбился нисколько. Но рассказать мне хочется не об этом, а об отношениях между ней и Вакацуки.

После этого предисловия Вада произнес необычно длинный для него монолог.

— Как справедливо сказал Фудзии, недавно я встретился с Оэн. Поговорив с ней, я узнал, что она примерно два месяца назад рассталась с Вакацуки. Я спросил, почему это произошло, но не получил вразумительного ответа. Лишь грустно улыбаясь, сказала, что, видимо, была недостаточно утонченной для такого человека, как он.

Поскольку дело было щекотливое, я не стал ее расспрашивать, рассталась и рассталась. Вдруг вчера... вчера во второй половине дня шел дождь. И в самый разгар дождя получаю от Вакацуки письмо с приглашением пообедать. Я как раз был свободен и сразу же отправился к нему домой. Сэнсэй, как обычно, сидел в своем уютном кабинете и читал. Я дикарь, и что такое утонченность, понятия не имею. Но каждый раз, входя в кабинет Вакацуки, сразу же ощущал, насколько жизнь его связана с искусством, артистична. Начать с того, что в токонама постоянно висел старинный свиток. Всегда стояли цветы. Кроме шкафов с японскими книгами, было много стеллажей с европейскими. На изящном низком столике часто лежал сямисэн. К тому же и находившийся в кабинете Вакацуки являл собой самую элегантность, словно

сошел с укиёэ, отображающей современный мир. Вчера тоже он был одет удивительно элегантно, и, когда я спросил, что на нем за одежда, он ответил — джемпер. Среди многочисленных моих приятелей, кроме Вакацуки, нет ни одного, кто бы носил джемпер. И таким он был во всем.

Сидя за столиком и потягивая сакэ, я слушал, что у него произошло с Оэн. У Оэн, оказывается, есть еще один мужчина. В этом не было бы ничего удивительного. Но этот человек — исполнитель старинных сказов нанивабуси, причем мелкий актеришка. Если бы вы все это услышали сами, то, я думаю, не могли бы не посмеяться над глупостью Оэн. Да и я тогда лишь горько улынулся.

Вам, разумеется, это неинтересно, но Вакацуки жил с Оэн довольно долго, целых три года. Кроме того, он заболел о матери и сестре Оэн. Мало этого, саму Оэн он обучал всему, что ее интересовало, не говоря уж о чтении и письме, не говоря уж о разных видах искусства. Оэн получила известность как танцовщица. Заняла видное место на Янагибаси среди исполнительниц музыкальных сказаний. Она научилась, кроме того, слагать хокку, прекрасно писала каной в стиле каллиграфа Тикагэ. И все это только благодаря Вакацуки. Зная обо всем этом, я, как и вы, не только почитал ее поведение смехотворным, но просто возмутился.

Вакацуки рассказывал мне: «Сам факт, что мы расстались с этой женщиной, не имел для меня столь уж большого значения. Я сделал все, что мог, для ее образования. Мне хотелось помочь ей разбираться во всем, что ее окружает, сделать ее человеком широких интересов. Такова была моя мечта. Вот почему я теперь так разочарован. Если уж решила завести мужчину, зачем было останавливать свой выбор на исполнителе старинных сказов нанивабуси? Хотя она и освоила разные виды искусств, преодолеть врожденную вульгарность оказалась бессильна — стоит мне об этом подумать, так горько становится...»

Вакацуки рассказал и такое: «В последние полгода она стала настоящей истеричкой. Одно время чуть ли не ежедневно говорила, что сегодня не хочет играть на сямисэне, и плакала как ребенок. Когда я спрашивал почему, она приводила более чем странные доводы, будто я ее не люблю и

поэтому обучаю разным видам изящных искусств. Что бы я ни говорил в такие минуты, она даже виду не делала, что прислушивается ко мне. Лишь повторяла без конца с досадой: бессердечный, бессердечный. Правда, когда приступ истерии проходил, она снова смеялась и весело разговаривала со мной...»

Вакацуки рассказал и такое: «Этот самый исполнитель старинных сказов нанивабуси — грубый неотесанный человек. Когда его приятельница, служанка у торговца птицей, завела себе любовника, он устроил громкий скандал, драку, даже ранил ее. Кроме того, об этом человеке до меня дошли самые плохие слухи — говорят, он принудил к совместному самоубийству свою возлюбленную, а сам остался жив, еще говорят, он тайно бежал однажды с дочерью учителя. Связать свою жизнь с таким человеком — как только это могло прийти ей в голову...»

Я сказал, что меня в полном смысле слова потрясла безалаберность Оэн. Однако, слушая рассказ Вакацуки, я испытывал к ней сочувствие. Возможно, ее покровитель Вакацуки действительно был весьма утонченным человеком, каких сейчас мало. Но ведь ему ничего не стоило расстаться с этой женщиной. Хотя в его разговоре с ней уловить бешенство было, разумеется, невозможно. Именно бешенство, а этот исполнитель старинных сказов нанивабуси, глубоко ненавидя бессердечие женщины, заставлял ее страдать от этого. Я попробовал поставить себя на место Оэн и понял, что для нее было естественнее влюбиться не в холодного, утонченного Вакацуки, а в бешеного исполнителя старинных сказов нанивабуси. Она говорила, что обучение ее разным видам искусств было доказательством, что Вакацуки не любит ее. Я не хочу видеть в этих ее словах одну лишь истеричность. Оэн понимала, что между нею и Вакацуки пропасть. Я тоже ради Оэн не собираюсь благословлять то, что произошло между нею и исполнителем старинных сказов нанивабуси. Станет ли она счастливой, станет ли несчастной — невозможно утверждать ни то ни другое. Но если станет несчастной, осуждать за это нужно не того мужчину. А утонченного Вакацуки Сэйгэя, который довел ее до этого. Вакацуки, нет, любой утонченный человек в наше время достоин, несо-

мненно, любви. Эти люди знают Басё. Знают Льва Толстого. Знают Икэ-но Тайга. Знают Мусякодзи Санэацу. Знают Карла Маркса. Но что это дает? Им неведома бешеная любовь. Неведома бешеная радость творчества. Неведома бешеная страсть. Неведомо ничто бешеное, что должно делать нашу Землю величественной. В этом заключается их смертельная болезнь, таится их зло. Одно из этих зол — активное стремление заставить и другого человека тоже стать утонченным. Второе зло — низменное желание всех остальных превратить в людей вульгарных. Не может ли Оэн служить примером этого? Во все времена люди, испытывающие жажду, не останавливаются перед тем, чтобы утолить ее хотя бы грязной водой. Если бы Вакацуки не сделал Оэн своей содержанкой, она, возможно, не вступила бы в связь с исполнителем старинных сказов нанивабуси.

Если бы она стала счастливой, скажу по-другому, именно то, что вместо Вакацуки она получила исполнителя старинных сказов нанивабуси, действительно сделало ее счастливой. Разве Фудзии говорил не о том же? Все мы тоже несемся на деревянных лошадках жизни, временами сталкиваемся со счастьем, но, не успев схватить его, проносимся мимо. А если хотим ухватить счастье, должны не раздумывая соскочить с лошадки. Другими словами, Оэн не раздумывая соскочила с лошадки жизни. Утонченному Вакацуки были неведомы ни бешеная радость, ни бешеные муки. Думая о цене жизни человеческой, пусть меня оплюет сотня Вакацуки, я хочу выразить свое уважение одной-единственной Оэн.

Вы так не думаете?

Вада оглядел собравшихся, его пьяная физиономия лоснилась. А Фудзии сладко спал, уронив голову на стол.

ЧТО СКАЗАЛ НА ДОПРОСЕ СУДЕЙСКОГО ЧИНОВНИКА ДРОВСОСЕК

Да. Это я нашел труп. Нынче утром я, как обычно, пошел дальше в горы нарубить деревьев. И вот в роще под горой оказалось мертвое тело. Где именно? Примерно в четырех-пяти тё от проезжей дороги на Ямасину. Это безлюдное место, где растет бамбук вперемежку с молоденькими криптомериями.

На трупе были бледно-голубой суйкан и поношенная шапка эбоси, какие носят в столице; он лежал на спине. Ведь вот какое дело, на теле была всего одна рана, но зато прямо в груди, так что сухие бамбуковые листья вокруг были точно пропитаны киноварью. Нет, кровь больше не шла. Рана, видно, уже запеклась. Да вот еще что: на ране, ничуть не испугавшись моих шагов, сидел присосавшийся овод.

Не видно ли было меча или чего-нибудь в этом роде? Нет, там ничего не было. Только у ствола криптомерии, возле которой лежал труп, валялась веревка. И еще... да, да, кроме веревки, там был еще гребень. Вот и все, что было возле тела, — только эти две вещи. А трава и опавшая листва кругом были сильно истоптаны — видно, убитый не дешево отдал свою жизнь. Что, не было ли лошади? Да туда никакая лошадь не проберется. Конная дорога — она подалее, за рощей.

ЧТО СКАЗАЛ НА ДОПРОСЕ СУДЕЙСКОГО ЧИНОВНИКА СТРАНСТВУЮЩИЙ МОНАХ

С убитым я встретился вчера. Вчера... кажется, в полдень. Где? На дороге от Сэкиямы в Ямасину. Он вместе с женщиной, сидевшей на лошади, направлялся в Сэкияму. На жен-

щине была широкополая шляпа с покрывалом, так что лица ее я не видел. Видно было только шелковое платье с узором цветов хаги. Лошадь была рыжеватая, с подстриженной гривой. Рост? Что-то около четырех сун, выше обычного... Я ведь монах, в таких вещах худо разбираюсь. У мужчины... да, у него были и меч за поясом, и лук со стрелами за спиной. И сейчас хорошо помню, как у него из черного лакированного колчана торчало штук двадцать стрел.

Мне и во сне не снилось, что он так кончит. Поистине, человеческая жизнь исчезает вмиг, что росинка, что молния. Ох, ох, словами не сказать, как все это прискорбно.

ЧТО СКАЗАЛ НА ДОПРОСЕ СУДЕЙСКОГО ЧИНОВНИКА СТРАЖНИК

Человек, которого я поймал? Это — знаменитый разбойник Тадзёмару. Когда я его схватил, он, упав с лошади, лежал, стелая, на каменном мосту, что у Авадагути. Когда? Прошлым вечером, в часы первой стражи. Прошлый раз, когда я его чуть не поймал, на нем был тот же самый синий суйкан и меч за поясом. А на этот раз у него, как видите, оказались еще лук и стрелы. Вот как? Это те самые, что были у убитого? Ну, в таком случае убийство, без сомнения, совершил Тадзёмару. Лук, обтянутый кожей, черный лакированный колчан, семнадцать стрел с ястребиными перьями — все это, значит, принадлежало убитому. Да, лошадь, как вы изволили сказать, была рыжеватая, с подстриженной гривой. Видно, такая ему вышла судьба, что она сбросила его с себя. Лошадь щипала траву у дороги неподалеку от моста, а за ней волочились длинные поводья.

Этот самый Тадзёмару, не в пример прочим разбойникам, что шатаются по столице, падок до женщин. Помните, в прошлом году на горе за храмом Акиторибэ, посвященном Биндзуру, убили женщину с девочкой, по-видимому паломников? Так вот, говорили, что это дело его рук. Вот и женщина, что ехала на рыжеватой лошади, — если он убил мужчину, то куда девалась она, что с ней случилось? Неизвестно. Извините, что вмешиваюсь, но надо бы это расследовать.

ЧТО СКАЗАЛА НА ДОПРОСЕ СУДЕЙСКОГО ЧИНОВНИКА СТАРУХА

Да, это труп того самого человека, за которого вышла замуж моя дочь. Только он не из столицы. Он самурай из Кокуфу и Вакасы. Зовут его Канадзава Такэхиро, лет ему двадцать шесть. Нет, он не мог навлечь на себя ничьей злобы — у него был очень мягкий характер.

Моя дочь? Ее зовут Масаго, ей девятнадцать лет. Она нравом смелая, не хуже мужчины. У нее никогда не было возлюбленного до Такэхиро. Она смутлая, возле уголка левого глаза у нее родинка, лицо маленькое и продолговатое.

Вчера Такэхиро с моей дочерью отправился в Вакасу. За какие грехи свалилось на нас такое несчастье! Что с моей дочерью? С судьбой зятя я примирилась, но тревога за дочь не дает мне покоя. Я, старуха, молю вас во имя всего святого — общите все леса и луга, только найдите мою дочь! Какой злодей этот разбойник Тадзёмару, или как его там! Не только зятя, но и мою дочь... *(Плачет, не в силах сказать ни слова.)*

ПРИЗНАНИЕ ТАДЗЁМАРУ

Того человека убил я. Но женщину я не убивал. Куда она делась? Этого и я тоже не знаю. Постойте! Сколько бы вы меня ни пытали, я ведь все равно не смогу сказать то, чего не знаю. К тому же, раз уж так вышло, я не буду трусить и не буду ничего скрывать.

Я встретил этого мужчину и его жену вчера, немного позже полудня. От порыва ветра шелковое покрывало как раз распахнулось, и на миг мелькнуло ее лицо. На миг — мелькнуло и сразу же снова скрылось, и, может быть, отчасти поэтому ее лицо показалось мне ликом бодисатвы. И я тут же решил, что завладею женщиной, хотя бы пришлось убить мужчину.

Вам кажется это страшно? Пустяки, убить мужчину — обыкновенная вещь! Когда хотят завладеть женщиной, мужчину всегда убивают. Только я убиваю мечом, что у меня за поясом, а вот вы все не прибегаете к мечу, вы убиваете вла-

стью, деньгами, а иногда просто льстивыми словами. Правда, крови при этом не проливается, мужчина остается целехонек — и все-таки вы его убили. И если подумать, чья вина тяжелей — ваша или моя, — кто знает?! (*Ироническая усмешка.*)

Но это не значит, что я недоволен, если удастся завладеть женщиной, не убивая мужчины. А на этот раз я прямо решил завладеть женщиной без убийства. Только на проезжей дороге такой штуки не проделать. Поэтому я придумал, как заманить их обоих в глубь рощи.

Это оказалось нетрудно. Пристав к ним как попутчик, я стал рассказывать, что напротив на горе есть курган, что я раскопал, нашел там много зеркал и мечей и зарыл все это в роще у горы, чтобы никто не видел, и что, если найдется желающий, я дешево продам любую вещь. Мужчина понемногу стал поддаваться на мои слова. И вот — что бы вы думали! Страшная вещь алчность! Не прошло и получаса, как они повернули свою лошадь и вместе со мной направились по тропинке к горе.

Когда мы подошли к роще, я сказал, что вещи зарыты в самой чаще, и предложил им пойти посмотреть. Мужчину снедала жадность, и он, конечно, не стал возражать. Но женщина сказала, что она не сойдет с лошади и останется ждать. Это с ее стороны было вполне разумно, так как она видела, что роща очень густая. Все шло как по маслу, и я повел мужчину в чащу, оставив женщину одну.

На окраине заросли рос только бамбук. Но когда мы прошли около полтё, стали попадаться и криптомерии. Для того, что я задумал, трудно было найти более удобное место. Раздвигая ветви, я рассказывал правдоподобную историю, будто сокровища зарыты под криптомерией. Слушая меня, мужчина торопливо шел вперед, туда, где виднелись тонкие стволы этих деревьев. Бамбук попадался все реже, уже вокруг стояли криптомерии — и тут я внезапно набросился на него и повалил его на землю. И он сразу же оказался привязанным к стволу дерева. Веревка? Какой же разбойник бывает без веревки? Веревка была у меня за поясом — ведь она всегда могла мне понадобиться, чтобы перебраться через

изгородь. Разумеется, чтоб он не мог кричать, я забил ему рот опавшими бамбуковыми листьями, и больше с ним воиться было нечего.

Покончив с мужчиной, я вернулся к женщине и сказал ей, что ее спутник внезапно занемог и что ей надо пойти посмотреть, что с ним. Незачем и говорить, что и на этот раз я добился своего. Она сняла свою широкополую шляпу и, не отнимая у меня руки, пошла в глубь рощи. Но когда мы пришли к тому месту, где к дереву был привязан ее муж, едва она его увидела, как сунула руку за пазуху и выхватила кинжал. Никогда еще не приходилось мне видеть такой необузданной, смелой женщины. Не будь я тогда настороже, наверняка получил бы удар в живот. От этого-то я увернулся, но она ожесточенно наносила удары куда попало. Но ведь недаром я Тадзёмару — мне в конце концов удалось, не вынимая меча, выбить кинжал у нее из рук. А без оружия самая храбрая женщина ничего не может поделаться. И вот я наконец, как и хотел, смог овладеть женщиной, не лишая жизни мужчину.

Да, не лишая жизни мужчину. Я и после этого не собирался его убивать. Но когда я хотел скрыться из рощи, оставив лежащую в слезах женщину, она вдруг как безумная вцепилась мне в рукав и, задыхаясь, крикнула: «Или вы умрете, или мой муж... кто-нибудь из вас двоих должен умереть... Быть опозоренной на глазах двоих мужчин хуже смерти... Один из вас должен умереть... а я пойду к тому, кто останется в живых». И вот тогда мне захотелось убить мужчину. (*Мрачное возбуждение.*)

Теперь, когда я вам это сказал, наверно, кажется, что я жестокий человек. Это вам так кажется, потому что вы не видели лица этой женщины. Потому что вы не видели ее горящих глаз. Когда я встретился с ней взглядом, меня охватило желание сделать ее своей женой, хотя бы гром поразил меня на месте. Сделать ее своей женой — только эта мысль и была у меня в голове. Нет, это не была грубая похоть, как вы думаете. Если бы мною владела только похоть, я отшвырнул бы женщину пинком ноги и ушел. Тогда и мужчине не пришлось бы обогреть мой меч своею кровью. Но в то мгнове-

ние, когда я в сумраке чаши взгляделся в лицо женщины, я решил, что не уйду оттуда, пока его не убью.

Однако хотя я и решил его убить, но не хотел убивать его подло. Я развязал его и сказал: будем биться на мечях. Веревка, что нашли у корней дерева, это и была та самая, которую я тогда бросил. Мужчина с искаженным лицом выхватил тяжелый меч и сразу же, не вымолвив ни слова, яростно бросился на меня. Чем кончился этот бой, незачем и говорить. На двадцать третьем взмахе мой меч пронзил его грудь. На двадцать третьем взмахе — прошу вас, не забудьте этого! Я до сих пор поражаюсь: во всем мире он один двадцать раз скрестил свой меч с моим. *(Веселая улыбка.)*

Как только он упал, я с окровавленным мечом в руках обернулся к женщине. Но — представьте себе, ее нигде не было! Я стал искать среди деревьев. Но на опавших бамбуковых листьях не осталось никаких следов. А когда я прислушался, то услышал только предсмертное хрипенье в горле у мужчины.

Может быть, когда мы начали биться, женщина ускользнула из рощи, чтобы позвать на помощь? Как только эта мысль пришла мне в голову, я понял, что дело идет о моей жизни. Я взял у убитого меч, лук и стрелы и сейчас же выбрался на прежнюю тропинку. Там все так же мирно щипала траву лошадь женщины. Говорить о том, что было после, — значит напрасно тратить слова. Только вот что: перед въездом в столицу у меня уже не было того меча. Вот и все мое признание. Подвергните меня самой жестокой казни — я ведь всегда знал, что когда-нибудь моей голове придется торчать на вершухке столба. *(Вызывающий вид.)*

ЧТО РАССКАЗАЛА ЖЕНЩИНА НА ИСПОВЕДИ В ХРАМЕ КИЁМИДЗУ

Овладев мною, этот мужчина в синем обернулся к моему связанному мужу и насмешливо захохотал. Как тяжело, наврное, было мужу! Но как он ни извивался, опутывавшая его веревка только глубже врезалась в тело. Я невольно вся подалась к нему — нет, я только хотела податься. Но тот мужчи-

на мгновенно пинком ноги швырнул меня на землю. И вот тогда это и случилось. В этот миг я увидела в глазах мужа какой-то неопиcуемый блеск. Неопиcуемый... даже теперь, вспоминая его глаза, я не могу подавить в себе дрожь. Не в силах выговорить ни единого слова, муж в это мгновение излил всю свою душу во взгляде. Но его глаза выражали не гнев, не страдание — в них сверкало холодное презрение ко мне, вот что они выражали! Не от пинка того мужчины, а от ужаса перед этим взглядом я, не помня себя, вскрикнула и лишилась чувств.

Когда я пришла в себя, того мужчины в синем уже не было. И только к стволу криптомерии по-прежнему был привязан мой муж. С трудом поднимаясь с опавших бамбуковых листьев, я пристально смотрела ему в глаза. Но взгляд его нисколько не изменился. Его глаза по-прежнему выражали холодное презрение и затаенную ненависть. Не знаю, как сказать, что я тогда почувствовала... и стыд, и печаль, и гнев... Шатаясь, я поднялась и подошла к мужу.

«Слушайте! После того, что случилось, я не могу больше оставаться с вами. Я решила умереть. Но... но умрете и вы. Вы видели мой позор. После этого я не могу оставить вас в живых». Вот что я ему сказала, как ни было это трудно. И все-таки муж по-прежнему смотрел на меня с отвращением. Сдерживая волнение, от которого грудь моя готова была разорваться, я стала искать его меч. Но, вероятно, все похитил разбойник — не только меча, но даже и лука и стрел нигде в чаще не было видно. Только кинжал, к счастью, валялся у моих ног. Я занесла кинжал и еще раз сказала мужу: «Теперь я лишу вас жизни. И сейчас же последую за вами».

Когда муж услышал эти слова, он с усилием пошевелил губами. Разумеется, голоса не было слышно, так как рот у него был забит бамбуковыми листьями. Но когда я посмотрела на его губы, то сразу же поняла, что он сказал. Все с тем же презрением ко мне муж проговорил одно слово: «Убивай». Почти в беспамятстве я глубоко вонзила кинжал в его грудь под бледно-голубым суйканом.

Кажется, тут я опять потеряла сознание. Когда, очнувшись, я оглянулась кругом, муж, по-прежнему связанный,

уже не дышал. Сквозь густые ветви криптомерии, сплетенные со стволами бамбука, на его бледное лицо упал луч заходящего солнца. Подавляя рыдания, я развязала веревку на трупе. И потом... что стало со мной потом? Об этом у меня нет сил говорить. Что я ни делала, я не могла найти в себе силы умереть. Я подносила кинжал к горлу, я пыталась утопиться в озере у подножия горы, я пробовала... Но вот не умерла, осталась живой, и этим мне не приходится гордиться. (*Грустная улыбка.*) Может быть, милосердная, сострадательная богиня Каннон отвернулась от такого никчемного существа, как я. Но что же мне делать, мне, убившей своего мужа, обесчещенной разбойником, что мне делать? Что мне... мне... (*Внезапные отчаянные рыдания.*)

ЧТО СКАЗАЛ УСТАМИ ПРОРИЦАТЕЛЬНИЦЫ
ДУХ УБИТОГО

Овладев женой, разбойник уселся рядом с ней на землю и принялся ее всячески утешать. Рот у меня, разумеется, был заткнут. Сам я был привязан к стволу дерева. Но я все время делал жене знаки глазами: «Не верь ему! Все, что он говорит, — ложь». Вот что я хотел дать ей понять. Но жена, опечаленно сидя на опавших листьях, не поднимала глаз от своих колен. Право, можно было подумать, что она внимательно слушает слова разбойника. Я извивался от ревности. А разбойник искусно вел речь, добиваясь своей цели. Утратив чистоту, жить с мужем будет трудно. Чем оставаться с мужем, не лучше ли ей пойти в жены к нему, разбойнику? Ведь он решил на бесчинство именно потому, что она ему полюбила... Вот до чего он дерзко договорился.

Слушая разбойника, жена наконец задумчиво подняла лицо. Никогда еще я не видел ее такой красивой! Но что же ответила моя красавица жене разбойнику, когда я был, связанный, рядом с ней? Теперь я блуждаю в небытии, но каждый раз, как я вспоминаю этот ее ответ, меня жжет негодование. Вот что сказала жена: «Ну, так ведите меня, куда хотите». (*Долгое молчание.*)

Но ее вина не только в этом. Из-за этого одного я, наверно, не мучился бы так, блуждая во мраке. Вот что произош-

ло: жена, как во сне, последовала за разбойником, державшим ее за руку, и уже готова была выйти из рощи, как вдруг, смертельно побледнев, указала на меня, привязанного к дереву. «Убейте его! Я не могу быть с вами, пока он жив!..» — выкрикнула она несколько раз, как безумная. «Убейте его!» — эти слова и теперь, как ураган, уносят меня в бездну мрака. Разве хоть когда-нибудь такие мерзкие слова исходили из человеческих уст? Разве хоть когда-нибудь такие гнусные слова касались человеческого слуха? Разве хоть когда-нибудь... (*Внезапный взрыв язвительного хохота.*) Услышав эти слова, даже разбойник побледнел. «Убейте его!» — кричала жена, цепляясь за его рукав. Пристально взглянув на нее, разбойник не ответил ни «да», ни «нет» и вдруг пинком швырнул ее на опавшие листья. (*Снова взрыв язвительного хохота.*) Скрестив на груди руки, он обернулся ко мне. «Что сделать с этой женщиной? Убить или помиловать? Для ответа кивните головой». Убить? За одни эти слова я готов все ему простить. (*Снова долгое молчание.*)

Пока я колебался, жена вдруг вскрикнула и бросилась бежать в глубь чащи. Разбойник в тот же миг кинулся за ней, но, видимо, не успел схватить ее даже за рукав. Мне казалось, что я все это вижу в бреду.

Когда жена убежала, разбойник взял мой меч, лук и стрелы и в одном месте разрезал на мне веревку. Помню, как он пробормотал, скрываясь из рощи: «Теперь надо подумать и о себе».

Когда он ушел, всюду кругом стало тихо. Нет, не всюду — рядом еще слышались чьи-то рыдания. Снимая с себя веревку, я внимательно прислушался. И что же? Я понял, что это рыдаю я сам. (*Третий раз долгое молчание.*)

Наконец я с трудом отделил свое измученное тело от ствола. Передо мной блестел кинжал, оброненный женой. Я поднял его и одним взмахом вонзил себе в грудь. Я почувствовал, как к горлу подкатил какой-то кровавый клубок, но ничего мучительного в этом не было. Когда грудь у меня похолодела, кругом стало еще тише. О, какая это была тишина! В этой горной роще не щебетала ни одна птица. Только на стволах криптомерий и бамбука горели печальные лучи закатного солнца. Закатного солнца... Но и они понемногу

меркли. Уже не видно стало ни деревьев, ни бамбука. И меня, распростертого на земле, окутала глубокая тишина.

И вот тогда кто-то тихонько подкрался ко мне. Я хотел посмотреть, кто это. Но все кругом застлал сумрак. И кто-то... этот кто-то невидимой рукой тихо вынул кинжал у меня из груди. В тот же миг рот у меня опять наполнился хлынувшей кровью. И после этого я навеки погрузился во тьму небытия.

Январь 1922 г.

1. Отряд «Белые нашивки»

Дело было на рассвете двадцать шестого декабря тридцать седьмого года Мэйдзи. Отряд «Белые нашивки» N-ского полка N-ской дивизии выступил с северного склона высоты 93 для штурма дополнительного форта на горе Суншущань.

Так как дорога тянулась под прикрытием горы, отряд в этот день шел в особом порядке, колонной по четыре. Безусловно, когда ряды солдат с винтовками стали двигаться вперед по полутемной голой дороге и только белели в сумраке нашивки да раздавался тихий стук шагов, — это была трагическая картина. И действительно, заняв свое место во главе колонны, командир, капитан М., с этой минуты сделался необычно молчаливым, и лицо его приняло задумчивое выражение. Но солдаты, сверх ожидания, не потеряли своей обычной бодрости. Этому способствовали, во-первых, сила японского духа — «яматодамасий» и, во-вторых, сила водки.

Через некоторое время отряд вышел в каменистую речную долину, где с гор дул сильный ветер.

— Эй, погляди-ка назад! — обратился рядовой первого разряда Тагути, бывший торговец бумагой, к рядовому первого разряда Хорио той же роты, бывшему плотнику. — Смотри, все отдают нам честь!

Рядовой Хорио оглянулся. В самом деле, на гребне высившегося за ними черного холма, на фоне заалевшего неба, офицеры во главе с командиром полка на прощание козыряли бойцам, идущим на смерть.

— Ну что? Здорово? Попасть в отряд «Белые нашивки» — большая честь!

— Какая там честь! — с горечью сказал рядовой Хорио, поправляя на плече винтовку. — Все мы идем на смерть. Вот

они и говорят, что за знак чести купим и уьем. Дешево это стоит!

— Так нельзя. Так говорить — нехорошо перед императором.

— Ну тебя к черту! Хорошо, нехорошо — чего там! За козырянье тебе в солдатской лавочке водки небось не дадут.

Рядовой Тагути промолчал; он привык к повадкам приятеля, которому стоило подвыпить, чтобы сразу же начать свои циничные шуточки. Но рядовой Хорио упрямо продолжал:

— Нет, за козырянье ничего не купишь. Вот они и напевают на все лады, дескать, ради государства, ради императора. Только все это враки. Что, брат, разве не верно?

Тот, к кому обратился рядовой Хорио, был тихий ефрейтор Эги из той же роты, бывший учитель начальной школы. Однако на этот раз тихий ефрейтор почему-то сразу вспыл и, казалось, готов был полезть в драку. Он злобно бросил прямо в лицо подвыпившему Хорио:

— Дурак! Идти на смерть — наш долг!

В это время отряд «Белые нашивки» уже подымался по противоположному склону речной долины. Там безмолвно встречали зарю шесть-семь фанз, обмазанных засохшей грязью, а над их крышами громоздилась холодная темно-бурая гора Суншущань с будто выписанными на ней зеленоватыми складками. Пройдя деревню, колонна рассыпалась. Солдаты в полном снаряжении стали карабкаться по тропинкам и ползком медленно приближались к позициям противника.

Разумеется, вместе с другими ползком продвигался вперед и ефрейтор Эги. «За козырянье тебе в солдатской лавочке водки небось не дадут» — эти слова рядового Хорио не шли у него из головы. Однако, по натуре неразговорчивый, он держал свои мысли при себе. Но с тем большей силой эти слова раздражали его и в то же время вызывали боль, точно бередили старую рану. Продвигаясь ползком, как зверь, по подмерзшей тропинке, он думал о войне, думал о смерти. Однако в этих мыслях не было ни луча света. Даже если смерть ради императора... все равно она проклятое чудовище. Война... он почти не считал войну преступлением. Преступление, поскольку источник его, в отличие от вой-

ны, в страстях отдельных личностей, в известной мере можно понять. Но война — служба императору, и больше ничего. А он — да не только он, две с лишним тысячи человек из разных дивизий, сведенные в отряд «Белые нашивки», волея-неволей должны умереть на этой великой службе.

— Пришли! Пришли! Ты из какого полка?

Ефрейтор Эги огляделся по сторонам. Отряд добрался до сборного пункта у подножия Суншущань. Здесь уже толпились солдаты из разных дивизий в мундирах цвета хаки, украшенных старомодными нашивками.

Его окликнул один из них — тот, что сидел на камне под бледным солнцем и выдавливал угорь на щеке.

— N-ского полка.

— Тепленькое местечко!

Ефрейтор Эги не ответил на шутку, лицо его было мрачно.

Несколько часов спустя над позициями пехоты со страшным ревом пронеслись снаряды — и свои, и вражеские. На склоне горы Суншущань, высившейся прямо перед глазами, наша морская артиллерия из Ляцзятунь тоже взрывала тучи желтой пыли. Каждый раз, когда вздымалась такая туча пыли, в воздухе сверкала лиловая вспышка, и при дневном свете это было особенно страшно. Однако, выжидая удобный момент, двухтысячный отряд «Белые нашивки» не терял обычной бодрости. В самом деле, чтобы не быть раздавленными страхом, им только и оставалось держаться как можно веселей.

— Чертовски палят!

Рядовой Хорио взглянул на небо. В эту секунду протяжный вой вновь разодрал воздух прямо над его головой. Хорио невольно втянул голову в плечи и обратился к рядовому Тагути, который прикрыл нос платком, чтобы защититься от тучи пыли и песку:

— Это крупнокалиберный.

Рядовой Тагути изобразил улыбку. И тихонько, чтобы не заметил Хорио, спрятал платок в карман. Это был вышитый по краям платочек, подаренный ему приятельницей-гейшей, когда он уезжал на фронт.

— У него другой звук, у крупнокалиберного, — сказал Тагу-

ти и вдруг растерянно выпрямился. В то же время и другие солдаты один за другим, как будто по неслышной команде, стали вытягиваться в струнку: в сопровождении нескольких штаб-офицеров к ним величественно подходил командующий армией генерал Н.

— Тише! Тише!

Окидывая взглядом позиции, генерал заговорил хорошо поставленным голосом:

— Здесь тесно, можете не выстраиваться. Из какого вы полка, отряд «Белые нашивки»?

Рядовой Тагути почувствовал, что взгляд генерала устремлен прямо на его лицо. Этого было достаточно, чтобы он смутился, словно девушка.

— N-ский пехотный полк.

— Вот как? Ну, действуй смело! — Генерал пожал ему руку. Потом перевел взгляд на рядового Хорио и опять, протягивая правую руку, повторил то же самое: — И ты действуй смело!

Когда генерал обратился к нему, рядовой Хорио вытянулся и замер, как будто все мускулы у него окаменели. Широкие плечи, большие руки, обветренное лицо с выступающими скулами — все эти его черты, по крайней мере в глазах старого генерала, складывались в облик образцового воина империи. Остановившись перед ним, генерал с жаром продолжал:

— Вон там форт, и из этого форта сейчас стреляют. Сегодня ночью вы его возьмете. А резервы за вами вслед прибегут к рукам все остальные форты в окрестности. Значит, вы должны быть готовы броситься на этот форт... — В голосе генерала зазвучал несколько театральный пафос. — Поняли? Конечно, по пути ни в коем случае не останавливаться, не стрелять. Налететь стремглав, как будто ваши тела — снаряды. Прошу вас, действуйте решительно!

Генерал пожал руку рядовому Хорио, как будто в этом пожатии хотел передать всю значимость слова «решительно». И пошел дальше.

— Веселого мало...

Проводив взглядом генерала, рядовой Хорио хитро подмигнул рядовому Тагути:

— Такой дед руку пожал!

Рядовой Тагути криво усмехнулся. При виде этой улыбки у рядового Хорио почему-то появилось ощущение какой-то неловкости. И в то же время эта кривая улыбка показалась ему отвратительной. Тут в разговор вмешался ефрейтор Эги:

— Ну как, за рукопожатие купить удалось?

На этот раз криво усмехнулся рядовой Хорио.

— Нехорошо, нехорошо. Нечего передразнивать.

— Как подумаешь, что тебя купили, зло берет! Я и сам готов отдать свою жизнь.

В ответ на слова ефрейтора Эги заговорил Тагути:

— Да, все мы готовы отдать жизнь за родину.

— За что, не знаю, знаю только, что готов отдать. Подумай, если на тебя направит револьвер разбойник, все готов отдать.

Брови ефрейтора Эги угрюмо сдвинулись.

— Именно так я и думаю. Если разбойники отберут у тебя деньги, вряд ли они скажут, что и жизни лишат. А для нас одна дорога — смерть... Но если все равно умирать, так не лучше ли умереть достойно?

Пока Тагути говорил, в глазах еще не совсем протрезвевшего рядового Хорио появилось выражение презрения к своему добродушному товарищу. «Отдать жизнь — только и всего?» — размышлял он, задумчиво глядя в небо. И решил в отплату за рукопожатие генерала этой ночью стать, как и все, живым снарядом...

Вечером, после восьми часов, ефрейтор Эги, в которого попала ручная граната, уже лежал дочерна обугленный на склоне горы Суншущань. Пробравшись через колючую проволоку, к нему, что-то отрывисто выкрикивая, подбежал солдат из отряда «Белые нашивки». Увидев труп товарища, солдат поставил ему на грудь ногу и вдруг громко захохотал. Этот хохот в свирепом треске ружейного огня прозвучал жутко.

— Банзай! Да здравствует Япония! Черти сдаются! Противник разбит! Да здравствует N-ский полк! Банзай! Банзай!

Он кричал и кричал, потрясая винтовкой, и не обратил

внимания даже на взрыв ручной гранаты, расколовший мрак перед его глазами. При свете взрыва обнаружилось, что это рядовой Хорио, который в разгар атаки, раненный в голову, видимо, сошел с ума.

2. СПЕКТАКЛЬ В ЛАГЕРЕ

Четвертого мая тридцать восьмого года Мэйдзи в штабе армии, расположенном в Ацзинюбао, после утреннего богослужения в память павших воинов решено было устроить спектакль. Под зал заняли обычный в китайских деревнях деревенский театр под открытым небом, перед наскоро сколоченной сценой повесили занавес, тем дело и ограничилось. А на циновках задолго до назначенного часа уселись солдаты. Эти солдаты в грязноватых мундирах цвета хаки, со штыками, болтающимися у пояса, были жалкими зрителями, настолько жалкими, что даже называть их зрителями казалось насмешкой. Но оттого радостные улыбки, сиявшие на их лицах, казались еще трогательнее.

Офицеры штаба армии во главе с генералом, этапная инспекция и прикомандированные к армии иностранные офицеры сидели в ряд на стульях позади, на возвышении. Хотя бы из-за одних штабных погонов и адъютантских аксельбантов этот ряд выглядел куда более блестящим, чем солдатские ряды. Больше, чем сам командующий армией, способствовал бы этому блеску любой иностранный офицер, будь он хоть последним дураком.

Генерал и в этот день был в превосходном настроении. Беседуя с одним из адъютантов, он время от времени заглядывал в программу, и в глазах его все время, как солнечный свет, теплилась приветливая улыбка.

Наконец наступил назначенный час. За искусно раскрашенным занавесом, на котором были изображены цветущие вишни и восходящее солнце, несколько раз глухо ударили в колотушки. И сейчас же рука поручика-распорядителя отдернула занавес.

Сцена изображала комнату в японском доме. Сложенные в углу мешки с рисом давали понять, что это рисовая лавка.

В комнату вошел хозяин лавки в переднике, хлопнул в ладоши, крикнул: «Эй, О-Набэ! Эй, О-Набэ!» — и на зов явилась служанка, ростом выше, чем он сам, в прическе итэгаэси. Потом — потом сразу же началось действие пьесы, содержание которой не стоит и рассказывать.

Каждый раз, когда кто-нибудь из актеров отпускал грубую шутку, в рядах зрителей, сидевших на циновках, подымался хохот. Даже офицеры, сидевшие позади, и те почти все улыбались. Исполнители, видимо подзадориваемые хохотом, громоздили одну комическую выходку на другую. В конце концов хозяин в фундоси принялся бороться со служанкой, на которой была набедренная повязка.

Хохот усилился. Один капитан из этапной инспекции чуть не зааплодировал при виде этой сцены. И вот в эту самую минуту вдруг громкий гневный голос разнесся над заливавшимися хохотом людьми, как свист бича.

— Безобразие! Дать занавес! Занавес!

Голос принадлежал генералу. Положив руки в перчатках на толстую рукоятку сабли, он грозно смотрел на сцену.

Поручик-распорядитель, согласно приказу, поспешно задернул занавес перед носом ошеломленных актеров. Зрители на циновках замерли; не считая легкого шороха, все стихло.

Иностранным чинам и сидевшему рядом с ними подполковнику Ходзуми было жаль, что веселье прекратилось. Представление, конечно, не вызвало у подполковника даже улыбки. Однако он был человек с широкими взглядами и мог сочувствовать зрителям. И кроме того, пробыв несколько лет в Европе, он слишком хорошо знал иностранцев, чтобы задумываться над тем, можно ли показывать иностранным чинам голых борцов.

— Что случилось? — удивленно обратился к подполковнику Ходзуми французский офицер.

— Генерал приказал прекратить.

— Почему?

— Вульгарно... Генерал не любит вульгарности.

Тем временем на сцене снова раздался стук колотушек. Затихшие солдаты оживились, кое-где послышались аплодисменты. Подполковник Ходзуми облегченно вздохнул и

огляделся кругом. Офицеры, сидевшие рядом с ним, видимо, чувствовали себя неловко, некоторые то смотрели на сцену, то отворачивались, и только один, по-прежнему положив руки на шашку, не отрывал пристального взгляда от сцены, где уже поднимали занавес.

Следующая пьеса, в противоположность предыдущей, была старинная сентиментальная драма. На сцене, кроме ширм, стоял только зажженный фонарь. Молодая женщина с широкими скулами и горожанин с кривой шеей пили сакэ. Женщина время от времени пронзительным голосом обращалась к горожанину, называя его «молодой барин». Затем... подполковник Ходзуми, не глядя на сцену, погрузился в воспоминания. В театре «Рюсэйдза», облокотясь на барьер балкона, стоит мальчик лет двенадцати. На сцене свесившиеся ветви цветущей вишни. Декорация освещенного города. Посреди них, с плетеной шляпой в руке, красуется знаменитый Бандзаэмон в роли японского пирата. Мальчик, затаив дыхание, впиивается взглядом в сцену. И у него была такая пора...

— Дрянь спектакль! Когда ж дадут занавес! Занавес! Занавес!

Голос генерала, как взрыв бомбы, прервал воспоминания подполковника. Подполковник опять взглянул на сцену. По ней уже бежал растерявшийся поручик, на бегу задерживая занавес. Подполковник успел заметить, что на ширме висят пояса мужчины и женщины.

Губы подполковника невольно искривились горькой улыбкой. «Распорядитель чересчур несообразителен! Уж если генерал запретил борьбу между женщиной и мужчиной, так неужели он станет спокойно смотреть на любовную сцену?» С этой мыслью подполковник покосился туда, откуда слышался громкий негодующий голос: генерал все еще раздраженно говорил с устроителем.

В эту минуту подполковник вдруг услышал, как злой на язык американский офицер заметил сидевшему рядом французскому офицеру:

— Генералу Н. нелегко: он и командующий армией, он и цензор.

Третья пьеса началась минут через десять. На этот раз, даже когда застучали колотушки, солдаты уже не хлопали.

«Жаль! Даже спектакль смотрят под надзором!» Подполковник Ходзуми сочувственно глядел на толпу в хаки, не смеяшую даже разговаривать в полный голос.

В третьей пьесе на сцене на фоне черного занавеса стояли две-три ивы. Это были настоящие живые зеленые ивы, где-то недавно срубленные. Бородатый мужчина, видимо пристав, распекал молодого полицейского. Подполковник Ходзуми в недоумении взглянул на программу. Там значилось: «Разбойник с пистолетом, Симидзу Садакити, сцена поимки на берегу реки».

Когда пристав ушел, молодой полицейский воздел очи горе и прочел длинный жалобный монолог. В общем, смысл его слов, при всей их пространности, сводился к тому, что он долгое время преследовал «разбойника с пистолетом», но поймать не мог. Затем он как будто увидел его и, чтобы остаться незамеченным, решил спрятаться в реке, для чего заполз головой вперед за черный занавес. На самый снисходительный взгляд было больше похоже, что он залезает под москитную сетку, чем ныряет в воду.

Некоторое время сцена оставалась пустой, только раздавался стук барабана, видимо изображавший шум волн. Вдруг сбоку на сцену вышел слепой. Тыкая перед собой палкой, он хотел было идти дальше, как неожиданно из-за черного занавеса выскочил полицейский. «Разбойник с пистолетом, Симидзу Садакити, дело есть!» — крикнул он и подскочил к слепому. Тот мгновенно приготовился к драке. И широко раскрыл глаза.

«Глаза-то у него, к сожалению, слишком маленькие!» — по-детски улыбаясь, заметил про себя подполковник.

На сцене началась схватка. У разбойника с пистолетом, в соответствии с прозвищем, действительно имелся наготове пистолет. Два выстрела... три выстрела... Пистолет стрелял раз за разом подряд. Но полицейский в конце концов храбро связал мнимого слепого.

Солдаты, как и следовало ожидать, зашевелились. Однако из их рядов по-прежнему не послышалось ни слова.

Подполковник покосился на генерала. Генерал на этот раз внимательно смотрел на сцену. Но выражение его лица было куда мягче, чем раньше.

Тут на сцену выбежали начальник полиции и его подчиненные. Но полицейский, раненный пулей в борьбе с мнимым слепым, упал замертво. Начальник полиции сейчас же принялся приводить его в чувство, а тем временем подчиненные приготовились увести связанного разбойника с пистолетом. Потом между начальником полиции и полицейским началась трогательная сцена в духе старых трагедий. Начальник, словно какой-нибудь знаменитый правитель старых времен, спросил, не хочет ли раненый сказать что-нибудь перед смертью. Полицейский сказал, что на родине у него есть мать. Начальник полиции сказал, что о матери ему тревожиться нечего. Не осталось ли у него перед кончиной еще чего-нибудь на сердце? Полицейский ответил, что нет, сказать ему нечего, он поймал разбойника с пистолетом и ничего больше не желает.

В этот миг в затихшем зрительном зале в третий раз прозвучал голос генерала. Но теперь это было не ругательство, а глубоко взволнованное восклицание:

— Молодчина! Настоящий японский молодец!

Подполковник Ходзуми еще раз украдкой взглянул на генерала. На его загорелых щеках блестели следы слез. «Генерал — хороший человек!» — с легким презрением и в то же время доброжелательно подумал подполковник.

В это время занавес медленно закрылся под гром аплодисментов. Воспользовавшись этим, подполковник Ходзуми встал и вышел из зала.

Полчаса спустя подполковник, покуривая папиросу, гулял с одним из своих сослуживцев, майором Накамура, по пустырю на окраине деревни.

— Спектакль имел большой успех. Его превосходительство Н. очень доволен, — сказал майор Накамура, покручивая кончики своих «кайзеровских» усов.

— Спектакль? А, «Разбойник с пистолетом»?

— Не только «Разбойник с пистолетом». Его превосходительство вызвал распорядителя и приказал экстренно сыграть еще одну пьесу. Вернее, отрывок из пьесы об Акагаки Гэндзо. Как она называется, эта сцена? «Токурино вакарэ»?

Подполковник Ходзуми, улыбаясь глазами, смотрел на

широкие поля. Над уже зазеленевшей землей расстилась легкая дымка.

— Она тоже имела большой успех, — продолжал майор Накамура. — Говорят, его превосходительство поручил распорядителю спектакля сегодня в семь часов устроить что-нибудь вроде эстрадного вечера.

— Эстрадный вечер? С рассказчиком смешных историй, что ли?

— Нет, какое там! Будут рассказывать сказания. Кажется, «Как князь Мито ходил по стране».

Подполковник Ходзуми криво усмехнулся. Но собеседник, не обратив на это внимания, веселым тоном продолжал:

— Его превосходительство, говорят, любит князя Мито. Он сказал: «Я, как верноподданный, больше всего чту князя Мито и Като Киёмасу».

Подполковник Ходзуми, не отвечая, посмотрел вверх. В небе, между ветвями ив, плыли тонкие слюдяные облачка. Подполковник глубоко вздохнул.

— Весна, хоть и в Маньчжурии!

— А в Японии уже ходят в летнем.

Майор Накамура подумал о Токио. О жене, умеющей вкусно готовить. О детях, посещающих начальную школу. И... чуть-чуть затосковал.

— Вон цветут абрикосы!

Подполковник Ходзуми радостно показал на купы розовых цветов далеко за насыпью. «Écoute-moi, Madeleine»¹ — неожиданно пришли ему на память стихи Гюго.

3. ОТЕЦ И СЫН

Однажды поздно вечером в октябре седьмого года Тайсэ генерал-майор Накамура, в свое время штабной офицер майор Накамура, в своей обставленной по-европейски гостиной задумчиво сидел в кресле с дымящейся сигарой в зубах.

Двадцать с лишним лет праздности превратили его в много старичка. А в этот вечер, может быть благодаря япон-

¹ Послушай меня, Мадлен (франц.).

скому костюму, в его облысевшем лбу, в припухлых очертаниях рта чувствовалось что-то особенно добродушное. Откинувшись на спинку кресла, он медленно обвел взглядом комнату и вдруг вздохнул.

Стены были увешаны фотографиями, по-видимому репродукциями европейских картин. На одной из них была изображена грустная девушка, прильнувшая к окну. На другой — пейзаж: кипарисы, сквозь которые виднелось солнце. В электрическом свете фотографии придавали старомодной гостиной несколько холодный, чопорный вид, однако генерал-майору все это, кажется, не нравилось.

Некоторое время царила тишина, затем генерал-майор вдруг услышал легкий стук в дверь.

— Войдите!

В ответ на эти слова в гостиную вошел высокий юноша в студенческой форме. Остановившись перед генерал-майором, он протянул руку к стулу и грубовато спросил:

— Что-нибудь нужно, отец?

— Да. Садись!

Юноша послушно сел.

— В чем дело?

Генерал-майор вопросительно взглянул на золотые пуговицы сына.

— А сегодня?..

— Сегодня было собрание в память Каваи — отец, вероятно, не знает, это студент филологического факультета, как и я. Так вот, я только что оттуда вернулся.

Генерал-майор кивнул и выдохнул густой дым «гаваны». Затем он несколько торжественно приступил к сути разговора:

— Вот картины на стенах, это ты их переменял?

— Да, я не успел сказать, я переменял их сегодня утром. А разве плохо?

— Не то что плохо. Не плохо, но мне хотелось бы, чтобы ты оставил хоть фотографию его превосходительства Н.

— Рядом с этими?

Юноша невольно улыбнулся.

— А разве рядом с этими ее повесить нельзя?

— Не то что нельзя, но это будет смешно.

— Ведь здесь есть портреты! — Генерал-майор указал на стену над камином. Со стены из рамы на генерал-майора спокойно взирал пятидесятилетний Рембрандт.

— Это дело другое. Это нельзя повесить рядом с генералом Н.

— Вот как! Ну, значит, ничего не поделаешь.

Генерал-майор легко уступил сыну. Однако, опять выдохнув сигарный дым, тихо продолжал:

— Что ты... или, вернее, твои сверстники, что вы думаете о его превосходительстве?

— Да ничего не думаем. Вероятно, был замечательный солдат.

В старческих глазах отца юноша заметил легкое опьянение от вечерней рюмки сакэ.

— Конечно, замечательный солдат, а кроме того, он был поистине отечески добросердечный человек.

И генерал-майор начал сентиментально рассказывать случай из жизни генерала. Это было после Японо-русской войны, когда он навестил генерала в его вилле на равнине Насу. Когда он приехал туда, сторож сказал ему, что генерал с женой только что пошли гулять в горы. Генерал-майор знал дорогу и сейчас же отправился вслед за ними. Пройдя два-три тэ, он увидел генерала в простом кимоно; генерал стоял с женой. Генерал-майор немного постоял, поговорил со стариками. Генерал все никак не трогался с места. Когда генерал-майор спросил: «У вас тут какое-нибудь дело?» — генерал рассмеялся. «Видите ли, жена сказала, что ей хочется в уборную, так вот школьники, гулявшие с нами, побежали искать ей место, а мы их тут ждем...» В то время у дороги, помню, еще валялись каштаны... — Генерал-майор сощурил глаза и весело улыбнулся. Тут из пожелтевшего леса выбежали веселые школьники. Не обращая внимания на генерал-майора, они окружили генерала с женой и наперебой стали рассказывать о местах, которые они для нее нашли. Началось невинное соперничество — каждый хотел, чтобы она пошла с ним. «Ну, бросим жребий!» — сказал генерал и опять обратил к генерал-майору свое смеющееся лицо...

Юноша тоже не мог не засмеяться...

— Рассказ невинный. Но не для слуха европейцев!

— Вот какой тон был заведен! И поэтому стоило в разговоре с двенадцатилетним школьником сказать: «Его превосходительство Н.», как оказывалось, что мальчик относится к нему с любовью, как к родному дяде. Нет, его превосходительство вовсе не был просто солдат, как вы думаете.

Окончив приятный разговор, генерал-майор опять взглянул на Рембрандта над камином.

— Это тоже замечательный человек?

— Да, великий художник.

— А его превосходительство Н.?

Лицо юноши выразило замешательство.

— Мне трудно выразить... Этот человек мне ближе по духу, чем генерал Н.

— А его превосходительство для вас далек?

— Как бы это сказать? Например, такая вещь. Вот Каваи, в память которого было сегодняшнее собрание. Он тоже покончил с собой. Но перед самоубийством... — юноша серьезно посмотрел на отца, — ему было не до того, чтобы сниматься.

На этот раз замешательство мелькнуло в добродушных глазах генерал-майора.

— А не лучше ли было бы сняться? На память о себе?

— На память кому?

— Не кому-нибудь, а... Да разве хотя бы нам не хочется иметь возможность видеть лицо его превосходительства Н. в его последние минуты?

— Мне кажется, что об этом, по крайней мере, сам генерал Н. не должен был бы думать. С какими чувствами генерал совершил самоубийство, это я, кажется, до известной степени могу понять. Но что он снялся — этого я не понимаю. Вряд ли для того, чтобы после его смерти фотографии украшали витрины...

Генерал-майор гневно перебил юношу:

— Это возмутительно! Его превосходительство не обыватель. Он до глубины души искренний человек.

Но и лицо, и голос юноши были по-прежнему спокойны.

— Разумеется, он не обыватель. Я могу представить и то, что он искренен. Но только такая искренность нам не впол-

не понятна. И я не могу поверить, чтобы она была понятна людям, которые будут жить после нас.

Между отцом и сыном на некоторое время водворилось тягостное молчание.

— Времена другие! — проговорил наконец генерал.

— Да-а... — только и сказал юноша. Глаза его приняли такое выражение, словно он прислушивается к тому, что делается за окном.

— Дождь идет, отец.

— Дождь?

Генерал-майор вытянул ноги и с радостью переменял тему.

— Как бы айва опять не осыпалась!

Январь 1922 г.

УСМЕШКА БОГОВ

В весенний вечер padre Organtino в одиночестве, волоча длинные полы сутаны, прогуливался в саду храма Намбандзи.

В саду между соснами и кипарисовиками были посажены розы, оливы, лавр и другие европейские растения. От распускающихся роз в слабом лунном свете, струившемся между деревьями, растекался сладковатый аромат. Это придавало тишине сада какое-то совсем не японское странное очарование.

Одинок прохаживаясь по дорожкам, усыпанным красным песком, Органтино углубился в воспоминания. Главный храм в Риме, гавань Лиссабона, звуки рабѣйки, вкус миндаля, псалом «Господь, зеркало нашей души» — такие воспоминания вызывали в душе этого рыжеватого монаха тоску по родине. Чтобы разогнать тоску, он стал призывать имя дэусу. Но тоска не проходила, мало того, чувство угнетенности становилось все тяжелее.

«В этой стране природа красива, — напоминал себе Органтино. — В этой стране природа красива. Климат здесь мягкий. Жители... но не лучше ли негры, чем эти широколицые коротышки? Однако и в их нраве есть что-то располагающее. Да и верующих в последнее время набралось десятки тысяч. Даже в этой столице теперь возвышается такой дивный храм. Выходит, что жить здесь пусть и не совсем приятно, но и не так уж неприятно? Однако я то и дело впадаю в уныние. Мне хочется вернуться в Лиссабон, мне хочется отсюда уехать. Только ли из-за тоски по родине? Нет, не только в Лиссабон, — если б я имел возможность покинуть эту страну, я поехал бы куда угодно: в Китай, в Сиам, в

Индию... Значит, не только тоска по родине причина моего уныния. Мне хочется одного — как можно скорее бежать отсюда... Но... но в этой стране природа красива. И климат мягкий...»

Органтино вздохнул. В это время его взгляд упал на видневшийся между деревьями мох. И он поднял белевший среди мха цветок сакуры. Сакура! Органтино почти с испугом всматривался в полутемные просветы между деревьями. Там между несколькими вееролистными пальмами как туман белели цветы плакучей сакуры.

— Храни нас Господи!

Органтино готов был защитить себя крестным знаменем. На мгновение цветущая в сумерках плакучая сакура показала его глазам жуткой. Жуткой... нет, скорее эта сакура встревожила его, как будто перед ним предстала сама Япония. Но он тут же понял, что в этом нет ничего странного, что это обыкновенная вишня, и, пристыженно усмехнувшись, усталой походкой тихонько побрел по тропинке.

* * *

Через полчаса он в главном приделе храма Намбандзи возносил молитвы дэусу. Там было пусто, только с купола свешивалось паникадило. При свете паникадила на стенной фреске святой Михаил и дьявол сражались из-за трупа Моисея. Но не только величавый архангел, а и расщепивший дьявол в этот вечер, может быть из-за тусклого света, казались красивее, чем обычно. А может быть, так казалось из-за струившегося аромата свежих роз и раkitника. Стоя за алтарем на коленях со склоненной головой, Органтино горячо молился:

«Милосердный, всемилостивый Боже! С тех пор как я покинул Лиссабон, вся моя жизнь посвящена тебе. С какими бы трудностями я ни встречался, я неуклонно шел вперед ради того, чтобы воссиял святой крест. Конечно, это удалось не только благодаря одним моим усилиям. Все совершается милостью всевышнего, твоей милостью. Но живя здесь, в Японии, я понемногу стал понимать, как тяжела моя миссия. В этой стране, и в горах ее, и в лесах, и в городах, где

рядами стоят дома, — везде сокрыта какая-то странная сила. И она исподволь противится моей миссии. Если бы не это, я не впадал бы в беспричинное уныние. А что это за сила, я не понимаю. Но как бы то ни было, эта сила, словно подземный источник, разливается по всей стране. Сокруши эту силу, о милосердный, всемилостивый Боже! Не знаю, может быть, японцы, погрязшие в ложной вере, никогда не узрят величия парайсо. Из-за этого я мукой мучаюсь столько дней. Ниспошли своему слуге Органтино мужество и терпение...»

В эту минуту Органтино слышалось, будто запел петух. Не обращая внимания, он продолжал молитву:

«Чтобы выполнить свою миссию, я должен бороться с силой, таящейся в горах и реках этой страны, может быть, с невидимыми людским глазам духами. Ты когда-то поверг на дно Красного моря полчища египтян. Сила духов этой страны не меньше силы египетских полчищ. Молю тебя, окажи и мне, как когда-то оказал древнему пророку, помощь в борьбе с этими...»

Вдруг слова молитвы на его устах замерли. У самого алтаря раздалось громкое пенье петуха. Органтино, недоумевая, огляделся вокруг. И что же — за его спиной на алтаре, свесив белый хвост и выпятив грудь, петух, словно настал расцвет, еще раз издал победный клич.

Органтино вскочил с колен и, поспешно распростерши рукава сутаны, старался прогнать птицу. Но, два-три раза топнув ногой и воскликнув «господи!», опять растерянно замер. Полутемный храм наполнили неведомо откуда взявшиеся бесчисленные петухи. Они то взлетали, то бегали туда-сюда, и везде, насколько хватал глаз, расстиралось море петушиных гребней.

— Храни нас Господи!

Он опять хотел перекреститься. Но его рука, точно сжатая щипцами, не двигалась. Тем временем придел, словно от факелов, озарился красноватым светом. По мере того как свет разгорался, Органтино, задыхаясь, стал различать смутно вырисовывавшиеся человеческие фигуры.

Фигуры быстро обретали четкие очертания. Это была толпа мужчин и женщин непривычного вида, с нанизанной

на нитку яшмой вокруг шеи; они смеялись и веселились. Когда фигуры стали видны вполне ясно, бесчисленные петухи, собравшиеся в приделе, запели еще громче. Вместе с тем стена придела — стена, где нарисована была фреска со святым Михаилом, — как туман растворилась в ночной темноте. И потом...

Японская вакханалия развернулась перед глазами обомлевшего Органтино, словно мираж. Он видел, как при свете костра японцы в старинных одеждах, усевшись в кружок, наливали друг другу чарки сакэ. В середине круга на большой опрокинутой бадье бешено плясала женщина, такая статная, какую он в Японии еще не встречал. Он видел, как за бадьей высоко держал на ветках, вероятно, вырванной с корнем эй-рии то ли драгоценный камень, то ли зеркало богатерского вида мужчины. Кругом, сталкиваясь друг с другом крыльями и гребнями, все время весело пели бесчисленные петухи. А еще дальше... Органтино не поверил собственным глазам — еще дальше, точно заслоня вход в грот, возвышалась могучая скала.

Женщина на бадье не переставая плясала. Охватывавшая ее волосы виноградная лоза развевалась в воздухе. Яшмовое ожерелье на шее звякало, будто сыпался град. Веткой низкорослого бамбука в руке она размахивала, поднимая ветер. А ее обнаженная грудь! Выделявшиеся в красном свете факелов ее сверкающие груди казались Органтино не чем иным, как воплощением самой чувственности. Молясь дэусу, он страстно хотел отвернуться. Но тело его, словно скованное какой-то проклятой силой, не могло пошевелиться.

Тем временем на призрачных людей вдруг снизошла тишина. Женщина на бадье, будто опомнившись, перестала плясать. Даже петухи мгновенно затихли с вытянутыми шеями. И в тишине откуда-то слышался прекрасный женский голос:

— Если я буду здесь, в заключении, разве мир не останется погруженным во мрак? А похоже, что боги именно этому радуются и оттого веселятся.

Когда голос затих в темноте, женщина, стоявшая на ба-

дье, окинув взглядом присутствующих, неожиданно мягко ответила:

— Они радуются, потому что появился новый бог, сильнее тебя.

«Этот новый бог — не дэусу ли это?» — Воодушевленный такой мыслью, Органтино с любопытством устремил взор на призрачное видение, которое так загадочно менялось.

Некоторое время царило молчание. Но вдруг петухи разом громко запели, а скала в глубине, выделявшаяся в ночном тумане, медленно раздвинулась. И из расщелины, заливая все вокруг, хлынул какой-то удивительный свет.

Органтино хотел крикнуть. Но язык не повиновался. Органтино хотел бежать. Но ноги не двигались. Он чувствовал, что от сильного света у него кружится голова. И слышал, как при этом свете в небе разносятся ликующие крики толпы:

— Охирумэмути! Охирумэмути! Охирумэмути!

— Нового бога нет! Нового бога нет!

— Кто тебе противится, тот погибнет!

— Смотрите, как исчезает тьма!

— Всюду, куда ни помотришь, — твои горы, твои леса, твои города, твои моря!

— Нет никаких новых богов! Все твои слуги.

— Охирумэмути! Охирумэмути! Охирумэмути!

При этих возгласах Органтино в холодном поту, что-то простонав, свалился на пол.

Этой же ночью, близко к третьей страже, Органтино пришел в себя. В его ушах как будто еще звучали возгласы богов. Но когда он оглянулся, в мертвенно-тихом приделе свисавшее с купола паникадило по-прежнему освещало смутно видневшуюся фреску. Органтино со стенами поднялся и отошел от алтаря. Что означало явившееся ему видение, он не мог понять. Но в том, что видение ему явил не дэусу, он был уверен.

— Бороться с духами этой страны...

На ходу он невольно тихонько говорил про себя:

— Бороться с духами этой страны труднее, чем я думал.

Сумею ли я одержать победу или потерплю поражение...

В этот миг до ушей его донесся шепот:

— Ты потерпишь поражение!

Органтино с опаской вперил взор туда, откуда донесся шепот. Но там по-прежнему, кроме роз и рацитника, ничего и никого не было видно.

* * *

На другой день вечером Органтино снова прогуливался в саду храма Намбандзи. В его голубых глазах светилась радость. Потому что в этот день в ряды верующих вступило несколько японских самураев.

Оливы и лавры тихо высились в темноте. Тишину нарушало только хлопанье крыльев возвращавшихся домой храмовых голубей. Благоухание роз, влажный песок — все было мирно, как в те древние сумерки, когда крылатые ангелы, «увидев красоту дочерей человеческих», спустились, чтобы взять себе жену.

«При свете креста грязным японским духам, видимо, не одержать победы. Однако вчерашнее видение? Что же, это всего только видение. Разве святого Антония дьявол не соблазнял такими видениями? В доказательство моей правоты сегодня появилось несколько новых верующих. Вскоре и в этой стране повсюду воздвигнутся господни храмы».

С такими мыслями Органтино шагал по дорожкам, посыпанным красным песком. И вдруг сзади кто-то тихонько ударил его по плечу. Органтино сразу оглянулся. Но увидел лишь, что по молодой листве слабо разливается лунный свет.

— Храни нас Господь!

Пробормотав так, Органтино медленно пошел дальше. И вдруг рядом с ним смутно, точно призрак, вырисовываясь в полутьме, зашагал откуда-то взявшийся старик с ниткой яшмы на шее.

— Кто ты такой?

Пораженный Органтино невольно остановился.

— Кто я — не все ли равно? Один из духов этой страны, улыбаясь, дружелюбно ответил старик. — Пройдемся вместе. Я хочу немного побеседовать с тобой.

Органтино перекрестился. Но старик не обнаружил при этом никакого страха.

— Я не злой дух. Посмотри на эту яшму, на этот меч. Будь он закален в адском огне, он не был бы таким светлым и чистым. Перестань произносить заклятия.

Органтино волей-неволей, скрестив руки, нехотя пошел рядом со стариком.

— Ты явился, чтобы распространять веру в небесного царя? — спокойно заговорил старик. — Может быть, это и не дурное дело. Но даже если дэусу придет в эту страну, в конце концов он будет побежден.

— Дэусу — всемогущий господь, дэусу... — начал было Органтино, но вдруг, опомнившись, перешел на более вежливый тон, каким обычно разговаривал с верующими этой страны. — Я думаю, над дэусу никто не может одержать победы.

— Но надо считаться с действительностью. Послушай. Издалека в нашу страну пришел не только дэусу. Из Китая сюда пришли Конфуций, Мэнцзы, Чжуанцзы, да и сколько еще других мудрецов. А ведь в то время наша страна только родилась. Мудрецы Китая, кроме учения дао, принесли шелка из страны У, яшму из страны Цинь и много других вещей. Они принесли нечто более благородное и чудесное, чем яшма, — иероглифы. Но разве благодаря этому Китай смог подчинить нас? Посмотри, например, на иероглифы. Ведь не иероглифы подчинили нас, а мы подчинили себе иероглифы. Среди издавна известных наших древних соотечественников был поэт Какиномото Хитомаро. Сочиненная им песня «Танабата» сохранилась в нашей стране до сих пор. Прочитай ее. Пастуха и простой ткачихи там не найдешь. Воспетые там возлюбленные — это звезды Волопас и Ткачиха. У их изголовья журчала Небесная река, как журчат реки нашей страны. Это не был шум волн Млечного Пути, похожего на реки Хуанхэ или Янцзы-цзян. Но я должен рассказать тебе не о песне, а об иероглифах. Чтобы записать эти песни, Хитомаро применил иероглифы. Не столько ради их смысла, сколько ради их звучания. Но когда был введен знак «лодка», «фунэ» всегда оставалось «фунэ». Не то наш язык мог бы стать китайским. Здесь действовал не столько Хито-

маро, сколько охранявшая его душу сила богов нашей страны. Мудрецы Китая привезли в нашу страну также искусство каллиграфического письма. Кукай, Косэй, Дофу, Сари — я постоянно навещал их тайно от людей. Образцом им обычно служила китайская каллиграфия. Однако их кисть всегда рождала новую красоту. Их знаки как-то незаметно стали знаками не Ван Сичжи и Чжу Суйяна, а японскими. Но мы одержали победу не только над иероглифами. Наше дыхание, как морской ветер, смягчило даже учение Конфуция и учение Лаоцзы — дао. Спроси жителей этой страны. Все они верят, что, если на судно погружены сочинения Мэн-цзы, легко вызывающие наш гнев, оно непременно потонет. А ведь бог ветра Синадо ни разу еще не совершал такой шалости. Но в этой вере смутно угадывается живущая в нашем народе сила. Не так ли?

Органтино тупо поглядел на старика. Ему, незнакомому с историей этой страны, при всем красноречии собеседника половина сказанного осталась непонятой.

— После мудрецов Китая к нам пришел из Индии царевич Сиддхарта. — Продолжая свой рассказ, старик сорвал с куста возле дорожки розу и с удовольствием вдохнул ее аромат. Но хотя роза была сорвана, она осталась на кусте. А цветок в руке у старика, по форме и цвету такой же, был призрачным, как туман.

— Будду постигла такая же судьба. Но рассказывать все подробности, пожалуй, значит только усилить твою скуку. Я лишь хочу, чтобы ты обратил внимание на учение о воплощении в нашей стране буддийских божеств. Это учение привело жителей нашей страны к убеждению, что богиня Охирумэмути то же самое, что будда Дайнити-нэрай. Значит ли это, что победила богиня Охирумэмути? Или что победил будда Дайнити-нэрай? Допустим, что в настоящее время среди жителей нашей страны Охирумэмути неизвестна, а будду Дайнити-нэрай многие знают. Все же не примет ли в их снах Дайнити-нэрай облик богини Охирумэмути, а не индийского будды? Я вместе с Синраном и Нитирэном гулял в тени цветов шорен. Будда, в которого они горячо верят, не какой-нибудь черноликий с нимбом. Это преисполненный величия брат таких, как наш принц Дэсэгу-тайси... Но долгий

рассказ обо всем этом я, как обещал, прекращаю. Хочу лишь сказать, что хотя такие, как дэусу, в нашу страну и приходят, но никто нас не победил.

— Нет, подожди, вот ты так говоришь... — перебил его Органтино, — а сегодня несколько самураев обратились в святую веру.

— Пусть обращаются сколько угодно. Если дело идет только об обращении, то большинство жителей нашей страны восприняло учение царевича Сиддхарты. Но наша сила не в том, чтобы разрушать. Она в том, чтобы переделывать.

Старик бросил розу. Отделившись от его руки, роза растаяла в вечернем полумраке.

— В самом деле ваша сила в том, чтобы переделывать? Но так не только у вас. В любой стране... например, даже злые духи, считающиеся богами Греции...

— Великий Пан умер. Но может быть, и Пан когда-нибудь воскреснет? Однако мы пока живы.

Органтино с удивлением покосился на старика.

— Ты знаешь Пана?

— О нем было написано в книгах с поперечными строчками, которые привезли с собой сыновья наших даймё с Кюсю, вернувшиеся из западных стран. Но сейчас разговор вот о чем: пусть сила переделывать есть не только у нас, все равно, нельзя быть беспечным. Даже больше, именно поэтому тебе надо быть настороже. Ведь мы — старые боги. Мы, как и греческие боги, видели рассвет мира.

— Но дэусу должен победить.

Органтино упорно повторял то же самое. Однако старик, как будто не слыша, продолжал:

— На днях я сошел с корабля на западном берегу нашей страны. И повстречался с путником, вернувшимся из Греции. Он не был богом, он был простым смертным. Сидя с ним на скале при лунном свете, я услышал от него разные рассказы. О том, как его схватил одноглазый бог, о богине, обращающей людей в свиней, о русалках с красивыми головами... Ты знаешь имя этого путника? С тех пор как он повстречался со мной, он превратился в аборигена нашей страны. Теперь он зовется Юри-вака. Поэтому будь настороже. Нельзя сказать, что дэусу непременно победит. Как бы

широко ни распространялась вера в небесного царя, нельзя сказать, что она непременно победит.

Старик постепенно перешел на шепот.

— Может статься, что дэусу сам превратится в аборигена нашей страны. Все идущее из Китая и Индии ведь стало нашим. И все идущее с Запада тоже им станет. Мы живем в деревьях. Мы живем в мелких речонках. Мы живем в ветерке, пролетающем над розами. В вечернем свете, упавшем на стену храма. Везде и всегда. Будь настороже. Будь настороже.

Его голос вдруг прервался, и старик, как тень, растаял в полумраке. И в тот же миг с колокольни над головой нахмурившегося Органтино разнесся звон вечернего колокола Ave Maria.

* * *

Сошедший с ширм падре Органтино из храма Намбандзи, — нет, не только Органтино. Рыжеволосые люди с орлиными носами, волочащие полы сутаны, из зарослей лавра и роз, залитых сумеречным светом, возвратились на прежнее место. На старинные, уже три века хранящиеся ширмы с картиной, изображающей вход в бухту корабля Южных Варваров.

Прощай, падре Органтино! Ты теперь, прохаживаясь с приятелем по берегу Японии, смотришь на корабль Южных Варваров, над которым в тумане из золотой пыли высоко вздымается флаг. Победил ли дэусу или богиня Охирумэмути, — может быть, пока решить нельзя. Но наша задача не в том, чтобы выносить решение. Спокойно смотри на нас с берега прошлого. Пусть ты вместе с капитаном, ведущим на поводке собаку, и негритенком, держащим над ним зонтик от солнца, погрузишься в пучину забвения, все же неизбежно настанет время, когда грохот каменных огненных стрел с черных кораблей, вновь появившихся на горизонте, нарушит твой сон. А до тех пор... прощай, падре Органтино! Прощай, патэрэн Уруган из храма Намбандзи!

Декабрь 1921 г.

ВАГОНЕТКА

Работы по проведению узкоколейки Одавара — Атами начались, когда Рёхэю было восемь лет. Рёхэй ежедневно ходил на окраину деревни глядеть на работы. Вернее, не на работы, а на то, как перевозят землю в вагонетках, вот на что он засматривался.

На вагонетку, груженную землёю, сзади становились двое землекопов. Поскольку вагонетка шла под уклон, она катилась сама, без помощи людской силы. Кузов раскачивался, как от ветра, полы курток землекопов развевались; тянулась, изгибаясь, узкая колея... Рёхэй глядел на все это, и ему хотелось стать землекопом. Или, по крайней мере, хоть раз прокатиться с рабочими на вагонетке. Скатившись на равнину за окраиной деревни, вагонетка останавливалась. В тот же миг землекопы ловко спрыгивали и вываливали землю из вагонеток на конечный пункт колеи. Потом, на этот раз уже подталкивая вагонетку, пускались в обратный путь вверх по склону. И тогда Рёхэй думал, что раз уж нельзя прокатиться на вагонетке, то хорошо бы ее хоть потолкать!

И вот однажды под вечер — была первая декада февраля — Рёхэй с братишкой, который был на два года моложе его, и соседским мальчиком, однолетком брата, пошел на окраину деревни к вагонеткам. Смеркалось, вагонетки, не очищенные от грязи, стояли в ряд. Куда ни глянь, никого из землекопов не было видно. Тогда дети с опаской подтолкнули крайнюю вагонетку. Под действием толчка колеса вагонетки пришли в движение... От их стука Рёхэй похолодел. Но когда стук повторился, он не испугался. Тук-тук, тук-тук... Под эти звуки подталкиваемая тремя парами рук вагонетка двинулась вверх по колее.

Между тем через десяток кэн колея круче пошла в гору. Сколько они ни толкали, вагонетка не поддавалась и не трогалась с места. Иногда же вместе с вагонеткой они сами откатывались назад. Рёхэй решил, что толкать больше не надо, и сделал знак младшим мальчикам.

— Ну, поехали!

Они все вместе отняли руки и мигом взобрались на вагонетку. Вагонетка сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее покатилась по колее. В эту минуту окружающий вид вдруг словно распахнулся и во всю ширь развернулся перед их глазами. Ветер, в сумерках бьющий в лицо, под ногами подрагиванье вагонетки — Рёхэй был просто на седьмом небе.

Но через две-три минуты вагонетка остановилась в тупике на прежнем месте.

— Ну, подтолкнем еще разок!

Мальчики опять принялись было толкать вагонетку. Но прежде чем завертели колеса, за спиной у них послышались чьи-то шаги. Мало того, едва мальчики услышали их, как вслед за шумом шагов раздался крик:

— Ах, мерзавцы! Кто вам позволил трогать вагонетку?

За ними стоял высокий землекоп в поношенной рабочей куртке и не по сезону легкой соломенной шляпе.

Мальчики оглянулись на него, только успев отбежать на пять-шесть кэн. И с той поры, даже когда Рёхэй, возвращаясь откуда-нибудь домой, видел, что на строительной площадке нет ни души, он все равно не решался прокатиться на вагонетке. Фигура того землекопа надолго ему запомнилась. Желтевшая в сумерках маленькая соломенная шляпа... Но даже это воспоминание с годами стало бледнеть.

Дней через десять после этого случая Рёхэй опять, на этот раз один, после полудня, стоял на строительной площадке и глядел на спускающиеся вагонетки. И вот рядом с вагонетками, груженными землей, по широкой колее, которая, вероятно, была главной, стала подниматься вагонетка, груженная шпалами. Эту вагонетку толкали двое молодых парней. Увидев их, Рёхэй решил, что у них добродушные лица.

«Эти-то меня не выругают», — подумал он и подбежал к вагонетке.

— Дяденьки! Давайте я помогу потолкать.

Один из них — тот, что был в полосатой рубашке, — не подымая склоненной головы и не отрывая рук от вагонетки, ответил, как мальчик и ожидал, ласково:

— Ну что ж, помоги.

Рёхэй встал между парнями и принялся толкать изо всей силы.

— А ты, видать, здорово силен! — похвалил Рёхэя другой парень, у которого за ухом была заткнута папироса.

Между тем уклон колеи становился все более отлогим. В глубине души Рёхэй стал опасаться, как бы ему не сказали: «Можешь больше не толкать». Но молодые рабочие продолжали молча, только немного выпрямившись, толкать вагонетку. Не в силах больше терпеть, Рёхэй робко спросил:

— Мне можно толкать, сколько захочу?

— Можно, — ответили оба одновременно.

Рёхэй подумал: «Добрые люди».

Через пять-шесть тё колея опять пошла круто вверх. Там по обе стороны в мандариновых садах золотились под солнцем бесчисленные плоды.

«Дорога вверх лучше, ведь дают толкать сколько хочешь», — думал Рёхэй, изо всех сил толкая вагонетку.

Когда подъем среди мандариновых садов закончился, колея вдруг пошла под уклон. Парень в полосатой рубашке сказал Рёхэю:

— Ну, садись!

Рёхэй мигом взобрался на вагонетку. Как только все трое на нее сели, вагонетка плавно заскользила по рельсам среди аромата мандариновых садов. «Катиться куда лучше, чем толкать!» — продолжал размышлять Рёхэй; его хаори раздувалось от ветра. «Если туда долго толкаешь, то и обратно долго катишься».

Докатившись до бамбуковой рощи, вагонетка потихоньку замедлила ход и остановилась. Все трое вновь принялись толкать тяжелую вагонетку. Бамбуковая роща сменилась смешанным лесом. На подъеме попадались такие места, где под грудами опавших листьев почти не видно было ржа-

вых рельсов. Когда поднялись вверх по дороге, то за высоким обрывом открылось широко простертое холодное море. И тут Рёхэй почувствовал, что ушел слишком далеко от дома.

Они опять сели в вагонетку. Вагонетка катилась под деревьями в лесу вдоль расстилавшегося справа моря. Но у Рёхэя было уже не так хорошо на душе, как раньше.

— Может, вернемся, — стал было он просить. Но что ни вагонетка, ни рабочие не могут вернуться, пока не доберутся до места, это он и сам прекрасно понимал.

Потом вагонетка остановилась перед чайной с соломенной крышей, стоявшей у выемки горы. Рабочие вошли в чайную и стали неторопливо пить чай вместе с хозяйкой, у которой за спиной был грудной ребенок. Рёхэй, оставшись один, обеспокоенно бродил вокруг вагонетки. К толстым доскам кузова присохли брызги грязи.

Немного спустя из чайной вышел парень с папиросой за ухом (впрочем, теперь у него уже не было за ухом папиросы) и дал стоявшему возле вагонетки Рёхэю газетный кулек с деревенским печеньем. Рёхэй холодно сказал «спасибо». Но сейчас же сообразил, что, поблагодарив так холодно, поступил невежливо. Чтобы загладить свою вину, он положил одно печенье в рот. Печенье пахло керосином, которым, по видимому, была запачкана газета.

Подталкивая вагонетку, они втроем стали подниматься по пологому склону. Хотя руки Рёхэя по-прежнему упирались в вагонетку, думал он теперь совсем о другом.

Когда они спустились по другую сторону склона, там оказалась еще одна чайная. Рабочие зашли туда, а Рёхэй, сидя на вагонетке, думал только о возвращении домой. Перед чайным домиком на цветущей сливе угасали лучи заходящего солнца. Вот уже смеркается, — при этой мысли Рёхэй не в силах был спокойно усидеть на месте. Он то пытался ногой повернуть колесо, то, зная, что один не в состоянии сдвинуть вагонетку, все же пытался это сделать, — только бы как-нибудь отвлечься от тревожных мыслей.

А рабочие, выйдя из чайной и начав сгружать шпалы с вагонетки, как ни в чем не бывало сказали ему:

— Ты теперь ступай домой. Мы сегодня заночуем здесь.

— Если вернешься слишком поздно, у тебя дома, верно, будут беспокоиться.

Рёхэй на миг опешил. Ведь скоро стемнеет. В конце прошлого года они с матерью ходили до Ивамуры, но сегодня он прошел в три-четыре раза дальше... И сейчас ему придется возвращаться пешком, совсем одному... Все это мигом пронеслось у него в голове. Он чуть не заплакал. Но подумал, что слезами горю не поможешь. Не такой случай, чтобы плакать. С трудом заставив себя поклониться двум молодым рабочим, он пустился бежать вдоль колеи.

Рёхэй бежал и бежал вдоль колеи, не помня себя. Во время бега он заметил, что сверток с печеньем, засунутый за пазуху, мешает ему, и выбросил его на обочину, а заодно снял и швырнул вслед за печеньем свои деревянные дзори. Теперь через тонкие носки в подошвы впивались камешки, но зато ногам стало гораздо легче. Чувствуя слева от себя дыхание моря, он бегом поднялся по крутому склону. Время от времени к горлу подступали слезы, и тогда лицо у него непроизвольно кривилось. Он с трудом сдерживался и только непрерывно шмыгал носом.

Когда он бежал мимо бамбуковой рощи, на закатном небе над горой Хиганэ уже угасала вечерняя заря. Волнение Рёхэя росло. Все кругом казалось ему другим, может быть, оттого, что путь туда и путь обратно — вещи разные, и это внушало ему тревогу. Теперь ему мешало и то, что одежда на нем насквозь промокла от пота. Продолжая бежать из последних сил, он стянул с себя и бросил на обочину хаори.

К тому времени, как он добрался до мандариновых садов, уже совсем стемнело. «Только бы остаться живым...» — думал Рёхэй и, скользя и спотыкаясь, мчался дальше.

Наконец в полной темноте показалась строительная площадка на окраине деревни, и Рёхэй готов был тут же на месте расплакаться. Но и на этот раз он сдержался.

Когда он прибежал в деревню, из домов по обе стороны улицы падал электрический свет. В этом свете Рёхэй сам отчетливо видел, как над его головой поднимаются испарения пота. Женщины, бравшие воду из колодца, мужчины, возвращавшиеся в поля, увидев запыхавшегося Рёхэя, окликали его: «Эй, что случилось?» Но он, не отвечая, пронесся

мимо освещенных домов, мимо мелочной лавки, мимо парикмахерской.

Влетев в ворота своего дома, Рёхэй уже не мог больше удержаться и громко, во весь голос, заплакал. Услыхав его плач, вмиг подбежали к нему отец и мать. Мать что-то говорила, порывалась его обнять. Но Рёхэй, ломая руки и топоча ногами, всхлипывал навзрыд. Должно быть, оттого, что он слишком громко плакал, три-четыре соседки подошли и стали в темноте у ворот. Все, в том числе отец и мать, наперебой спрашивали, отчего он плачет. Но что Рёхэю ни говорили, он только плакал. Плакал, вспоминая свою беспомощность и страх, пережитый им, пока он бежал весь этот далекий путь, и чувствовал, что никак не наплачется.

В возрасте двадцати шести лет Рёхэй с женой и ребенком уехал в Токио. Теперь он сидит на втором этаже в редакции одного журнала и читает корректуры. Но случается иногда, что, хоть и совершенно беспричинно, он вспоминает себя, каким он был в тот день. Совершенно беспричинно. Перед ним, усталым от житейских забот, и теперь, как тогда, тянется узкой лентой извилистая, с рощами, с подъемами и спусками, полутемная дорога.

Февраль 1922 г.

ПОВЕСТЬ ОБ ОТПЛАТЕ ЗА ДОБРО

РАССКАЗ АМАКАВА ДЗИННАЙ

Меня зовут Дзиннай. Родовое имя? С давних пор люди как будто зовут меня Амакава Дзиннай. Амакава Дзиннай — это имя и вам знакомо? Нет, не надо пугаться! Как вы знаете, я знаменитый вор. Но в эту ночь я пришел не для воровства. На этот счет, прошу вас, будьте спокойны.

Как я слышу, среди патэрэнов в Японии вы человек самых высоких добродетелей. Так что пробыть, хотя и недолго, с человеком, которого называют вором, вам, может быть, неприятно. Но не думайте — я ведь не только ворую! Один из подручных Росона Сукэдзаэмона, приглашенных во дворец Дзюраку, — он именовался Дзиннай! А кувшин, известный под названием «Красная голова», который так ценил Рикю Кодзи? Ведь настоящее имя мастера рэнга, прославшего кувшин в дар, как я слышал, тоже Дзиннай! А разве переводчика из Омура, который два-три года назад написал книгу «Амакава-никки», не звали Дзиннай? А потом еще — странствующий флейтист, спасший капитана Мальдонадо в драке у Сандзёгавара, а купец, торговавший иноземными лекарствами у ворот храма Мёкудзи в Сакаи? Если бы открыли их имя, это, несомненно, оказался бы некий Дзиннай. Да нет, есть кое-кто и поважней — тот самый, кто в прошлом году принес в дар храму Санто-Франциско золотой ковчег с ногтями Пресвятой Девы Марии, — это ведь был вернувшийся тоже по имени Дзиннай!

Но сегодня, к сожалению, у меня нет времени рассказывать вам подробно обо всех этих вещах. Только прошу вас, поверьте, что Амакава Дзиннай не так уж отличается от всякого обыкновенного человека. Хорошо? Ну тогда по возможности коротко изложу, что мне нужно. Я пришел про-

сить вас отслужить мессу о спасении души одного человека... Нет, он мне не родственник. Но он и не окрасил своей кровью моего клинка. Имя? Имя... Открыть его или нет — я и сам никак не решу. Я хочу помолиться за упокой души одного человека... за упокой души японца по имени Поро¹. Нельзя? Да, конечно, раз просит Амакава Дзиннай, вы не склонны с легкостью согласиться. Ну что же, так и быть! Попробую коротко рассказать, как все произошло. Только обещайте, что вы не скажете никому ни слова, хотя бы дело шло для вас о жизни или смерти. Вы поклонитесь этим крестом на вашей груди сдержат обещание? Нет... простите меня. (Улыбка.) Не доверять вам, патэрэн, для меня, вора, просто дерзость. Но если вы не сдержите обещания (внезапно серьезно), то пусть вы и не будете гореть в яростном пламени инфэруно — кара постигнет вас на этом свете.

Это случилось больше двух лет назад. Была ненастная полночь. Я бродил по улицам Киото, переодетый странствующим монахом. Бродил я по улицам Киото не первую ночь. Уже пять дней каждый вечер, как только пробьет первая стража, я, стараясь не попадаться людям на глаза, украдкой осматривал дом за домом. Зачем? Я думаю, нечего объяснять... В то время я как раз намеревался ненадолго уехать за море, хотя бы в Марика, и поэтому деньги мне нужны были больше, чем всегда.

На улицах, конечно, давным-давно прекратилось движение, и только неумолчно шумел ветер при свете звезд. Я прошел вдоль темных домов всю Огавадори и вдруг, обогнув угол у перекрестка, увидел большой дом. Это было городское жилище Ходзёя Ясэмона, известного даже в Киото. Правда, хотя оба они вели морскую торговлю, «Торговый дом Ходзёя» нельзя было поставить на одну доску с таким домом, как «Кадокура». Но как бы то ни было, Ходзёя отправлял один-два корабля в Кокусямуру и на Лусон, так что, несомненно, был изрядно богат. Выходя на дело, я во все не имел в виду именно этот дом, но раз уж набрел как раз на него, мне захотелось подзаработать. К тому же, как я уже сказал, ночь была поздняя, поднялся ветер, и для моего про-

¹ Искаженное Paulo (португ.).

мысла все складывалось как нельзя лучше. Спрятав свою плетеную шляпу и посох за дождевую бадью на обочине дороги, я сразу же перелез через высокую ограду.

Только послушать, какие обо мне ходят толки! Амакава Дзиннай умеет делаться невидимкой, говорят все и каждый. Надеюсь, вы не верите этому, как верят простые люди. Я не умею делаться невидимкой и не в сговоре с дьяволом. Просто, когда я был в Макао, врач с португальского корабля научил меня науке о природе вещей. И если только применять ее на деле, то отвернуть большой замок, снять тяжелый засов — все это для меня не слишком трудно (улыбка). Невиданные доселе у нас воровские уловки, — ведь их, как крест и пушки, наша дикая Япония тоже переняла у Запада.

Не прошло и часа, как я уже пробрался в дом. Но когда я миновал темный коридор, к моему изумлению, оказалось, что, несмотря на такое позднее время, в одной из комнат еще горит огонь. Мало того, было слышно, как кто-то разговаривает. Судя по местонахождению, это была чайная комната. «Чай в непогоду!» — усмехнулся я, тихонько подкрадываясь ближе. В самом деле, слыша голоса, я не столько думал о помехе моей работе, сколько хотелось мне узнать, каким тонким развлечениям предаются в этой изысканной обстановке хозяин дома и его гость.

Как только я прильнул к фусума, до моего слуха, как я и ожидал, донеслось бульканье воды в котелке. Но, кроме этого, я, к своему удивлению, вдруг услышал, что кто-то в комнате плачет. Кто-то? Нет, я сразу же понял, что это женщина. Если в таком важном доме в чайной комнате среди ночи плачет женщина — это неспроста. Затаив дыхание, я через щель слегка раздвинутой фусума заглянул в комнату.

Освещенное висячим бумажным фонарем старинное каэмано в токонома, хризантема в вазе... На всем убранстве, как и полагается в чайной комнате, лежал налет старомодности. Старик, сидевший перед токонома лицом прямо ко мне, был, по-видимому, сам хозяин Ясозмон. В мелкоузорчатом хаори, неподвижно скрестив на груди руки, он, видимо, прислушивался, как кипит котелок. Немного ниже Ясозмона сидела ко мне боком старуха почтенной наружности, в прическе со шпильками, и время от времени утирала слезы.

«Ни в чем не терпят недостатка, а, видно, такие же у них горести!» — подумал я, и у меня на губах невольно появилась усмешка. Усмешка — это отнюдь не значит, что у меня была какая-нибудь злоба лично к супругам Ходзэя. Нет, у меня, человека, за которым сорок лет бежит дурная слава, несчастье других людей, в особенности людей на первый взгляд счастливых, всегда само собой вызывает усмешку. (С жестоким выражением лица.) И тогда вздохи супругов доставляли мне такое же удовольствие, как если бы я смотрел на представление Кабуки. (С насмешливой улыбкой.) Да ведь не я один таков. Кого ни спроси о любимой книжке — это всегда какая-нибудь печальная повесть!

Немного погодя Ясозмон со вздохом сказал:

— Раз уж случилось такое несчастье, сколько ни плачь, сколько ни вздыхай, — былого не воротить. Я решил завтра же рассчитать всех в лавке.

Тут сильный порыв ветра потряс стены комнаты и заглушил голоса. Ответа жены Ясозмона я не расслышал. Но хозяин, кивнув, положил руки на колени и поднял глаза к плетеному камышовому потолку. Густые брови, острые скулы и в особенности удлинённый разрез глаз... Чем больше я смотрел, тем больше убеждался, что это лицо я уже где-то видел.

— О, господин Дзэсусу Киристо-сама! Ниспошли в наши сердца свою силу!

Ясозмон с закрытыми глазами начал шептать слова молитвы. Старуха, видимо, тоже, как и ее муж, молила о покровительстве небесного царя. Я же все время, не мигая, всматривался в лицо Ясозмона. И вот, когда пронесся новый порыв ветра, в моей душе сверкнуло воспоминание о том, что случилось двадцать лет назад, и в этом воспоминании я отчетливо увидел облик Ясозмона.

Двадцать лет назад... впрочем, стоит ли рассказывать! Короче говоря, дело было так. Когда я ехал в Макао, один японец-корабельщик спас мне жизнь. Мы тогда друг другу имени своего не назвали и с тех пор не встречались, но Ясозмон, на которого я теперь смотрел, — это, несомненно, и был тогдашний корабельщик. Пораженный странной встречей, я не сводил глаз с лица старика. И теперь мне уже казалось, что его сильные плечи, его пальцы с толстыми суставами

ми дышат пеной прибоя у коралловых рифов и запахом сандаловых лесов.

Окончив свою долгую молитву, Ясозмон спокойно обратился к жене с такими словами:

— Впредь положимся во всем на волю небесного владыки... Ну, раз котелок уже вскипел, не нальешь ли мне чаю?

Но старуха, сдерживая вновь подступившие к горлу рыдания, слабым голосом ответила:

— Сейчас... А все же жалко... что...

— Вот это-то и значит роптать! То, что «Ходзёмару» затонул и все деньги, вложенные в дело, погибли, все это...

— Нет, я не о том. Если б хоть сын наш Ясабурó был с нами...

Слушая этот разговор, я еще раз усмехнулся. Но на этот раз не горе Ходзёя доставляло мне удовольствие. «Пришло время отплатить за бывшее добро», — вот чему я радовался. Ведь и мне, Амакава Дзиннаю, радость оттого, что можно как следует отплатить за добро... Да нет, кроме меня, вряд ли кому еще эта радость знакома по-настоящему. (Насмешливо.) Мне жаль всех добродетельных людей: не знают они, как радостно вместо злодейства совершить доброе дело!

— Ну... что его нет, это еще счастье! — Ясозмон с горечью перевел взгляд на фонарь. — Если бы только остались целы те деньги, что он промотал, мы, пожалуй, выпутались бы из беды. Право, стоит мне подумать об этом, о том, что я выгнал его из дома, как...

Тут Ясозмон испуганно посмотрел на меня. Не удивительно, что он испугался: в эту минуту я, не произнося ни звука, отодвинул крайнюю фусума. Вдобавок я был одет монахом и вместо плетеной шляпы, которую я сбросил еще раньше, голову мою покрывал иноземный капюшон.

— Кто здесь хозяин?

Ясозмон хоть и старик, а разом вскочил.

— Бояться нечего! Меня зовут Амакава Дзиннай. Ничего, будьте спокойны. Амакава Дзиннай — вор, но в эту ночь он пришел к вам с иными намерениями.

Я скинул капюшон и сел против Ясозмона.

О том, что было дальше, вы можете догадаться и без моего рассказа. Я дал обещание отплатить за добро: чтобы вы-

ручить «Дом Ходзёя» из беды, я обещал в три дня, ни на день не погрешив против срока, достать шесть тысяч кан серебра...

Ого, кажется, за дверью слышатся чьи-то шаги? Ну, так прощайте! Завтра или послезавтра ночью я еще раз проберусь сюда. Есть созвездие Большой Крест — в небе над Макао оно сияет, а на небе Японии его не видать. И если я так же, как оно, не исчезну из Японии, то не искуплю своей вины перед душой Поро, о котором пришел просить вас отслужить мессу. Что? Как я уйду? Об этом не беспокойтесь. Я могу без труда выбраться через это высокое окно в потолок или через этот большой очаг. И еще раз убедительно прошу — ради души благодетеля Поро никому не обмолвитесь ни словом!

РАССКАЗ ХОДЗЁЯ ЯСОЗМОНА

Ваша милость, патэрэн, прошу вас, выслушайте мою исповедь. Как вам известно, есть такой вор Амакава Дзиннай, о котором в последнее время ходит много рассказов. Слыхал я, что и тот, кто жил в башне храма Нэгородзэра, и тот, кто украл меч у кампаку, и тот, кто далеко за морем напал на наместника Лусона, — все это он. Может быть, дошло до вас и то, что его наконец схватили на днях у моста Модорибаси, что в Итидзё выставили на позор его голову. Мне этот Амакава Дзиннай оказал великое благодеяние. Но из-за этого самого благодеяния я теперь переживаю невыразимое горе. Прошу вас, выслушайте все обстоятельства и помолитесь о том, чтобы небесный царь ниспослал свою милость грешнику Ходзёя Ясозмону.

Это случилось два года назад, зимой. Из-за непрерывных штормов мой корабль «Ходзёя-мару» затонул, деньги, вложенные в дело, пропали, — одна беда шла за другой, и в конце концов «Торговый дом Ходзёя» не только разорился, но и совсем дошел до крайности. Как вы знаете, среди горожан есть только покупатели, а человека, которого можно было бы назвать товарищем, нет. И наше дело, как корабль, втянутый в водоворот, пошло ко дну. И вот однажды ночью... я и теперь не забыл ее... ненастной ночью мы с женой разгова-

ривали, не думая о позднем часе. И вдруг вошел человек в одежде странствующего монаха, с иноземным капюшоном на голове. Это и был Амакава Дзиннай. Я, конечно, и испугался и рассердился. Но когда я выслушал его — что же оказалось? Он пробрался в мой дом, чтобы совершить воровство, но в чайной комнате еще горел свет, слышались голоса, и когда он через щель фусума заглянул внутрь, то увидел, что Ходзёя Ясозмон — тот самый благодетель, который двадцать лет назад спас ему, Дзиннаю, жизнь.

В самом деле, при этих его словах я вспомнил, что в ту пору, как еще был корабельщиком и водил в Макао «фусута», как-то раз я выручил одного японца, у которого и борода-то еще не было: как он мне тогда рассказал, он в пьяной ссоре убил китайца, и за ним гнались. И что же? Теперь он превратился в знаменитого вора Амакава Дзиннай! Как бы там ни было, я убедился, что слова Дзиннай не выдумка, и поскольку, к счастью, все в доме спали, я первым делом спросил его, что ему нужно.

И вот, по словам Дзиннай, оказалось, что он в отплату за старое добро хочет, если это будет в его силах, выручить «Дом Ходзёя» из беды и спрашивает, как велика сумма, необходимая в настоящее время. Я невольно горько усмехнулся. Чтобы деньги мне достал вор — это не только смешно. У кого водятся такие деньги, будь это хоть сам Амакава Дзиннай, тому незачем забираться в мой дом для воровства. Но когда я назвал сумму, Дзиннай, слегка склонив голову набок, как ни в чем не бывало обещал все сделать, предупредив, что в эту ночь ему трудно, а через три дня он достанет. Но так как необходимая сумма была немалая — целых шесть тысяч кан, то ручаться, что ему удастся ее достать, нельзя было. По моему же мнению, чем полагаться на то, сколько выпадет очков в игре в кости, лучше было считать, что дело это ненадежное.

В эту ночь Дзиннай спокойно выпил чай, который ему налила жена, и ушел в непогоду. На другой день обещанных денег он не доставил. На третий день — тоже. На четвертый... В этот день пошел снег, наступила ночь, а никаких вестей все еще не было. Я и раньше говорил, что не полагался на обещание Дзиннай. Однако раз я никого в лавке не рассчитал и предоставил всему идти своим ходом, значит, в

глубине души все же надеялся. И в самом деле, на четвертую ночь, сидя под фонарем в чайной комнате, я все же напряженно прислушивался к скрипу снега.

Когда пробила уже третья стража, в саду за чайной комнатой вдруг раздался шум, точно там кто-то дрался. В душе у меня, конечно, блеснула тревожная мысль о Дзиннае: уж не поймали ли его караульные? Я раздвинул сёдзи, выходящие в сад, и посветил фонарем. Перед чайной комнатой, в глубоком снегу, там, где свешивались листья бамбука, сцепились двое людей, но не успел я разглядеть их, как один из них оттолкнул накинувшегося на него противника и, прячась за деревья, бросился к ограде. Шорох осыпающегося снега, шум, когда перелезали через ограду, и наступившая затем тишина доказывали, что человек благополучно перелез и спрыгнул где-то по ту сторону. Но тот, кого он оттолкнул, не стал гнаться за ним, а, стряхивая с себя снег, спокойно подошел ко мне.

— Это я, Амакава Дзиннай.

Пораженный изумлением, я уставился на Дзиннай. На нем, как и в ту ночь, был иноземный капюшон и ряса.

— Ну и шум подняли! Еще счастье, что от этой драки никто в доме не проснулся.

Входя в комнату, Дзиннай усмехнулся.

— Пустяки! Как раз, когда я пробирался в дом, кто-то пытался забраться сюда под пол. Ну, я его попридержал, хотел было посмотреть, кто это такой, да он убежал.

Так как я все еще беспокоился, то спросил, не был ли это караульный. Но Дзиннай сказал, что это вовсе не караульный, а верней всего — вор. Вор хотел поймать вора — может ли быть что-нибудь более удивительное? Теперь уже на моих губах мелькнула усмешка. Как бы то ни было, пока я не знал, чем кончилась попытка достать деньги, на сердце у меня было тревожно. Но прежде, чем я успел раскрыть рот, Дзиннай, словно читая у меня в душе, медленно развязал пояс и выложил перед очагом свертки с деньгами.

— Будьте спокойны. Шесть тысяч кан добыты. Собственно, большую часть я достал уже вчера, но около двухсот кан не хватало, поэтому я принес их только сегодня. Вот, примите свертки. А деньги, собранные ко вчерашнему дню, я

потихоньку от вас обоих спрятал здесь же, под полом чайной комнаты. Вероятно, давешний вор пронюхал про эти деньги.

Я слушал его слова как во сне. Принять деньги от вора — я и без вас знаю, что это дело не из хороших. Однако, пока я был на грани уверенности и сомнения в том, удастся ли достать деньги, я не думал, хорошо это или дурно, да и теперь не мог так легко отказаться. Ведь если бы я отказался, то не только мне, но и всей моей семье оставалось одно — идти на улицу. Прошу вас, будьте снисходительны к такому моему положению. Смирненно коснувшись руками пола, я склонился перед Дзиннаем и, не произнося ни слова, заплакал.

С тех пор я два года ничего не слышал о Дзиннае. Но так как я избежал разорения и проводил свои дни в благополучии только благодаря Дзиннаю, то тайком от людей я всегда возносил святой матери Марии-сама молитвы о счастье этого человека. И что же? На днях пошла по городу молва о том, что Амакава Дзиннай схвачен и что у моста Модорибаси выставлена на позор его голова! Я ужаснулся. Украдкой проливал слезы. Но как подумаешь, что это расплата за все содеянное им зло, — что тут делать! Скорее странно, что небесная кара постигла его лишь теперь. Все же мне хотелось в отплату за добро, хотя бы втайне, совершить поминовение. С этой мыслью я сегодня, не взяв никого с собой, поспешно пошел к Модорибаси посмотреть на выставленную на позор голову.

Когда я дошел до моста, там, где была выставлена голова, уже толпился народ. Доска из некрашеного дерева с перечнем преступлений казненного, стражники, охраняющие его голову, — все было как обычно. Но голова, насаженная на три свежих бамбуковых ствола, скрепленных между собой, эта страшная, залитая кровью голова, — о, что же это такое? В давке среди шумной толпы, увидев эту мертвенно-бледную голову, я окаменел. Эта голова... была не его! Это не была голова Амакава Дзинная. Эти густые брови, эти острые скулы, этот шрам между бровями — в них не было ничего похожего на Дзинная. Она... Солнечный свет, толпа вокруг меня, насаженная на бамбук голова, все отодвинулось в какой-то дале-

кий мир — такой безумный ужас меня охватил. Это была голова не Дзинная. Это была моя голова! Она принадлежала мне, такому, каким я был двадцать лет назад — тогда, когда я спас Дзиннаю жизнь. Ясабуру!.. Если бы только язык у меня мог шевелиться, я, может быть, так бы и крикнул. Но я не мог издать ни звука и только, как в лихорадке, дрожал всем телом.

Ясабуру! Я смотрел на выставленную голову сына, как на призрак. Голова, слегка запрокинутая, неподвижно смотрела на меня из-под полуприкрытых век. Как это случилось? Может быть, сына по ошибке приняли за Дзинная? Но если его подвергли допросу, ошибка бы выяснилась. Или тот, кто назывался Амакава Дзиннай, был мой сын? Переодетый монах, пробравшийся в мой дом, был некто другой, присвоивший себе имя Дзинная? Нет, не может быть! Достать шесть тысяч кан в три дня, ни на один день не погрешив против срока, — кто во всей обширной стране Японии сумел бы это, кроме Дзинная? Значит... В этот миг в душе у меня вдруг отчетливо всплыл облик того никому не известного человека, который два года назад, в снежную ночь, боролся в саду с Дзиннаем. Кто он? Не был ли то мой сын? Да, даже мельком взглянув на него тогда, я заметил, что по облику он напоминает моего сына Ясабуру! Но не было ли это просто заблуждением моего сердца? Если то был сын... Словно очнувшись, я пристально посмотрел на голову. И я увидел — на посиневших, странно раздвинутых губах сохранилось слабое подобие улыбки.

У выставленной головы сохранилась улыбка! Слушая такие слова, вы, пожалуй, засмеетесь. Я и сам, заметив это, подумал, что мне просто померещилось. Но сколько я ни смотрел — высохшие губы были чуть озарены чем-то похожим на улыбку. Долго не отводил я глаз от этих странно улыбававшихся губ. И незаметно на моем лице тоже появилась улыбка. Но одновременно с улыбкой из глаз у меня полились горячие слезы.

«Отец, простите!.. — говорила мне без слов эта улыбка.

Отец, простите, что я был дурным сыном! Два года назад в снежную ночь я прокрался домой только для того, чтобы просить прощения, просить вас принять меня обратно.

Днем мне стыдно было попасться на глаза кому-нибудь в лавке, поэтому я нарочно дождался глубокой ночи, чтобы постучаться к отцу в спальню и поговорить с ним. Но когда, обрадовавшись, что за сёдзи чайной комнаты виден свет, я робко направился туда, вдруг сзади кто-то, ни слова не говоря, набросился на меня.

Отец, что случилось дальше, вы знаете сами. Я был поражен неожиданностью, и едва увидел вас, как оттолкнул нападавшего и перескочил через ограду. Но так как при отсветах снега я, к своему удивлению, увидел, что мой противник — монах, то, убедившись, что за мной никто не гонится, я опять рискнул подкрасться к чайной комнате. И сквозь сёдзи слышал весь разговор.

Отец! Дзиннай, спасший «Дом Ходзёя», благодетель всей нашей семьи. И я решил, что, если ему будет грозить опасность, я заплачу ему за добро, хотя бы пришлось отдать за него жизнь. И отплатить ему за добро не мог никто, кроме меня, бродяги, выгнанного из дому. Два года выжидал я подходящего случая. И вот случай настал. Простите, что я был дурным сыном! Я родился непутевым, но я отплатил за добро, оказанное нашей семье. Вот единственное мое утешение...»

На пути домой, смеясь и плача, я восхищался благородством сына. Вероятно, вы не знаете — мой сын Ясабуро, как и я, был приверженцем нашей веры и был даже наречен Поро. Но... но и сын мой был несчастен. И не только сын. Ведь если бы Амакава Дзиннай не спас тогда мой дом от разорения, мне не пришлось бы теперь так скорбеть. Как бы я ни терзался, одна мысль не дает мне покоя: что было лучше — избежать разорения или сохранить в живых сына?.. (Вдруг с мукой.) Спасите меня! Если я так буду жить дальше, то, может быть, моего великого благодетеля Дзинная возненавижу. (Долгие рыдания.)

РАССКАЗ ПОРО ЯСАБУРО

О, святая мать Мария-сама! Завтра на рассвете мне отрубят голову. Голова моя скатится на землю, но моя душа, как птица, полетит ввысь, к тебе. Нет, может быть, вместо того

чтобы умиляться великолепием парайсо (рая), я, совершивший лишь злодеяние, буду низвергнут в яростное пламя инфэруно. Но я доволен. Такой радости душа моя не знала двадцать лет.

— Я — Ходзёя Ясабуро. Но моя голова, которую выставят напоказ после казни, будет называться головой Амакава Дзинная. Я — Амакава Дзиннай! Может ли быть что-нибудь приятней? Амакава Дзиннай! Ну и что? Разве это не прекрасное имя? Стоит только моим губам произнести это имя, и я чувствую себя так, как будто моя темница засыпана небесными лилиями и розами.

Это случилось зимой, два года назад, в незабываемую снежную ночь. Я прокрался в дом отца, чтобы добыть денег для игры. Так как за сёдзи чайной комнаты еще горел свет, я хотел было тихонько заглянуть внутрь, но тут кто-то, ни слова не говоря, схватил меня за ворот. Я обернулся, сцепился с моим противником — кто он, я не знал, но, судя по огромной силе, это был человек необыкновенный. Мало того: пока мы с ним дрались, раздвинулись сёдзи, в сад упал свет фонаря, — сомнения быть не могло, в чайной комнате стоял мой отец Ясоэмон. Напрягши все силы, я высвободился из цепких рук противника и бросился вон из сада.

Но, пробежав полквартала, я спрятался под навесом дома и осматрелся кругом. На улице нигде ничто не шевелилось, только иногда, белея в ночной мгле, вздымалась снежная пыль. Противник, видно, махнул на меня рукой и отказался от преследования. Но кто он такой? Насколько я в тот миг успел разглядеть, он был одет монахом. Однако, судя по его силе и в особенности по тому, что он знал и боевые приемы, вряд ли это был простой монах. Да и то, чтобы в такую снежную ночь в саду оказался какой-то монах, — разве это не странно? Немного поразмыслив, я решил рискнуть и все же еще раз подкрасться к чайной комнате.

Прошел час. Подозрительный странствующий монах, пользуясь тем, что снег как раз перестал, шел по улице Огавадори. Это был Амакава Дзиннай. Самурай, мастер рэнга, горожанин, бродячий флейтист, человек, по слухам, умеющий принимать любой образ, знаменитый в Киото вор! Я украдкой шел по его следам. Никогда еще не радовался я

так, как в тот миг. Амакава Дзиннай! Амакава Дзиннай! Как я тосковал по нему даже во сне! Тот, кто похитил меч у кампаку, — это был Дзиннай. Тот, кто выманил кораллы у Сямуроя, — это был Дзиннай. И тот, кто срубил дерево кира у правителя провинции Бидзэн, и тот, кто украл часы у капитана Пэрэйра, и тот, кто в одну ночь разрушил пять амбаров, и тот, кто убил восемь самураев Микава, и тот, кто совершил еще много других редкостных злодейств, о которых будут рассказывать до скончания века, — все это был Дзиннай. И этот Дзиннай теперь, низко надвинув плетеную шляпу, идет предо мной по чуть белеющей снежной дороге. Разве то, что я могу его видеть, уже само по себе не есть счастье? Но я хотел стать более счастливым.

Когда мы дошли до задней стороны храма Дзёгондзи, я быстро нагнал Дзинная. Здесь тянулся длинный земляной вал, совершенно без жилищ, и для того, чтобы даже днем не попасться людям на глаза, лучшее место трудно было отыскать. Но Дзиннай, увидев меня, не обнаружил ни малейшего страха, а спокойно остановился. И, опершись на посох, не проронил ни звука, как будто ожидая моих слов. Я робко опустился перед ним на колени, положив перед собой руки. Но когда я увидел его спокойное лицо, слова застряли у меня в горле.

— Пожалуйста, извините! Я — Ясабуру, сын Ходзёя Ясоэмона, — наконец заговорил я с пылающим лицом. — Я пошел за вами вслед, потому что имею к вам просьбу.

Дзиннай только кивнул. Как благодарен был я, малодушный, за это одно! Смелость вернулась ко мне, и, все так же держа руки прямо на снегу, я кратко рассказал ему, что отец выгнал меня из дому, что теперь я вожусь с негодьями, что сегодня ночью я пробрался к отцу с целью воровства, но неожиданно наткнулся на него, Дзинная, и что я слышал всю тайную беседу Дзинная с отцом. Но Дзиннай по-прежнему холодно смотрел на меня, безмолвно сжав губы. Окончив свой рассказ, я немного придвинулся на коленях к нему и впился взглядом в его лицо.

— Добро, оказанное «Дому Ходзёя», касается и меня. В знак того, что я не забуду этого благодеяния, я решил стать вашим подручным. Прошу вас, возьмите меня к себе!

Я умею воровать, умею устраивать поджоги. И прочие простые преступления умею совершать не хуже других...

Но Дзиннай молчал. С сильно бьющимся сердцем я заговорил еще горячее:

— Прошу вас, возьмите меня к себе! Я буду работать. Киото, Фусими, Сакаи, Осака — нет мест, которых я бы не знал. Я могу пройти пятнадцать ри в день. Одной рукой подымаю мешок в четыре то. И убийства — два-три — уже совершил. Прошу вас, возьмите меня к себе. Ради вас я сделаю все, что угодно. Белого павлина из замка Фусими — если скажете «укради!» — украду. Колокольню храма Санто-Франциско — если скажете «сожги!» — сожгу. Дочь удайдзина — если скажете «добудь!» — добуду. Голову градоправителя — если скажете «принеси!»...

При этих словах меня вдруг опрокинул пинок ноги.

— Дурак!

Бросив это ругательство, Дзиннай хотел было пройти дальше. Но я, как безумный, вцепился в подол его рясы.

— Прошу вас, возьмите меня к себе! Никогда ни за что я от вас не отступлюсь! Ради вас я пойду в огонь и в воду. Ведь даже царя-льва из рассказа Эзопа спасла мышь... Я сделаюсь этой мышью. Я...

— Молчи! Не тебе, мальчишка, быть благодетелем Дзинная! — Стряхнув мои руки, Дзиннай еще раз пнул меня ногой. — Подлец! Ты бы лучше был добрым сыном!

Когда он во второй раз пнул меня ногой, мною овладела злоба.

— Ладно! Так стану же я твоим благодетелем!

Но Дзиннай, не оглядываясь, быстро шагал по снегу. При свете как раз выплывшей из-за туч луны еле виднелась его плетеная шляпа... И с тех пор я целых два года не видел Дзинная. (Вдруг смеется.) «Не тебе, мальчишка, быть благодетелем Дзинная». Так он сказал. Но завтра на рассвете меня убьют вместо Дзинная.

О, святая мать Мария-сама! Как страдал я эти два года от желания отплатить Дзинную за добро! Нет, не столько за добро, сколько за обиду. Но где Дзиннай? Что он делает? Кому это ведомо? И прежде всего, каков он с виду? Даже этого никто не знал. Переодетый монах, которого я встретил, был

невысокого роста, лет около сорока. Но тот, кто приходил в квартал веселых домов в Янагимати, — разве это не был тридцатилетний странствующий самурай с усами на красном лице? А согбенный рыжеволосый чужестранец, который, как говорили, произвел переполох на представлении Кабуки, а юный самурай с ниспадающими на лоб волосами, похитивший сокровища из храма Мёкокудзи... Если допустить, что все это был Дзиннай, то, значит, даже установить истинный вид этого человека выше человеческих сил... И тут в конце прошлого года у меня открылось кровохарканье.

Только бы как-нибудь отплатить за обиду!.. Худея, тощая день ото дня, я думал лишь об этом одном. И вот однажды ночью в душе у меня блеснула мысль. О Мария-сама! О Мария-сама! Эту мысль, без сомнения, внушила мне твоя доброта. Всего-навсего лишиться своего тела, своего измученного кровохарканьем тела, от которого остались кожа да кости, — стоит решиться на это одно, и мое единственное желание будет выполнено. В эту ночь, смеясь про себя от радости, я до утра твердил одно и то же: «Мне отрубят голову вместо Дзинная! Мне отрубят голову вместо Дзинная!»

Мне отрубят голову вместо Дзинная! Какие великолепные слова! Тогда, конечно, вместе со мной погибнут и все его преступления. Дзиннай сможет гордо расхаживать по всей обширной Японии. Зато я... (Опять смеется.) Зато я в одну ночь сделаюсь прославленным разбойником. Тем, кто был помощником Сукэдзаэмона на Лусоне. Кто срубил дерево края управителя провинции Бидзэн. Кто был приятелем Рикю Кодзи, кто выманил кораллы у Сямуроя, кто взломал кладовую с серебром в замке Фусими, кто убил восемь самураев Микава... Всей, всей славой Дзинная целиком завладею я! (В третий раз смеется.) Спасая Дзинная, я убью имя Дзинная, платя ему за добро, сделанное семье, я отплачу за свою собственную обиду, — нет радостнее расплаты. Понятно, что от радости я смеялся всю ночь. Даже теперь — в этой темнице — могу ли я не смеяться!

Задумав такую хитрость, якобы с целью кражи я забрался в императорский дворец. Помнится, был вечер, полутьма, через бамбуковые шторы просвечивал огонь, среди сосен белели цветы. Но когда я прыгнул с крыши галереи в без-

людный сад, вдруг, как я и надеялся, меня схватили самураи из стражи. И тогда-то оно и случилось. Поваливший меня бородатый самурай, крепко связывая меня, проворчал: «Наконец-то мы поймали Дзинная!» Да. Кто же, кроме Амакава Дзинная, заберется воровать во дворец? Услыжав эти слова, я даже в тот миг, извиваясь в стянувших меня веревках, невольно улыбнулся.

«Не тебе, мальчишка, быть благодетелем Дзинная!» Так он сказал. Но завтра на рассвете меня убьют вместо Дзинная. О, как сладко бросить это ему в лицо! С выставленной на позор отрубленной головой я буду ждать его прихода. И в этой голове Дзинная непременно почувствует безмолвный смех. «Ну как, Ясабуро отплатил за добро? — вот что скажет ему этот смех. — Ты больше не Дзиннай: Амакава Дзиннай — вот эта голова! Она — этот знаменитый по всей стране, первый в Японии великий вор». (Смеется.) О, я счастлив! Так счастлив я первый раз в жизни. Но если мою голову увидит отец Ясэмон... (Горько.) Простите меня, отец! Если бы даже мне не отрубили голову, я, больной чахоткой, не прожил бы и трех лет. Прошу вас, простите, что я был дурным сыном. Я родился непутевым, но ведь как-никак сумел отплатить за добро, оказанное нашей семье...

Март 1922 г.

САД

НАЧАЛО

То был сад старинной семьи Накамура, управителей дома для знатных проезжих при почтовой станции.

Лет десять после революции сад кое-как сохранял свой прежний вид. И пруд в форме тыквы-горлянки оставался прозрачным, и ветви сосен свешивались с искусственных горок. Целы были и беседки — «Хижина залетной цапли», «Павильон омовения сердца»; с уступов гор, ограждавших пруд с задней его стороны, по-прежнему белея, сверкая, низвергались водопады. И в зарослях желтого шиповника, разраставшихся год от года, все еще стоял каменный фонарь, которому, как говорили, название было пожаловано по случаю высочайшего проезда принцессы Кадзу. И все-таки не скрыть было каких-то примет запустения. Особенно ранней весной, в те дни, когда и в саду, и вокруг него на деревьях набухали почки, еще более явственно ощущалось, как из-за этого созданного человеческими руками живописного вида надвигается неведомая, тревожная, дикая сила.

Ушедший на покой глава семьи Накамура, грубый с виду старик инкё, тихо проводил свои дни с женой, страдавшей паршой, у очага в главном доме, обращенном к саду, играя в го или цветочные карты. Время от времени случалось, что старуха жена раз пять-шесть подряд обыгрывала его, и тогда он вскипал и сердился. Старший сын, к которому перешло главенство в семье, с молодой женой — своей двоюродной сестрой — жил в тесном флигеле, сообщавшемся с главным домом посредством галереи. Сын, принявший для писания хайку псевдоним Бунсицу, был вспыльчивый, несдержанный человек. Не только больная жена и младшие братья, это уж само собой, — его побаивался даже старик инкё. Ино-

гда приходил к нему в гости нищенствующий поэт Сэйгэцу, живший тогда на этой станции. Старший сын почему-то с ним одним обращался приветливо, угощал сакэ, усаживал писать стихи. Сохранились от того времени такие строфы: «На горах еще // Аромат цветов и трав // И кукушки зов» (Сэйгэцу). «Там и сям средь груды скал // Водопадов светлый блеск» (Бунсицу). Было еще два сына: средний ушел затем в семью родственника-рисоторговца, младший служил у крупного водочного заводчика в городе, расположенном в пяти-шести ри от станции, где они жили. Оба, точно сговорившись, редко показывались в родном доме. Младший сын и жил далеко, и, помимо того, издавна был не в ладах с glavой семьи; средний сын вел разгульную жизнь и даже в семье жены почти не появлялся.

А сад через два-три года запустел еще больше. На поверхности пруда стали покачиваться водоросли. Среди зеленых насаждений появились сухие деревья. Тем временем в жаркое, засушливое лето старик отец умер от удара. Дней за пять до этого, когда он пил свою настойку в «Павильоне омовения сердца», по ту сторону пруда то и дело появлялся какой-то кутэ, весь в белом, — так, по крайней мере, ему померещилось среди дня. На следующий год поздней весной средний сын, захватив деньги своих приемных родителей, бежал с прислужницей из чайного дома. А осенью его жена родила недоношенного мальчика.

После смерти отца старший сын поселился с матерью в главном доме. Освободившийся флигель снял директор местной школы. Директор был приверженцем утилитаризма, теории Фукудзавы Юкити, и поэтому постоянно уговаривал старшего сына насадить в саду фруктовые деревья. С тех пор весной в саду среди привычных ив и сосен пестрели цветы финиковых слив, персиков, абрикосов. Прогуливаясь по новому фруктовому саду, директор школы иногда обращался к старшему сыну: «Смотрите, здесь можно отлично любоваться цветами... Одним выстрелом двух зайцев...» Но искусственные холмы, пруд, беседки из-за этого приняли еще более жалкий вид. К естественному разрушению при-

ПРОДОЛЖЕНИЕ

соединилось еще и разрушение, произведенное, как говорится, руками человеческими.

Осенью на горах за прудом вспыхнул давно уже не случавшийся пожар. С тех пор низвергавшиеся в пруд водопады совершенно пересохли, и сразу вслед за этой бедой заболел с первым снегом сам глава семьи. Как сказал врач, у него открылась по-старому — чахотка, по-нынешнему — туберкулез. Больной то лежал, то вставал и становился все более раздражительным. Дошло до того, что, жестоко поспорив с младшим братом, который пришел поздравить его с Новым годом, он швырнул в него грелкой для рук. С тех пор младший брат больше домой не приходил и, даже когда старший брат умер, не показался. Старший брат прожил еще около года и, окруженный неусыпной заботой жены, скончался под навешенной над постелью сеткой от комаров. «Лягушки кричат... Что с Сэйгэцу?» — были последние его слова. Но Сэйгэцу же давным-давно, словно ему наскучили виды этой местности, не приходил даже за подаванием.

После того как отметили годовщину смерти старшего сына, младший женился на дочери своего хозяина. И воспользовавшись тем, что директора начальной школы, снимавшего флигель, перевели в другое место, он с молодой женой перебрался туда. Во флигеле появились черные лаковые комоды, комната украсилась свертками розовой и белой ваты... Но в это время в главном доме заболела жена покойного старшего сына. Болезнь ее была та же, что и у мужа. Лишившийся отца, единственный ребенок Рэнъити, с тех пор как мать стала харкать кровью, всегда спал у бабушки. Бабушка перед сном непременно повязывала голову полотенцем. Тем не менее на запах парши поздней ночью к ней подбирались крысы. Случалось, что она забывала о полотенце, и тогда, конечно, крысы кусали ей голову. К концу года жена покойного старшего брата скончалась тихо, как гаснет лампада. А на другой день после похорон от сильного снегопада рухнула стоявшая у горы «Хижина залетной цапли».

И когда опять наступила весна, весь сад превратился в зеленеющие почками заросли, где только и виднелась у мутного пруда тростниковая кровля «Павильона омовения сердца».

Однажды, в сумерки пасмурного дня, на десятый год после своего бегства, средний сын вернулся в отчий дом. Отчий дом, хотя он и назывался так, на самом деле был все равно что дом младшего сына. Младший брат встретил блудного брата как ни в чем не бывало — без особого неудовольствия, но и без особой радости.

С тех пор средний брат в «комнате будд» в главном доме, вытянув на полу свое зараженной дурной болезнью тело, молчаливо и неподвижно следил за огнем очага. В этой комнате в божнице стояли таблички с именами покойных отца и старшего брата. Он задвигал дверцы перед божницей, чтобы не видеть этих табличек. И уж, разумеется, ни с матерью, ни с младшим братом и его женой он, если не считать того, что они три раза в день встречались за общим столом, почти совсем не видался. Лишь сирота Рэнъити иногда заходил к нему в комнату поиграть. Он рисовал мальчику на грифельной доске горы, корабли. И иногда неверной рукой набрасывал смутные обрывки старинной песенки: «Расцвели на Мукодзиме вишни. Выйди, нэйсан, из чайного дома...»

И опять наступила весна. В саду среди разросшихся кустов и деревьев скудно цвели персики и абрикосы. В тускло поблескивающем пруду отражался «Павильон омовения сердца». Но средний брат по-прежнему сидел один взаперти у себя в комнате и даже днем большей частью дремал. И вот однажды до его слуха донесся слабый звук сямисэна. И в то же время запел чей-то прерывистый голос: «Тогда случилось так...//В битве при Сува//Мацумото родич, князь//Ёсиэ-сама//У орудий в крепости//Соизволил быть...» Он, все так же лежа, приподнял голову: и пение, и сямисэн — это, несомненно, его мать поет в столовой. «Пышен был его наряд. В этот ясный день//Величавой поступью//Вышел на врага//Славный воин и герой.//По всему видать...» Мать все пела, вероятно, внуку шуточные песни с лубочных картинок Оцу. А это была песенка, которая считалась модной лет двадцать-тридцать назад и которой ее покойный муж, этот грубый с виду старик, выучился у какой-то ойран. «Вражья пуля просвистит,//Грудь его про-

бьет, // Ах, не миновать того — // Жизнь бренная его // У моста Тоё, // Как росинка на траве, // Хотя и пропадет, // До скончания веков // Имя будет жить...» На давно не бритом лице сына удивленно блеснули глаза.

Через два-три дня младший брат обнаружил, что средний брат копает землю у заросшей подбелом искусственной горки. Он, задыхаясь, неумело взмахивал киркой. В его усилиях, на первый взгляд смешных, чувствовалось упорство. «Братец, что вы делаете?» — окликнул его младший брат, подходя сзади с папиросой в зубах. «Я? — Средний брат в замешательстве поднял глаза на младшего. — Хочу провести здесь проток». — «Провести проток — это зачем же?» — «Хочу сделать сад, чтобы он был как раньше». Младший брат усмехнулся и больше ничего не спросил.

Средний брат каждый день, с киркой в руках, усердно работал над протоком. Но для него, истощенного болезнью, это было делом нелегким. Он быстро уставал. От непривычной работы у него появились мозоли, ломались ногти, все тело ныло. Иногда он бросал кирку и как мертвый валился наземь. А вокруг него, среди окутывавших сад испарений, дышали влагой цветы и молодые побеги. Отдохнув несколько минут, он вставал и опять, пошатываясь, упрямо брался за работу.

Но дни шли за днями, а в саду не видно было значительных перемен. В пруду по-прежнему густо зеленели водоросли, среди деревьев и кустов торчали засохшие ветки. Особенно после того, как отцвели фруктовые деревья, сад казался, пожалуй, еще более заглохшим, чем раньше. К тому же в доме ни стар ни млад не сочувствовали затее среднего брата. Младший брат, одержимый духом спекуляции, был поглощен мыслями о ценах на рис и на шелковичные коконы. Его жена питала чисто женское отвращение к болезни дядя. Мать... мать боялась, как бы это копанье в земле не повредило его здоровью. И все-таки средний брат, вопреки людям и природе, упорно мало-помалу переделывал сад.

Однажды утром, выйдя после дождя, он увидел, что Рэнъити весело смотрел на него. «Давайте я вам буду помогать!» — «Что ж, помогай!» Средний брат улыбнулся ему в ответ светлой улыбкой, как давно уже не улыбался. С тех пор

Рэнъити неотлучно и горячо помогал дяде. А тот, усевшись перевести дух в тени деревьев, чтобы развлечь племянника, рассказывал ему о разных удивительных вещах — о море, о Токио, о железной дороге. Рэнъити грыз зеленые сливы и слушал его как завороченный.

В этом году в «сезон дождей» дождей выпадало мало. Они — старый инвалид и ребенок, не поддаваясь ни палящим лучам солнца, ни испарениям от зелени, копали пруд, рубили деревья и все расширяли границы своей работы. Однако, хотя внешние препятствия они кое-как преодолевали, с внутренними им было не совладать. Средний брат мог представить себе старый сад лишь смутно, как сквозь сон. Как были посажены деревья, как были проложены дорожки — стоило ему начать припоминать, и все расплывалось. Иногда в разгаре работ он вдруг опирался на кирку и рассеянно озирался по сторонам. Рэнъити сейчас же подымал на него встревоженные глаза. «В чем дело?» — «Что тут было раньше? — растерянно бормотал про себя вспотевший дядя. — Мне кажется, что этого клена здесь не было». Рэнъити грязными ручонками давил муравьев, и только.

Внутренние препятствия этим не ограничивались. По мере того как лето подходило к концу, у среднего брата, вероятно от непрерывной непосильной работы, стало мутировать в голове. Часть пруда, которую он сам же выкопал, он засыпал землей; на то самое место, откуда вырывал сосну, он сажал другую — все это с ним теперь случалось не раз. Особенно рассердило Рэнъити, что на колья для пруда он срубил ивы, росшие у самой воды. «Ведь эти ивы вы сами только недавно посадили!» Рэнъити с досадой глядел на дядю. «Правда? Я стал совсем беспамятным!» И дядя угрюмо смотрел на залитый солнцем пруд.

И все-таки, когда настала осень, заросли подстриженных кустов и трав придали саду очертания, смутно напоминавшие прежние. Конечно, не приходилось сравнивать его с прежним: и «Хижины залетной цапли» больше было не видеть, и водопады уже не низвергались с гор. Да и вообще весь созданный знаменитым садоводом дух старинного изыска исчез почти бесследно. Но сад все-таки существовал. В прозрачной воде пруда еще раз отразились искусственные

горки. И сосны еще раз величественно распростерли свои ветви перед «Павильоном омовения сердца». Но в то самое время, когда сад был восстановлен, средний сын слег. Жар держался день за днем, все суставы ломило. «Зря усердствовал!» — снова и снова причитала мать, сидевшая у его изголовья. Но он был счастлив. Конечно, в саду оставались места, которые ему еще хотелось подправить. Однако с этим уже ничего не поделаешь. По крайней мере, он потрудился недаром. И он чувствовал себя удовлетворенным. Десятилетний труд научил его покорности судьбе, покорность судьбе спасла его.

В конце осени средний брат незаметно для всех испустил последний вздох. Обнаружил это Рэнъити. Он с громким криком побежал по галерее к флигелю. Сейчас же к покойнику с испуганными лицами собралась вся семья. «Посмотри, братец как будто улыбается!» — обернулся младший брат к матери. «О, сегодня дверца божницы открыта!» — заметила его жена, не глядя на покойника.

После похорон дяди Рэнъити часто сживал один у «Павильона омовения сердца». Всегда, словно в недоумении, глядя на осенние деревья и воды...

КОНЕЦ

То был сад старинной семьи Накамура, управителей дома для знатных проезжих при почтовой станции. Не прошло и десяти лет с тех пор, как был восстановлен его прежний вид, — сад погиб опять, на этот раз вместе со всей семьей. На месте погибшего сада выстроили железнодорожную станцию, перед станцией открылся маленький ресторан.

Из семьи Накамура к этому времени здесь никого не осталось. Мать, конечно, уже давным-давно присоединилась к отошедшим. Младший брат, разорившись, уехал куда-то в Осака.

Поезда каждый день приходили и уходили. На станции за большим столом сидел молодой начальник. На необременительной службе в свободные от дела часы он смотрел на голубые горы, разговаривал с местными служащими. В этих разговорах о семье Накамура никогда не упоминалось. А что

на том самом месте, где они сейчас стоят, когда-то были беседки и искусственные горки, — об этом тем более никто и не думал.

А в это время Рэнъити сидел за мольбертом в студии европейской живописи в Акасаке, в Токио. Свет, падавший через стеклянный потолок, запах масляных красок, натурщица в прическе момоварэ — вся обстановка студии не имела ничего общего с родным домом его детства. Но иногда, когда он водил кистью по холсту, в его душе всплывало грустное стариковское лицо. И это лицо, улыбаясь, говорило ему, усталому от непрерывной работы: «Ты еще ребенком помогал мне. Давай теперь я помогу тебе!»

Рэнъити и теперь, в бедности, по-прежнему пишет картины. О младшем брате никто ничего не слышал.

Июнь 1922 г.

БАРЫШНЯ РОКУНОМИЯ

1

Отец барышни Рокуномия происходил из древнего знатного рода. Но, будучи человеком старого склада, отсталым от века, он по чину не пошел дальше звания хёбунодайю. Барышня жила с отцом и матерью в невысоком доме недалеко от Рокуномия, и прозвали ее барышней Рокуномия, по названию этой местности.

Родители баловали ее. Однако, тоже по старому обычаю, никому не показывали. Они только горячо надеялись, что кто-нибудь посватается к их дочери. И барышня проводила свои дни чинно, скромно, как учили ее отец с матерью. То было существование без всяких горестей, зато и без всяких радостей. Но барышня, совсем не знавшая жизни, не чувствовала себя неудовлетворенной. «Только бы отец с матерью были здоровы!» — думала она.

Вишни, склонявшиеся над самым прудом, год за годом скудно покрывались цветами. Между тем красота барышни как-то сразу приобрела оттенок зрелости. Отец, ее опора, пристрастившись в старости к сакэ, внезапно скончался. Через полгода от непрерывных сетований по невозвратному за ним последовала и мать. Барышня не так опечалилась, как растерялась. В самом деле, у нее, взлелеянной дочери, на всем свете не осталось, кроме кормилицы, ни одной близкой души.

Кормилица мужественно, не щадя своих сил, трудилась ради барышни. Но хранившиеся из рода в род перламутровые шкатулки и серебряные курильницы одна за другой исчезали из дома. В то же время стали уходить слуги и прислужницы. Барышня тоже мало-помалу начала понимать трудности жизни. Но помочь делу ей было не под силу. И в унылых покоях барышня, совсем как в былые времена, про-

водила время все за теми же однообразными развлечениями — играла на кото, слагала танка.

И вот однажды осенью, в сумерки, кормилица подошла к барышне и медленно, с расстановкой, сказала ей так:

— Просил меня мой племянник-монах: говорит, что некий благородный человек, прежний правитель провинции Тамба, просит дозволения повидаться с вами. С собой он хорош, и душа у него добрая, и отец его чином высок, а родом он из близкой ко двору знати — так не соизволите ли свидеться с ним? Все лучше, чем жить в таком стеснении...

Барышня тихонько заплакала. Отдаться этому человеку — все равно что продать свое тело ради спасения от постылой нужды. Конечно, она знала, что на свете и это часто случается. Но когда так сложилось у нее самой, печаль ее была велика. И, сидя против кормилицы, барышня под свист ветра, проносающегося в листьях пуэрарии, долго прикрывала лицо рукавом...

2

Все же она стала каждую ночь встречаться с этим кавалером. Кавалер, как и говорила кормилица, обладал мягким нравом. И лицом, и осанкой он был изящен, как ему и приличествовало быть. А кроме того, почти всем было ясно, что ради красоты барышни он забывал обо всем на свете. Барышня, конечно, тоже не питала к нему неприязни. По временам она даже думала о нем как о своей опоре. Но когда, жмурясь от света светильников, она лежала с ним ночью на ложе за ширмой с бабочками и цветами, она ни разу не чувствовала радости.

Тем временем в доме мало-помалу становилось веселей. Появились новые черные лаковые полки и бамбуковые шторы; прибавилось слуг; кормилица, разумеется, вела хозяйство бодрее, чем раньше. Но, даже видя все эти перемены, барышня только грустила.

Однажды в дождливую ночь, сидя с барышней за сакэ, кавалер рассказал ей страшную историю, случившуюся, по его словам, в провинции Тамба. Некие путники по дороге из столицы в Идзумодзи заночевали у подножья горы Оэямэ.

Жена хозяина гостиницы как раз в ту ночь благополучно родила девочку. И вот путники увидели, как из комнаты роже-ницы быстрыми шагами вышел какой-то никому не ведомый мужчина. Проронив только: «От роду восьми лет... наложит на себя руки...» — он вдруг исчез. Через восемь лет путники, на этот раз по дороге в Киото, заночевали в том же доме. И что же? В самом деле оказалось, что девочка в возрасте восьми лет погибла странной смертью. Падая с дерева, она наткнулась горлом на серп. Вот о чем рассказал кавалер.

Услышав этот рассказ, барышня ужаснулась тщете человеческого жизни. По сравнению с судьбой той девочки — жить, имея опорой кавалера, без сомнения, было еще счастьем. «Надо все предоставить судьбе — что мне еще остается?» Думая так, она пленительно улыбалась.

Ветви нависших над кровлей сосен не раз сгибались под тяжестью снега. Барышня днем, как в былые времена, перебирала струны кото или играла в сугороку, а по ночам, разделяя ложе с кавалером, слушала, как утки садятся на пруд. То было время почти без горестей, зато почти и без радостей. Но барышне такой унылый покой по-прежнему приносил призрачное удовлетворение.

Однако и этому покою неожиданно быстро пришел конец. Однажды ночью ранней весною кавалер, оставшись с барышней наедине, с усилием промолвил:

— Встречаюсь я с вами последнюю ночь.

Его отец получил новое назначение правителем провинции Муцу. И кавалер тоже должен был уехать с отцом в эту снежную глушь. Конечно, расставаться с барышней ему было тяжелее всего. Но так как он сделал ее своей женой тайно от отца, то теперь открыться ему было не время. Он долго-долго говорил ей об этом, перемежая слова вздохами.

— Но через пять лет срок службы истечет. Ждите, не тоскуя.

Барышня лежала ничком и плакала. Расстаться с кавалером, о котором она думала хотя и без любви, но как о своей опоре, было ей несказанно горестно. Кавалер, глядя барышню по спине, утешал ее и ободрял. Но у него самого на каждом втором слове голос дрожал от слез.

Тут ничего не подозревающая кормилица в сопровожде-

нии молодой служанки принесла подносы и кувшинчики с сакэ. Принесла, рассказывая о том, что на вишнях, склонившихся над старым прудом, распустились почки...

3

Прошло пять лет, и снова наступила весна. Но кавалер, уехавший в северные края, так и не вернулся в Киото. За это время слуги все до единого разбрелись кто куда, а покои, в которых жила барышня, как-то раз во время бури рухнули. С тех пор жилищем барышни, а с ней вместе и кормилицы, стала боковая пристройка для слуг. Хотя пристройка называлась жилищем, но была тесна и запущена и лишь кое-как служила защитой от дождя и росы. Когда они перебрались в эту пристройку, кормилица от жалости не могла смотреть на барышню без слез. Но бывало и так, что она беспричинно сердилась.

Жилось им, конечно, тяжело. Резные шкафчики давным-давно исчезли, зато бывали у них овощи и рис. Теперь и из одежды у барышни не оставалось ничего, кроме того, что было надето на ней. Случалось даже, что, когда не хватало дров, кормилица отрывала доску у полусгнившего дома. Но барышня, как в былые времена, отдыхала душой за кото и танка и неустанно ждала кавалера.

И вот осенью того же года в лунный вечер кормилица подошла к барышне и медленно, с расстановкой сказала ей так:

— Его светлость, наверное, не вернется. Что, если бы вы соизволили позабыть его светлость? Кстати, некий младший управитель лекарского приказа не дает мне проходу, домогаясь встречи с вами...

Слушая эти слова, барышня вспомнила то, что произошло шесть лет назад. Шесть лет назад ей было так грустно, что, сколько она ни плакала, никак не могла наплакаться. Но теперь и телом и душой она слишком устала. «Лишь бы спокойно состариться...» — больше она не думала ни о чем. Выслушав кормилицу, она подняла исхудалое лицо к белой луне и скорбно покачала головой:

— Мне больше ничего не нужно. Жить ли, умереть ли — мне все равно.

Как раз в этот же час кавалер в далекой провинции Хитати пил сакэ с новой женой. Жена пришлась отцу по нраву: она была дочь правителя этой провинции.

— Что это, слышишь? — сказал кавалер, вдруг испуганно подняв взгляд к карнизу крыши, залитому ровным лунным светом. В эту минуту перед глазами у него почему-то ясно встал образ барышни.

— Должно быть, каштан упал.

Ответив так, жена из Хитати неуклюже наклонилась над чаркой кувшинчик с сакэ.

4

Кавалер вернулся в Киото через девять лет поздней осенью. По дороге в Авадзу он с женой из Хитати и ее родней, чтобы переждать неблагоприятный по приметам день, несколько задержался. В Киото они намеренно прибыли в сумерки, чтобы не привлекать внимания людей. Живя в глуши, кавалер раза два-три посылал киотской жене нежные письма. Но один гонец не являлся обратно, другой возвращался, не найдя барышни, и кавалер ни разу не получил ответа. Поэтому, когда он приехал в Киото, любовь его разгорелась еще сильнее. Едва препроводив благополучно жену во дворец отца, он в тот же час, даже не переодевшись с дороги, отправился к Рокуномия.

Когда он пришел к Рокуномия, он увидел, что и ворота на четырех столбах, и дом, крытый корой дерева хиноки, и покои барышни — все исчезло, осталась лишь груда обломков. Кавалер стоял по колено в траве и растерянно обводил взором то место, где когда-то был сад. Там в полусасыпанном пруду появилось немного осоки. В сиянии молодого месяца осока тихо шелестела.

Неподалеку от бывшего помещения дворецкого он заметил покосившийся дощатый домик. Когда он подошел ближе, там как будто мелькнула чья-то тень. Вглядываясь в темноту, он тихо позвал. Тогда на лунный свет, пошатываясь, вышла старая монахиня, показавшаяся ему как будто знакомой.

Когда кавалер назвал себя, монахиня долго плакала, не говоря ни слова. Потом прерывающимся голосом она рассказала ему о барышне.

— Ваша милость, верно, меня позабыли. Я мать женщины, что была в услужении у госпожи. Дочь прислуживала еще пять лет после того, как ваша милость изволили отбыть из Киото. А тут сошлось так, что она с мужем поехала в Тадзима, и я тогда попросила отпустить меня вместе с дочерью. Но недавно я забеспокоилась, что теперь с барышней, и одна поехала в Киото. И что ж, как изволите видеть — ведь даже дом и тот пропал. Где теперь барышня, я, право, давно уже не знаю, что и думать. Ваша милость, вероятно, не знает, что, когда дочь моя была в услужении, барышне жилось так худо, что и сказать нельзя...

Выслушав все, кавалер снял одну из своих нижних одежд и отдал этой согбенной монахине. И затем, понуриив голову, молча зашагал прочь.

5

Начиная с утра следующего дня кавалер в поисках барышни исходил всю столицу. Но ни где барышня, ни что с ней, ему так и не удалось узнать.

И вот несколько дней спустя под вечер он стоял, укрываясь от струй дождя, под навесом Западной галереи перед воротами Судзакумён. Кроме него, там переждал дождь еще какой-то монах, похожий на нищего. Дождь печально накрапывал сквозь просвет покрытых лаком ворот. Поглядывая уголком глаз на монаха, кавалер, стараясь рассеять досаду, ходил взад и вперед по каменным плитам. Вдруг слух его уловил, что за решеткой полутемного окна галереи кто-то есть. Он равнодушно кинул взгляд в окно. Там монахиня, оправляя дырявые циновки, ухаживала за больной женщиной. Даже в слабом свете сумерек лицо женщины казалось до ужаса изможденным. Но довольно было одного взгляда, чтобы узнать в ней барышню. Кавалер хотел с ней заговорить. Но так жалок был ее облик, что голос его оборвался. А она, не зная о том, что он рядом, ворочаясь на дырявой циновке, с мучительным усилием произнесла такую танка:

У изголовья
 Со свистом дует в щели
 Холодный ветер.
 А ты все стерпишь, тело,
 Игрушка бренной жизни...

Услыхав этот голос, кавалер невольно произнес имя барышни. Барышня подняла голову. Но едва она увидела кавалера, как со слабым криком снова упала ничком на циновку. Монахиня — ее верная кормилица — вместе с вбежавшим кавалером испуганно бросилась ее поднимать. Но когда, подерживая ее за плечи, они приподняли ее и взглянули ей в лицо, не только кормилица, но и кавалер испугались еще больше.

Кормилица, точно обезумев, кинулась к нищему монаху и попросила его прочесть молитвы над умирающей. Монах согласился и сел у изголовья барышни. Но вместо того, чтобы читать молитвы, он обратился к ней с такими словами:

— Жизнь и смерть не во власти человека. Не щадя сил, призывай будду Амида.

Поддерживаемая кавалером, барышня стала чуть слышно возглашать имя будды. Но сейчас же испуганно устремила глаза на темный потолок.

— Ах, там огненная колесница!

— Не бойся! Молись будде, и снизойдет на тебя благо.

Монах слегка возвысил голос. Немного погодя барышня, словно грезя наяву, пробормотала:

— Я вижу золотой лотос. Огромный лотос, похожий на священный зонт.

Монах хотел что-то сказать, но не успел. Барышня прерывающимся голосом проговорила:

— Уже не вижу лотоса. Теперь темно, только ветер свистит во тьме.

— Всем сердцем призывай будду. Отчего не призываешь ты будду?

Монах говорил почти гневно. Но барышня, словно при последнем издыхании, повторяла все то же:

— Ничего... ничего не вижу. Темно... Только ветер... только холодный ветер свистит во тьме.

Кавалер и кормилица, глотая слезы, поминали вполголо-

са имя Амида. Монах, набожно сложив руки, помогал барышне молиться. И так, при словах молитвы, мешавшихся с шумом дождя, на дырявой циновке барышня мало-помалу отошла в царство смерти...

6

Через несколько дней в лунную ночь оборванный монах, призывавший барышню молиться, опять сидел, обхватив колени, в Западной галерее перед воротами Судзакумон. По освещенной луной дороге, беспечно что-то напевая, шел самурай. Увидев монаха, он остановился и равнодушно сказал:

— Говорят, с недавних пор здесь у ворот слышится женский плач?

Не поднимаясь с каменных плит, монах ответил одним словом:

— Слушай.

Самурай прислушался. Но, кроме слабого шороха сверчков, не слышно было ничего. В ночном воздухе разносился лишь смолистый запах сосен. Самурай хотел заговорить. Но не успел он произнести и слова, как вдруг откуда-то донесся тихий-тихий женский стон.

Самурай схватился за меч. Но голос, оставив за собой долгий, протяжный отзвук, где-то бесследно затих.

— Молись будде! — Монах поднял лицо к луне. — То дух никчемной женщины, не ведающей ни рая, ни ада. Молись будде!

Но самурай, не отвечая, всматривался в лицо монаха. И вдруг, изумленно шагнув к нему, схватил его за руки.

— Ведь вы — преподобный Найки? Почему в таком месте...

Тот, кого называли «преподобный Найки», в миру Ёсисигэ Ясутанэ, был благочестивейший буддийский монах, достойный даже среди учеников преподобного Куя.

Июнь 1922 г.

ЧИСТОТА О-ТОМИ

Это было в послеполуденные часы четырнадцатого мая первого года Мэйдзи, в те послеполуденные часы, когда вышел приказ: «Завтра на рассвете правительственные войска начнут военные действия против отряда сёгитай в монастыре Тоэйдзан. Всем проживающим в районе Уэно предлагается незамедлительно выселиться куда угодно». В галантерейной лавке во втором квартале улицы Ситая после ухода хозяина Когая Масабэя оставался один только большой трехцветный кот: он тихонько лежал, свернувшись клубком, в углу кухни, в раковине аваби.

В доме с наглухо закрытыми дверьми, разумеется, было совершенно темно даже днем. Не слышно было ни шагов, ни голосов. До слуха доносился только шум дождя, лившего уже несколько дней подряд. Дождь время от времени вдруг потоками проливался на невидимые крыши и опять удалялся в пространство. Всякий раз, когда дождь усиливался, кот округлял свои янтарные глаза. Тогда в кухне, где нельзя было разглядеть даже очага, на миг появлялись два зловещих фосфорических огонька. Но, почувствовав, что кругом ничего не меняется, кот, так и не пошевелившись, снова сощуривал глаза в узкие щелки.

Так повторялось много раз, и наконец кот, уже, видимо, засыпая, больше не открывал глаз. Но дождь по-прежнему то вдруг усиливался, то стихал. Восемь... Восемь без половины... Время шло, и под шум дождя день понемногу клонился к вечеру.

И вот уже близко к семи часам кот, чем-то обеспокоенный, неожиданно широко раскрыл глаза. И в то же время как будто насторожил уши. Дождь уже не лил так сильно. Раздались голоса носильщиков паланкина, пробежавших по

улице. Больше ничего не было слышно. Но после нескольких секунд тишины в темной кухне вдруг стало как-то светлеть. Дощатый настил возле очага, блеск воды в кувшине без крышки, сосенка бога кухонного очага, шнур от окошка в потолке — все это одно за другим вырисовывалось из мрака. С беспокойством поглядывая на водосток, кот медленно поднялся во весь свой рост.

В это время дверцу водостока открыл — нет, не только дверцу, в конце концов и сёдзи отодвинул — какой-то до костей промокший бродяга. Просунув в кухню голову, повязанную старым полотенцем, он некоторое время настороженно прислушивался к тишине, царящей в доме. Удостоверившись, что никого не слышно, он потихоньку вошел в кухню в своем рогожном плаще, на котором темнели мокрые пятна. Кот, прижав уши, слегка попятился. Но бродяга, не обращая на него внимания, задвинул за собой сёдзи и медленно снял с головы полотенце. На лице, заросшем волосами и сплошь покрытом грязью, в нескольких местах были наклеплены пластиры. Однако сами черты были вполне обычными.

Выжимая воду из волос и отирая капли с лица, бродяга тихим голосом позвал кота:

— Микэ, Микэ!

Кот, оттого что голос был ему знаком, снова поднял прижатые было уши. Однако с места не трогался и время от времени с опаской поглядывал на пришедшего. Бродяга тем временем снял свой рогожный плащ и уселся перед котом на пол, скрестив босые ноги, настолько грязные, что из-за грязи не видно было кожи.

— Ну, что Микэшка? Я вижу, никого тут нет, выходит, одного тебя не выселили.

Бродяга засмеялся и своей большой рукой погладил кота по голове. Кот весь напрягся, словно приготовился бежать. Но — только и всего: он не отскочил, а наоборот, опять сел, как прежде, и понемногу даже стал щурить глаза. Погладив кота, бродяга, отогнув верху полу своего старого кимоно, вытащил из-за пазухи масляно поблескивающий пистолет и при тусклом свете стал осматривать курок. Какой-то бродяга с пистолетом в кухне всеми покинутого дома, в котором ца-

рила атмосфера войны, — это была, несомненно, картина необычная, какая бывает в романах... Но кот, сощуря глаза и по-прежнему выгибая спину, сидел спокойно, словно знал все тайны.

— А завтра, Микэшка, тут всюду дождем будут падать пули. Попадет в тебя — тут тебе и крышка. Так что завтра спрячься под пол и сиди там весь день, что бы ни происходило...

Осматривая свой пистолет, бродяга время от времени заговаривал с котом:

— Мы с тобой старые знакомые. Но сегодня мы распрощаемся. Завтра и для тебя злой день, и я, может быть, завтра умру. А если не умру и останусь жив, все же по-прежнему рыться с тобой в помойках я не намерен. Ты, вероятно, будешь очень доволен?

В это время шум дождя снова усилился. Тучи нависли низко-низко над самой крышей, окутывая мглой черепицу. Тусклый свет, разлитый по кухне, стал еще слабее. Однако бродяга, не поднимая головы, закончил осмотр пистолета и тщательно зарядил его.

— И все же тебе жаль будет со мной расстаться? Впрочем, коты, как говорят, не помнят добра. Поэтому ждать от тебя нечего. Ну да это все равно. Только вот когда тут меня не будет...

Бродяга вдруг замолчал: ему показалось, что снаружи кто-то подошел к водостоку.

Спрятать пистолет и обернуться — для бродяги это было делом одного мгновения. Но и сѣдзи у водостока со стуком раздвинулись в то же мгновение. Моментально приняв оборонительную позу, бродяга взглянул прямо в глаза пришельцу.

Но этот кто-то, раздвинувший сѣдзи, увидев бродягу, слегка вскрикнул, как бы, в свою очередь, пораженный неожиданностью. Это была еще совсем молодая женщина, босая, с большим зонтом в руках. В безотчетном страхе она чуть не выскочила обратно под дождь. Но испуг прошел, к ней вернулось мужество, и она стала всматриваться в лицо бродяги, пронизывая взглядом полутьму кухни.

Бродяга, тоже, видно, ошеломленный, сидел неподвижно,

но, приподняв одно колено и не спуская с нее глаз. Выражение у него было уже не такое настороженное, как раньше. Некоторое время они молча смотрели друг на друга.

— Что такое? Это ты, Синко? — будто несколько успокоенная, обратилась женщина к бродяге. Бродяга, улыбаясь, закивал головой.

— Извини, пожалуйста. Так льет сегодня, вот я и забрался сюда в отсутствие хозяев. Только ты не подумай, что я променял свою веру на занятие домушника.

— Напугал! В самом деле... Хотя ты и говоришь, что забрался сюда не как вор, но всякому нахальству есть предел. — Страхивая с зонта капли, женщина сердито добавила: — Ну а теперь уходи. Я хочу войти.

— Ладно, уйду, не гони, сам уйду. А ты что, еще не выселилась?

— Выселилась. Выселилась, да только... Ну, не все ли тебе равно?

— Забыла что-нибудь? Да проходи же сюда, ведь на тебя дождь льет.

Не отвечая на эти слова бродяги, женщина, все еще раздосадованная, опустила на дощатый настил водостока. Затем протянула к водостоку грязные ноги и принялась мыть их, поливая водой из черпака. Бродяга, спокойно сидевший со скрещенными ногами, пристально глядел на нее, почесывая щетинистый подбородок. Женщина эта была молодая, со смуглым лицом, с веснушками на носу, на вид — простая деревенская девушка. И одета она была как служанка, в одно только легкое, бумажное кимоно с дешевым поясом. Но в живых чертах и во всей ее плотной фигуре была какая-то красота, вызывавшая в представлении свежий персик или грушу.

— Когда среди такой сумятицы возвращаются, значит, забыто что-то очень важное. Что же ты тут забыла, а, О-Томи-сан? — продолжал свои расспросы Синко.

— Не все ли тебе равно что. Лучше ступай отсюда. — О-Томи ответила раздраженно. Но вдруг, словно вспомнив о чем-то, повернулась к Синко и серьезно спросила: — Синко, ты не видел нашего Микэ?

— Микэ? Микэ только что тут был. Куда ж он девался?

Бродяга огляделся кругом. Оказалось, что кот забрался на полку и свернулся там клубком между ступкой и сковородкой. Его одновременно с Синко вдруг увидела и О-Томи. Она бросила черпак и, словно забыв о самом существовании бродяги, поднялась с настила. Светло улыбаясь, она стала звать лежавшего на полке кота.

Синко изумленно перевел глаза с кота, лежавшего в полутьме, на О-Томи.

— Кошка? Так ты забыла кошку?

— Хоть и кошку! Что ж тут плохого? Микэ, Микэ, поди сюда!

Синко вдруг расхохотался. В шуме дождя его смех прозвучал почти зловеще. О-Томи, покраснев от гнева, опять накинута на Синко:

— Что тут смешного? Забыли кота, а хозяйка совсем с ума сходит. Все время заливается слезами: что, если кота убьют? Мне самой стало жалко, вот я и вернулась сюда в этот дождь...

— Ладно, не буду. — Синко прервал ее, все еще смеясь. — Больше не смеюсь. Но все-таки подумай сама. Завтра начнется сражение. А тут всего-навсего кошка, одна там или две — все равно, ведь это смешно. Хоть не мне говорить тебе об этом, но такой безголовой нюни, как твоя хозяйка, я не дывал. Из-за этого Микэшки...

— Замолчи! Не желаю слушать, как поносят мою хозяйку!

О-Томи чуть не топнула ногой. Однако бродяга сверх ожидания не испугался ее гневного вида. Более того, он, не стесняясь, разглядывал фигуру женщины. И правда, в этот момент она была полна какой-то дикой красоты. Мокрые от дождя кимоно и набедренная повязка плотно прилипли к коже и явственно обрисовывали ее тело, молодое нетронутое девичье тело. Не сводя глаз с О-Томи, Синко продолжал со смехом:

— Я понимаю, тебя послали за Микэшкой. Разве не так? А ведь сейчас во всем Уэно нет ни одного дома, из которого жители не выселились бы. Выходит, что хоть тут дома и стоят, а все равно что безлюдная пустыня. Положим, волки сюда не забредут, но попасть в беду всегда можно. Вот что я хотел тебе сказать.

— Как-нибудь обойдусь без твоих забот! Лучше бы снял с полки кота. От этого и сражение не начнется, беды никакой не случится.

— Брось шутки! Когда женщине опасно ходить одной, если не в такое время? Скажу тебе коротко: нас тут только двое — ты да я. А вдруг мне что-нибудь взбредет в голову, что ты станешь делать?

Тон у Синко был какой-то непонятный — не то шутливый, не то серьезный. Однако в ясных глазах О-Томи не мелькнуло и тени страха, только щеки запылали еще сильнее.

— Что такое? Уж не собираешься ли ты угрожать мне?

О-Томи сама с грозным видом шагнула к Синко.

— Угрожать? Если только это, тогда еще ничего. В наше время дурных людей много даже среди тех, кто нацепил на плечи парчовые нашивки. Что же говорить о таком, как я, бродяге? Угрозы угрозами, а вдруг мне и вправду что-нибудь на ум взбредет?

Синко не договорил — на его голову обрушился удар. О-Томи стояла перед ним с поднятым зонтом.

— Я тебе покажу, как дерзить!

Она опять изо всей силы ударила зонтом, целясь в голову Синко. Синко хотел отстраниться, но зонт все же угодил ему в плечо, прикрытое старым кимоно. Перепуганный шумом кот, сбив сковородку, спрыгнул на полочку бога кухонного очага. На Синко свалились и сосенка, и масляный светильник. Прежде чем он успел вскочить на ноги, ему пришлось не раз почувствовать на себе зонт О-Томи.

— Ах ты, скотина, скотина!

О-Томи продолжала взмахивать зонтом. Однако Синко, осыпаясь ударами, все же в конце концов вырвал у нее зонт. Отшвырнув зонт в сторону, он яростно бросился на О-Томи. Некоторое время они боролись на узком дощатом настиле. В самый разгар этой борьбы дождь снова забарабанил по крыше кухни. По мере того как шум дождя усиливался, сумрак в кухне сгущался. Синко, осыпаясь ударами, исцарапанный, старался повалить О-Томи. Но после нескольких неудачных попыток он, думая, что наконец-то удалось

схватить ее, вдруг, наоборот, словно отброшенный пружиной, сам отлетел к водостоку.

— Чертовка!

Упираясь спиной в сёдзи, Синко смотрел на О-Томи. О-Томи с растрепанными волосами сидела на настиле и сжимала в руке бритву, которая, видимо, была спрятана у нее за поясом. Она была полна дикой ярости и в то же время удивительной прелести. Чем-то она напоминала сейчас кота, стоявшего с выгнутой спиной на полочке бога кухонного очага. Оба в полном молчании следили глазами друг за другом. Но через мгновение Синко с нарочито холодной усмешкой вынул из-за пазухи пистолет.

— Ну, попробуй теперь повернуться.

Дуло пистолета медленно обратилось в сторону О-Томи. Однако она только раздраженно глядела на Синко и не раскрыла рта. Увидев, что она не испугалась, Синко под влиянием какой-то мысли повернул пистолет дулом вверх. Там в темноте сверкали янтарные глаза кота.

— Ну как, а, О-Томи-сан? — Как бы дразня ее, Синко проговорил это тоном, в котором слышался смех. — Грохнет этот пистолет, и твой кот кувырком слетит оттуда. И с тобой будет то же. Как тебе это понравится?

Курок уже готов был спуститься.

— Синко! — вдруг заговорила О-Томи. — Не надо, не стреляй!

Синко перевел взгляд на О-Томи. Однако дуло пистолета было по-прежнему направлено на кота.

— Известно, что не надо!

— Жалко его убивать! Пощади хоть Микэ.

У О-Томи было теперь совсем другое лицо — обеспокоенное, дрожащие губы ее слегка приоткрылись, показывая ряд мелких зубов. Глядя на нее полунасмешливо, полуподозрительно, Синко наконец опустил пистолет. В тот же миг на лице О-Томи отразилось облегчение.

— Кота я пощажу. Но взамен... — Синко произнес с ударением: — Взамен я возьму тебя.

О-Томи чуть отвела взор. Казалось, в ее душе на мгновение вспыхнули одновременно и злоба, и гнев, и отвращение, и печаль, и многие другие чувства. Не переставая вни-

мательно следить за этими переменами в девушке, Синко зашел сбоку ей за спину и раздвинул сёдзи в комнату за кухней. Там, разумеется, было еще темнее, чем в кухне. Но в ней можно было разглядеть шкафчик и большое хибати, брошенные при выселении. Синко перевел взгляд на ворот кимоно О-Томи, влажный от пота. Видимо, О-Томи почувствовала этот взгляд и, вся сжавшись, оглянулась на стоявшего позади Синко. На ее щеках уже снова появился прежний румянец. Но Синко как-то странно мигнул, словно заколебавшись, и вдруг снова прицелился в кота.

— Не надо! Не надо, говорят тебе!

О-Томи удержала его и в этот момент выронила бритву.

По лицу Синко пробежала легкая усмешка.

— А не надо, так иди туда.

— Противно! — с отвращением пробормотала О-Томи. Но внезапно она встала и, будто на все махнув рукой, прошла в комнату за кухней. Синко, казалось, был несколько удивлен тем, как легко она примирилась со своей участью. Дождь в это время притих. Сквозь облака, видимо, пробивались лучи вечернего солнца, отчего в кухне понемногу становилось светлее. Стоя в кухне, Синко прислушивался к тому, что делается в комнате рядом. Вот она развязывает пояс. Вот ложится на циновку. Затем все стихло.

Покелебавшись, Синко шагнул в полутемную комнату. Там посередине, закрыв лицо руками, лежала на спине О-Томи... Синко, едва взглянув на нее, тут же, словно убегая от чего-то, вернулся в кухню. На его лице было какое-то странное, непередаваемое выражение: не то злость, не то стыд. Он снова вышел на дощатый настил и все так же, стоя спиной к той комнате, вдруг горько рассмеялся.

— Я пошутил, слышишь, О-Томи-сан? Пошутил. Иди сюда.

...Через несколько минут О-Томи с котом за пазухой и с зонтом в руках о чем-то беззаботно разговаривала с Синко, который стелил на полу свою рваную циновку.

— Послушай, я хотел бы спросить тебя об одной вещи.

Все еще чувствуя некоторую неловкость, Синко старался не смотреть на О-Томи.

— О чем?

— Ни о чем особенно... Ведь отдаться мужчине для женщины важнейшая вещь в жизни. А ты была готова на это, чтобы спасти жизнь какой-то кошки... Не слишком ли это много? — Синко замолчал. Но О-Томи только улыбнулась и погладила кота у себя за пазухой. — Ты так любишь этого кота?

— Люблю и Микэ. — О-Томи ответила уклончиво.

— Ты слывешь очень преданной своим хозяевам. Может быть, ты боялась остаться виноватой перед хозяйкой, если Микэ убьют?

— Ну да, я и Микэ люблю, и хозяйки боюсь. Но только...

О-Томи, склонив голову набок, как бы всматривалась куда-то вдаль.

— Как бы это сказать? Поступи я сейчас иначе, у меня сердце было бы не на месте...

Еще через несколько минут Синко, оставшись один, сидел в кухне, обхватив руками колени, покрытые старым кино. Вечерние тени под шорох редкого дождя все больше и больше заполняли комнату. Шнур от окна в потолке, кувшин с водой у водостока — все одно за другим исчезало во мраке. И вот в дождевых тучах прокатились один за другим тяжелые удары храмового колокола в Уэно. Синко, как будто пробужденный этими звуками, окинул взглядом затихшую комнату. Затем, нащупав черпак, набрал воды.

— Мураками Синдзабуро... Минамото-но Сигэмицу! Сегодня ты проиграл!

* * *

Двадцать шестого марта двадцать третьего года Мэйдзи О-Томи с мужем и тремя детьми проходила через площадь Уэно.

В этот день на Такэнодай открывалась Третья всеяпонская выставка, вдобавок у ворот Курамон уже зацвели вишни, поэтому площадь кишела народом. Сюда же со стороны Уэно непрерывной вереницей двигались экипажи и коляски рикш. Маэда Масада, Тагути Укити, Сибусава Эйити, Цудзи Синдзи, Окакура Какудзо, Гэдэё Масао... В этих экипажах и колясках сидели и такие люди.

Муж с пятилетним малышом на руках и со старшим сынишкой, уцепившимся за его рукав, сторонясь толпы, то и дело с беспокойством оглядывался на О-Томи с дочерью, шедших позади. О-Томи всякий раз отвечала ему своей светлой улыбкой. Разумеется, двадцать лет принесли ей старость. Однако ясное сияние ее глаз не совсем померкло. В четвертом или пятом году Мэйдзи она вышла замуж за хозяйского племянника Когаю Масабэя. Муж ее тогда имел маленькую часовую мастерскую в Йокогама, теперь — на Гиндзэ.

Вдруг О-Томи подняла глаза. В пароконном экипаже, проезжавшем мимо нее как раз в эту минуту, покоилась фигура Синко. Да, Синко. Правда, теперешний Синко был весь покрыт знаками отличия — тут были и плюмаж из страусовых перьев, и внушительные нашивки из золотого позумента, и несколько больших и малых орденов. Но обращенное в сторону О-Томи красноватое лицо с седеющими усами и бородой было, несомненно, лицом бродяги минувших времен. О-Томи невольно замедлила шаг. Однако, как ни странно, она не удивилась. Синко не был простым бродягой. Почему-то она это знала. По лицу ли, по его речи или по пистолету, который у него имелся? Так или иначе, она это знала. О-Томи, не шевельнув и бровью, пристально смотрела на Синко. И Синко, намеренно ли или случайно, тоже смотрел на нее. Воспоминание о дождливом дне двадцать лет назад в это мгновение с необычайной ясностью всплыло в душе О-Томи. В тот день она была готова без колебания отдаться Синко, чтобы спасти кошку. Что тогда руководило ею? Этого она не знала. И Синко тогда не захотел пальцем коснуться тела, которое она ему отдавала. Что тогда руководило им? И этого она не знала. Но хоть она ничего и не знала, все равно то, что произошло, было для О-Томи более чем естественно. Отступая, чтобы дать дорогу экипажу, она почувствовала, что на сердце у нее стало как-то легче.

Когда экипаж Синко проехал, муж снова обернулся из толпы к О-Томи. Встретившись с ним глазами, О-Томи как ни в чем не бывало улыбнулась ему. Ясно, радостно.

Август 1922 г.

О-Гин

То ли в годы Гэнна, то ли в годы Канъэй — было это, во всяком случае, в глубокую старину.

В те времена стоило принявшим святое учение господина обнаружить свою веру, как их ждал костер или распятие. Но казалось, что чем яростней гонения, тем милостивей «господь всеведущий» простирает на верующих округи свою благую защиту. Случалось, что вместе с сиянием вечерней зари деревни вокруг Нагасаки навещали ангелы и святые. И шла молва, что даже сам Сан-Дзёан Батиста явился однажды верующему Мигэру¹-Яхэю на его водяной мельнице в Ураками. А в то же время, чтобы помешать спасению верующих, и дьявол не раз появлялся в тех деревнях то в облике невиданного арапа, то в виде иноземного зелья или повозки с плетнем адзиро. И даже мыши, донимавшие Мигэру-Яхэя в подземной темнице, где не отличить дня от ночи, были на самом деле, как говорят, лишь оборотнями злых духов. Осенью восьмого года Гэнна Яхэя вместе с одиннадцатью другими верующими сожгли на костре. То ли в годы Гэнна, то ли в годы Канъэй — было это, во всяком случае, в глубокую старину.

В той же горной деревни Ураками жила девушка по имени О-Гин. Родители О-Гин перебрались в Нагасаки издалека, из Осака. Но раньше чем успели они обжиться на новом месте, оба скончались, оставив О-Гин одну. Конечно, они, жители другой округи, знать святое учение не могли. Верой их был буддизм, учение Сакья-Муни. По словам некоего французского иезуита, Сакья-Муни, от природы преисполненный коварства, обошел все области Китая, проповедуя

учение будды Амиды. А потом перебрался за тем же в Японию. По учению Сакья-Муни, наша анима, в зависимости от того, тяжки или легки, велики или малы наши грехи, воплощается либо в быка, либо в дерево. Мало того, Сакья-Муни при рождении убил свою мать. Что учение Сакья-Муни нелепо — это само собой понятно, но что оно, кроме того, дурно, тоже очевидно. Однако мать и отец О-Гин, как уже упоминалось, знать этого не могли. Даже после того, как от них отлетело дыхание, они продолжали верить в учение Сакья-Муни. И в тени сосен печального кладбища, не ведая, что их ждет инфэруно, грезили об эфемерном рае.

Но юную О-Гин, к счастью, не запятнало невежество родителей. Сострадательный Дзёан-Магосити, крестьянин, проживавший в той же горной деревушке, давно уже, окропив чело святой водой, нарек ее Мария. О-Гин не верила в то, что Сакья-Муни при рождении, указуя перстом на небо и землю, возгласил гласом великим: «На небе вверху, под небом внизу — я один свят». Зато она верила, что «преблагостная, великосердная, сладчайшая дева Санта Мария-сама» зачала без греха. Верила, что «умерший распятым на кресте, положенный в каменную гробницу», похороненный глубоко под землю Дзэсусу через три дня воскрес. Верила, что, когда протрубит труба Страшного суда, «господь в великой славе, в великой силе снизойдет с небес, воссоединит ставшее прахом тело людей с прежней их анима, вернув им душу, воскресит их, и праведники познают небесное блаженство, а грешники с бесами низринутся в ад». Особенно верила она в высокое сагурамэнтто, когда «силою божественного слова хлеб и вино, не меняя своего вида, претворяются в тело и кровь господни». Душа О-Гин не была, подобно душе ее родителей, бесплодной пустыней, над которой проносятся жаркие ветры. Она была плодоносной нивой, взращивающей и злаки, и чистые полевые розы. Потеряв родителей, О-Гин сделалась приемной дочерью Дзёан-Магосити. Жена Магосити, Дзёанна-О-Суми, тоже была женщиной доброго сердца; О-Гин вместе с приемными родителями ходила за скотом, жала ячмень и проводила дни в мире. Но при таком существовании не забывали они, так, чтобы это не бросалось в глаза односельчанам, блюсти посты и читать молитвы. В тени смоковницы у колодца, глядя ввысь на молодой

¹ Искраженное Miguel (португ.).

месяц, О-Гин часто жарко молилась. Молитва этой девушки с распущенными волосами была проста: «Благодарю тебя, милосердная мать! Изгнанное дитя праматери Эвы взывает к тебе! Склони милосердный взор твой на жалкую обитель слез. Аминь».

И вот однажды в ночь натара дьявол вместе со стражами внезапно вошел в дом Магосити. В доме Магосити в большом очаге пылал «колыбельный огонь». И на закопченной стене на одну эту ночь был повешен крест. В довершение всего, когда стражи пошли в хлев позади дома, то обнаружили в кормушке воду для омовения новорожденного Дзэсусу-сама. Стражи, кивнув друг другу, набросили веревку на Магосити и его жену. О-Гин тоже связали. Но все трое не выказывали признаков страха. Для спасения своей анима они готовы были на любые муки. Господь, конечно, дарует им свою защиту. И разве то, что их схватили в ночь натара, не есть вернейшее доказательство небесной благодати? Так, точно сговорившись, твердо верили все они. Связанных, стражи повели их во дворец наместника. Но и по дороге, под ночным ветром, они не переставая твердили рождественские молитвы: «О Вакагими-сама, родившийся в стране Бэрэн, где ты ныне? Славься!»

Дьявол, видя, что они схвачены, захлопал в ладоши и радостно засмеялся. Но их мужество немало сердило его. Оставшись один, дьявол плюнул и тут же превратился в большую каменную ступку. И, с грохотом покотившись во тьму, исчез.

Дзэана-Магосити, Дзэанну-О-Суми и Марию-О-Гин бросили в подземную темницу и подвергли всяческому пыткам, чтобы заставить отречься от святого учения. Но ни под пыткой водой, ни под пыткой огнем решимость их не поколебалась. Пусть горят кожа и мясо, еще вздох, и они попадут в парайсо.

Стоило подумать о милости господней, как мрачная темница преисполнялась великолепия парайсо! Вдобавок не то во сне, не то наяву светлые ангелы и святые не раз слетали утешать их. Особенно удостаивалась этого счастья О-Гин. Случалось, что она видела, как архангел Габуриэру, сложив свои белые крылья, предлагает ей воду в красивой золотой чаше.

Так как наместник, конечно, не знал святого учения, не знал и учения Будды, он никак не мог уразуметь, почему заключенные так упорствуют. Он даже подумывал, не сошли ли все трое с ума. Когда же он понял, что они не сумасшедшие, они стали казаться ему не то исполинскими удавами, не то единорогами, во всяком случае — зверями, не имеющими ничего общего с человеческим родом. Оставить таких зверей живыми не только противоречило бы законам, но грозило бы спокойствию всей страны. Протомив заключенных в темнице месяц, он наконец решил сжечь их. (По правде говоря, наместник, как и все обыкновенные люди, почти не думал о том, грозит ли их существование спокойствию страны: во-первых, имелись законы, во-вторых, имелась мораль народа, поэтому не стоило над этим особо задумываться.)

Даже по пути к месту казни на краю деревни трое верующих, во главе с Дзэаном-Магосити, не обнаруживали никаких признаков страха. Местом казни был избран каменистый пустырь рядом с кладбищем. Их привели туда, прочитали им, в чем состоят их преступления, и привязали к толстым четырехугольным столбам. Затем столбы укрепили в середине пустыря, поставив справа Дзэанну-О-Суми, в середине Дзэана-Магосити и слева Марию-О-Гин. О-Суми от продолжительных пыток казалась постаревшей. И у Магосити на заросших щеках не было ни кровинки. А О-Гин? О-Гин по сравнению с ними обоими не так уж сильно изменилась. Но у всех троих, стоящих на хворосте, лица были спокойны.

Вокруг места казни давно уже собралась толпа зевак. А там, позади зрителей, несколько кладбищенских сосен распростерли в небе свои ветви, похожие на священные балдахины.

Когда все приготовления были окончены, один из стражей торжественно выступил вперед, стал перед приговоренными и сказал, что им дается время одуматься и отречься от святого учения.

— Подумайте хорошенько, если отречетесь от святого учения, веревки сейчас же развяжут.

Но приговоренные не отвечали. Они смотрели в высокое небо, и на губах у них даже блуждала улыбка.

И наступила небывалая тишина. Не только стражи, но даже зрители затихли в эти минуты. Глаза всех, не мигая, устремились на лица приговоренных. Но не от волнения все затаили дыхание. Зрители ждали, что вот-вот загорится огонь, а стражам так наскучило ждать казни, что даже не хотелось разговаривать.

И вдруг все присутствующие отчетливо услышали:

— Я отрекаюсь от святого учения.

Голос принадлежал О-Гин.

Зрители зашумели. Но гул голосов сразу же опять сменился тишиной. Магосити, обернувшись к О-Гин, горестно произнес утасоющим голосом:

— О-Гин! Тебя завлек дьявол! Если ты еще каплю потерпишь, ты узришь лик Господа.

Не успел он договорить, как, собрав последние силы, словно издалека, подала голос О-Суми:

— О-Гин! О-Гин! В тебя вселился дьявол! Молись!

Но О-Гин не отвечала. Только глаза ее смотрели туда, где позади толпы кладбищенские сосны распростерли свои ветви, похожие на священные балдахины. Тем временем другой страж приказал развязать О-Гин.

Увидев это, Дзэан-Магосити закрыл глаза, словно покаясь судьбе.

— Всемогущий Господь, да будет воля твоя!

Освобожденная от веревок, О-Гин некоторое время стояла, растерянно глядя перед собой. Но, взглянув на Магосити и О-Суми, она вдруг упала перед ними на колени и, ни слова ни говоря, залилась слезами. Магосити не открывал глаз. О-Суми отвернулась, даже не взглянув на О-Гин.

— О отец, о мать, прошу вас, простите меня! — заговорила наконец О-Гин. — Я отрекаюсь от святого учения. Это оттого, что я вдруг заметила вон там ветви сосен, похожие на священные балдахины. Мои родители, покоящиеся под сенью этих кладбищенских сосен, не знали святого господнего учения и, наверно, низвергнуты в инфэрну. И если бы теперь я одна вошла во врата парайсо, не было бы мне родительского прощения. Я последую за родителями в ад. О отец, о мать, идите к Дзэсусу-сама и Мария-сама. А я, отрекаясь от святого учения, не могу больше ждать...

Проговорив все это прерывающимся голосом, О-Гин за-

рыдала. Тогда и из глаз Дзэанны-О-Суми прямо на грудь хвороста под ее ногами покатались слезы. Разумеется, готовясь войти в парайсо, бесплодно вздыхать — это верующим никак не пристало. Дзэан-Магосити, с горестью обернувшись к привязанной рядом жене, гневно крикнул пронзительным голосом:

— И тебя увлек дьявол? Если хочешь отречься от святого учения, сделай милость, отрекайся сколько угодно. Я один сгорю у вас на глазах.

— Нет, я умру с тобой! Но это... — глотая слезы, выкрикнула О-Суми, — но это не потому, что я хочу попасть в парайсо. Я только хочу с тобой... всегда быть с тобой.

Магосити долго молчал. Лицо его то бледнело, то снова разливалась по нему кровь. На лбу каплями выступил пот. Магосити духовным взором видел сейчас свою анима. Видел ангела и дьявола, борющихся за его душу. Если бы в эту минуту О-Гин, рыдавшая у его ног, не подняла голову... Но нет, лицо О-Гин уже было обращено к нему. И со странным блеском в глазах, полных слез, она пристально посмотрела на Магосити. В ее взоре сияла не только невинная девичья душа. В нем сияла душа человека — душа «изгнанной дочери Эвы».

— Отец! Пойдем в ад! И мать, и меня, и того отца, и ту мать — всех нас унесет дьявол.

И Магосити пал.

Из столь многих в нашей стране преданий о мучениях ревнителей веры этот рассказ дошел до нас как пример самого постыдного падения. Да, когда они все трое отреклись от святой веры, даже зрители — старые и молодые, мужчины и женщины — все их осудили. Может быть, от досады, что не удалось увидеть сожжение на костре, ради которого они собрались. И как говорит предание, дьявол от чрезмерной радости всю ночь, обратившись огромной книгой, летал над местом казни. Впрочем, был ли это успех, достойный столь безрассудного ликования, автор сильно сомневается.

Август 1922 г.

КУКЛЫ-ХИНА

Вот из ящика вышли...
Разве ваши лица могла я забыть?
Пара праздничных кукол.

Бусон¹

ЭТО РАССКАЗ ОДНОЙ СТАРУШКИ

Обещание продать куклы-хина американцу из Йокогама было дано в ноябре. Наш дом, родоначальником которого был Ки-но Куниа, из поколения в поколение вел ссудное дело, доставляя деньги феодальным князьям, а мой дед Ситику был большим знатоком всяких изысков, так что куклы-хина, хоть и принадлежали мне, девочке, были все же очень хороши. К примеру, взять императора и императрицу — в ее венце красовались кораллы, а у него на кожаном, лакированном оби, разукрашенном яшмой, агатом и агальматолитом, были вперемешку вышиты гербы, постоянный и временный, — вот какие это были куклы.

Если даже их решили продать, можно представить себе, как туго пришлось тогда моему отцу Ихэю, человеку из двенадцатого поколения потомков Ки-но Куния. Со времен падения Бакуфу и общего краха вернуть долг способны были только Касю-сама. Однако из трех тысяч рё они изволили отдать всего лишь сто. Должны были нам еще Инсю-сама, но они в залог наших четырехста рё прислали всего-то тушечницу из Акамагасэки. Вдобавок у нас несколько раз случался пожар, и в лавке зонтиков, которую мы держали, дела шли плохо, так что в то время почти все наши ценные вещи одна за другой шли на продажу, чтобы было на что жить.

И тут антиквар Маруса, явившийся уговорить отца продать куклы... он давно уже умер... это был лысый человек, и

¹ Перевод В. Марковой.

не было ничего более странного, чем его лысина: в самой ее середине, точно черный пластырь, красовалась татуировка. Он сам рассказывал, что в молодости сделал ее, чтобы скрыть показавшуюся плешь, но, к несчастью, потом вся голова у него облысела и на макушке осталось только черное пятно татуировки. Как бы там ни было, отец, видимо, жалел меня — мне было тогда пятнадцать лет, — и хотя Маруса не раз его уговаривал, все не решался расстаться с куклами.

В конце концов продал их мой брат Эйкити... его тоже уже нет в живых, а тогда ему было только восемнадцать, и он был очень вспыльчивый. Эйкити был просвещенным молодым человеком, не выпускал из рук английских книжек и интересовался политикой. Когда зашел разговор о куклах-хина, он стал насмехаться, что праздник кукол — устаревший обычай, что незачем сохранять такие ни на что не нужные вещи и все такое. Сколько раз он из-за этого спорил с матерью, женщиной старого склада. Но если расстаться с хина, то можно будет справиться конец года, поэтому, наверное, мать, помня, как трудно приходится отцу, не слишком настойчиво возражала брату. Итак, продажа наших кукол американцу из Йокогама была назначена на середину ноября. А что же я? Мало было от меня толку. Пустая была девочка. И не очень-то огорчался — ведь отец обещал купить мне новый оби из лилового атласа.

На другой вечер после этой договоренности Маруса пришел к нам, предварительно съездив в Йокогама.

После третьего пожара мы больше не строились... Просто кое-как оборудовали под жилье оставшуюся часть дома да сделали временную пристройку под лавку. Мы тогда держали модную в ту пору аптеку — в ней над шкафчиками с разными китайскими пилюлями и снадобьями красовались таблички с выведенными золотом названиями. Там горел и незатухающий светильник... Может быть, это название вам непонятно. Это был светильник старого образца, в котором вместо керосина употреблялось гарное масло. До сих пор при запахе китайских лекарств — мандариновой цедры или кольчатого ревеня — я невольно вспоминаю этот светильник. Забавно, правда? И в тот вечер от светильника, смешиваясь с запахом лекарств, струился тусклый свет.

Лысый антиквар Маруса и отец — с подстриженными спутанными волосами — сидели под лампой.

— Итак, вот половина суммы... пожалуйста, пересчитайте...

Это была пачка кредиток, которую, покончив с полагающимися приветствиями, достал Маруса. Было условлено, что в этот день отец получит задаток. Отец протянул руку и, ни слова не промолвив, поклонился. И вот... По приказанию матери я как раз вошла, чтобы подать чай. Но когда я хотела поставить чашки, Маруса вдруг громко произнес: «Так не годится!» Подумав, что он говорит о чае, я остолбенела, но, взглянув на антиквара, увидела, что перед ним лежит еще одна тщательно завернутая пачка денег.

— Это просто пустяк, но в знак благодарности...

— Нет, благодарности мне уже довольно, пожалуйста, возьмите назад.

— Что вы... не стыдите меня...

— Вы шутите, это вы меня стыдите. Вы же для меня не чужой человек, еще вашему батюшке Маруса столько обязан. Не держитесь так сухо, и покончим с этим... Милая барышня, как сегодня у вас красиво уложены волосы!

Равнодушно выслушав эти пререкания, я ушла в жилую часть дома.

Размером она была примерно в двадцать дэё. Довольно просторное помещение, но там стоял и комод, и продолговатое хибати, и длинный сундук, и полки для разных вещей, так что в общем казалось тесно. Среди всей этой обстановки больше всего обращали на себя внимание около тридцати деревянных ящичков из павлонии. Незачем вам и говорить, что это были они: ящички для кукол. Они были составлены под окном, уже приготовленные для продажи. Поскольку светильник был унесен в лавку, в комнате горел фонарь. При свете этого старинного фонаря мать шила мешочки для лекарств, а брат за стареньким столом копался в своих английских книгах. Все было как обычно. Но, взглянув на мать, я вдруг увидела, что под опущенными веками глаза у нее были полны слез.

Подав чай, я ожидала — может быть, немного преувеличенно говоря, — похвал от матери, а она плачет? Я не столь-

ко огорчилась, сколько растерялась и, стараясь не смотреть на мать, уселась возле брата. И тут брат вдруг поднял глаза. Подозрительно переведя несколько раз глаза с меня на мать, он вдруг как-то странно засмеялся и опять принялся за чтение поперечных строчек. Никогда еще я не чувствовала такой ненависти к брату, сующему мне под нос свое просвещение, как в эту минуту. Смеется над матерью — так я подумала. И изо всей силы ударила его по спине.

— Это еще что такое? — спросил он, сердито взглянув на меня.

— И буду бить! — И я со слезами еще раз замахнулась на него. В эту минуту я совсем забыла о его вспыльчивости. Но не успела еще моя рука опуститься, как он влепил мне пощечину.

— Дуреха!

Разумеется, я расплакалась. И как раз в это время на брата свалился железный аршин. Он в негодовании набросился на мать. Но это матери не понравилось, и она дрожащим тихим голосом его побранила.

Я все еще жалобно плакала. До тех пор, пока, проведив антиквара Маруса, не вернулся отец с светильником в руках... Не только я, но и брат при виде его лица тут же при молкли. Брат — обо мне уж и говорить нечего — никого так не боялся, как нашего молчаливого отца.

В этот вечер было решено, что в конце месяца, после получения второй половины денег, куклы будут переданы американцу из Йокогама. За сколько? Как подумаешь теперь, кажется смехотворным, — как мне помнится, за тридцать иен. Но по тогдашним ценам это, без сомнения, было очень дорого.

Тем временем понемногу приближался день, когда предстояло расстаться с куклами. Как я уже говорила, я не особенно огорчилась. Хотя я и была еще ребенком, но уже тогда понимала, что когда-нибудь расстанусь с куклами. Мне только хотелось, прежде чем отдавать их в чужие руки, еще раз как следует на них поглядеть. Еще раз полюбоваться в этой комнате на императора и императрицу, на пять оркестрантов, на вишню справа и цитрус-таибана слева, на фонари, на ширмы и лаковые, обсыпанные золотой пылью столики

и шкафчики. Но сколько раз я ни просила, упрямый отец ни разу мне этого не позволил. «Раз я получил задаток, это уже чужая вещь. Вертеть в руках чужие вещи не полагается», — говорил он.

Был ветреный день близко к концу месяца. Мать, то ли от простуды, то ли оттого, что у нее распухла нижняя губа, чувствовала себя плохо и даже не стала завтракать. Прибрав вместе со мной в кухне, она уселась у хибати, подпирая опущенную голову рукой. Около полудня, когда она подняла голову, я увидела, что опухоль на губе у нее стала больше, точно красная картофелина, а по лихорадочно блестящим глазам видно было, что у ней сильный жар. Я перепугалась и не помня себя бросилась в лавку к отцу.

— Папа! Папа! С мамой худо!

Отец, а с отцом и брат, который оказался там же, пошли в комнату. Страшное лицо матери их ошеломило. Даже отец, никогда попусту не волновавшийся, стоял как остолбенелый и не мог произнести ни слова. Но мать, собрав силы, с улыбкой сказала:

— Ничего страшного нет. Просто я поцарапала опухоль... Сейчас приготовлю еду.

Отец почти сердито перебил ее:

— Эйкити! Пойди позови Хомма-сан!

Брат со всех ног бросился на улицу прямо под порывы страшного ветра.

Хомма-сан — врач, специалист по китайской медицине, которого брат всегда насмешливо называл знахарем, он тоже, увидев мать, в замешательстве скрестил руки. Опухоль матери называлась карбункул... Конечно, если прибегнуть к операции, карбункул не так уж страшен, но, к несчастью, в то время об операции и не думали, — только давали пить отвары да ставили пиявки, в этом и состояло все лечение. Отец каждый день у постели готовил матери отвар из лекарственных Хомма-сан, а брат каждый день ходил покупать на пятнадцать сэн пиявок. А я... я потихоньку от брата ходила в ближайший храм Инари-сама и совершала стократный обход. При таких обстоятельствах уже никак нельзя было заговорить о куклах. И никто, начиная с меня, и взгляда не ки-

дал на составленные у стены тридцать ящичков из павлонии.

И вот 29 ноября, накануне того дня, когда предстояло расстаться с куклами-хина, при мысли, что сегодня я последний день с ними, мне так захотелось еще хоть раз открыть эти ящички, что я места себе не находила. Как отца ни проси, он не разрешит. Поговорить с матерью — у меня мелькнула эта мысль, но в это время матери сделалось еще хуже. Она могла только глотать питье, больше ничего в рот не проходило, к тому же во рту у ней стал скапливаться гной с кровью. Хотя мне было только пятнадцать лет, но с такой больной матерью заговаривать о том, чтоб вынуть куклы, и у меня духу не хватало. С утра я сидела у ее постели, следила за тем, как она себя чувствует, и до восьми часов не сказала ни слова.

Но перед глазами у меня все время под окном, затянутым металлической сеткой, высились сложенные горкой ящички из павлонии. И эти ящички с хина, когда пройдет ночь, перейдут в дом иностранца в далекой Йокогама... а может быть, отправятся в Америку. При этой мысли терпение мое истощилось. Воспользовавшись тем, что мать уснула, я тихонько вышла в лавку. Хотя она не была солнечной, но, хотя бы потому, что из нее было видно уличное движение, в ней по сравнению с жилой комнатой казалось веселее. Отец проверял счета, а брат тщательно клал в аптечную ступку лакричник.

— Папа, прошу тебя ради всего святого...

И, глядя на отца, я высказала свою всегдашнюю просьбу. Но отец не только не дал согласия, но даже, видимо, не желал разговаривать со мной.

— Разве время говорить об этом? . Эй, Эйкити! Сегодня, пока не стемнело, сходи-ка к Маруса.

— К Маруса? Сходить к нему?

— Да, сходи за лампой. Принеси ее оттуда.

— Но ведь у Маруса нет лампы?

Отец, усмехнувшись, взглянул на меня.

— Не подсвечник же у него. Я просил его купить лампу. Это вернее, чем купить самому.

— Значит, светильника у нас больше не будет?

— Ему уже пора в отставку.

— Многое из старого надо выбросить. Во-первых, с лампой и маме будет веселее.

И отец опять принялся шелкать на счетах. Но чем меньше он обращал на меня внимания, тем сильнее становилось мое желание. Я еще раз сзади потрясла отца за плечо.

— Ну, папа...

— Отстань! — сердито, не оборачиваясь, отозвался отец. Да и брат косился на меня с досадой. Совсем поникнув духом, я тихонько вернулась в комнату. Мать, проснувшись, смотрела лихорадочными глазами на свою приподнятую руку. Увидев меня, она ясным голосом произнесла:

— За что отец на тебя рассердился?

Я не знала, что ей ответить.

— Опять сказала что-то, чего не следует?

Она пристально смотрела на меня, но на этот раз говорила с трудом:

— Ты видишь, как я больна... Что бы отец ни делал, ты должна слушаться. Пусть соседская девочка то и дело ходит в театр.

— Не нужно мне никакого театра, только...

— Не один ведь театр, и красивые шпильки, и нарядные воротнички, мало ли чего тебе хочется...

Пока она говорила, меня охватила такая жалость, такая грусть, что я расплакалась.

— Нет, мама... я ничего... мне ничего не надо, только, прежде чем продать куклы...

— Куклы? Прежде чем продать куклы? — Мать широко раскрыла глаза.

Я запнулась. В эту минуту за моей спиной вдруг оказался брат Эйкити. Глядя на меня с высоты своего роста, он сухо произнес:

— Дуреха! Опять о куклах? Забыла, как отец на тебя рассердился?

— Перестань злиться.

Мать устало закрыла глаза. Но брат, точно не слыша, продолжал ругать меня:

— Тебе уже пятнадцать лет, а разума не нажила! Нашла чем дорожить — куклами!

— А тебе что за дело? Не твои ведь! — возразила я, не сдаваясь. И пошло, и пошло. Слово за слово — пока брат не схватил меня за шиворот и не бросил на пол.

— Вертихвостка!

Если бы мать не вмешалась, он бы меня еще и пристукнул. Но она, приподняв голову с подушки, задыхаясь, сердито сказала:

— О-Цуру ничего плохого не сделала... нельзя так с ней обращаться.

— Да ведь ей сколько ни говори, она не слушает.

— Нет, ты не любишь не только О-Цуру, ты и меня... и меня... — С глазами, полными слез, мать жалобно запинаясь. — Ты и меня не любишь? Иначе почему ж ты теперь, когда я больна, решил продать... продать куклы, почему ж ты набросился на ни в чем не повинную О-Цуру? Почему ты все это делаешь? Значит, ты меня не любишь...

— Мама! — вдруг воскликнул Эйкити и прикрыл лицо локтем. И брат, который, даже когда умирали отец и мать, не пролил ни слезинки, который всю жизнь занимался политической и, пока не попал в психиатрическую больницу, ни разу не выказал ни в чем слабости, — мой брат громко заплакал. Это поразило даже разволновавшуюся мать. Глубоко вздохнув, не произнеся то, что собиралась сказать, она откинулась на подушку.

Прошло около часа. Появился давно уже не заходивший в лавку рыбак Токудзо. Нет, не рыбак, он был рыбником раньше, а потом стал возчиком-рикшей, совсем недавно. О нем ходило много всяких забавных рассказов. До сих пор помню рассказ о фамилии. После революции Токудзо тоже захотел иметь фамилию, но уж если иметь, то шикарную, и он решил взять фамилию Токутава. Однако, когда он подал заявление, его выругали, да и не могли не выругать. По его словам, они грозились даже снести ему голову. Он подъехал ко входу в лавку, таща свою коляску, разукрашенную китайскими картинками пионов и львов. Оказалось, что, так как у него не было сегодня работы, он хотел бы прокатить ба-рышню в Айдзудубара и по улицам с каменными домами, — так он сказал.

— Ну как, О-Цуру?

Отец серьезно взглянул на меня, когда я вышла в лавку, чтобы посмотреть на рикшу. Теперь-то для детей покатайся на рикше не такое уж удовольствие. Но для меня тогда это была самая большая радость. Но поехать просто так, когда мать больна, и сразу после той сцены — было нехорошо, и я, все еще совершенно потерянная, ответила еле слышно: «Хочу».

— Ну так пойди спроси мать. Токудзо ведь специально подъехал.

Мать, как я и думала, не раскрывая глаз, с улыбкой сказала: «Прекрасно!» Моего злого брата, к счастью, не было дома — он ушел к Маруса. Я, позабыв о слезах, быстро вскочила в коляску и прикрыла колени красным шерстяным одеялом... Колеса загрохотали, я поехала...

Нет надобности рассказывать вам о том, что представляли собой тогда виды города. Расскажу только о недовольстве Токудзо. Не успел он выехать на улицу с каменными домами, как столкнулся с конным экипажем, в котором сидела европейка. Кое-как обошлось, и, щелкнув языком, Токудзо сказал:

— Эх, неладно вышло. Барышня слишком легонькая, вот ноги у меня, самое главное, и не ступают твердо... барышня. Жалко возчика-рикшу. Моложе, чем двадцатилетних, не следует катать.

С этой улицы рикша свернул в переулок к нам домой. И вдруг нам повстречался Эйкити. Он торопливо шел куда-то, держа в руках большую лампу с закопченной бамбуковой рукояткой. Увидев меня, он сделал знак «Подожди!» — и поднес мне лампу. Токудзо как раз, повернув оглобли, подкатил коляску прямо к нему.

— Спасибо, Току-сан. Куда вы едете?

— Сегодня показываю барышне Эдо.

Брат, насмешливо улыбаясь, подошел поближе.

— О-Цуру, отвези эту лампу. Я зайду за керосином.

Помня о недавней ссоре, я ничего не ответила, только взяла лампу. Брат сделал несколько шагов, но вдруг опять обернулся ко мне и, положив руку на защитный щиток коляски, сказал:

— О-Цуру, не говори больше с отцом о куклах.

Я по-прежнему молчала. Так он давеча меня мучил, а теперь опять за то же. Но брат, не обращая внимания, тихо продолжал:

— Отец не позволяет тебе их посмотреть не только потому, что получил задаток. Если на них смотреть, всем станет жалко, — ты об этом не подумала? Поняла? Если поняла, то не говори больше о том, что хочешь их видеть.

В голосе брата мне послышалось небывалое для него чувство. Но он был странный человек. Только что мне показалось, что его голос звучит с грустью, а он уже, точно запугивая меня, говорил:

— Если не скажешь, то и от меня тебе больше не попадет.

Раздраженно бросив эти слова, он, не попрощавшись с Токудзо, поспешно ушел.

Вечером мы вчетвером сидели за ужином вокруг стола. Правда, мать лежала в постели, так что ее нельзя было включать в число сидящих за столом. Но за ужином в этот вечер было веселее, чем обычно. Незачем и говорить отчего. Вместо тусклого светильника в этот вечер кругом разливался свет новой лампы. И я, и брат за едой время от времени смотрели на лампу — на красивую диковинную лампу со стеклянным сосудом, в котором просвечивал налитый в нем керосин, с немигающим ярким пламенем.

— Светло, точно днем, — сказал довольным тоном отец, обращаясь к матери.

— Она почти ослепляет, — с легкой тревогой ответила мать.

— Потому что ты привыкла к светильнику... Но если раз зажжешь лампу, потом уж светильник не станешь зажигать.

— Все сначала ослепляет, и лампа, и европейская наука.

Больше всех радовался брат.

— А все-таки когда привыкнешь, будет то же самое. Наверно, скоро придет время, когда и эта лампа покажется темной.

— Может быть, и так, кто знает... О-Цуру, приготовила ты матери рисовый отвар?

— У нас на сегодня уже довольно, — ответила я как ни в чем не бывало, повторяя то, что мне сказала мать.

— Чего ж так? Совсем не хочется есть?

В ответ на вопрос отца мать вздохнула.

— Этот запах керосина... вот доказательство, что я человек старого склада.

До тех пор мы почти молча только шевелили нашими хаси. Но мать, как будто вспомнив, стала время от времени хвалить яркий свет лампы. И на ее вспухших губах даже показалось что-то вроде улыбки.

В этот вечер мы легли спать после одиннадцати. Но я, хоть и закрыла глаза, никак не могла уснуть. Брат два раза предупредил меня о куклах. И я уже смирилась с тем, что не могу вынуть их посмотреть. Но сделать это мне хотелось так же, как раньше. Завтра куклам-хина конец, завтра их увезут далеко, — при этой мысли глаза у меня наполнились слезами. А что, если сейчас, пока все спят, тихонько достать их? Или взять один из ящичков и где-нибудь спрятать. Но вдруг меня на этом застигнут?! Я заколебалась. Честно говоря, я не помню, чтобы хоть когда-нибудь у меня были такие ужасные мысли, как в ту ночь. Ах, если б этой ночью произошел пожар! Тогда куклы не попали бы в чужие руки, а сгорели бы. Или хорошо бы, чтобы и американец, и лысый антиквар Маруса заболели холерой. Тогда можно было бы куклы никому не отдавать, а хранить дома, — такие мечты мелькали у меня в голове. Но что ни говори, я ведь была еще ребенок, и не прошло и часа, как я незаметно уснула.

Не знаю, через сколько времени, но я вдруг проснулась, услышав, что при слабом свете фонаря кто-то в комнате движется. Крыса? Или вор? Или уже рассвет? Теряясь в догадках, я робко приоткрыла глаза. И увидела, что возле моей постели в ночном кимоно сидит отец, повернувшись ко мне в профиль. Отец!.. Но меня поразил не только вид отца. Перед отцом были расставлены мои куклы — мои хина, которые я не видела со дня праздника кукол!

Были ли это сон? Затаив дыхание, я уставилась на это чудо. При тусклом свете фонаря я смотрела на императора со скипетром из слоновой кости в руке, на императрицу с коралловым венцом, на цитрус-татибана справа и вишню слева, на пажа, державшего раскрытый солнечный зонтик с длинной ручкой, на фрейлину с подносом в руках, на лаковый с золотыми узорами туалетный столик и лаковый комо-

дик, на кукольные ширмы, разукрашенные ракушками, на столики, чашки, на расписной фонарь, на шары из цветных ниток, я смотрела на профиль отца...

Были ли это сон? Я уже это вам говорила. Но были ли куклы этой ночи действительно сном? Или это было видение, созданное обуревавшим меня желанием? До сих пор я сама не могу найти ответа.

Но этой поздней ночью я видела, как мой старый отец смотрит на кукол. Это я знаю твердо. Поэтому пусть это был только сон, я не жалею. Во всяком случае, я видела отца, ничем не отличавшегося от меня, женственного... и все же строгого отца.

* * *

Рассказ «Куклы-хина» я стал писать не помню сколько лет назад. Сейчас я принялся за него снова не только по предложению г-на Такита, а потому, что в это время, на днях, в гостиную одного англичанина в Йокогама увидел рыжеволосую девочку, которая играла головой старой куклы-хина. Может быть, и куклы, о которых говорится в этом рассказе, сейчас тоже подверглись горькой участи лежать в одной коробке с резиновыми куклами и свинцовыми солдатиками.

Февраль 1923 г.

ИЗ ЗАПИСОК ЯСУКИТИ

Гав

Однажды в зимний день, под вечер, Ясукити сидел в маленьком грязном ресторанчике на втором этаже и жевал пропахшие несвежим жиром гренки. Напротив его столика, на растрескавшейся белой стене, криво висела узкая длинная полоска бумаги. На ней была надпись: «Всегда хотто (горячие) сандвичи». (Один из его приятелей прочел: «облегченные¹ (горячие) сандвичи» — и всерьез удивился.) Слева от столика — лестница, которая вела вниз, справа — застекленное окно. Жуя гренки, он рассеянно поглядывал в окно. На противоположной стороне улицы виднелась лавка старьевщика, в которой висели синие рабочие тужурки, плащи цвета хаки.

Английский вечер на курсах начнется в половине седьмого. Он должен там быть, и, поскольку он приезжий, ему лишь оставалось торчать здесь после занятий до половины седьмого, хотя это и не доставляло ему никакого удовольствия. Помнится, в стихотворении Токи Дзэнмаро (если ошибаюсь, прошу меня простить) говорится: «Я уехал далеко, должен есть бифштекс дерьмовый — люблю тебя, жена, люблю». Эти стихи приходили ему на память каждый раз, когда он приезжал сюда. Правда, женой, которую нужно было любить, он еще не обзавелся. Когда он, то поглядывая в окно на лавку старьевщика, то на «хотто (горячие) сандвичи», жевал пропахшие несвежим жиром гренки, слова «люблю тебя, жена, люблю» сами срывались с губ.

¹ Непереводимая игра слов: «хотто» — «горячий», от английского «hot» — «горячий». Есть японское слово «хотто» — «испытывать чувство облегчения».

Вдруг Ясукити обратил внимание на двух морских офицеров, пивших пиво. Один из них был интендантом военной школы, где преподавал Ясукити. Они были мало знакомы, и Ясукити не знал его имени. Да и не только имени. Не знал даже, младший он лейтенант или лейтенант. Словом, знал его постольку, поскольку ежемесячно получал у него жалованье. Требуя все новые порции пива, они не находили других слов, кроме «эй» или «послушай». И официантка, никак не выражая своего неудовольствия, со стаканами в руках снова ла по лестнице вверх и вниз. Потому-то она и не несла несчастную чашку чая, заказанную Ясукити. Так случилось с ним не только здесь. То же бывало во всех других кафе и ресторанах этого города.

Они пили пиво и громко разговаривали. Ясукити, разумеется, не прислушивался к их разговору. Но неожиданно его удивили слова: «А ну, погавкай». Он не любил собак. Он был из тех, кто радовался, что среди писателей, не любивших собак, были Гёте и Стриндберг. Услышав эти слова, он представил себе огромного пса, которого здесь держат. И ему стало как-то не по себе при мысли, что собака бродит у него за спиной. Он украдкой оглянулся. Но там был все тот же ухмыляющийся интендант, который глядел в окно. Ясукити предположил, что пес под окном. Но это показалось ему несколько странным. А интендант снова повторил: «Гавкни. Ну, гавкни». Ясукити, слегка наклонившись, глянул вниз. Первое, что бросилось в глаза, — еще не зажженный у входа фонарь, служивший одновременно и рекламой сакэ «Масамунэ». Потом — поднятая штора. Потом — носки, сшившиеся на краю кадки для дождевой воды, точнее, пустой пивной бочки, и забытые там. Потом — лужа на дороге. Потом — ну что ты скажешь, собаки нигде не было видно. Вместо нее он заметил нищего лет двенадцати-тринадцати, который стоял на холоде, запрокинув голову и глядя на окно второго этажа.

— Гавкни! Ну, гавкни же! — опять закричал интендант.

В этих словах была какая-то магическая сила, притягивавшая нищего. Точно сомнамбула, неотрывно глядя вверх, нищий сделал два-три шага и подошел под самое окно. Тут

то Ясуцити и увидел, в чем состояла проделка гнусного интенданта. Проделка? А может быть, совсем не проделка. И если нет, то, значит, это был эксперимент. Эксперимент, который должен был выявить: как низко может пасть человек, принося в жертву собственное достоинство ради того, чтобы набить брюхо. Ясуцити считал, что это вопрос решенный и не нуждается в подобных экспериментах. Исав ради печеного мяса отказался от права первородства. Сам Ясуцити ради хлеба стал учителем. Фактов как будто вполне достаточно. Но, видимо, их было недостаточно для психолога-экспериментатора, жаждущего опыта. В общем, De gustibus non est disputandum, только сегодня он говорил это своим ученикам. Кому что нравится. Хочешь экспериментировать — экспериментировуй. Думая так, Ясуцити продолжал смотреть на нищего под окном.

Интендант замолчал. А нищий стал с беспокойством озираться по сторонам. Он уже готов был изобразить собаку, и единственное, что его смущало, — это взгляды прохожих. Глаза его еще продолжали бегать, когда интендант высунул в окно свою красную морду и стал ему что-то показывать.

— Погавкай. Погавкаешь, получишь вот это.

Лицо нищего мгновенно вспыхнуло от жадности. Ясуцити временами испытывал к нищим какой-то романтический интерес. Но никогда это не было состраданием или сочувствием. И он считал дураком или лжецом всякого, кто говорил, что испытывает к ним такие чувства. Но сейчас, глядя на этого ребенка-нищего с запрокинутой головой и горящими глазами, он почувствовал что-то вроде жалости. Именно «вроде». Ясуцити действительно испытывал не столько жалость, сколько любовался фигуркой нищего, точно выписанной Рембрандтом.

— Не будешь? Ну, гавкни же.

Нищий сморщился:

— Гав.

Голос у него был очень тихий.

— Громче.

— Гав, гав.

Нищий громко пролаял два раза. И тут же из окна поле-

тел апельсин. Дальше можно и не писать. Нищий; конечно, подбежит к апельсину, а интендант, конечно, засмеется.

Не прошло и недели, как Ясуцити в день зарплаты пошел в финансовую часть получать жалованье. Интендант с деловым видом раскрывал разные папки, перелистывал в них какие-то документы. Взглянув на Ясуцити, он спросил односложно: «Жалованье?» — «Да», — в тон ему ответил Ясуцити. Интендант, может быть, был занят и все не выдавал жалованья. В конце концов он просто повернул к Ясуцити спину, обтянутую военным мундиром, и начал нескончаемое перебрасывание костяшек на счетах.

— Интендант.

Это умоляюще сказал Ясуцити, подождав немного. Интендант повернулся к нему. С его губ уже совсем готово было сорваться «сейчас». Но Ясуцити опередил его и закончил свою мысль:

— Интендант. Может быть, мне гавкнуть? А, интендант?

Ясуцити был уверен, что голос его, когда он говорил это, был нежнее, чем у ангела.

ИНОСТРАНЦЫ

В этой школе было два иностранца, они обучали разговорному и письменному английскому языку. Один — англичанин Таундсенд, другой — американец Столлет.

Таундсенд, лысый добродушный старичок, прекрасно знал японский язык. Издавна повелось, что преподаватели иностранцы, даже самые необразованные, любят поговорить о Шекспире, о Гёте. Но, к счастью, Таундсенд не претендовал на осведомленность в литературе. Однажды зашла речь о Вордсворте, и он сказал: «Стихи — вот их я совсем не понимаю. Чем хорош этот Вордсворт?»

Ясуцити жил с Таундсендом на одной даче и ездил с ним в школу и обратно одним поездом. Дорога отнимала минут двадцать. И они оба, с глазгоскими трубками в зубах, болтали о табаке, о школе, о призраках. Таундсенд, будучи теософом, хотя и оставался равнодушным к Гамлету, тем не менее испытывал интерес к тени его отца. Но как только разговор

заходил об occult sciences, будь то магия или алхимия, он, грустно покачивая головой и в такт ей трубкой, говорил: «Дверь в таинство открыть не так трудно, как думают невежественные люди. Наоборот, страшно то, что трудно ее закрыть. Лучше не касаться таких вещей».

Столлет, совсем еще молодой, был охотником до шуток. Зимой он носил темно-зеленое пальто и красный шарф. В отличие от Таундсенда, он время от времени просматривал книжные новинки. Во всяком случае, иногда читал на английских вечерах лекции на тему: «Современные американские писатели». Правда, по его лекциям получалось, что самыми крупными современными американскими писателями были Роберт Льюис Стивенсон и О'Генри!

Столлет жил не на одной с Ясукити даче, но по той же дороге в небольшом городке, и поэтому довольно часто они вместе ездили в поезде. Ясукити почти совсем не помнил, о чем они говорили. Осталось в памяти лишь то, как однажды они сидели на вокзале около печки в ожидании поезда. Ясукити говорил, зевая: «До чего же тосклива профессия педагога!» А привлекательный Столлет, в очках без оправы, сделал удивленное лицо, сказал: «Педагог — не профессия. Это скорее дар Божий. You know, Socrates and Platon are two great teachers... Etc.»¹

Роберт Льюис Стивенсон, называя он его янки или кем-либо еще, — это в конце концов не важно. Но он говорил, что Сократ и Платон педагоги — и с тех пор Ясукити проникился к нему симпатией.

ДНЕВНОЙ ОТДЫХ (Фантазия)

Ясукити вышел из столовой, расположенной на втором этаже. Преподаватели языка и литературы после обеда шли, как правило, в находившуюся по соседству курительную комнату. Ясукити же решил не заходить сегодня туда и стал спускаться по лестнице во двор. Навстречу ему, точно кузне-

чик, перепрыгивая через три ступеньки, взбегал унтер-офицер. Увидев Ясукити, он приосанился и отдал честь. Видимо, немного поторопившись, он проскочил мимо Ясукити. Ясукити слегка поклонился пустоте и продолжал спокойно спускаться с лестницы.

Во дворе, между подокарпов и торрей цвели магнолии. Цветы одного вида магнолии почему-то не были обращены к югу, в сторону солнца. А вот у другого вида росшей здесь магнолии цветы были обращены к югу. Ясукити, закуривая сигарету, поздравил магнолию с индивидуальностью. Точно кто-то бросил камешек — рядом села трясогузка. Она его совсем не боялась. И то, что она трясла своим маленьким хвостиком, означало приглашение.

— Сюда! Сюда! Не туда. Сюда! Сюда!

Следуя призывам трясогузки, Ясукити шел по усыпанной гравием дорожке. Но трясогузка — что ей почудилось? — вдруг снова взмыла в небо. И вместо нее на дорожке появился шедший навстречу высокий моторист. Ясукити показалось, что ему откуда-то знакомо его лицо. Моторист отдал честь и быстро прошел мимо. А Ясукити, дымя сигаретой, продолжал думать, кто же это такой. Два шага, три шага, пять шагов — на десятом он вспомнил. Это Поль Гоген. Или перевоплощение Гогена. Он, несомненно, возьмет сейчас вместо совка кисть. А позже будет убит сумасшедшим товарищем, который выстрелит ему в спину. Очень жаль, но ничего не поделаешь.

В конце концов Ясукити вышел по дорожке к плацу перед парадным входом. Там, между соснами и бамбуком, стояли две трофейные пушки. Он на миг приложился ухом к стволу — звук был такой, будто пушка дышит. Может быть, и пушки зевают. Он присел под пушкой. Потом закурил вторую сигарету. На гравии в круглом садике блестела ящерица. Если у человека оторвать ногу — конец, она никогда больше не вырастет. Если же у ящерицы оторвать хвост, у нее вскоре появится новый. Зажав сигарету в зубах, Ясукити думал, что ящерица-ламаркианка больше, чем сам Ламарк. Он смотрел на нее некоторое время, и ящерица вдруг превратилась в полоску мазута, пролитого на гравий.

¹ Ведь Сократ и Платон — два великих учителя... и т. д. (англ.).

Ясукити с трудом поднялся. Он пошел вдоль выкрашенного здания школы, направляясь в противоположный конец двора, и оказался на спортивной площадке, обращенной к морю. На теннисном корте, посыпанном красным песком, самозабвенно состязаются несколько офицеров и преподавателей. В небе над кортом то и дело что-то взрывается. И одновременно то вправо, то влево от сетки мелькает беловатая линия. Это не мяч. Это открывают невидимые бутылки шампанского. И шампанское с удовольствием пьют боги в белых рубахах. Вознося хвалу богам, Ясукити повернул на задний двор.

Задний двор был весь в розовых кустах. Но не распустился еще ни один цветок. Подойдя к кусту, он заметил на склоненной почти до земли ветке гусеницу. А вот еще одна ползет по соседнему листку. Гусеницы кивали друг другу, будто разговаривая о нем. Ясукити тихонько остановился и решил послушать.

Первая гусеница. Когда же этот учитель станет наконец бабочкой? Ведь еще со времени наших прапрапрадедов он только и делает, что ползает по земле.

Вторая гусеница. Может быть, люди и не превращаются в бабочек.

Первая гусеница. Нет, вроде бы превращаются. Посмотри, кто-то летает.

Вторая гусеница. Ну конечно же, кто-то летает. Но как это отвратительно выглядит! Мне кажется, люди лишены даже чувства прекрасного.

Приложив ладонь козырьком ко лбу, Ясукити стал смотреть на самолет, пролетающий над его головой.

Неизвестно чему радуясь, подошел дьявол, обернувшийся товарищем по работе. Дьявол, учивший в прошлые времена алхимии, преподавал сейчас прикладную химию. И это существо, ухмыляясь, обратилось к Ясукити:

— Вечером встретимся?

В ухмылке дьявола Ясукити отчетливо слышались строчки из «Фауста»: «Теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни древо»¹.

¹ Перевод Б. Пастернака.

Расставшись с дьяволом, он направился к школе. Все классы пусты. По дороге заглядывая в каждый, Ясукити увидел в одном оставшийся на доске геометрический чертеж. Чертеж, поняв, что его заметили, подумал, конечно, что его сотрут. И вдруг, то растягиваясь, то сжимаясь, произнес:

— На следующем уроке еще понадобится.

Ясукити поднялся по той же лестнице, по которой спустился, и вошел в преподавательскую филологов и математиков. В преподавательской был только лысый Таундсенд. И этот старый педагог, насвистывая скучнейший мотив, пытался воспроизвести какой-то танец. Ясукити лишь улыбнулся горько и пошел к умывальнику сполоснуть руки. И там, взглянув неожиданно в зеркало, он, к ужасу своему, обнаружил, что Таундсенд в какой-то миг превратился в прекрасного юношу, а сам Ясукити стал согбенным седоголовым старцем.

Стыд

Перед тем как идти в класс, Ясукити обязательно просматривал учебник. И не только из чувства долга: раз получаешь зарплату, не имеешь права относиться к работе спустя рукава. Просто в учебнике было множество морских терминов, что объяснялось самим профилем школы. И если их как следует не изучить, в переводе легко допустить грубейшую ошибку. Например, выражение *cat's paw* может означать «кошачья лапа» и в то же время «бриз».

Однажды с учениками второго курса он читал какую-то небольшую вещицу, в которой рассказывалось о морском путешествии. Она была поразительно плоха. И хотя в мачтах завывал ветер и в лоуки врывались волны, со страниц не вставали ни эти волны, ни этот ветер. Заставляя учеников читать и переводить, он в первую очередь сам скучал. Не было более неподходящего времени, чтобы вызвать у учеников интерес к идейным проблемам или хотя бы проблемам повседневной жизни. Преподаватель ведь, в сущности, хочет обучить и тому, что выходит за рамки его предмета. Мораль, приверженность, мировоззрение — можно назвать это

как угодно. В общем, он хочет научить тому, что ближе его сердцу, чем учебник или грифельная доска. Но, к сожалению, ученики не хотят знать ничего, кроме учебника. Нет, не то чтобы не хотят. Они просто ненавидят учение. Ясуцити был в этом убежден, поэтому и на сей раз ему не оставалось ничего другого, как, преодолевая скуку, следить за чтением и переводом.

Но даже в те минуты, когда Ясуцити не бывало скучно, когда он, внимательно прислушавшись к тому, как читает и переводит ученик, обстоятельно поправлял ошибку, даже в эти минуты все ему было достаточно противно. Не прошло и половины урока, который длится час, как он прекратил чтение и перевод. Вместо этого он стал сам читать и переводить абзац за абзацем. Морское путешествие в учебнике по-прежнему было невыразимо скучным. Но и его метод обучения ни капли не уступал ему в невыразимой скуке. Подобно паруснику, попавшему в полосу штиля, он неуверенно, то и дело замирая на месте, продвигался вперед, либо путая время глагола, либо смешивая относительные местоимения.

И вдруг Ясуцити заметил, что до конца того куска, который он подготовил, осталось всего пять-шесть строк. Если он перевалит через них, то попадет в коварное, бушующее море, полное рифов, морской терминологии. Краешком глаза он посмотрел на часы. До трубы, возвещавшей перерыв, оставалось еще целых двадцать минут. Со всей возможной тщательностью он перевел подготовленные им последние пять-шесть строк. Но вот перевод уже закончен, а стрелка часов за это время передвинулась всего на три минуты.

Ясуцити некуда было деваться. Единственный выход, единственное, что могло спасти его, — вопросы учеников. А если и после этого останется время, тогда только один выход — закончить урок раньше. Откладывая учебник в сторону, он открыл было рот, чтобы сказать: «Вопросы?» И вдруг густо покраснел. Почему же он покраснел? Этого он и сам не смог бы объяснить. Обмануть учеников было для него пустяковым делом, а на этот раз он почему-то покраснел. Ученики ничего, конечно, не подозревая, внимательно

смотрели на него. Он снова посмотрел на часы. Потом... Едва взяв в руки учебник, начал как попало читать дальше.

Может быть, и потом морское путешествие в учебнике было скучным. Но в метод, каким он обучал, Ясуцити верит и поныне. Ясуцити был преисполнен отваги больше, чем парусник, борющийся с тайфуном.

ДОБЛЕСТНЫЙ ЧАСОВОЙ

В конце осени или в начале зимы — точно не помню. Во всяком случае, это было время, когда в школу ходили в пальто. Все сели за обеденный стол, и один молодой преподаватель-офицер рассказал сидевшему рядом с ним Ясуцити о недавнем происшествии.

— Глубокой ночью два-три дня назад несколько вооруженных бандитов пристали на лодке к берегу позади училища. Заметивший их часовой, который нес ночную вахту, попытался в одиночку задержать их. Но после ожесточенной схватки бандитам удалось уплыть обратно в море. Часовой же, промокнув до нитки, кое-как выбрался на берег. А лодка с бандитами в это время скрылась во мраке. Часового зовут Оура. Остался в дураках.

Офицер грустно улыбался, набивая рот хлебом.

Ясуцити тоже знал Оура. Часовые, их несколько, сменяясь, сидят в караульной около ворот. И каждый раз, когда входит или выходит преподаватель, независимо от того, военный он или штатский, они отдают честь. Ясуцити не любил, чтобы его приветствовали, и сам не любил приветствовать. Поэтому, проходя через караульную, изо всех сил ускорял шаг, чтобы не оставить времени для приветствия. Ему не удавалось усыпить бдительность лишь одного Оура. Сидя в первой караульной, он неотрывно просматривает расстояние в пять-шесть кэнов перед воротами. Поэтому, как только появляется фигура Ясуцити, он, не дожидаясь, пока тот подойдет, уже вытягивается в приветствии. Ну что же, от судьбы не уйдешь. В конце концов Ясуцити примирился с этим. Нет, не только примирился. Стоило ему увидеть Оура,

как он, чувствуя себя точно заяц перед гремучей змеей, еще издали снимал шляпу.

И вот сейчас Ясукити услышал, что из-за бандитов Оура пришлось искупаться в море. Немного сочувствуя ему, он не мог все же удержаться от улыбки.

Через пять-шесть дней в зале ожиданий на вокзале Ясукити столкнулся с Оура. Увидев его, Оура, хотя место было совсем не подходящее, вытянулся и со своей обычной серьезностью отдал честь. Ясукити даже померещился за ним вход в караульную.

— Ты недавно... — начал после непродолжительного молчания Ясукити.

— Да, не удалось бандитов задержать...

— Трудно пришлось?

— Счастье еще, что не ранили... — С горькой улыбкой, точно насмехаясь над собой, Оура продолжал: — Да что там, если бы я очень захотел, то одного уж наверняка бы задержал. Ну хорошо, задержал, а дальше что?

— Как это что дальше?

— Ни награды, ничего бы не получил. Видите ли, в уставе караульной службы нет точного указания, как поступать в таких случаях.

— Даже если погибнешь на посту?

— Все равно, даже если и погибнешь.

Ясукити взглянул на Оура. По его собственным словам выходило, что он и не собирался, как герой, рисковать жизнью. Прикинув, что никакой награды все равно не получишь, он просто-напросто отпустил бандитов, которых должен был задержать. Но Ясукити, вынимая сигарету, сочувственно кивнул:

— Действительно, дурацкое положение. Рисковать задаром нет никакого резона.

Оура понимающе хмыкнул. Выглядел он необычайно мрачным.

— Вот если бы давали награду...

Ясукити спросил угрюмо:

— Ну а если бы давали награду, разве каждый бы стал рисковать? Я что-то сомневаюсь.

На этот раз Оура промолчал. Ясукити взял сигарету в зубы, а Оура сразу же чиркнул спичкой и поднес ее Ясукити. Ясукити, приближая сигарету к красному колышущемуся огоньку, сжал зубы, чтобы подавить невольную улыбку, проскользнувшую у краешка губ.

— Благодарю.

— Ну что вы, пожалуйста.

Произнеся эти ничего не значащие слова, Оура положил спички обратно в карман. Но Ясукити уверен, что в тот день он по-настоящему разгадал тайну этого доблестного часового. Той самой спичкой чиркнул он не только для Ясукити. На самом деле Оура чиркнул ею для богов, которых он призывал в свидетели его верности бусидо.

СНЕЖОК

1

Стоял теплый весенний день. Собака по имени Снежок тихонько брела по улице вдоль живой изгороди; на ветках изгороди уже распустились почки, а кое-где попадались и цветущие вишни. Но Снежок их не видел: он брел, опустив морду и приплюсываясь к земле.

Когда изгородь кончилась, Снежок свернул в открывшийся переулочек. Но не успел он обогнуть угол, как в ужасе замер на месте.

И не удивительно: в переулочке в семи-восьми саженях от угла стоял живодер. За спиной он прятал веревку, а глазами следил за маленькой черной собачкой. А та доверчиво ела кусок хлеба, который он сам же ей бросил. Но не живодер сам по себе так испугал Снежка. Если бы дело касалось незнакомой собаки, куда ни шло. Но живодер выслеживал соседскую собаку Кляксу, его лучшего друга Кляксу, с которым Снежок встречался и обнюхивался каждое утро.

Снежок уже готов был крикнуть: «Клякса, берегись!» Но в эту минуту живодер кинул на него грозный взгляд: мол, попробуй только, предупреди! Тебе первому достанется веревка! И Снежок с перепугу забыл, что хотел залаять. Верней, не то что забыл, а побоялся залаять. Он так испугался, что не мог устоять на месте. С опаской поглядывая на живодера, Снежок стал шаг за шагом пятиться за угол. И едва только он исчез из глаз живодера за изгородью, как опрометью пустился бежать.

Должно быть, как раз в эту минуту на бедного Кляксу накинули петлю: раздался его залихватистый жалобный вопль. Но Снежок не только не вернулся — какое там, он даже не остановился. Он несся, не оглядываясь назад, не глядя

по сторонам, не смотря даже себе под ноги, он с размаху по-падал в лужи, расшвыривал камешки, опрокидывал урны... Вот он помчался под гору — стой! — чуть было не попал под машину. Неужели Снежок от страха потерял рассудок? Нет, он несся сломя голову потому, что в ушах у него неотвязно звенел вопль Кляксы:

— Гав-гав! Спасите! Гав-гав! Спасите!

2

Задыхаясь от бега, Снежок наконец добрался домой. Он проскользнул через собачий лаз в изгороди, пробежал мимо амбара и очутился в садике позади дома, где стояла его собачья будка. Снежок промчался по саду как ветер. Здесь он был в безопасности, здесь он мог не бояться веревки! К тому же — о, счастье! — в саду на зеленой траве играли в мяч его хозяева, девочка и мальчик. Помахивая хвостом, Снежок одним прыжком подскочил к детям.

— Дорогая девочка! Дорогой мальчик! Послушайте только, что сегодня со мной было! Я сейчас встретился с живодером! — сказал Снежок, еще не отдышавшись. (Впрочем, дети не понимали собачьего языка, им казалось, что это просто лай.)

Девочка и мальчик, как будто чем-то удивленные, даже не приласкали его, и Снежок, недоумевая, заговорил снова:

— Девочка, вы знаете, кто такой живодер? Это страшный человек! Я-то спасся, но соседа Кляксу поймали.

Но девочка и мальчик только переглядывались. Хуже того: немного погодя они вдруг обменялись такими странными словами:

— Что это за собака, а, Харуо-сан?

— В самом деле, откуда эта собака, сестричка?

Как что за собака? На этот раз изумился Снежок. (А Снежок прекрасно понимал речь и девочки и мальчика. Мы думаем, что собаки не понимают нас, потому что мы сами не понимаем их языка. А на самом деле собаки выучиваются у людей разным штукам именно потому, что понимают человеческую речь. А вот мы не понимаем их и потому не можем

научиться у них ни находить дорогу в темноте, ни различать еле заметный запах, ни многому другому, что они знают лучше нас.)

— Как что за собака? Это я, Снежок!

Но девочка по-прежнему смотрела на него неприязненно.

— Может быть, это брат соседского Кляксы?

— Пожалуй, — рассудительно ответил мальчик. — Эта собака тоже совсем черная.

Снежок почувствовал, как шерсть на спине у него становится дыбом. Совсем черный! Не может быть! Ведь он еще щенком был белый, как молоко. Снежок посмотрел на свои лапы — да, эти лапы, да и не только они, — и грудь, и брюхо, и его прекрасный пушистый хвост — все было черное, как дно сковороды. Черное, без единой отметинки черное!

Снежок стал скакать, метаться и громко лаять.

— Ой, Харуо-сан, я боюсь! Эта собака, наверно, бешеная! — жалобно захныкала девочка. Но мальчик был храбрый. Снежок вдруг получил сильный удар в левый бок. И вот уж опять палка свистит над самой его головой. Снежок еле увернулся и сейчас же со всех ног помчался опять к изгороди, туда, где в тени платана стояла выкрашенная в светло-желтый цвет собачья будка. Добежав до будки, Снежок оглянулся на своих маленьких хозяев и еще раз пролаял:

— Девочка! Мальчик! Ведь я ваш Снежок! Пусть я черный, но я все тот же самый Снежок!

Голос у Снежка прерывался от горя и гнева. Но ведь девочка и мальчик не могли его понять. Девочка с досадой топнула ногой, проговорив: «Вот противная собака! Все еще лает!» А мальчик — мальчик подобрал с дорожки несколько камешков и со всей силы кинул их в Снежка.

— Ишь расселась! Вот тебе! Вот тебе!

Камешки так и летели в Снежка. Один камешек попал в ухо и поранил его до крови. Снежок наконец поджал хвост и выскочил за изгородь.

За изгородью весело порхала белая бабочка, искрясь на солнце серебристой пылью крыльев.

— Что, брат, ты теперь бездомный пес? — пискнула бабочка.

Снежок вздохнул, постоял немного у трамвайного столба и поплелся куда глаза глядят.

3

Прогнанный своими хозяевами, Снежок стал скитаться по городу. Он бродил по улицам, забирался в парки, забегал в переулки, но нигде не мог уйти от одного — от вида своей черной шерсти. То он оказывался перед зеркалами парикмахерской, поставленными у двери, чтобы в них могли смотреться посетители, то он видел себя в луже, в которой голубело проясняющееся после дождя небо, то его черная фигура отражалась в зеркальном стекле нарядной витрины, то непрошеным зеркалом ему служили большие блестящие кружки с черным пивом, стоявшие на столиках в кафе...

Один раз, когда Снежок тихонько брел вдоль решетки парка, к воротам подкатил автомобиль, и в его блестящем лакированном кузове Снежок четко, как в зеркале, увидел и решетку парка, и свешивающиеся над ней зеленеющие ветки, и внизу, у ограды, большую черную собаку — самого себя. Тогда Снежок горестно вздохнул и убежал в парк. Повесив голову, он бродил под деревьями, в молодой листве которых шелестел легкий ветерок. Тишину нарушало только жужжание пчел, роившихся над цветами. И нигде не было ничего похожего на зеркало, кроме маленького пруда, который Снежок старательно обходил. В мирной тишине парка Снежок почти позабыл свое горе. Но недолго наслаждался он покоем. Едва только он вышел на обсаженную цветущими кустами дорожку, как из-за угла до него донесся пронзительный собачий лай:

— Гав-гав! Спасите! Гав-гав! Спасите!

Снежок задрожал. Этот вопль живо напомнил ему ужасный конец Кляксы. Зажмурившись, он повернулся, чтобы убежать. Но это продолжалось буквально одно мгновение. Снежок сразу же испустил громкий лай и повернул обратно.

— Гав-гав! Спасите! Гав-гав! Спасите! — донеслось до него снова.

— Гав-гав! Не трусь! Гав-гав! Не трусь! — отозвался Снежок.

Наклонив голову, он стрелой помчался в сторону крика.

Однако, когда Снежок прибежал, он увидел перед собой вовсе не живодера. Просто несколько мальчиков в форменных костюмчиках, по-видимому возвращаясь из школы, шумно возились, волоча за шею на веревке рыжего щенка. Щенок изо всех сил упирался лапами и все кричал: «Спасите!» Но дети не обращали на его вопли никакого внимания. Они смеялись, перекрикивались или пинали щенка ногой в бок.

Ни минуты не мешкая, Снежок с лаем накинулся на детей. От неожиданности они перепугались. Да и в самом деле, у Снежка с его горящими глазами и оскаленными клыками был очень грозный вид. Мальчики разбежались во все стороны, а один из них так растерялся, что даже попал на газон. Прогнав их подальше, Снежок вернулся к щенку и полусердито заговорил:

— Пойдем вместе. Я провожу тебя домой.

Снежок побежал к выходу из парка, а щенок радостно трусил за ним вслед, стараясь не отстать, то пробираясь под скамейками, то наступая на цветы. Конец веревки, обвязанный вокруг его шеи, все еще волочился за ним по земле.

* * *

Через час Снежок стоял с рыжим щенком перед дешевой кафе. Даже днем в этом полутемном кафе горел электрический свет и звучал хриплый граммофон. Горделиво помахивая хвостом, щенок рассказывал Снежку:

— Вот здесь я живу. В этом кафе. А вы где живете, папаша?

— Я? Я?.. Далеко отсюда, на другой улице. — Снежок грустно вздохнул. — Ну, я пойду.

— Погодите, папаша. Хозяин у вас сердитый?

— Хозяин? Почему ты об этом спрашиваешь?

— Если ваш хозяин не сердитый, останьтесь у нас на ночь. Тогда моя мама сможет поблагодарить вас за то, что

вы спасли мне жизнь. У нас дома есть всякие вкусные вещи — и молоко, и кофе, и бифштексы.

— Спасибо, спасибо. Но у меня еще есть кое-какие дела, отложим угощение на другой раз. Привет твоей маме.

Снежок поднял глаза на небо, вздохнул и повернулся, чтобы идти.

— Папаша, папаша! — Щенок огорченно дернул носом. — Скажите хоть, как вас зовут. Мое имя Наполеон, а зовут меня попросту Напотян, Напоко. А вас?

— Меня зовут Снежок.

— Снежок? Вот странное имя! Ведь вы же совсем черный. У Снежка перехватило горло.

— А все-таки меня зовут Снежок!

— Ну, буду звать вас папаша Снежок. Папаша Снежок, поскорей приходите к нам, непременно!

— Ну, Напотян, до свиданья.

— Будьте здоровы, папаша Снежок, до свиданья, до свиданья.

4

Что же случилось со Снежком потом? Собственно говоря, незачем об этом рассказывать — все известно по газетам. Газеты написали самое главное о храброй черной собаке, не раз спасавшей людей от смертельной опасности. Был даже фильм «Собака-герой». Эта черная собака, конечно, и есть Снежок. Но если кто-нибудь не прочел этого в свое время и не видел фильма, то пусть посмотрит приведенные ниже выдержки из газет.

«Токио Нитинити», 18 июля. Вчера в 8 ч. 40 м. утра, в то время как скорый поезд из Оу проходил по переезду близ станции Табати, по недосмотру стрелочника сын служащего фирмы «Табата Итинисан кайся» Сибаяма Тэцутаро, четырехлетний Санэхико, оказался на рельсах и чуть не попал под поезд. В эту минуту большая черная собака как молния кинулась на рельсы и благополучно стащила мальчика с полотна, выхватив его из-под самого паровоза. Во время поднявшейся суматохи собака куда-то исчезла, так что ей не уда-

лось повесить на шею медаль за спасение погибающих, чем железнодорожные власти весьма смущены».

«Токио Асахи симбун», 1 августа. У супруги американца Эдварда Барклея, проводящего летний сезон в Каруидзава, была персидская кошка, которую она очень любила. Недавно на дачу забралась огромная змея и набросилась на кошку. Вдруг на помощь кошке выскочила какая-то никому не ведомая черная собака и после двадцатиминутной борьбы загрызла змею. Храбрая собака после этого скрылась, и м-с Барклей предлагает 50 долларов за указание ее местонахождения».

«Кокумин симбун». Трое учеников 1-й Нормальной школы, пропавшие без вести во время перехода через Японские Альпы, 7 августа благополучно прибыли к горячим источникам Камикоти. Эта группа альпинистов между Хотакаяма и Яригатакэ сбилась с дороги, и, застигнутая ураганом и ливнями, не имея пристанища и страдая от голода, находилась на краю смерти. Неожиданно в ущелье, где приютились альпинисты, откуда-то появилась большая черная собака и побежала вперед, как бы зовя их за собой. Следуя за собакой, альпинисты через сутки с лишним наконец добрались до Камикоти. Как только впереди показались крыши курортных зданий, собака издала короткий радостный лай и убежала в заросли бамбука. Альпинисты считают, что появлением собаки они обязаны покровительству богов».

«Дэнди симпо», 13 сентября. Пожар в Нагоя унес больше десяти жертв, причем городской голова чуть не потерял единственного ребенка. По чьей-то оплошности трехлетний Такэнори остался в пылавшем мезонине, но в то мгновение, когда пламя чуть не перекинулось на ребенка, какая-то черная собака схватила его в зубы и вытащила наружу. Городской голова запретил в пределах города Нагоя убивать бродячих собак».

«Ёмиури симбун». В зверинце Мияги, гастролирующем в Одавара и много дней собиравшем у себя массу публики, 25 октября сибирский волк внезапно сломал крепкие прутья своей клетки, ранил двух сторожей и убежал в сторону Хако-нэ. Полицейские власти Одавара поставили на ноги всю по-

лицию и оцепили город. В 4 ч. 30 м. дня вышеозначенный волк появился на улице Дзюдзи и вступил в бой с откуда-то взявшейся черной собакой. Собака боролась изо всех сил и в конце концов, вцепившись в горло своему врагу, повалила его наземь. Тут сбежались полицейские и прикончили волка выстрелами. Этот волк носит название *lupus gigantus* — и принадлежит к самой свирепой разновидности этой породы. Хозяин зверинца считает убийство волка незаконным и собирается подать в суд на полицейский участок».

И так далее.

5

Стояла осенняя ночь, когда Снежок, уставший и телом и душой, вернулся домой к своим хозяевам.

Девочка и мальчик давно уже легли спать, да и никого уже в доме не было на ногах. Над газоном затихшего сада, над ветвями клена висела серебряная луна. Снежок, мокрый от росы, устало прилег перед своей старой светло-желтой будкой, вытянув передние лапы, и, глядя на луну, проговорил:

— О Луна! О Луна! На глазах у меня погиб бедный Клякса, а я ничем ему не помог. Вероятно, за это я и стал сам черный. Но с тех пор, как я расстался с моими хозяевами, с девочкой и мальчиком, я храбро сражался со всякими опасностями. Потому что каждый раз, когда я вижу себя, черного, как копоть, мне делается стыдно за мою трусость. Из отвращения к моей черноте, из желания избавиться от моей черноты я кидался в огонь, бился с змеей, боролся с волком. Но сама смерть при виде меня убегает прочь. Я измучился, у меня нет больше сил. Одно у меня желание — еще раз увидеть моих любимых хозяев. Ах, если бы они могли меня узнать! Но это невозможно. Завтра, когда девочка и мальчик меня увидят, они опять примут меня за бродячую собаку. И, может быть, мальчик даже убьет меня своей палкой. Но все равно. Увидеть их — вот мое самое горячее желание. О Луна! Я хочу только одного — еще раз посмотреть в глаза моим любимым хозяевам. Вот почему я этой ночью издалека при-

брел сюда. Прошу тебя, Луна, сделай так, чтоб я завтра встретился с девочкой и мальчиком.

Проговорив все это, Снежок уткнул морду в лапы и крепко уснул.

* * *

— Вот чудо-то, Харуо-сан!

— Что такое, сестричка?

Снежок проснулся от звука тоненьких голосов детей; девочка и мальчик удивленно переглядывались, стоя перед собачьей будкой. Снежок опустил глаза на траву. Ведь так же изумились девочка и мальчик, когда он стал черным. Снежок вспомнил об этом, и так грустно ему стало, что он даже пожалел о своем возвращении. И вот в эту самую минуту мальчик вдруг подпрыгнул и громко крикнул:

— Папа! Мама! Снежок вернулся!

Снежок! Снежок вскочил. Он готов был убежать. Но девочка протянула руки и крепко обняла его за шею. Тогда Снежок пристально посмотрел ей в глаза — и в ее черных зрачках он увидел четко отражавшуюся в них светло-желтую собачью будку под кленом, а перед будкой крошечную, как зерно риса, белую собаку. Он не мог отвести глаз от этой белой собаки.

— Смотри, Снежок плачет! — сказала девочка, обнимая Снежка, и обернулась к брату. А мальчик — о, какой у него был самодовольный вид!

— А сама? Старшая, а ревешь!

Так Снежок опять стал белым и опять зажил у своих любимых хозяев, девочки и мальчика. Но никогда ни они, да и никто другой не узнал, что Снежок и есть та храбрая черная собака, которая спасла жизнь многим людям и заслужила такую славу. Откуда же я это знаю? — спросите вы. А мне это как-то ночью рассказала та самая Луна.

Июль 1923 г.

БОЛЕЗНЬ РЕБЕНКА

Посвящается Ити Ютэю

Учитель Нацумэ взглянул на изображенные на какэмоно иероглифы и как бы про себя сказал: «Кёкусо». В самом деле на какэмоно стояла подпись: «Кёкусо, летописец». Я обратился к учителю: «Кёкусо, кажется, внук Тансо? А как же звали сына Тансо?» На что сразу последовал ответ: «Мусо».

И тут я внезапно проснулся. Сквозь сетку от москитов проникал электрический свет из соседней комнаты. Жена, похоже, меняла простынки двухлетнему сыну. Ребенок не переставая плакал. Я повернулся на другой бок и попытался снова уснуть.

— Ох, Така-тян опять захворал! — сказала жена.

— Что случилось?

— Что-то с желудком.

Не в пример старшему сыну, Такаси почему-то часто хворал. Это меня беспокоило, но в то же время я настолько привык к его болезням, что перестал обращать на них внимание.

— Пусть завтра С. его осмотрит.

— Хорошо, а я думала показать его С. еще сегодня вечером.

Когда ребенок перестал плакать, я снова уснул крепким сном.

Проснувшись на следующее утро, я отчетливо помнил все, что мне приснилось. Тансо, которого я увидел во сне, очевидно, Хиросэ Тансо, Кёкусо же и Мусо явно несуществующие лица. «Правда, — подумал я, — среди сказителей был один по имени Нансо». Болезнь ребенка меня вначале особенно не беспокоила. Я начал волноваться лишь после того, как жена вернулась от С.

— Очевидно, расстройство желудка. Доктор обещал по-позже прийти, — сердито сказала она, держа ребенка под мышкой.

— Какая температура?

— Тридцать семь и шесть, а вечером была нормальная.

Я поднялся на второй этаж в кабинет и принялся за свою повседневную работу. Работа, как всегда, не клеилась. Виной тому была не только болезнь ребенка.

Между тем по листьям деревьев в саду застучали капли парного, не приносящего прохлады дождя. Сидя перед начатым рассказом, я выкурил подряд несколько «Сикисима».

С. приходил дважды — утром и к концу дня. Вечером он сделал Такаси промывание, во время которого Такаси, моргая, смотрел на лампочку. Влитая жидкость вернулась обратно вместе с клейкой темной массой. Было такое ощущение, будто я увидел причину болезни.

— Ну как, доктор?

— Ничего серьезного. Только кладите непрерывно на голову лед. Ну и не тормошите сейчас ребенка, — посоветовал С. и откланялся.

Я работал до поздней ночи и лег лишь около часа. Выходя перед сном из уборной, я услышал какой-то стук в темной кухне.

— Кто здесь?

— Это я, — послышался в ответ голос матери.

— Что ты там делаешь?

— Колю лед.

Я почувствовал стыд за свою беззаботность и сказал:

— Включила бы свет.

— Ничего, я на ощупь.

Тем не менее я щелкнул выключателем. Мать стояла в одном ночном кимоно, перехваченном узким поясом, и неумело орудовала молотком. Вся ее фигура казалась до неприличия жалкой. В таком виде у нас в семье я ее видел впервые. Обмытые водой грани льда отражали электрический свет.

На следующее утро температура у Такаси поднялась выше тридцати девяти. С. снова заходил утром, а вечером повторил промывание. Помогая ему, я надеялся, что сегодня этой клейкой массы будет меньше. Но, заглянув в горшок,

убедился, что ее значительно больше, чем было накануне вечером. Жена невольно вскрикнула: «Как много!» Казалось, она забыла, что уже давно не школьница, а солидная мать семейства. Я взглянул на С.

— Не дизентерия ли?

— Нет. Пока ребенка не отняли от груди, дизентерия исключается.

Против ожидания, С. был совершенно спокоен.

Когда С. ушел, я занялся своей обычной работой. Я писал рассказ для специального номера «Санди майнити». Причем рукопись надо было передать в редакцию не позднее завтрашнего утра. Работа над рассказом меня нисколько не воодушевляла, и я буквально заставлял себя водить пером по бумаге. Плач Такаси действовал мне на нервы. Мало того. Как только он прекращался, начинал во весь голос реветь Хироси. Он был старше Такаси на два года.

Но не только это выводило меня из равновесия.

После полудня ко мне пришел незнакомый юноша с просьбой помочь деньгами.

— Я работник физического труда. Вот рекомендательное письмо от господина Ц., — безо всяких околочностей заявил он.

У меня в кошельке оказалось не более двух-трех иен. Поэтому я вручил юноше две ненужные книги и предложил превратить их в деньги.

— Здесь написано, что книги продаже не подлежат, — заявил юноша, тщательно изучив выходные данные. — Можно ли за них что-нибудь получить?

Я почувствовал себя неловко, но ответил, что продать их, должно быть, можно.

— Вы так считаете? В таком случае разрешите откланяться. — И юноша ушел, не сказав ни единого слова благодарности.

В конце дня С. снова сделал промывание. На этот раз клейкой массы было значительно меньше.

— Ну вот, сегодня вечером мало, — сказала, внося теплую воду для рук, мать с таким видом, будто речь шла о великом событии. Я тоже если и не совсем успокоился, то почувствовал некоторое облегчение. Тому были причиной не только

результаты промывания, но и нормальный цвет лица, и отсутствие каких-либо перемен в поведении Такаси.

— Завтра, должно быть, спадет температура. К счастью, у него не наблюдается рвоты, — с удовлетворением говорил С. матери, моя руки.

Когда на следующее утро я открыл глаза, в соседней комнате тетка уже складывала сетку от moskitov. Звеня кольцами сетки, она что-то говорила. Я разобрал только слово «Така-тян».

— Такаси? — переспросил я равнодушно, еще не вполне очнувшись от сна.

— С Така-тян плохо. Надо класть в больницу.

Я поднялся с постели. «Как же так, — думал я, — вчера доктор говорил совсем другое».

— А где С.?

— Он уже здесь. Вставайте скорее.

Лицо тетки казалось странно равнодушным, как будто она силилась скрыть охватившее ее беспокойство. Я сразу же пошел умываться. По-прежнему стояла какая-то гнетущая погода. Небо заволокло тучами. Я вошел в ванную. В ушате плавали две кем-то небрежно брошенные горные лилии. Казалось, что их запах и коричневая пыльца липнут к коже, пропитывают ее.

Всего за одну ночь у Такаси запали глаза. Утром, когда жена хотела приподнять малыша, голова его бессильно откинулась назад и его начало рвать чем-то белым. Такаси все время зевал. Это тоже был, по-видимому, нехороший признак. Меня неожиданно пронзило чувство трогательного умиления и жалости. И в то же время стало жутко. С. сидел у изголовья и молча жевал мундштук «Сикисима». Он взглянул на меня и сказал:

— Мне нужно с вами поговорить.

Я пригласил его на второй этаж. Мы сели друг против друга перед остывшей хибати.

— Полагаю, что ничего угрожающего нет... — начал С. По словам С., у Такаси серьезное расстройство желудка. Для того чтобы привести его в норму, остается один только выход: голодание в течение двух-трех дней. — Поэтому, полагаю,

лучше всего было бы поместить его в больницу, — заключил С.

Я подумал, что состояние Такаси значительно тяжелее, чем говорит доктор. У меня мелькнула даже мысль, что, может быть, уже поздно везти его в больницу. Но сейчас не время было предаваться таким мыслям, и я попросил С. отправить Такаси в больницу как можно скорее.

— Думаю, что следует поместить его в больницу У. Она, ко всему прочему, находится поблизости от вашего дома.

Отказавшись от предложенного ему чая, С. пошел звонить по телефону в больницу. Тем временем я позвал жену и сказал, чтобы она попросила тетку отправиться вместе с Такаси в больницу.

В тот день я принимал гостей. Уже с утра их пришло четверо. Беседуя с ними, я все время думал о том, что жена и тетка торопливо собирают сына в больницу. Внезапно я почувствовал на кончике языка что-то вроде песчинки. Подумал было, что это откололся кусочек пломбы. Хотел пощупать кончиком пальца недавно запломбированный зуб, но оказалось, что его нет. Я ощутил суеверный страх, однако продолжал курить и болтать с гостями о том, что прошел слух, будто продается принадлежащий Хоицу сямисэн.

Тем временем снова заявился вчерашний «работник физического труда». Еще не заходя в дом, он начал жаловаться, что за две полученные им вчера книги ему заплатили всего одну иену и двадцать сэнов, и не смогу ли я поэтому дать ему еще четыре-пять иен. Я наотрез отказался и, потеряв терпение, заорал:

— Мне некогда выслушивать все это. Уходите!

Юноша, однако, продолжал клянчить недовольным тоном:

— Дайте хотя бы на обратный проезд. Пятидесяти сэнов будет достаточно.

Убедившись, что ничем поживиться ему не удастся, он резко задвинул входную дверь и исчез за воротами. В ту же минуту я поклялся, что отныне ни один бездельник не получит от меня ни единой иены.

К четырем гостям прибавился пятый — молодой исследователь французской литературы. Я разминутся с ним, когда

пошел в гостиную посмотреть, как идут дела. Все приготовления были уже закончены, и тетка ходила взад и вперед по веранде, держа на руках необычно растолстевшего от множества одежд Такаси. Я прикоснулся губами ко лбу сына. Цвет лица у него был болезненный. Лоб — горячий. На виске резкими толчками пульсировала кровь.

— Рикша?

— Рикша уже прибыл, — вежливо ответила тетка, как будто говорила с кем-то чужим. Тем временем появилась жена. На ней было новое кимоно. Она несла пуховую подушку и корзинку.

— Ну, мы пошли, — сказала она необычно серьезным голосом и вежливо склонилась, коснувшись руками земли.

Я только сказал, чтобы на Такаси надели новую шапку. Эту летнюю шапку я лишь недавно купил.

— Шапка на нем, — ответила жена и стала поправлять воротник кимоно, глядя в зеркало над комодом. Я не стал их провожать и снова поднялся на второй этаж.

Мой новый гость говорил о Жорж Санд. В этот момент сквозь молодую листву деревьев в саду я увидел два экипажа. Их поднятые верха, покачиваясь, проплыли над изгородью, мелькнули перед глазами и мгновенно исчезли. Ясно помню, как гость с энтузиазмом говорил: «В целом, несомненно, превосходят писателей второй половины...»

Поток гостей не иссяк и после полудня. И только к вечеру я смог отправиться в больницу. Стал накрапывать дождик. Переодеваясь, я попросил прислугу принести мне гэта на высоких подставках. Как раз в этот момент пришел за рукописью Н. из Осака. Его сапоги были забрызганы грязью, а на пальто блестели капли дождя. Я встретил его у порога и тут же извинился, сказав, что ничего не смог написать по таким-то и таким-то обстоятельствам. Н. выразил мне сочувствие.

— Ну что ж, ничего не поделаешь, — сказал он.

У меня было такое ощущение, будто я вынудил Н. выразить мне сочувствие. В то же время я подумал, что в качестве предлога использовал тяжелое состояние находившегося при смерти сына.

Не успел уйти Н., как из больницы возвратилась тетка.

По ее словам, у Такаси опять дважды была рвота. К счастью, как сказал врач, никаких мозговых нарушений у него не наблюдается. Тетка сообщила также, что на ночь придет дежурить в больницу мать жены.

— Как только Така-тян поместили в больницу, ученики воскресной школы прислали букет цветов. В общем, все хорошо. Только цветы не к месту...

Тетка не удержалась и сообщила мне даже это... Я сразу вспомнил, как вчера во время беседы с гостями обнаружил, что у меня выпал зуб. Но ничего ей не сказал.

Когда я вышел из дома, было совершенно темно. Моросил дождик. За воротами я сразу же обнаружил, что надел низкие гэта, к тому же у левого гэта ослабел спереди ремешок. Я вдруг подумал, что, если ремешок соскочит, мой сын умрет. Но заставить себя возвратиться в дом и сменить гэта было свыше моих сил. Возмущаясь глупостью прислуги, которая не вынесла мне гэта на высоких подставках, я осторожно шагал, все время боясь оступиться.

До больницы я добрался уже в десятом часу. Перед палатой Такаси в наполненной водой умывальнике плавало несколько лилий и гвоздик. Из-за брошенного на электрическую лампочку не то фурсики, не то чего-то еще в палате царил полумрак, и трудно было даже разглядеть лица. Жена и ее мать лежали по обе стороны от Такаси, не развязав даже оби. Такаси мирно спал, положив голову на руку бабушки. Увидев меня, жена приподнялась и тихо сказала:

— Спасибо вам за заботу.

То же самое повторила и ее мать. Против ожидания, в их голосах не чувствовалось особого беспокойства. У меня несколько отлегло от сердца, и я присел у изголовья. Жена пожаловалась, что она вдвойне страдает от того, что Такаси нельзя кормить грудью: сын плачет, а грудь набухла и болит.

— От резиновой соски толку мало. В конце концов пришлось дать ему пососать язык.

— Теперь он ест мое молоко, — засмеялась мать жены и обнажила свою сморщенную грудь. — Изо всех сил сосет. Смотрите, как покраснела!

Я не выдержал и засмеялся.

— Ну, все обстоит лучше, чем я ожидал. А я уж решил, что нет никакой надежды.

— Это вы о Така-тян? С Така-тян все в порядке. Ничего страшного. Всего лишь понос. Завтра, должно быть, жар спадет.

— Все это, конечно, по милости Ососи-сама, — поддразнила жена. Однако верившая в «Сутру священного лотоса» мать жены, делая вид, что не слышит, старательно дула на лобик Такаси, желая, наверно, поскорее уменьшить опасный жар.

* * *

Такаси не умер. Когда дело пошло на поправку, я решил связанные с его болезнью события отобразить в небольшом рассказе. Но меня охватил суеверный страх: а вдруг болезнь снова возобновится, если я напишу рассказ! И я отказался от своего замысла. Но теперь Такаси совсем выздоровел и спит в гамаке в саду.

Меня недавно попросили дать какую-нибудь рукопись для печати, и я тут же подумал: не рассказать ли о болезни Такаси. Пусть не посетует на меня читатель.

Апрель 1923 г.

Ясукиги знал хозяина этой лавки очень давно.

Очень давно — кажется, с того самого дня, когда его перевели сюда в морской корпус. Он случайно зашел купить коробку спичек. В лавке была маленькая витрина; за стеклом, вокруг модели крейсера «Микаса» с адмиральским вымпелом, стояли бутылки кюрасо, банки какао и коробки с изюмом. Но над входом висела вывеска с красной надписью «Табак», значит, конечно, должны быть в продаже и спички. Ясукиги заглянул в лавку и сказал: «Дайте коробку спичек». Неподалеку от входа за высокой конторкой стоял со скучающим видом косоглазый молодой человек. При виде посетителя он, не отодвигая счетов, не улыбувшись, ответил:

— Возьмите вот это. Спички, к сожалению, все вышли.

«Вот это» было крошечной коробочкой, какие дают в приложение к папиросам.

— Мне, право, неудобно... Тогда дайте пачку «Асахи».

— Ничего. Берите.

— Нет уж, дайте пачку «Асахи».

— Берите же, если она вам годится. Незачем покупать то, что не нужно.

Слова косоглазого были, несомненно, вполне любезны. Но его тон и лицо выражали удивительную неприветливость. И попросту ужасно не хотелось у него что-либо брать. А повернуться и уйти было как-то неловко. Ясукиги волевым усилием положил на конторку медную монетку в один сэн.

— Ну, так дайте две такие коробочки.

— Пожалуйста, хоть две, хоть три. Только платить не надо.

К счастью, в эту минуту из-за рекламы «Кинсэн-сайда»,

висевшей у двери, показался приказчик — прыщеватый малый с неопределенным выражением лица.

— Спички здесь, хозяин.

Внутренне торжествуя, Ясуцити купил коробку спичек нормального размера. Стоили они, разумеется, один сэн. Но никогда еще спички не казались ему такими красивыми. А торговая марка — парусник на треугольных волнах — была так хороша, что хоть вставляй в рамку. Бережно опустив спички в карман брюк, Ясуцити с чувством одержанной победы вышел из лавки.

С тех пор в течение полугода Ясуцити по пути в корпус и обратно часто заходил в эту лавку. И теперь еще, закрыв глаза, он мог отчетливо ее себе представить. С потолочной балки свешивается камакурская ветчина. Через окно в мелком переплете падает на оштукатуренную стену зеленоватый солнечный свет. Бумажки, валяющиеся на дощатом полу, — это рекламы сгущенного молока. На столбе прямо напротив входа висит под часами большой календарь. И остальное — крейсер «Микаса» на витрине, реклама «Кинсэньсайда», стул, телефон, велосипед, шотландское виски, американский изюм, манильские сигары, египетские папиросы, копченая сельдь, жаренная в сое говядина — почти все сохранилось в памяти. Особенно выставлявшаяся из-за высокой конторки надутая физиономия хозяина, на которого он насмотрелся до отвращения. Не только насмотрелся. Он знал до мелочей все его привычки и повадки: как он кашляет, как отдает распоряжения приказчику, как уговаривает покупателя, зашедшего за банкой какао. «Возьмите лучше не «Фрай», а это. Это голландское «Дрост». Знать все это было неплохо. Но, уж конечно, очень скучно. И иногда, когда Ясуцити заходил в эту лавку, ему начинало казаться, что он служит учителем уже давным-давно. На самом же деле он не прослужил еще и года.

Но всеильные перемены не обошли и этой лавки. Както утром в начале лета Ясуцити зашел купить папирос. В лавке все было как обычно, все так же на обрызганном полу валялись рекламы сгущенного молока. Но вместо косоглазого хозяина за конторкой сидела женщина, причесанная по-европейски. Лет ей было, вероятно, девятнадцать. En face она

походила на кошечку. На белую кошечку, которая щурится на солнце. Изумляясь, Ясуцити подошел к конторке.

— Две пачки «Асахи».

— Сейчас.

Женщина ответила смущенно. Вдобавок подала она ему не «Асахи»: обе пачки были «Микаса» с изображением восходящего солнца на оборотной стороне. Ясуцити невольно перевел взгляд с пачек на личико женщины. И сейчас же представил себе, что у нее под носиком торчат длинные кошачьи усы.

— Я просил «Асахи», а это «Микаса».

— Ох, в самом деле! Извините, пожалуйста.

Кошечка — нет, женщина — покраснела. Это ее душевное движение было чисто девическим. И не таким, как у современной барышни. Это была девушка во вкусе «Кэньюся», каких нет уже лет пять-шесть. Шаря в кармане в поисках мелочи, Ясуцити вспомнил «Сверстников», свертки в двухцветных фуросико, ирисы, квартал Рёгоку, Кабураги Киёкату и многое другое. Тем временем женщина старательно искала под конторкой «Асахи».

Тут из внутренней двери показался прежний косоглазый хозяин. Увидев «Микаса», он с первого взгляда уяснил себе положение. С обычным своим кислым выражением лица он опустил руку под конторку и протянул Ясуцити две пачки «Асахи». Но в глазах у него, хоть и едва заметно, теплилось что-то похожее на улыбку.

— Спичек?

Глаза женщины томно сощурились, точно у кошечки, готовой замурлыкать. Хозяин, не отвечая, только слегка кивнул, женщина моментально положила на конторку маленькую коробочку спичек. Потом еще раз смущенно засмеялась.

— Извините, пожалуйста...

Извинялась она не только за то, что дала «Микаса» вместо «Асахи». Переводя взгляд с нее на хозяина, Ясуцити почувствовал, что улыбается сам.

С тех пор, когда бы он ни пришел, женщина сидела за конторкой. Впрочем, она уже не была причесана по-европейски, как в первый раз. Теперь волосы у нее были уложены в большой узел «марумагэ» с аккуратно продетой крас-

ной лентой. Но с покупателями она обращалась все так же неумело. Мешкала с ответом. Путала товары. Вдобавок по временам краснела. Она совсем не была похожа на хозяйку. Ясуцити понемногу начинал питать к ней симпатию. Это не значило, что он влюбился. Просто ему нравилась ее застенчивость.

Как-то в томительный зной, под вечер, Ясуцити по пути из корпуса зашел в лавку за банкой какао. Женщина и на этот раз сидела за конторкой, читая журнал «Кодан-курабу». Ясуцити спросил прыщеватого приказчика, нет ли такой марки «Ван Гутен».

— Сейчас есть только такое.

Приказчик протянул ему банку «Фрай». Ясуцити окинул взглядом лавку. Среди фруктовых консервов оказалась банка с маркой, изображающей европейскую монахиню.

— А вон там, кажется, есть «Дрост»?

Приказчик оглянулся на указанную полку, и лицо его выразило растерянность.

— Да, это тоже какао.

— Значит, есть не только такое?

— Нет, только такое... Хозяйка, какао у нас только «Фрай»?

Ясуцити оглянулся на женщину. Лицо женщины, слегка сощурившей глаза, было красивого зеленого оттенка. В этом не было ничего удивительного — лучи вечернего солнца падали в лавку через цветные стекла окна в мелком переплете. Не снимая локтя с журнала, женщина, как обычно, с запинкой ответила:

— Я думала, что осталось только такое, но...

— Видите ли, в какао «Фрай» иногда попадают черви, — серьезным тоном заговорил Ясуцити. На самом деле ему ни разу не случалось видеть какао с червями: просто он был уверен, что сказать так — верный способ убедиться, имеется ли какао «Ван Гутен». — И попадают довольно крупные. С мизинца...

Женщина чуть-чуть испуганно перегнулась за конторку.

— А вон там не осталось ли? На задней полке?

— Только красные банки. Здесь других нет.

— Ну а тут?

Постукивая своими гэта, женщина вышла из-за конторки и принялась с беспокойством искать по лавке. Растерянному приказчику тоже волей-неволей пришлось посмотреть среди консервов. Ясуцити, закулив папиросу, с расстановкой говорил для поощрения:

— А если таким червивым какао напоить детей, то у них разболится живот. (Он снимал на даче комнату совершенно один.) Да что там дети — жена тоже раз пострадала. (Никакой жены у него, разумеется, не было.) Так что не подумайте, что я чересчур осторожен...

Ясуцити вдруг замолчал. Женщина, вытирая руки передником, в замешательстве смотрела на него.

— Право, не могу найти...

В глазах ее была робость. Губы силились улыбнуться. Особенно забавно было, что на носу у нее выступили капельки пота. Встретившись с ней глазами, Ясуцити вдруг почувствовал, что в него вселился злой бес. Эта женщина была точь-в-точь как мимоза. На каждое раздражение она реагировала именно так, как он ожидал. И раздражение это могло быть совсем простым. Достаточно было пристально посмотреть ей в лицо или тронуть ее кончиком пальца. Одного этого было бы довольно, чтобы она поняла, чего хочет Ясуцити. Как бы она поступила, поняв, чего он хочет, это, разумеется, оставалось неизвестным. А вдруг она не даст отпора?.. Нет, кошку можно у себя держать. Но ради женщины, похожей на кошечку, отдавать душу во власть злого беса не очень-то разумно. Ясуцити выбросил недокуренную папиросу и вышвырнул вселившегося в него беса. Бес от неожиданности перекувырнулся и попал в нос приказчику — и приказчик, не успев увернуться, несколько раз подряд громко чихнул.

— Ничего не поделаешь. Дайте банку «Дрост».

Ясуцити с кривой улыбкой стал шарить в кармане, ища мелочь.

После этого у Ясуцити с ней не раз повторялся тот же разговор. К счастью, сколько он помнил, это был единственный раз, когда в него вселился бес. Более того, как-то раз Ясуцити даже почувствовал, что на него слетел ангел.

Однажды поздней осенью Ясуцити, зайдя под вечер за

папиросами, решил заодно воспользоваться в лавке телефоном. Перед лавкой на самом солнце хозяин возился с велосипедом, накачивая шину. Приказчик, по-видимому, ушел по поручениям. Женщина, сидя, как обычно, за конторкой, приводила в порядок какие-то счета. Во всей этой неизменной обстановке лавки не было ничего неприятного. Все здесь дышало мирным счастьем, как жанровая картина голландской школы. Стоя позади женщины с телефонной трубкой у уха, Ясукиги вспомнил свою любимую репродукцию Де Хуга.

Однако, сколько он ни звонил, он никак не мог добиться соединения с нужным номером. Мало того, телефонистка, переспросив раза два: «Номер?» — вдруг совсем замолкла. Ясукиги звонил снова и снова. Но в трубке только потрескивало. Тут уж ему стало не до того, чтобы вспоминать Де Хуга, Ясукиги вытащил из кармана «Руководство по социализму» Спарго. К счастью, возле телефонного аппарата был ящичек, служивший чем-то вроде подставки для книг. Ясукиги положил на него книгу и, пока глаза бегали по строкам, рука его, как только можно было, медленно, упорно крутила ручку телефона. Это был его метод войны с упрямой телефонисткой. Как-то, подойдя к телефону-автомату на Гиндзе-Овари-тё, он, прежде чем дозвониться, успел прочесть всего «Сабаси Дзингоро». И на этот раз он намеревался не отнимать руки от звонка, пока не добьется ответа телефонистки.

Пока он, основательно разругавшись с телефонисткой, наконец поговорил по телефону, прошло минут двадцать. Желая поблагодарить, Ясукиги оглянулся на прилавок. Но за прилавком никого не было. Женщина стояла у дверей и разговаривала с мужем. Хозяин, видимо, все еще возился со своим велосипедом на осеннем солнце. Ясукиги направился к выходу, он невольно замедлил шаги. Женщина, стоя спиной к нему, спрашивала мужа:

— Давеча один покупатель хотел купить подменный кофе — что такое подменный кофе?

— Подменный кофе? — Хозяин разговаривал с женой тем же неприветливым тоном, что и с покупателями. — Ты, наверно, ослышалась: ячменный кофе.

— Ячменный кофе? А, кофе из ячменя! То-то я думала — смешно: подменного кофе в бакалее не бывает.

Ясукиги стоял в лавке и смотрел на эту сцену. Тут-то он и почувствовал, как слетел ангел. Ангел пролетел под потолком, с которого свешивался окорок, и осенил благословением этих двух ничего не подозревавших людей. Правда, от запаха копченых селедок он слегка поморщился... Ясукиги вдруг сообразил, что забыл купить копченых селедок. Их жалкие тушки грудой высились перед самым его носом.

— Послушайте, дайте мне этих селедок.

Женщина сразу же обернулась. Это было как раз в ту минуту, когда она уразумела, что подменного кофе в бакалее не бывает. Несомненно, она догадалась, что ее разговор был услышан. Не успела она поднять глаза, как ее лицо, похожее на кошачью мордочку, залилось краской смущения. Ясукиги, как уже упоминалось, и раньше не раз замечал, что она краснеет. Но такой пунцовой, как сейчас, он еще не видел ее никогда.

— Селедок? — тихо переспросила женщина.

— Да, селедок, — на этот раз особенно почтительным тоном ответил Ясукиги.

После этого случая прошло месяца два, был январь следующего года. Женщина вдруг куда-то исчезла. Исчезла не на несколько дней. Когда бы Ясукиги ни заходил, в лавке у старой печки со скучающим видом сидел в одиночестве косяглазый хозяин. Ясукиги чувствовал, что ему чего-то не хватает, и строил разные догадки о причинах исчезновения хозяйки. Но обратиться к намеренно нелюбезному хозяину с вопросом: «Ваша супруга?..» — он не решался. В самом деле, он не только никогда ни о чем не говорил с хозяином, но даже к этой застенчивой женщине обращался только со словами: «Дайте то-то или то-то».

Тем временем замерзшие дороги начинало то день, то два подряд пригревать солнце. Но женщина все не показывалась. В лавке вокруг хозяина витал дух запустения. Понемногу Ясукиги перестал замечать отсутствие хозяйки...

Как-то вечером в конце февраля, только что закончив урок английского языка, Ясукиги, обвеваемый теплым южным ветром, случайно проходил мимо лавки. За витриной,

сверкая в электрическом свете, рядами стояли бутылки с европейскими винами и банки с консервами. В этом, разумеется, не было ничего необычного. Но вдруг он заметил, что перед лавкой стоит женщина с младенцем на руках и лепечет какой-то вздор. Из лавки на улицу падала широкая полоса света, и Ясукити сразу узнал, кто эта молодая мать.

— А-ба-ба-ба-ба-ба-ба-а...

Она прохаживалась перед лавкой и забавляла младенца. Покачивая его, она вдруг встретилась глазами с Ясукити. Ясукити мгновенно представил себе, как в ее глазах появится робость и как, заметно даже в темноте, покраснеет ее лицо. Однако женщина оставалась безмятежной. Глаза ее тихо улыбались, на лице не было и тени смущения. Мало того, в следующее мгновение она опустила глаза на младенца и, не стесняясь чужих глаз, повторила:

— А-ба-ба-ба-ба-ба-ба-а...

Миновав женщину, Ясукити, сам того не замечая, горько засмеялся. Это уже была не «та женщина». Это была просто обыкновенная добрая мать. Страшная мать, одна из тех матерей, которые, когда дело идет об их ребенке, во все века готовы были на любое злодеяние. Разумеется, пусть ей эта перемена принесет всяческое счастье. Но вместо девушки-жены обнаружить наглуую мать... Шагая дальше, Ясукити рассеянно смотрел в небо над крышами. На небе, под которым веял южный ветер, слабо серебрилась круглая весенняя луна.

Ноябрь 1923 г.

КОМ ЗЕМЛИ

Когда у О-Суми умер сын, началась пора сбора чая. Скончавшийся Нитаро последние восемь лет был калекой и не поднимался с постели. Смерть такого сына, о которой все кругом говорили «слава богу», для О-Суми была не таким уж горем. И когда она ставила перед гробом Нитаро ароматическую свечу, ей казалось, словно она наконец выбралась из какого-то длинного туннеля на свет.

После похорон Нитаро прежде всего встал вопрос о судьбе невестки О-Тами. У О-Тами был мальчик. Кроме того, почти все полевые работы вместо больного Нитаро лежали на ней. Если ее теперь отпустить, то не только пришлось бы возиться с ребенком, но и вообще трудно было бы даже существовать. О-Суми надеялась, что по истечении сорока-девятидневного траура она подыщет О-Тами мужа и тогда та по-прежнему будет исполнять всю работу, как это было при жизни сына. Ей хотелось взять зятем Ёкити, который приходился Нитаро двоюродным братом.

И поэтому, когда на следующее утро после первых семи дней траура О-Тами занялась уборкой, О-Суми испугалась чрезвычайно. О-Суми в это время играла с внуком Хиродзи на наружной галерее у задней комнаты. Игрушкой служила цветущая ветка вишни, тайком взятая в школе.

— Слушай, О-Тами, может, это плохо, что я до сих пор молчала... Но как же так?.. Ты хочешь оставить меня с ребенком и уйти?

Голос О-Суми звучал скорей жалобой, чем упреком. Однако О-Тами, даже не оглянувшись, весело произнесла:

— Что ты, матушка!

И этого было довольно, чтобы О-Суми вздохнула с облегчением.

— Вот как... Конечно, разве ты можешь так поступить...

О-Суми без конца ворчала, повторяя свои жалобы. Но ее слова звучали все более растроганно. Наконец по ее морщинистым щекам потекли слезы.

— Если ты только хочешь, я готова навсегда остаться в этом доме. Разве уйдешь по доброй воле от такого малыша!

С полными слез глазами О-Тами взяла Хиродзи к себе на колени. Почему-то застеснявшись, ребенок устремил все свое внимание на ветку вишни, упавшую в комнату на старые циновки.

О-Тами продолжала работать совершенно так же, как при жизни Нитаро. Но разговор о зяте оказался гораздо труднее, чем думала О-Суми. О-Тами, по-видимому, не питала никакого интереса к этому делу. О-Суми, конечно, при всяком удобном случае старалась понемногу ее убедить и заводила с ней откровенные разговоры. Однако О-Тами каждый раз отделялась ответом: «Ладно, до следующего года!» Это, несомненно, и беспокоило О-Суми, и радовало ее. Беспокоясь, что скажут люди, она все же полагалась на слова невестки и ждала следующего года.

Но и в следующем году О-Тами, по-видимому, не думала ни о чем, кроме полевых работ. О-Суми еще раз, и притом более настойчиво, чем в прошлом году, возобновила разговор о ее замужестве. Отчасти потому, что ее огорчали упреки родственников и общие пересуды.

— Слушай, О-Тами, ты такая молодая, тебе нельзя без мужчины.

— Нельзя, да что поделаешь? Представь себе, что у нас в доме будет чужой. И Хиро жалко, и тебе неудобно, а уж мне какво?

— Так вот и возьмем Ёкити. Он, говорят, теперь совсем бросил играть в карты.

— Тебе-то он родственник, а для меня — совсем чужой. Ничего, если я терплю...

— Да ведь терпеть-то не год и не два.

— Ладно! Это ведь ради Хиро. Пусть мне теперь трудно,

зато землю не придется делить, все перейдет к нему целиком...

— Так-то так, О-Тами (дойдя до этого места, О-Суми всегда многозначительно понижала голос), только очень уж поговаривают кругом. Вот если бы ты все, что мне тут говоришь, сказала другим...

Такие беседы повторялись много раз. Но это только укрепило, а отнюдь не поколебало решения О-Тами. И в самом деле, О-Тами работала еще усерднее, чем раньше; не прибегая к мужской помощи, сажала картофель, жала ячмень. Кроме того, летом она ходила за скотом, косила даже в дождь. Этой усердной работой она как бы выражала свой протест против того, чтобы ввести в дом «чужого». В конце концов О-Суми совсем бросила разговоры о замужестве невестки. Впрочем, нельзя сказать, чтобы это было ей неприятно.

О-Тами возложила на свои женские плечи всю тяжесть забот о семье. Это, несомненно, делалось с единственной мыслью: ради Хиро. Но в то же время в этой женщине, видимо, глубоко коренилась сила традиций. О-Тами была «чужая», она переселилась в эту местность из суровых горных областей. О-Суми часто приходилось слышать от соседок: «У твоей О-Тами сила не по росту. Вот недавно она таскала по четыре связки рису сразу!»

О-Суми выказывала невестке свою благодарность одним — работой: ухаживала за внуком, играла с ним, смотрела за быком, стряпала, стирала, ходила по соседству за водой — хлопот по дому было немало; но сгорбленная О-Суми делала все с веселым видом.

Однажды осенью О-Тами вернулась поздно вечером с охапкой сосновых веток. В это время О-Суми с внуком Хиродзи на спине растапливала ванну в узкой каморке с земляным полом.

— Холодно! Что так поздно?

— Сегодня работы было больше.

О-Тами бросила ветки на пол и, не снимая с ног грязных варадзи, подошла к очагу. В очаге алым пламенем полыхали корни дуба. О-Суми хотела было сейчас же встать. Но с Хи-

родзи на спине ей удалось подняться, лишь опершись на край бадьи.

— Иди сейчас же купаться!

— Купаться? Я проголодалась! Лучше сначала поем картошки. Пожарила? А, матушка?

О-Суми неверной походкой направилась к чулану и принесла горшок с обычным блюдом — печеным сладким картофелем.

— Давно готова — наверно, уж остыла.

Обе нанизали картофель на бамбуковые вертела и протянули к огню.

— Хиро уже крепко спит. Надо бы уложить его в постель.

— Ничего, сегодня ужасный холод, внизу никак нельзя спать.

С этими словами О-Тами сунула в рот дымящуюся картошку. Так едят только крестьяне, уставшие от долгого трудового дня. Картофелина с вертела целиком попадала О-Тами в рот. Ощущая тяжесть слегка посапывавшего Хиродзи, О-Суми по-прежнему держала картофель на огне.

— Проголодаешься от такой работы!

О-Суми время от времени поглядывала на невестку глазами, полными восхищения. Но О-Тами при свете головешки только молча запикивала в рот картофелины, одну за другой.

О-Тами продолжала, не щадя сил, исполнять мужскую работу. Случалось даже, что она полола овощи ночью при свете ручного фонаря. К этой невестке, превосходившей по силам мужчину, О-Суми всегда питала уважение. Нет, скорее не уважение, а страх. Все, кроме работ в поле и в горах, О-Тами переложила на свекровь. Теперь она даже редко стирала себе белье. Но О-Суми, не жалуясь, гнула и так уже сгорбленную спину и трудилась не покладая рук. Больше того, при встречах с соседками она искренне расхваливала невестку: «О-Тами у меня молодец! Хоть бы я и померла, к нам в дом нужда не войдет...»

Но «хозяйственную жажду» О-Тами не так-то легко было

утолить. Еще через год она заговорила о том, чтобы взяться за тутовые сады по ту сторону реки. По ее словам, сдавать в аренду участок почти в пять тан всего за десять иен глупо во всех смыслах. Гораздо лучше посадить там тутовые деревья и в свободное время заняться разведением шелковичных червей. Тогда, если только цены на шелк-сырец не изменятся, можно будет наверняка выручать в год по полтора иен. Но хотя О-Суми и хотелось иметь побольше денег, мысль о новой работе была для нее невыносима. Разговор о разведении шелковичных червей окончательно вывел ее из себя, так как дело это чрезвычайно хлопотное.

Ворчливым тоном она возразила невестке:

— Смотри, О-Тами! Я, конечно, от тебя не сбегу. Сбежать не сбегу, но подумай: мужских рук у нас нет, в доме маленький ревун. И так уж работы невпроворот. Это ты зря говоришь, где уж тут справиться с шелковичными червями! Подумай немножко и обо мне!

Когда О-Тами увидела, что довела свекровь до слез, настаивать она уже не могла. Однако, отказавшись от мысли разводиться шелковичных червей, она из упрямства настояла на устройстве тутового сада.

— Да уж ладно! С садом я ведь сама справлюсь, — насмешливо проворчала она, недовольно глядя на свекровь.

С этого времени О-Суми снова стала подумывать о том, чтобы взять невестке мужа. Она и раньше не раз мечтала о зяте, так как беспокоилась за будущее, и вдобавок ее смущало, что скажут люди. Но теперь на мысль о зяте ее навело желание избавиться от тяжелой работы, которую ей приходилось выполнять все то время, пока невестки не было дома. Поэтому ее желание взять зятя было куда острее, чем раньше.

Когда мандариновые деревья в саду за домом сплошь покрылись цветами, О-Суми, сидя на скамеечке под лампой и глядя вверх очков, которые она надевала по вечерам, осторожно навела речь на этот предмет. Но О-Тами, сидевшая, скрестив ноги, у очага и жевавшая соленый горох, только уронила:

— Опять ты о муже! Слышать об этом не хочу! — и не обнаружила никакого желания продолжать разговор.

Прежде О-Суми этим бы удовлетворилась. Но теперь — теперь О-Суми упорно принялась ее убеждать:

— Нет, ты так не говори! Вот на завтрашние похороны как раз нашей семье назначено рыть могилу. Тут без мужчины...

— Ладно! Я сама пойду рыть.

— Как? Ты, женщина?!

О-Суми хотела нарочно рассмеяться. Но, взглянув в лицо невестки, не отважилась.

— Матушка, ведь не хочешь же ты сделаться инкё?

О-Тами, обняв колени скрещенных ног, насмешливо отпустила эту шпильку. Неожиданно задетая за живое, О-Суми уронила свои большие очки. Но отчего она их уронила — этого она и сама не понимала.

— Еще что выдумашь!

— Забыла, что ты сама говорила, когда умер отец Хиро? «Делить нашу землю — грех перед предками...»

— Да, да! Я это говорила. Но так подумаешь — всему свое время. Тут уж ничего не поделаешь...

О-Суми всеми силами доказывала необходимость иметь в доме работника-мужчину. Но даже для нее самой ее слова звучали неубедительно. Прежде всего потому, что она не могла открыть свои истинные побуждения — желание пожить в покое.

Заметив это, О-Тами, не переставшая жевать соленый горох, напустилась на свекровь. Ей помогала и недоступная О-Суми бойкость языка.

— Тебе-то что! Ты все равно умрешь раньше меня. Ведь и мне невесело так сохнуть. Я не из хвастовства остаюсь вдовой. Иной раз ночью, когда не спится от боли в суставах, так и думаешь, что все это глупое упрямство. Бывает и так, да видишь... Вспомнишь, что все это ради семьи, ради Хиро... а все равно плачешь и плачешь.

О-Суми только молча смотрела на невестку. Она ясно поняла одно: сколько ни старайся, не знать ей покоя, пока она не закроет глаза. Позже, когда невестка выговорилась до

конца, она снова надела свои большие очки и почти про себя заключила разговор так:

— Видишь, О-Тами, в жизни не все делается по рассудку, подумай-ка об этом! А я ничего больше не стану тебе говорить.

Минут двадцать спустя кто-то из деревенских парней медленно прошел мимо дома, вполголоса напевая песенку: «Молодая тетушка//Нынче вышла на покос.//Эй, ложись-ка, травушка,//Срежу я тебя серпом». Когда песня замерла вдаль, О-Суми еще раз поверх очков кинула взгляд на невестку. Но О-Тами только зевала, вытянув ноги.

— Ну, давай спать! Завтра вставать рано.

С этими словами, захватив еще горсть гороха, она устало поднялась от очага.

После этого О-Суми молча страдала три-четыре года. Это было страдание старой, выбившейся из сил клячи, на которую надели хомут. О-Тами по-прежнему без усталости работала в поле. О-Суми по-прежнему не покладая рук исполняла мелкую домашнюю работу. Однако она все время была под страхом невидимого кнута, то и дело выслушивая упреки и выговоры от резкой О-Тами: то за то, что не согрела ванну, то за то, что забыла подсушить ячмень, то за то, что выпустила быка. Но она безропотно терпела. Отчасти по привычке к терпению и покорности, отчасти потому, что ее внук Хиродзи привязался к ней больше, чем к матери.

С виду О-Суми почти не изменилась. А если и изменилась, то лишь в том, что уже не хвалила невестку, как раньше. Но эта ничтожная перемена не привлекала особого внимания. По крайней мере, соседки всегда говорили о ней: «О-Суми? Она, слава богу...»

Однажды в летний солнечный полдень О-Суми судачила с соседками в тени виноградных лоз, закрывавших вход в амбар. Жужжали слепни в хлеву, и больше кругом не слышалось ни звука. За разговором соседка все время курила коротенькие сигареты: это были окурки сына, которые она усердно подбирала.

— А что О-Тами? Верно, косит? Такая молодая, а все делает сама!

— Что уж! Для женщины домашняя работа куда лучше.

— Нет, видно, ей больше по душе работа в поле. А моя невестка после свадьбы вот уже семь лет ни разу в поле не ходила — ну, хоть бы пополоть. Целыми днями только и знает, что на детей стирать да одежду чинить.

— Оно и лучше! Чтобы на детей приятно было посмотреть, да и самой принарядиться — хоть перед людьми не стыдно.

— Да, нынешняя молодежь не любит полевых работ. Ой, что это там грохнуло?

— Это? Это бык стрельнул.

— Бык? Здорово!.. Да, полоть в такую жару да под солнцем и молодой-то трудно.

Так мирно беседовали старухи соседки.

Больше восьми лет после смерти мужа О-Тами одна держала на своих женских плечах всю семью.

За это время ее имя постепенно стало известно за пределами деревни. Она не была уже больше молодой вдовой, которую день и ночь снедает «хозяйственная лихорадка». И конечно, не была больше для деревенской молодежи «молодой тетушкой». Зато она стала примерной невесткой. Образцом женской добродетели. «Посмотри на О-Тами-сан!» — можно было услышать от всякого, как поговорку. О-Суми не жаловалась на свои страдания даже соседкам. Ей и в голову не приходило жаловаться. Но в глубине души, может быть и не совсем сознательно, она еще таила какую-то надежду на провидение. Однако и эта надежда таяла, как пена. Теперь ей не на кого было опереться, кроме внука Хиродзи. О-Суми сосредоточила на двенадцатилетнем мальчике всю свою любовь. Но часто ей казалось, что она может лишиться и этой последней опоры.

Однажды в ясный осенний день Хиродзи со связкой книг под мышкой стремглав прибежал из школы. В это время О-Суми, ловко орудуя большим кухонным ножом, готовила перед амбаром финиковые сливы для сушки. Хиродзи легко перепрыгнул через циновку, на которой сушился ячмень, и,

сдвинув ноги, почтительно поздоровался с бабушкой. Потом ни с того ни с сего серьезно спросил:

— Слушай, бабушка, моя мама — самый замечательный человек?

О-Суми невольно придержала нож и взглянула на внука.

— Почему?

— Это сказал учитель на уроке морали. «Мать Хиродзи — самый замечательный человек во всей округе».

— Учитель?

— Да, учитель. Это правда?

О-Суми сначала смутилась. Даже внука учат в школе такой лжи! Для О-Суми большей неожиданности не могло быть. Но после минутного замешательства, охваченная приступом гнева, О-Суми принялась ругать О-Тами так, что сама на себя стала непохожа.

— Это ложь, это сплошная ложь! Твоя мать до одури работает в поле, вот отчего для других она и замечательная. Но она дурной человек. Она попусту гоняет бабку то туда, то сюда, она грубая.

Хиродзи испуганно смотрел на изменившуюся в лице бабушку. А О-Суми, может быть, испытывая раскаяние, вдруг заплакала.

— Поэтому-то у бабки одна надежда — ты. Ты этого не забывай! Как только тебе будет семнадцать лет, сразу женись, дай бабке вздохнуть! Твоя мать терпелива, она готова ждать, пока ты не отбудешь воинскую повинность. Да разве можно так долго ждать? Ведь правда? Ты позаботься о бабке и за себя, и за отца. Если ты так поступишь, и бабка тебе дурного не сделает. Все тебе отдаст.

— Когда сливы поспеют, ты мне их дашь?

Хиродзи перебирал лежавшие в корзине аппетитные плоды.

— Да, да! Как же не дать? Ты хоть годами мал, а все понимаешь. Смотри же, всегда помни, что я тебе сказала...

О-Суми засмеялась сквозь слезы, и смех ее был похож на икоту...

На другой вечер после этого маленького происшествия О-Суми из-за пустяка жестоко поссорилась с О-Тами. Все на-

чалось с того, что О-Суми съела картофель, предназначавшийся для невестки. Но, слово за слово, ссора разгорелась, и О-Тами с насмешливой улыбкой сказала: «Раз не хочешь работать, тебе только и остается, что умереть». О-Суми сильно обозлилась — еще больше, чем накануне. Хиродзи в это время как раз крепко спал, склонив голову бабушке на колени. Но О-Суми даже растолкала внука и долго бранилась.

— Хиро, вставай! Хиро, вставай! Послушай, что говорит твоя мать! Твоя мать сказала, что мне пора умирать. Слушай хорошенько: при твоей матери денег у нас немного прибавилось, это правда, но наша земля, целое тэ и три тан, все это было пахано в первый раз еще дедом и бабкой. Как же так? Мать говорит, чтобы я помирала, если я хочу на покой. Хорошо, О-Тами, я умру! Я не боюсь смерти! Но тебя, О-Тами, я слушаться не стану! Да, я умру! Конечно, умру! Но после смерти не дам тебе житья...

О-Суми громко бранилась, бранилась и обнимала плачущего внука. Но О-Тами разлеглась на полу у очага с таким видом, будто ничего не слышала.

Однако О-Суми не умерла. Зато на другой год, перед праздником Доё, О-Тами, всегда хваставшаяся своим здоровьем, заразилась брюшным тифом и на восьмой день скончалась. Правда, в то время даже в этой маленькой деревушке было очень много больных тифом. К тому же перед болезнью О-Тами, поскольку настала ее очередь, ходила рыть могилу для кузнеца, тоже погибшего от тифа. В кузнице остался мальчик-ученик, которого в день похорон она отвезла в инфекционную больницу. «Там ты, наверно, и заразилась», — со скрытым упреком говорила О-Суми, когда невестка вернулась от врача с багровым лицом.

В день похорон О-Тами шел дождь. Но в деревне все до единого, во главе со старостой, собрались на похороны. Все жалели безвременно скончавшуюся О-Тами и выражали сочувствие Хиродзи и О-Суми, потерявшим дорогую кормилицу. А староста сказал, что в скором времени в уезде состоит-

ся официальное засвидетельствование заслуг О-Тами. При этих словах О-Суми оставалось только склонить голову. «Что ж, такая судьба, надо примириться. Мы еще с прошлого года стали подавать в уездное управление ходатайства о признании заслуг О-Тами-сан, мы пять раз тратились на железную дорогу, ездили к начальнику уезда, немало потрудились. Что ж делать, мы с этим примирились, примиритесь и вы», — так, по обычаю, говорил О-Суми добрый лысый староста.

В ночь после похорон невестки О-Суми с Хиродзи легли спать под одной сеткой от комаров в углу комнаты, где был домашний алтарь. Обычно они, конечно, спали в полной темноте. Но в эту ночь на алтаре горел свет. Старухе казалось, что старые татами пропитаны непривычным запахом какого-то дезинфицирующего вещества. Может быть, поэтому О-Суми долго не могла заснуть. Смерть О-Тами, безусловно, принесла ей большое счастье. Теперь она могла не работать. Могла не бояться выговоров. Сбережений у нее было три тысячи иен, земли одно тэ три тан. Теперь они с внуком могли каждый день вволю есть рис. Могли вволю, целыми мешками, покупать любимый соленый горох. Такого чувства облегчения О-Суми не помнила за всю свою жизнь. Такого чувства облегчения... Но в памяти ясно встала одна ночь девять лет тому назад. В ту ночь она тоже с облегчением перевела дух, — все было почти так же, как в эту. То была ночь после похорон родного сына. А теперь? Теперь это ночь после похорон невестки, которая родила ей внука.

О-Суми невольно открыла глаза. Внук спал рядом с ней, лежа на спине, так что видно было его невинное личико. Глядя на него, О-Суми постепенно пришла к мысли, что она бессердечный человек. Что и сын Нитаро, так злосчастно женившийся, и невестка О-Тами, — тоже черствые люди. Эта мысль мало-помалу вытеснила накопившиеся за десять лет ненависть и гнев. Больше того, она вытеснила даже утешавшее ее предчувствие будущего счастья. И она, и ее дети, все трое были бессердечные люди. Но она, терпевшая обиды, сама была самой бессердечной из них. «О-Тами, зачем

ты умерла?» — не помня себя, твердила она, обращаясь к покойнице. И из глаз ее неудержимо лились слезы...

Только около четырех часов О-Суми, усталая, наконец погрузилась в сон. А в это время над тростниковой крышей дома уже занималась холодная заря...

Декабрь 1923 г.

ТРИ СОКРОВИЩА

1

Лес. Трое разбойников, ссорясь, делят награбленные сокровища: сапоги-скороходы, плащ-невидимку и меч, разрубающий сталь. Правда, с первого взгляда видно, что это никуда не годное старье.

Первый разбойник. Плащ давайте сюда.

Второй разбойник. Хватит болтать. Меч давайте мне. Ух ты, сапоги у меня стащили.

Третий разбойник. Да это же мои сапоги! Ты их у меня стащил.

Первый разбойник. Ну ладно, ладно. Плащ все равно мой будет.

Второй разбойник. Вот скотина! Почему не отдаешь?

Первый разбойник. Ну хватит, хватит! Вы что, меч мой тоже стащили?

Третий разбойник. У, ворюга, отдавай плащ!

Завязалась драка. А в это время по лесной дороге верхом на коне ехал принц.

Принц. Эй, эй, что вы делаете? *(Слезает с коня.)*

Первый разбойник. Да он вот во всем виноват. Меч у меня стащил и плащ еще требует.

Третий разбойник. Сам и виноват. Плащ-то ведь он у меня стащил.

Второй разбойник. Уж эти двое что хочешь украдут. Ведь все это мое.

Первый разбойник. Ври!

Второй разбойник. Сам ты врун и есть!

Снова готовы затеять драку.

Принц. Пойдите, пойдите. Ну из-за чего вы ссоритесь? Не все ли равно, кому достанется старый плащ, а кому — дырявые сапоги?

Второй разбойник. Нет, так не пойдет. Плащ этот не простой. Стоит надеть его, как сразу станешь невидимым.

Первый разбойник. А меч может разрубить какой угодно стальной шлем.

Третий разбойник. А наденешь эти сапоги и враз пролетишь тысячу ри.

Принц. Да, за такие сокровища стоит поспорить. Но разве нельзя поделить их, не жадничая, каждому по одной вещи?

Второй разбойник. Попробуй подели. Не успеешь оглянуться, как тебе этим мечом голову отхватят.

Первый разбойник. Это бы еще ничего. Хуже другое. Кто наденет плащ — тот и кради что хочешь.

Второй разбойник. Да что там! Надевай сапоги, хватай, что понравилось, — только тебя и видели.

Принц. Да, вполне резонно. Но, может быть, чтобы не спорить, вы все три вещи мне продадите?

Первый разбойник. Ну как, продадим этому господину?

Третий разбойник. Может, и правда, это самое лучшее?

Второй разбойник. А за сколько?

Принц. За сколько?.. Давайте так сделаем. Вместо вашего плаща я отдам свой красный плащ. Он даже отделан шитьем. Вместо сапог — свои сапоги, украшенные драгоценными камнями. А если вы получите этот оправленный золотом меч, то ничуть не прогадаете, отдав за него свой. Ну как, подходит вам такая цена?

Второй разбойник. Я, пожалуй, вместо этого плаща его плащ возьму.

Первый разбойник и третий разбойник. Мы тоже согласны.

Принц. Ну что ж. Тогда давайте меняться.

Принц выменивает плащ, меч и сапоги, снова садится на коня и собирается ехать дальше по лесной дороге.

Там впереди нет постоянного двора?

Первый разбойник. Как только выедете из лесу, сразу же будет постоянный двор «Золотой рожок». Ну, счастливого пути.

Принц. Понятно. Прощайте. *(Уезжает.)*

Третий разбойник. Выгодное дельце мы провернули. Я даже и не думал, что у него такие сапоги. Смотрите. В пряжки вставлены бриллианты.

Второй разбойник. А чем плох его плащ? Наденешь его — и сразу станешь похожим на господина.

Первый разбойник. Да и меч этот — стоящая вещь. И эфес, и ножны золотые. И надули мы его так легко потому, что принц, видно, порядочный дурак. Верно?

Второй разбойник. Тсс! Даже у стен есть уши, даже бутылка из-под водки может заговорить. Ну что ж, пошли куда-нибудь выпьем.

И три разбойника, перебрасываясь шутками, уходят, но не в ту сторону, куда уехал принц.

2

Харчевня постоянного двора «Золотой рожок». В углу сидит принц и жует хлеб. Кроме него, в харчевне семь-восемь человек — все по виду крестьяне.

Хозяин постоянного двора. Скоро вроде свадьба принцессы.

Первый крестьянин. Да, говорят. А жених-то, как будто, черный король?

Второй крестьянин. И ходят слухи, что принцесса ненавидит этого короля.

Первый крестьянин. Если ненавидит, то пусть лучше откажется от свадьбы.

Хозяин. Но этот черный король обладает тремя сокровищами. Первое — сапоги-скороходы, второе — меч, разру-

бающий сталь, третье — плащ-невидимка. И все их он собирается преподнести в дар отцу невесты. Потому-то наш жадный король пообещал отдать за него принцессу.

Второй крестьянин. Кого жаль, так это принцессу.

Первый крестьянин. Но неужели никто не пробовал спасти ее?

Хозяин. Почему же. Среди принцев из разных стран, наверное, есть такие, кто хотел бы спасти ее, но черного короля никому не одолеть. Вот и сидят помалкивают.

Второй крестьянин. Да вдобавок, говорят, жадный король, чтобы не украли принцессу, поставил дракона стержень ее.

Хозяин. Нет, говорят, не дракона, а солдат.

Первый крестьянин. Если бы я знал заклинания, то первым поспешил бы на помощь принцессе.

Хозяин. Ну ясно. Знай я эти заклинания, не стал бы вас дожидаться.

Все смеются.

Принц (*неожиданно вмешивается в разговор*). Не горюйте. Я спасу принцессу.

Все (*с изумлением*). Вы?!

Принц. Да-да. Подходи, кто хочешь, хоть черный король, хоть еще кто. (*Закатав рукава, смотрит на компанию*.) Всех подряд уложу.

Хозяин. Но у короля есть, говорят, три сокровища. Первое — сапоги-скороходы, второе...

Принц. Меч, разрубающий сталь? У меня он тоже есть. Посмотрите на эти сапоги. Посмотрите на этот меч. Посмотрите на этот старый плащ. Все эти сокровища ничуть не отличаются от тех, что у черного короля.

Все (*снова с изумлением*). Эти сапоги?! Этот меч?! Этот плащ?!

Хозяин (*с сомнением*). Но ведь сапоги-то ваши дырявые.

Принц. Да, они дырявые. Но хоть они и дырявые — шагнешь в них раз и пролетишь тысячу ри.

Хозяин. Правда?

Принц (*с сожалением*). Ты думаешь, наверное, что я лгу.

Ну что ж, покажу тебе, как я сейчас полечу. Открой двери. Готово? Не успею взлететь, как сразу же исчезну.

Хозяин. Но сначала, может быть, господин заплатит по счету?

Принц. Пустяки, я тут же вернусь. Какие тебе принести подарки? Итальянский гранат? Испанскую дыню? Или, может быть, фиги из далеких арабских стран?

Хозяин. Если подарок, то все равно какой. Ну покажите, как вы летаете.

Принц. Лечу. Раз, два, три!

Принц прыгает изо всех сил, но, не достигнув и порога, падает навзничь.

Все смеются.

Хозяин. Я так и думал.

Первый крестьянин. Вот тебе и тысяча ри — дватри кэна и то не пролетел.

Второй крестьянин. Нет, он пролетел тысячу ри. За один раз пролетел тысячу ри туда, за другой — тысячу ри обратно, и вот сейчас он вернулся на старое место.

Первый крестьянин. Брось шутить. Глупая это история.

Компания хохочет. Принц с трудом поднимается и уныло бредет к выходу.

Хозяин. Пойдите, заплатите по счету.

Принц молча бросает ему деньги.

Второй крестьянин. А подарки?

Принц (*кладет руку на эфес меча*). Что?!

Второй крестьянин (*пятаясь*). Нет-нет. Я ничего не говорил. (*Как будто про себя*.) А мечом, наверное, голову можно отсечь?

Хозяин (*миролюбиво*). Господин еще слишком молод, и поэтому ему лучше возвратиться в королевство своего отца. Сколько бы он ни старался, черного короля ему все равно не одолеть. Человек прежде всего должен быть рассудительным и соразмерять свои силы.

В с е. Послушайте, послушайте, он добра вам желает.

П р и н ц. Я думал, что все, все смогу. *(Плачет.)* Мне стыдно перед вами. *(Прячет лицо.)* Я готов провалиться сквозь землю.

П е р в ы й к р е с т ь я н и н. Пусть господин попробует надеть этот плащ. Может, тогда и исчезнет.

П р и н ц. Скотина! *(Топает ногами.)* Ладно, издевайтесь, сколько хотите. Во что бы то ни стало я спасу любимую принцессу от черного короля! Пусть в сапогах я не могу пролететь тысячу ри, но у меня есть меч. И плащ. *(С жаром.)* Нет! Я спасу ее даже голыми руками. Смотрите, как бы вам не раскаться тогда! *(Как безумный, выскакивает из харчевни.)*

Х о з я и н. Ну что ты будешь делать. Хорошо бы, не убил его этот черный король.

3

Парк королевского дворца. Среди роз бьет фонтан. Вначале нет никого. Через некоторое время появляется принц в плаще.

П р и н ц. Стоило мне надеть этот плащ, и я, похоже, стал невидимым. Когда я входил в ворота замка, то мне повстречались и стража, и фрейлины. Но никто из них не остановил меня. Значит, в этом плаще я, подобно ветерку, благоухающему розами, смогу, наверное, проникнуть в покои принцессы. Ой, кто это идет сюда? Не принцесса ли, о которой мне рассказывали? Надо бы пока спрятаться. Да что там. Даже если я здесь и останусь, принцесса не сможет меня увидеть.

Принцесса подходит к фонтану и печально вздыхает.

П р и н ц е с с а. Как я несчастна! Не пройдет и недели, как этот ужасный черный король увезет меня в Африку. В Африку, где львы и крокодилы. *(Садится на траву.)* Я хочу всегда жить в этом замке. Хочу слушать шум этого фонтана среди роз...

П р и н ц. Как прекрасна принцесса! Даже если мне это будет стоить жизни, я спасу ее.

П р и н ц е с с а *(испуганно глядя на принца)*. Кто вы?

П р и н ц *(как будто про себя)*. Черт возьми! Напрасно я заговорил.

П р и н ц е с с а. Напрасно заговорил? Что с вами происходит? Такое милое лицо, и вот...

П р и н ц. Лицо? Вы видите мое лицо?

П р и н ц е с с а. Вижу, конечно. А что в этом удивительного?

П р и н ц. И этот плащ видите?

П р и н ц е с с а. Да, ужасно старый плащ, не правда ли?

П р и н ц *(растерянно)*. Но вы не должны были меня видеть.

П р и н ц е с с а *(удивленно)*. Почему?

П р и н ц. Это плащ, надев который становишься невидимым.

П р и н ц е с с а. Такой плащ только у черного короля.

П р и н ц. Нет, этот тоже такой.

П р и н ц е с с а. Но разве вы стали невидимым?

П р и н ц. Когда мне повстречались стража и фрейлины, я на самом деле был невидимым. Доказательством служит хотя бы то, что, с кем бы я ни встречался, никто меня не остановил.

П р и н ц е с с а *(смеется)*. Так и должно было случиться. В этом старом плаще вас просто приняли за слугу.

П р и н ц. Слуга! *(Растерянно садится.)* Случилось то же самое, что и с этими сапогами.

П р и н ц е с с а. А что с сапогами?

П р и н ц. Это сапоги-скороходы.

П р и н ц е с с а. Такие же, как сапоги черного короля?

П р и н ц. Да. Только недавно я попробовал было шагнуть в них, но не пролетел даже каких-нибудь два-три кэна. У меня есть еще меч. Он должен разрубать даже сталь...

П р и н ц е с с а. А вы пробовали рубить им что-нибудь?

П р и н ц. Нет, я не должен ничего рубить им, пока не отрублю голову черному королю.

П р и н ц е с с а. Ах так! Вы приехали, чтобы сразиться с черным королем?

П р и н ц. Нет, я приехал не для того, чтобы сразиться. Я приехал, чтобы спасти вас.

Принцесса. Правда?

Принц. Правда.

Принцесса. О, какое счастье!

Неожиданно появляется черный король. Принц и принцесса поражены.

Черный король. Здравствуйте. Я только что одним прыжком прилетел из Африки. Видите, на что способны мои сапоги?

Принцесса *(холодно)*. А теперь можете снова отправляться в Африку.

Король. Нет, сегодня я хочу спокойно поговорить с вами. *(Замечает принца.)* Откуда этот слуга?

Принц. Слуга? *(Встает возмущенный.)* Я принц. Я пришел, чтобы спасти принцессу. И пока я здесь, не позволю даже пальцем ее коснуться.

Король *(нарочито вежливо)*. Я обладаю тремя сокровищами. Вам известно это?

Принц. Меч, сапоги и плащ? Верно, в моих сапогах не пролетишь и одного тѐ. Но если со мной будет принцесса, то даже в этих сапогах меня не испугают ни тысяча, ни две тысячи ри. А теперь посмотрите на этот плащ. Ведь только благодаря ему меня приняли за слугу и мне удалось предстать перед принцессой. Значит, он смог сделать невидимым принца. Не так ли?

Король *(насмешливо)*. Перестаньте хвастать. Посмотрите лучше, на что способен мой плащ. *(Надевает плащ. В тот же миг исчезает.)*

Принцесса *(хлопает в ладоши)*. А-а, исчез. Как только исчез этот человек, я стала по-настоящему счастлива.

Принц. А этот плащ короля удобен. Он сделан специально для нас.

Король *(внезапно снова появляется. Говорит противным голосом)*. Совершенно верно. Он сделан специально для вас.

Мне от него нет никакой пользы. *(Отбрасывает плащ.)* Но у меня есть меч. *(Бросает на принца злобный взгляд.)* Вы посягаете на мое счастье. Вызываю вас на честный бой. Мой меч

может разрубить даже сталь. Ваша голова для него ничто. *(Вытаскивает меч.)*

Принцесса *(быстро встает и загоразивает принца)*. Если ваш меч разрубает сталь, то сможет пронзить и мою грудь. Ну попробуйте, пронзите одним ударом.

Король *(отступая)*. Нет, вас он не может пронзить.

Принцесса *(насмешливо)*. Неужели он не может пронзить мою грудь? Ведь вы говорили, что им можно разрубить даже сталь.

Принц. Подождите. *(Отстраняет принцессу.)* Король правильно говорит. Я его противник и должен вести с ним честный бой. *(Королю.)* Ну что же, начнем поединок. *(Вытаскивает меч.)*

Король. Хоть вы и молоды, но настоящий мужчина. Готовы? Дотронетесь до меча — расстанетесь с жизнью. Смотрите!

Мечи короля и принца скрещиваются. И вдруг король, словно тростинку, рассекает меч принца.

Ну как?

Принц. Меч мой действительно разрублен. Но я все равно посмеюсь над вами.

Король. Так продолжим поединок?

Принц. Конечно. Ну, подходите.

Король. Нет, поединок можно не продолжать. *(Внезапно отбрасывает меч.)* Вы победили. Меч мой ничего не стоит.

Принц *(с удивлением смотрит на короля)*. Почему?

Король. Почему? Если я убью вас, то принцесса меня еще больше возненавидит. Разве вы этого не понимаете?

Принц. Нет, я понимаю. Потому что и вы согласились понять это.

Король *(задумчиво)*. Я думал, что, обладая тремя сокровищами, смогу получить и принцессу. Но, как видно, ошибся.

Принц *(положив руку на плечо короля)*. А я думал, что, обладая тремя сокровищами, смогу спасти принцессу. Но, видимо, тоже ошибся.

Король. Да, мы оба ошибались. *(Берет руку принца.)* Давайте помиримся. Примите мои извинения.

Принц. Простите и вы меня. Сейчас и не поймешь — кто из нас победил.

Король. Нет, вы победили меня. Я сам победил себя. *(Принцессе.)* Я возвращаюсь в Африку. Так что успокойтесь, пожалуйста. Меч принца, вместо того чтобы разрубить сталь, пронзил мое сердце, еще более твердое, чем сталь. На свадьбу я дарю вам три сокровища: меч, сапоги и плащ. И если у вас будут эти три сокровища, то, я думаю, на свете не найдется злодея, который мог бы причинить вам горе. Ну а если все-таки появится какой-нибудь негодяй, дайте знать об этом в мое королевство. Я в любую минуту вместе с миллионом черных всадников выступлю, чтобы покарать ваших врагов. *(Грустно.)* Ожидая вас, в самом центре своей африканской столицы я выстроил мраморный дворец. Вокруг дворца цветут лотосы. *(Принцу.)* А вы иногда надевайте эти сапоги и прилетайте ко мне развлечься.

Принц. Обязательно прилечу в гости.

Принцесса *(прикрепляет к груди черного короля розу).* Я очень виновата перед вами. Мне даже и во сне не могло присниться, что вы такой добрый. Будьте снисходительны ко мне. Я действительно очень виновата. *(Припав к груди короля, плачет, как ребенок.)*

Король *(гладит волосы принцессы).* Спасибо. Мне очень приятно слышать это. Я ведь тоже не какой-нибудь злой дух. Черный король, похожий на злого духа, бывает только в сказках. *(Принцу.)* Не правда ли?

Принц. Совершенно верно. *(Обращаясь к зрительному залу.)* Друзья! Мы трое проснулись. И черный король, похожий на злого духа, и принц, обладающий тремя сокровищами, бывают только в сказках. Но так как мы уже проснулись, то нам нечего оставаться в стране сказки. Перед нами сквозь туман проглядывает необъятный мир. И мы все вместе уходим из мира роз и фонтанов в этот мир. В необъятный мир! Он безобразен, он прекрасен, этот мир — мир огромной сказки! Мы не знаем, что ждет нас в этом мире — горе или радость. Мы знаем одно — нужно идти в этот мир смело, как храбрые солдаты.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ САНЭМОНА

Это случилось на четвертом году Бунсэй, в декабре. Вассал князя Харунаги, властителя Каги, охранник Хосон Санэмон, получавший на княжеской службе шестьсот коку риса в год, убил юного Кадзуму, младшего сына Кинугасы Тахэя, такого же охранника, как и сам Санэмон. Причем убил не в честном поединке — однажды, когда Санэмон, возвращаясь с поэтического собрания, проходил в начале часа Пса мимо конского ристалища, Кадзума набросился на него с мечом, однако сам же и пал от его руки.

Весть о происшествии дошла до князя, и Харунага приказал Санэмону явиться пред княжеские очи. Подобное приказание никому не удивило.

Во-первых, князь Харунага известен был как человек мудрый. А следовательно, все важные решения принимал сам, не допуская к тому своих вассалов. Пока не вникнет в суть дела, пока сам как следует не рассудит, до тех пор не успокоится... Вот, к примеру, история двух его сокольников: одного князь наградил, другого покарал. Из истории этой отчасти видно, что за человек был Харунага, а потому будет излишним вкратце изложить ее здесь.

Как-то раз один из сокольников, в обязанность коему вменялось следить за перелетными птицами для княжеской соколиной охоты, доставил известие, что на рисовые поля деревни Итикава в уезде Исикава опустилась стая красноклювых журавлей, о чем и было через старшего самурая незамедлительно доложено князю. Его светлость чрезвычайно обрадовался сему известию. Назавтра же все приготовления были закончены, и княжеская охота ни свет ни заря отбыла в деревню Итикава. Из ловчих птиц взяли лучшего сокола

Фудзи-Цукасу, пожалованного князю самим сёгуном, и вдобавок еще двух больших соколов и двух малых. Сокольничим при Фудзи-Цукасе состоял самурай Аимото Кидзаэмон, однако в тот день его светлость пожелал собственноручно нести сокола. На беду, тропинка между заливными полями была скользкой после недавнего дождя, его светлость ненароком оступился, сокол сорвался с руки князя, взмыл вверх, и красноклювые журавли в тот же миг снялись с места всей стайей и скрылись в небе. При виде сего Кидзаэмон, не помня себя от бешенства, разразился бранью:

— Что натворил, болван!..

Однако тотчас опамятовался, уразумел, что перед ним — его светлость, и упал на колени, обливаясь холодным потом, в ожидании удара княжеского меча. Его светлость, однако, изволил весело рассмеяться и молвил:

— Моя вина! Я виноват, прости!

По возвращении же в замок, тронутый верной службой и прямотушием Кидзаэмона, пожаловал ему вновь распаханной целины на сто коку риса и сверх того произвел в ловчие, поставив над всеми своими сокольничими.

С той поры ухаживать за Фудзи-Цукасой назначили самурая Янасу Сэйхати, и вот случись однажды, что на сокола напала какая-то хворь. Как-то раз его светлость вызвал Сэйхати и осведомился:

— Ну, как Фудзи-Цукаса?

К этому времени сокол стал уже поправляться, а посему Сэйхати отвечал:

— Совершенно здоров! Настолько здоров, что и человека закогтить не оплошает!

Видимо, его светлости не по душе пришлось подобное хвастовство, потому что князь соизволил молвить:

— Отлично! В таком случае покажешь нам, как он справится с человеком!

Делать нечего, с того дня стал Сэйхати класть на голову сыну своему Сэйтаро куски рыбы или дичи и другую приманку и целыми днями обучал Фудзи-Цукасу, так что сокол постепенно привык садиться на голову человеку. Тогда Сэйхати, недолго думая, доложил через старшего ловчего, что го-

тов показать соколиную охоту на человека, на что его светлость изволил молвить:

— Любопытно! Завтра же все вместе отправимся на Южное ристалище, и пусть сокол поймает старшего самурая, ведающего чайной церемонией, Обу Дзюгэна!

Наутро, в ранний час, его светлость прибыл на Южное ристалище, приказал поставить Обу Дзюгэна посреди поля и повелел:

— Пускай сокола, Сэйхати!

— Слушаюсь, ваша светлость! — тотчас же отозвался Сэйхати, выпустил сокола, и птица, прочертив линию, ровную, как иероглиф «единица», камнем упала прямо на голову Обы Дзюгэна.

— Есть! — торжествующе закричал Сэйхати, выхватил малый меч, коим охотники вырезают птичью печеньку, и подскочил к Обе Дзюгэну, готовый поразить его насмерть, но в это мгновение его светлость вскричал:

— Что ты делаешь, Сэйхати!..

Однако Сэйхати не образумился и все пытался поразить мечом Обу Дзюгэна, приговаривая:

— Коли сокол схватил добычу, значит, надо вырезать печень!

В этот миг его светлость, внезапно воспылав великим гневом, приказал:

— Подать сюда ружье! — и тут же наповал уложил Сэйхати выстрелом из ружья, в стрельбе из коего был весьма и весьма искусен...

Во-вторых же, Харунага давно уже внимательно приглядывался к Санэмону. Случилось как-то раз, что при усмирении бунтовщиков Санэмон и еще один самурай оказались ранены в голову. У самурая рана пришлась прямо над переносицей, а у Санэмона вздулся лиловый кровоподтек на левом виске. Харунага призвал обоих и подивился:

— Чудеса, да и только! — После чего спросил: — Что, боли, больно? — На что самурай отвечал:

— Удивительное везение! Рана, по счастью, вовсе не причиняет боли!

Санэмон же хмуро пробормотал:

— Еще бы не больно! Такая рана только у мертвого не болит.

С тех пор Харунага уверился, что Санэмон — человек честный и прямотушный. Уж он-то не станет лгать и обманывать. «На кого-кого, а на этого человека я могу положиться!» — думал князь.

Таков был Харунага. Вот и на сей раз он рассудил, что лучший способ выяснить все обстоятельства неожиданного убийства — самолично и подробно расспросить Санэмона.

Получив приказание явиться, Санэмон в трепете душевном предстал перед князем. Однако он отнюдь не выглядел виноватым или раскаивающимся. Худощавое, нервное лицо его, словно застывшее от волнения, выражало скорее даже какую-то внутреннюю решимость.

— Санэмон, говорят, будто Кадзума неожиданно напал на тебя из-за угла, — без обиняков начал Харунага. — Очевидно, он питал к тебе вражду. За что?

— Никакой определенной причины для вражды я не знаю.

Харунага, немного помедлив, спросил еще раз, как бы стараясь, чтобы Санэмон хорошенько уразумел смысл вопроса:

— Значит, никакой вины ты за собой не помнишь?

— Пожалуй, нет... Есть, правда, одно предположение... Возможно, он гневался на меня из-за этого...

— Из-за чего же?

— Дело было четыре дня назад. В школе фехтования состоялись ежегодные турниры. Вместо господина Ямамото Кадзаэмона, учителя вашей светлости, на этот раз судьей был я. Правда, я судил поединки только тех самураев, которые еще не закончили обучение воинскому искусству. Поединок Кадзумы тоже судил я.

— А кто был его партнером?

— Самурай по имени Тамон, сын и наследник вассала вашей светлости господина Хираты Кидаю.

— И Кадзума потерпел поражение?

— Да, ваша светлость. Тамон дважды коснулся запястья Кадзумы и один раз — головы. А Кадзума не сделал ни одного укола. Иными словами, во всех трех турах он потерпел пол-

ное поражение. И возможно, затаил в душе обиду на судью, то есть на меня.

— Значит, ты полагаешь, будто Кадзума вообразил, что ты судил небеспристрастно?

— Да, ваша светлость. Но со мною этого не бывает. Да и нет у меня оснований отдавать кому-либо предпочтение. И все же мне почему-то кажется, что Кадзума заподозрил меня в несправедливости.

— Ну, а раньше вы не ссорились? Не случилось ли у вас споров? Постарайся припомнить.

— Нет, мы не спорили. Разве что... — Санэмон запнулся. Но вовсе не потому, что колебался, сказать или умолчать; казалось, он подбирает в уме наиболее точные выражения, чтобы лучше изложить свою мысль. — Разве что однажды... Накануне состязания Кадзума вдруг ни с того ни с сего попросил у меня прощения за какую-то недавнюю грубость. Я, однако, ничего подобного не помнил и потому спросил, что он имеет в виду. Но Кадзума лишь смущенно улыбнулся вместо ответа. Тогда я сказал, что никакой вины за ним не знаю и, следовательно, прощать его мне и подавно не за что. Очевидно, Кадзума наконец мне поверил, потому что проговорил, на сей раз уже совсем спокойно: «Значит, мне показалось... Прошу вас, выбросьте из головы этот разговор...» И помнится мне, что при этих словах он опять усмехнулся, только уже не смущенно, а скорее злорадно...

— Что же он имел в виду?

— Это мне и самому непонятно. Но похоже, что речь шла о каких-нибудь сущих пустяках... Вот и все, а других столкновений между нами никогда не было...

Снова наступило молчание.

— Ну, а каков был нрав у этого Кадзумы? Не замечал ли ты, что он недоверчив, подозрителен?

— Нет, этого я за ним не замечал... Нрав у него был скорее юношески открытый... Он не стыдился откровенно проявлять все свои чувства. Вместе с тем, пожалуй, был вспыльчив... — Санэмон смолк, потом не столько проговорил, сколько тяжело выдохнул: — Но главное — этот поединок с Тамоном был для него крайне важен.

— Крайне важен?.. Почему?

— Кадзума уже выдержал предварительные испытания. Победы он на этот раз, его обучение считалось бы законченным. Правда, это относилось и к Тамону. Оба они — и Тамон, и Кадзума — выделялись среди ваших молодых самураев как самые способные фехтовальщики.

Харунага погрузился в молчание, как будто что-то обдумывал. Внезапно, точно сделав новое умозаключение, он перешел к расспросам о событиях той ночи, когда совершилось убийство.

— Кадзума и впрямь подстерегал тебя у ристалища?

— Похоже, что так. В тот холодный вечер я шел один мимо ристалища; на мне не было даже плаща, пришлось открыть зонтик. Внезапно ветер усилился, снег полетел вкось, и я опустил зонтик к левому плечу. Кадзума напал на меня как раз в то мгновение, и потому его меч, не задев меня, разрубил только зонтик.

— Ударил, даже не окликнув тебя?

— Похоже, что так.

— Узнал ты его? Что ты подумал?

— Думать было некогда. Я тотчас отпрыгнул влево. В этот миг последовал второй удар: он рассек рукав моего хаори на добрых пять сун... Я снова отпрыгнул в сторону и, выхватив меч, нанес ответный удар. Очевидно, тут-то я и рассек ему грудь. Он что-то крикнул...

— Что именно?

— Не помню. Просто выкрикнул что-то в пылу схватки... И вдруг я отчетливо понял — это Кадзума!

— Ты хочешь сказать, что узнал его голос?

— Нет, не поэтому.

— Как же ты догадался, что это Кадзума? — Харунага в упор посмотрел на Санэмона.

Санэмон молчал, не отвечая на вопрос князя. Харунага повторил вопрос более настойчиво. Но Санэмон по-прежнему молчал, опустив взор и упорно разглядывая свои хакама, словно и не собирался заговорить.

— Итак, Санэмон? — Князя будто подменили, таким стал он величавым и грозным. Подобные мгновенные превращения были частым и излюбленным приемом Харунаги. Все так же потупясь, Санэмон разжал наконец плотно сомкну-

тые уста. Но вырвавшиеся у него слова не были прямым ответом на вопрос князя. К удивлению Харунаги, то было смиренное признание своей вины.

— Да, я повинен в тяжком проступке — я понапрасну загубил самурая, состоявшего на драгоценной службе у вашей светлости!

Харунага нахмурился, лицо его выразило некоторое недоумение. Но взгляд, обращенный на Санэмона, оставался величавым и грозным.

— Кадзума имел право ненавидеть меня, — продолжал Санэмон. — Я несправедливо судил его поединком.

Харунага нахмурился еще больше.

— Но минуту назад ты говорил о своей беспристрастности, уверял, что у тебя и в мыслях не было отдавать кому-либо предпочтение.

— Да, это верно. Я готов это повторить... — Санэмон говорил, с усилием подбирая слова, как будто стремился раскрыть всю душу. — Вот в чем моя несправедливость. Я и вправду вовсе не собирался содействовать победе Тамона или поражению Кадзумы, все это точно так, как я уже говорил вашей светлости. И все-таки этого еще мало, чтобы утверждать, будто я действовал нелицеприятно. Я заведомо возлагал больше надежды на Кадзуму, чем на Тамона. Искусство Тамона суетно. Это порочное искусство, когда все помыслы устремлены только к победе — лишь бы победить, любой ценой победить, не гнушаясь ничем, даже низостью. Не таков Кадзума — его искусство возвышенное, благородное. Это подлинное искусство, честное и прямое, готовое встретить противника лицом к лицу. Я даже думал, что года через два или три Тамон никак не сможет соперничать с Кадзумой...

— Почему же ты присудил этому Кадзуме поражение?

— В том-то и дело... По чести, я хотел, чтобы победа досталась не Тамону, а Кадзуме. Но ведь я был судьей. А судья должен забыть свои личные симпатии. Когда с веером в руке становишься между противниками, вооруженными бамбуковыми мечами, надо следовать только законам неба. Таково мое убеждение, и потому во время поединка Кадзумы и Тамона я помышлял только о высокой справедливости. Но

все-таки, как я уже имел честь вам сказать, в душе я желал победы Кадзуме. Весы в моем сердце склонялись в его пользу. И вот вышло так, что, стремясь выровнять эти чаши, я опустил маленькую гирию в чашу Тамона... Только потом я понял, что она была лишней, — я был слишком мягок по отношению к Тамону и, напротив, чересчур суров с Кадзумой.

Речь Санэмона снова прервалась. Молчал и князь, ожидая продолжения рассказа.

— И вот они встали друг против друга и изготовились, не спуская глаз с кончиков мечей, но никто не начинал первым. И тут, улучив момент, Тамон попытался коснуться головы Кадзумы. Издав воинственный клич, Кадзума блестяще отразил этот удар и в то же мгновение коснулся запястья Тамона. Моя несправедливость началась с этой минуты. Я, несомненно, расценил этот удар Кадзумы как победу. Но чуть только я мысленно сказал себе: «Это победа!» — как тут же подумал: а не был ли удар слишком слаб?.. Моя решимость притупилась. И я не поднял веер над головой Кадзумы, хотя именно так надлежало бы поступить... Противники снова некоторое время стояли неподвижно, следя друг за другом. На этот раз Кадзума сделал выпад, стараясь коснуться мечом запястья Тамона. Тамон отразил удар, и, в свою очередь, коснулся руки Кадзумы. Удар Тамона был, пожалуй, слабее, чем тот, который нанес ему ранее Кадзума. И уж во всяком случае, этот удар не мог бы считаться более удачным... Но в ту же секунду я поднял веер над головой Тамона. Иными словами, победа в первой схватке была присуждена Тамону. «Что я наделал!» — пронеслось в моей голове, но в то же время какой-то голос словно шепнул мне: «Нет, судья ошибиться не может. И если сейчас мне кажется, будто я совершил ошибку, то лишь потому, что я слишком благоволю к Кадзуме...»

— Что же было дальше? — не без некоторой досады осведомился князь Харунага, потому что Санэмон снова погрузился в молчание.

— Противники опять встали в позицию. На этот раз выдержка была самой долгой. Внезапно Кадзума скрестил свой меч с мечом Тамона и вдруг молниеносным движением коснулся горла противника. Удар был сильным и точным. Но в

следующую секунду меч Тамона коснулся головы Кадзумы. Я поднял веер совершенно прямо, чтобы провозгласить ничью. Однако в действительности, кто знает, возможно, тут не было настоящей ничьей... Возможно, я затруднился определить, чей выпад был сделан раньше... Но нет — меч коснулся горла, пожалуй, раньше, чем другой меч — головы... Так или иначе, после провозглашения ничьей противники в третий раз изготовились к схватке и снова встали в позицию, следя друг за другом. И опять первым начал Кадзума. Он попытался еще раз коснуться горла Тамона. Однако на этот раз он слишком высоко поднял кончик меча, и Тамон сделал попытку достать грудь противника, целясь ниже... Еще минут десять после этого продолжался яростный поединок. Но под конец Тамон достал мечом голову Кадзумы...

— И этот удар?

— Был блестящим и точным. Теперь действительно каждый мог ясно видеть преимущество Тамона. Эта неудача распалила Кадзуму. Видя его волнение, я стал еще сильнее желать ему победы. Но чем больше я ее хотел, тем сильнее, говоря честно, колебался, не решаясь поднять веер над головой Кадзумы. Противники снова обменялись ударами. И вдруг Кадзума — не могу понять, что он задумал, — попытался придвинуться вплотную к Тамону. Я говорю, что не понял его намерений, потому что обычно Кадзума никогда не применял прием сближения... Я затаил дыхание. И неудивительно — Тамон приоткрыл грудь и в ту же секунду блестящим ударом коснулся головы Кадзумы... Этот последний тур был поистине пустым и бесплодным... И в конце концов я в третий раз поднял веер над головой Тамона... В этом и состоит та небеспристрастность, о которой я говорил вам. Возможно, я добавил одну-единственную лишнюю пушинку на чашу моих душевных весов... Но равновесие нарушилось, и Кадзума проиграл столь важный для него поединок. И сейчас мне кажется, что гневался он, в сущности, справедливо...

— Значит, по этой причине ты и догадался, что напал на тебя Кадзума?

— Не уверен, ваша светлость. Но сейчас, перебирая все в памяти, я готов думать, что сознание вины жило где-то в глубине моей души. И теперь, пожалуй, я склонен считать, что

именно чувство вины и подсказало мне правильную догадку: это Кадзума!

— Значит, ты сожалеешь о его смерти?

— Да, ваша светлость. А главное, как уже доложил вам, считаю непростительным, что так жестоко отнял жизнь у самурая, вассала вашей светлости... — И Санэмон, оборвав речь, снова опустил повинную голову. На лбу его, несмотря на декабрьскую стужу, выступили капельки пота. Князь Харунага, настроение которого между тем незаметно исправилось, несколько раз энергично кивнул, как бы соглашаясь с собственными мыслями.

— Так, так... Я понимаю, что у тебя на сердце. Возможно, что ты дурно поступил. Но тут уж ничего не поделаешь... Однако впредь смотри, чтобы... — Не договорив, Харунага бросил быстрый взгляд на Санэмона. — Когда ты наносил первый удар, ты уже знал, что перед тобой — Кадзума. Почему же ты все-таки убил его?

В ответ Санэмон решительно вскинул голову. В глазах его, сверкавших на смуглом лице, зажглось прежнее непреклонное выражение.

— Я был обязан убить его! Санэмон — слуга вашей светлости. И кроме того, самурай. И как ни жаль мне Кадзуму, бандита я пожалеть не мог!

Декабрь 1923 г.

ХОЛОД

Было утро, недавно перестал идти снег. Ясукиги сидел в учительской физического отделения и смотрел на огонь в печке. Огонь словно дышал — то ярко вспыхивал желтым пламенем, то прятался в серой золе. Так он непрестанно боролся с холодом, разлитым по комнате. Ясукиги вдруг представил себе холод взвешенных мировых пространств и почувствовал как докрасна раскаленному углю что-то вроде симпатии.

— Хорикава-кун!

Ясукиги поднял глаза на бакалавра естественных наук Миямото, стоявшего возле печки. Миямото, в очках для близоруких, с жидкими усиками над верхней губой, стоял, засунув руки в карманы брюк, и добродушно улыбался.

— Хорикава-кун! Ты знаешь, что женщина тоже физическое тело?

— Что женщина — животное, я знаю.

— Не животное, а физическое тело. Это — истина, которую я сам недавно открыл в результате больших трудов.

— Хорикава-сан, разговоры Миямото-сана не следует принимать всерьез.

Это сказал другой преподаватель физики, бакалавр естественных наук Хасэгава. Ясукиги оглянулся на него. Хасэгава сидел за столом позади Ясукиги, проверяя контрольные работы, по всему его лицу с большим лбом разлита была смущенная улыбка.

— Это странно! Разве мое открытие не должно осчастливить Хасэгава-куна? Хорикава-кун, ты знаешь закон теплообмена?

— Теплообмена? Это что-то о тепле электричества?

— Беда с вами, литераторами.

Миямото подбросил в открытую дверцу печки, озаренную отблесками огня, совок угля.

— Когда два тела с разной температурой приходят в соприкосновение, то тепло передается от тела с более высокой температурой к телу с более низкой температурой, пока температура обоих тел не уравнивается.

— Так ведь это само собой разумеется!

— Вот это и именуется законом теплообмена. Теперь будем считать, что женщина — физическое тело. Так? Если женщина физическое тело, то и мужчина, конечно, тоже. Тогда любовь будет соответствовать теплу. Когда эти мужчина и женщина приходят в соприкосновение, любовь, как и тепло, передается от более увлеченного мужчины к менее увлеченной женщине, пока она у них обоих не уравнивается. Как раз так случилось у Хасэгава-куна.

— Ну, начинается!

Хасэгава почти обрадованно засмеялся, словно от щекотки.

— Пусть E — количество тепла, проходящее через площадь S за время T , так? Тогда H — температура, X — расстояние от источника тепла, K — коэффициент теплообмена, определяемый веществом. Теперь возьмем случай с Хасэгава-куном.

Миямото начал писать на небольшой доске нечто вроде формулы. Но вдруг он обернулся и, словно отчаявшись, отбросил мел.

— Перед таким профаном, как Хорикава-кун, даже не похваешься своим открытием. А каких трудов мне оно стоило! Во всяком случае, нареченная Хасэгава-куна, видимо, увлеклась согласно моей формуле.

— Если бы такая формула существовала на самом деле, на свете жилось бы довольно легко...

Ясукиги вытянул ноги и стал рассеянно смотреть в окно. Учительская физического отделения помещалась в угловой комнате на втором этаже, поэтому отсюда можно было охватить одним взглядом спортивную площадку с гимнастическими снарядами, сосновую аллею и дальше — красные кирпичные здания. И море — в промежутке между зданиями было видно, как море вздымает пену серых волн.

— Зато литераторы сидят на мели. Ну, как она идет, ваша последняя книга?

— По-прежнему не продается. Видно, между писателями и читателями теплообмена не возникает... Кстати, как у Хасэгава-куна со свадьбой, все еще никак?

— Остался всего месяц. Столько хлопот, что невозможно заниматься, я совсем измучился.

— Так заждался, что невозможно заниматься?

— Я же не Миямото-сан. Прежде всего надо подыскать дом, но нигде ничего не сдается. Я просто из сил выбился. В прошлое воскресенье в поисках исходил весь город. Только присмотришь свободный дом, а он, оказывается, уже сдан другим.

— Ну а там, где я живу? Конечно, если не тяжело каждый день ездить поездом в училище.

— До вас далековато. Говорят, там можно снять дом, и жена не против, но... Эй, Хорикава-сан! Ботинки сожжете!

По-видимому, ботинки Ясукиги на какой-то момент коснулись печки: запахло горелой кожей, и поднялось облачко дыма.

— А ведь здесь тоже действует закон теплообмена.

Протирая стекла очков, Миямото исподлобья, как-то неуверенно поглядел на Ясукиги своими близорукими глазами и широко улыбнулся.

* * *

Через несколько дней выдалось морозное пасмурное утро. Ясукиги торопливо шел по окраине дачной местности, спеша попасть к поезду. Справа от дороги тянулись ячменные поля, слева — железнодорожная насыпь шириной в два кэна. Поля были совершенно безлюдны и полны смутными шорохами. Казалось, кто-то ходит среди ячменя, но это просто ломались сосульки в перепаханной земле.

Тем временем восьмичасовой поезд на Токио с умеренной скоростью прошел по насыпи, издав протяжный гудок. Поезд же из Токио, на который спешил Ясукиги, должен был пройти через полчаса. Ясукиги взглянул на часы. Они

почему-то показывали четверть девятого. Ясукити объяснил себе это расхождение тем, что часы спешат. И, разумеется, подумал: «Сегодня не опоздаю». Поля, тянувшиеся вдоль дороги, постепенно сменились живыми изгородами. Ясукити закурил сигарету и зашагал спокойней.

Это случилось там, где усыпанная шлаком дорога, подымаясь в гору, выводила к переезду; Ясукити подошел к нему как ни в чем не бывало. Он увидел, что по обе стороны переезда толпится народ. К счастью, владельцем велосипеда с поклажей, остановившегося у ограды, оказался знакомый мальчик из мясной. Ясукити хлопнул его по плечу рукой с зажатой в пальцах сигаретой.

— Эй, что случилось?

— Человека переехало! Вот только что, восьмичасовым, — ответил скороговоркой лопоухий мальчик. Лицо его горело от возбуждения.

— Кого переехало?

— Сторожа переезда. Он хотел спасти школьницу, которая чуть не попала под поезд, и его задавило. Знаете книжную лавку Нагаи, перед Хатиман? Вот их девочку чуть не задавило.

— Значит, девочку спасли?

— Да, вон она там, плачет, говорят.

«Вон там» — это была толпа по другую сторону переезда. В самом деле, там полицейский расспрашивал о чем-то какую-то девочку. Стоявший возле них мужчина, судя по виду его помощник, время от времени заговаривал с полицейским. Сторож переезда... Ясукити заметил перед будкой сторожа труп, покрытый рогожей. Он вызывал отвращение и вместе с тем возбуждал любопытство — да, это было так. Изпод рогожи даже издали виднелись ноги, — вернее, одни ботинки.

— Труп принесли вон те люди.

Под семафором по эту сторону переезда вокруг маленького костра сидело несколько железнодорожных рабочих. Желтоватое пламя костра не давало ни света, ни дыма, на-

столько было холодно. Один из рабочих в коротких штанах грел у костра зад.

Ясукити пошел через переезд. Станция была недалеко, поэтому на переезде был целый ряд железнодорожных путей. Шагая через рельсы, Ясукити думал о том, на каком именно пути раздавило сторожа. И вдруг это ему стало ясно. Кровь, еще остававшаяся в одном месте на рельсах, говорила о трагедии, разыгравшейся здесь несколько минут назад. Почти инстинктивно он перевел глаза на ту сторону переезда. Но это не помогло. Яркие алые пятна на холодно блещущем железе в одно мгновение, как выжженные, запечатлелись у него в душе. Мало того, от крови даже подымался легкий пар...

Через десять минут Ясукити беспокойно расхаживал по перрону. Мысли его были полны только что виденным жутким зрелищем. С особой отчетливостью он видел пар, подымавшийся от крови. В эту минуту он вспомнил о процессе теплообмена, о котором они недавно беседовали. Жизненное тепло, содержавшееся в крови, по закону, который ему объяснил Миямото, с непогрешимой правильностью неумолимо переходит в рельсы. Эта вторая жизнь, чья бы она ни была — сторожа ли, погибшего на посту, или тяжелого преступника, — с той же неумолимостью передается дальше. Что такие идеи лишены всякого смысла, он и сам понимал. И преданный сын, упав в воду, неизбежно утонет, и целомудренная женщина, попав в огонь, должна сгореть. Так он снова и снова старался мысленно убедить себя самого. Но то, что он видел своими глазами, произвело тяжелое впечатление, не оставлявшее места для логических рассуждений.

Однако, независимо от его настроения, у гулявших на перроне был вид вполне счастливых людей. Ясукити это раздражало. Громкая болтовня морских офицеров была ему физически неприятна. Он закурил вторую сигарету и отошел к краю перрона. Отсюда на расстоянии двух-трех тѣ был виден тот переезд. Толпа по обе стороны как будто уже разошлась. Только у семафора еще колебалось желтое пламя костра, вокруг которого сидели железнодорожные рабочие.

У Ясукити этот далекий костер вызвал что-то вроде сим-

патии. Однако то, что рядом был виден переезд, внушало ему беспокойство. Он повернулся спиной к переезду и опять смешался с толпой. Но не прошел он и десяти шагов, как вдруг заметил, что кто-то уронил красную кожаную перчатку. Перчатка упала, когда ее владелец, уходя, снял ее с правой руки, чтобы зажечь сигарету. Ясукити обернулся. Перчатка лежала на краю перрона ладонью вверх. Казалось, что она безмолвно зовет его остановиться.

Под морозным пасмурным небом Ясукити почувствовал душу этой одинокой оставленной перчатки. И вместе с тем ощутил, как в холодный мир тонкими лучами падает теплый солнечный свет.

Апрель 1924 г.

ОБРЫВОК ПИСЬМА

Это был обрывок письма на европейской бумаге, валявшийся под скамейкой в парке Хибия. Подбирая его, я думал, что он выпал из моего собственного кармана. Но когда взглянул, оказалось, что это письмо одной молодой женщины, посланное другой. Разумеется, такое письмо вызвало у меня любопытство. К тому же место, случайно попавшееся мне на глаза, содержало строчку, которую, не знаю как другим, но мне нельзя было пропустить.

«...но когда я взялась за Акутагава Рюноскэ — вот уж дурак!»

Как выразился один критик, я «такой скептик, что готов пожертвовать своим совершенством писателя». Причем к собственной глупости отношусь более скептически, чем всякий другой. «Но когда я взялась за Акутагава Рюноскэ — вот уж дурак!» — что за болтовня вертихвостки? Стараясь подавить вспыхнувший во мне гнев, я решил все же просмотреть рассуждения этой девицы. Нижеприведенное — переписано из обрывка письма слово в слово.

Как скучно мое существование, и сказать нельзя. Что поделаешь, глухой угол Кюсю. Театра нет, выставок нет (ты была на выставке Сюньёкай? Если была, напиши мне. С прошлого года они стали мне нравиться), концертов нет, лекций нет, — словом, некуда пойти. Вдобавок интеллигенция этого городка едва дошла до уровня Токутоми Рока. Вчера я повстречалась с приятельницей со времен женского училища, — и что же? — она только сейчас открыла для себя Арисима Такэо. Подумай, как это ужасно. Поэтому я живу дома бесцельно, как и все, шью, стряпаю, играю на фисгармонии

сестренки, перечитываю книги. Ах, выражаясь твоими словами, не жизнь, а сама скука.

Это бы еще полбеда. Но время от времени являются родственники и поднимают разговор о замужестве. То сватают старшего сына члена префектурального совета, то племянника владельца рудной шахты, одних фотографий я нагляделась не меньше десяти штук. Да-да, и среди них была фотография сына Накагава, того, что уехал в Токио. Я как-то его тебе показывала — он проходил по коридору в университете то ли с официанткой из кафе, то ли еще с кем-то... А его считают талантливым. Разве это не значит дурачить людей? Вот я и сказала им: «Я не говорю, что не выйду замуж. Но в делах замужества буду полагаться не на суждения других, а на свое собственное. Зато и ответственность за будущее счастье или несчастье ляжет целиком на меня».

Однако в следующем году брат окончит коммерческий институт, сестренка перейдет в четвертый класс женского училища. Как начнешь прикидывать, вот и получается, что не выйти замуж никак нельзя. В Токио дело совсем другое. А в нашем городке никаких понятий нет, они думают, я не хочу пристроиться, чтобы помешать браку брата и сестры. Слушать такие попреки просто невыносимо.

Конечно, я знаю, что не могу учить музыке, как ты, и мне не остается ничего другого, как выйти замуж. Но разве это значит, что надо выйти за кого попало? А в нашем городке считают, что всему виною «высокие идеалы». «Высокие идеалы!» Само слово «идеал» можно пожалеть. Ведь здесь его употребляют не иначе, как применительно к кандидатам в мужья. А до чего эти кандидаты хороши! Это я тебе сейчас объясню. Хочешь пример? Сын члена префектурального собрания служит в банке или еще где-то. Он настоящий пуританин. Пуританин — это бы еще куда ни шло, но подумай, он не только не пьет даже сладкого сакэ, он еще и секретарь общества трезвости. Раз уж родился непьющим, не смешно ли вступать в общество трезвости? Тем не менее он вполне серьезно произносит речи о вреде алкоголя.

Правда, не все кандидаты в мужья слабоумны. Инженер из электрической компании, который больше всех пришелся по душе моим родителям, во всяком случае, образован-

ный молодой человек. Я видела его только мельком, но сразу заметила, что лицом он напоминает Крейсера. Этот Ямамото с увлечением изучает общественные проблемы. Но к искусству, к философии у него нет ни малейшего интереса. Вдобавок его развлечение — стрельба из лука и песенки нанивабуси. А я всегда считала, что любить нанивабуси — значит иметь плохой вкус. Раньше я и не заикалась о нанивабуси. Как-то я поставила пластинки Галли-Курчи и Карузо, так он спросил: «А нет ли Торамару?» — вот и выдал себя с головой. А случаются вещи и посмешнее: если у нас дома подняться в мезонин, то кажется, будто видна башня храма Сайсэджи. И будто в дымке, окутывающей башню, блещат девять колец — об этом могла бы написать стихи Ёсано Акико. Когда этот Ямамото как-то пришел к нам в гости, я спросила: «Ямамото-сан, башня видна?» — а он всерьез, вытянув шею: «Да, видна. Сколько в ней метров?» Конечно, он не слабоумный, но с искусством явно не в ладах.

Немало знает мой кузен Фумио. Он читал и Нагаи Кафу, и Танидзаки Дзюньитиро. Но когда я попробовала с ним поговорить, то убедилась, что он провинциальный знаток и судит о многом неверно. Например, «Перевал Дайбосацу» он считает шедевром. Это еще куда ни шло, но дело в том, что он известный всем повеса. По словам отца, он может попасть под опеку. Поэтому-то родители и не признают кузена кандидатом в женихи. Только его отец — то есть мой дядя — желает видеть меня своей невесткой. Открыто он об этом не говорит и допытывается у меня потихоньку. Послушай его разговоры: «Если бы ты пришла к нам, его кутежи кончились бы». Может быть, все родители таковы? Все же он ужасный эгоист. По мнению дяди, я не столько гожусь в хозяйки, сколько могу, как он говорит, послужить средством против разгульной жизни кузена. Право, не могу сказать, как опротивело мне это.

Все эти матримониальные сложности навели меня на мысль о том, насколько немощны японские писатели. Я получила образование, духовно выросла, и потому мне тяжело взять в мужья недоучку — но ведь не одна я страдаю из-за этого. Таких в Японии, должно быть, полным-полно. Но разве хоть кто-нибудь из наших писателей изобразил женщину,

страдающую из-за этой сложности? Разве указали они, каким путем разрешить такую проблему? Отнюдь не самое лучшее отказаться от замужества, если его не хочешь. Допустим, что девушка не выйдет замуж и ее не будут осыпать глупыми попреками, как у нас в городке, ведь это значит, что ей придется зарабатывать себе на жизнь. Но разве полученное образование дает нам хоть какую-нибудь возможность жить самостоятельно? С нашим знанием иностранных языков и в домашние учителя не возьмут, а с нашим вязаньем не заработаешь даже на плату за комнату. Значит, остается одно — выйти за человека, которого презираешь. Я думаю, это обыкновенная и в то же время большая трагедия. Но то, что она обыкновенная, разве это не делает ее еще страшнее? Называется брак, а в сущности проституция.

А ты прекрасно можешь зарабатывать себе на жизнь, не то что я. Ничему я не завидую так, как этому! Да и не только тебе. Вчера мы с мамой пошли за покупками, и я видела, как девушка моложе меня работает на японской пишущей машинке. Даже она — насколько она счастливее меня! Ах, ты ведь больше всего не любишь сентиментальности. Ну, я кончаю свои вздохи.

Все же я хочу обрушиться на немощность японских писателей. Чтобы найти выход из трудного положения, в которое я попала с моим будущим замужеством, я стала перечитывать некоторые книги. Но нашелся ли хоть один писатель, который говорил бы от нашего имени? Куроата Момодзё, Кйкути Хирёси, Кумэ Масэо, Мусякёдзи Санэцу, Сатёми Тон, Сатё Харуо, Ёсида Гэндзи, Ногэми Яёи — все до последнего слепы. Ну и пусть их, но когда я взялась за Акутагава Рюноскэ — вот уж дурак! Ты читала рассказ «Барышня Рокуномия»? (Следуя примеру Кёдэна и Самба, я тут должен добавить нечто вроде рекламы: «Барышня Рокуномия» напечатана в сборнике новелл «Сюмпук» в издательстве Сюнгёдо. — Р. А.) Акутагава в этом рассказе поносит робкую девушку. Право, человек, который не способен страстно желать, презренней преступника. Но как бы страстно ни желали мы, получившие образование, которое не дает нам возможности стать на ноги, все равно средств осуществить желание у нас нет. Так было и с барышней Рокуномия. Само-

довольно поносить ее — разве в этом не сказывается низменность автора? Я еще больше стала презирать Акутагава Рюноскэ, когда прочла этот рассказ...»

Женщина, написавшая это письмо, — сентиментальная невежда. Чем мараить бумагу такими излияниями, лучше бы она попыталась бежать, чтобы поступить в школу машинисток. Я не принял «дурака» в свой адрес, я сам ее презирал. Но вместе с тем испытывал что-то вроде сочувствия. Сколько бы она ни выражала свое недовольство, все равно выйдет за инженера из электрической компании или кого-нибудь еще. А выйдя замуж, превратится в обыкновенную жену. Начнет слушать и нанивабуси. Забудет башню Сайсёдзи. Будет, как свишня поросят, рожать детей... Я засунул обрывок письма глубоко в ящик стола. Там вместе со старыми письмами желтеют и выцветают и мои мечты.

Апрель 1924 г.

Героя этого рассказа зовут Осино Хандзабуро. К сожалению, человек он ничем не замечательный. Он служащий пекинского отделения компании «Мицубиси», лет ему около тридцати. Через месяц после окончания коммерческого училища Хандзабуро получил место в Пекине. Товарищи и начальство отзывались о нем не то чтобы хорошо, но и нельзя сказать, что плохо. Заурядность, бесцветность — вот что определяет внешность Хандзабуро. Добавлю, что такова же его семейная жизнь.

Два года назад Хандзабуро женился на одной барышне. Звали ее Цунэко. И это, к сожалению, не был брак по любви. Это был брак, устроенный родственниками Хандзабуро, пожилыми супругами, через свата. Цунэко нельзя было назвать красавицей. Правда, нельзя было назвать ее безобразной. На ее пухлых щечках всегда трепетала улыбка. Всегда — за исключением той ночи по пути из Мукдена в Пекин, когда в спальном вагоне ее кусали клопы. Но с тех пор ей больше не приходилось бояться клопов: в казенной квартире на улице N у нее было припасено два флакона «Пиретрума» — средства от насекомых, изготовленного фирмой «Комори».

Я сказал, что семейная жизнь Хандзабуро совершенно заурядна, бесцветна, и действительно, так оно и было. Он обещал с Цунэко, слушал с ней граммофон, ходил в кинематограф — и только; словом, вел такую же жизнь, как и всякий другой служащий в Пекине. Однако и при таком образе жизни им не уйти было от предначертаний судьбы. Однажды после полудня судьба оборвала одним ударом мирный ход этой заурядной, бесцветной жизни. Служащий фирмы «Ми-

цубиси» Осино Хандзабуро скоропостижно скончался от удара.

В это утро Хандзабуро, как обычно, усердно занимался бумагами за своим служебным столом в здании Дундуаньпайлоу. Говорили, что сослуживцы, сидевшие напротив него, не заметили в нем ничего необычного. Однако в тот миг, когда он, видимо закончив одну из бумаг, сунул в рот папироску и хотел было чиркнуть спичкой, — он вдруг упал лицом вниз и умер. Скончался он как-то слишком внезапно. Но, к счастью, не принято строго судить о том, кто как умер. Судят лишь о том, кто как живет. Благодаря этому и в случае с Хандзабуро дело обошлось без особых пересудов. Мало того что без пересудов. И начальство, и сослуживцы выразили вдове Цунэко глубокое сочувствие.

По заключению профессора Ямаи, директора больницы Тунжэнь, смерть Хандзабуро последовала от удара. Но сам Хандзабуро, к несчастью, не думал, что это удар. Прежде всего он не думал даже, что умер. Он только изумился тому, что вдруг оказался в какой-то конторе, где никогда раньше не бывал.

Занавески на окнах конторы тихо колыхались от ветра в сиянии солнечного дня. Впрочем, за окном ничего не было видно... За большим столом посредине комнаты сидели друг против друга два китайца в белых халатах и перелистывали гроссбухи. Одному было всего лет двадцать, другой, с длинными пожелтевшими усами, был постарше.

Пока Хандзабуро осматривался, двадцатилетний китаец, бегая пером по страницам гроссбуха, вдруг обратился к нему, не поднимая глаз:

— Are you mister Henry Ballet, ar'nt you?¹

Хандзабуро изумился. Однако он постарался по мере возможности спокойно ответить на чистом пекинском наречии.

— Я служащий японской компании «Мицубиси» Осино Хандзабуро, — сказал он.

— Как! Вы японец? — почти испуганно спросил китаец, подняв наконец глаза. Второй — пожилой китаец, — начав

¹ Вы мистер Генри Бэллет, не так ли? (англ.).

было что-то записывать в гроссбух, остановился и тоже озадаченно посмотрел на Хандзабуро.

— Что же нам делать? Перепутали!

— Вот беда! Вот уж подлинно беда! Да этого со времени революции никогда не случалось.

Пожилой китаец казался рассерженным, перо у него в руке дрожало.

— Ну что ж, живо верни его на место.

— Послушайте... э-э... господин Осино! Подождите немного.

Молодой китаец раскрыл новый толстый гроссбух и стал что-то читать про себя, но сейчас же, захлопнув гроссбух, с еще более испуганным видом обратился к пожилому китаюцу:

— Невозможно... Господин Осино Хандзабуро умер три дня назад.

— Три дня назад?

— Да... И ноги у него разложились. Обе ноги разложились, начиная с ляжек.

Хандзабуро снова изумился. Судя по их разговору, во-первых, он умер, во-вторых, со времени его смерти прошло три дня. В-третьих, его ноги разложились. Такой ерунды не может быть! В самом деле, вот его ноги... Но едва он взглянул на ноги, как невольно вскрикнул. И неудивительно: обе его ноги в безупречно отглаженных белых брюках и белых ботинках колыхались от ветра, дувшего из окна. Увидев это, он не поверил своим глазам. Потрогал — действительно, трогать его ноги от бедер и ниже было все равно что хватать руками воздух. Хандзабуро так и сел. В ту же секунду его ноги — вернее, брюки — вяло опустились на пол, как воздушный шарик, из которого выпустили воздух.

— Ничего, ничего, что-нибудь придумаем! — сказал пожилой китаец и прежним раздраженным тоном обратился к молодому служащему:

— Это ты виноват! Слышишь? Ты виноват! Надо немедленно подать рапорт. Вот что: где сейчас Генри Бэллет?

— Я только что выяснил. Он срочно выехал в Ханькоу.

— В таком случае пошли телеграмму в Ханькоу и добудь ноги Генри Бэллета.

— Нет, это невозможно. Пока из Ханькоу придут ноги, у господина Осино разложится все тело.

— Вот беда! Вот уж подлинно беда!

Пожилой китаец вздохнул. Даже усы его как будто свесились еще ниже.

— Это ты виноват! Нужно немедленно подать рапорт. К сожалению, из пассажиров вряд ли кто остался?

— Только час, как отбыли. Вот лошадь одна есть, но...

— Откуда она?

— С конного рынка за воротами Дэшэнь-мынь. Только что околела.

— Ну так приставим ему лошадиные ноги. Все лучше, чем не иметь никаких. Принеси-ка ноги сюда.

Двадцатилетний китаец встал из-за стола и плавно удалился. Хандзабуро изумился в третий раз. Судя по этому разговору, похоже, что ему собираются приставить лошадиные ноги. Оказаться человеком с лошадиными ногами — какой ужас! Все еще сидя на полу, он умоляюще обратился к пожилому китаюцу:

— Прошу вас, избавьте меня от лошадиных ног! Я терпеть не могу лошадей. Пожалуйста, молю вас во имя всего святого, приставьте мне человеческие ноги. Ну, хоть ноги Генри-сана или кого-нибудь еще — все равно. Пусть даже немножко волосатые — я согласен, лишь бы это были человеческие ноги!

Пожилой китаец сочувственно посмотрел на Хандзабуро и закивал.

— Если бы только нашлись — приставили бы, но человеческих ног как раз нет, так что... Что ж делать, случилось несчастье, примиритесь с судьбой! Но с лошадиными ногами вам будет хорошо. Только время от времени меняйте подковы, и вы спокойно одолеете любую дорогу, даже в горах.

Тут опять откуда-то плавно появился молодой китаец с парой лошадиных ног в руках. Так мальчик в отеле приносит сапоги. Хандзабуро хотел убежать. Но увы — без ног подняться ему было не так-то просто. Тем временем молодой китаец подошел к нему и снял с него белые ботинки и носки.

— Нет, нет! Только не лошадиные ноги! Да, наконец, кто имеет право чинить мне ноги без моего согласия?!

Пока Хандзабуро кричал и протестовал, молодой китаец всунул одну лошадиную ногу в отверстие правой штанины. Лошадиная нога точно зубами впиалась в правое бедро. Тогда он вставил другую ногу в отверстие левой штанины. Она тоже накрепко вцепилась в бедро.

— Ну вот и хорошо!

Двадцатилетний китаец, удовлетворенно улыбаясь, потер пальцы с длинными ногтями. Хандзабуро растерянно посмотрел на свои ноги. Из-под белых брюк виднелись две толстые гнедые ноги, два рядышком стоящих копыта.

Хандзабуро помнил лишь то, что произошло до этой минуты. По крайней мере, дальнейшее сохранилось у него в памяти уже не с той отчетливостью. Он помнил, что как будто подрался с обоими китайцами. Затем как будто скатился с крутой лестницы. Но все это представлялось ему не вполне ясно. Как бы то ни было, когда он после скитания в мире смутных видений пришел в себя, он лежал в гробу, установленном в казенной квартире на улице N. Мало того, прямо перед гробом молодой миссионер из храма Хонгандзи читал заупокойную молитву.

Само собой разумеется, воскресение Хандзабуро стало предметом всевозможных толков. Газета «Дзюнтэн дзихо» поместила большой его портрет и напечатала корреспонденцию в три столбца. Согласно этой корреспонденции Цунэко в своем траурном платье больше, чем обычно, сияла улыбкой; несколько человек из начальства и сослуживцев, отнеся расходы на теперь уже ненужные поминальные приношения за счет компании, устроили банкет в честь воскресшего. Конечно, авторитет профессора Ямаи оказался под ударом. Но профессор, спокойно пуская колечки папирозного дыма, искусно восстановил свой авторитет. Он заявил, что это тайна природы, недоступная медицине. То есть вместо авторитета лично своего, профессора Ямаи, он поставил под удар авторитет медицины.

У одного только виновника событий, самого Хандзабуро, даже на банкете в честь его воскресения не было на лице и признака радости. И неудивительно. Его ноги с момента

воскресения превратились в лошадиные. В гнедые лошадиные ноги с копытами вместо пальцев. Каждый раз при виде этих ног он испытывал невыразимое отчаяние. Если кто-нибудь случайно увидит эти его ноги, его в тот же день, несомненно, уволят из компании. Сослуживцы, безусловно, уклонятся от всяких дальнейших сношений с ним. И Цунэко — о, слабость, женщина имя твое! — и Цунэко последует их примеру; она не захочет иметь мужем человека с лошадиными ногами. Чем больше Хандзабуро думал об этом, тем сильнее укреплялось в нем решение во что бы то ни стало скрыть свои ноги. Он отказался от японской одежды. Стал носить высокие сапоги. Наглухо закрывал окна и дверь ванной. И тем не менее им беспрестанно владела тревога. Разумеется, не напрасно. Почему? А вот почему...

Больше всего Хандзабуро остерегался навлечь на себя подозрение сослуживцев. Может быть, поэтому он, при всех своих страданиях, держался сравнительно непринужденно. Но, судя по его дневнику, ему постоянно приходилось бороться с разного рода опасностями.

«...июля. Право же, молодой китаец приставил мне отвратительные ноги. Их можно назвать рассадником блох. Сегодня на службе ноги у меня чесались до сумасшествия. Во всяком случае, надо на время отдать все свои силы изгнанию блох...»

«...августа. Сегодня ходил по одному делу к управляющему. Во время разговора управляющий все время потягивал носом. Кажется, запах моих ног пробивается и сквозь сапоги...»

«...сентября. Свободно управлять лошадиными ногами куда труднее, чем ездить верхом. Сегодня перед обеденным перерывом меня послали по срочному делу, и я быстро побежал вниз по лестнице. Всякий в такую минуту стал бы думать только о деле. И я на миг забыл о своих лошадиных ногах. Не успел я ахнуть, как мои ноги соскользнули на семь ступенек...»

«...октября. Понемногу научился управлять своими лошадиными ногами. Если разобраться, все дело в том, чтобы сохранять равновесие бедер. Сегодня потерпел неудачу. Правда, тут не только моя вина. В девять часов утра поехал на

рикше на службу. И вот рикша вместо двенадцати сэнов стал требовать двадцать. К тому же он вцепился в меня и не давал войти в дверь. Я очень рассердился и изо всех сил отпихнул его ногой. Рикша взлетел в воздух, как футбольный мяч. Понятно, я раскаивался. И в то же время я невольно фыркнул. Во всяком случае, двигать ногами нужно гораздо осторожнее».

«...июля. Самый злейший мой враг — Цунэко. Под предлогом необходимости жить культурно нашу единственную японскую комнату я в конце концов обставил по-европейски: таким образом, я могу в присутствии Цунэко оставаться в сапогах. Цунэко, кажется, очень недовольна тем, что убрала татами. Но даже в таби такими ногами ходить по японскому полу для меня просто невыносимо».

«...сентября. Сегодня продал двуспальную кровать. Когда-то я купил ее на аукционе у одного американца. Возвращаясь с аукциона, я шел по аллее сэттльмента. Деревья были в полном цвету. Красиво блестела вода в Императорском канале. Но... теперь не время предаваться воспоминаниям. Вчера ночью опять слегка лягнул Цунэко в бок...»

«...ноября. Сегодня сам снес в стирку свое грязное белье: к трусам, кальсонам и носкам всегда прилипают конские волосы».

«...декабря. Носки рвутся отчаянно. А платить за носки без ведома Цунэко — поистине задача не из легких...»

«...декабря. Даже на ночь не снимаю ни носков, ни кальсон. Кроме того, весьма нелегкое дело прятать от Цунэко ступни. Вчера, ложась спать, Цунэко сказала: «Какой вы зябкий! Что это? Вы даже поясницу кутаете в меха?» Кто знает — не близок ли час, когда мои лошадиные ноги будут обнаружены?..»

Помимо этих, Хандзабуро подстерегали еще и другие опасности. Перечислять их все слишком утомительно. Но больше всего меня поразила в его дневнике следующая запись:

«...декабря. Сегодня во время обеденного перерыва пошел к букинисту у храма Луньфусы. Перед входом в лавку

стоял экипаж, запряженный лошадей. Впрочем, это был не европейский экипаж, а китайская пролетка с поднятым темно-синим верхом. На козлах дремал кучер. Я не обратил на все это особого внимания и хотел было войти в лавку. И в эту самую минуту кучер, щелкнув кнутом, крикнул: «Цо! Цо!» «Цо» — это слово, которое китайцы употребляют, когда хотят осадить лошадь. Не успел кучер договорить, как лошадь попятилась. И вот в этот миг — не ужасно ли? — я тоже, стоя все еще лицом к лавке, стал шаг за шагом отступать по тротуару. Что я испытывал в эту минуту — какой страх, какое изумление, — этого пером не описать! Напрасно силился я сделать хоть шаг вперед — под властью страшной, непреодолимой силы я продолжал отступать. Между тем мне еще повезло, что кучер сказал «цо». Едва экипаж остановился, я тоже перестал пятиться. Но странности на этом не кончились. Облегченно вздохнув, я невольно оглянулся на экипаж. И вот лошадь — серая кобыла, запряженная в экипаж, — как-то непонятно заржала. Непонятно? Нет, не так уж непонятно! В этом пронзительном ржанье я отчетливо различил хохот. И не только у лошади — у меня самого к горлу подступило что-то похожее на ржанье. Издать этот звук было бы ужасно. Я обеими руками зажал уши и со всех ног пустился бежать...»

Однажды днем в конце марта он вдруг заметил, что его ноги совершенно произвольно скачут и прыгают. Но судьба приготовила Хандзабуро последний удар. Отчего же его лошадиные ноги вдруг взволновались? Чтобы ответить на этот вопрос, следовало бы заглянуть в дневник Хандзабуро. Но, к сожалению, его дневник кончается как раз за день до того, как его постигла новая беда. Только на основании предшествующих и последующих обстоятельств можно высказать некоторые общие предположения. Прочитав «Записки о лошадях», «Собрание сведений о быках, лошадях и верблюдах годов Гэнкё» и другие труды, я пришел к убеждению, что его ноги так сильно взволновались по следующей причине.

Это был сезон желтой пыли. «Желтая пыль» — это мел-

кий песок, приносимый весенним ветром в Пекин из Монголии. Судя по статьям в газете «Дзюнтэн дзихо», в тот год желтая пыль достигла небывалой за десятки лет густоты. «В пяти шагах от ворот Дэшэнь-мынь не видно башни на воротах», — говорилось тогда, и по одному этому видно, что пыль действительно была страшная. Между тем лошадиные ноги Хандзабуро принадлежали павшей лошади с конного рынка за воротами Дэшэнь-мынь, а эта павшая лошадь, без сомнения, была кунлуньским скакуном из Монголии, привезенным через Калган и Цзиньчжоу. И разве не естественно, что, почуяв монгольский воздух, лошадиные ноги Хандзабуро вдруг запрыгали и заскакали? Кроме того, это было время случки, когда те лошади, которые не заперты в конюшне, носятся на воле как бешеные... Учитывая все это, приходится признать одно: то обстоятельство, что это лошадиные ноги не могли оставаться в покое, заслуживает всяческого сочувствия.

Верно это объяснение или нет — только, как говорят, Хандзабуро в те дни даже на службе все время прыгал, точно пританцовывая. Говорят, что на пути домой он на протяжении трех кварталов опрокинул семерых рикш. Наконец, уже вернувшись домой, он, по словам Цунэко, вошел в комнату, пошатываясь и задыхаясь, как собака в жару, и, повалившись на стул, сразу же приказал ошеломленной жене принести веревки. По его виду Цунэко сразу сообразила, что случилось нечто ужасное. Он был чрезвычайно бледен. Кроме того, он все время взволнованно и словно не в силах сдержать себя переступал ногами в высоких сапогах. Цунэко, позабыв из-за этого даже о своем обыкновении улыбаться, спросила, зачем ему веревки. Но муж, страдальчески вытирая со лба пот, только повторял:

— Скорей, скорей!.. Иначе — ужас!..

Цунэко волей-неволей дала мужу связку веревок, предназначенных для упаковки корзин. Он стал обвязывать этими веревками свои ноги в сапогах. Мысль, что ее муж сошел с ума, мелькнула у нее именно в эту минуту. Не сводя с него глаз, Цунэко дрожащим голосом предложила пригласить профессора Ямаи. Но Хандзабуро старательно обматывал ноги веревками и не поддавался на ее уговоры.

— Что этот шарлатан понимает? Это разбойник! Мошенник! Лучше придержи меня.

Обнявшись, они тихо сидели на диване. Желтая пыль, заволакивавшая весь Пекин, сгущалась все больше. Даже заходящее солнце за окном казалось мутным, лишенным блеска, красным шаром. И ноги Хандзабуро, разумеется, не могли оставаться в покое. Опутанные веревками, они беспрестанно двигались, точно нажимая на какие-то невидимые педали. Цунэко, жалея его и стараясь ободрить, говорила то об одном, то о другом.

— Почему... почему вы так дрожите?

— Ничего! Ничего!

— Но вы весь мокрый! Этим летом мы поедем в Японию. Мы так давно не были дома!

— Непременно поедем! Поедем и останемся там.

Пять минут, десять минут, двадцать минут... время тихими шагами проходило над ними. Цунэко говорила корреспонденту «Дзюнтэн дзихо», что в эти минуты она чувствовала себя узницей, закованной в цепи. Но полчаса спустя наступил наконец миг, когда цепи разорвались. Правда, разорвалось не то, что Цунэко назвала своими цепями. Разорвались человеческие узы, привязывавшие Хандзабуро к дому. Окно, сквозь которое струился мутный красный свет, вдруг с шумом распахнулось от порыва ветра. И в тот же миг Хандзабуро что-то громко крикнул и подскочил на три саяку вверх. Цунэко увидела, как веревка лопнула, точно разрезанная. А Хандзабуро... но это уже не рассказ Цунэко. Увидев, как муж подскочил, она тут же упала на диван и лишилась чувств. Но китаец-бой из казенной квартиры так рассказывал тому же корреспонденту: словно спасаясь от преследования, Хандзабуро выскочил из вестибюля, мгновение он стоял у входа, затем задрожал всем телом и, издав жуткий вопль, напомилавший ржание, ринулся прямо в застывшую улицы желтую пыль...

Что стало с Хандзабуро потом? Это до сих пор остается тайной. Впрочем, корреспондент «Дзюнтэн дзихо» сообщает, что в тот день, около восьми часов вечера, при тусклом свете луны, затуманенной желтой пылью, по полотну знаменитой железнодорожной линии Падалинь, откуда смотрят

на Великую стену, бежал какой-то человек без шляпы. Но эта корреспонденция не вполне достоверна. В самом деле, другой корреспондент той же газеты сообщает, что в тот самый день, тоже около восьми часов вечера, под дождем, прибившим желтую пыль, какой-то человек без шляпы бежал по дороге Шисаньлин, вдоль которой стоят каменные изображения людей и лошадей. Таким образом, куда скрылся Хандзабуро, выбежав из вестибюля дома компании на улице N., сказать с уверенностью невозможно.

Разумеется, бегство Хандзабуро, так же как и его воскрешение, стало предметом всевозможных толков. Но Цунэко всем — и управляющему, и сослуживцам, и профессору Ямаи, и редактору «Дзюнтэн ниппон» — объясняла его бегство сумасшествием. В самом деле, несомненно, легче было объяснить это сумасшествием, чем лошадиными ногами. Избегать трудного и прибегать к легкому — таков обычный путь на свете. Представитель этого пути, редактор «Дзюнтэн дзихо», господин Мадагути, на другой день после бегства Хандзабуро поместил в газете нижеследующую статью, произведение своего блестящего пера:

«Господин Осино Хандзабуро, служащий компании «Мицубиси», вчера вечером, в пять часов пятнадцать минут, по видимому, внезапно потерял рассудок и, не слушая увещаний своей супруги Цунэко, бежал неведомо куда. Согласно мнению директора больницы Туньжэнь профессора Ямаи, господин Осино прошлым летом перенес апоплексический удар, трое суток пролежал без сознания и с тех пор стал обнаруживать известные странности. Судя по дневнику господина Осино, найденному госпожой Цунэко, господин Осино страдал странной навязчивой идеей. Однако нам хотелось бы спросить, как назвать болезнь господина Осино? Где чувство ответственности мужа госпожи Цунэко, господина Осино? Мощь нашей империи, ни разу не запятнанной вторжением внешнего врага, покоится на принципе семьи. Коль скоро она покоится на принципе семьи, излишне спрашивать, как велика ответственность тех, кто является главой семьи. Вправе ли такой глава семьи самочинно сходить с ума? На такой вопрос мы решительно отвечаем: нет! Допустим, что мужья получают право сходить с ума. Тогда они, все-

цело забросив семью, обретут счастье либо ходить и распевать по большим дорогам, либо скитаться по горам и лесам, либо получать кров и пищу в лечебнице для душевнобольных. Но в таком случае двухтысячелетний принцип семьи, которым мы гордимся перед всем светом, неминуемо рассыплется в прах. Мудрец изрек: надлежит ненавидеть преступление, но не следует ненавидеть преступника. Мы не хотим быть жестокими по отношению к господину Осино. Но мы должны бить тревогу и судить преступление, состоящее в том, что человек позволяет себе сходить с ума. И не только преступление господина Осино. Мы, если этого не делает само небо, должны осудить недосмотр всех прежних кабинетов, которые не сочли нужным издать запрещение сходить с ума!

Из разговора с госпожой Цунэко нам известно, что она по меньшей мере на год останется на казенной квартире на улице N и будет ждать возвращения господина Осино. Мы выражаем свое глубокое сочувствие верной супруге и вместе с тем надежду, что просвещенная компания «Мицубиси» не преминет позаботиться о госпоже Цунэко».

Но через полгода Цунэко вновь пережила нечто такое, что не позволило ей оставаться в прежнем заблуждении. Это произошло октябрьским вечером в сумерки, когда с пекинских ив осыпались желтые листья. Цунэко сидела на диване у себя дома, погруженная в воспоминания. На ее губах больше не трепетала привычная улыбка. Ее щеки потеряли былую округлость. Она думала то о своем сбежавшем муже, то о проданной двуспальной кровати, то о клопах. И вот у входа кто-то неуверенно позвонил. Цунэко не обратила на это внимания, предоставив открыть дверь бою. Но бой, видимо, куда-то ушел, и никто дверь не открывал. Тем временем звонок прозвучал еще раз. Цунэко наконец поднялась с дивана и медленно подошла к двери.

За дверью на пороге, усыпанном опавшей листвой, в слабом свете сумерек стоял человек без шляпы. Без шляпы... не только без шляпы! Он был совершенно оборван и весь в пыли. Цунэко почувствовала перед ним почти страх:

— Что вам нужно?

Человек не ответил. Его давно не стриженная голова была низко опущена. Вглядываясь в него, Цунэко боязливо повторила:

— Что... что вам нужно?

Наконец человек поднял голову.

— Цунэко...

Одно слово. Но слово, которое, точно свет луны, озарило его, озарило истинный облик этого человека. Затаив дыхание, словно лишившись голоса, Цунэко не сводила глаз с его лица. У него отросла борода, и он исхудал до неузнаваемости. Но глаза, смотревшие на нее, — это, несомненно, были те самые долгожданные глаза.

— Вы?!

С этим криком Цунэко хотела было прильнуть к груди мужа. Но, едва сделав шаг вперед, отскочила, словно ступив на раскаленное железо. Из-под разорванных в клочья штанов мужа виднелись мохнатые лошадиные ноги — даже в сумерки ясно различимые по масти гнедые лошадиные ноги.

— Вы?!

Цунэко почувствовала к этим лошадиным ногам неопишное отвращение. Но она почувствовала и то, что этот раз — последний, что больше она не встретится с мужем никогда. Муж печально смотрел ей в лицо. Цунэко еще раз хотела прижаться к его груди. Но отвращение опять подорвало ее решимость.

— Вы?!

Когда она вскрикнула так в третий раз, муж круто повернулся и стал медленно спускаться с лестницы. Цунэко собрала все свое мужество и в отчаянии хотела побежать за ним. Но не успела она ступить и шагу, как до ее ушей донесся стук копыт. Бледная, не в силах остановить мужа, Цунэко, не двигаясь, смотрела ему вслед. И потом... упала без чувств на порог, усыпанный опавшей листвой.

Со времени этого происшествия Цунэко начала верить дневнику мужа. Но сослуживцы, профессор Ямаи, редактор Мудагути и прочие все еще не верят, что у господина Хандзабуро оказались лошадиные ноги. Больше того, даже то, что Цунэко видела эти ноги, они тоже считают галлюцина-

цией. Во время моего пребывания в Пекине я встречался с профессором Ямаи и с редактором Мудагути и несколько раз старался рассеять их заблуждение. Но каждый раз только сам подвергался насмешкам. Впоследствии — нет, совсем недавно — писатель Окада Сабуро, видимо, услышав от кого-то об этой истории, написал мне, что, право же, немислимо поверить, чтобы у человека могли появиться лошадиные ноги. Как писал господин Окада, если только допустить, что это правда, «ему, по всей вероятности, были приставлены передние ноги лошади. И если это был рысак, способный на высший класс езды, как, например, испанский аллюр, то он, пожалуй, мог проделывать и такие кунштуки, как лягаться передними ногами. Но могла ли лошадь научиться этому сама, без такого наездника, как лейтенант Юаса, — в этом я сильно сомневаюсь!». Понятно, и я не могу не питать на этот счет некоторых сомнений. Но разве отрицать на одном этом основании дневник Хандзабуро и рассказ Цунэко — не легкомыслие? В самом деле, как я установил, в газете «Дзюнтэн дзихо», сообщавшей о его воскресении, на той же самой странице, несколькими столбцами ниже, помещена следующая заметка:

«Председатель общества трезвости Мэй-хуа господин Генри Бэллет скоропостижно скончался в поезде на Ханькоу. Поскольку он умер со склянкой в руках, возникло подозрение о самоубийстве, но результаты анализа жидкости показали, что в склянке находился спиртной напиток».

Январь 1925 г.

У МОРЯ

1

...Дождь все еще шел. Покончив с обедом, мы, испепеляя папиросу за папиросой, перебрасывались новостями о токийских приятелях.

Мы сидели в двухкомнатном номере в самой глубине гостиницы, тростниковая штора от солнца свешивалась в голый сад. Я говорю, что сад был голый, но все же редкие кустики высокой травы, которой так много на побережье, склонили к песку свои метелочки. Когда мы приехали, этих метелочек не было еще и в помине. А если и появилось несколько, то они были ярко-зелеными. Теперь же все они в какой-то момент стали одинаково коричневыми, и на кончике каждой приютилась капля влаги.

— Ну что, поработаем, пожалуй?

М., продолжая лежать, растянувшись во весь рост, стал протирать очки рукавом сильно накрахмаленного домашнего кимоно. Работой, которую он упомянул, называлось то, что мы должны были ежемесячно писать для нашего журнала.

После того как М. ушел в соседнюю комнату, я, подложив под голову дзабутон, стал читать «Историю восьми псов». Вчера я остановился на том месте, где Сино, Гэнхати и Кобунго отправляются на вырубку Соскэ. «Тогда Амадзаки Тэрубуми вынул из-за пазухи приготовленные пять мешочков золотого песка. Положив три мешочка на веер, он сказал: «Три пса-самурая, в каждом мешочке денег на тридцать рё. Их, конечно, очень мало, но сейчас в пути они вам пригодятся. Это не мой прощальный подарок, это вам дар от Сатоми-доно, не откажитесь принять его». Читая это, я вспомнил о присланном позавчера гонораре — сорок сэнов за страницу. Мы только что в июле окончили английское отделение университета. И нас мучил вопрос, где изыскать сред-

ства к существованию. Постепенно я забыл об «Истории восьми псов» и вспомнил, что стану преподавателем. Тут я как будто заснул на миг и увидел сон.

Это случилось, по всей вероятности, за полночь. Во всяком случае, я лежал один в гостиной с закрытыми ставнями. Вдруг кто-то постучал и позвал меня: «Послушайте». Я знал, что за прикрытым ставнями окном находится пруд. И я не мог представить, кто меня зовет.

— Послушайте, я бы хотел попросить вас...

Это произнес голос за ставней. Услышав эти слова, я подумал: «Ну да, конечно же, этот тип К.». К. был никудышным парнем с философского отделения, на курс ниже нас. Продолжая лежать, я ответил довольно громко:

— Брось ныть. Ты что, опять за деньгами?

— Нет, не за деньгами. Просто есть женщина, с которой я хочу свести моего товарища...

Голос совсем не был похож на голос К. Больше того, он принадлежал, видимо, человеку, который беспокоился обо мне. В волнении я быстро вскочил, чтобы открыть ставни. Действительно, в саду, от самой веранды, раскинулся большой пруд. Но там не было никакого К., да и вообще не было ни живой души.

Некоторое время я смотрел на пруд, в котором отражалась луна. Я видел, как в воде колышутся, точно плывут, водоросли, и мне показалось, что начинается прилив. И тут я заметил, что прямо передо мной поднимается рябь. Рябь докатилась до моих ног и вдруг превратилась в карася. Карась спокойно шевелил хвостом в прозрачной воде.

«А-а, это карась разговаривал».

Подумав так, я успокоился.

Когда я проснулся, тростниковая штора у карниза пропускала лишь слабые лучи солнца. Я взял кружку, спустился в сад и пошел к колодцу за домом, чтобы помыться. Но и после того как я помылся, воспоминания о только что увиденном сне, как ни странно, не покидали меня. В общем, этот карась из сна — мое подсознательное «я», — так, во всяком случае, мне показалось.

...Прошел всего лишь час, и мы, повязав лбы полотенцами, в купальных шапочках и гэта, взятых напрокат, пошли к морю, находившемуся в полутё. Дорожка спускалась в конец сада и выходила к пляжу.

— Ну как, купаться можно?

— Сегодня, пожалуй, холодновато.

Так, разговаривая, мы шли, раздвигая густую высокую траву. (Когда мы вошли в эти заросли травы, на которой застыли капли влаги, икры начали зудеть, и мы замолчали.) Действительно, было слишком свежо, чтобы лезть в воду. Но нам так жаль было расставаться с морем в Кадзуса, вернее, с уходящим летом.

Когда мы приходили к морю, обычно даже еще накануне, семь-восемь юношей и девушек пытались «кататься» на волнах. А сегодня ни души, убраны и красные флажки, ограждающие пляж. Лишь волны обрушивались на бескрайний берег. Даже в раздевалке, отгороженной тростниковыми щитами, даже там одна лишь рыжая собака гонялась за роем мошкар. Но и она, увидев нас, тут же убежала. Я снял только гэта — купаться не было ни малейшего желания. Но М. уже успел сложить в раздевалке купальный халат и очки и, повязавшись полотенцем поверх купальной шапочки, стал осторожно входить в воду.

— Ты что, собираешься купаться?

— А чего ради мы пришли?

М. вошел в воду по пояс, несколько раз окунулся и повернул ко мне улыбающееся загорелое лицо:

— Давай и ты лезь.

— Не хочется.

— Ну да, была бы здесь Хохотушка, полез бы, наверно.

— Ну что ты глупости болтаешь.

Хохотушкой мы прозвали пятнадцати-шестнадцатилетнюю школьницу, с которой обменивались здесь приветствиями. Девушка не отличалась особой красотой, но была свежей, точно молодое деревце. Однажды после полудня дней десять назад мы вылезли из воды и лежали на горячем песке. Она быстро шла в нашу сторону, мокрая, с доской в

руках. Неожиданно увидев, что мы лежим у нее под ногами, она, сверкнув зубами, рассмеялась. Когда она прошла, М. повернулся ко мне с улыбкой: «А она заразительно хохочет». С тех пор мы и прозвали ее Хохотушка.

— Значит, не полезешь?

— Ни за что не полезу.

— У, эгоист!

М., то и дело окунаясь, заходил все дальше в море. Не обращая на него внимания, я начал взбираться на небольшую дюну чуть в сторону от раздевалки. Потом, подложив под себя взятые напрокат гэта, решил закурить. Но сильные порывы ветра никак не давали поднести зажженную спичку к папиросе.

— Эй!

Я не заметил, что М. успел вернуться и, стоя у самого берега, что-то кричит мне. Но из-за непрерывного шума волн я не разобрал, что он кричит.

— Ну, что такое?

Не успел я это сказать, как М. уже в накинутом на плечи купальном халате опустился рядом со мной.

— Подумай только, медуза обожгла.

Несколько дней назад в море неожиданно стало как будто больше медуз. В самом деле, третьего дня утром у меня по левому плечу и предплечью протянулся след, как от иглы.

— Что обожгла?

— Шею. Обожгла-таки. Обернулся, а там плавают несколько штук.

— Потому-то я и не полез в воду.

— Ври больше... Но купание, в общем, кончилось.

Побережье, насколько хватал глаз, кроме тех мест, где на берег были выброшены водоросли, клубилось в лучах солнца. Лишь изредка по нему пробегала тень облака. С папиросами в зубах мы молча наблюдали за волнами, накатывающимися на песок.

— Ну как, решил ты занять должность преподавателя?

— Пока нет. А ты?

— Я? Я... — М. хотел что-то сказать, но в это время нас вспугнул неожиданный смех и топот ног. Это были две девушки-ровесницы в купальных костюмах и шапочках. Они

бежали прямо к берегу, нарочно проскочив совсем рядом с нами. Провожая глазами их спины, их гибкие спины, одну в ярко-красном, другую в полосатом, точно тигр, черно-желтом купальнике, мы, будто сговорившись, улыбнулись.

— Смотри, эти девушки тоже еще не вернулись в город.

В шутливом тоне М. крылось некоторое волнение.

— Может, еще разок влезешь в воду?

— Если бы она была одна, стоило бы лезть. А то с ней Зингез...

Как и Хохотушке, этой, в черно-желтом купальнике, мы тоже дали прозвище — «Зингез». «Зингез» означало чувственное (sinnlich) лицо (gesicht). Мы оба не питали к ней никакой симпатии. К другой девушке тоже... Впрочем, к другой девушке М. проявлял некоторый интерес. Больше того, он даже настаивал, чтобы ему были созданы условия: «Ты давай с Зингез. А я с той».

— Хорошо, что ты это понимаешь!

— Нет, ужасно обидно.

Девушки, взявшись за руки, уже выходили на мелкое место. Брызги волн беспрерывно липли к их ногам. Точно боясь намочить, девушки каждый раз подпрыгивали. Их игра казалась такой веселой, что диссонировала с опустевшим, окутанным последним теплом взморьем. В своей прелести они скорее походили не на людей, а на мотыльков. Слушая их смех, доносимый ветром, мы некоторое время смотрели на удалявшиеся от берега фигурки.

— Удивительно смелые, а?

— Еще идут.

— Уже... Нет, еще идут.

Они уже давно не держались за руки и шли в море каждая в отдельности.

Одна из девушек — та, что в ярко-красном купальнике, — двигалась особенно решительно. Не успели мы оглянуться, как она зашла в воду по грудь и стала что-то пронзительно кричать, подзывая подругу. Даже издали было видно ее смеющееся лицо, прикрытое до бровей купальной шапочкой.

— Кажется, медуза?

— Может, и медуза.

Но они заходили все дальше и дальше в море и наконец поплыли.

Вскоре стали видны лишь купальные шапочки. Только тогда наконец мы поднялись с песка. И, почти не переговариваясь (мы изрядно проголодались), не спеша пошли домой.

3

...Вечер был по-осеннему прохладный. Покончив с ужином, мы вдвоем, прихватив нашего приятеля Х., приехавшего погостить домой, в этот городок, и с N. — молодым хозяином гостиницы, снова пошли к морю. Пошли мы вчетвером не для того, чтобы погулять вместе. Каждый направлялся по своим делам: Х. — навестить дядю в деревне S., N. — заказать у плетельщика из той же деревни корзины для кур.

Дорога в деревню S., которая шла по побережью, огибала высокую дюну и сворачивала в противоположную сторону от пляжа. Море спряталось за дюной, и шум волн едва доносился. Но росшие повсюду кустики травы, выбросив черные метелочки, не умолкая шелестели на ветру, дувшем с моря.

— В этом краю, кажется, растет морской рис... N.-сан, как здесь называют эту траву?

Я сорвал травинку и протянул ее N., одетому в короткое летнее кимоно.

— Нет, вроде бы не спорыш... Как же она называется? Х.-сан, наверно, знает. Он местный, не то что я.

Мы тоже слышали, что N. приехал сюда из Токио зятем. Кроме того, мы еще слышали, что его жена-наследница как будто летом прошлого года, родив мальчика, ушла из дому.

— И в рыбе Х.-сан смыслит куда лучше, чем я.

— Вот как, Х.-сан такой ученый? А я думал, он знает толк лишь в фехтовании.

Х., хотя N. так говорил о нем, лишь весело улыбался, продолжая тащить палку для лука.

— М.-сан, вы тоже, наверно, чем-нибудь занимаетесь.

— Я? Я, это... я только плаваю.

Закурив, N. стал рассказывать о биржевом маклере из То-

кио, которого в прошлом году во время купания укусила маленькая рыбешка. Этот маклер, что бы ему кто ни говорил, упорно доказывал, что нет, его укусила не эта рыбешка, а совершенно точно — морская змея.

— А морские змеи в самом деле существуют?

На этот вопрос ответил лишь один человек — высокого роста, в панаме. Это был Х.

— Морские змеи? Морские змеи и правда водятся в нашем море.

— И в это время тоже попадают?

— Ну, еще бы, хотя редко.

Мы, все четверо, рассмеялись. Тут нам повстречались двое ловцов нагарами (нагарами — один из видов моллюсков), тащивших корзины для рыбы. Оба они были крепкого сложения, в красных фундоси. Тела их блестели от воды, но вид был грустный, скорее даже жалкий. Поравнявшись с ними, N. коротко ответил на их приветствие и сказал:

— В баньку бы сейчас.

— Занятию их не позавидуешь.

Мне показалось, что я ни за что не смог бы стать ловцом нагарами.

— Да, никак не позавидуешь. Ведь им приходится далеко заплывать, а сколько раз нырять на дно...

— А если к фарватеру унесет, ни за что не спастись.

Размахивая палкой, Х. рассказывал о разных фарватерах. Большой фарватер начинается в полутора ри от берега и тянется в открытое море... Об этом мы тоже поговорили.

— Пойдите, Х.-сан, когда же это было? Помните, прошел слух, будто появился призрак ловца нагарами.

— Осенью прошлого... нет, позапрошлого года.

— На самом деле появился?

Х. рассмеялся:

— Да нет, никакой призрак не появлялся. Просто неподалеку от моря, у горы, есть кладбище, а тут еще всплыл скрюченный, как креветка, утопленник — ловец нагарами, вот и пошли слухи, и хотя вначале никто всерьез их не принимал, но тем не менее остался неприятный осадок — это уж я точно знаю. Вдобавок однажды вечером на кладбище выследили человека в унтер-офицерской форме и решили, что это и

есть призрак. Хотели было его поймать, но не удалось. Там оказалась только девушка из веселого дома, которая была обручена с погибшим ловцом нагарами. Рассказывали, что временами слышится голос, который зовет кого-то, и мелькают огоньки, — ну и началась паника.

— И что же, эта девушка ходила туда нарочно, чтобы пугать людей?

— Да, ежедневно примерно в двенадцать часов ночи она приходила к могиле ловца нагарами и скорбно стояла там.

Х. старался рассказывать с юмором, но никто не смеялся. Больше того, все без видимой причины притихли и молча продолжали свой путь.

— Хватит, пора возвращаться.

Когда М. сказал это, мы шли по безлюдному берегу, ветер утих. Было еще достаточно светло, чтобы на бескрайнем прибрежном песке можно было увидеть следы ржанок. Но море, пенясь каждый раз, когда волны, накатываясь на берег, прочерчивали полукружия, становилось все темнее и темнее.

— Ну что ж, прощайте.

— До свидания.

Расставшись с Х. и N., мы не торопясь возвратились с побережья, где стало прохладно. На побережье, мешаясь с шумом волн, ударявшихся о берег, до нас временами доносились чистые голоса цикад. Это были цикады, стрекотавшие в сосновом лесу по меньшей мере в трех те отсюда.

— Послушай, М.!

Я отстал и шел в пяти-шести шагах позади М.

— Что такое?

— Может, и нам податься в Токио?

— Да, неплохо бы.

И М. стал весело насвистывать «Типеррэри».

ПОМИНАЛЬНИК

1

Моя мать была сумасшедшей. Никогда я не знал материнской любви. В нашем родном доме в Сиба мать всегда сидела одна в прическе с гребнями и курила длинную трубку. У нее было маленькое личико, и сама она была маленькая. И лицо ее почему-то было безжизненно-серым. Как-то, читая «Сисянци», я встретил слова «запах земли и вкус грязи» и вдруг вспомнил лицо моей матери — ее иссохший профиль.

Естественно, что мать нисколько обо мне не заботилась. Помню, однажды, когда я с моей приемной матерью, навещая ее, поднялся к ней в мезонин, она сильно ударила меня трубкой по голове. Однако чаще мать бывала очень тихой. Я и сестра приставали к ней, просили нарисовать нам картинку. И она рисовала на четвертушках листа. Не только тушью. Акварельными красками моей сестры она рисовала ряды девушек, травы и деревья. Но лица людей на этих картинках всегда походили на лисьи мордочки.

Мать умерла, когда мне было одиннадцать лет. Умерла не столько от болезни, сколько от истощения. В памяти у меня сохранились лишь обстоятельства ее смерти, и то смутно.

Я, видимо, приехал, получив телеграмму о том, что мать при смерти. Темной безветренной ночью мы с приемной матерью примчались на рикше из Хондзэ в Сиба. Я и сейчас не ношу кашне. Но помню, что как раз той ночью шея у меня была повязана легким шелковым платочком с пейзажным рисунком китайской школы. Помню, что от платочка пахло духами «Ирис».

Мать лежала в просторной гостиной прямо под мезонином. Я и сестра, которая была старше меня на четыре года, сели у изголовья и стали плакать навзрыд. Когда кто-то у нас за спиной произнес: «Она умирает, она умирает», — горе с

особой силой охватило нас. Но мать, до сих пор лежавшая как мертвая, с закрытыми глазами, вдруг открыла их и что-то сказала. И мы, несмотря на нашу печаль, тихонько засмеялись.

Следующей ночью я просидел возле матери почти до рассвета. Но почему-то слезы не лились, как накануне. Чуть ли не пристыженный почти непрерывным плачем сестры, я всеми силами старался сделать вид, что плачу. И в то же время верил, что, поскольку не могу плакать, мать, возможно, и не умрет.

На третий день вечером мать без всяких страданий скончалась. Перед самой смертью к ней как будто возвратился разум, она посмотрела на нас, и из глаз у нее полились слезы. Но она ни слова не проронила.

Когда мать положили в гроб, я уже не мог удержаться от слез. Дальняя родственница, «тетка из Одзи», сказала: «Ну и молодец же ты!» Но я только удивился, почему же я молодец.

В день похорон сестра с посмертной табличкой и я с благоговениями для возжигания поехали на рикше. Время от времени я засыпал и пробуждался в страхе, что уронил благоговения. Мы никак не могли добраться до Янака. Под осенним ясным небом довольно длинная похоронная процессия медленно следовала по улицам Токио.

День смерти моей матери — 28 ноября. Ее посмертное имя Кимёин-мёдзёниссён-дайси. А между тем я не помню ни дня смерти, ни посмертного имени моего родного отца. Вероятно, потому, что в одиннадцать лет запомнить день смерти и посмертное имя составляло для меня предмет гордости.

2

У меня есть старшая сестра. Человек она больной, но, несмотря на это, у нее двое детей. Разумеется, я не хочу включать эту сестру в «Поминальник». Речь идет о другой сестре, которая совсем юной внезапно скончалась еще до моего рождения. Из нас, троих детей, как говорят, она была самой умной.

Ее звали Хацукко, потому что она родилась первой. В на-

шем доме на буддийской божнице до сих пор стоит фотография Хаттян в маленькой рамке. Она вовсе не была слабой. Ее пухленькие щечки с ямочками, как спелый абрикос.

Что ни говори, отец и мать больше всех любили Хаттян. Ее водили с улицы Синсэндза в Сиба, в детский сад мадам Саммаз в Цукидзи. Но субботу и воскресенье она непременно проводила в доме родителей моей матери — в доме Акутагава в Хондзё. В этих случаях Хаттян всегда надевали вошедшее в моду в двадцатых годах Мэйдзи европейское платье. Помню, когда я ходил в начальную школу, мне как-то дали обрезки от платьев Хаттян, и я наряжал в них резиновых кукол. Все это были лоскуты импортного ситца с узором из цветов или изображением музыкальных инструментов.

Как-то в начале весны в воскресенье Хаттян, гуляя в саду, обратилась к тетушке, сидевшей в гостиной у раздвинутых сёдзи (я представляю себе, что в это время сестра, конечно, была в европейском платье):

— Тетушка, что это за дерево?

— Какое дерево?

— Вот это, с почками.

В саду родителей моей матери росло низенькое деревцо айвы, склонившееся над старым колодцем. Вероятно, Хаттян смотрела на его колючие ветки широко раскрытыми глазами.

— У этого дерева такое же имя, как у тебя.

Но шутка тетушки осталась непонятной.

— Значит, это дерево зовется дурочкой?¹

Стоит заговорить о Хаттян, как тетушка всякий раз возвращается к этому диалогу. И действительно, кроме этого рассказа, никаких воспоминаний о Хаттян не осталось. Через несколько дней она оказалась в гробу. Я не помню погребальной таблички, на которой было бы вырезано «Хаттян». Но, как ни странно, ясно помню, что день ее смерти — 4 мая.

Почему я питаю к этой сестре — сестре, которую совсем не знал, — теплое чувство? Если б Хаттян осталась в живых, ей было бы сейчас за сорок. Может быть, лицом сорокалет-

няя Хаттян походила бы на мать, которая с отсутствующим взглядом курила трубку в доме в Сиба? Иногда я чувствую, что за моей жизнью пристально следит какой-то призрак — сорокалетняя женщина, то ли мать, то ли сестра. Причиной ли тому мои нервы, расшатанные кофе и табаком? Или сверхъестественная сила, которая в некоторых случаях являет свой лик реальному миру?

3

Поскольку моя мать сошла с ума, я почти сразу после рождения был отдан приемным родителям (дяде со стороны матери). К родному отцу я был равнодушен. Он был фермер, добившийся известного преуспевания. В то время с новыми фруктами и напитками меня знакомил только отец: с бананами, мороженым, ананасами, ромом, может быть, и еще с чем-нибудь. Я помню, как пил ром в тени дуба в Синдзюку. Это был совсем слабый напиток желтоватого цвета.

Предлагая мне, малышу, такие редкости, отец надеялся, что я вернусь к нему от приемных родителей. Помню, как однажды вечером, угощая меня мороженым в ресторане в Омори, он уговаривал меня бежать оттуда. В таких случаях отец говорил очень убедительно и сладкоречиво. Но, к сожалению, его уговоры никогда не имели успеха. Потому что я любил приемных родителей, а еще больше тетушку.

Кроме того, отец был вспыльчив и часто ссорился то с тем, то с другим — он мог поссориться с кем угодно. Когда я учился в третьем классе средней школы, мы с ним как-то стали бороться, и я, применяя свой любимый прием, быстро его одолел. Не успел он подняться, как подступил ко мне со словами: «Еще разок». Я опять без труда его повалил. Отец со словами «еще разок» набросился на меня, изменившись в лице. Смотревшая на нас тетушка — младшая сестра моей матери, вторая жена отца — несколько раз сделала мне знак глазами. Поборовшись с отцом, я нарочно упал навзничь. Но не уступи я тогда ему, отец непременно вцепился бы в меня.

Мне было двадцать восемь лет, и я еще преподавал, когда пришла телеграмма, что «отец в больнице», и я поспешно

¹ Игра слов: «айва» — бокэ, «глупый» — бака.

отправился из Камакура в Токио. Отец попал в больницу с инфлюэнцей. Дня два или три мы с тетушкой из дома приемных родителей и с тетушкой из родного дома провели в больнице, буквально уютясь в углу. Понемножку я стал скучать. А тут знакомый корреспондент-ирландец позвонил мне, приглашая пообедать с ним в японском ресторане в Цукидзи. Под предлогом, что этот корреспондент скоро уедет в Америку, я оставил находившегося при смерти отца и отправился в Цукидзи.

Мы с несколькими гейшами весело пообедали. Обед закончился в десять. Простившись с корреспондентом, я спустился по узенькой лестнице, как вдруг меня окликнули: «А-сан!» Остановившись, я взглянул наверх. На меня пристально смотрела одна из бывших с нами гейш. Я молча спустился с лестницы и сел в такси, стоявшее у входа. Такси сразу тронулось. Я думал не столько об отце, сколько о лице этой женщины с европейской прической — особенно о ее глазах.

Когда я вернулся в больницу, оказалось, что отец меня ждет с нетерпением. Удалив за ширмы всех лишних людей, он, то сжимая мою руку, то глядя ее, стал рассказывать о давно прошедших незнакомых мне вещах, о том, как они с матерью поженились. Это были просто мелочи, вроде того как он с матерью ходил покупать комод, как они ели суси, и тому подобное. Когда я слушал эти рассказы, мои глаза увлажнились. А у отца по впалым щекам катились слезы.

На другое утро отец тихо скончался. Перед смертью, видимо, разум у него помутился, он говорил: «Прибыл корабль с поднятым флагом. Все кричите банзай!» Как прошли похороны отца, я не помню. Помню лишь, когда тело его везли из больницы домой, катафалк освещала большая весенняя луна.

4

В этом году в середине марта я с женой после длительного перерыва отправился на кладбище. После длительного перерыва... но не только маленькая могила, но и сосна, простиравшая свои ветви над могилой, нисколько не изменились.

Трое, включенные в «Поминальник», все лежат погребенными в уголке кладбища в Янака и под одним могильным камнем. Я вспомнил, как в эту могилу тихо опускали гроб моей матери. Вероятно, в ту же, где лежала Хаттян. Только отец... Я помню, как в пепле, где белели останки костей, сверкали золотые зубы.

Я не люблю ходить на кладбище. Если бы можно было, я хотел бы забыть и о родителях, и о сестре. Но в этот день, может быть, от физической слабости, я, глядя при свете закатного весеннего солнца на почерневший могильный камень, думал о том, кто из них троих был счастлив.

Мотылек-однодневка!
За могильным холмом
Ты живешь — да и только.

Я никогда еще так остро не чувствовал настроения, которое вызывает этот стих Дзёсо.

1926

ОН

1

Я неожиданно вспомнил о нем, моем старом друге. Имени его лучше не называть. Уйдя от дяди, он снимал крохотную комнатку на втором этаже типографии в районе Хонго. На втором этаже, где от каждого оборота маховика работавшей внизу ротационной машины, точно в каюте парового катера, сотрясалось все тело. Я, в то время еще ученик колледжа, поужинав у себя в общежитии, часто навещался туда, на второй этаж. Сидя у окна и склонив голову на тонкой шее, вдвое тоньше, чем у других, он обычно гадал на картах. И всегда висевшая у него над головой медная керосиновая лампа отбрасывала круглую тень...

2

Живя еще у своего дяди в Хонго, он ходил в ту же, что и я, третью среднюю школу, находившуюся в Хондзэ. Он жил у дяди потому, что у него не было родителей. Я говорю «потому, что не было родителей», но, кажется, мать у него не умерла. Он по-детски пылко любил не отца, а именно мать, которая второй раз вышла замуж. Однажды осенью, не успел он меня увидеть, как заговорил, запинаясь на каждом слове:

— Я недавно узнал, что моя сестра (я смутно помню, что у меня действительно есть сестра) вышла замуж. Может, сходим к ней хоть и в это воскресенье?

Мы сразу же отправились на улицу Басуэ, недалеко от Камидо. Вопреки ожиданиям не потребовалось много времени, чтобы увидеть, что представляет собой замужество его сестры. Они жили в одноэтажном многоквартирном доме за

парикмахерской. Мужа не было — видимо, он ушел на работу на какую-нибудь находившуюся неподалеку фабрику, и в доме, бедном и невзрачном, кроме жены, сестры моего товарища, кормившей грудью ребенка, не было ни души. Хотя она и приходилась ему сестрой, но была намного старше его. И, кроме удлиненного разреза глаз, в их внешности почти совсем не было сходства.

— Ребенок родился в этом году?

— Нет, в прошлом.

— Но ведь замуж ты вышла, кажется, в прошлом году?

— Нет, в марте позапрошлого.

Он говорил без передышки, точно стараясь преодолеть возникшее между ними препятствие. А его сестра приветливо отвечала на вопросы, покачивая ребенка. Я же, держа в руках большую грубую чашку с крепким чаем, смотрел на замшелую кирпичную стену, куда выходил черный ход. И чувствовал в их бессвязном разговоре какую-то грусть.

— Что за человек твой муж?

— Что за человек? Книжки любит читать.

— Какие книжки?

— Ну, к примеру, сборники рассказов.

Действительно, у окна стоял старый стол. И на нем лежало несколько книг, в том числе и сборников рассказов. Но, к сожалению, я ничего не помню об этих книгах. В памяти осталось лишь, что в подставку для ручек было воткнуто два павлиньих пера.

— Я еще приду повидаться. Передай привет мужу.

Сестра, продолжая кормить ребенка, приветливо попрощалась с нами.

— Обязательно. Передай всем привет. Простите, что не могу подать вам гэта.

Мы шли по улице Хондзэ, когда уже спускались сумерки. Он, несомненно, был разочарован, встретившись со своей сестрой. Но мы, будто сговорившись, ни словом не обмолвились о своих чувствах. Он — я до сих пор отчетливо помню это, — касаясь рукой тянувшейся вдоль улицы ограды храма Кэнниндзи, сказал мне:

— Когда идешь, вот так касаясь ограды, пальцы странно подрагивают. Точно по ним пробегает электричество.

Окончив среднюю школу, он держал экзамен в первый колледж. Но, к сожалению, провалился. После этого он и стал снимать комнату на втором этаже типографии. И после этого же стал увлекаться книгами Маркса и Энгельса. Я же, конечно, не знал абсолютно ничего о социальных науках. И испытывал неизъяснимое уважение или даже не столько уважение, сколько страх к таким словам, как «капитал», «эксплуатация». Он же, пользуясь этим страхом, часто нападал на меня. Верлен, Рембо, Бодлер — эти поэты были для меня в то время идолами, даже больше чем идолами. Для него они были не более чем порождением гашиша и опиума.

Наши споры, если посмотреть на них сегодняшними глазами, даже и нельзя было назвать спорами. Но мы с полной серьезностью нападали друг на друга. И лишь один наш приятель, ученик медицинского колледжа К., язвительно высмеивал нас:

— Чем спорить с таким жаром, пошли лучше в Сусаки, с девочками развлечемся.

К. часто говорил это, поглядывая то на меня, то на товарища. В глубине души мне, конечно, хотелось пойти в Сусаки или еще куда-нибудь. Но мой друг с неприступным видом (у него действительно был такой вид, который иначе как неприступный не назовешь), зажав в зубах «Голден бэт», не обращал внимания на слова К. А иногда даже, опередив К., сам переходил в наступление.

— Революцию можно, пожалуй, назвать социальным очищением...

В июле следующего года он поступил в шестой колледж в городе Окаяма. Полгода после этого были для него самыми счастливыми. Он часто писал мне письма, в которых подробно рассказывал о своей жизни. (В этих письмах он обычно перечислял названия прочитанных книг по социальным наукам.) И все-таки мне его очень не хватало. Каждый раз, встречаясь с К., я всегда говорил о нем. И К. тоже, хотя не столько потому, что видел в нем приятеля, сколько потому, что питал к нему чисто научный интерес.

— Мне кажется, он навсегда останется ребенком. Но все

равно в нем никогда не проснется гомозеротизм, как это бывает у красавцев-юношей. Как ты думаешь, в чем причина этого?

К. не раз задавал мне этот вопрос в нашем общежитии, стоя спиной к окну и ловко пуская дым кольцами.

Не прошло и года после поступления в шестой колледж, как он заболел и вынужден был вернуться в дом дяди. Болезнь его называлась туберкулезом почек. Иногда я, захватив с собой печенье, приходил навестить его. И каждый раз он, сидя на постели и обняв худые колени, вопреки ожиданиям, оживленно разговаривал со мной. Но я не мог оторвать глаз от ночного горшка, стоявшего в углу комнаты.

— Со здоровьем у меня никуда не годится. Да, тюрьму мне не вынести.

Говоря это, он горько улыбался.

— Вот, например, Бакунин, даже на фотографии видно, какой он здоровый.

И все-таки нельзя сказать, что он совсем лишен был радости. Такой радостью для него была удивительно чистая любовь к дочери дяди. Он ни разу не говорил мне о своей любви. Но однажды под вечер, в пасмурный весенний день, неожиданно признался мне, что любит. Неожиданно? Нет, совсем не неожиданно. С тех пор как я впервые увидел его двоюродную сестру, я — это свойственно любому юноше — ждал, что он расскажет мне о своей любви.

— Миё-тян со своим классом уехала в Одавара, а я невзначай заглянул в ее дневник...

Мне хотелось саркастически улыбнуться на его «невзначай». Но я, естественно, промолчал и ждал, что он скажет дальше.

— Там написано об одном студенте, с которым она познакомилась в электричке.

— Ну и?..

— Ну и я думаю, что, может быть, стоит предостеречь Миё-тян...

У меня вдруг сорвалось с языка:

— Ты не находишь, что противоречишь себе? Ты можешь любить Миё-тян, но считаешь, что она не имеет права никого любить, — это нелогично. Конечно, если учитывать твоё состояние, но это уже другой вопрос.

Мои слова ему были явно неприятны. Но он промолчал. Потом, о чем же мы потом говорили? Помню только, что и мне самому стало неприятно. Я испытывал чувство, конечно, только потому, что заставил испытать неприятное чувство больного человека.

— Ну ладно, привет.

— Привет.

Он слегка кивнул мне и добавил с деланным весельем:

— Ты мне книжку почитать не принесешь? Когда придешь в следующий раз.

— Какую книгу?

— Хорошо бы жизнеописание гения или что-нибудь в этом роде.

— Может, принести «Жан-Кристофа»?

— Приноси любую, лишь бы повеселее.

Я вернулся в свое общежитие на улице Яёи в полной растерянности. В аудитории для самостоятельных занятий окна были разбиты, и там, к сожалению, было пусто. Я сел под тусклую лампу и стал повторять немецкую грамматику. И все-таки я почувствовал зависть к нему — к нему, хотя и страдавшему от безответной любви, но все же имевшему девушку, дочь дяди.

5

Примерно через полгода он решил поехать к морю, чтобы переменить климат. Вернее, это так называлось — «переменить климат», на самом же деле он уезжал, чтобы лечь в больницу. На зимние каникулы я поехал навестить его. Палата на втором этаже, в которой он лежал, была сумрачной, и там гулял сквозняк. Сидя в кровати, он был по-прежнему бодрым и веселым. Но ни слова не говорил о литературе или социальных науках.

— Стоит мне взглянуть на ту пальму, как я начинаю ее жалеть. Посмотри, как дрожат листья на ее верхушке.

Листья на верхушке пальмы дотягивались почти до самого окна. И когда дерево раскачивалось, концы его узко нарезанных листьев нервно дрожали. Казалось, они и в самом деле воплощают какую-то свою тоску. Но я подумал о нем, в одиночестве запертом в больничной палате, и бодро ответил:

— Качается. Грустит о чем-то своем пальма на берегу моря...

— А дальше?

— Вот и все.

— Неприятно почему-то.

Во время этого разговора я почувствовал, что у меня перехватило дыхание.

— Ты читал «Жан-Кристофа»?

— Да, читал немного, но...

— И не захотелось читать дальше?

— Слишком уж жизнерадостная эта книга.

Я снова постарался переменить тему, в которой легко было утонуть.

— Мне говорил К., что недавно он был у тебя.

— Да, приезжал и в тот же день вернулся в Токио. И все рассказывал мне о случаях вивисекции.

— Неприятный он человек.

— Почему?

— Даже не могу объяснить почему...

После ужина ветер утих, мы обрадовались и решили пойти погулять к морю. Солнце только что скрылось. Но было еще светло. Мы сели на склоне дюны, поросшей невысокими соснами, и разговаривали, глядя, как перелетает с места на место несколько стариков.

— Песок кажется холодным, да? А ты попробуй сунь в него руку.

Я послушался и погрузил руку в песок, смешанный с сухой травой. Там еще осталось немного солнечного тепла.

— Как-то неприятно. Уже почти ночь, а песок еще теплый.

— Чепуха, он быстро остынет.

Не знаю почему, но я отчетливо помню наш разговор. Тогда, метрах в пятидесяти от нас, недвижимой чернотой расстилался Тихий океан...

О его смерти я узнал как раз на следующий Новый год. Как мне потом рассказывали, врачи и сестры до поздней ночи праздновали Новый год, устроив вечер с игрой в карты. А он, в ярости, что не может уснуть из-за шума, лежал в кровати и громко проклинал их; у него началось сильное кровоотечение, и он вскоре умер. Когда я увидел его фотографию в траурной рамке, то почувствовал даже не грусть, а скорее то, как брэнна человеческая жизнь.

«Книги покойного сожгите вместе с его останками. Прошу меня простить, если среди этих книг будут и взятые мной на время».

Эти слова были написаны его собственной рукой на фотографии. Прочтя их, я представил себе, как коробятся и превращаются в пепел книги. Был среди них, конечно, и первый том «Жан-Кристофа», который я дал почитать ему. Я был тогда в таком состоянии, что мне это показалось символичным.

Прошло дней пять-шесть, и я, случайно встретившись с К., заговорил с ним о покойном друге. К., как всегда невозмутимый, покуривая сигарету, спросил меня:

— Как ты думаешь, он знал женщин?

— Ну как тебе сказать...

К. недоверчиво посмотрел на меня.

— А в общем, сейчас это не имеет никакого значения. Но все-таки, когда ты думаешь о смерти, не возникает ли у тебя чувство, что ты победитель?

Я заколебался. И К., решившись, сам ответил на свой вопрос:

— Во всяком случае, мне так кажется.

С тех пор я всегда избегал встречаться с К.

1

Он был молодым ирландцем. Имени его лучше не называть. Он был моим другом — этого достаточно. Его сестра до сих пор пишет обо мне: «My brother's best friend»¹. Когда я впервые встретился с ним, его лицо показалось мне знакомым. Нет, не только лицо. У меня было такое чувство, что я определенно видел огонь, плававший в камине в его комнате, и кресло красного дерева, на котором плясали блики огня, и собрание сочинений Платона, стоявшее на каминной доске. И пока я разговаривал с ним, это чувство все усиливалось. Я подумал, что, возможно, лет пять-шесть назад все это видел во сне. Но я, конечно, ни разу не говорил ему об этом. Попыхивая сигаретой, он рассказывал об ирландских писателях — этот разговор зашел у нас вполне естественно.

— I detest Bernard Shaw.

Я помню, с каким высокомерием он говорил это. Это было зимой, нам тогда едва исполнилось по двадцать пять лет.

2

Раздобыв денег, мы заходили в кафе и ресторанчики. Он был задира еще больший, чем я. Однажды вечером, когда на улице сыпал снег, мы сидели с ним в кафе «Паулиста» за столиком в углу. В то время в кафе посреди зала стоял граммофон — он играл, когда в него опускали никелевую монету. И в тот вечер тоже граммофон почти беспрерывно сопровождал наш разговор.

— Послушай, переведи официанту, пусть он выключит

¹ Лучший друг моего брата (англ.).

этот орущий граммофон — за каждые пять сэн, которые захотят в него опустить, я буду давать десять.

— Нет, с такой просьбой не обращаются. Начать хотя бы с того, что с помощью денег прекращать музыку, которую хотят слушать другие, — это так вульгарно.

— Не менее вульгарно с помощью денег заставлять слушать музыку человека, который слушать ее не хочет.

К счастью, в это время граммофон как раз замолчал. Но тут человек в охотничьей шляпе, по виду студент, встал и направился к граммофону, чтобы опустить в него монету. Тогда мой друг вскочил и с проклятиями замахнулся на него подставкой со специями.

— Перестань. Не делай глупостей.

Я схватил его и вытащил на улицу, где сыпал снег. Я тоже был возбужден. Взявшись под руки, мы шли, не раскрывая зонтов.

— В такой снежный вечер мне хочется идти без конца. Пока несут ноги...

Он прервал меня чуть ли не руганью.

— Почему же ты не идешь? Если бы я хотел идти без конца, то и шел бы без конца.

— Это слишком романтично.

— А что плохого в романтике? Хотеть идти и не двигаться — это удел безвольных. Нужно идти, несмотря ни на что, даже если погибнешь от холода...

Неожиданно он изменил тон и, обращаясь ко мне, назвал меня «brother»¹:

— Вчера я послал телеграмму правительству вашей страны, что хочу вступить в армию.

— Ну и что?

— Ответа пока нет.

Так мы добрели с ним до витрины книжного магазина, торговавшего иностранной литературой. В ярко освещенной витрине, наполовину засыпанной снегом, были выставлены фотоальбомы с танками, отравляющими газами, военная литература. Мы остановились, продолжая держаться под руку возле этой витрины.

¹ Брат (англ.).

— «Above the War». Romein Rolland¹.

— Хм, но не над нами.

Лицо его стало каким-то странным. Он весь взъерошился — нахохлился, как петух.

— Что понимает твой Роллан и ему подобные? Мы с тобой amidst² схватки.

Враждебность, которую он испытывал к Германии, ощущалась мной, конечно, не так остро. Поэтому я почувствовал, что его слова вызывают во мне некоторый протест. И в то же время почувствовал отрезвление.

— Ну, я пошел.

— Да? Ладно, а я... Нырну в какое-нибудь заведение поблизости.

Мы стояли как раз у моста Кёбаси с резными перилами. На ночном безлюдном берегу одинокая голая ива, запорошенная снегом, низко опустила свои ветки в воду черного, грязного канала.

— Вот истинно японский пейзаж.

Он сказал проникновенно, прежде чем расстаться со мной.

3

К сожалению, он не смог вступить в армию, как ему хотелось. После возвращения его в Лондон прошло года два-три, и он снова поселился в Японии. Но к тому времени мы, я уж во всяком случае, утратили былой романтизм. В нем, конечно, тоже за эти годы произошли какие-то перемены.

Он сидел, одетый в хаори и кимоно, в своей комнате на втором этаже частного пансиона и, грея руки на грелке, брюзжал:

— Япония все больше американизируется. Мне иногда хочется из Японии переселиться во Францию.

— Иностранцы всегда рано или поздно испытывают разочарование. То же произошло в старости с Херном.

¹ «Над схваткой». Ромен Роллан.

² Здесь: в центре (англ.).

— Нет, я не разочарован. Человек, не имевший illusion¹, не может испытать disillusion².

— Не доктринерство ли это? Возьми хоть меня — я сам до сих пор полон illusions.

— Может, ты прав...

Он стал хмуро смотреть в окно на мрачные, окутанные облаками холмы.

— Может быть, я скоро стану корреспондентом в Шанхае.

Его слова сразу же напомнили мне о его профессии, о которой я, признаться, забыл. Я всегда думал о нем как об одном из нас — человеке искусства, и только. Но, чтобы зарабатывать на жизнь, он служил корреспондентом какой-то английской газеты. И, задумавшись над тем, что любой человек искусства имеет «дело», из которого не вырвешься, я постарался сделать наш разговор приятным.

— Шанхай, наверно, еще интереснее Токио.

— Я тоже так думаю. Но до Шанхая мне придется съездить в Лондон... Я тебе это показывал?

Он вытащил из ящика стола бархатную коробочку. В ней лежало тонкое платиновое кольцо. Я примерил его на свой палец и не смог сдержать улыбку, увидев на внутренней стороне выгравированное имя «Момоко».

— Я просил, чтобы под «Момоко» было мое имя.

Возможно, это была ошибка гравера. Но не исключено, что гравер, зная, что за профессия у этой девицы, специально решил не писать на кольце имени иностранца. И мне стало грустно и совсем не захотелось выражать сочувствие человеку, которому это, в общем, безразлично.

— Куда ты собираешься в ближайшие дни?

— На Янагибаси. Там слышится журчание реки.

Для меня, токиосца, это были жалкие, ненужные слова. Потом он вдруг оживился и стал говорить о японской литературе, которую всегда любил.

— Читал недавно роман Дзюнъитиро Танидзаки «Дья-

вол». Это роман, в котором описаны, пожалуй, самые грязные вещи на свете.

(Несколько месяцев спустя в разговоре с автором «Дьявола» я передал ему эти слова. Беспечно смеясь, он ответил мне: «Главное «самый... на свете», а остальное — неважно!»)

— А «Полевой мак»?

— Для моего японского языка он слишком сложен... Может, пообедаем вместе?

— Давай, у меня тоже была такая мысль.

— Тогда подожди меня немного. Там лежат журналы, можешь их посмотреть.

Насвистывая, он стал быстро переодеваться в европейский костюм. Повернувшись к нему спиной, я рассеянно просматривал «Букмэн» и другие журналы. Вдруг, прекратив свист, он со смехом сказал мне по-японски:

— Я уже совсем привык сидеть как японец. Жалко только брюки.

4

В последний раз я встретился с ним в одном кафе в Шанхае. (Через полгода после этого он заболел оспой и умер.) Мы сидели под свисавшей над самым столом яркой лампой, потягивали виски с содовой и наблюдали за мужчинами и женщинами, набившимися в кафе. За исключением двух-трех китайцев, это были американцы и русские. Среди них женщина в зеленовато-голубом платье, взволнованная больше, чем все остальные, что-то горячо говорила. Она была самая стройная, самая красивая из всех. Когда я увидел ее лицо, мне на ум пришло сравнение: в нем есть что-то вульгарное и в то же время прекрасное. Действительно, женщина была красива, но в ней было что-то порочное.

— Кто эта женщина?

— Вон та? Французская... ну что ли актриса. Она известна под именем Нини. Ты лучше посмотри на того старика.

«Тот старик» сидел за соседним столиком и, обхватив руками бокал с красным вином, беспрерывно качал головой в такт оркестру. Весь его вид выражал полнейшую удовлетворенность. Мне тоже доставляла большое удовольствие джа-

¹ Иллюзия (англ.).

² Разочарование (англ.).

зовая музыка, вылетающая из зарослей тропических растений. Но это удовольствие не шло ни в какое сравнение со счастьем, которое испытывал старик.

— Тот старик еврей. Он живет в Шанхае уже лет тридцать. Интересно бы узнать, какие мысли владеют им?

— Разве не все равно, какие у него мысли?

— Конечно, не все равно. Возьми, например, меня — я уже по горло сыт Китаем.

— Не Китаем. Шанхаем, наверно?

— Именно Китаем. Я некоторое время жил и в Пекине...

Мне захотелось поиронизировать над его брюзжанием.

— Китай тоже постепенно американизируется?

Он ссутулился и умолк. Я почувствовал нечто близкое раскаянию. Почувствовал, что нужно что-то сказать, чтобы сгладить неловкость.

— Ну ладно, а где бы тебе хотелось жить?

— Да в общем-то, все равно — где только я не жил. А сейчас мне хочется жить только в Советской России.

— Ну что ж, тогда лучше всего и поехать в Россию. Ты ведь можешь поехать куда угодно.

Он снова умолк. А потом — я до сих пор отчетливо помню его лицо. Он сощурился и вдруг прочел стихотворение из «Манъёсю», которое я уже забыл:

Грустна моя дорога на земле,
В слезах и горе я бреду по свету.
Что делать?
Ведь нельзя мне улететь:
Не птица я и крыльев нету¹.

Я не мог сдержать улыбку, слушая, как он произносит японские слова. И в то же время не мог не почувствовать в глубине души волнение.

— Я уж не говорю об этом старике. Даже Нини счастливее меня. Ведь ты же прекрасно знаешь...

Я сразу понял, что он хочет сказать.

— Можешь не продолжать, мне и так все ясно. Видимо, ты. Вечный Жид.

Он залпом выпил остаток виски с содовой и снова вернулся в свое обычное состояние.

— Я не так примитивен. Поэт, художник, критик, газетчик... и многое еще. Сын, брат, холостяк, ирландец... По характеру — романтик, по мировоззрению — реалист, по политическим взглядам — коммунист...

Смеясь, мы встали, резко отодвинув стулья.

— Ну и еще, видимо, любовник этой женщины.

— Да, любовник... Можно еще продолжить: по религиозным убеждениям — атеист, по философским взглядам — материалист...

Ночная улица была пропитана не просто туманом, а какими-то отвратительными миазмами.

В свете уличных фонарей туман казался желтоватым. Взявшись под руки, мы шли, как в тот давний вечер, когда нам было по двадцать пять, — но сейчас мне уже не хотелось идти без конца.

— Я тебе еще, кажется, не рассказывал, как мне проверяли голосовые связки?

— В Шанхае?

— Нет, когда ездил в Лондон. Проверили мои голосовые связки и сказали, что я мог бы стать всемирно известным баритоном. — Он взглянул на меня и чему-то ехидно улыбнулся. — Во всяком случае, лучше, чем быть каким-то газетчиком... Конечно, стань я оперным певцом, появился бы второй Карузо. Но теперь уж ничего не поделаешь.

— Для тебя это большая потеря.

— Что? Потеря не для меня. Потеря для человечества.

Мы шли по берегу реки, где мелькало множество фонарей на лодках. Вдруг он остановился и кивнул: смотри. В просвечивающей сквозь туман воде плыл, крутясь в волнах, труп маленькой белой собачонки. Кто-то повесил ей на шею пучок травы, переплетенной с цветами. Я почувствовал, как это жестоко и в то же время прекрасно. Я немного заразился сентиментальностью после того, как он прочел мне стихотворение из «Манъёсю».

— Нини?

— Или сидящий во мне певец.

Ответив мне так, он громко чихнул.

¹ Перевод А. Глускиной.

Это произошло, возможно, потому, что наконец от его сестры из Ниццы пришло письмо. Два дня назад я разговаривал с ним во сне. Разговор происходил, несомненно, во время нашей первой встречи. Камин ярко пылал, и блики огня плясали на столе и кресле красного дерева. Мы были утомлены и вели естественно возникший между нами разговор об ирландских писателях. Но мне было нелегко бороться с овладевшей мной сонливостью. Мое затуманенное сознание уловило его слова:

— I detest Bernard Shaw.

Я спал сидя. И тут вдруг проснулся. Рассвет еще не наступил. Завешенная платком лампа едва светила. Я лег ничком на постель и, чтобы унять волнение, закурил. Было ужасно неприятно, что сон мой кончился и я вернулся к действительности.

Это был дом с приятными на вид, изящными воротами. Правда, в здешних местах такой дом не был чем-то удивительным. Но и табличка с названием дома «Горная келья Гэнкаку», и деревья, свешивавшиеся над оградой сада, все имело особо изысканный вид.

Хозяин дома, Хорикóси Гэнкáку, пользовался некоторой известностью как художник. Однако состояние он нажил благодаря лицензии на изготовление резиновых печатей. А может быть, просто приобрел участок уже после того, как получил лицензию. Тогда на земле, которою он владел, даже имбирь и тот не рос как следует. Теперь же она превратилась в район «культурной деревни», там стояли рядами красные и синие кирпичные домики...

Да, поистине, «Горная келья Гэнкаку» — это был дом с приятными на вид, изящными воротами. В последнее время, когда на соснах, виднеющихся из-за ограды, висели сетки, предохраняющие от снега, а перед входом на подстеленной сухой хвое атели плоды ардизии, все выглядело особенно утонченно. Вдобавок в переулке, куда выходил дом, почти не было никакого движения и редко появлялся прохожий. Даже продавец тофу проходил здесь лишь для того, чтобы донести товар до главной улицы, и только иногда по дороге дудел в свою трубу.

— «Горная келья Гэнкаку» — что значит Гэнкаку? — так, проходя мимо дома, спросил длинноволосый ученик художественного училища другого ученика в такой же форме с золотыми пуговицами и с узким длинным ящиком с красками под мышкой.

Вряд ли это игра слов — гэнкаку.

Смеясь, они с легким сердцем прошли мимо ворот. И после них на замерзшей дороге осталась только недокуренная папироса — «Горудэн батто», — от которой еще поднималась тонкая струйка бледно-голубого дымка.

2

Еще до того, как войти зятем в семью Гэнкаку, Дзюкити служил в банке... Поэтому он всегда возвращался домой, когда уже зажигали свет. И вот уже много дней, едва войдя в ворота, он сразу же ощущал какой-то неприятный запах. Это пахло дыханием старика Гэнкаку, лежавшего с редким для его возраста туберкулезом легких. Однако вне дома этот запах, конечно, не слышался. И Дзюкити в зимнем пальто, с портфелем под мышкой, проходя по плитам, ведущим к входу, невольно удивлялся: что у него за нервы.

Гэнкаку лежал во флигеле, а если не лежал, то сидел, прислонившись к груде одеял. Дзюкити имел обыкновение, сняв шляпу и пальто, непременно заглянуть во флигель и сказать: «Здравствуйте», — или: «Ну как вы сегодня себя чувствуете?» Но порог он переступал редко: как потому, что боялся заразиться туберкулезом, так отчасти и потому, что ему неприятен был запах больного. Гэнкаку, увидев его, отвечал только «а» или «здравствуй». Голос у него был совсем бесильный, не голос, а скорее вздох. И Дзюкити невольно корил себя за бесчувственность. Но все же войти во флигель ему было жутковато.

После этого Дзюкити навещал тещу О-Тори, которая тоже лежала больная в комнате рядом с чайной комнатой. У О-Тори еще до болезни Гэнкаку — на семь-восемь лет раньше — отнялись ноги, и она не выходила даже в уборную. Гэнкаку взял ее в жены еще тогда, когда она, дочь главного управляющего большого клана, обещала быть красавицей. И даже когда О-Тори состарилась, глаза у нее по-прежнему были красивы. Но когда, сидя на постели, она прилежно штопала белые таби, ее легко было принять за мумию. Дзюкити, тоже коротко бросив: «Ну, мама, как дела сегодня?» — входил в просторную чайную комнату.

Его жена О-Судзу, если ее не было в чайной комнате, работала в тесной кухне со служанкой О-Мацу, родом из провинции Синано. Не только уютно убранная чайная комната, но даже кухня с модным очагом были Дзюкити гораздо приятней, чем комнаты тестя и тещи. Второй сын политического деятеля, который одно время занимал пост губернатора, он по своим склонностям был ближе к матери-поэтессе, чем к по-мужски грубоватому отцу. Это нетрудно было определить по его дружелюбному взгляду и узкому подбородку. Переменив европейский костюм на японский, Дзюкити, войдя в чайную комнату, удобно усаживался у продолговатого хибати, курил дешевые папиросы и болтал с сыном Такэо, который в этом году поступил в начальную школу.

Дзюкити всегда обедал с О-Судзу и Такэо за маленьким столом. За обедом бывало оживленно, хотя последнее время к оживленности примешивалась натянутость. Причиной тому была сиделка Коно, поселившаяся в доме для ухода за Гэнкаку. Правда, Такэо шалил и при «Коно-сан» так же, как и без нее. Нет, при ней он шалил даже больше. О-Судзу иногда хмурила брови и сердито поглядывала на расшалившегося сына. Но Такэо с невинным видом усиленно помешивал рис в своей чашке. Дзюкити же, поскольку он был начитан в романах, видел в шалостях Такэо проявление чисто мужских склонностей, и это ему было несколько неприятно. Но чаще всего он, только улыбнувшись, продолжал молча есть.

Такэо, которому приходилось вставать очень рано, да и Дзюкити с женой почти всегда ложились спать в десять часов. Бодрствовала одна только сиделка Коно, приступавшая к ночному дежурству еще с девяти часов. Она сидела не смыкая глаз у ярко разгоревшегося хибати возле изголовья Гэнкаку. Гэнкаку... Гэнкаку тоже время от времени просыпался. Но обычно говорил, что остыла грелка или высох компресс, и ничего больше. Из флигеля доносилось только что-то вроде шуршания бамбука. В прохладной тишине Коно, внимательно наблюдая за Гэнкаку, думала свои думы. О настроении обитателей этого дома, о своем будущем.

Как-то раз после полудня, когда перестал идти снег и небо прояснилось, в кухне дома Хорикоси, из окна которой виднелось голубое небо, появилась женщина лет двадцати четырех — двадцати пяти, державшая за руку худенького мальчика в белом свитере. Дзюкити, конечно, дома не было. О-Судзу, которая как раз шила на машине, хотя и предвидела это, все-таки пришла в легкое замешательство. Но, как бы то ни было, она поднялась со своего места у хибати и пошла навстречу госте. Войдя в кухню, гостя переставила с места на место свою обувь и ботинки мальчика. По одному этому было заметно, что она робеет. И не без причины. Это была О-Йоси, прежняя их служанка, которая пять-шесть лет назад, переселившись в пригород Токио, открыто стала содержанкой Гэнкаку.

О-Судзу удивилась тому, как сильно О-Йоси постарела. И не только лицом. Раньше у нее были мягкие, пухлые руки, но годы иссушили их так, что сквозь кожу просвечивали вены. И ее одежда... Дешевенькое колечко на пальце свидетельствовало о стесненных обстоятельствах.

— Вот это брат велел мне принести барину.

И О-Йоси, прежде чем войти в чайную комнату, робко положила в углу кухни газетный сверток. Служанка О-Мацу, которая еще раньше принялась за стирку, проворно двигая руками, то и дело искоса с неодобрением поглядывала на О-Йоси, чьи волосы на ушах были кокетливо уложены в узлы. При виде свертка ее лицо выразило еще большее неудовольствие: от него исходил неприятный запах, так не вязавшийся с плитой новейшего образца, изящными блюдами и чашками. О-Йоси не смотрела на служанку, но, заметив, как изменилась в лице О-Судзу, объяснила:

— Там чеснок. — Затем обратилась к мальчику: — Ну, малыш, поклонись же.

Мальчик, разумеется, был Бунтаро, сын О-Йоси от Гэнкаку. О-Судзи было неприятно, что О-Йоси назвала этого мальчика «малыш». Но здравый смысл сразу подсказал ей, что с этой женщиной как-никак приходится мириться. И она как ни в чем не бывало угощала мать с сыном, сидевших в углу,

чаем и оказавшимся под рукой печеньем, рассказывала о здоровье Гэнкаку, спрашивала о Бунтаро...

Когда Гэнкаку содержал О-Йоси, он, не тяготясь пересадкой с электрички на электричку, непременно раза два в неделю ездил к ней. О-Судзу первое время питала из-за этого к отцу отвращение. «Следовало бы ему хоть немного считаться с матерью», — думала она не раз. Правда, О-Тори, видимо, со всем примирилась. Но О-Судзу поэтому-то еще больше жалела мать, и когда отец уезжал к содержанке, беззастенчиво врал матери: «Сегодня он пошел на встречу стихотворцев», — и тому подобное. Она и сама знала, что эта ложь бесполезна. Но иногда, видя на лице матери что-то близкое к холодной усмешке, раскаивалась в том, что соврала... и не то чтобы раскаивалась, просто она видела в парализованной матери какую-то жесткость, которая не вызывала в ней сочувствия.

Проводив отца, О-Судзу, в думах о семье, не раз останавливала швейную машину. Гэнкаку никогда не был для нее «хорошим отцом», даже до того, как завел содержанку. Но будучи мягкой по характеру, она не роптала. Ее беспокоило лишь, что отец стал уносить в дом к содержанке книги, картины и другие художественные ценности. Пока О-Йоси была служанкой, О-Судзу не считала ее дурной женщиной. Она даже находила ее более застенчивой, чем другие. Но она не знала, что замышляет ее брат, хозяин рыбной лавки на окраине Токио. В глазах О-Судзу он был хитрым человеком. Свои тревоги О-Судзу иногда изливала Дзюкити. Но тот не обращал на ее слова никакого внимания. «Не годится мне говорить с отцом», — отвечал он, и О-Судзу оставалось только промолчать.

— Вряд ли отец полагает, что О-Йоси хоть что-нибудь смыслит в картинах Ло Лянфэна, — как будто мимоходом говорил иногда Дзюкити теще. Но О-Тори, подняв на него глаза, с горькой улыбкой отвечала:

— Такой уж отец человек. Он и меня, бывало, спрашивал: «Ну, как эта тушечница?» — или что-нибудь в этом роде.

Однако сейчас все эти беспокойства казались просто пустяком. Гэнкаку, чье здоровье с зимы ухудшилось, не мог

больше посещать содержанку, и когда Дзюкити завел с ним разговор о том, чтобы порвать с ней (впрочем, надо сказать, что условия разрыва были разработаны О-Тори и О-Судзу), он неожиданно сразу же ответил согласием. Согласился и брат О-Йоси, которого О-Судзу так боялась. О-Йоси должна была получить в виде компенсации тысячу иен и вернуться в родительский дом где-то на побережье в провинции Кадзу-са, а затем ежемесячно получать определенную сумму на воспитание Бунтаро, — против таких условий ее брат нисколько не возражал. Мало того, он без всяких уговоров сам принес бывшие в доме содержанки и очень дорогие для Гэнкаку чайные принадлежности. О-Судзу почувствовала к нему особое доброжелательство — особое именно потому, что раньше она относилась к нему с недоверием.

— Кстати, сестра сказала, что, если у вас в доме не хватает рабочих рук, она хотела бы приехать ухаживать за больным...

Прежде чем согласиться на эту просьбу, О-Судзу посоветовалась с матерью. Это, несомненно, было ошибкой с ее стороны. Услышав, что она просит совета, О-Тори заявила, что пусть О-Йоси с Бунтаро приходят хоть завтра. О-Судзу, опасаясь, что атмосфера в доме станет тягостной, не говоря уже о настроении самой О-Тори, несколько раз пыталась переубедить мать. (Тем не менее, находясь между отцом, Гэнкаку, и братом О-Йоси, сама она склонялась к тому, чтобы не отказывать брату О-Йоси наотрез.) Но О-Тори никак не поддавалась на ее уговоры.

— Если б до того, как мне стало известно, — дело другое... А так мне неловко перед О-Йоси.

О-Судзу волей-неволей пришлось согласиться на приезд О-Йоси. Может быть, и это тоже было ее ошибкой, ошибкой женщины, не сведущей в житейских делах. В самом деле, когда Дзюкити, вернувшись из банка, услышал от нее обо всем, на его нежном, чисто женском лбу появились морщины неудовольствия.

— Конечно, хорошо, что рабочих рук в доме прибавится, но... следовало бы поговорить с отцом... Если б отказ исходил от отца, ты не была бы за это в ответе, — так он сказал.

О-Судзу, упав духом, отвечала только: «Да-да... так», но советоваться с Гэнкаку... говорить с умирающим отцом, который, конечно, еще тоскует по О-Йоси, для нее и сейчас было невозможным.

...Беседуя с О-Йоси и ее сынишкой, О-Судзу вспоминала все эти перипетии. О-Йоси же, не решаясь даже погреть руки у хибати, запинаясь, рассказывала о брате и о Бунтаро. В ее речи некоторые слова звучали по-деревенски, как и пять лет назад. И О-Судзу заключила, что на душе у О-Йоси стало легче. В то же время она чувствовала, что мать, О-Тори, которая ни разу даже не кашлянула за фусума, охвачена смутной тревогой.

— Значит, вы пробудете у нас с неделю?

— Да, если вы не против...

— Тогда не надо ли вам переодеться?

— Брат обещал привезти вещи к вечеру. — Сказав так, О-Йоси достала из-за пазухи карамельку и дала скучающему Бунтаро.

— Так я пойду, скажу отцу. Отец очень ослабел. Он простудил то ухо, которое обращено к сэдзи.

Перед тем как отойти от хибати, О-Судзу переставила чайник.

— Мама!

О-Тори что-то ответила. Похоже было по ее хрипловатому голосу, что она только что проснулась.

— Мама, у нас О-Йоси-сан.

О-Судзу с облегченным сердцем, не глядя на О-Йоси, быстро поднялась. Потом, направившись в соседнюю комнату, еще раз произнесла:

— Вот О-Йоси-сан.

О-Тори по-прежнему лежала, уткнувшись в воротник ночного кимоно. Но, подняв на дочь глаза, в которых мелькнуло что-то вроде улыбки, ответила:

— О, так скоро.

Почти физически ощущая О-Йоси за своей спиной, О-Судзу поспешила по коридору, выходявшему окнами в заснеженный сад, во флигель.

Во флигеле ей, вдруг вошедшей из светлого коридора,

показалось темнее, чем было на самом деле. Гэнкаку сидел на постели, и сиделка Коно читала ему газету. Увидев О-Судзу, он сразу спросил:

— О-Йоси? — В его хриплом голосе было странное напряжение и настойчивость.

О-Судзу, стоя у фусума, машинально ответила:

— Да! — Потом... наступило молчание. — Сейчас я ее сюда пришло.

— О-Йоси одна?

— Нет.

Гэнкаку молча кивнул.

— Коно-сан, пожалуйста, сюда.

И О-Судзу, торопливо опередив сиделку, почти побежала по коридору. На ветках вееролистной пальмы, где еще лежали хлопья снега, трясла хвостом белая трясогузка, но О-Судзу на нее и не взглянула; она со всей остротой чувствовала, как из пахнущего болезнью флигеля надвигается на них что-то неприятное...

4

С тех пор как О-Йоси водворилась в доме, атмосфера в семье становилась все более напряженной. Началось с того, что Такэо стал задирать Бунтаро. Бунтаро больше, чем на своего отца, Гэнкаку, был похож на мать. Даже робостью он походил на мать, О-Йоси. О-Судзу, конечно, относилась к ребенку не без сочувствия. Только считала его слишком уж боязливым.

Сиделка Коно, что объяснялось ее профессией, смотрела на эту тривиальную домашнюю драму равнодушно — скорей даже наслаждалась ею. Прошрое ее было невеселым. Она входила в связь то с хозяином дома, куда ее нанимали сиделкой, то в больнице с врачом, и из-за этого не раз готова была отравиться. Потому-то ей стало свойственно болезненное наслаждение чужими горестями. Поселившись в доме Хорикоси, она ни разу не видела, чтобы парализованная О-Тори, сходя по нужде, мыла руки. «Вероятно, дочь в этом доме сообразительна: приносит воду так, чтоб я не за-

метила». Ее подозрительную душу это омрачило. Но через несколько дней она поняла, что это просто недосмотр белоручки О-Судзу. Такое открытие принесло ей удовлетворение, и она стала сама носить О-Тори воду.

— Коно-сан, благодаря вам я теперь могу по-человечески вымыть руки.

О-Тори даже заплакала. Но сиделку радость О-Тори несколько не тронула. Зато теперь ей было приятно видеть, как О-Судзу непременно один раз из трех приносит воду сама. При таком настроении Коно ссоры детей не были ей неприятны. Гэнкаку она старалась показать, будто сочувствует О-Йоси с сыном. В то же время перед О-Тори вела себя так, словно питает к ним неприязнь. Такое поведение хоть и не скоро, но наверняка должно было принести свои плоды.

Примерно через неделю после приезда О-Йоси Такэо опять подрался с Бунтаро. Они заспорили о том, у кого толще хвост — у быка или у свиньи. Такэо затолкал Бунтаро в угол классной — маленькой комнатки рядом с бывшей комнатой Гэнкаку — и стал нещадно колотить его и пинать. Случайно проходившая мимо О-Йоси вызволила Бунтаро, который был не в силах даже заплакать, и сделала замечание Такэо:

— Нехорошо обижать слабого.

В устах застенчивой О-Йоси такие слова были неслыханной дерзостью. Такэо испугался ее сердитого вида и, на этот раз заплакав, побежал в чайную комнату к матери. О-Судзу вспыхнула и, бросив шитье, потащила Такэо в комнату, где была О-Йоси с сыном.

— Ты ведешь себя безобразно. Проси прощения у О-Йоси, проси как следует прощения.

При таких словах О-Судзу О-Йоси ничего не оставалось, как вместе с сыном самой в слезах просить прощения. Роль примирителя сыграла сиделка Коно. Вытalkingая из комнаты покрасневшую О-Судзу, она представляла себе, что испытывает еще один человек — тихонько слушающий эту сцену Гэнкаку, и про себя холодно усмехалась. Но, разумеется, на лице чувства ее никак не отражались.

Напряженность в доме создавали не только ссоры детей.

О-Йоси вдруг вызвала ревность у О-Тори, как будто уже совсем примирившейся с нею. Правда, О-Тори ни разу ее не попрекнула. (Так было и несколько лет назад, когда О-Йоси еще жила у них в доме служанкой.) Но к Дзюкити, не имевшему ко всему этому никакого отношения, О-Тори обращалась не раз. Дзюкити, конечно, отмахивался. Когда же О-Судзу, жалея мать, пыталась ее оправдывать, он с горькой усмешкой говорил: «Не хватает, чтобы и ты впала в истерику», — и переводил разговор на другое.

Коно с любопытством наблюдала за тем, как ревнует О-Тори. И саму ревность О-Тори, и что именно ее заставляло обращаться к Дзюкити, она прекрасно понимала. Мало того, она стала испытывать к Дзюкити и его жене что-то вроде ревности. О-Судзу в ее глазах была «барышня». Дзюкити... Дзюкити, во всяком случае, настоящий мужчина. В то же время она презирала его, как самца. И такое их счастье казалось ей несправедливым. Чтобы восстановить справедливость (!), она держала себя с Дзюкити по-дружески. Возможно, Дзюкити это было безразлично. Зато это был наилучший способ раздражать О-Тори. О-Тори, которая лежала с голыми коленками, язвительно спрашивала:

— Дзюкити, может быть, тебе разонравилась моя дочь — дочь парализованной?

Однако О-Судзу нисколько не сомневалась в Дзюкити. Нет, она даже как будто жалела сиделку. У Коно же это вызвало одно лишь недовольство. Она не могла не презирать добродушную О-Судзу. Но ей было приятно, что Дзюкити стал ее избегать. И, избегая ее, как ни странно, выказывает к ней чисто мужское любопытство. Раньше он ничуть не стеснялся Коно, проходил голым в ванную рядом с кухней. Но последнее время в таком виде он ни разу не показывался. Несомненно, он стыдился, потому что голый был похож на ощипанного петуха. Глядя на него (кстати, лицо у него было в веснушках), Коно втайне насмешливо думала, уж не хочет ли он, чтобы в него влюбился еще кто-нибудь, кроме О-Судзу.

Как-то морозным пасмурным утром Коно в маленькой комнатухе Гэнкаку, где она теперь жила, как обычно, укла-

дывала перед зеркалом волосы в прическу ору-бэку¹. Это было как раз накануне того дня, когда О-Йоси сказала, что возвращается в деревню. Отъезд О-Йоси, видимо, обрадовал Дзюкити и его жену. У О-Тори же, наоборот, вызвал еще большее раздражение. Коно, причесываясь, услышала пронзительный голос О-Тори и вспомнила женщину, о которой ей как-то рассказала ее подруга. Эта женщина, живя в Париже, почувствовала сильную тоску по родине и, воспользовавшись тем, что друг ее мужа возвращался в Японию, села с ним на теплоход. Долгое путешествие, против ожидания, не показалось ей тягостным. Но когда они приблизились к берегам провинции Кии, она вдруг пришла в возбуждение и бросилась в море, потому что чем ближе они подходили к Японии, тем сильнее становилась ее тоска по родине. Спокойно вытирая напояженные руки, Коно думала о том, что ревностью О-Тори, да и ее собственной, движет та же непонятная сила.

— О мама, что случилось? Вы так неосторожно повернулись... Коно, пожалуйста, сюда на минутку! — послышался голос О-Судзу с энгава возле флигеля. Услышав оклик О-Судзу, Коно, сидя перед зеркалом, впервые открыто усмехнулась. Затем, как будто испугавшись, ответила: «Сейчас!»

5

Гэнкаку постепенно слабел. Страдания, причиняемые многолетней болезнью, и боли от пролежней на спине до пояницы были ужасны. Когда становилось неважно, он стонал. Но его изматывали не только физические муки. Присутствие О-Йоси приносило некоторое утешение, зато он непрестанно мучился из-за ревности О-Тори и ссор детей. Однако это бы еще ничего. А вот с тех пор, как О-Йоси уехала, Гэнкаку чувствовал ужасное одиночество и невольно обращался мыслью к своей долгой, уже прожитой жизни.

И вся его жизнь теперь казалась ему неприглядной. Только время, когда, получив лицензию на изготовление резино-

¹ Искаженное all back (англ.) — волосы, уложенные узлом на затылке.

вых печатей, он сидел дома за картами и сакэ, — в его жизни было сравнительно светлым периодом. Но и тогда непрестанно мучила зависть приятелей и его собственные старания не упустить прибыль. Тем более когда он сделал О-Йоси своей содержанкой... Помимо семейных осложнений, на нем лежала незнакомая всем домашним тяжкая необходимость изыскивать деньги. Но самым неприятным было то, что, как ни привлекала его молодая О-Йоси, он, по крайней мере последние год-два, кто знает сколько раз желал смерти О-Йоси и ее сыну.

«Неприглядно? Но если подумаешь, то ведь не я один».

По ночам с этой мыслью он принимался перебирать в памяти все то, что касалось его родственников и знакомых. Отец его зятя Дзюкити «для охраны конституционного правления» довел до падения множество своих врагов, менее ловких, чем он сам. Наиболее близкий Гэнкаку, одних лет с ним, антиквар был в связи с дочерью своей первой жены. Один знакомый адвокат растратил доверенную ему сумму. Один гравировальщик печатей... но мысль о совершенных ими преступлениях, как ни странно, не облегчала его мучений. Мало того, они бросали на жизнь как таковую мрачную тень. Если б только перейти в мир иной и положить всему конец...

Для Гэнкаку это было единственной надеждой. Чтобы отвлечься от разъедающих его душу и тело мучений, он старался вызывать приятные воспоминания. Но вся его жизнь, как уже говорилось, была непригодна. Если и было в ней хоть что-то светлое, так это только воспоминания раннего детства, когда он еще был несмышленишкой. Часто он не то во сне, не то наяву вспоминал деревню в горном ущелье в провинции Синано, где жили его родители... особенно дощатую крышу с лежащими на ней камнями, туговые ветки с ободранными листьями, которые пахли коконами шелковичных червей. Но недолго длились эти воспоминания. Иногда он пытался возглашать сутру «Каннон-кё», петь когда-то модную песенку. Но, возгласив: «Мёон Кандзэон, боньё кайтёон, сёхисэкэнъон», — тут же петь «каппорэ, каппорэ» казалось ему кошунственным.

«Спать — величайшее наслаждение, спать — величайшее наслаждение».

Часто, чтобы забыться, Гэнкаку старался крепко заснуть. Коно давала ему снотворное и даже впрыскивала героин. Но и спал он часто беспокойно. Иногда ему снилось, что он встречается с О-Йоси или Бунтаро. Это создавало ему — только во сне — светлое настроение. Как-то раз ему приснилось, будто он разговаривает с еще новенькой цветочной картой «вишня 20». Во сне ему казалось, будто у этой карты лицо О-Йоси, какой она была шесть лет назад. Но, проснувшись, он чувствовал себя еще несчастней. Теперь, засыпая, Гэнкаку испытывал тревогу, почти боялся заснуть.

Как-то после полудня, в один из последних дней года, Гэнкаку, лежа навзничь, сказал сидевшей у его изголовья Коно:

— Коно-сан, я давно не носил набедренной повязки, велите купить мне шесть сяку полотна.

Чтобы достать полотно, незачем даже было посылать служанку в ближайшую мануфактурную лавку.

— Я надену ее сам. Положите ее сюда и уходите.

В надежде на эту повязку — в надежде повеситься на этой повязке — Гэнкаку провел полдня. Но ему, который даже приподняться на постели мог только с чьей-либо помощью, нелегко было осуществить свой план. Вдобавок, когда пришла роковая минута, он испугался смерти. Глядя на строку Обаку при тусклом электрическом свете, он с насмешкой думал о себе, еще так жаждущем жизни.

— Коно-сан, помогите мне встать.

Было уже десять вечера.

— Я проведу ночь один. Не стесняйтесь и идите спать к себе.

Коно с удивлением посмотрела на Гэнкаку и коротко ответила:

— Нет, я не буду ложиться: ведь это моя служба.

Гэнкаку почувствовал, что из-за Коно его план провалился. Но, ни слова не возразив, притворился спящим. Коно, раскрыв у его изголовья новогодний номер женского журнала, погрузилась в чтение. Думая о повязке, все еще лежав-

шей возле одеяла, Гэнкаку смотрел на Коно. И вдруг ему стало смешно.

— Коно-сан.

Коно, взглянув на Гэнкаку, обомлела. Откинувшись на подушки, Гэнкаку безудержно смеялся.

— В чем дело?

— Нет, ничего. Ничего смешного нет. — И, все еще смеясь, Гэнкаку потряс перед ней худой рукой. — Почему-то сейчас... мне стало смешно... Уложите меня.

Примерно через час Гэнкаку незаметно уснул. Этой ночью он видел страшный сон. Стоя в густой чаще, он через щель в сёдзи заглядывал в чью-то — видимо, чайную — комнату. Там, повернувшись лицом к нему, лежал совершенно голый ребенок. Хотя это был ребенок, личико его было покрыто морщинами. Гэнкаку хотел крикнуть и проснулся весь в поту.

Во флигеле никого не было. Было еще полутемно. Еще? Он посмотрел на часы возле постели — оказалось близко к полудню. На мгновение в душе у него посветлело. Но сейчас же, как обычно, он помрачнел. Все еще лежа навзничь, он стал считать вдохи и выдохи. Ему показалось, будто что-то его торопит. «Ну, вот теперь!» Гэнкаку тихонько подтянул к себе повязку, обернул ее вокруг головы и с силой дернул за концы обеими руками.

И в эту минуту к нему заглянул пухленький, толстенький Такэо.

— Ой, что дедушка делает...

И Такэо шумно со всех ног пустился в чайную комнату.

6

Через неделю Гэнкаку, окруженный домочадцами, скончался от туберкулеза легких. Поминальная служба была торжественной (только парализованная О-Тори не могла присутствовать). Собравшиеся в доме люди, выразив сочувствие Дзюкити и его жене, возжигали куренья перед его гробом, покрытым белым узорчатым атласом. Но большинство, выйдя за ворота, тут же забывали о нем. Правда, его старые приятели представляли собой исключение.

— Старик своей жизнью, наверно, был доволен. И содержанку молодую имел, и денежек накопил, — говорили все в один голос.

Конный катафалк, за которым следовал один экипаж, потянулся по пасмурной улице к месту кремации. В грязноватом экипаже сидели Дзюкити и его двоюродный брат — студент. Не обращая внимания на тряску экипажа и почти не разговаривая с Дзюкити, он погрузился в чтение тоненькой книжки. Это был английский перевод воспоминаний Либкнехта. Дзюкити, уставший после ночи бдения у гроба, то дремал, то, глядя на вновь проложенные улицы, вяло замечал про себя: «Этот район совсем изменился».

Наконец катафалк и экипаж по подтаявшим улицам добрались до места кремации. Несмотря на предварительный уговор по телефону, оказалось, что все печи первого разряда заняты, оставались только печи второго разряда. И Дзюкити, и всем остальным это было безразлично. Однако, думая не столько о тесте, сколько о том, чего ждет от него О-Судзу, Дзюкити через полукруглое окошко вступил в горячие переговоры со служащим.

— Не сумели спасти большого, хотелось бы хоть кремацию сделать по первому разряду, — пробовал он соврать.

Но эта ложь сверх ожидания возымела действие.

— Тогда сделаем так. Первый разряд уже заполнен, но за особую плату мы совершим кремацию по особому разряду.

Чувствуя неловкость момента, Дзюкити стал благодарить служащего, человека в латунных очках, с виду очень приятного.

— Не стоит благодарности.

Наложив печать на печь, они в том же грязноватом экипаже выехали за ворота. У кирпичного забора неожиданно оказалась О-Йоси, молча поклонившаяся им. Дзюкити, несколько смутившись, хотел приподнять шляпу, но их экипаж, накренившись набок, уже ехал по дороге, окаймленной засохшими тополями.

— Это она?

— Да... Видимо, пришла туда еще до нас.

— Мне кажется, там стояли одни нищие... Что же она теперь будет делать?

Зажигая папиросу, Дзюкити, как мог равнодушно, ответил:

— Ну... кто ее знает...

Его кузен молчал. Но воображение рисовало ему рыбацкий городок на морском берегу в провинции Кадзуса. И О-Йоси с сыном, которые должны будут жить в этом городе... И он опять с угрюмым видом принялся при свете солнца за воспоминания Либкнехта.

1927

ЗУБЧАТЫЕ КОЛЕСА

1. МАКИНТОШ

С чемоданом в руке я ехал в автомобиле из дачной местности на станцию Токайдоской железной дороги, чтобы принять участие в свадебном банкете одного моего приятеля. По обеим сторонам шоссе росли только сосны. Что мы успеем на поезд в Токио, было довольно сомнительно. В автомобиле вместе со мной ехал мой знакомый, владелец парикмахерской, кругленький толстяк с маленькой бородкой. Я время от времени с ним разговаривал и очень беспокоился, что опаздываю.

— Странная вещь, знаете ли! Говорят, в доме у господина N. даже днем появляется привидение!

— Даже днем? — из вежливости переспросил я, глядя вдаль на поросшие соснами горы, освещенные закатным зимним солнцем.

— И будто в хорошую погоду оно не показывается. Чаще всего в дождливые дни.

— А промокнуть оно не боится?

— Вы шутите... Впрочем, говорят, что это привидение носит макинтош.

Автомобиль засигналил и остановился. Я простился с владельцем парикмахерской и пошел на станцию. Как я и ожидал, поезд на Токио две-три минуты назад ушел. В зале ожидания сидел на скамье и рассеянно смотрел в окно какой-то человек в макинтоше. Я вспомнил только что услышанный рассказ о привидении. Однако лишь усмехнулся и пошел в кафе у станции — так или иначе, надо было ждать следующего поезда.

Это кафе, пожалуй, не заслуживало названия кафе. Я сел за столик в углу и заказал чашку какао. Клеенка на столе бы-

ла белая, с простым решетчатым узором из тонких голубых лилий по белому фону. Но углы облупились, и видна была грязноватая парусина. Я пил какао, пахнувшее клеем, и оглядывал пустое кафе. На пыльных стенах висели надписи: «Ояко-домбури», «Котлеты», «Яйца», «Омлет» и тому подобное.

В этих надписях чувствовалась близость деревни, подходящей вплотную к Токайдоской железной дороге. Деревни, где среди ячменных и капустных полей проходит электричка.

Я сел на следующий поезд, который пришел уже почти в сумерки. Я всегда езджу вторым классом. Но на этот раз по каким-то соображениям взял третий.

В вагоне было довольно тесно. Вокруг меня сидели ученицы начальной школы, по-видимому ехавшие на экскурсию в Осю или еще куда-то. Закуривая папиросу, я смотрел на эту группу школьниц. Все они были оживлены и болтали без умолку.

— Господин фотограф, «рау-сыйн»¹ — это что такое?

Господин фотограф, сидевший напротив меня, тоже, по-видимому, участник экскурсии, ответил что-то невразумительное. Но школьница лет четырнадцати продолжала его расспрашивать. Я вдруг заметил, что у нее зловонный насморк, и не мог удержаться от улыбки. Потом другая девочка, лет двенадцати, села к молодой учительнице на колени и, одной рукой обняв ее за шею, другой стала гладить ее щеки. При этом она разговаривала с подругами, а в паузах времени говорила учительнице:

— Какая вы красивая! Какие у вас красивые глаза!

Они производили на меня впечатление не школьниц, а скорее взрослых женщин. Если не считать того, что они ели яблоки вместе с кожурой, а конфеты держали прямо в пальцах, сняв с них обертку. Одна из девочек, постарше, проходя мимо меня и, видимо, наступив кому-то на ногу, произнесла «извините!». Она была взрослее других, но мне, напротив, показалась больше похожей на школьницу. Держа

папиросу в зубах, я невольно усмехнулся противоречивости своего восприятия.

Тем временем в вагоне зажгли свет, и поезд подошел к пригородной станции. Я вышел на холодную ветреную платформу, перешел мост и стал ожидать трамвая. Тут я случайно столкнулся с неким господином Т., служащим одной фирмы. В ожидании трамвая мы говорили о кризисе и других подобных вещах. Господин Т., конечно, был осведомлен лучше меня. Однако на его среднем пальце красовалось кольцо с бирюзой, что не очень вязалось с кризисом.

— Прекрасная у вас вещь!

— Это? Это кольцо мне буквально всучил товарищ, уехавший в Харбин. Ему тоже пришлось туго: нельзя иметь дело с кооперативами.

В трамвае, к счастью, было не так тесно, как в поезде. Мы сели рядом и продолжали беседовать о том о сем. Господин Т. этой весной вернулся в Токио из Парижа, где он служил. Поэтому разговор зашел о Париже, о госпоже Кайо, о блюдах из крабов, о некоем принце, совершающем заграничное путешествие.

— Во Франции дела не так плохи, как думают. Только эти французы искони не любят платить налоги, вот почему у них летит один кабинет за другим.

— Но ведь франк падает?

— Это по газетам. Нужно там пожить. Что пишут в газетах о Японии? Только про землетрясения или наводнения.

Тут вошел человек в макинтоше и сел напротив нас. Мне стало как-то не по себе и отчего-то захотелось передать господину Т. слышанный днем рассказ о привидении. Но господин Т., резко повернув влево ручку трости и подавшись вперед, прошептал мне:

— Видите ту женщину? В серой меховой накидке?

— С европейской прической?

— Да, со свертком в фуро́сики. Этим летом она была в Каруидзава. Элегантно одевалась.

Однако теперь, на чей угодно взгляд, она была одета бедно. Разговаривая с господином Т., я украдкой посматривал на эту женщину. В ее лице, особенно в складке между бровя-

¹ Искаженное love scene (англ.) — любовная сцена.

ми, было что-то ненормальное. К тому же из свертка вывалилась губка, похожая на леопарда.

— В Каруидзава она танцевала с молодым американцем. Настоящая «модан»... или как их там.

Когда я простился с господином Т., человека в макинтоше уже не было. Я сошел на нужной мне остановке и с чемоданом в руке направился в отель. По обеим сторонам улицы высились здания. Шагая по тротуару, я вдруг вспомнил сосновый лес. Мало того, в поле моего зрения я заметил нечто странное. Странное? Собственно, вот что: беспрерывно вертящиеся полупрозрачные зубчатые колеса. Это случилось со мной и раньше. Зубчатых колес обычно становилось все больше, они наполовину заполняли мое поле зрения, но длилось это недолго, вскоре они пропадали, а следом начиналась головная боль — всегда было одно и то же. Из-за этой галлюцинации (галлюцинация ли?) глазной врач неоднократно предписывал мне меньше курить. Но мне случалось видеть эти зубчатые колеса и до двадцати лет, когда я еще не привык к табаку. «Опять начинается!» — подумал я и, чтобы проверить зрительную способность левого глаза, закрыл рукой правый. В левом глазу действительно ничего не было. Но под веком правого глаза вертелись бесчисленные зубчатые колеса. Наблюдая, как постепенно исчезают здания справа от меня, я торопливо шел по улице.

Когда я вошел в вестибюль отеля, зубчатые колеса пропали. Но голова еще болела. Я сдал в гардероб пальто и шляпу и попросил отвести мне номер. Потом позвонил в редакцию журнала и переговорил насчет денег.

Свадебный банкет, по-видимому, начался уже давно. Я сел на углу стола и взял в руки нож и вилку. Пятьдесят с лишним человек, сидевших за белыми, поставленными «покоем» столами, все, начиная с новобрачных, разумеется, были веселы. Но у меня на душе от яркого электрического света становилось все тоскливей. Чтобы не поддаться тоске, я заговорил со своим соседом. Это был старик с белой львиной бородой; знаменитый синолог, имя которого я не раз слышал. Поэтому наш разговор сам собой перешел на сочинения китайских классиков.

— Цилинь — это единорог. А птица фынхуан — феникс...

Знаменитый синолог, по-видимому, слушал меня с интересом. Машинально продолжая свою речь, я начал постепенно чувствовать болезненную жажду разрушения и не только превратил Яо и Шуня в вымышленных персонажей, но и высказал мысль, что даже автор «Чунь-цю» жил гораздо позже — в Ханьскую эпоху. Тогда синолог обнаружил явное недовольство и, не глядя на меня, прервал мою речь, зарывав, почти как тигр:

— Если Яо и Шунь не существовали, значит, Конфуций лжет. А мудрец лгать не может.

Понятно, я замолчал. И опять потянулся ножом и вилкой к мясу на тарелке. Тут по краешку куска мяса медленно пополз червячок. Червяк вызвал в моей памяти английское слово worm¹. Это слово, несомненно, тоже означало легендарное животное, вроде единорога или феникса. Я положил нож и вилку и стал смотреть, как мне в бокал наливают шампанское.

После банкета я пошел по пустынному коридору, спеша забраться в свой номер. Коридор напоминал не столько отель, сколько тюрьму. К счастью, головная боль стала легче.

Ко мне в номер, разумеется, уже принесли чемодан и даже пальто и шляпу. Мне показалось, что пальто, висящее на стене, — это я сам, и я поспешно швырнул его в шкаф, стоявший в углу. Потом подошел к трюмо и внимательно посмотрел в зеркало. У меня на лице под кожей обозначились впадины черепа. Червяк вдруг отчетливо всплыл у меня в памяти.

Я открыл дверь, вышел в коридор и побрел, сам не зная куда. В углу, в стеклянной двери холла ярко отражался торшер с зеленым абажуром. Это вселило мне в душу некоторый покой. Я сел на стул и задумался. Но я не просидел и пяти минут. Опять макинтош, кем-то небрежно сброшенный, висел на спинке дивана сбоку от меня.

«А ведь теперь самые холода...»

С этой мыслью я встал и пошел по коридору обратно. В дежурной комнате, в углу коридора, не видно было ни од-

¹ Червяк (англ.).

ного боя, но голоса их до меня долетали. Я услышал, как в ответ на чьи-то слова было сказано по-английски «all right»¹. Я старался уловить истинный смысл разговора. «Олл райт»? «Олл райт»? Собственно, что именно «олл райт»?

В комнате у меня, разумеется, была полная тишина. Но открыть дверь и войти было почему-то жутковато. Немного поколебавшись, я решительно вошел в комнату. Потом, стараясь не смотреть в зеркало, сел за стол. Кресло было обито синей кожей, похожей на кожу ящерицы. Я раскрыл чемодан, достал бумагу и хотел продолжать работу над рассказом. Но перо, набрав чернил, все не двигалось с места. Больше того, когда оно наконец сдвинулось, то выводило все одни и те же слова: all right... all right... all right...

Вдруг раздался звонок — зазвонил телефон у постели. Я испуганно встал и поднес трубку к уху:

— Кто?

— Это я! Я...

Говорила дочь моей сестры.

— Что такое? Что случилось?

— Случилось несчастье. Поэтому... Случилось несчастье. Я сейчас звонила тете.

— Несчастье?

— Да, приезжайте сейчас же! Сейчас же!

На этом разговор оборвался. Я положил трубку и машинально нажал кнопку звонка. Но что рука у меня дрожит, я все же отчетливо сознавал. Бой все не являлся. Это меня не так раздражало, как мучило, и я вновь и вновь нажимал кнопку звонка. Нажимал, начиная понимать слова «олл райт», которым научила меня судьба...

В тот день муж сестры где-то в деревне недалеко от Токио бросился под колеса. Он был одет не по сезону — в макинтош. Я все еще в номере того же отеля пишу тот самый рассказ. Поздней ночью по коридору не проходит никто. Но иногда за дверью слышится хлопанье крыльев. Вероятно, кто-нибудь держит птиц.

23 марта 1927 г.

¹ Все в порядке, хорошо (англ.).

2. МЩЕНИЕ

Я проснулся в номере отеля в восемь часов утра. Но когда хотел встать с постели, обнаружил почему-то только одну туфлю. Такие явления в последние год-два всегда внушали мне тревогу, страх. Вдобавок это заставило меня вспомнить царя из греческой мифологии, обутого в одну сандалию. Я позвонил, позвал боя и попросил найти вторую туфлю. Бой с недоумевающим видом принялся обшаривать тесную комнату.

— Вот она, в ванной!

— Как она туда попала?

— Са-а¹. Может быть — крысы?

Когда бой ушел, я выпил чашку черного кофе и принялся за свой рассказ. Четырехугольное окно в стене из туфа выходило в занесенный снегом сад. Когда перо останавливалось, я каждый раз рассеянно смотрел на снег. Он лежал под кустами, на которых уже появились почки, грязный от городской копоти. Это отдавалось в моем сердце какой-то болью. Непрерывно курия, я, сам того не заметив, перестал водить пером и задумался о жене, о детях. И о муже сестры...

До самоубийства мужа сестры подозревали в поджоге. И этому никак нельзя было помочь. Незадолго до пожара он застраховал дом на сумму, вдвое превышающую настоящую стоимость. Притом над ним еще висел условный приговор за лжесвидетельство. Но сейчас меня мучило не столько его самоубийство, сколько то, что каждый раз, когда я ехал в Токио, я непременно видел пожар. То из окна поезда я наблюдал, как горит лес в горах, то из автомобиля (в тот раз я был с женой и детьми) глазам моим предстал пылающий район Токивабаси. Это случалось еще до того, как сгорел его дом, и не могло не вызвать у меня предчувствия пожара.

— Может быть, у нас в этом году произойдет пожар.

— Что за мрачные предсказания! Если случится пожар — это будет ужасно. И страховка ничтожная...

Мы не раз говорили об этом. Но мой дом не сгорел... Я постарался прогнать видения и хотел было опять взяться

¹ Са-а — междометие, выражающее раздумье при ответе (японск.).

за перо. Но перо не могло вывести как следует ни одной строки. В конце концов я встал из-за стола, бросился на постель и стал читать «Поликушку» Толстого. У героя этой повести сложный характер, в котором переплетены тщеславие, болезненные наклонности и честолюбие. И трагикомедия его жизни, если ее только слегка подправить, — это карикатура на мою жизнь. И оттого, что я чувствовал в его трагикомедии холодную усмешку судьбы, мне становилось жутко. Не прошло и часа, как я вскочил с постели и швырнул книгу в угол полутемной комнаты.

— Будь ты проклята!

Тут большая крыса выскочила из-под опущенной оконной занавески и побежала наискось по полу к ванной. Я бросился за ней, в один скачок очутился у ванной, распахнул дверь и осмотрел всю комнату. Но даже за самой ванной никакой крысы не оказалось. Мне сразу стало не по себе, я торопливо скинул туфли, надел ботинки и вышел в безлюдный коридор.

Здесь и сегодня все выглядело мрачно, как в тюрьме. Понурив голову, я ходил вверх и вниз по лестницам и как-то незаметно попал на кухню. Против ожиданий в кухне было светло. В плитках, расположенных в ряд по одной стороне, полыхало пламя. Проходя по кухне, я чувствовал, как повара в белых колпаках насмешливо смотрят мне вслед. И в то же время всем своим существом ощущал ад, в который давно попал. И с губ моих рвалась молитва: «О боже! Покарай меня, но не гневайся! Я погибаю».

Выйдя из отеля, я отправился к сестре, переступая через лужи растаявшего снега, в которых отражалась синева неба. На деревьях в парке, вдоль которого шла улица, ветви и листья были черными. Мало того, у всех у них были перед и зад, как у нас, у людей. Это тоже показалось мне неприятным, более того, страшным. Я вспомнил души, превращенные в деревья в Дантовом аду, и свернул на улицу, где проходила трамвайная линия и по обеим сторонам сплошь стояли здания. Но и здесь пройти спокойно хоть один квартал мне так и не удалось.

— Простите, что задерживаю вас...

Это был юноша лет двадцати двух в форменной куртке с

металлическими пуговицами. Я молча на него взглянул и заметил, что на носу у него слева родинка. Сняв фуражку, он робко обратился ко мне:

— Простите, вы господин А[кутагава]?..

— Да.

— Я так и подумал, поэтому...

— Вам что-нибудь угодно?

— Нет, я только хотел с вами познакомиться. Я один из читателей и поклонников сэнсэя...

Тут я приподнял шляпу и пошел дальше. Сэнсэй, А[кутагава]-сэнсэй — в последнее время это были самые неприятные для меня слова. Я был убежден, что совершил массу всяких преступлений. А они по-прежнему называли меня: «сэнсэй». Я невольно усматривал тут чье-то издевательство над собой. Чье-то? Но мой материализм неизбежно отвергал любую мистику. Несколько месяцев назад в журнальчике, издаваемом моими друзьями, я напечатал такие слова: «У меня нет никакой совести, даже совести художника: у меня есть только нервы...»

Сестра с тремя детьми нашла приют в бараке в глубине опустевшего участка. В этом бараке, оклеенном коричневой бумагой, было холодней, чем на улице. Мы разговаривали, грея руки над хибати. Отличаясь крепким сложением, муж сестры инстинктивно презирал меня, исхудавшего донельзя. Мало того, он открыто заявлял, что мои произведения безнравственны. Я всегда смотрел на него с насмешкой и ни разу откровенно с ним не поговорил. Но, беседуя с сестрой, я понемногу понял, что он, как и я, был низвергнут в ад. В самом деле, с ним однажды случилось, что в спальном вагоне он увидел привидение. Я закурил папиросу и старался говорить только о денежных вопросах.

— Что ж, раз так сложилось, придется все продавать!

— Да, пожалуй. Пишущая машинка сколько теперь стоит?

— И еще есть картины.

— Портрет N (муж сестры) тоже продашь? Ведь он...

Но, взглянув на портрет, висевший без рамы на стене барака, я почувствовал, что больше не могу легкомысленно шутить. Говорили, что его раздавило колесами, лицо превратилось в кусок мяса и уцелели только усы. Этот рассказ сам

по себе, конечно, жутковат. Однако на портрете, хотя в целом он был написан превосходно, усы почему-то едва виднелись. Я подумал, что это обман зрения, и стал всматриваться в портрет, отходя то в одну, то в другую сторону.

— Что ты так смотришь?

— Ничего... В этом портрете вокруг рта...

Сестра, полуобернувшись, ответила, словно ничего не замечая:

— Усы какие-то жидкие.

То, что я увидел, не было галлюцинацией. Но если это не галлюцинация, то... Я решил уйти, пока не доставил сестре хлопот с обедом.

— Не уходи!

— До завтра... Мне еще нужно в Аояма.

— А, туда! Опять плохо себя чувствуешь?

— Все глотаю лекарства, даже наркотики, просто ужас. Веронал, нейронал, торионал...

Через полчаса я вошел в одно здание и поднялся лифтом на третий этаж. Потом толкнул стеклянную дверь ресторана. Но дверь не поддавалась. Мало того, на ней висела табличка с надписью: «Выходной день». Я все больше расстраивался и, поглядев на груды яблок и бананов за стеклянной дверью, решил уйти и спустился вниз, к выходу. Навстречу мне с улицы, весело болтая, вошли двое, по-видимому служащие. Один из них, задев меня плечом, кажется, произнес: «Нервничает, а?»

Я остановился и стал ждать такси. Такси долго не показывалось, а те, которые наконец стали подъезжать, все были желтые. (Эти желтые такси постоянно вызывают у меня представление о несчастном случае.) Наконец я заметил такси благоприятного для меня зеленого цвета и отправился в психиатрическую лечебницу недалеко от кладбища Аояма.

«Нервничает». ...Tantalising¹ ...Tantalus² ...Inferno.

Тантал — это был я сам, глядевший на фрукты сквозь стеклянную дверь. Проклиная Дантов ад, опять всплывший у меня перед глазами, я пристально смотрел на спину шофера.

¹ Мучительно (англ.).

² Тантал (лат.).

ра. Опять стал чувствовать, что все ложь. Политика, промышленность, искусство, наука — все для меня в эти минуты было не чем иным, как цветной эмалью, прикрывающей ужас человеческой жизни. Я начинал задыхаться и опустил окно такси. Но боль в сердце не проходила.

Зеленое такси подъехало к храму. Там должен был находиться переулок, ведущий к психиатрической лечебнице. Но сегодня я почему-то никак не мог его найти. Я заставил шофера несколько раз проехать туда и обратно вдоль трамвайной линии, а потом, махнув рукой, отпустил его.

Наконец я нашел переулок и пошел по грязной дороге. Тут я вдруг сбился с пути и вышел к похоронному залу Аояма. Со времени погребения Нацумэ десять лет назад я не был даже у ворот этого здания. Десять лет назад у меня тоже не было счастья. Но по крайней мере был мир. Я заглянул через ворота во двор, усыпанный гравием, и, вспомнив платан в «Горной келье» Нацумэ, невольно почувствовал, что и в моей жизни чему-то пришел конец. Больше того, я невольно почувствовал, что именно после десяти лет привело меня к этой могиле.

Выйдя из психиатрической лечебницы, я опять сел в автомобиль и поехал обратно в отель. Но когда я вылезал из такси, у входа в отель какой-то человек в макинтоше ссорился с боем. С боем? Нет, это был не бой, а агент по найму такси в зеленом костюме. Все это показалось мне дурной приметой, я не решился войти в отель и поспешно пошел прочь.

Когда я вышел на Гиндза, уже надвигались сумерки. Магазины по обе стороны улицы, головокругительный поток людей — все это нагнало на меня еще большую тоску. В особенности неприятно было шагать как ни в чем не бывало, с таким видом, будто не знаешь о преступлениях этих людей. При сумеречном свете, мешавшемся со светом электричества, я шел все дальше и дальше к северу. В это время мой взгляд привлек книжный магазин с грудой журналов на прилавке. Я вошел и рассеянно посмотрел на многоэтажные полки. Потом взял в руки «Греческую мифологию». Эта книга в желтой обложке, по-видимому, была написана для де-

тей. Но строка, которую я случайно прочел, сразу сокрушила меня.

«Даже Зевс, самый великий из богов, не может справиться с духами мщения...»

Я вышел из лавки и зашагал в толпе. Зашагал, сутулясь, чувствуя за своей спиной непрестанно преследующих меня духов мщения...

27 марта 1927 г.

3. Ночь

На втором этаже книжного магазина «Марудзэн» я увидел на полке «Легенды» Стриндберга и просмотрел две-три страницы. Там говорилось примерно о том же, что пережил я сам. К тому же книга была в желтой обложке. Я поставил «Легенды» обратно на полку и вытащил первую попавшуюся под руку толстую книгу. Но и в этой книге на иллюстрациях были все те же ничем не отличающиеся от нас, людей, зубчатые колеса с носом и глазами. (Это были рисунки душевнобольных, собранные одним немцем.) Я ощутил, как при всей моей тоске во мне подымается дух протеста, и, словно отчаявшийся игрок, стал открывать книгу за книгой. Но почему-то в каждой книге, в тексте или в иллюстрациях, были скрыты иглы. В каждой книге? Даже взяв в руки много раз читанную «Мадам Бовари», я почувствовал, что в конце концов я сам просто мосье Бовари среднего класса...

На втором этаже магазина в это время, под вечер, кроме меня, кажется, никого не было. При электрическом свете я бродил между полками. Потом остановился перед полкой с надписью «Религия» и просмотрел книгу в зеленой обложке. В оглавлении, в названии какой-то главы, стояли слова: «Четыре страшных врага — сомнения, страх, высокомерие, чувственность». Едва я увидел эти слова, как во мне усилился дух протеста. То, что здесь именовалось врагами, было, по крайней мере для меня, просто другим названием восприимчивости и разума. Но что и дух традиций, и дух современности делают меня несчастным — этого я вынести не мог. Держав в руках книгу, я вдруг вспомнил слова: «Юноша из Шо-

улина», когда-то взятые мною в качестве литературного псевдонима. Этот юноша из рассказа Хань Фэйцзы, не выучившись ходить, как ходят в Ганьдане, забыл, как ходят в Шоулине, и ползком вернулся домой. Такой, какой я теперь, я в глазах всех, несомненно, «Юноша из Шоулина». Но что я взял себе этот псевдоним, еще когда не был низринут в ад... Я отошел от высокой полки и, стараясь отогнать мучившие меня мысли, перешел в комнату напротив, где была выставка плакатов. Но и там на одном плакате всадник, видимо святой Георгий, пронзал копьем крылатого дракона. Вдобавок у этого всадника из-под шлема виднелось искаженное лицо, напоминающее лицо одного моего врага. Я опять вспомнил Хань Фэйцзы — его рассказ об искусстве сдирать кожу с дракона и, не осмотрев выставки, спустился по широкой лестнице вниз, на улицу.

Уже совсем за вечерело. Проходя по Нихонбасидори, я продолжал думать о словах «убиение дракона». Такая надпись была и на моей тушечнице. Эту тушечницу прислал мне один молодой коммерсант. Он потерпел неудачу в целом ряде предприятий и в конце концов в прошлом году разорился. Я посмотрел на высокое небо и хотел подумать о том, как ничтожно мала Земля среди сияния бесчисленных звезд, — следовательно, как ничтожно мал я сам. Но небо, днем ясное, теперь было покрыто облаками. Я вдруг почувствовал, что кто-то затаил против меня враждебные замыслы, и нашел себе убежище в кафе неподалеку от линии трамвая.

Это же действительно было «убежище». Розовые стены кафе навеяли на меня мир, и я наконец спокойно сел за столик в самой глубине зала. К счастью, посетителей, кроме меня, было всего два-три. Прихлебывая маленькими глотками какао, я, как обычно, закурил. Дым от папиросы поднялся голубой струйкой к розовой стене. Эта нежная гармония цветов была мне приятна. Но немного погодя я заметил портрет Наполеона, висевший на стене слева, и мало-помалу опять почувствовал тревогу. Когда Наполеон был еще школьником, он записал в конце своей тетради по географии: «Святая Елена — маленький остров». Может быть, это была, как мы говорим, случайность. Но нет сомнения, что в нем самом она вызвала страх...

Глядя на портрет, я вспомнил свои произведения. Прежде всего всплыли в моей памяти афоризмы из «Слов пигмея» (в особенности — слова: «Человеческая жизнь — больше ад, чем сам ад»). Потом судьба героя «Мук ада» — художника Ёсихидэ. Потом... продолжая курить, я, чтобы избавиться от этих воспоминаний, обвел взглядом кафе. С того момента, как я нашел здесь убежище, не прошло и пяти минут. Но за этот короткий промежуток времени вид зала совершенно изменился. Особенно расстроило меня, что столы и стулья под красное дерево совсем не гармонировали с розовыми стенами. Я боялся, что опять погружусь в невидимые человеческому глазу страдания, и, бросив серебряную монетку, хотел быстро уйти из кафе.

— С вас двадцать сэнов...

Оказывается, я бросил не серебряную монету, а медную.

Я шел по улице, посрамленный, и вдруг вспомнил свой дом в далекой сосновой роще. Не дом моих приемных родителей в пригороде, а просто дом, снятый для моей семьи, главой которой был я. Десять лет назад я жил в таком доме. А потом, в силу сложившихся обстоятельств, бездумно поселился вместе с приемными родителями. И тотчас же превратился в раба, в деспота, в бессильного эгоиста...

В свой отель я вернулся уже в десять. Усталый от долгого хождения, я не нашел в себе сил пойти в номер и тут же опустился в кресло перед камином, в котором пылали толстые круглые поленья. Потом я вспомнил о задуманном романе. Героем этого романа должен быть народ во все периоды своей истории от Суйко до Мэйдзи, а состоять роман должен был из тридцати с лишним новелл, расположенных в хронологическом порядке. Глядя на разлетавшиеся искры, я вдруг вспомнил медную статую перед дворцом. На всаднике были шлем и латы, он твердо сидел верхом на коне, словно олицетворение духа верноподданности. А враги этого человека...

Ложь!

Я опять перенесся из далекого прошлого в близкое настоящее. Тут, к счастью, подошел один скульптор из числа моих старших друзей. Он был в своей неизменной бархатной куртке, с торчащей козлиной бородкой. Я встал с крес-

ла и пожал его протянутую руку. (Это не в моих привычках. Но это привычно для него, проводившего полжизни в Париже и Берлине). Рука у него почему-то была влажная, как кожа пресмыкающегося.

— Ты здесь остановился?

— Да...

— Для работы?

— Да, работаю.

Он внимательно поглядел на меня. В его глазах мне почудилось такое выражение, словно он что-то высматривает.

— Не зайдешь ли поболтать ко мне в номер? — заговорил я развязно. (Вести себя развязно, несмотря на робость, — одна из моих дурных привычек.) Тогда он, улыбаясь, спросил:

— А где он, твой номер?

Как хорошие друзья, плечо к плечу, мы прошли ко мне в номер мимо тихо беседовавших иностранцев. Войдя в комнату, он сел спиной к зеркалу. Потом заговорил о разных вещах. О разных? Главным образом о женщинах. Конечно, я был одним из тех, кто за совершенные преступления попал в ад. Поэтому фривольные разговоры все более наводили на меня тоску. На минуту я стал пуританином и принялся высмеивать женщин.

— Посмотри на губы С. Она ради поцелуев с кем попало...

Вдруг я замолчал и уставился на отражение собеседника в зеркале. Как раз под ухом у него был желтый пластырь.

— Ради поцелуев с кем попало?

— Да, мне кажется, она такая.

Он улыбнулся и кивнул. Я чувствовал, что он все время следит за мной, чтобы выведать мою тайну. Однако разговор все еще вертелся вокруг женщин. Мне не столько был противен этот собеседник, сколько стыдно было своей собственной слабости, и оттого становилось все тоскливее.

Когда он ушел, я бросился на постель и стал читать «Путь в темную ночь». Душевная борьба героя причиняла мне муки. Я почувствовал, каким был идиотом по сравнению с ним, и у меня вдруг полились слезы. И в то же время слезы незаметно успокоили меня. Впрочем, ненадолго. Мой правый глаз опять увидел прозрачные зубчатые колеса. Они

4. ЕЩЕ НЕ?...

вертелись, их становилось все больше. Боясь, как бы у меня снова не разболелась голова, я отложил книгу, принял таблетку в 0,8 веронала и постарался уснуть.

Мне приснился пруд. В нем плавали и ныряли мальчики и девочки. Я повернулся и пошел в сосновый лес. Тогда сзади кто-то окликнул меня: «Отец!» Оглянувшись, я заметил на берегу пруда жену. И меня охватило острое раскаяние.

— Отец, а полотенце?

— Полотенца не нужно. Смотри за детьми!

Я пошел дальше. Но дорога вдруг превратилась в перрон. Это, по-видимому, была провинциальная станция, вдоль перрона тянулась длинная живая изгородь. У изгороди стояли студент и пожилая женщина. Увидев меня, они подошли ко мне и заговорили:

— Большой пожар был!

— Я еле спасся.

Мне показалось, что эту пожилую женщину я уже где-то видел. Мало того, разговаривая с ней, я чувствовал приятное возбуждение. Тут поезд, выбрасывая дым, медленно подошел к перрону. Я один сел в поезд и зашагал по спальному вагону мимо свисавших по обеим сторонам белых занавесок. На одной полке лежала лицом к проходу обнаженная, похожая на мумию женщина. Это тоже был мой дух мщения — дочь одного сумасшедшего...

Проснувшись, я сразу же невольно вскочил с постели. В комнате по-прежнему ярко горело электричество. Но откуда-то слышалось хлопанье крыльев и писк мышей. Открыв дверь, я вышел в коридор и торопливо направился к камину. Я опустился в кресло и стал смотреть на колеблющееся неверное пламя. Тут подошел бой в белом костюме, чтобы подложить дров.

— Который час?

— Половина четвертого.

Однако в отдаленном углу холла какая-то американка все еще читала книгу. Даже издали видно было, что на ней зеленое платье. Я почувствовал себя спасенным и стал терпеливо ждать рассвета. Как старик, который много лет страдал и тихо ждет смерти...

28 марта 1927 г.

Я наконец закончил в номере отеля начатый рассказ и решил послать его в журнал. Впрочем, моего гонорара не хватило бы даже на недельное пребывание здесь. Но я был доволен, что закончил работу, и пошел в одну книжную лавку на Гиндза достать себе какое-нибудь успокаивающее душу лекарство.

На асфальте, залитом зимним солнцем, валялись обрывки бумаги. Эти обрывки, может быть из-за освещения, казались точь-в-точь лепестками роз. Я почувствовал в этом нечто доброжелательство и вошел в лавку. Там тоже было как-то необычно уютно. Только какая-то девочка в очках разговаривала с приказчиком, что не могло не обеспокоить меня. Но я вспомнил рассыпанные на улице бумажные лепестки роз и купил «Разговоры Анатоля Франса» и «Письма Мериме».

С двумя книгами под мышкой я вошел в кафе. И, усевшись за столик в самой глубине, стал ждать, пока мне принесут кофе. Против меня сидели, по-видимому, мать с сыном. Сын был удивительно похож на меня, только моложе. Они разговаривали, наклонившись друг к другу, как влюбленные. Рассматривая их, я заметил, что по крайней мере сын сознает, что он сексуально приятен матери. Для меня это, безусловно, был пример столь памятной мне силы влечения. И в то же время — пример тех стремлений, которые превращают реальный мир в ад. Однако... Я испугался, что опять погружусь в страдания, и, обрадовавшись, что как раз принесли кофе, раскрыл «Письма Мериме». В своих письмах, как и в рассказах, он блещет афоризмами. Его афоризмы малопомалу внушили мне железную твердость духа. (Быстро поддаваться влиянию — одна из моих слабостей.) Выпив чашку кофе, с настроением «будь что будет!» я поспешно вышел из кафе.

Идя по улице, я рассматривал витрины. В витрине магазина, где торговали рамами, был выставлен портрет Бетховена. Это был портрет настоящего гения, с откинутыми назад волосами. Глядя на этого Бетховена, я не мог отделаться от мысли, что в нем есть что-то смешное...

В это время со мной вдруг поравнялся старый товарищ, которого я не видел со школьных времен, преподаватель прикладной химии в университете. Он нес большой портфель; один глаз у него был воспаленный, налитый кровью.

— Что у тебя с глазом?

— Ничего особенного, конъюнктивит.

Я вдруг вспомнил, что лет пятнадцать назад каждый раз, когда я испытывал влечение, глаза у меня воспалялись, как у него. Но я ничего не сказал. Он хлопнул меня по плечу и заговорил о наших товарищах. Потом, продолжая говорить, повел меня в кафе.

— Давно не виделись: с тех пор как открывали памятник Сю Сюнсю! — закурив, заговорил он через разделявший нас мраморный столик.

— Да. Этот Сю Сюн...

Я почему-то не мог как следует выговорить имя Сю Сюнсуй, хотя произносилось оно по-японски; это меня встревожило. Но он не обратил на эту заминку никакого внимания и продолжал болтать о писателе К., о бульдоге, которого купил, об отравляющем газе люизите...

— Ты что-то совсем перестал писать. «Поминальник» я читал... Это автобиографично?

— Да, это автобиографично.

— В этой вещи есть что-то болезненное. Ты здоров?

— Все так же приходится глотать лекарства.

— У меня тоже последнее время бессонница.

— Тоже? Почему ты сказал «тоже»?

— А разве ты не говорил, что у тебя бессонница? Бессонница — опасная штука!

В его левом, налитом кровью глазу мелькнуло что-то похожее на улыбку. Еще не ответив, я почувствовал, что не могу правильно выговорить последний слог слова «бессонница».

«Для сына сумасшедшей это вполне естественно!»

Не прошло и десяти минут, как я опять шагал один по улице. Теперь клочки бумаги, валявшиеся на асфальте, минутами напоминали человеческие лица. Мимо прошла стриженная женщина. Издали она казалась красивой. Но когда она поравнялась со мной, оказалось, что лицо у нее морщи-

нистое и безобразное. Вдобавок она была, по-видимому, беременна. Я невольно отвел глаза и свернул на широкую боковую улицу. Немного погодя я почувствовал геморроидальные боли. Избавиться от них можно было только одним средством — поясной ванной.

«Поясная ванна»... Бетховен тоже делал себе поясные ванны.

Запах серы, употребляющейся при поясных ваннах, вдруг ударил мне в нос. Но, разумеется, никакой серы нигде на улице не было. Я старался идти твердо, опять вспоминая бумажные лепестки роз.

Час спустя я заперся в своем номере, сел за стол перед окном и приступил к новому рассказу. Перо летало по бумаге так быстро, что я сам удивлялся. Но через два-три часа оно остановилось, точно придавленное кем-то невидимым. Волей-неволей я встал из-за стола и принялся шагать по комнате. В эти минуты я был буквально одержим манией величия. В дикой радости мне казалось, что у меня нет ни родителей, ни жены, ни детей, а есть только жизнь, льющаяся из под моего пера.

Однако несколько минут спустя мне пришлось подойти к телефону. В трубке, сколько я ни отвечал, слышалось только одно и то же непонятное слово. Во всяком случае, оно, несомненно, звучало как «моул». Наконец я положил трубку и опять зашагал по комнате. Только слово «моул» как-то странно беспокоило меня.

— Моул...

«Mole» по-английски значит «крот». Эта ассоциация не доставила мне никакого удовольствия. Через две-три секунды я превратил mole в la mort. «Ля мор» — французское слово «смерть» — сразу вселило в меня тревогу. Смерть гналась и за мной, как за мужем сестры. Но в самой своей тревоге я чувствовал что-то смешное. И даже стал улыбаться. Это чувство смешного — откуда оно бралось? Я сам не понимал. Я подошел к зеркалу, чего давно не делал, и посмотрел в упор на свое отражение. Оно, понятно, тоже улыбалось. Рассматривая свое отражение, я вспомнил о двойнике. Двойник — немецкий Doppelgänger — к счастью, мне являлся. Но жена господина К., ныне американского киноактера, видела

моего двойника в театре. (Я помню, как я смутился, когда она сказала мне: «Последний раз вы мне даже не поклонились...») Затем некий одноногий переводчик, теперь покойный, видел моего двойника в табачной лавке на Гиндза. Может быть, смерть придет к моему двойнику раньше, чем ко мне? Если даже она уже стоит за мной... Я повернулся к зеркалу спиной и вернулся к столу.

Четырехугольное окно в стене из туфа выходило на высохший газон и пруд. Глядя в сад, я вспомнил о записных книжках и незаконченных пьесах, сгоревших в далеком сосновом лесу. Потом опять взялся за перо и начал новый рассказ.

29 марта 1927 г.

5. КРАСНЫЙ СВЕТ

Свет солнца стал меня мучить. В самом деле, я работал, как крот, даже днем при электрическом свете, опустив занавески на окнах. Я усердно писал рассказ, а устав от работы, раскрывал историю английской литературы Тэна и просматривал биографии поэтов. Все они были несчастны. Даже гиганты елисаветинского двора, даже выдающийся ученый Бен Джонсон дошел до такого нервного истощения, что видел, как на большом пальце его ноги начинается сражение римлян с карфагенянами. Я не мог удержаться от жестокого злорадства.

Однажды вечером, когда дул сильный восточный ветер (для меня это хорошая примета), я вышел на улицу, решив навестить одного старика. Он служил посыльным в каком-то библейском обществе и там на чердаке в одиночестве предавался молитвам и чтению. Мы беседовали под висевшим на стене распятием, грея руки над хибати. Отчего моя мать сошла с ума? Отчего дела моего отца окончились крахом? И отчего я наказан? Он, знавший все эти тайны, долго беседовал со мной с удивительно торжественной улыбкой на губах. Больше того — иногда он в кратких словах рисовал карикатуры на человеческую жизнь. Этого отшельника на чер-

даке я не мог не уважать. Но в разговоре с ним я открыл, что и им движет сила влечения.

— Дочь этого садовника и хорошенькая и добрая — она всегда ко мне ласкова.

— Сколько ей лет?

— В этом году исполнилось восемнадцать.

Может быть, он считал это отцовской любовью. Но я не мог не заметить в его глазах выражения страсти. На желтоватой коже яблока, которым он меня угостил, обозначилась фигура единорога. (Я не раз обнаруживал мифологических животных в рисунке разреза дерева или в трещинах на кофейной чашке.) Единорог — это было чудище. Я вспомнил, как один враждебный мне критик назвал меня «чудищем девятьсот десятых годов», и почувствовал, что и этот чердак не является для меня островком безопасности.

— Ну, как вы в последнее время?

— Все еще нервы не в порядке.

— Тут лекарства не помогут. Нет у вас охоты стать верующим?

— Если б я мог...

— Ничего трудного нет. Если только поверить в Бога, поверить в сына Божьего — Христа, поверить в чудеса, сотворенные Христом...

— В дьявола я поверить могу...

— Почему же вы не верите в Бога? Если верите в тень, почему не можете поверить в свет?

— Но бывает тьма без света.

— Тьма без света — что это такое?

Мне оставалось только молчать. Он, как и я, блуждал во тьме. Но он верил, что над тьмой есть свет. Наши теории расходились только в этом одном пункте. Однако это, по крайней мере для меня, было непроходимой пропастью.

— Свет, безусловно, существует. И доказательством тому служат чудеса. Чудеса — они иногда случаются и теперь.

— Эти чудеса творит дьявол.

— Почему вы опять говорите о дьяволе?

Я почувствовал искушение рассказать ему, что мне пришлось пережить за последние год-два. Но я не мог подавить

в себе опасений, что через него это станет известно жене и я, как и моя мать, попаду в сумасшедший дом.

— Что это у вас там?

Крепкий не по годам старик обернулся к книжной полке, и на лице его появилось какое-то пастырское выражение.

— Собрание сочинений Достоевского. «Преступление и наказание» вы читали?

Разумеется, я любил Достоевского еще десять лет назад. И под впечатлением случайно (?) оброненных хозяином слов «Преступление и наказание» я взял у него эту книгу и пошел к себе в отель. Залитые электрическим светом многолюдные улицы по-прежнему были мне неприятны. Встречаться со знакомыми было совершенно невыносимо. Я шел, выбирая, словно вор, улицы потемнее.

Но немного спустя у меня начались боли в желудке. Помочь мог только стакан виски. Я заметил бар, толкнул дверь и хотел было войти. Но там в тесноте в облаках дыма толпились какие-то люди, не то литераторы, не то художники, и пили водку. Вдобавок в самом центре какая-то женщина с зачесанными за уши волосами с увлечением играла на мандолине.

Я сразу смутился и, не входя, повернул обратно. Тут я заметил, что моя тень движется из стороны в сторону. А освещал меня — и это было как-то жутко — красный свет. Я остановился. Но моя тень все еще шевелилась. Я боязливо обернулся и наконец заметил цветной фонарь, висевший над дверью бара. Фонарь тихо покачивался от сильного ветра.

После этого я зашел в погребок. Подошел к стойке и заказал виски.

— Виски? Есть только «Black and white»¹.

Я влил виски в содовую и молча стал прихлебывать. Рядом со мной тихо разговаривали двое мужчин лет около тридцати, похожие на журналистов. Они беседовали по-французски. Стоя к ним спиной, я всем существом чувствовал на себе их взгляды. Они действовали на меня, как электрические волны. Эти люди, наверно, знали мое имя, они, кажется, говорили обо мне.

¹ «Черное и белое» — марка виски (англ.).

— Bien... très mauvais... pourquoi?

— Pourquoi? Le diable est mort!

— Oui, oui... d'enfer...¹

Я бросил серебряную монету (мою последнюю) и бежал из подвала. Улицы, по которым носился ночной ветер, успокоили мои нервы, боль в желудке поутихла. Я вспомнил Раскольникова и почувствовал желание исповедаться. Но это, несомненно, окончилось бы трагедией не только для меня и даже не только для моей семьи. Кроме того, я сомневался в искренности самого этого желания. Если бы только мои нервы стали здоровыми, как у всякого нормального человека!.. Но для этого я должен был куда-нибудь уехать. В Мадрид, в Рио-де-Жанейро, в Самарканд...

В это время небольшая белая вывеска над дверью одной лавки вдруг встревожила меня. На ней была изображена торговая марка в виде шины с крыльями. Я сейчас же вспомнил древнего грека, доверившегося искусственным крыльям. Он поднялся на воздух, его крылья расплавились на солнце, и в конце концов он упал в море и утонул. В Мадрид, в Рио-де-Жанейро, в Самарканд... Я невольно посмеялся над своими мечтами. И в то же время невольно вспомнил Ореста, преследуемого духами мщения.

Я шел по темной улице вдоль канала. И вспомнил дом своих приемных родителей в пригороде. Несомненно, моя приемная мать живет в ожидании моего возвращения. Пожалуй, мои дети тоже... Но я не мог не бояться некоей силы, которая свяжет меня, как только я вернусь. На волнующейся воде канала у пристани стояла барка. Из другой барки пробивался слабый свет. Там, наверно, жили какие-то люди, семья. Тоже — любя друг друга и ненавидя... Но я еще раз вызвал в себе воинственный дух и, чувствуя легкое опьянение от виски, вернулся к себе в отель.

Я опять уселся за стол и взялся за неоконченные «Письма Мериме». И опять они влили в меня какую-то жизненную силу. Но, узнав, что к старости Мериме сделался протестан-

¹ — Хорошо... очень плохо... почему?

— Почему? Дьявол умер!

— Да, да... из ада... (франц.).

том, я вдруг представил себе его лицо, скрытое под маской. Он тоже был одним из тех, кто, как и мы, бродит во тьме. Во тьме? «Путь в темную ночь» стал превращаться для меня в страшную книгу. Чтобы разогнать тоску, я принялся за «Разговоры Анатоля Франса». Но и этот современный добрый пастырь нес свой крест...

Через час вошел бой и подал мне пачку писем. Одно из них содержало предложение лейпцигской книжной фирмы написать статью на тему: «Современная японская женщина». Почему они заказывали такую статью именно мне? Мало того, в этом написанном по-английски письме имелся постскриптум от руки: «Мы удовлетворимся портретом женщины, сделанным, как в японских рисунках, черным и белым». Я вспомнил название виски «Black and white» — и разорвал письмо на мелкие клочки. Потом взял первый попавшийся под руку конверт, вскрыл его и просмотрел письмо на желтой почтовой бумаге. Писал незнакомый юноша. Но не прочел я и двух-трех строк, как от слов «Ваши «Муки ада» пришел в волнение. Третье письмо было от племянника. Я вздохнул свободно и стал читать о домашних делах. Но даже здесь конец письма меня поразило.

«Посылаю переиздание сборника стихов «Красный свет».

Красный свет! Я почувствовал, будто кто-то насмеяется надо мной, и решил спастись бегством из комнаты. В коридоре не было ни души. Держась рукой за стену, я добрался до холла. Сел в кресло и решил, как бы там ни было, выкурить папиросу. Почему-то у меня оказались папиросы «Airship»¹. (С тех пор как я поселился в этом отеле, я намеревался курить только «Star»².) Искусственные крылья опять всплыли у меня перед глазами. Я позвал боя и попросил две коробки «Star». Но, если верить бою, именно сорт «Star», к моему сожалению, был весь распродан.

— «Airship» — извольте...

Я покачал головой и обвел взглядом просторный холл. Поодаль, вокруг стола, сидели и беседовали несколько ино-

странцев. Среди них женщина в красном костюме, тихо разговаривая, иногда как будто поглядывала на меня.

— Миссис Таунзхед, — шепнул мне кто-то невидимый.

Имена вроде миссис Таунзхед, конечно, были мне незнакомы. Даже если так звали ту женщину... Я поднялся и, боясь сойти с ума, пошел к себе в номер.

Вернувшись в номер, я собирался сразу же позвонить в психиатрическую лечебницу. Но попасть туда для меня было бы все равно что умереть. После мучительных колебаний я, чтобы рассеять страх, начал читать «Преступление и наказание». Но страница, на которой раскрылась книга, была из «Братьев Карамазовых». Подумав, что по ошибке взял не ту книгу, я взглянул на обложку. «Преступление и наказание» — да, книга называлась: «Преступление и наказание». В ошибке брошюровщика и в том, что я открыл именно эти вверстанные по ошибке страницы, я увидел перст судьбы и волей-неволей стал их читать. Но не прочитал и одной страницы, как почувствовал, что дрожу всем телом. Это была глава об Иване, которого мучит черт... Ивана, Стриндберга, Мопассана или меня самого в этой комнате...

Теперь спасти меня мог только сон. Но снотворные порошки кончились все до единого. Мучиться и дальше без сна было совершенно невыносимо. С мужеством отчаяния я все-таки велел принести кофе и, как обезумевший, схватил перо. Две страницы, пять, семь, десять... рукопись росла на глазах. Я населил мир моего рассказа сверхъестественными животными. Больше того, в одном из этих животных я нарисовал самого себя. Однако усталость мало-помалу затуманивала мою голову. В конце концов я встал из-за стола и лег навзничь на кровать. Наконец я, кажется, заснул и спал минут сорок-пятьдесят. Но услышал, как кто-то шепчет мне на ухо:

— Le diable est mort...

Сразу проснувшись, я вскочил.

За окном начинался холодный рассвет. Я стал прямо перед дверью и оглядел пустую комнату. И вот на оконном стекле на узорах осевшего инея появился крошечный пейзаж. За пожелтевшим сосновым лесом лежало море. Я боязливо подошел к окну и увидел, что на самом деле этот пейзаж образован высохшим газоном и прудом в саду. Но моя

¹ «Дирижабль» (англ.).

² «Звезда» (англ.).

галлюцинация пробудила во мне что-то похожее на тоску по родному дому.

Как только настало девять, я позвонил в одну редакцию и, уладив денежные дела, решил вернуться домой. Решил, заговывая книги и рукописи в лежавший на столе чемодан...

30 марта 1927 г.

6. АЭРОПЛАН

Я ехал в автомобиле со станции Токайдоской железной дороги в дачную местность. Шофер почему-то в такой холод был в поношенном макинтоше. От этого совпадения мне стало не по себе, и, чтобы не видеть шофера, я решил смотреть в окно. Тут поодаль среди низкорослых сосен — вероятно, на старом шоссе — я заметил похоронную процессию. Фонарей, затянутых белым, как будто не было. Но золотые и серебряные искусственные лотосы тихо покачивались впереди и позади катафалка...

Когда наконец я вернулся домой, то благодаря жене, детям и снотворным средствам два-три дня прожил довольно спокойно. Из моего мезонина вдаль за сосновым лесом чуть виднелось море. Здесь, в мезонине, сидя за своим столом, я занимался по утрам, слушал воркованье голубей. Кроме голубей и ворон, на веранду иногда залетали воробьи. Это тоже было мне приятно. «Вхожу в чертог радостных птиц», — каждый раз при виде них я вспоминал эти слова.

Однажды в теплый пасмурный день я пошел в мелочную лавку купить чернил. Но в лавке оказались чернила только цвета сепии. Чернила цвета сепии всегда расстраивают меня больше всяких других. Делать было нечего, и я, выйдя из лавки, побрел один по безлюдной улице. Тут навстречу мне, выпятив грудь, прошел близорукий иностранец лет сорока.

Это был швед, живший по соседству и страдавший манией преследования. И звали его Стриндберг. Когда он проходил мимо, мне показалось, будто я физически ощущаю это.

Улица состояла всего из двух-трех кварталов. Но на протяжении этих двух-трех кварталов ровно наполовину белая, наполовину черная собака пробежала мимо меня четыре

раза. Сворачивая в переулок, я вспомнил виски «Black and white». И вдобавок вспомнил, что сейчас на Стриндберге был черный с белым галстук. Я никак не мог допустить, что это случайность. Если же это не случайность, то... Мне показалось, будто по улице идет одна моя голова, и я на минутку остановился. На обочине дороги за проволочной оградой валялась стеклянная миска с радужным отливом. На дне миски проступал узор, напоминавший крылья. С веток сосны слетела стайка воробьев. Но, подскочив к миске, они, точно сговорившись, все до единого разом упорхнули ввысь.

Я пошел к родителям жены и сел в кресло, стоявшее у ступенек в сад. В углу сада за проволочной сеткой медленно расхаживали белые куры из породы леггорн. А потом у моих ног улеглась черная собака. Стараясь разрешить никому не понятный вопрос, я все-таки внешне вполне спокойно беседовал с матерью жены и ее братом.

— Тихо как здесь.

— Это по сравнению с Токио.

— А что, разве и тут бывают неприятности?

— Да ведь свет-то все тот же! — сказала теща и засмеялась.

В самом деле, и это дачное место было на том же самом свете. Я хорошо знал, сколько преступлений и трагедий случилось здесь всего за какой-нибудь год. Врач, который намеревался медленно отравить пациента, старуха, которая подожгла дом приемного сына и его жены, адвокат, который пытался завладеть имуществом своей младшей сестры... Видеть дома этих людей для меня было все равно что в человеческой жизни видеть ад.

— У нас в городке есть один сумасшедший.

— Наверно, господин Х. Он не сумасшедший, он слабоумный.

— Это есть такая штука — dementia praecox. Каждый раз, как я его вижу, мне невыносимо жутко. Недавно он почему-то отвешивал поклоны перед статуей Бато-Кандззон.

— Жутко? Надо быть крепче.

— Братец крепче, чем я, и все же...

Брат жены, давно не бритый, приподнявшись на постели, как всегда, застенчиво присоединился к нашему разговору.

— И в силе есть своя слабость.

— Ладно, ладно, будет тебе, — сказала теща.

Я посмотрел на него и невольно горько улыбнулся. А брат продолжал говорить с увлечением, слегка улыбаясь и устремив взгляд через изгородь вдаль на сосновый лес. Он был молод, только что оправился от болезни и казался мне иногда чистым духом, освободившимся от своего тела.

— Думаешь, он ушел от людей, а оказывается, он весь во власти человеческих страстей.

— Думаешь, добрый человек, а он, оказывается, злой.

— Нет, есть и большие противоположности, чем добро и зло...

— Ну, например, во взрослом можно обнаружить ребенка.

— Нет, не то! Я не могу ясно выразить, но... что-нибудь вроде двух полюсов электричества. Что-то, что соединяет противоположности.

Тут нас испугал сильный шум аэроплана. Я невольно посмотрел вверх и увидел аэроплан, который, чуть не задев верхушки сосен, взмыл в воздух. Это был редко встречающийся моноплан с крыльями, выкрашенными в желтый цвет. Куры, вспугнутые шумом, разбежались в разные стороны. Особенно струсила собака; она залаяла и, поджав хвост, забила под балкон.

— Аэроплан не упадет?

— Не беспокойтесь. Братец знает, что такое «летная болезнь»?

Закуривая папиросу, я, вместо того чтобы ответить «нет», просто покачал головой.

— Люди, постоянно летающие на аэропланах, дышат воздухом высот и поэтому постепенно перестают выносить наш земной воздух...

Выйдя из дома тещи, я зашагал через неподвижно застывший сосновый лес, мало-помалу мне становилось все тоскливей. Почему этот аэроплан пролетел не где-нибудь, а именно над моей головой? И почему в том отеле продавали только папиросы «Airship»? Терзаясь разными вопросами, я пошел по самой безлюдной дороге.

Над тусклым морем за низкими дюнами нависла серая

мгла. А на песчаном холме высились столбы для качелей, но качелей на них не было. Глядя на эти столбы, я вдруг вспомнил виселицу. И действительно, на перекладине сидело несколько ворон. Хотя они видели меня, но вовсе не собирались улетать. Мало того, ворона, сидевшая посредине, подняла свой длинный клюв и каркнула четыре раза.

Идя вдоль песчаной насыпи, поросшей сухой травой, я решил свернуть на тропинку, по обеим сторонам которой стояли дачи. Слева от тропинки среди высоких сосен должен был белеть деревянный европейский дом с мезонином. (Мой близкий друг назвал этот дом «домом весны».) Но когда я поравнялся с этим местом, на бетонном фундаменте стояла только одна ванна. «Здесь был пожар!» — подумал я сразу и зашагал дальше, стараясь не смотреть в ту сторону. Тут навстречу мне показался мужчина на велосипеде. На нем была коричневая кепка, он всем телом налег на руль, как-то странно уставив взгляд перед собой. Его лицо вдруг показалось мне лицом мужа моей сестры, и я свернул на боковую тропинку, чтобы не попасться ему на глаза. Но на самой середине этой тропинки валялся брюшком вверх полуразжившийся дохлый крот.

Что-то преследовало меня, и это на каждом шагу усиливало мою тревогу. А тут поле моего зрения одно за другим стали заслонять полупрозрачные зубчатые колеса. В страхе, что наступила моя последняя минута, я шел, стараясь держать голову прямо. Зубчатых колес становилось все больше, они вертелись все быстрее. В то же время справа сосны с застывшими переплетенными ветвями стали принимать такой вид, как будто я смотрел на них сквозь мелко граненное стекло. Я чувствовал, что сердце у меня бьется все сильнее, и много раз пытался остановиться на краю дороги. Но, словно подталкиваемый кем-то, никак не мог этого сделать.

Через полчаса я лежал у себя в мезонине, крепко закрыв глаза, с жестокой головной болью. И вот под правым веком появилось крыло, покрытое, точно чешуей, серебряными перьями. Оно ясно отражалось у меня на сетчатке. Я открыл глаза, посмотрел на потолок и, разумеется, убедившись, что на потолке ничего похожего нет, опять закрыл глаза. Но снова серебряное крыло отчетливо обозначилось во тьме.

Я вдруг вспомнил, что на радиаторе автомобиля, на котором я недавно ехал, тоже были изображены крылья...

Тут кто-то торопливо взбежал по лестнице и сейчас же опять побежал вниз. Я понял, что это моя жена, испуганно вскочил и бросился в полутемную комнату под лестницей. Жена сидела, низко опустив голову, с трудом переводя дыхание, плечи ее вздрагивали.

— Что такое?

— Ничего.

Жена наконец подняла лицо и, с трудом выдавив улыбку, сказала:

— В общем, право, ничего, только мне почему-то показалось, что вы вот-вот умрете...

Это было самое страшное, что мне приходилось переживать за всю мою жизнь. Писать дальше у меня нет сил. Жить в таком душевном состоянии — невыразимая мука! Неужели не найдется никого, кто бы потихоньку задушил меня, пока я сплю?

7 апреля 1927 г.

(Опубликовано посмертно.)

Я безумно устал. Затекли плечи, ныл затылок, да еще и бессонница разыгралась. А в тех редких случаях, когда мне удавалось заснуть, я часто видел сны. Кто-то когда-то сказал, что «цветные сны — свидетельство нездоровья». Сны же, которые я видел, может быть, этому способствовала профессия художника, как правило, были цветными. Я вместе с товарищем вошел в стеклянную дверь какого-то кафе на окраине. Сразу за пыльным стеклом — железнодорожный переезд с ивой, пустившей молодые побеги. Мы сели за столик в углу и начали есть что-то из деревянной чашки.

Мы съели уже почти все, но то, что осталось на дне чашки, оказалось змеиной головой величиной с дюйм...

Этот сон тоже был явно цветным.

Мой дом находился в одном из предместий Токио, в нем было очень холодно. Когда мне становилось тоскливо, я поднимался на дамбу позади дома и смотрел на рельсы, по которым ходила электричка. Рельсы, их было много, сверкали на щебне, покрытом мазутом и ржавчиной. А на противоположной дамбе стоял, опустив ветви, кажется, дуб. Это был пейзаж, который с полным правом можно назвать унылым. Но он соответствовал моему настроению больше, чем Гиндза или Асакуса. «Клин клином вышибают» — так думал я иногда, сидя на корточках на дамбе и дымя сигаретой.

Нельзя сказать, что я не имел приятеля. Это был молодой художник, писавший в европейской манере, сын богача. Видя, что я совсем утратил бодрость, он много раз предлагал мне отправиться путешествовать. «Денежный вопрос пусть тебя не беспокоит», — любезно говорил он. Но я сам знал лучше, чем кто бы то ни было, что, даже путешествуя,

все равно от тоски не избавлюсь. В самом деле, года три-четыре назад на меня напала тоска, и я, чтобы хоть на время отвлечься, решил отправиться в далекий Нагасаки. Приехал я в Нагасаки, но ни одна гостиница мне не понравилась. Мало того, даже в спокойной гостинице, которую я кое-как нашел, всю ночь летала тьма ночных бабочек. Я совсем извелся, не прожил там и недели и собрался обратно в Токио...

Однажды днем, когда на земле еще лежала изморозь, я пошел получить денежный перевод и, возвращаясь, почувствовал желание работать. Причина была, несомненно, в том, что, получив деньги, я мог нанять натурщицу. Но было и еще что-то, отчего вспыхнуло желание работать. Я решил тут же, не заходя домой, пойти к М. и нанять натурщицу, чтобы завершить картину. Такое решение всегда приободряло меня, даже когда одолевала тоска. «Только бы закончить эту картину, а там можно и умирать» — подобная мысль у меня действительно была.

Лицо натурщицы, присланной из дома М., красотой не отличалось, зато тело, а главное грудь — были, несомненно, прекрасны. И волосы, уложенные в пучок, — несомненно, пушисты. Я остался доволен и, посадив натурщицу на плетеный стул, решил сразу же приступить к работе. Обнаженная женщина вместо букета цветов взяла в руки измятую английскую газету, сжала колени и, слегка повернув голову, приняла позу. Но стоило мне подойти к мольберту, как я снова почувствовал усталость. В моей комнате, обращенной на север, стояла лишь одна жаровня. Я раздул огонь до того, что обгорели даже края жаровни. Но комната еще не нагрелась достаточно. Женщина сидела на плетеном стуле, и время от времени бедра ее рефлекторно вздрагивали. Работая кистью, я каждый раз испытывал раздражение. Не столько против женщины, сколько против самого себя, — ведь я даже не смог купить настоящую печку. И в то же время испытывал недовольство собственной мелочной раздражительностью.

— Где твой дом?

— Мой дом? Мой дом на Сансаки-мати в Янака.

— Ты живешь одна?

— Нет, мы снимаем жилье вдвоем с подругой.

Продолжая разговаривать, я медленно наносил краску на старый холст с натюрмортом. Женщина продолжала сидеть, отвернувшись, лицо ее ничего не выражало. Не только голос, но и сами слова женщины казались монотонными. Это навело меня даже на мысль, что такова эта женщина от рождения. Я почувствовал облегчение и с тех пор оставлял ее позировать сверх установленного времени. Но в какой-то момент фигура женщины, у которой глаза и те были неподвижными, начинала действовать на меня угнетающе.

Картина моя подвигалась плохо. Закончив работу, намеренную на день, я обычно валился на розовый ковер, массируя шею и голову и рассеянно оглядывал комнату. Кроме мольберта, в ней стоял лишь плетеный, из тростника, стул. Иногда стул, возможно из-за перемены влажности воздуха, слегка поскрипывал, даже если на нем никто не сидел. В такие минуты мне делалось жутко, и я тут же отправлялся куда-нибудь погулять. Хотя я и говорю, «отправлялся погулять», это означало лишь, что я выходил на деревенскую улицу, параллельную дамбе позади моего дома, где было множество храмов.

И все же ежедневно, не зная отдыха, я обращался к мольберту. Натурщица тоже приходила ежедневно. Через некоторое время тело женщины стало действовать на меня еще более угнетающе, чем прежде. Я просто завидовал ее здоровью. Глядя без всякого выражения в угол комнаты, она неизменно лежала на розовом ковре.

«Эта женщина похожа скорее на животное, чем на человека», — думал я иногда, водя кистью по холсту.

Однажды теплым ветреным днем я, сидя у мольберта, старательно работал кистью. Натурщица была, кажется, мрачнее обычного. Мне вдруг почудилась в теле этой женщины дикая сила. Больше того, почудился какой-то особый запах, исходящий у нее из-под мышек. Он напоминал запах кожи негра.

— Ты где родилась?

— В префектуре Гумма, в городе **.

— В городе **? Там ведь у вас много ткацких фабрик.

— Да.

— А ты ткачихой не была?

— Была в детстве.

Во время этого разговора я вдруг заметил, что у женщины набухли груди. Они напоминали теперь два кочана капусты. Я, разумеется, как обычно, продолжал работать кистью. Но меня странно тянуло к грудям женщины, к их отталкивающей прелести.

В ту ночь ветер не прекращался. Я внезапно проснулся и пошел в уборную. Но окончательно пробудился, только когда отодвинул сёдзи. Невольно я остановился и стал осматривать комнату, особенно розовый ковер под ногами. Потом погладил его босой ногой. Неожиданное ощущение, будто трогаешь мех. «Какого, интересно, цвета ковер с изнанки?» Это тоже почему-то меня беспокоило. Но посмотреть я как-то не решался. Возвратившись из уборной, я быстро нырнул в постель.

На следующий день, закончив работу, я почувствовал, что устал больше, чем обычно. И пребывание в комнате меня ничуть не успокаивало. Поэтому я решил пойти на дамбу за домом. Уже темнело. Но, как ни странно, деревья и электрические столбы все еще ясно вырисовывались на фоне неба. Идя по дамбе, я все время испытывал искушение громко крикнуть. Но, естественно, надо было подавить это искушение. Мне почудилось, что я двигаюсь лишь мысленно, и я спустился на одну из деревенских улиц, идущих параллельно дамбе.

На этой улице по-прежнему почти не было прохожих. Только к одному из электрических столбов была привязана корейская корова. Вытянув шею, корова по-женски смотрела на меня затуманившимися глазами. У нее был такой вид, будто она ждала, что я подойду к ней. Я почувствовал, как внутри у меня медленно поднимается протест против этой стоявшей с таким видом корейской коровы. «Когда ее поведут на бойню, у нее будет точно такой же взгляд». Это чувство вселило в меня тревогу. Постепенно мной овладевала тоска, и я, чтобы не пройти мимо коровы, свернул в переулок.

Дня через два или три я стоял у мольберта и работал. Натурщица, лежавшая на розовом ковре, даже бровью не шевелила. Прошло полмесяца, а работа ничуть не подвигалась. Ни я, ни натурщица не открывали друг другу того, что было у нас на сердце. Скорее наоборот, я все острее ощущал страх перед этой женщиной. Даже во время перерывов она ни разу не надела сорочки. К тому же на все мои вопросы отвечала бесконечно печально. Но сегодня, продолжая лежать на ковре, повернувшись ко мне спиной (я заметил, что на правом плече у нее родинка), она вытянула ноги и почему-то заговорила со мной:

— Сэнсэй, у дорожки, которая ведет к вашему дому, горкой насыпаны небольшие камни, правда?

— Угу...

— Это могила последа?

— Могила последа?

— Ну да, камни, чтобы знать, где похоронен послед.

— Почему ты так решила?

— Потому что на некоторых камнях было даже что-то написано. — Женщина через плечо посмотрела на меня, выражение лица у нее было почти насмешливое. — Все рождаются с последом. Верно ведь?

— Гадости какие-то говоришь.

— А если рождаются с последом...

— ?..

— То это все равно что щенок, а?

Чтобы женщина не продолжала, я снова стал работать. Не продолжала? Но ведь нельзя сказать, что я остался совершенно равнодушным к ее словам. Я все время чувствовал, что мне нужны суровые выразительные средства, чтобы передать нечто, присущее этой женщине. Но выразить это нечто у меня не хватало таланта. Больше того, тут было еще и нежелание выразить это нечто. Или, может быть, это было стремление избежать такого выражения, используя холст, кисти, — в общем, все, что употребляется в живописи. Если же говорить о том, что использовать, — тут, работая кистью, я вспоминал выставляемые иногда в музеях каменные палки и каменные мечи.

Когда женщина ушла, я под тусклой лампой раскрыл большой альбом Гогена и стал лист за листом просматривать репродукции картин, написанных им на Таити. Скоро я неожиданно заметил, что все время повторяю про себя фразу: «Это просто невысказано». Я, разумеется, не знал, почему повторяю эти слова. Но мне стало не по себе, и, приказав служанке приготовить постель, я лег спать, приняв снотворное.

Пробудился я уже около десяти часов. Может быть, из-за жары ночью я сполз на ковер. Но гораздо больше меня встревожил сон, который я видел перед пробуждением. Я стоял в центре комнаты и пытался задушить женщину (причем сам прекрасно понимал, что это сон). Женщина, чуть отвернувшись от меня, как обычно, без всякого выражения закрывала постепенно глаза. И одновременно грудь ее набухала, становясь все прекраснее. Это была сверкающая грудь, с едва заметными прожилками. Я не чувствовал угрызений совести от того, что душил женщину. Наоборот, скорее испытывал нечто близкое к удовлетворению, будто занимался обыденным делом. Женщина наконец совсем закрыла глаза и, казалось, тихо умерла... Пробудившись от сна, я сполоснул лицо и выпил две чашки крепкого чая. Но мне стало еще тоскливее. У меня даже и в мыслях не было убивать эту женщину. Но помимо своей воли... Стараясь унять волнение, я курил сигарету за сигаретой и ждал прихода натурщицы. Однако прошел уже час, а женщина все не появлялась, ожидание было для меня мучительным. Я даже подумал, не пойти ли мне погулять. Но и прогулка пугала меня. Выйти за стены своей комнаты — даже такой пустяк был невыносим для моих нервов.

Сумерки сгущались. Я ходил по комнате и ждал натурщицу, которая уже не придет. И тут я вспомнил о случае, происшедшем двенадцать-тринадцать лет назад. Я, в то время еще ребенок, так же, как сейчас, в сумерки жег бенгальские огни. Это происходило, конечно, не в Токио, а на террасе деревенского дома, где жили мать с отцом. Вдруг кто-то громко закричал: «Эй, давай, давай!» Мало того, еще и похлопал меня по плечу. Мне пришлось, конечно, сесть на край терра-

сы. Но когда я растерянно огляделся, то вдруг увидел, что сижу на корточках около луковой грядки за домом и старательно поджигаю лук. Да к тому же коробка спичек уже почти пуста... Дымя сигаретой, я не мог не думать о том, что в моей жизни были моменты, о которых я сам абсолютно ничего не знаю. Подобные мысли не столько беспокоили меня, сколько были неприятны. Ночью во сне я задушил женщину. Ну а если не во сне?..

Натурщица не пришла и на следующий день. И я решил наконец пойти в дом М. узнать, что с ней случилось. Но хозяйка М. тоже ничего не знала о женщине. Тогда я забеспокоился и спросил, где она живет. Женщина, судя по ее собственным словам, должна была жить на улице Сансаки в Янака. Но судя по словам хозяйки М. — на улице Хигасиката в Хонго. Я добрался до дома женщины в Хонго, на Хигасиката, когда уже зажигались фонари. Это была выкрашенная в розовый цвет прачечная, находившаяся в переулке. Внутри прачечной, за стеклянной дверью, двое работников в одних рубашках старательно орудовали утюгами. Я неторопливо стал открывать стеклянную дверь и неожиданно стукнулся о нее головой. Этот звук напугал работников и меня тоже. Я робко вошел в прачечную и спросил у одного из них:

— **сан дома?

— **сан с позавчерашнего дня не возвращалась.

Эти слова обеспокоили меня. Но я собирался спросить у него еще кое-что. И в то же время должен был проявлять осторожность, чтобы не вызвать их подозрений, если что-то случилось.

— Да что там, она иногда уйдет из дому и целую неделю не возвращается.

Это сказал, продолжая гладить, один из работников с землистым лицом. В его словах я отчетливо почувствовал нечто близкое к презрению и, сам начиная злиться, поспешно покинул прачечную. Но мало этого. Когда я шел по улице Хигасиката, где было сравнительно мало магазинов, то вдруг вспомнил, что все это уже видел во сне. И прачечную, выкрашенную в розовый цвет, и работника с землистым ли-

цом, и утюг, сверкающий огнем, — нет, и то, что я шел навещать эту женщину, я тоже совершенно точно видел во сне сколько-то месяцев (а может быть, лет) назад. Больше того, в том сне, покинув прачечную, я так же шел один по той же тихой улице. Потом... потом воспоминания о прежнем сне начисто стерлись. Но если теперь случается что-нибудь, то мне кажется, что это случилось в том самом сне...

ЖИЗНЬ ИДИОТА

ЭПОХА

Это было во втором этаже одного книжного магазина. Он, двадцатилетний, стоял на приставной лестнице европейского типа перед книжными полками и рассматривал новые книги. Мопассан, Бодлер, Стриндберг, Ибсен, Шоу, Толстой...

Тем временем надвинулись сумерки. Но он с увлечением продолжал читать надписи на корешках. Перед ним стояли не столько книги, сколько сам «конец века». Ницше, Верлен, братья Гонкуры, Достоевский, Гауптман, Флобер...

Борясь с сумраком, он разбирал их имена. Но книги стали понемногу погружаться в угрюмый мрак. Наконец рвение его иссякло, он уже собрался спуститься с лестницы. В эту минуту как раз над его головой внезапно загорелась электрическая лампочка без абажура. Он посмотрел с лестницы вниз на приказчиков и покупателей, которые двигались среди книг. Они были удивительно маленькими. Больше того, они были какими-то жалкими.

— Человеческая жизнь не стоит и одной строки Бодлера...

Некоторое время он смотрел с лестницы вниз на них, вот таких...

МАТЬ

Сумасшедшие были одеты в одинаковые халаты мышинного цвета. Большая комната из-за этого казалась еще мрачнее. Одна сумасшедшая усердно играла на фисгармонии гимны. Другая посередине комнаты танцевала или, скорее, прыгала.

Он стоял рядом с румяным врачом и смотрел на эту картину. Его мать десять лет назад ничуть не отличалась от них. Ничуть... В самом деле, их запах напомнил ему запах матери.

— Что ж, пойдём!

Врач повел его по коридору в одну из комнат. Там в углу стояли большие стеклянные банки с заспиртованным мозгом. На одном он заметил легкий белесый налет. Как будто разбрызгали яичный белок. Разговаривая с врачом, он еще раз вспомнил свою мать.

— Человек, которому принадлежал этот мозг, был инженером N-ской электрической компании. Он считал себя большой черной блестящей динамо-машиной.

Избегая взгляда врача, он посмотрел в окно. Там не было видно ничего, кроме кирпичной ограды, усыпанной сверху осколками битых бутылок. Но и они бросали смутные беледые отблески на редкий мох.

СЕМЬЯ

Он жил за городом в доме с мезонином. Из-за рыхлого грунта мезонин как-то странно покосился.

В этом доме его тетка часто ссорилась с ним. Случалось, что мирить их приходилось его приемным родителям. Но он любил свою тетку больше всех. Когда ему было двенадцать, его тетка, которая так и осталась не замужем, была уже шестидесятилетней старухой.

Много раз в мезонине за городом он размышлял о том, всегда ли те, кто любит друг друга, друг друга мучают. И все время у него было неприятное чувство, будто покосился мезонин.

ТОКИО

Над рекой Сумидагава навис угрюмый туман. Из окна бегущего пароходика он смотрел на вишни острова Муко́дзима.

Вишни в полном цвету казались ему мрачными, как развешанные на веревке лохмотья. Но в этих вишнях — в вишнях Муко́дзима, посаженных еще во времена Эдо, — он некогда открыл самого себя.

Я

Сидя с одним старшим товарищем за столиком в кафе, он непрерывно курил. Мало говорил. Но внимательно прислушивался к словам товарища.

— Сегодня я полдня ездил в автомобиле.

— По делам?

Облокотившись о стол, товарищ самым небрежным тоном ответил:

— Нет, просто захотелось покататься!

Эти слова раскрепостили его — открыли доступ в неведомый ему мир, близкий к богам мир «я». Он почувствовал какую-то боль. И в то же время почувствовал радость.

Кафе было очень маленькое. Но из-под картины с изображением Пана свешивались толстые мясистые листья каучукового деревца в красном вазоне.

БОЛЕЗНЬ

При непрекращающемся ветре с моря он развернул английский словарь и водил пальцем по словам.

«Talaria — обувь с крыльями, сандалии.

Tale — рассказ.

Talipot — пальма, произрастающая в восточной Индии. Ствол от пятидесяти до ста футов высоты, листья идут на изготовление зонтиков, вееров, шляп. Цветет раз в семьдесят лет...»

Воображение ясно нарисовало ему цветок этой пальмы. В эту минуту он почувствовал в горле незнакомый до того зуд и невольно выплюнул на словарь слюну.

Слюну? Но это была не слюна.

Он подумал о краткости жизни и еще раз представил себе цветок этой пальмы, гордо высящейся далеко за морем...

КАРТИНА

Он внезапно... это было действительно внезапно... Он стоял перед витриной одного книжного магазина и, рассматривая собрание картин Ван-Гога, внезапно понял, что такое живо-

пись. Разумеется, это были репродукции. Но и в репродукциях он почувствовал свежесть природы.

Увлечение этими картинами заставило его взглянуть на все по-новому. С некоторых пор он стал обращать пристальное, постоянное внимание на изгибы древесных веток и округлость женских щек.

Однажды в дождливые осенние сумерки он шел за городом под железнодорожным виадуком. У насыпи за виадуком остановилась ломовая телега. Проходя мимо, он почувствовал, что по этой дороге еще до него кто-то прошел. Кто? Ему незачем было спрашивать себя об этом.

Он, двадцатитрехлетний, внутренним взором видел, как этот мрачный пейзаж окинул пронизывающим взором голландец с обрезанным ухом, с длинной трубкой в зубах...

ИСКРА

Он шагал под дождем по асфальту. Дождь был довольно сильный. В заполнившей все кругом водяной пыли он чувствовал запах резинового макинтоша.

И вот в проводах высоко над его головой вспыхнула лиловая искра. Он как-то странно взволновался. В кармане пиджака лежала рукопись, которую он собирался отдать в журнал своих друзей. Идя под дождем, он еще раз оглянулся на провода.

В проводах по-прежнему вспыхивали острые искры. Во всей человеческой жизни не было ничего, чего ему особенно хотелось бы. И только эту лиловую искру... только эту жуткую искру в воздухе ему хотелось схватить хотя бы ценой жизни.

ТРУП

У трупов на большом пальце болталась на проволоке бирка. На бирке значились имя и возраст. Его приятель, нагнувшись, ловко орудовал скальпелем, вскрывая кожу на лице одного из трупов. Под кожей лежал красивый желтый жир.

Он смотрел на этот труп. Это ему нужно было для новеллы — той новеллы, где действие разворачивалось на фоне

древних времен. Трупное зловоние, похожее на запах гнилого абрикоса, было неприятно. Его друг, нахмурившись, медленно двигал скальпелем.

— В последнее время трупов не хватает, — сказал приятель.

Тогда как-то сам собой у него сложился ответ: «Если бы мне не хватало трупов, я без всякого злого умысла совершил бы убийство». Но, конечно, этот ответ остался невысказанным.

УЧИТЕЛЬ

Под большим дубом он читал книгу учителя. На дубе в сиянии осеннего дня не шевелился ни один листок.

Где-то далеко в небе в полном равновесии покоятся весы со стеклянными чашками — при чтении книги учителя ему чудилась такая картина...

РАССВЕТ

Понемногу светало. Он окинул взглядом большой рынок на углу улицы. Толпившиеся на рынке люди и повозки окрасились в розовый цвет.

Он закурил и медленно направился к центру рынка. Вдруг на него залаяла маленькая черная собака. Но он не испугался. Больше того, даже эта собачка была ему приятна.

В самом центре рынка широко раскинул свои ветви платан. Он стал у ствола и сквозь ветви посмотрел вверх, на высокое небо. В небе, как раз над его головой, сверкала звезда.

Это случилось, когда ему было двадцать пять лет, — на третий месяц после встречи с учителем.

ВОЕННЫЙ ПОРТ

В подводной лодке было полутемно. Скорчившись среди заполнявших все кругом механизмов, он смотрел в маленький окуляр перископа. В окуляре отражался залитый светом порт.

— Отсюда, вероятно, виден «Конго»? — обратился к нему один флотский офицер.

Глядя на крошечные военные суда в четырехугольной линзе, он почему-то вдруг вспомнил сельдерей. Слабо пахнувший сельдерей на порции бифштекса в тридцать сэн.

СМЕРТЬ УЧИТЕЛЯ

Он прохаживался по перрону одной новой станции. После дождя поднялся ветер. Было уже полутемно. За перроном несколько железнодорожных рабочих дружно подымали и опускали кирки и что-то громко пели.

Ветер, поднявшийся после дождя, унес песню рабочих и его настроение. Он не зажигал папиросы и испытывал не то страдание, не то радость. В кармане его пальто лежала телеграмма: «Учитель при смерти...»

Из-за горы Мацуяма, выпуская тонкий дымок, извиваясь, приближался утренний шестичасовой поезд на Токио.

БРАК

На другой день после свадьбы он выговаривал жене: «Не следовало делать бесполезных расходов!» Но выговор исходил не столько от него, сколько от тетки, которая велела: «Скажи ей». Жена извинилась не только перед ним — это само собой, — но и перед теткой. Возле купленного для него вазона с бледно-желтыми нарциссами...

ОНИ

Они жили мирной жизнью. В тени раскидистых листьев большого банана... Ведь их дом был в прибрежном городке, в целом часе езды от Токио.

ПОДУШКА

Он читал Анатоля Франса, положив под голову благоухающий аромат роз скептицизм. Он не заметил, как в этой подушке завелся кентавр.

БАБОЧКА

В воздухе, напоенном запахом водорослей, радужно переливалась бабочка. Один лишь миг ощущал он прикосновение ее крыльев к пересохшим губам. Но пыльца крыльев, осевшая на его губах, радужно переливалась еще много лет спустя.

ЛУНА

На лестнице отеля он случайно встретился с ней. Даже тогда, днем, ее лицо казалось освещенным луной. Провожая ее взглядом (они ни разу раньше не встречались), он почувствовал незнакомую ему доселе тоску...

ИСКУССТВЕННЫЕ КРЫЛЬЯ

От Анатоля Франса он перешел к философам XVIII века. Но за Руссо он не принимался. Может быть, оттого, что сам он одной стороной своего существа — легко воспламеняющейся стороной — был близок к Руссо. Он взялся за автора «Кандида», к которому был близок другой стороной — стороной, полной холодного разума.

Для него, двадцатидевятилетнего, жизнь уже несколько не была светла. Но Вольтер наделил его, вот такого, искусственными крыльями.

Он расправил эти искусственные крылья и легко-легко взвился ввысь. Тогда залитые светом разума радости и горести человеческой жизни ушли из-под его взора.

Роняя на жалкие улицы иронию и насмешку, он поднимался по ничем не огражденному пространству прямо к солнцу. Словно забыв о древнем греке, который упал и погиб в море оттого, что сияние солнца растопило его точь-в-точь такие же искусственные крылья...

КАНДАЛЫ

Он и жена поселились в одном доме с его приемными родителями. Это произошло потому, что он решил поступить на службу в редакцию одной газеты. Он полагался на договор,

написанный на листке желтой бумаги. Но впоследствии оказалось, что этот договор, ничем не обязывая издательство, налагает обязательства на него одного.

ДОЧЬ СУМАСШЕДШЕГО

Двое рикш в пасмурный день бежали по безлюдной проселочной дороге. Дорога вела к морю, это было ясно хотя бы по тому, что навстречу дул морской ветер. Он сидел во второй коляске. Подозревая, что в этом «рандеву» не будет ничего интересного, он думал о том, что же привело его сюда. Несомненно, не любовь... Если это не любовь, то... Чтобы избежать ответа, он стал думать: «Как бы то ни было, мы равны».

В первой коляске ехала дочь сумасшедшего. Мало того: ее младшая сестра из ревности покончила с собой.

— Теперь ничего не поделаешь...

Он уже питал к этой дочери сумасшедшего — к ней, в которой жили только животные инстинкты, — какую-то злобу.

В это время рикши пробегали мимо прибрежного кладбища. За изгородью, усеянной устричными раковинами, чернели надгробные памятники. Он смотрел на море, которое тускло поблескивало за этими памятниками, и вдруг почувствовал презрение к ее мужу — мужу, не завладевшему ее сердцем.

НЕКИЙ ХУДОЖНИК

Это была журнальная иллюстрация. Но рисунок тушью, изображавший петуха, носил печать удивительного своеобразия. Он стал расспрашивать о художнике одного из своих приятелей.

Неделю спустя художник зашел к нему. Это было замечательным событием в его жизни. Он открыл в художнике никому не ведомую поэзию. Больше того, он открыл в самом себе душу, о которой не знал сам.

Однажды в прохладные осенние сумерки он, взглянув на

стебель маиса, вдруг вспомнил этого художника. Высокий стебель маиса подымался, оцетинившись жесткими листьями, а вспученная земля обнажала его тонкие корни, похожие на нервы. Разумеется, это был его портрет, его, так легко ранимого. Но подобное открытие его лишь омрачило.

— Поздно. Но в последнюю минуту...

ОНА

Начинало смеркаться. Несколько взволнованный, он шел по площади. Большие здания сияли освещенными окнами на фоне слегка посеребренного неба.

Он остановился на краю тротуара и стал ждать ее. Через пять минут она подошла. Она показалась ему осунувшейся. Взглянув на него, она сказала: «Устала!» — и улыбнулась. Плечо к плечу, они пошли по полутемной площади. Так было в первый раз. Чтобы побыть с ней, он рад был бросить все.

Когда они сели в автомобиль, она пристально посмотрела на него и спросила: «Вы не раскаиваетесь?» Он искренне ответил: «Нет». Она сжала ему руку и сказала: «Я не раскаиваюсь, но...» Ее лицо и тогда казалось озаренным луной.

РОДЫ

Стоя у фусума, он смотрел, как акушерка в белом халате моет новорожденного. Каждый раз, когда мыло попадало в глаза, младенец жалобно морщил лицо и громко кричал. Чувствуя запах младенца, похожий на мышинный, он не мог удержаться от горькой мысли: «Зачем он родился? На этот свет, полный житейских страданий? Зачем судьба дала ему в отцы такого человека, как я?»

А это был первый мальчик, которого родила его жена.

СТРИНДБЕРГ

Стоя в дверях, он смотрел, как в лунном свете среди цветущих гранатов какие-то неопрятного вида китайцы играют в «мацзян». Потом он вернулся в комнату и у низкой

лампы стал читать «Исповедь глупца». Но не прочел и двух страниц, как на губах его появилась горькая улыбка. И Стриндберг в письме к графине — своей любовнице — писал ложь, мало чем отличающуюся от его собственной лжи.

ДРЕВНОСТЬ

Облупленные будды, небожители, кони и лотосы почти совсем подавили его. Глядя на них, он забыл все. Даже свою собственную счастливую судьбу, которая вырвала его из рук дочери сумасшедшего...

СПАРТАНСКАЯ ВЫУЧКА

Он шел с товарищем по переулку. Навстречу им приближался рикша. А в коляске с поднятым верхом неожиданно оказалась она, вчерашняя. Ее лицо даже сейчас, днем, казалось озаренным луной. В присутствии товарища они, разумеется, даже не поздоровались.

— Хороша, а? — сказал товарищ.

Глядя на весенние горы, в которые упиралась улица, он без запинки ответил:

— Да, очень хороша.

УБИЙЦА

Проселочная дорога, полого подымавшаяся в гору, нагретая солнцем, воняла коровьим навозом. Он шел по ней, утирая пот. По сторонам подымался душистый запах зрелого ячменя.

— Убей, убей...

Как-то незаметно он стал повторять про себя это слово. Кого? Это было ему ясно. Он вспомнил этого гнусного, коротко стриженного человека.

За пожелтевшим ячменем показался купол католического храма...

ФОРМА

Это был железный кувшинчик. Этот кувшинчик с мелкой насечкой открыл ему красоту «формы».

Дождь

Лежа в постели, он болтал с ней о том о сем. За окном спальни шел дождь. Цветы от этого дождя, видимо, стали гнить. Ее лицо по-прежнему казалось озаренным луной. Но разговаривать с ней ему было скучновато. Лежа ничком, он не спеша закурил и подумал, что встречается с ней уже целых семь лет.

«Люблю ли я ее?» — спросил он себя. И его ответ даже для него, внимательно наблюдавшего за самим собой, оказался неожиданным:

«Все еще люблю».

ВЕЛИКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

Чем-то это напоминало запах перезрелого абрикоса. Проходя по пожарищу, он ощущал этот слабый запах и думал, что запах трупов, разложившихся на жаре, не так уж плох. Но когда он остановился перед прудом, заваленным грудой тел, то понял, что слово «ужас» в эмоциональном смысле отнюдь не преувеличение. Что особенно потрясло его — это трупы двенадцати-тринадцатилетних детей. Он смотрел на эти трупы и чувствовал нечто похожее на зависть. Он вспомнил слова: «Те, кого любят боги, рано умирают». У его старшей сестры и у сводного брата — у обоих сгорели дома. Но мужу его старшей сестры отсрочили исполнение приговора по обвинению в лжесвидетельстве.

— Хоть бы все умерли!

Стоя на пожарище, он не мог удержаться от этой горькой мысли.

ССОРА

Он подрался со своим сводным братом. Несомненно, что его образ из-за него то и дело подвергался притеснениям. Зато он сам, несомненно, терял свободу из-за брата. Родственники постоянно твердили брату: «Бери пример с него». Но для него самого это было все равно, как если бы его связали по рукам и ногам. В драке они покатались на самый край галереи. В саду за галереей — он помнил до сих пор — под дождливым небом пышно цвел красными пылающими цветами куст индийской сирени.

КОЛОРИТ

В тридцать лет он обнаружил, что как-то незаметно для себя полюбил один пустырь. Там только и было, что множество кирпичных и черепичных обломков, валявшихся во мху. Но в его глазах этот пустырь ничем не отличался от пейзажа Сезанна.

Он вдруг вспомнил свое прежнее увлечение — семь-восемь лет назад. И в то же время понял, что семь-восемь лет назад он не знал, что такое колорит.

РЕКЛАМНЫЙ МАНЕКЕН

Он хотел жить так неистово, чтоб можно было в любую минуту умереть без сожаления. И все же продолжал вести скромную жизнь со своими приемными родителями и теткой. Поэтому в его жизни были две стороны, светлая и темная. Как-то раз в магазине европейского платья он увидел манекен и задумался о том, насколько он сам похож на такой манекен. Но его подсознательное «я» — его второе «я» — давно уже воплотило это настроение в одном из его рассказов.

УСТАЛОСТЬ

Он шел с одним студентом по полю, поросшему мискантом.

— У вас у всех, вероятно, еще сильна жажда жизни, а?

— Да... Но ведь и у вас...

— У меня ее нет! У меня есть только жажда творчества, но...

Он искренне чувствовал так. Он действительно как-то незаметно потерял интерес к жизни.

— Жажда творчества — это тоже жажда жизни.

Он ничего не ответил. За полем над красноватыми колосьями отчетливо вырисовывался вулкан. Он почувствовал к этому вулкану что-то похожее на зависть. Но отчего, он и сам не знал.

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ХОКУРИКУ»

Однажды он встретился с женщиной, которая не уступала ему и в таланте. Но он написал «Человек из Хокурику» и другие лирические стихотворения и сумел избежать грозившей ему опасности. Однако это вызвало горечь, будто он стяхнул примерзший к стволу дерева сверкающий снег.

По ветру катится сугэгаśа
И упадет на пыльную дорогу...
К чему жалеть об имени моем?
Оплакивать — твое лишь имя...

МЩЕНИЕ

Это было на балконе отеля, стоявшего среди зазеленевших деревьев. Он забавлял мальчика, рисуя ему картинки. Сына дочери сумасшедшего, с которой разошелся семь лет назад.

Дочь сумасшедшего курила и смотрела на их игру. С тяжелым сердцем он рисовал поезда и аэропланы. Мальчик, к счастью, не был его сыном. Но мальчик называл его «дя-дей», что для него было мучительней всего.

Когда мальчик куда-то убежал, дочь сумасшедшего, затаиваясь сигаретой, кокетливо сказала:

— Разве этот ребенок не похож на вас?

— Ничуть не похож. Во-первых...

— Это, кажется, называется «воздействие в утробный период»?

Он молча отвел глаза. Но в глубине души у него невольно поднялось жестокое желание задушить ее.

ЗЕРКАЛА

Сидя в углу кафе, он разговаривал с приятелем. Приятель ел печеное яблоко и говорил о погоде, о холодах, наступивших в последние дни. Он сразу уловил в его словах нечто противоречивое.

— Ты ведь еще холост?

— Нет, в будущем месяце женюсь.

Он невольно замолчал. Зеркала в стенах отражали его бесчисленное множество раз. Будто чем-то холодно угрожая...

Диалог

— Отчего ты нападаешь на современный общественный строй?

— Оттого, что я вижу зло, порожденное капитализмом.

— Зло? Я думал, ты не признаешь различия между добром и злом. Ну а твой образ жизни?

...Так он беседовал с ангелом. Правда, с ангелом, на котором был безупречный цилиндр...

Болезнь

На него напала бессонница. Вдобавок начался упадок сил. Каждый врач ставил свой диагноз. Кислотный катар, атония кишок, сухой плеврит, неврастения, хроническое воспаление суставов, переутомление мозга...

Но он сам знал источник своей болезни. Это был стыд за себя и вместе с тем страх перед ними. Перед ними — перед обществом, которое он презирал!

Однажды в пасмурный мрачный осенний день, сидя в углу кафе с сигарой в зубах, он слушал музыку, льющуюся из граммофона. Эта музыка как-то странно проникала ему в душу. Он подождал, пока она кончится, подошел к граммофону и взглянул на этикетку пластинки.

«Magic flute» — Mozart¹.

¹ «Волшебная флейта» — Моцарт (англ.).

Он мгновенно понял. Моцарт, нарушивший заповедь, несомненно тоже страдал. Но вряд ли так, как он... Понурился, он медленно вернулся к своему столику.

СМех БОГОВ

Он, тридцатипятилетний, гулял по залитому весенним солнцем сосновому бору. Вспоминая слова, написанные им два три года назад: «Боги, к несчастью, не могут, как мы, совершить самоубийство».

Ночь

Снова надвинулась ночь. В сумеречном свете над бурным морем непрерывно взлетали клочья пены. Под таким небом он вторично обручился со своей женой. Это было для них радостью. Но в то же время и мукой. Трое детей вместе с ними смотрели на молнии над морем. Его жена держала на руках одного ребенка и, казалось, сдерживала слезы.

— Там, кажется, видна лодка?

— Да.

— Лодка со сломанной мачтой.

СМЕРТЬ

Воспользовавшись тем, что спал один, он хотел повеситься на своем поясе на оконной решетке. Однако, сунув шею в петлю, вдруг испугался смерти; но не потому, что боялся предсмертных страданий. Он решил проделать это еще раз и, в виде опыта, проверить по часам, когда наступит смерть. И вот, после легкого страдания, он стал погружаться в забытие. Если бы только перешагнуть через него, он, несомненно, вошел бы в смерть. Он посмотрел на стрелку часов и увидел, что его страдания длились одну минуту и двадцать с чем-то секунд. За окном было совершенно темно. Но в этой тьме раздавался крик петуха.

«ДИВАН»

«Divan» еще раз влил ему в душу новые силы. Это был неизвестный ему «восточный Гете». Он видел Гете, спокойно стоящего по ту сторону добра и зла, и чувствовал зависть, близкую к отчаянию. Поэт Гете в его глазах был выше Христа. В душе у этого поэта были не только Акрополь и Голгофа, в ней расцвели и розы Аравии. Если бы у него хватило сил идти вслед за ним... Он дочитал «Divan» и, успокоившись от ужасного волнения, не мог не презирать горько самого себя, рожденного евнухом жизни.

Ложь

Самоубийство мужа его сестры нанесло ему внезапный удар. Теперь ему предстояло заботиться о семье сестры. Его будущее, по крайней мере для него самого, было сумрачно, как вечер. Чувствуя что-то близкое к холодной усмешке над своим духовным банкротством (его пороки и слабости были ясны ему все без остатка), он по-прежнему читал разные книги. Но даже «Исповедь» Руссо была переполнена героической ложью. В особенности в «Новой жизни» — он никогда еще не встречал такого хитрого лицемера, как герой «Новой жизни». Один только Франсуа Вийон проник ему в душу. Среди его стихотворений он открыл одно, носившее название «Прекрасный бык».

Образ Вийона, ждущего виселицы, стал появляться в его снах. Сколько раз он, подобно Вийону, хотел опуститься на самое дно! Но условия его жизни и недостаток физической энергии не позволяли ему сделать это. Он постепенно слабел. Как дерево, сохнущее с вершины, которое когда-то видел Свифт...

ИГРА С ОГНЕМ

У нее было сверкающее лицо. Как если бы луч утреннего солнца упал на тонкий лед. Он был к ней привязан, но не

чувствовал любви. Больше того, он и пальцем не прикасался к ее телу.

— Вы мечтаете о смерти?

— Да... нет, я не так мечтаю о смерти, как мне надоело жить.

После этого разговора они сговорились вместе умереть.

— Platonic suicide¹, не правда ли?

— Double platonic suicide².

Он не мог не удивляться собственному спокойствию.

СМЕРТЬ

Он не умер с нею. Он лишь испытывал какое-то удовлетворение от того, что до сих пор и пальцем не прикоснулся к ее телу. Она иногда разговаривала с ним так, словно ничего особенного не произошло. Больше того, она дала ему флакон синильной кислоты, который у нее хранился, и сказала: «Раз у нас есть это, мы будем сильны».

И действительно, это влило силы в его душу. Он сидел в плетеном кресле и, глядя на молодую листву дуба, не мог не думать о душевном покое, который ему принесет смерть.

ЧУЧЕЛО ЛЕБЕДЯ

Последние его силы иссякли, и он решил попробовать написать автобиографию. Но неожиданно для него самого это оказалось нелегко. Нелегко потому, что у него до сих пор сохранились самоуважение, скептицизм и расчетливость. Он не мог не презирать себя вот такого. Но, с другой стороны, он не мог удержаться от мысли: «Если снять с людей кожу, у каждого под кожей окажется то же самое». Он был готов думать, что заглавие «Поэзия и правда» — это заглавие всех автобиографий. Мало того, ему было совершенно ясно, что художественные произведения трогают не всякого. Его произ-

¹ Платоническое самоубийство (англ.).

² Двойное платоническое самоубийство (англ.).

ПОРАЖЕНИЕ

ведение могло найти отклик только у тех, кто ему близок, у тех, кто прожил жизнь почти такую же, как он.

Вот как он был настроен. И поэтому он решил попробовать коротко написать свою «Поэзию и правду».

Когда он написал «Жизнь идиота», он в лавке старьевщика случайно увидел чучело лебедя. Лебедь стоял с поднятой головой, а его пожелтевшие крылья были изъедены молю. Он вспомнил всю свою жизнь и почувствовал, как к горлу подступают слезы и холодный смех. Впереди его ждало безумие или самоубийство. Идя в полном одиночестве по сумеречной улице, он решил терпеливо ждать судьбу, которая придет его погубить.

ПЛЕННИК

Один из его приятелей сошел с ума. Он всегда питал привязанность к этому приятелю. Это потому, что всем своим существом, больше, чем кто-либо другой, понимал его одиночество, скрытое под маской веселья. Своего сумасшедшего приятеля он раза два-три навестил.

— Мы с тобой захвачены злым демоном. Злым демоном «конца века»! — говорил ему тот, понижая голос. А через два-три дня на прогулке жевал лепестки роз.

Когда приятели поместили его в больницу, он вспомнил терракотовый бюст, который когда-то ему подарили. Это был бюст любимого писателя его друга, автора «Ревизора». Он вспомнил, что Гоголь тоже умер безумным, и неотвратимо почувствовал какую-то силу, которая поработила их обоих.

Совершенно обессилев, он прочел предсмертные слова Радигэ и еще раз услышал смех богов. Это были слова: «Воины бога пришли за мной». Он пытался бороться со своим суеверием и сентиментализмом. Но всякая борьба была для него физически невозможна. Злой демон «конца века» действительно им овладел. Он почувствовал зависть к людям Средневековья, которые полагались на бога. Но верить в бога, верить в любовь бога он был не в состоянии. В бога, в которого верил даже Кокто!

У него дрожала даже рука, державшая перо. Мало того, у него стала течь слюна. Голова у него бывала ясной только после пробуждения от сна, который приходил к нему после большой дозы веронала. И то ясной она бывала каких-нибудь полчаса. Он проводил жизнь в вечных сумерках. Слово опираясь на тонкий меч со сломанным лезвием.

Июль 1927 г.

(Опубликовано посмертно.)

СЛОВА ПИГМЕЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ К «СЛОВАМ ПИГМЕЯ»

«Слова пигмея» не всегда отражают мои мысли. Они лишь позволяют наблюдать за тем, как мысли меняются. Ползущее растение ветвится от одного корня и к тому же дает еще множество побегов.

ЗВЕЗДЫ

Еще древние говорили: ничто не ново под луной. Но ничто не ново не только под луной. По утверждению астрономов, требуется тридцать шесть тысяч лет, чтобы свет от созвездия Геркулеса дошел до нашей Земли. Но даже и созвездие Геркулеса не может светить вечно. И однажды перестанет излучать прекрасный свет, превратившись в остывшую золу. Но смерть всегда несет в себе зародыш новой жизни. И то же созвездие Геркулеса, перестав излучать свет, в своих блужданиях по бескрайней Вселенной при благоприятном стечении обстоятельств превратится в туманность. И в ней будут рождаться новые звезды.

Да и само Солнце не более чем один из блуждающих огоньков во Вселенной. А ведь оно прародитель нашей Земли. Но то, что происходит на самом краю Вселенной, там, где простирается Млечный Путь, фактически ничем не отличается от того, что происходит на нашей грешной земле. Жизнь и смерть, подчиняясь законам движения, бесконечно сменяют друг друга. Думая об этом, невозможно не проникнуться некоторым сочувствием к бесчисленным звездам, разбросанным по небу. Мне даже кажется, что мерцание звезд выражает те же чувства, которые испытываем мы. Может быть, поэтому один из поэтов высказал такую истину:

Одна из звезд, песчинками усыпавших небо,
Посылает свет только мне.

Однако то, что звезды, подобно нам, совершают свое вечное движение, все-таки немного печально.

НОС

Существует знаменитое изречение Паскаля — нос Клеопатры: будь он покороче, облик земли стал бы иным. Однако влюбленные редко видят подлинную картину. Наоборот, однажды влюбившись, мы обретаем непревзойденную способность заниматься самообманом.

Антоний тоже не исключение — даже если бы нос Клеопатры был короче, он бы вряд ли это заметил. А если бы и заметил, нашел массу других достоинств, восполняющих этот недостаток. Что это за достоинства? Я убежден, на всем свете не существует женщины, обладающей столькими достоинствами, сколькими обладает ваша возлюбленная. Видимо, и Антоний, так же как мы, несомненно, нашел бы в глазах ли, в губах ли Клеопатры более чем достаточную компенсацию. Кроме того, существует еще обычное: «Ее душа!» Действительно, женщина, которую мы любим, обладает изумительной душой — это было во все времена. Более того, ее одежда, и ее богатство, и ее социальное положение — все это тоже превращается в ее достоинства. Можно привести даже такие поразительные случаи, когда к числу достоинств причисляется факт или хотя бы слух, что в прошлом она была любима некоей выдающейся личностью. К тому же разве не была Клеопатра последней египетской царицей, окутанной ослепительной роскошью и загадочностью? Кто бы обратил внимание на длину ее носа, когда она восседала в облаке курящихся благовоний, сверкая украшенной драгоценными камнями короной, с цветком лотоса в руке. Тем более если смотрели на нее глазами Антония.

Подобный самообман не ограничивается любовью. Все мы, за редким исключением, по собственной воле перекрашиваем подлинную картину. Возьмем хотя бы табличку зубного врача — нам она бросается в глаза не столько потому, что существует, сколько потому, что нами движет желание

ее увидеть, проще говоря — зубная боль. Разумеется, наша зубная боль никак не связана с мировой историей. Но подобный самообман присущ обычно и политикам, которые хотят знать чувства народа, и военным, которые хотят знать положение противника, и промышленникам, которые хотят знать конъюнктуру. Я не отрицаю, что существует рассудок, который должен корректировать наши чувства. Но в то же время признаю и существование «случайностей», управляющих всем, что совершает человек. Однако любая страсть легко забывает о разуме. «Случайность» — это, так сказать, воля богов. Следовательно, самообман — вечная сила, призванная направлять мировую историю.

Итак, более чем двухтысячелетняя история ни в малейшей степени не зависела от столь ничтожно малого, как нос Клеопатры. Она скорее зависит от нашей глупости, переполняющей мир. Смешно, но она действительно зависит от нашей торжествующей глупости.

МОРАЛЬ

Мораль — другое название удобства. Она сходна с «лево-сторонним движением».

Благоденствие, даруемое моралью, — экономия времени и труда. Вред, причиненный моралью, — полный паралич совести.

Те, кто бездумно отвергает мораль, — слабо разбираются в экономике. Те, кто бездумно склоняет голову перед нею, — либо трусы, либо бездельники.

Правящая нами мораль — феодальная мораль, отравленная капитализмом. Она приносит нам один вред и никаких благоденствий.

Сильные попирают мораль. Слабых мораль лелеет. Те, кого она гнетет, — обычно занимают среднюю позицию между сильными и слабыми.

Мораль — как правило, поношенное платье.

Совесть не появляется с возрастом, подобно нашей бороде. Чтобы обрести совесть, нужно определенное воспитание.

Более девяноста процентов людей лишены природной совести.

Трагизм нашего положения в том, что, пока мы то ли по молодости, то ли по недостатку воспитания еще не смогли обрести совесть, нас уже обвиняют в бессовестности.

Комизм нашего положения в том, что, после того как то ли по молодости, то ли по недостатку воспитания нас обвинили в бессовестности, мы наконец обретаем совесть.

Совесть — серьезное увлечение.

Возможно, совесть рождает нравственность. Однако нравственность до сих пор еще никогда не родила то, что есть лучшее в совести.

Сама же совесть, как любое увлечение, имеет страстных поклонников. Эти поклонники в девяноста случаях из ста — умные аристократы или богачи.

ПРИСТРАСТЯ

Как выдержанное вино, я люблю древнее эпикурейство. Нашими поступками руководят не добро и не зло. Только лишь наши пристрастия. Либо наши удовольствия и неудовольствия. Я в этом убежден.

В таком случае, почему же мы, даже в пронизывающий холод, бросаемся в воду, увидев тонущего ребенка? Потому, что находим в спасении удовольствие. Какой же меркой

можно измерить, что лучше: избежать неудовольствия от погружения в холодную воду или получить удовольствие от спасения ребенка? Меркой служит выбор большего удовольствия. Однако физическое удовольствие или неудовольствие и духовное удовольствие или неудовольствие меряются разными мерками. Правда, удовольствие или неудовольствие не могут быть полностью несовместимы. Скорее они сливаются в нечто единое, подобно соленой и пресной воде. Действительно, разве не испытывают наивысшего удовольствия лишенные духовности аристократы из Киото и Осаки, наслаждаясь угрем с рисом и овощами, после того как отведали черепахового супа? Другой пример: факт, что холод и вода могут доставлять удовольствие, доказывает плавание в ледяной воде. Сомневающиеся в моих словах захотят объяснить это мазохизмом. А этот проклятый мазохизм — самое обычное стремление достичь удовольствия или неудовольствия, что на первый взгляд может показаться извращением. По моему убеждению, христианские святые, с радостью умерщвлявшие свою плоть, с улыбкой шедшие на костер, в большинстве случаев были мазохистами.

Определяют наши поступки, как говорили древние греки, пристрастия, и ничто иное. Мы должны черпать из жизненного источника высшее удовольствие. «Не будьте унылы, как лицемеры» — разве даже христианство не учит этому? Мудрец — тот, кто и тернистый путь усыпает розами.

МОЛИТВА ПИГМЕЯ

Когда мне удастся надеть яркое платье и развлекать публику кувырканиями и беззаботной болтовней, я чувствую себя блаженствующим пигмеем. Молю тебя, исполни, пожалуйста, мои желания.

Прошу, не сделай меня бедняком, у которого нет и рисинки за душой. Но прошу, не сделай меня и богачом, неспособным насытиться своим богатством.

Прошу, не сделай так, чтобы я ненавидел живущую в нищей хижине крестьянку. Но прошу, не сделай и так, чтобы я любил обитающую в роскошном дворце красавицу.

Прошу, не сделай меня глупцом, неспособным отличить

зерно от плевел. Но прошу, не сделай меня и мудрецом, которому ведомо даже то, откуда придут тучи.

Особо прошу, не сделай меня бесстрашным героем. Я и вправду вижу иногда сны, в которых невозможное превращается в возможное: покоряю неприступные вершины, переплываю непреодолимые моря. Я всегда испытываю смутную тревогу, когда вижу такой сон. Я стараюсь отогнать его от себя, будто борюсь с драконом. Прошу, не дай стать героем мне, не имеющему сил бороться с жадной превратиться в героя.

Когда мне удастся упиваться молодым вином, тонкими золотыми нитями плести свои песни и радоваться этим счастливым дням, я чувствую себя блаженствующим пигмеем.

СВОБОДА ВОЛИ И СУДЬБА

Если верить в судьбу, преступления как такового существовать не может, что ведет к утрате смысла наказания, и тогда мы, несомненно, проявим к преступнику снисхождение. И в то же время, если верить в свободу воли, возникает идея ответственности, что позволяет избежать паралича совести, и тогда мы, несомненно, проявим к себе большую твердость. Чему же следовать?

Хочу ответить объективно. Нужно наполовину верить в свободу воли и наполовину — в судьбу. Или же наполовину сомневаться в свободе воли и наполовину — в судьбе. Почему? Разве не наша судьба определяет, кого мы берем себе в жены? И в то же время разве не свобода воли заставляет нас по заказу жены покупать ей хаори и оби?

Независимо от свободы воли и судьбы, бога и дьявола, красоту и безобразие, отвагу и малодушие, рационализм и веру и многое подобное мы должны уравнивать на чашах весов. Древние называли это золотой серединой. Золотая середина по-английски выражается словами good sense. По моему убеждению, не стремясь к good sense, добиться счастья невозможно. А если и удастся добиться, то только показного — в палящий зной греться у жаровни, в ледяной холод обмахиваться веером.

ДЕТИ

Военные недалеко ушли от детей. Вряд ли нужно здесь говорить, как они трепещут от радости, предвкушая героические подвиги, как упиваются так называемой славой. Лишь в начальной школе можно увидеть, как уважаются механические упражнения, как ценится животная храбрость. Еще больше военные напоминают детей, когда не задумываясь устраивают резню. Но более всего они похожи на детей, когда, воодушевляемые звуком трубы и военными маршами, радостно бросаются на врага, не спрашивая, за что сражаются.

Вот почему то, чем гордятся военные, всегда похоже на детские забавы. Взрослого человека не могут прельстить блестящие доспехи и сверкающие шлемы. Ордена — вот что меня по-настоящему удивляет. Почему военные в трезвом состоянии разгуливают, увесив грудь орденами?

ОРУЖИЕ

Справедливость напоминает оружие. Оружие может купить и враг, и друг — стоит лишь уплатить деньги. Справедливость тоже может купить и враг, и друг — стоит лишь найти предлог. С давних времен, точно снарядами, стреляли друг в друга прозвищем «враг справедливости». Однако почти не бывает случаев, чтобы увлеченные риторикой пытались выяснить, кто из них на самом деле «враг справедливости».

Японские рабочие только потому, что они родились японцами, получили приказ покинуть Панаму. Это противоречит справедливости. Америка, как пишут газеты, должна быть названа «врагом справедливости». Но ведь и китайские рабочие только потому, что они родились китайцами, получили приказ покинуть Сэндзю. Это тоже противоречит справедливости. Япония, как пишут газеты... Нет, Япония вот уже две тысячи лет неизменно является «другом справедливости». Справедливость еще ни разу не вступала в противоречия с интересами Японии.

Оружия как такового бояться не нужно. Бояться следует искусства воинов. Справедливости как таковой бояться не нужно. Бояться следует красноречия подстрекателей...

Обращаясь к истории, я каждый раз думаю о музее «Юсюкан». В его галереях старинного оружия в полутьме рядами выстроены самые разные «справедливости». Древний китайский меч напоминает справедливость, проповедуемую конфуцианством. Копье всадника напоминает справедливость, проповедуемую христианством. Вот толстенная дубинка. Это справедливость социалиста. А вот меч, украшенный кистями. Это справедливость националиста. Глядя на это оружие, я представляю себе бесчисленные сражения, и сердце начинает учащенно биться. Но, к счастью или несчастью, я не помню, чтобы мне хоть раз захотелось взять в руки это оружие.

МОНАРХИЗМ

Эта история относится к Франции семнадцатого века. Однажды герцог Бургундский задал аббату Шуази такой вопрос: «Карл VI был безумен. Как, по-вашему, следовало бы сообщить об этом самым деликатным образом?» Аббат ответил: «Я бы сказал коротко. Карл VI безумен». Аббат Шуази считал свой ответ одним из самых отчаянных поступков в жизни и всегда гордился им.

Франция семнадцатого века была настолько пропитана духом монархизма, что сохранила даже этот анекдот. Однако Япония двадцатого века ни на йоту не уступает Франции того времени в монархизме. Поистине он не приносит ни радости, ни счастья.

ТВОРЧЕСТВО

Художник, я уверен, всегда создает свое произведение сознательно. Однако, познакомившись с самим произведением, видишь, что его красота или безобразие наполовину заключены в таинственном мире, лежащем вне пределов соз-

нения художника. Наполовину? А может быть, лучше сказать — в основном?

Оправдываясь, мы тем самым уличаем себя. Хотим мы того или нет, в создаваемых произведениях всегда обнажается наша душа. Разве не говорит древний обычай: «Удар резаком — поклон» — о страхе людей тех времен перед границами бессознательного?

Творчество всегда риск. После того как силы человека исчерпаны, он может уповать лишь на волю небес — иного не дано.

«Когда я был молод и учился писать, то страдал оттого, что не получалось гладко. Скажу одно: старания лишь поддела, одними стараниями не достигнешь совершенства. Только состарившись, начинаешь понимать, что упорство еще не все: три части — дело человека, семь частей — дар неба». Эта строфа из «Луныши» подтверждает мою мысль. Искусство — мрачная бездна. Если бы не жажда денег, если бы не влечение славы, если бы, наконец, не страдания от творческого жара, то, возможно, у нас не хватило бы мужества вступить в схватку с этим зловещим искусством.

КРИТИКА

Оценка литературного произведения есть сотрудничество между художником и критиком. Другими словами, разбирая чужое произведение, критик всего лишь пытается создать свое собственное. Поэтому во все времена произведения, сохранившие свое выдающееся значение, непременно обладают характерными чертами, допускающими возможность самых разных критических оценок. Однако, по словам Анатоля Франса, возможность разных критических оценок вряд ли означает легкость трактовки, поскольку произведения создаются словно в тумане. Подобно вершине горы Родзан, произведение с разных точек видится и оценивается по-разному.

КЛАССИКИ

Счастье классиков в том, что они мертвы.

О ТОМ ЖЕ

Наше и ваше счастье в том, что они мертвы.

РАЗОЧАРОВАВШИЕСЯ ХУДОЖНИКИ

Немало художников живут в мире разочарований. Они не верят в любовь. Они не верят в совесть. Подобно древним отшельникам, они сделали своим домом пустыню утопии. Из-за этого они, возможно, достойны жалости. Однако прекрасные миражи рождаются лишь в небе пустыни. Разочаровавшиеся в делах человеческих, в искусстве они, как правило, не разочаровались. Наоборот, при одном упоминании об искусстве перед их глазами возникают золотые видения, обычным людям недоступные. Они тоже, размышляя о прекрасном, ждут своего счастливого мгновения.

ИСПОВЕДЬ

Никто не способен исповедаться во всем до конца. В то же время без исповеди самовыражение невозможно.

Руссо был человеком, любившим исповедоваться. Но обнаружить в его «Исповеди» полной откровенности невозможно. Мериме был человеком, ненавидевшим исповедоваться. Но разве в «Коломбе» он не рассказывает скрытно о самом себе? Четко обозначить границу между исповедальной и всей остальной литературой невозможно.

ЖИЗНЬ. ИСИГУРО ТЭЙИТИ-КУНУ

Любой убежден, что не наученному плавать приказывать «плыви» неразумно. Так же неразумно не наученному бегать приказывать «беги». Однако мы с самого рождения получаем такие дурацкие приказы.

Разве могли мы, еще находясь в чреве матери, изучить путь, по которому пойдет наша жизнь? А ведь, едва появившись на свет, мы сразу же вступаем в жизнь, напоминающую арену борьбы. Разумеется, не наученный плавать как следует

проплыть не сможет. Не наученный бегать тоже прибежит последним. Потому-то и нам не уйти с арены жизни без ран.

Люди, возможно, скажут: «Нужно посмотреть на то, что совершали предки. Это послужит вам образцом». Однако, глядя на сотни пловцов, тысячам бегунов разом научиться плавать, овладеть бегом невозможно. И те, кто попытается поплыть, все до одного наглотаются воды, а те, кто попытается бежать, все без исключения перепачкаются в пыли. Взгляните на знаменитых спортсменов мира — не прячут ли они за горделивой улыбкой гримасу страдания?

Жизнь похожа на олимпийские игры, устроенные сумасшедшими. Мы должны учиться бороться за жизнь, борясь с жизнью. А тем, кто не может сдерживать негодования, видя всю глупость этой игры, лучше уйти с арены. Самоубийство тоже вполне подходящий способ. Однако те, кто хочет выстоять на арене жизни, должны мужественно бороться, не боясь ран.

О ТОМ ЖЕ

Жизнь подобна коробку спичек. Обращаться с ней серьезно — глупее глупого. Обращаться несерьезно — опасно.

О ТОМ ЖЕ

Жизнь подобна книге, в которой недостает многих страниц. Трудно назвать ее цельной. И все же она цельная.

РАЙ НА ЗЕМЛЕ

Рай на земле воспевается в стихах. Но, к сожалению, я не припоминаю, чтобы кто-либо из таких поэтов хотел жить в раю на земле. Христианский рай на земле являет собой весьма печальное зрелище. Даосский рай тоже всего лишь мрачная китайская харчевня. Тем более современные утопии — в памяти остались лишь приводившие в трепет идеи Уильяма Джеймса.

Рай на земле, о котором мечтаю я, не уютная теплица.

И не пункт раздачи еды и одежды, существующий при школе. Жить в таком раю — это когда родители уходят из жизни, вырастив своих детей. Братья и сестры, рожденные даже злодеями, но никогда — глупцами, не доставят друг другу никаких хлопот. Женщины, выйдя замуж, сразу же становятся кроткими и послушными, потому что в них вселяется душа домашнего животного. Дети, будь то мальчики или девочки, послушные воле или эмоциям родителей, способны по нескольку раз в день становиться глухими, немыми, покорными, слепыми. Друг А. не будет беднее друга В., и в то же время друг В. не будет богаче друга А., и оба находят наивысшее удовольствие во взаимном восхвалении. Далее... — в общем, о таком месте приятно мечтать.

Этот рай на земле не только для меня. Он — для всех благочестивых людей на свете. Во все времена лишь поэты и ученые в своих радужных мечтах думали о таком рае. В этом нет ничего удивительного. Лишь мечты о нем переполняли их истинным счастьем.

Р. S. Мой племянник мечтает приобрести портрет Рембрандта. Но при этом он даже мечтать не смеет, чтобы получить на карманные расходы хотя бы десять иен. Десять иен на карманные расходы — вот что способно переполнить его истинным счастьем.

НАСИЛИЕ

Жизнь — сложная штука. Сделать сложную жизнь простой способно только оружие. Потому-то цивилизованный человек, обладая мозгами людей каменного века, и предпочитает убийство любой дискуссии.

Власть, собственно, и есть насилие, заручившееся патентом. Чтобы править нами, людьми, в насилии, возможно, и есть необходимость. А возможно, и нет необходимости.

«ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ»

Как ни прискорбно, у меня не хватает мужества поклоняться «человечности». Более того, нередко я испытываю презрение к «человечности» — это правда. Но правда и то, что,

как правило, я испытываю к «человечности» и любовь. Любовь? А может быть, не любовь, а скорее сострадание? Во всяком случае, если «человечность» перестанет волновать, жизнь превратится в психиатрическую лечебницу, обитать в которой невыносимо. И естественным результатом будет то, что случилось со Свифтом, — сумасшествие.

Говорят, что незадолго до помешательства Свифт, глядя на дерево с засохшей верхушкой, прошептал: «Я очень похож на это дерево. Все идет от головы». Каждый раз, когда я вспоминаю эту историю, меня охватывает дрожь. Я думаю с тайной радостью: какое счастье, что я не рожден таким же гением, как Свифт.

ЛИСТЬЯ ДУБА

Полное счастье могут дать лишь привилегии, даруемые идиотам. Даже самый неисправимый оптимист не способен всегда улыбаться. Нет, если можно было бы допустить существование настоящих оптимистов, то это привело бы только к тому, что они пришли бы в отчаяние от счастья.

Если был бы я дома,
Я еду положил бы на блюдо,
Но в пути нахожусь я,
Где травы изголовьем мне служат,
Потому и еду я кладу на дубовые листья.

Это стихотворение передает не просто чувства путешественника. Мы всегда идем на компромисс — вместо «желаемого» соглашаемся на «возможное». Ученые смогут, наверное, дать листьям дуба самые прекрасные имена. Но если просто взять листья дуба в руку, они листьями дуба и останутся.

Печалиться о листьях дуба только потому, что они листья дуба, — значит проявить к ним гораздо большее уважение, чем если просто подчеркивать: на них можно класть еду. Такое утверждение еще скучнее, чем просто с безразличной улыбкой пройти мимо них только потому, что они листья дуба. Во всяком случае, всю жизнь без усталости печалиться об одном и том же комично и в то же время безнравственно. Великие пессимисты далеко не всегда корчи-

ли кислые физиономии. Даже страдавший неизлечимой болезнью Леонарди иногда грустно улыбался, глядя на бледные розы...

Примечание. Безнравственность — другое название чрезмерности.

БУДДА

Покинув тайком королевский замок, Сиддхартха целых шесть лет вел аскетическую жизнь. Он вел ее в течение шести лет, искупая невиданную роскошь, в которой жил в королевском замке. Столь же показателен и сорокадневный пост сына плотника из Назарета.

О ТОМ ЖЕ

Сиддхартха приказал Чандаке приготовить лошадей, и они тайно покинули королевский замок. Но склонность к рассуждениям часто вызывала у него меланхолию. Не легко установить, кто вздохнул с облегчением, когда Сиддхартха покинул королевский замок: сам будущий Сакья Муни или Ясодхара, его жена.

О ТОМ ЖЕ

После шести лет аскетической жизни Сиддхартха под смоковницей достиг высшего постижения. Его поучения, как стать Буддой, говорят о том, что материя господствует над духом. Он купается. Пьет млечный сок. Наконец, разговаривает с пасшей скот девушкой, ставшей впоследствии буддой Нанда.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ГЕНИЙ

Традиционно считается, что политический гений — это тот, кто волю народа превращает в свою собственную. Однако все наоборот. Правильнее сказать, что политический гений — это тот, кто свою собственную волю превращает в волю народа. Или по крайней мере заставляет поверить, что

такова воля народа. Поэтому политический гений должен быть и гениальным актером. Наполеон говорил: «От великого до смешного один шаг». Эти слова подходят не столько императору, сколько актеру.

О ТОМ ЖЕ

Народ верит в великие принципы. Политический гений и ломаного гроша не даст за великие принципы. Лишь для того чтобы править народом, он надевает на себя личину борца за великие принципы. Но, однажды надев эту личину, он уже никогда не в состоянии сбросить ее. Если же попытается содрать ее силой, то сразу же сойдет со сцены как политический гений. Даже монарх ради сохранения короны идет на ограничение своей власти. Потому-то трагедия политического гения всегда заключает в себе и комичность. Такую комичность, например, содержит сценка из «Записок от скуки», когда монах храма Ниннадзи стал танцевать, надвинув на голову котел-треножник.

ЛЮБОВЬ СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ

«Любовь сильнее смерти» — эти слова можно найти в романе Мопассана. Но, разумеется, сильнее смерти не только любовь. Например, большой брюшным тифом съедает печенье, зная, что неминуемо умрет от этого — вот прекрасное доказательство, что и голод иногда сильнее смерти. Да и кроме голода можно назвать многое, что сильнее смерти, — патриотизм, религиозный экстаз, человеколюбие, алчность, честолюбие, преступные инстинкты. В общем, любая жажда сильнее смерти (конечно, жажда смерти — исключение). Правда, я бы не решился утверждать, что любовь в большей мере, чем все перечисленное, сильнее смерти. Даже в тех случаях, когда кажется: вот любовь, которая сильнее смерти, на самом деле нами владеет так называемый боваризм, свойственный французам. Это сентиментализм, входящий ко временам мадам Бовари, заставляющий нас воображать себя тем самым легендарным любовником.

АД

Жизнь — нечто еще более адское, чем сам ад. Муки в аду не идут вразрез с установленными законами. Например, муки в мире голодных духов заключаются в том, что стоит грешнику попытаться съесть появившуюся перед ним еду, как над ней вспыхивает огонь. Но муки, ниспосылаемые жизнью, к несчастью, не так примитивны. Иногда стоит нам попытаться съесть появившуюся перед нами еду, как над ней вспыхивает огонь, но иногда совершенно неожиданно можно и поесть в свое удовольствие. А случается и такое, что, поев с наслаждением, заболелаешь катаром, в другой же раз неожиданно, к своему удовольствию, легко перевариваешь пищу. К такому миру, где не существует законов, нелегко привыкнуть. Мне кажется, попав в ад, я смогу улучшить момент и стащить еду в мире голодных духов. А уж если проживу два-три годика на игольчатой горе или в море крови и пообвыкну, то совсем уж не буду испытывать особых мук, шагая по иглам, пlying в крови.

СКАНДАЛЫ

Обыватели любят скандалы. Скандальная история с Белой Лилией, скандальная история с Арисимой, скандальная история с Мусякодзи — обыватель следит за ними с невыразимым удовольствием. Почему же обыватели так любят скандалы, особенно скандалы, в которых замешаны известные люди? Гурмон отвечает на это так:

«Причина в том, что эти скандалы позволяют представлять наши собственные, которые мы тщательно скрываем как нечто естественное».

Ответ Гурмона абсолютно точен. Но недостаточно полон. Ординарные люди, неспособные устроить даже скандала, видят в скандалах вокруг знаменитых людей прекрасное оружие для оправдания собственного малодушия. И в то же время видят прекрасный пьедестал, чтобы воздвигнуть свое несуществующее превосходство. «Я не такая красавица, как Белая Лилия. Но зато добродетельнее, чем она». «Я не столь талантлив, как Арисима. Но зато лучше, чем он, знаю лю-

дей». «Я не столь... как Мусякодзи, но...» — сказав это, счастливый обыватель крепко засыпает, как удовлетворенная свинья.

О ТОМ ЖЕ

Одна из отличительных черт гения — способность устраивать скандалы.

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Общественное мнение всегда самосуд, а самосуд всегда развлечение. Даже если вместо пистолета прибегают к газетной статье.

О ТОМ ЖЕ

Существование общественного мнения оправдывается хотя бы удовольствием попирать общественное мнение.

ВРАЖДЕБНОСТЬ

Враждебность сравнима с холодом. Будучи умеренной, она бодрит и к тому же многим необходима для сохранения здоровья.

УТОПИЯ

Совершенная утопия не появляется в основном по следующей причине. До тех пор пока не изменится человеческая натура, совершенная утопия появиться не может. А если человеческая натура изменится, утопия, казавшаяся совершенной, сразу же будет восприниматься как несовершенная.

ОПАСНЫЕ МЫСЛИ

Опасные мысли — это мысли, заставляющие шевелить мозгами.

ЗЛО

Молодой человек, являющийся художественной натурой, позже всех обнаруживает «людское зло».

НИНОМИЯ СОНТОКУ

Я до сих пор помню описанную в школьной хрестоматии историю о детских годах Ниномия Сонтoku. Родившись в бедной семье, Сонтoku днем помогал родителям в их крестьянском труде, а вечерами плел соломенные сандалии — в общем, работал как взрослый и в то же время усердно занимался самообразованием. Это весьма трогательная история, как любое повествование о человеке, выбившемся в люди, — такие истории можно найти в любой повести для массового читателя. Меня, не достигшего еще и пятнадцатилетнего возраста, глубоко взволновала сила духа Сонтoku, и даже пришла в голову мысль: как мне не повезло, что я не родился в такой бедной семье, как он...

Однако эта история о человеке, выбившемся в люди, вместо того чтобы прославить Сонтoku, позорит его родителей. Ведь они палец о палец не ударили, чтобы дать образование сыну. Наоборот, препятствовали этому. Так что с точки зрения родительской ответственности они явно вели себя позорно. Но наши родители и учителя простодушно забыли об этом. Они были убеждены, что родители Сонтoku могли быть хоть пьяницами, хоть игроками — неважно. Речь ведь не о них, а о Сонтoku. Он же, невзирая на трудности и лишения, не покладая рук занимался самообразованием. Мы, дети, должны были воспитать в себе непреклонную волю Сонтoku.

Я испытываю к эгоизму родителей Сонтoku нечто близкое восхищению. Действительно, у них оказался очень удачный сын — мальчик, помимо всего прочего, был им еще и слугой. Более того, добившись впоследствии великого почета, он тем самым прославил отца и мать — это уж удача так удача. Но меня, не достигшего еще и пятнадцатилетнего возраста, глубоко взволновала

сила духа Сонтоку, и мне даже пришла в голову мысль: как мне не повезло, что я не родился в такой бедной семье, как он. Обычное дело — раб, скованный цепью, жаждет, чтобы она была потолще.

РАБСТВО

Уничтожить рабство — значит уничтожить рабское сознание. Но нашему обществу без рабства и дня не просуществовать. Не случайно даже республика Платона предполагала существование рабства.

О ТОМ ЖЕ

Назвать тирана тираном всегда было опасно. Но сегодня не менее опасно называть раба рабом.

ТРАГЕДИЯ

Трагедия — это когда вынужден заниматься делом, которого стыдишься. Следовательно, объединяющая все человечество трагедия — отправление нужды.

СИЛЬНЫЙ И СЛАБЫЙ

Сильный боится не врага, а друга. Он бестрепетно повергает врага, но, как слабый ребенок, испытывает страх непреднамеренно ранить друга.

Слабый боится не друга, а врага. Поэтому ему повсюду чужды враги.

РАЗУМНЫЙ S.M.

Вот что я говорил своему другу S.M.

Заслуга диалектики. В конечном счете заслуга диалектики состоит в том, что она вынуждена прийти к выводу, что все на свете — глупость.

Девушка. Напоминает тянущееся откуда хватает глаз прозрачно-холодное мелководье.

Раннее образование. Хм, оно прекрасно. Освобождает от ответственности за то, что ребенок еще в детском саду узнает, сколько горя приносит человеку ум.

Воспоминания. Это далекий пейзаж на горизонте, причем уже несколько упорядоченный.

Женщина. Судя по словам Мэри Стопс, женщина настолько верна мужу, что по крайней мере раз в две недели испытывает к нему влечение.

Юношеские годы. В юности меланхолия проистекает от несокомерия ко всему на свете.

Горести делают человека умным. Если умным человека делают горести, то осторожный человек в своей ординарной жизни никогда не станет умным.

Как мы должны жить. Так, чтобы оставить для себя хотя бы частицу непознанного мира.

ОБЩЕНИЕ

Любое общение само по себе требует неискренности. До конца раскрыть свою душу приятелям без тени неискренности — значит неизбежно порвать отношения, даже с самым закадычным другом. Закадычный друг — в той или иной мере это можно сказать о каждом из нас — ненавидит или презирает своего приятеля, даже самого задушевного. Правда, ненависть перед лицом выгоды теряет свою остроту. А само презрение порождает, естественно, неискренность. Поэтому, чтобы сохранить задушевные отношения со своими приятелями, нужно максимальное уравновешивание презрения и выгоды. Но это не каждому дано. Иначе как бы появлялись в давние времена благовоспитанные, благородные люди и как бы в столь же давние времена в мире царил золотой век, не знавший войны?

МЕЛОЧИ

Чтобы сделать жизнь счастливой, нужно любить повседневные мелочи. Сияние облаков, шелест бамбука, чирикание стайки воробьев, лица прохожих — во всех этих повседневных мелочах нужно находить высшее наслаждение.

Чтобы сделать жизнь счастливой? Но ведь те, кто любит мелочи, из-за мелочей всегда страдают. Лягушка, прыгнувшая в заросший пруд в саду, нарушила вековую печаль. Но лягушка, выпрыгнувшая из заросшего пруда, может быть, вселила вековую печаль. Все-таки жизнь Басё была полна наслаждений, но в глазах окружающих его жизнь была полна страданий. Так и мы — чтобы наслаждаться самым малым, должны страдать от самого малого.

Чтобы сделать жизнь счастливой, нужно страдать от повседневных мелочей. Сияние облаков, шелест бамбука, чирикание стайки воробьев — во всех этих повседневных мелочах нужно видеть и муки ада.

БОГИ

Из всего присущего богам наибольшее мое сочувствие вызывает то, что они не могут покончить жизнь самоубийством.

О ТОМ ЖЕ

Мы находим массу причин поносить богов. Но, как это ни печально, японцы не верят и в заслуживающего поношения всемогущего бога.

НАРОД

Народ — умеренный консерватор. Общественный строй, идеи, искусство, религия — чтобы народ полюбил их, нужно, чтобы на них был налет старины.

О ТОМ ЖЕ

Понять, что народ глуп, — этим гордиться не стоит. Но понять, что мы сами и есть народ, — вот этим стоит гордиться.

О ТОМ ЖЕ

Древние причисляли к великим принципам государства — сделать народ глупым. Но лишь настолько, чтобы не потерять возможность сделать его еще глупее. Или чтобы не потерять возможность сделать его и мудрым.

СЛОВА ЧЕХОВА

Чехов в одном из своих писем так рассуждает о различии между мужчиной и женщиной. Женщина, старея, все больше занимается женскими делами, а мужчина, старея, все больше отходит от женских дел.

Но эти слова Чехова равносильны заявлению, что мужчины и женщины, старея, перестают интересоваться отношениями между полами. Но ведь это известно и трехлетнему ребенку. Более того, слова Чехова указывают не столько на существование различия между мужчиной и женщиной, сколько на то, что такое различие отсутствует.

ОДЕЖДА

Одежда женщины — часть ее самой. Кэйкити не поддался искушению, разумеется, благодаря присущей ему нравственности. Но нужно вспомнить, что женщина, искушавшая Кэйкити, надела одежду его жены. Если бы она этого не сделала, то, видимо, вообще не смогла бы его соблазнить.

Примечание. См. повесть Кикуги Кана «Искушение Кэйкити».

ПОКЛОНЕНИЕ ДЕВСТВЕННОСТИ

Сколько комических поражений терпели мы, когда, выбирая жену, заботились главным образом о том, чтобы

она была девственницей. А ведь женитьба — самое подходящее время, чтобы отказаться от поклонения девственности.

О ТОМ ЖЕ

Поклонение девственности может начаться лишь после того, как убедишься в ней. Здесь чувству предпочитают ничтожные знания. Поэтому поклонников девственности можно с полным основанием назвать высокомерными учеными, чуждыми любви. Возможно, не случайно и то, что поклонники девственности с такой серьезностью занимаются ее выявлением.

О ТОМ ЖЕ

Разумеется, поклонение девушке совсем другое, чем поклонение девственности. Люди, считающие эти понятия синонимическими, слишком недооценивают артистический талант женщин.

ПРАВИЛА ПРИЛИЧИЯ

Одна школьница как-то спросила моего приятеля: целуясь, нужно закрывать глаза или можно оставлять их открытыми? Я вместе с этой школьницей очень сожалею, что в школе не преподают правил приличия в любви.

КАИБАРА ЭККЭН

В школьные годы я читал разные поучительные истории о Каибаре Эккэне. Однажды он плыл на пароме с каким-то незнакомым студентом. Студент, словно гордясь своими познаниями, самоуверенно рассуждал о разных науках. Эккэн, не перебивая, внимательно слушал его. Тем временем паром пристал к берегу. Тогда было принято, чтобы пассажиры, сходя с судна, сообщали свое имя. Тут студент узнал, что разговаривал с великим конфуцианцем, и, смутившись, стал из-

виняться за свою неучтивость. Вот такую поучительную историю я однажды прочел.

В то время из этой истории я понял, что скромность — важная добродетель. Во всяком случае, старался это понять. Но теперь, как это ни печально, не вижу в ней ничего поучительного. Теперь эта история воспринимается мной с некоторым интересом лишь потому, что я думаю о ней так:

1. Как саркастично было презрительное молчание Эккэна!

2. Как вульгарны были аплодисменты пассажиров, радовавшихся, что студент пристыжен!

3. Как трепетно бился в рассуждениях юного студента дух нового времени, неведомый Эккэну!

ЗАЩИТИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ

Один критик устойчивое выражение «расставлять перед домом сети для ловли птиц», имея в виду заброшенность дома, употребил в смысле «кишмя кишеть». Выражение «расставлять перед домом сети для ловли птиц» изобретено китайцами. Нет, разумеется, такого закона, что в употреблении этого выражения японцы должны слепо следовать за китайцами. Можно, например, употребить его образно: «Улыбка этой женщины напоминала расставленные перед домом сети для ловли птиц». Конечно, если такое толкование этого выражения привьется. Если привьется.

Все зависит от непредсказуемого «привьется». Разве не то же самое «роман о себе»? «Ich-Roman» означает роман от первого лица. Причем тот, кто именуется «я», совсем не обязательно должен быть самим автором. Но в японском «романе о себе» в качестве «я» обычно выступает сам автор. Иногда, правда, такой роман выглядит как история жизни самого автора, а роман, написанный от третьего лица, нередко именуется «романом о себе». Я уверен, что это новый пример игнорирования словопотребления, принятого у немцев или европейцев вообще. Выражение «расставлять перед домом сети для ловли

птиц», возможно, тоже явилось новым примером такого же рода.

Было бы неверным утверждать, что критик, которого я упоминал, недостаточно эрудирован. Только было бы слишком поспешным выискивать новые примеры, забыв о ходе времени. Критик не должен обижаться на подшучивания — всякий пионер обязан довольствоваться не очень-то сладкой судьбой.

Границы

Даже гений скован трудно преодолимыми границами. Обнаружение этих границ не может не вызывать некоторую печаль. Но незаметно вызывает и обратное чувство — удовлетворение. Словно познал, что бамбук — это бамбук, плющ — это плющ.

МАРС

Спрашивать, есть ли люди на Марсе, равносильно тому, чтобы спрашивать, есть ли там люди, существование которых можно ощутить с помощью наших пяти чувств. Однако жизнь далеко не всегда протекает в условиях, позволяющих ощутить ее таким образом. Если предположить, что марсиане существуют вне достижимости наших пяти чувств, то, не исключено, и сегодня вечером они разгуливают по Гиндзе под тронутыми осенней желтизной платанами.

Мечты Бланки

Вселенная бесконечна. Ее образуют примерно шестьдесят элементов. Но как бы много соединений этих элементов ни существовало, количество их не бесконечно; чтобы создать из таких элементов бесконечную вселенную, необходимо не только испробовать все возможные соединения, но и изменять их. Таким образом, и наша обитаемая Земля — Земля, являющаяся одним из соединений этих элементов, — не есть единственная подобная планета Солнечной системы, число

их бесконечно. Наполеон на Земле одержал выдающуюся победу в сражении при Маренго. Но, не исключено, на какой-то другой планете, обращающейся на другом неведомом небе, Наполеон потерпел сокрушительное поражение в сражении при Маренго...

Такова выстроенная в мечтах космология шестидесяти-семилетнего Бланки. Ставить под вопрос правильность его точки зрения я не собираюсь. Жаль только, что, описывая свои мечты в тюремной камере, он разочаровался во всех революциях.

Сегодня это вселяет в наши сердца печаль. Мечты уже покинули Землю. Теперь, в поисках утешения, нам нужно обратиться к бескрайним далям, отстоящим от нас на многие миллиарды миль, — ко второй Земле, погруженной в космическую ночь.

Посредственность

Посредственное произведение, даже внешне монументальное, похоже на комнату без окон. Оно ни в малейшей мере не отвечает требованиям жизни.

Остроумие

Остроумие — это мысль, лишенная силлогизма. Так называемая мысль остроумцев — это силлогизм, лишенный мысли.

О том же

Неприятие остроумия коренится в усталости людей.

Политические деятели

Знания в области политики, которыми больше, чем мы, могут гордиться политические деятели, — это знания самых разнообразных фактов. И знания эти, как правило, сводятся лишь к тому, какую шляпу носит некий лидер некоей партии.

О ТОМ ЖЕ

Так называемые «доморощенные политики» такими знаниями не располагают. Но если говорить об их проницательности, то в этом они не уступают политическим деятелям. И, как правило, значительно превосходят их в пылкости, не преследующей цели извлечения каких-то выгод.

ФАКТЫ

Как любят люди знать самые разные факты! Больше всего их интересует не то, что такое любовь. Их интересует, был ли Христос незаконнорожденным.

СТРАНСТВУЮЩИЕ ВОИНЫ

Раньше я думал, что странствующий воин вступал в бой с первым встречным фехтовальщиком, чтобы оттачивать свое военное искусство. Но сейчас понимаю, что на самом деле целью было доказать — на всем свете нет человека сильнее меня. (После прочтения биографии Мусаси Миямото.)

ГЮГО

Это огромный ломоть хлеба, покрывающий всю Францию. Но почти без масла.

ДОСТОЕВСКИЙ

Романы Достоевского изобилуют карикатурными образами. Правда, большинство повергнет в уныние и дьявола.

ФЛОБЕР

Флобер научил меня тому, что и скука может быть прекрасной.

МОПАССАН

Мопассан напоминает лед. А иногда — леденец.

ПО

Прежде чем создать сфинкса, По изучил анатомию. Именно в этом сокрыта тайна, как ему удалось потрясти грядущие поколения.

ЛОГИКА ОДНОГО КАПИТАЛИСТА

«Художники продают произведения искусства, я продаю консервы из крабов — и не вижу никакой разницы. Но художники считают свои творения мировыми сокровищами. Следуя их примеру, я должен был бы бахвалиться консервами из крабов, по шестьдесят сэн банка.

За свои шестьдесят лет я, недостойный, ни разу в жизни не позволил себе такого дурацкого самодовольства, как художники».

КРИТИКА. САСАКИ МОСАКУ-КУНУ

Ясное утро. Мефистофель, обратившись в доктора, читает в университете лекцию о критике. Разумеется, это не «Критика» Канта. Это учение о том, как разбирать произведения прозы и драматургии.

«Друзья, думаю, вы поняли, о чем я рассказывал на прошлой неделе, и сегодня мы сделаем следующий шаг. Я познакомлю вас с «методом полуодобрения». Что означает «метод полуодобрения»? Это метод, позволяющий полуодобрить то или иное художественное произведение, что следует из самого названия. Однако «полу» должно быть «худшей половиной». Одобрять «лучшую половину» таким методом чрезвычайно опасно. Попробуйте использовать предложенный мной метод в отношении цветов японской сакуры. «Лучшая половина» цветов сакуры заключается в прелести цвета и формы. Но для того чтобы пользоваться моим методом, необходимо одобрить не столько «лучшую», сколько «худшую половину» — то есть запах цветов сакуры. И это позволит прийти к заключению, что «запах действительно есть. Но не более того». Ждет ли нас провал, если вдруг вместо «худшей» нам придется одобрять «лучшую половину»? Нет. По-

слушаем: «Цвет и форма действительно прекрасны. Но не более того». Разве такое утверждение способно приуменьшить прелесть цветов сакуры? Отнюдь нет.

Таким образом, главная проблема критики — как признать прозаическое или драматическое произведение. Но вред ли есть необходимость снова говорить об этом.

Далее, по каким критериям следует различать «лучшую» и «худшую» половины? Для решения этой проблемы нужно обратиться к теории ценностей. Ценности, в чем мы давным-давно убеждены, заключены не в самом произведении, а в нашем восприятии, дающем ему оценку. Следовательно, критерием различения «лучшей» и «худшей» половин служит наше восприятие или любовь народа в ту или иную эпоху.

Например, сегодня народ не любит японские букеты. Значит, японские букеты плохи. Сегодня народ любит бразильский кофе. Значит, бразильский кофе, несомненно, хорош. Таким образом, художественная ценность того или иного произведения — его «лучшая» и «худшая» половины должны различаться, исходя из приведенного примера.

Не прибегая к такому критерию, использовать другие — будь то красота, истина или добро — не более чем комичный анахронизм. Вы обязаны выбросить прошлое, как старую соломенную шляпу. Представление о хорошем и плохом не может преодолеть пристрастий, а пристрастия и есть сочетание хорошего и плохого; любовь и ненависть тоже пристрастия — это не просто «метод полуодобрения», а закон, о котором не следует забывать, коль скоро вы решили заниматься критикой.

Итак, в этом и состоит «метод полуодобрения», а теперь мне бы хотелось обратить ваше внимание на слова «не более того». Их нужно употреблять непременно. Во-первых, коль скоро мы говорим «не более того», это значит: одобряем «то», а именно «худшую половину». При этом, во-вторых, мы отрицаем все, кроме «того». Следует также сказать, что слова «не более того» имеют ярко выраженную тенденцию к навязыванию своего мнения. И наконец, весьма деликатный третий момент — сама художественная ценность «того» от-

рицается приведенным выше простым, но не бросающимся в глаза способом. Разумеется, отрицая, мы никогда не должны называть причину отрицания. Отрицание высказывается лишь между строк — именно это и есть самая примечательная особенность слов «не более того». Убить похвалой — вот значение слов «не более того», призванных, якобы одобряя, на самом деле отрицать.

Мне представляется, что предлагаемый «метод полуодобрения» заслуживает гораздо большего доверия, чем «метод полного отрицания», или «метод несбывшихся надежд». Я рассказывал о нем на прошлой неделе, кратко повторю, чтобы напомнить вам основные положения. Это метод, позволяющий полностью отрицать художественную ценность произведения, опираясь на его художественную ценность. Например, отрицая художественную ценность той или иной трагедии, нужно остро критиковать ее за то, что она трагедийна, неприятна, уныла. Можно критиковать и наоборот — ругать за то, что в ней отсутствует счастье, радость, легкость. Вот почему я и называю этот метод также «методом несбывшихся надежд». «Метод полного отрицания», или «метод несбывшихся надежд», не может доставить полного удовлетворения, поскольку иногда вызывает подозрение в пристрастности. В то время как «метод полуодобрения», во всяком случае наполовину, признает художественную ценность произведения, что позволяет легко создать впечатление беспристрастности.

Темой моей очередной лекции будет новое произведение Сасаки Мосаку «Летнее пальто», поэтому прошу вас к следующей неделе разобрать его, используя «метод полуодобрения». (Тут один из юных слушателей задает вопрос: «Сэнсэй, а нельзя ли использовать «метод полного отрицания»?») Нет, с использованием «метода полного отрицания» нужно хотя бы немного повременить. Все-таки господин Сасаки писатель, получивший в последние годы широкую известность. Поэтому ограничимся, я думаю, «методом полуодобрения»...

Через неделю в студенческой работе, получившей высокую оценку, было сказано:

«Написана умело. Не более того».

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ

Весьма сомнительно, что родители способны растить своих детей. Правда, коров и лошадей они растить могут, это верно. Однако воспитывать детей, опираясь на древние обычаи и объясняя их тем, что таковы естественные законы природы, не более чем отговорка, к которой прибегают родители. Если бы любые обычаи можно было оправдать ссылкой на естественные законы природы, то мы должны были бы оправдать и наблюдаемый у первобытных народов обычай похищать невест.

О ТОМ ЖЕ

Любовь матери к ребенку — самая бескорыстная любовь. Однако бескорыстная любовь менее всего помогает растить ребенка. Под влиянием такой любви или, во всяком случае, в основном под ее влиянием ребенок становится либо деспотом, либо ничтожеством.

О ТОМ ЖЕ

Первый акт жизненной трагедии человека начинается с появлением ребенка.

О ТОМ ЖЕ

С давних времен большинство родителей без конца повторяют такие слова: «Я оказался неудачником. Но должен сделать все, чтобы хотя бы мой ребенок добился успеха».

ВОЗМОЖНОСТИ

Мы не можем делать то, что хотим. И делаем лишь то, что можем. Это относится не только к нам как индивидуумам. Но и к нашему обществу в целом. Возможно, и бог не смог сотворить мир таким, каким бы ему хотелось.

СЛОВА МУРА

В записных книжках Джорджа Мура есть такие слова: «Великий художник тщательно выбирает место, где написать свое имя. И никогда не подписывает своих картин на одном и том же месте».

«Никогда не подписывает своих картин на одном и том же месте» — это, разумеется, относится к любому художнику, а не только к великому. Не будем осуждать Мура за такую неточность. Неожиданным показалось мне другое: «Великий художник тщательно выбирает место, где написать свое имя». Среди художников Востока никогда не было такого, кто бы недооценивал выбор места, куда поставить свою фамильную печать. Говорить о необходимости внимательного выбора такого места — трюизм. Думая о Муре, специально написавшем об этом, я не могу отделаться от мысли, как не похожи Восток и Запад.

ВЕЛИЧИНА ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Судить о гениальности произведения в зависимости от его размера — значит допускать материальный подход к его оценке. Величина произведения — это лишь вопрос гонорара. «Портрет старика» Рембрандта я люблю гораздо больше, чем фреску Микеланджело «Страшный суд».

МОИ ЛЮБИМЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Мои любимые произведения — я имею в виду литературные — это произведения, в которых я могу почувствовать автора как человека. Человека со всем, что ему присуще, — мозгом, сердцем, физиологией. Но, как это ни печально, в большинстве своем они калеки. (Правда, великий калека может вызвать наше восхищение.)

ПОСМОТРЕВ «РАДУЖНУЮ ЗАСТАВУ»

Не мужчина охотится за женщиной. Женщина охотится за мужчиной. Шоу рассказал об этом факте в своей пьесе «Чело-

век и сверхчеловек». Но он был не первым, кто это сделал. Я посмотрел «Радужную заставу» с Мэй Ланьфанем и узнал, что в Китае тоже есть драматург, обративший внимание на этот факт. Более того, в «Мыслях о драме», кроме «Радужной заставы», приводится множество пьес о сражениях, которые ведут женщины ради того, чтобы увлечь мужчину.

Героиня из «Горы Дунцзяшань», героиня из «Казни сына у парадных ворот», героиня из «Горы Шуансошань» — все они принадлежат к подобным женщинам. Возьмем, к примеру, Ли Хуа, героиню «Любви к наезднице», — гарцуя на лошади, она не только пленила молодого полководца. Она женила его на себе, принеся при этом извинения его жене. Господин Ху Ши сказал мне: «Исключая «Четырех ученых мужей», я отрицаю художественную ценность всех постановок пекинской оперы. Но все же они глубоко философские». Может быть, философ господин Ху Ши своими словами пытался смягчить свое громоподобное возмущение тем, что эти произведения не обладают достаточной художественной ценностью.

Опыт

Полагаться на один лишь опыт равносильно тому, чтобы полагаться на одну лишь пищу, не думая о пищеварении. В то же время полагаться на одни лишь свои способности, пренебрегая опытом, равносильно тому, чтобы полагаться на одно лишь пищеварение, не думая о пище.

Ахиллес

Утверждают, что у древнегреческого героя Ахиллеса была уязвимой только пятя. Следовательно, чтобы знать Ахиллеса, нужно знать об ахиллесовой пятяе.

Счастье художника

Самый счастливый художник — это художник, получивший славу в преклонные годы. В этом смысле Куникада Доппо отнюдь не несчастный художник.

ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК

Женщина не всегда хочет, чтобы ее муж был добряком. Но мужчина всегда хочет иметь другом доброго человека.

О том же

Добрый человек больше всего похож на бога на небесах. Во-первых, с ним можно поделиться своей радостью. Во-вторых, ему можно поплакаться. В-третьих, есть он или нет — неважно.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ

«Ненавидеть преступление, а не того, кто его совершил» — это не так уж трудно. Большинство детей реализуют этот афоризм в отношении большинства родителей.

Персик и слива

«Хотя персик и слива безмолвны, люди торят тропу между ними», — так говорят мудрецы. Конечно, это неверно; что значит: «Хотя персик и слива безмолвны»? Правильнее сказать: «Поскольку персик и слива безмолвны».

Величие

Народ нередко восхищается величием людей и деяний. Но испокон веку не было такого, чтобы народ любил встречаться с величием.

Объявление

«Сасаки Мосаку-куну» — раздел «Слов пигмея», опубликованных в двенадцатом номере, ни в малейшей степени не свидетельствует о пренебрежении к этому писателю. В нем содержится насмешка над критиком, не признающим его творчества. Объявлять об этом означало бы, по-моему, пренебрегать умственными способностями читателей «Бунгэй сундзю». Меня поразило, что один критик и в самом деле

проявил пренебрежение к Сасаки-куну. Я слышал, что у него уже появились продолжатели. Потому-то я и делаю это краткое объявление. Я не собирался делать его публично. Оно появилось в результате подстрекательства нашего старшего товарища Сатоми Тона-куна. Читателей, возмущенных моим объявлением, прошу обращать свой гнев против Сатоми-куна.

Автор «Слов тигмея»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Опубликованное мной объявление: «Прошу обращать свой гнев против Сатоми-куна» — это, разумеется, шутка. Можете свой гнев против него и не обращать. От безмерного преклонения пред гениальностью всех, кого представляет названный мной критик, я проявил несвойственную мне нервозность.

Он же

ДОПОЛНЕНИЕ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ

В опубликованном мной дополнительном объявлении сказано: «От безмерного преклонения пред гениальностью всех, кого представляет названный мной критик» — это ни в коем случае не ирония.

Он же

ИСКУССТВО

Живопись живет триста лет, каллиграфия — пятьсот, литература бессмертна, сказал Ван Шанчжэн. Но Дунхуанские раскопки показали, что живопись и каллиграфия продолжают жить и через пятьсот лет. А то, что литература бессмертна, — это еще вопрос. Идеи не могут быть неподвластны времени. Наши предки при слове «бог» видели перед собой человека в традиционной церемониальной одежде того времени. А мы при этом слове видим длиннородного европейца. Надо полагать, то же может произойти не только с богом.

О ТОМ ЖЕ

Помню, я как-то увидел портрет кисти Тосю Сяраку. Изображенный на нем человек держал у груди раскрытый веер, на котором — знаменитая зеленая волна Корина. Это, безусловно, усиливало колористический эффект картины в целом. Но, посмотрев в лупу, я увидел не зеленый цвет, а золотой, подернутый патиной. Я ощутил прелесть картины Сяраку — это факт. Но факт и то, что я ощутил иную прелесть, чем та, которую уловил Сяраку. Подобные же изменения в восприятии, несомненно, мыслимы, когда речь идет о литературе.

О ТОМ ЖЕ

Искусство подобно женщине. Чтобы выглядеть привлекательней, оно должно быть в согласии с духовной атмосферой или модой своего времени.

О ТОМ ЖЕ

Более того, искусство всегда в плену у реалий. Чтобы любить искусство народа, нужно знать жизнь этого народа. Чрезвычайный и полномочный посланник Англии сэръ Рутерфорд Оллок, который в храме Годзэндзи подвергся нападению ронинов, воспринимал нашу музыку как какофонию. В его книге «Три года в Японии» есть такие строки: «Поднимаясь однажды по склону, мы услышали пение камышовки, напомилавшее пение соловья. Говорят, петь камышовку научили японцы. Удивительно, если это правда. Ведь японцы сами никогда не учились музыке».

ГЕНИЙ

Гения отделяет от нас всего лишь шаг. Но чтобы понять, что представляет собой этот шаг, нужно постичь некую высшую математику, по которой половина ста ри — девяносто девять ри.

О ТОМ ЖЕ

Гения отделяет от нас всего лишь шаг. Современники обычно не понимают, что этот шаг — тысяча ри. Потомки слепы, чтобы увидеть, что этот шаг — тысяча ри. Современники из-за этого убивают гения. Потомки из-за этого же курят гению фимиам.

О ТОМ ЖЕ

Трудно поверить, что и народ неохотно признает гения. К тому же такое признание всегда весьма комично.

О ТОМ ЖЕ

Трагедия гения в том, что его окружают «скромной, приятной славой».

О ТОМ ЖЕ

Иисус: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали».
Они: «Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали».

Ложь

Не нужно «отдавать свои голоса за тех, кто не защищает наших интересов». Любой республиканский строй утверждает ложь, будто вместо «наших интересов» устанавливаются «государственные интересы». Нужно помнить, что эта ложь не исчезает и при советской власти.

О ТОМ ЖЕ

Взяв две слитые в одну идеи и тщательно исследовав точки их соприкосновения, вы сразу же обнаружите, как много заключено в них лжи. В этом причина того, что любое устойчивое выражение проблематично.

О ТОМ ЖЕ

Не потому ли в нашем обществе всякий высказывающий рациональное суждение делает это на самом деле от нерациональности, потрясающей нерациональностью.

ЛЕНИН

Больше всего меня потрясает то, что Ленин был самым обычным героем.

АЗАРТНАЯ ИГРА

Те, кто борется со случайностью, то есть богом, всегда полны таинственного достоинства. Не составляют исключения и азартные игроки.

О ТОМ ЖЕ

Испокон веку отсутствие среди увлеченных азартной игрой пессимистов показывает, как поразительно схожа азартная игра с жизнью человека.

О ТОМ ЖЕ

Закон запрещает азартные игры не потому, что осуждает перераспределение богатства с их помощью, а лишь потому, что осуждает экономический дилетантизм.

СКЕПТИЦИЗМ

Скептицизм зиждется на некоей вере — вере, что нет сомнения в сомнении. Возможно, здесь кроется противоречие. Но скептицизм в то же время сомневается в том, что может существовать философия, основанная на вере.

ПРАВДИВОСТЬ

Став правдивым, мы обнаружим, что не каждый способен на это. Вот почему мы испытываем страх, решив быть правдивым.

ЛЖИВОСТЬ

Я знал одну лгунью. Она была счастливее всех. Но все считали, что она лжет, даже когда говорила правду, потому что лгала слишком искусно. Именно это в глазах окружающих было, несомненно, самой большой ее трагедией.

О ТОМ ЖЕ

Я тоже, как всякий художник, искусен во лжи. Но никогда не мог угнаться за лгуньей. Она помнила свою ложь многолетней давности, словно солгала пять минут назад.

О ТОМ ЖЕ

Как ни прискорбно, но мне известно и другое. Бывает правда, о которой можно рассказать только с помощью лжи.

ГОСПОДА

Господа, вы боитесь, что благодаря искусству молодежь деградирует. Прошу вас, успокойтесь. Она деградирует не так быстро, как вы.

О ТОМ ЖЕ

Господа, вы боитесь, что искусство отравляет народ. Но я прошу вас, успокойтесь. Уж вас-то искусству не отравить. Не отравить вас, неспособных понять прелесть искусства двухтысячелетней давности.

ПОКОРНОСТЬ

Покорность — это романтическое раболепие.

ЗАМЫСЕЛ

Создавать что-либо не обязательно должно быть трудно. Но желать всегда трудно. Во всяком случае, желать то, что заслуживает быть созданным.

О ТОМ ЖЕ

Желающие узнать свои достоинства и недостатки должны основываться на сделанном ими и посмотреть, что они собираются сделать в будущем.

СОЛДАТ

Идеальный солдат должен безоговорочно подчиняться приказу командира. Безоговорочно подчиняться — значит безоговорочно отказаться от критики. Следовательно, идеальный солдат должен прежде всего потерять разум.

О ТОМ ЖЕ

Идеальный солдат должен безоговорочно подчиняться приказу командира. Безоговорочно подчиняться — значит безоговорочно отказаться от того, чтобы брать на себя ответственность. Следовательно, идеальный солдат должен предпочитать безответственность.

ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Военное образование не более чем передача знаний в области военной терминологии. Другие знания и навыки могут быть получены и помимо военного образования. Действительно, разве в военных и военно-морских школах не работают специалисты в области механики, физики, прикладной химии, языка? Это само собой разумеется, а кроме того, там работают и специалисты по кэндо, дзюдо, плаванию. К тому же, если вдуматься, сама военная терминология, в отличие от научной, является общеупотребительной. Таким образом, можно с полным основанием утверждать, что военного образования в чистом виде фактически не существует. И нельзя выдвигать в качестве проблемы то, чего фактически не существует.

БЕРЕЖЛИВОСТЬ И ВОИНСТВЕННОСТЬ

Нет ничего более бессмысленного, чем выражение «бережливость и воинственность». Воинственность — это расточительность в международном масштабе. Действительно, разве не расходуют великие державы огромные средства на вооружение? И если не хочешь выглядеть идиотом, лучше перефразировать это выражение так: «бережливость и расточительность».

Японцы

Думать, что мы, японцы, еще две тысячи лет назад были верны императору и почитали родителей, все равно что думать, будто бог Сарудахико употреблял косметику. Может быть, вообще пересмотреть все исторические факты?

Японские пираты

Японские пираты доказали, что и мы, японцы, вполне способны быть на равных с великими державами. В грабежах, резне, развороте мы нисколько не уступали испанцам, португальцам, голландцам, англичанам, приплывшим к нам в поисках «Золотого острова».

«Записки от скуки»

Меня часто спрашивают: «Вам, конечно, нравятся «Записки от скуки»?» Но, как это ни прискорбно, они никогда не доставляли мне удовольствия. Честно говоря, я не понимаю, что снискало этому произведению столь большую известность. Хотя и признаю, что оно вполне подходит как учебник для средней школы.

Симптом

Один из симптомов любви — неотступная мысль о том, скольких она любила в прошлом, и чувство смутной ревности к этим воображаемым «скольким».

О ТОМ ЖЕ

Еще один симптом любви — острое желание находить похожих на нее.

ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ

Мысль о смерти, которую вызывает любовь, как мне кажется, имеет в своей основе теорию эволюции. Самки пауков и пчел сразу же после оплодотворения жалят и убивают самцов. Слушая оперу «Кармен» в исполнении итальянской труппы, я в каждом движении Кармен видел пчелу.

ЗАМЕНА

Любя женщину, мы нередко вступаем в связь с другой, которая служит ей заменой. И часто делаем это совсем не потому, что любимая отвергла нас. Иногда малодушие, иногда эстетика не позволяют нам ограничиться одной женщиной для наших жестоких развлечений.

ЖЕНИТЬБА

Женитьба — эффективное средство регулирования чувственности. Но она не может служить столь же эффективным средством регулирования любви.

О ТОМ ЖЕ

Женившись, когда ему было за двадцать, он после этого ни разу не влюблялся. Как это вульгарно!

БОЛЬШАЯ ЗАНЯТОСТЬ

От любовных приключений нас спасает не рассудок, а скорее слишком большая занятость. Чтобы полностью отдаваться любви, прежде всего необходимо время. Вспомните любовников прошлого — Вертера, Ромео, Тристана, — все это люди праздные.

МУЖЧИНА

Настоящему мужчине работа всегда была дороже любви. Если сомневаетесь в этом, прочтите письма Бальзака. Он писал графине Ганской: «Если б это письмо обратить в рукопись, сколько франков оно стоило бы!»

ХОРОШИЕ МАНЕРЫ

Давным-давно к нам домой приходила парикмахерша, у нее была дочь. Я до сих пор помню бледное личико этой девочки лет двенадцати. Парикмахерша строго следила за ее манерами. Она наказывала дочь всякий раз, когда та лежала на татами, не подложив под голову валик. А недавно мне рассказали, что незадолго до землетрясения эта девушка стала гейшей. Узнав об этом, я, естественно, пожалел девушку, но в то же время не мог сдержать улыбку. Став гейшей, она, несомненно, следуя строгим поучениям матери, подкладывает под голову валик.

СВОБОДА

Свободы хотят все. Но так кажется только со стороны. На самом же деле в глубине души свободы не хочет никто. Разве не доказывается это тем, что даже бандит, который, нисколько не колеблясь, лишит жизни любого, будет утверждать, что убил человека только во имя блага государства? Однако свобода — это отсутствие всяких ограничений, то есть возможность считать ниже своего достоинства разделить ответственность за что бы то ни было, будь то бог, будь то нравственность, будь то общественные традиции.

О ТОМ ЖЕ

Свобода подобна горному воздуху. Для слабых она непереносима.

О ТОМ ЖЕ

Видеть свободу — все равно что зреть лик божий.

О ТОМ ЖЕ

Свободомыслие, свободная любовь, свободная торговля — в бокал каждой из этих «свобод» влито довольно много воды. К тому же воды несвежей.

СЛОВО И ДЕЛО

Чтобы считаться человеком, у которого слово не расходится с делом, нужно достичь совершенства в умении оправдываться.

УЛОВКА

Даже если бы существовал мудрец, не обманувший в своей жизни ни одного человека, нет мудреца, не обманывавшего человечество. Самая действенная уловка буддийского священника — духовный макиавеллизм.

ИСКУССТВО ДЛЯ ИСКУССТВА

Рьяные поборники искусства для искусства в большинстве своем импотенты в искусстве. Подобно тому, как рьяные националисты в большинстве своем люди, лишённые родины. Никому из нас не нужно то, что мы уже имеем.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ

Если бы каждый прозаик должен был изображать жизнь, основываясь на историческом материализме Маркса, то поэт должен был бы воспевать солнце и луну, горы и реки, основываясь на гелиоцентрической теории Коперника. Вместо слов «Солнце утонуло на западе» сказать: «Земля повернулась на столько-то градусов, столько-то минут». Вряд ли это можно назвать изящной словесностью.

КИТАЙ

Личинка светлячка, поедая улитку, никогда не убивает ее до конца. Она лишь парализует ее, чтобы все время иметь для еды свежее мясо. Позиция нашей японской империи, а также и других держав в отношении Китая ничем, собственно, не отличается от позиции светлячка в отношении улитки.

О ТОМ ЖЕ

Самая большая трагедия нынешнего Китая состоит в том, что у националистических романтиков, то есть у «Молодого Китая», нет человека, подобного Муссолини, который был бы способен дать им железное воспитание.

РОМАН

Правдоподобный роман не тот, в котором просто мало случайностей в развитии событий. Это роман, в котором случайностей меньше, чем в жизни.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Словам в литературном произведении должна быть придана красота большая, чем та, которой они обладают в словаре.

О ТОМ ЖЕ

Все они, как Тёгю, заявляют: «Стиль — это человек». Но каждый из них в глубине души считает: «Человек — это стиль».

ЛИЦО ЖЕНЩИНЫ

Странно, но лицо женщины, охваченной страстью, становится как у молоденькой девушки. Правда, эта страсть может быть обращена и к зонтику.

ЖИТЕЙСКАЯ МУДРОСТЬ

Поджигать гораздо легче, чем тушить. Эту житейскую мудрость исповедовал герой «*Bel ami*»¹. Не успев завести любовницу, он начинал обдумывать, как порвать с ней:

О ТОМ ЖЕ

Житейская мудрость учит не страдать от недостатка пылкости. Гораздо опаснее недостаток холодности.

МАТЕРИАЛЬНОЕ БОГАТСТВО

Лишенный материального богатства лишен и богатства духовного — так было в двухтысячелетней древности. Сегодня иначе — обладающие материальным богатством лишены богатства духовного.

ОНИ

Я всегда изумлялся, в каком согласии живут эти супруги, не любя друг друга. А они изумляются, в каком согласии умирают влюбленные пары.

СЛОВА, РОЖДЕННЫЕ ПИСАТЕЛЕМ

«Трясется», «бездельник высшей марки», «бравлирующий пороками», «избитый» — все эти слова и выражения ввел в литературу Нацумэ-сэнсэй. Подобные слова, рожденные писателем, появлялись и после него. Самый последний пример — выражения, рожденные Кумэ Масао: «кривоулыбчивость», «упорное малодушие». Уно Кодзи придумал выражение «трижды и более». Мы снимаем шляпу обычно произвольно. Но иногда снимаем ее совершенно сознательно перед человеком, которого считаем своим врагом, чудовищем или мерзким типом. И совсем не случайно в статье, ругавшей одного писателя, использованы выражения, созданные самим писателем.

¹ «Милый друг» (франц.).

ДЕТИ

Почему мы любим маленьких детей? Главная причина в том, что мы можем не опасаться обмана только с их стороны.

О ТОМ ЖЕ

Мы не стыдимся открыто продемонстрировать свое равнодушие и свою глупость лишь перед маленькими детьми или перед собакой и кошкой.

ИКЭ ТАЙГА

«О Тайга судят по тому, что он был довольно беспечным человеком, чуждался людей и даже после женитьбы на Гёкуруан оставался в неведении о супружеских отношениях.

История о том, что Тайга, женившись, не знал, что представляют собой супружеские отношения, интересна тем, что показывает, насколько он был не от мира сего, но можно сказать, что это была глупейшая, лишенная здравого смысла история».

Как показывает приведенная цитата, и сегодня еще среди художников и историков искусства остались люди, верящие в это. Возможно, Тайга, женившись на Гёкуруан, и не вступил с ней в супружеские отношения, но тот, кто на этом основании верит, будто ему были неведомы такие отношения, должно быть, страдает повышенной чувственностью и убежден, что, зная о существовании такого рода отношений, нельзя не вступить в них.

ОГЮ СОРАЙ

Жаль, что Огю Сорай, жуя поджаренные бобы, поносил древних. И хотя я был убежден, что он ел поджаренные бобы из экономии, зачем нужно было поносить древних, понять не мог. Но теперь я пришел к мысли: ругать древних было гораздо безопаснее, чем современников.

ПИСАТЕЛЬ

Чтобы заниматься сочинительством, прежде всего необходим творческий пыл. А чтобы зажечь в себе творческий пыл, прежде всего необходимо здоровье. Пренебрегать шведской гимнастикой, вегетарианством, диастазой может лишь тот, у кого нет намерения заниматься сочинительством.

О ТОМ ЖЕ

Решивший заняться сочинительством, каким бы горожанином до мозга костей он ни был, должен в душе превратиться в варвара.

О ТОМ ЖЕ

Стыдиться себя тому, кто решил заняться сочинительством, — грешно. В душе человека, стыдящегося себя, не появятся ростки самобытности.

О ТОМ ЖЕ

Сороконожка: Попробуй походить.

Бабочка: Хм, попробуй полетать.

О ТОМ ЖЕ

Изыщество заключено в затылке писателя. Сам он увидеть его не способен. А если и попытается увидеть, то сломает себе шею.

О ТОМ ЖЕ

Критик: Ты ведь пишешь только о людях труда, верно?

Писатель: А существует ли человек, способный писать обо всем?

О ТОМ ЖЕ

Во все времена гений вешал свою шляпу на гвоздь, до которого нам, простым смертным, не дотянуться. И не потому, что не смогли найти скамеечку.

О ТОМ ЖЕ

Таких скамеечек сколько угодно в лавке старьевщика.

О ТОМ ЖЕ

Любой автор в некотором смысле обладает гордостью столяра. Но в этом нет ничего зазорного. Любой столяр в некотором смысле обладает гордостью автора.

О ТОМ ЖЕ

Более того, любой автор в некотором смысле владеет лавкой. Как, я не продаю своих произведений? Это только когда ты их не покупаешь. Или когда я могу и не продавать.

О ТОМ ЖЕ

Счастье актеров и певцов в том, что их произведения не остаются — можно думать и так.

ЗАЩИТА

Защищать себя гораздо труднее, чем других. Сомневающиеся — посмотрите на адвоката.

ЖЕНЩИНА

Здравый рассудок приказывает: «Не приближайся к женщинам».

Но здравый инстинкт приказывает прямо противоположное: «Не избегай женщин».

О ТОМ ЖЕ

Женщина для нас, мужчин, поистине сама жизнь. Например, она источник всех зол.

РАССУДОК

Я презираю Вольтера. Если отдаться во власть рассудка, это станет истинным проклятием всего нашего существования. Но в нем находил счастье автор «Кандида», опьяненный всемирной славой!

ПРИРОДА

Причина, почему мы любим природу, по крайней мере одна из причин, заключается в том, что природа не ревнует и не обманывает, как мы, люди.

ЖИТЕЙСКАЯ МУДРОСТЬ

Важнейшая заповедь житейской мудрости — жить так, чтобы, презирая социальные условности, не вступать в противоречия с социальными условностями.

ПОКЛОНЕНИЕ ЖЕНЩИНЕ

Гёте, поклонявшийся той, которая «навсегда осталась женщиной», был поистине одним из счастливейших людей. А Свифт, презиравший самок йеху, умер безумцем. Не было ли это проклятием женщин? Или проклятием разума?

РАЗУМ

Разум позволил мне понять бессилие разума.

СУДЬБА

Судьба не столько случайность, сколько необходимость. Слова «Судьба заключена в характере» родились не от ее игнорирования.

ПРОФЕССОРА

Пользуясь медицинской терминологией, можно сказать, что профессора, читая лекции по литературе, должны быть клиницистами. А они никогда не могли нащупать пульса жизни. Некоторые же из них, сведущие в английской и французской литературе, плохо осведомлены о родной.

ЕДИНСТВО ЗНАНИЙ И МОРАЛИ

Мы не знаем даже самих себя. Нам трудно подступить к тому, что мы знаем. Метерлинк, написавший «Мудрость и судьбу», не знал, ни что такое мудрость, ни что такое судьба.

ИСКУССТВО

Самое трудное искусство — жить свободно. Правда, «свободно» не означает «бесстыдно».

СВОБОДОМЫСЛЯЩИЕ

Слабость свободомыслящих состоит в том, что они свободомыслящие. Они не готовы, как фанатики, к жестоким сражениям.

СУДЬБА

Судьба — дитя раскаяния. Или раскаяние — дитя судьбы.

ЕГО СЧАСТЬЕ

Его счастье в том, что он необразован. В то же время его несчастье в том... о-о, как все это скучно!

ПРОЗАИК

Самый лучший прозаик — «умудренный жизнью поэт».

СЛОВО

Любое слово, подобно монете, имеет две стороны. Например, одна из сторон слова «чувствительный» — «трусливый», не более того.

КРЕДО МАТЕРИАЛИСТА

«Я не верю в бога. Но верю в нервы».

ИДИОТ

Идиот всех, кроме себя, считает идиотами.

ЖИТЕЙСКИЙ ТАЛАНТ

«Ненавидеть» — один из житейских талантов.

ПОКАЯНИЕ

В старину люди каялись перед богом. Сегодня люди каются перед обществом. Видимо, никто, за исключением идиотов и негодяев, не может без покаяния превозмочь тяготы жизни.

О ТОМ ЖЕ

Но насколько можно верить таким покаяниям — это уже другой вопрос.

ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ «НОВОЙ ЖИЗНИ»

Была ли на самом деле эта «новая жизнь»?

ТОЛСТОЙ

Прочитав «Биографию Толстого» Бирюкова, понимаешь, что «Моя исповедь» и «В чем моя вера» — ложь. Но ничье

сердце не страдало, как сердце Толстого, рассказывавшего эту ложь. Его ложь кровоточила сильнее, чем правда иных.

ДВЕ ТРАГЕДИИ

Трагедией жизни Стриндберга была «открытость». Трагедией жизни Толстого, как это ни прискорбно, не была «открытость». Поэтому жизнь последнего закончилась трагедией, еще большей, чем у первого.

СТРИНДБЕРГ

Он знал все. И при этом беззастенчиво выставлял эти свои знания напоказ. Беззастенчиво... Нет, как и мы, с определенным расчетом.

О ТОМ ЖЕ

Стриндберг в своих «Легендах» рассказывает, что он пытался на собственном опыте узнать, мучительна смерть или нет. Но такой опыт — дело нешуточное. Он тоже оказался одним из тех, кто «хотел, но не смог умереть».

НЕКИЙ ИДЕАЛИСТ

Он несколько не сомневался, что по своей сущности он реалист. Но он идеализировал себя.

СТРАХ

Вооружаться заставляет нас страх перед врагом. Причем нередко перед несуществующим, воображаемым врагом.

МЫ

Мы все стыдимся себя и в то же время боимся. Но никто честно в этом не признается.

ЛЮБОВЬ

Любовь — это поэтическое выражение полового влечения. Во всяком случае, половое влечение, не выраженное поэтически, не стоит того, чтобы называться любовью.

ТОНКИЙ ЦЕНИТЕЛЬ

Он в самом деле был знатоком. Даже любви он не представлял себе, не связанной со скандалом.

САМОУБИЙСТВО

Единственное чувство, общее для всех людей, — страх смерти. Видимо, не случайно самоубийство осуждается как акт безнравственный.

О ТОМ ЖЕ

Защита Монтенем самоубийства в чем-то верна. Не совершающие самоубийства не просто не совершают его. Они не могут его совершить.

О ТОМ ЖЕ

Если хочешь умереть, можешь умереть в любое время. Попробуй сделать это.

РЕВОЛЮЦИЯ

Завершив одну революцию, начнем новую. Тогда мы сможем еще сознательнее, чем сегодня, испытывать тяготы жизни.

СМЕРТЬ

Майнлендер предельно точно описывает прелесть смерти. Действительно, испытав в какой-то момент прелесть

смерти, вырваться из ее лап нелегко. Более того, кружась вокруг нее, мы все больше и больше приближаемся к ней.

«АЗБУЧНАЯ ТАНКА»

Все необходимые в жизни идеи исчерпаны в «азбучной танке».

СУДЬБА

Наследственность, обстоятельства, случайность — вот три фактора, определяющие нашу судьбу. Радующиеся могут радоваться. Но осуждать других — безнравственно.

НАСМЕШНИКИ

Насмехающиеся над другими боятся насмешек над собой.

СЛАВА ОДНОГО ЯПОНЦА

Дайте мне Швейцарию. Или хотя бы свободу слова.

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, СЛИШКОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

Человеческое, слишком человеческое, как правило, нечто животное.

НЕКИЙ УМНИК

Он был убежден, что негодяем мог бы стать, но идиотом никогда. Прошли годы — негодяем он так и не смог стать, а идиотом стал.

ГРЕКИ

О греки, сделавшие Юпитера богом отмщения! Вам было ведомо все.

О ТОМ ЖЕ

Но это показывает в то же время, сколь медленно прогрессирует человечество.

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ

Мудрость человека несопоставима с мудростью народа. Если бы только оно было попонятнее...

НЕКИЙ ПРЕДАННЫЙ СЫН

Он был предан своей матери. Зная, конечно, что его ласки и поцелуи служат чувственному утешению матери-вдовы.

НЕКИЙ САТАНИСТ

Он был поэт-сатанист. Но, разумеется, в реальной жизни он лишь однажды покинул свое безопасное убежище и достаточно натерпелся.

НЕКИЙ САМОУБИЙЦА

Однажды из-за совершенного пустяка он решил покончить жизнь самоубийством. Но покончить с собой из-за такого ничтожного повода — это ранило его самолюбие. С пистолетом в руке он произнес надменно: «Даже Наполеон, когда его укусила блоха, подумал лишь: «Чешется»».

НЕКИЙ ЛЕВАК

Он был левее ультралевых. И поэтому презирал ультралевых.

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ

Особенность нашего характера, самая примечательная особенность — стремление преодолеть наше сознание.

ГОРДЫНЯ

Больше всего нам хочется гордиться тем, чего у нас нет. Вот пример. Т. прекрасно владеет немецким. Но на его столе всегда лежат только английские книги.

ИДОЛ

Никто не возражает против низвержения идолов. Но в то же время не возражает и против того, чтобы его самого сделали идолом.

О ТОМ ЖЕ

Однако никто не может создать идола. Исключая, разумеется, судьбу.

ОБИТАТЕЛИ РАЯ

Обитатели рая прежде всего должны быть лишены желудка и детородного органа.

НЕКИЙ СЧАСТЛИВЕЦ

Он был примитивнее всех.

САМОИСТЯЗАНИЕ

Самый яркий симптом самоистязания — видеть во всем ложь. Нет, не только это. Еще и не испытывать ни малейшего удовлетворения от того, что видишь ложь.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Испокон веку самым большим смельчаком казался самый большой трус.

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

Мы, люди, отличаемся тем, что совершаем ошибки, которых никогда не совершают боги.

НАКАЗАНИЕ

Самое страшное наказание — не быть наказанным. А если боги освободят от наказания... Но это уже другой вопрос.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Авантюрные действия в сфере нравственности и закона — это и есть преступление. Потому-то любое преступление овеяно легендарностью.

Я

У меня нет совести. У меня есть только нервы.

О ТОМ ЖЕ

Я нередко думал об окружающих: «Хоть бы ты умер». А ведь среди них были даже мои близкие родственники.

О ТОМ ЖЕ

Я часто думал: «Когда я влюблялся в женщину, она всегда влюблялась в меня — как было бы хорошо, если бы, когда я начинал ее ненавидеть, она бы тоже начинала ненавидеть меня».

О ТОМ ЖЕ

После тринадцати лет я часто влюблялся и начинал сочинять лирические стихи, но всегда освобождался от любви, не заходя слишком далеко. Это объяснялось не тем, что я был слишком уж нравствен. Просто я не забывал все как следует подсчитать в уме.

О ТОМ ЖЕ

С любой, даже самой любимой женщиной мне было скучно разговаривать больше часа.

О ТОМ ЖЕ

Я много раз лгал. Но когда я пытался записать произнесенную мною ложь, она становилась бесконечно жалкой.

О ТОМ ЖЕ

Я никогда не ропщу, если мне приходится делить с кем-то женщину. Но если, к счастью или несчастью, ему это неизвестно, в какой-то момент я начинаю испытывать к такой женщине отвращение.

О ТОМ ЖЕ

Я никогда не ропщу, если мне приходится делить с кем-то женщину. Но только при двух условиях — либо я с ним совершенно незнаком, либо он мне бесконечно далек.

О ТОМ ЖЕ

Я могу любить женщину, которая, любя кого-то, обманывает мужа. Но питаю глубокое отвращение к женщине, которая, любя кого-то, пренебрегает детьми.

О ТОМ ЖЕ

Меня делают сентиментальным лишь невинные дети.

О ТОМ ЖЕ

Когда мне не было и тридцати, я любил одну женщину. Однажды она сказала мне: «Я очень виновата перед вашей женой». Я не чувствовал перед женой никакой вины. Но слова женщины запали мне в душу. И я подумал: «Может быть, я виноват и перед этой женщиной?» Я до сих пор испытываю нежность к ней.

О ТОМ ЖЕ

Я был безразличен к деньгам. Разумеется, потому, что на жизнь мне всегда хватало.

О ТОМ ЖЕ

Я был почтителен с родителями. Потому, что они были пожилыми людьми.

О ТОМ ЖЕ

Двум-трем своим приятелям я ни разу в жизни не солгал, хотя и правду не говорил. Потому, что и они не лгали мне.

ЖИЗНЬ

Даже если за революцией последует следующая революция, жизнь людей, за исключением «избранного меньшинства», останется безрадостной. «Избранное меньшинство» — другое название для «идиотов и негодяев».

НАРОД

И Шекспир, и Гёте, и Ли Тайбо, и Тикамацу Мондзаэмон умирают. Но искусство оставляет семена в душе народа. В 1923 году я написал: «Пусть драгоценность разобьется, черепица уцелеет». Я непоколебимо убежден в этом и поныне.

О ТОМ ЖЕ

Слушай ритм ударов молота. До тех пор пока этот ритм будет звучать, искусство не погибнет.

(Первый день первого года Сэва.)

О ТОМ ЖЕ

Я, конечно, потерпел поражение. Но то, что создало меня, несомненно, создаст еще кого-то. Гибель одного дерева — проблема малозначащая. Пока существует огромная земля, хранящая в себе бесчисленные семена.

(В тот же день.)

МЫСЛЬ, ПОСЕТИВШАЯ МЕНЯ ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ

Сон приятнее смерти. По крайней мере отдаться ему легче — это несомненно.

(Второй день первого года Сёва.)

КОММЕНТАРИИ¹

¹Многokrатно используемые автором реалии включены в «Словарь встречающихся в тексте японских слов».

ВОРОТА РАСЕМОН

Первая публикация — 1915 г., сентябрьский номер журнала «Тэйкоку бунгаку».

С. 29. *Итимэгаса* — старинная женская соломенная шляпа с широкими полями.

Момизбоси — старинный мужской головной убор в виде мягкой шапки с загнутым вперед верхом.

С. 30. ...*этого хэйанского слуги*. — Хэйан — старинное название Киото и, одновременно, обозначение эпохи в истории Японии с 794 по 1192 г.

...*часа Обезьяны*... — по старинному японскому счислению времени по знакам Зодиака — с 3 до 5 часов дня.

С. 32. ...*цвета коры дерева хиноки*. — Хиноки — кипарисовик, кора которого имеет светло-коричневый цвет.

АД ОДИНОЧЕСТВА

Первая публикация — 1916 г., апрельский номер журнала «Синситё».

С. 36. *Токугава* — третья династия сёгунов, военно-феодалных правителей Японии (1603 — 1867).

Каватакэ Мокуами (1816 — 1893) — японский драматург, прославившийся своими фарсами (кёгэн).

Рюка Тэйтанкадзу (1807 — 1858) — японский писатель.

Дзэндзай Анэйки (1822 — 1893) — знаменитый японский актер. Известен как составитель первого собрания сочинений великого японского поэта Басё.

Тозэй — японский актер.

С. 36. *Дандзюро-девятый* (1837 – 1903) – знаменитый актер театра Кабуки.

Удзи Сибун (1791 – 1858), *Мияко Сэнтю*, *Кэнкон Борюсай* – японские актеры театра Кабуки.

Кинокуния Бундзаэмон (1672 – 1734) – богатый торговец, послуживший прототипом героя пьесы «Эдодзакура киёмидзу сэйган», поставленной театром Кабуки в 1858 г.

Ёсивара – квартал публичных домов в Эдо (ныне Токио).

Дзэнский храм. – Дзэн – одна из широко распространенных в Японии и некоторых других странах мира буддийских сект.

С. 38. «*Под тем миром, где обитает все живое, на пятьсот ри простирается ад*» – фраза из «Кусярон», канона секты Куся, учение которой проникло в Японию в VII веке. Ри – мера длины, равная 3,9 км.

С. 39. *Четвертый год Ансэй* – 1857 г.

ОТЕЦ

Первая публикация – 1916 г., майский номер журнала «Кибо». Новелла носит автобиографический характер. Экскурсия, о которой рассказывает Акутагава, состоялась 26–28 октября 1909 г., когда он учился в последнем классе третьей токийской городской средней школы.

С. 41. «*Чойс*» («Choice reader») – распространенный во время учебы Акутагава учебник английского языка.

С. 42. *Карл Пятый* (1500 – 1558) – король Испании.

С. 43. «*Панч*» – английский юмористический журнал, существующий и поныне.

Хикагэти – улица в Токио, где в то время размещались лавки старьевщиков.

ОБЕЗЬЯНА

Первая публикация – 1916 г., сентябрьский номер журнала «Синситё».

С. 45. *Хангёку* – гейша-ученица, ещё не овладевшая сложным мастерством настоящей гейши.

НОСОВОЙ ПЛАТОК

Первая публикация – 1916 г., октябрьский номер журнала «Тюокорон».

С. 52. *Юхан Август Стриндберг* (1849 – 1912) – известный шведский писатель и публицист. *Оскар Уайльд* (1854 – 1900) – известный английский писатель. В начале века пользовались в Японии большой популярностью среди интеллигенции. Она увлекалась не только их художественными произведениями, но и статьями Стриндберга, в том числе «Драматургией» (1907 – 1910), статьями о литературе и искусстве «Замыслы» (1891) и посмертно опубликованной исповедью Уайльда «De Profundis» (1905).

Фонарь-гифу – бумажный фонарь яйцевидной формы, изготавливавшийся в префектуре Гифу.

С. 54. ...*актер театра Тэйкоку* – актер Императорского театра.

С. 55. *Мафумагэ* – прическа замужней женщины.

С. 56. ...*чашку черного чая*. – В Японии, как правило, пьют зеленый чай. Черный чай, особенно во времена Акутагава, пили только в европеизированных домах.

С. 60. *Госпожа Хейберг* – жена писателя и критика Иоганна Людвиг Хейберга (1791 – 1860).

MENSURA ZOILI

Первая публикация – 1917 г., январский номер журнала «Синситё».

С. 61. *Киносита Мокутаро* (1885 – 1945) – японский поэт, драматург, по образованию врач.

С. 64. *Кумэ* – Кумэ Масао (1891 – 1952), писатель, друг Акутагава.

С. 66. *Сент-Джон Эрвин* (1833 – ?) – ирландский писатель, драматург.

СЧАСТЬЕ

Первая публикация – 1917 г., январский номер журнала «Бунсё сэкай».

С. 67. *Каннон-сама* – Каннон – буддийское божество в Китае и Японии. Богиня милосердия. Сама – суффикс вежливости, более вежливый, чем сан.

С. 67. *Епископ Тоба* (1053 – 1140) – монах буддийской секты Тэндай, прославился как выдающийся художник.

С. 68. ...с богами, и буддами – под богами подразумеваются боги японской национальной религии Синто, под буддами – божества буддийского пантеона.

С. 71. ...обменялись чарками... – обмен чарками – часть свадебной церемонии.

МОМОТАРО

Первая публикация – 1924 г., еженедельник «Санди майнити» от 1 июля.

Акутагава использовал сюжет известной японской сказки о родившемся из персика чудо-мальчике Момотаро, совершившем завоевательный поход на Остров Чертей. Пародируя сказку, Акутагава развенчивает культ японца-завоевателя.

С. 75. *Страна мрака* – место, куда, согласно японской мифологии, отправляют души умерших.

Идзанаги – символизирующее мужское начало божество, которое вместе с *Идзанами*, символизирующей женское начало, являются прародителями всех богов синтоистского пантеона.

Век богов – название доисторического времени в Японии. Согласно японской мифологии, Япония ведет свою историю от «века богов», которые якобы являются прародителями японских императоров.

С. 76. *Фазан, сведущий в сейсмологии...* – По преданию фазан способен предсказывать землетрясение.

...погибла бы тут же, на месте, еще до того, как ей отомстил краб. – Имеется в виду известная японская сказка «Месть краба», в которой рассказывается, как краб с помощью своих друзей – каштана, осы, морской капусты и ступки – отомстил обезьяне, убившей его отца.

С. 77. ...изображено восходящее солнце... – Красное солнце на белом фоне – государственный флаг Японии.

Повесть об избавлении от горба – повесть «Удзисюи-моногатари».

С. 78. *Сютэн-додзи* – знаменитый в средневековой Японии вор, который, отправляясь на грабежи, наряжался чертом.

Ибараги-додзи – подручный Сютэн-додзи.

С. 78. *Райко* (наст. имя Минамото Ёримицу, ? – 1021) – полководец, герой многих исторических повествований.

ДВА ПИСЬМА

Первая публикация – 1917 г., сентябрьский номер журнала «Курисио».

С. 85. *Годы Канъэй* – 1624 – 1644 гг.

С. 87. ...магазин *Наканисия* – крупный универмаг в центре Токио.

ОИСИ КУРАНОСКЭ В ОДИН ИЗ СВОИХ ДНЕЙ

Первая публикация – 1917 г., сентябрьский номер журнала «Тюокорон».

С. 95. ...там «Троецарствия»... – «Троецарствие» – китайский исторический роман, посвященный событиям в Китае III в. Вышел в 1494 г. Автор – Ло Гуаньчжун (1330 – 1400).

С. 100. «*Тайхэйки*» – «Сказание о великом мире», одно из выдающихся произведений героического эпоса, относится к XIV в. В этом произведении в полной мере воплощена идея бусидо.

...представления *дзёрури* или там *Кабуки*... – *Дзёрури* – кукольный театр, сложившийся в VII в. *Кабуки* – классический японский театр, возникший в XVII в., в котором и мужские и женские роли исполняют мужчины.

С. 101. *Харакири* – самоубийство путем вспарывания живота.

С. 102. ...действовать по-эдоски... – до революции (реставрации) Мэйдзи (1867 г.) Эдо был резиденцией сёгуна, которому беспрекословно подчинялись самураи. Имеется в виду поступать так, как велит кодекс самурайской чести бусидо.

С. 103. *Симабара* и *Гион* – районы публичных домов в Киото в XVII – XVIII вв.

С. 104. ...словно живые образы *Югири* и *Укихаси*, прямо как будто сбежавшие из Восточного дворца. – *Югири* и *Укихаси* – куртизанки из романа Мурасаки Сикибу «Повесть о Гэндзи» (X в.). В Восточном дворце происходят некоторые события романа.

БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ

Первая публикация — 1917 г., октябрьский номер журнала «Бунсё сэкай».

С. 106. ...*ездил в И.* — Имеется в виду в Иокогаму.

Генерал Ноги (1849 — 1912) — командовал японскими войсками при взятии Порт-Артура во время Русско-японской войны. В 1912 г. покончил с собой после смерти императора Мэйдзи, чем завоевал широкую популярность в националистически настроенных кругах Японии: его самоубийство рассматривалось как акт феодальной верности — смерть вслед за господином.

С. 107. *В комментариях к «Восьми псам»...* — Имеется в виду роман Кёкутэй Бакина (1767 — 1848) «История восьми псов из Са-томи».

С. 108. «*Миятодза*», «*Токивададза*» — второразрядные театры в Токио в районе Асакуса.

С. 110. «*Вожделенные деньги*» — многосерийный американский фильм режиссера Френсиса Форда. «*Зигмаф*» — французский фильм из жизни преступного мира. После непродолжительной демонстрации в Японии был запрещен как «портящий нравы молодежи».

С. 111. ...*раздался свисток...* — Во времена Акутагава чтец-сопроводитель рассказывал о происходящем на экране, а также произносил реплики героев, поскольку немые фильмы, демонстрировавшиеся в Японии, не имели японских субтитров. Он же по окончании фильма давал свисток.

РАССКАЗ О ТОМ, КАК ОТВАЛИЛАСЬ ГОЛОВА

Первая публикация — 1918 г., январский номер журнала «Синтё».

С. 116. *Их раньше бинтовали...* — В Китае существовал обычай бинтовать девочкам ступни ног, чтобы они не росли. Маленькие ножки считались признаком изящества.

С. 117. *Ситайхоу* (1834 — 1908) — вдовствующая императрица, которая в 1874 г. возвела на престол своего сына, но фактически правила Китаем сама. Когда сын вырос, она в 1898 г. совершила переворот и продолжила править страной.

С. 118. ...*в «Старинных историях Ляо Чжая»...* — Сборник новелл китайского писателя Пу Сунлина (1640 — 1715). Ляо Чжай выступает alter ego писателя.

КЭСА И МОРИТО

Первая публикация — 1918 г., апрельский номер журнала «Тюокорон».

С. 125. *Имаё* — распространенная в Японии в XI—XIII вв. поэтическая форма, состоящая из двух четверостиший.

МУКИ АДА

Первая публикация — 1918 г., газета «Осака майнити симбун» от 1 — 22 мая.

С. 129. *Святой Дайитоку* — один из пяти хранителей буддийского учения.

Ши Хуанди и Ян Ди — китайские императоры. Первый правил в III в. до н. э., второй — в VI в. до н. э.

...*дух самого садайдзина Тору...* — Минамото Тору (822 — 895) — политический деятель, получивший один из высших придворных чинов — чин садайдзина.

С. 130. ...*отдал «в сваи» своего любимого отрока...* — В Японии того времени при начале крупных строительных работ приносили человеческие жертвы, т. е. «отдавали в сваи».

С. 131. ...*неся ветку сливы с письмом...* — По этикету, полагалось прикладывать к письму цветущую ветку (по сезону).

С. 134. *Киссётэн* — богиня буддийского пантеона.

Фудо — буддийский святой, карающий грешников.

Каванаги Кудара (782 — 853) — японский художник.

Канаока — Косэ-но Канаока — японский художник.

С. 136. *Мондзю* — буддийское божество.

С. 137. ...*меч-горы, поросшие нож-деревом* — пейзаж ада по буддийской мифологии.

Мандзи — древнеиндийский символ счастья и добродетели.

С. 156. ...*не понимает он закона пяти извечных отношений...* — Имеются в виду пять принципов морали, которые должен соблюдать человек: человеколюбие, чувство долга, благопристойность, разумность, правдивость.

УБИЙСТВО В ВЕК «ПРОСВЕЩЕНИЯ»

Первая публикация — 1918 г., июльский номер журнала «Тюокорон». Периодом Просвещения называют вторую половину XIX в., когда происходило активное восприятие западной культуры.

С. 158. *Китанива Цукуба* (1841 — 1887) — известный фотограф тех лет.

Чжэн Баньцзяо (1693 — 1716) — китайский поэт, каллиграф.

С. 159. ...*в то время еще не существовало титулов...* — Система титулов была введена в Японии в 1884 г.

С. 162. *Цукидзи* — район в Токио, где селились иностранцы.

С. 163. ...*жена и сестра...* — Имеется в виду Акико, на которой герой собирался жениться, а потом стал считать ее своей сестрой.

Мёга — имбирь.

Нарусима Рёкоку (1837 — 1884) — видный японский общественный деятель, после поездки в Европу и Америку основавший газету «Асано симбун».

УЧИТЕЛЬ МОРИ

Первая публикация — 1919 г., январский номер журнала «Синтё».

С. 170. *Симадаки Тосон* (1873 — 1943) — классик японской литературы.

С. 177. «*A Psalm of Life*» — стихотворение известного американского поэта Лонгфелло (1807 — 1882).

Осикава Сюнфо (1877 — 1914) — японский писатель.

С. 179. *Канда* — район в Токио, где находится множество книжных магазинов.

СОБАКИ И СВИРЕЛЬ

Первая публикация — 1919 г., январский номер журнала «Акай тори».

С. 184. *Инуко-сан* — двоюродная сестра матери жены Акутагава.

Ямато — древнее название Японии.

О СЕБЕ В ТЕ ГОДЫ

Первая публикация — 1919 г., январский номер журнала «Тюокорон».

С. 194. *Нарусэ* — Нарусэ Сэйити (1892 — 1936), соученик Акутагава в колледже и университете. Специалист в области французской литературы, вместе с Акутагава и его товарищами участвовал в издании третьего и четвертого выпусков журнала «Синситё».

Мацуока — Мацуока Юдзуру (1891 — 1969), японский писатель, окончил философский факультет Токийского университета, участвовал в издании третьего и четвертого выпусков журнала «Синситё».

«*Синситё*» — литературно-художественный журнал, основанный в 1907 г. выпускниками Токийского университета. Акутагава и его университетские товарищи Кикучи Кан, Мацуока Юдзуру, Нарусэ Сэйити и Кумэ Масэо издавали третий и четвертый выпуски.

С. 195. *Лоуренс* — Джон Лоуренс (1855 — 1916) — англичанин, профессор Токийского университета с 1909 по 1916 г.

С. 196. *Тоёда* — Тоёда Минору (1885 — 1972) — японский литературовед, специалист в области английской литературы.

С. 197. *Фудзиока Кацудзи* (1872 — 1935) — известный японский филолог.

Макс Мюллер (1823 — 1900) — английский филолог, специалист по сравнительному языкознанию.

С. 198. ...*писал рассказ «Кошелек»*. — Рассказ не был опубликован.

Написал наконец половину «Носа». — «Нос» — первая новелла Акутагава, принесшая ему известность.

С. 199. *Японские Альпы* — так была названа в конце прошлого века англичанином Уильямом Голандом самая высокая часть горного хребта в центральной части острова Хонсю.

Таяма Катай (1871 — 1930) — японский писатель.

...*в стиле Гюисманса...* — Шарль Мари Жорж Гюисманс (1848 — 1907) — французский писатель.

С. 200. *Дюрталь* — герой некоторых произведений Гюисманса.

С. 200. *Кикутти из Киото*. — Кикутти Кан (1889 — 1948) — крупный японский писатель, близкий друг Акутагава.

С. 201. *Юдзэн* — особый способ окраски тканей, названный так по имени его изобретателя.

...остатки со стола *Нагаи Кафу* и *Танидзаки Дзюнъитиро*. — Нагаи Кафу (1879 — 1855), Танидзаки Дзюнъитиро (1886 — 1965) — крупные писатели, оставившие большой след в японской литературе.

Сёрен Киркегор (*Кьеркегор*, 1813 — 1855) — датский теолог, философ, писатель.

...пишет *трехактную пьесу на тему из жизни Сакъя Муни*. — Речь идет о пьесе Мацуока Юдзуру «По ту сторону греха». Сакъя Муни (Гаутама) — родоначальник буддизма.

С. 202. *Мусякодзи Санзацу* (1885 — 1976) — японский писатель и драматург. Был толстовцем. Вместе с Сига Наоя основал журнал «Сиракаба» («Белая береза»).

...часто в своей «Смеси»... — один из разделов журнала «Сиракаба» назывался «Смесь».

С. 203. ...«день уже склонился к вечеру»... — цитата из Евангелия от Луки, гл. 24, стих 29.

...«горело в нас сердце наше» — там же, гл. 24, стих 32.

...«посадили на осленка»... — там же, гл. 19, стих 36.

...«постилал одежды свои по дороге»... — там же, гл. 19, стих 36.

С. 204. *Итикава Гюся* (1860 — 1936) — актер театра Кабуки.

Накамура Утазмон (1865 — 1940) — актер театра Кабуки, выдающийся исполнитель женских ролей.

Дома и садзики — партер и ложи.

С. 204. «*Татибаная*» — прозвище знаменитого актера театра Кабуки Итикава Удаэмона (1874 — 1945), означающее «мандаринщик».

С. 205. *Икэда Тарука* (1883 — 1921) — известный японский художник.

С. 206. *Итикава Санки* (1886 — 1968) — японский литературовед, специалист в области английской филологии.

С. 207. *Петцольд* — норвежская пианистка, педагог, преподавала в Токийской консерватории с 1909 по 1924 г.

С. 208. *Ямада Косаку* (1886 — 1963) — известный японский дирижер.

С. 210. *Хироцу Кадзуо* (1891 — 1968) — японский писатель, критик.

«*Эмали и Камеи*» — сборник стихотворений французского писателя и критика Теофиля Готье (1811 — 1872).

Пусть он не зажжет «звезду страха»... — В панегирике Гюго, обращенном к Бодлеру, есть слова: «Новая звезда».

С. 211. *Симонс* — А. Симонс (1865 — 1945) — английский поэт, критик.

Риккерт — Генри Риккерт (1863 — 1936) — английский поэт, критик.

ПРОСВЕЩЕННЫЙ СУПРУГ

Первая публикация — 1919 г., январский номер журнала «Тюгай».

С. 215. ...в музее *Уэно* открылась выставка, посвященная культуре раннего *Мэйдзи*. — Уэно — один из районов Токио и находящийся там же парк, где есть музей. Ранний Мэйдзи — первые десятилетия после революции (реставрации) Мэйдзи 1867 г.

С. 216. *Хиросигэ* — Андо Хиросигэ (1797 — 1858) — крупный японский художник-пейзажист.

...где висели *гравюры, укиёэ, созданные Тайсо Ёситоси*. — Укиёэ — жанр гравюры на дереве, получивший в Японии большое распространение в XVIII — XIX вв. Тайсо Ёситоси (1839 — 1892) — один из последних художников, работавших в этом жанре.

...*Кикугоро* и *Хансиро* в *парике стиля итёгаэси*... — Кикугоро (1845 — 1903) и Хансиро (1829 — 1882) — знаменитые актеры театра Кабуки. Итёгаэси — прическа девушек из простонародья.

...когда *древняя столица Эдо*... — Эдо — старое название Токио. Был переименован в 1867 г.

С. 217. ...в *клубе Рокумэйкан*. — Клуб, членами которого состояли высшая японская знать и высокопоставленные иностранные дипломаты. Здание клуба было построено в 1883 г. в районе Тиёда.

...*нарядную улицу «кирпичных домов»*. — В конце прошлого века кирпичные дома были для японцев новинкой.

С. 219. *Мятеж Симпурэн*. — Мятеж, вспыхнувший 24 октября 1887 г. в префектуре Кумамото. Он был подавлен феодалами, недовольными реформами правительства. В течение двух дней мятеж был подавлен.

Оно Тампэй — персонаж пьесы, в которой под этим именем выведен главарь мятежа Ода Куротоми (1835 — 1876).

С. 220. ...*из-за указа о запрещении носить мечи...* — Указ, лишивший военное сословие и дворянство права носить мечи, вышел в марте 1876 г.

С. 221. *Кэйдзэ* — так в японском произношении звучит Сеул.

Хаги — кустарник леспедыца, усыпанный мелкими пурпурными, розовыми или белыми цветами. Часто используется в японской поэзии.

Басё — Мацуо Басё (1644 — 1694) — великий японский поэт. Писал главным образом трехстишия хокку (хайкай).

...*идеальное место для «удивительной встречи талантливого юноши с прекрасной девушкой»*. — Выражение получило распространение потому, что в 1885 г. под таким названием вышел популярный в то время роман, автором которого был Токай Санси (1852 — 1922).

С. 222. ...*заказал художнику Годзэта Хобаю портрет жены*. — Такой художник не известен. Предполагается, что Акутагава имел в виду художника Годзэта Хогё (1827 — 1892).

С. 224. ...*на пьесу «Одэн-но Кавабуми»*. — Акутагава имеет в виду пьесу Каватакэ Мокуами (1816 — 1893), сюжетом которой послужило преступление Такахаси Одзи, отравившей своего мужа. В 1879 г. она была казнена.

С. 225. ...*напоминая ассистента на сцене*. — Во время спектакля театра Ноо на сцене в нужные моменты появлялся так называемый ассистент, который по ходу действия давал актеру или забирал у него предметы реквизита. Другими словами, он был важной фигурой, опекавшей актера.

С. 225. *Садандзи* — знаменитая династия актеров театра Кабуки.

С. 228. *Саньютэй Энтё* — Акутагава имеет в виду знаменитого актера-рассказчика Саньютэя Энтё (1839 — 1900).

С. 231. *Хэ Шучжан* — посол Китая в Японии с 1876 по 1879 г.

Ся и Чжоу — древние китайские государства.

МАНДАРИНЫ

Первая публикация — 1919 г., майский номер журнала «Синтё».

С. 236. ...*без признака масла...* — японская прическа требует, чтобы волосы были смазаны маслом.

СОМНЕНИЕ

Первая публикация — 1919 г., июльский номер журнала «Тюокорон».

С. 240. ...*какэмоно с изображением «Ивовая Каннон»...* — Какэмоно — картина или каллиграфическая надпись, выполненная на полосе шелка или бумаги, вешается в нише токонома вертикально. «Ивовая Каннон» — один из образов буддийской богини милосердия Каннон. На какэмоно она, подобно иве, склоняется к страждущему. Отсюда и название.

С. 241. *На нем было приличное, хотя и без гербов, хаори и хакама...* — Вытканые гербы — принадлежность официального костюма.

...*в двадцать четвертом году Мэйдзи...* — то есть в 1891 г.

ДЗЮРИАНО КИТИСКЭ

Первая публикация — 1919 г., сентябрьский номер журнала «Синсёсэцу».

С. 254. *Офурисодэ и кайдори* — старинные костюмы японской знати.

С. 255. ...*был приговорен к распятию*. — В Японии XVII в. исповедовавшие христианство, после его запрещения в стране, карались смертной казнью путем распятия.

С. 255. ...*как она рассказана в «Нагасаки-тёмонсю»*. — Это и все остальные названия хроник вымышленные.

...*моего самого любимого святого глупца*. — Святой глупец — дословный перевод с немецкого «Heiliges Narr». Выражение заимствовано из либретто оперы Вагнера «Парсифаль».

БАЛ

Первая публикация — 1920 г., январский номер журнала «Синтё».

С. 256. *Вечер 3 ноября 1886 г.* — Имеется в виду прием, устроенный министром иностранных дел Японии по случаю дня рождения императора, на котором присутствовали члены императорской фамилии, министры, послы иностранных государств.

...обсажена тремя рядами хризантем... — Хризантема — символ Японии.

С. 260. *Шестнадцатилепестковая хризантема* — герб Японии.

С. 261. *Жюльен Вио* (1850 — 1923) — настоящее имя известного французского писателя, псевдоним которого Пьер Лоти. Дважды посещал Японию — в 1886 и 1900 гг. Наибольшую известность получили его роман «Госпожа Хризантема» и книга очерков «Осенняя Япония».

КАК ВЕРИЛ БИСЭЙ

Первая публикация — 1920 г., январский номер журнала «Тюо бунгаку».

Сюжет заимствован из «Ши-цзи» — «Исторические записки». Произведение древнекитайского историка Сыма Цяня (145—86 гг. до н. э.). Имя Бисэй ассоциируется у японцев с человеком, твердо исполняющим обещания, но при этом прямодушно глупым и не обладающим глубокой верой.

ОСЕНЬ

Первая публикация — 1920 г., апрельский номер журнала «Тюокорон».

С. 266. ...*в театре Тэйкоку*... — полное название: Тэйкоку гэдзэ — театр в Токио, где наряду с пьесами кабуки ставились и европейские.

С. 268. *Кансай* — юго-западная часть острова Хонсю, где находится города Киото, Осака и прилегающие к ним префектуры.

С. 270. ...*применял, как Миямото Мусаси, два меча*... — Миямото Мусаси (1584 — 1645) — знаменитый японский фехтовальщик.

С. 270. *Яманотэ* — район в Токио, где живут состоятельные люди.

Реми де Гурмон (1858 — 1915) — французский писатель, сыгравший большую роль в становлении символизма.

Вот она, тринадцатая ночь! — Ночь на 14-е число девятого месяца по лунному календарю, когда полнолуние особенно красиво.

С. 275. ...*о заграничном театре*... — Имеются в виду проходившие в Японии в 1919 г. спектакли Большого театра.

ГРУСТЬ ТАНЭКО

Первая публикация — 1927 г., майский номер журнала «Синтё».

С. 279. *Моми* — японская пихта.

С. 280. *Ояиси* — нарочито грубо обработанный камень для отделки интерьеров больших зданий.

С. 281. *Бэнто* — уложенный в специальную коробку завтрак, который берут с собой из дому или покупают.

С. 282. ...*фотография цветущего Уэно*. — Имеется в виду цветущий парк Уэно.

РАССКАЗ ОБ ОДНОЙ МЕСТИ

Первая публикация — 1920 г., майский номер журнала «Юбэн».

С. 283. ...*был ронином*... — Ронин — самурай, оставшийся без господина.

Годы Камбун — 1661—1673 гг.

С. 285. *Сукэдати* — помощник человека, совершающего отпущение за гибель господина.

С. 286. *Амигаса* — большая плетеная соломенная шляпа в виде низкого конуса, которую носили крестьяне, бродячие торговцы и т. д.

С. 291. *Хатамото* — вассал сёгуна.

Тасуки — тесемки, которыми подвязывают широкие рукава японской одежды.

Хасэбэ Норинага — известный изготовитель мечей.

С. 291. *Рай Кумитоси* — знаменитый оружейник XIII в.

С. 294. «*Великий бодхисаттва Хатиман!*» — В синтоистском пантеоне Хатиман — бог войны, называют его бодхисаттвой, божеством буддийского пантеона, потому что в Японии тесно сосуществуют синтоизм и буддизм.

ЖЕНЩИНА

Первая публикация — 1920 г., майский номер журнала «Кайхо».

НАНКИНСКИЙ ХРИСТОС

Первая публикация — 1920 г., июльский номер журнала «Тюокорон».

С. 302. ...*остатки, пилюль «гунланьвань»* — пилюли с ртутью против сифилиса.

«*Цзялуми*» — мазь с каломелью против сифилиса.

ПОДКИДЫШ

Первая публикация — 1920 г., августовский номер журнала «Синтё».

С. 312. ...*ветка иллиция...* — иллиций — священный куст, ветки которого наряду со свечами продавались верующим в храмах.

С. 313. ...*со времени революции не ступала нога женщины.* — Имеется в виду революция (реставрация) Мэйдзи 1867 г.

...*зима двадцать седьмого года Мэйдзи.* — 1894 г.

О-РИЦУ И ЕЕ ДЕТИ

Первая публикация — 1920 г., октябрьский и ноябрьский номера журнала «Тюокорон».

С. 318. *Китахара Хакусю* (1885 — 1943) — известный японский поэт, в 10 — 20-е годы пользовался большой популярностью среди японской молодежи.

С. 321. ...*сложенный четверо листок бумаги, на котором была написана единица.* — Один из видов гадания, заключающийся в

том, что по написанной человеком на листе единице гадатель определяет его судьбу.

С. 326. «*Мэйдзидза*» — существующий поныне театр, в котором ставились современные японские и европейские пьесы.

Иноуэ Масао (1881 — 1950) — известный японский актер.

С. 328. *И с этими часами я расстаюсь навсегда.* — Речь идет об огромных часах на Гиндзе, которые во времена Акутагава были одной из достопримечательностей столицы.

С. 336. ...*сильный тохокусский акцент.* — Имеется в виду диалект, распространенный на северо-востоке Японии.

С. 345. *Посвящаю М...ко.* — Большинство японских женских имен оканчиваются на «ко».

С. 346. *Тайсяку* — в буддийском пантеоне бог-хранитель буддизма.

ВАЛЬДШНЕП

Первая публикация — 1921 г., январский номер журнала «Тюокорон». Новелла основывается на эпизоде, рассказанном в «Моих воспоминаниях» И.Л. Толстого. На японском языке они вышли в 1914 г., то есть через год после публикации в России. Сравнение «Моих воспоминаний» и «Вальдшнепа» свидетельствует о глубоком, неординарном проникновении Акутагава в психологию Толстого.

СТРАННАЯ ИСТОРИЯ

Первая публикация — 1921 г., январский номер журнала «Гэндай».

С. 360. ...*праздник Кигэнсэцу.* — День основания империи, празднуется 11 февраля. Сейчас он называется День основания государства.

...*носильщик в красной шапке...* — Красная шапка была принадлежностью формы носильщиков.

МАТЬ

Первая публикация — 1921 г., сентябрьский номер журнала «Тюокорон».

СЛАДОСТРАСТИЕ

Первая публикация — 1921 г., сентябрьский номер журнала «Кайдзо».

С. 376. «Удзисюи моногатари» — повествование, относящееся к XII в.

«Кондзяку моногатари» — повествование, относящееся к X в.

«Дзикхинсё» — повествование, относящееся к XIII в.

...в эпоху Тайхэй... — буквально «в эпоху великого мира» (XIV в.).

С. 377. Дзидзю — камергер.

...поклониться богу Инари... — Инари — бог урожая риса.

Хацуума — первый в году «День лошади».

С. 385. Конфуций (551 — 479) — великий древнекитайский философ, основатель конфуцианства.

С. 386. Подобно святому Кукаю... — Кукай (774 — 835) — основатель буддийской секты Сингон.

Оно Тофу (896 — 966) — выдающийся каллиграф.

С. 388. ...бодисатва Кандзон... — новое написание — бодхисатва Каннон — богиня милосердия.

С. 390. Дзинко — ароматическое вещество из коры аквилярии.

РАЗГОВОР ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ ЗА ДРУЖЕСКИМ
СТОЛОМ

Первая публикация — 1922 г., еженедельник «Санди майнити» от 10 июля.

С. 391. ...водки Ляодзю... — водка, приготовленная из риса, проса и чумизы.

...поклонник Ливингстона... — Давид Ливингстон (1813—1873) — английский исследователь Африки.

Янагibasи — район в Токио, где сосредоточены зрелищные заведения.

С. 392. Асакуса — район дешевых развлечений.

С. 394. Окончил Кэйё... — Кэйё — один из престижных частных университетов Японии.

...старинных сказов нанивабуси... — Нанивабуси — один из жанров сказа речитативом.

С. 396. ...в стиле каллиграфа Тикагэ. — Каллиграф Като Тикагэ выработал чисто японский стиль каллиграфии.

С. 398. Басё — великий японский поэт Мацуо Басё (1644 — 1694), писавший главным образом трехстишия хайку.

Икэ-но Тайга (1723 — 1776) — выдающийся японский художник.

Мусякодзи Санзацу (1885 — 1976) — японский писатель, одно время был толстовцем.

В ЧАЩЕ

Первая публикация — 1922 г., январский номер журнала «Синтё».

С. 400. ...в часы первой стражи... — в восемь часов вечера.

...за храмом Акиторибэ, посвященным Биндзурю... — Японские храмы обычно посвящены какому-либо божеству или святому. Биндзурю — один из шестнадцати архаров, учеников Будды.

С. 401. ...ее лицо показалось мне ликом бодисатвы. — Имеется в виду, что лицо ее было умиротворенно-прекрасным.

С. 402. ...нашел там много зеркал и мечей... — Зеркала в то время делались из дорогих металлов и представляли большую ценность.

ГЕНЕРАЛ

Первая публикация — 1922 г., январский номер журнала «Кайдзо».

...каны разливали легкую теплоту. — Каны — возвышающиеся вдоль стен настилы, под которыми проходят теплые трубы для обогрева комнаты.

С. 415. Фундоси — мужская набедренная повязка.

С. 418. Акагаки Гэндзо — один из сорока семи самураев, отомстивших за гибель господина и совершивших затем харакири.

Токуруно вакафэ — прощание за бутылочкой сакаэ.

С. 419. ...князя Мито и Като Киёмаса. — Князь Мито (Токугава Мицукунэ, 1628 — 1700) — правитель одного из кланов, прославившийся как просвещенный правитель, борец за национальные идеалы. Като Киёмаса (1562 — 1611) — военачальник, служивший образцом верности господину.

Седьмой год Тайсё — 1918 г.

УСМЕШКА БОГОВ

Первая публикация — 1922 г., январский номер журнала «Синсёсэцу».

С. 424. *Padre Organtino* (1530 — 1609) — итальянский миссионер, член ордена иезуитов. Прибыл в Японию в 1570 г., основал первую в Японии католическую семинарию.

Главный храм в Риме — собор Св. Петра.

...в этой столице. — Имеется в виду Киото.

С. 427. ...японская вакханалия развернулась... словно мираж. — Здесь рассказано об одном из центральных мифов синтоизма. Богиня солнца Аматэрасу, огорченная буйством бога Сусаноо, укрывается в Небесном гроте, и наступает тьма. Поднятая вакханалия призвана выманить ее оттуда, что в конце концов удаётся.

Эйрия — вечнозеленый кустарник, в синтоизме священное растение.

С. 428. *Охирумэмути* — другое имя богини солнца Аматэрасу.

С. 429. ...увидев красоту дочерей человеческих... — Ветхий Завет, кн. 1, гл. 6, стих 2.

С. 430. *Конфуций, Мэнцзы, Чжуанцзы* — великие философы Древнего Китая, Конфуций (Кунцзы) — 551 — 497 гг. до н. э., Мэнцзы — 372 — 289 гг. до н. э., Чжуанцзы — 369 — 286 гг. до н. э.

...шелка из страны У, яшму из страны Цинь. — У и Цинь — царства Древнего Китая.

Какиномото Хитомаро — японский поэт, один из крупнейших авторов поэтической антологии VIII в. «Манъёсю».

...звезды Волопас и Ткачиха — Альтаир и Вега. Существует легенда, согласно которой это влюбленные, встречающиеся раз в семь лет.

Небесная река — Млечный Путь.

...Хитомаро применил иероглифы... — Какиномото Хитомаро — первый, кто в VIII в. использовал фонетически, отвлекаясь от их значения, китайские иероглифы для передачи звучания японских слов. Они впоследствии послужили основой для создания японской слоговой азбуки кана.

С. 431. *Кухай* (770 — 835) — основатель буддийской секты

Сингон, известен также как великий каллиграф. *Косэй* (971 — 1027), *Дофу* (925 — 996), *Сафу* (933 — 988) — выдающиеся японские каллиграфы.

Ван Сичжи — китайский каллиграф IV в.

Чжу Суйлян — китайский каллиграф VII в.

С. 431. *Лаоцзы* — философ Древнего Китая, основоположник даосизма.

...царевич *Сиддхарта* (в принятой в настоящее время транскрипции Сиддхартха). — Согласно буддийской традиции, Сиддхартха Гаутама основатель буддизма.

...будда *Дайнитти-нёрай* — в переводе означает Будда-великое солнце. Отсюда и возможность отождествления его с главной богиней синтоистского пантеона богиней солнца Аматэрасу (*Охирумэмути*).

Синран (1173 — 1262) — основатель буддийской секты Дзёдо.

Нитирэн (1222 — 1282) — основатель буддийской секты Нитирэн.

...в тени цветов шореи. — Шорея — южное лиственное дерево.

Дзёгу-тайси — принц Сётоку-тайси (574 — 621), считавший, что подлинный расцвет Японии возможен лишь в том случае, если «сделать синтоизм стволем, буддизму позволить покрыть его своими ветвями и дать зеленеть на них листья конфуцианской этики».

С. 432. *Пан* — в греческой мифологии божество стад, лесов и полей.

...в книгах с поперечными строчками... — Имеются в виду европейские книги. Японское письмо — сверху вниз, строки идут справа налево.

Юри-вака. — Японские исследователи высказывают предположение, что речь идет о герое «Одиссеи» Улиссе. Его имя по-японски звучит как Юрисису. «Вака» значит «молодой».

С. 433. ...грохот каменных огненных стрел с черных кораблей. — Так называли японцы пушечные ядра, которыми англо-французская эскадра обстреливала Японию в шестидесятых годах XIX века.

Уруган — (искаж. португ.) *Organtino*.

ВАГОНЕТКА

Первая публикация — 1922 г., мартовский номер журнала «Тайкан».

С. 437. ...за спиной был грудной ребенок. — В Японии детей носят за спиной на специальных помочах.

ПОВЕСТЬ ОБ ОТПЛАТЕ ЗА ДОБРО

Первая публикация — 1922 г., апрельский номер журнала «Тюокорон».

С. 440. ...среди патэрэнов... — искаж. португ. padre.

Один из подручных Росона Сукэдзаэмона. — Росон Сукэдзаэмон — богатый купец, торговавший с южными странами. Подручными назывались приказчики.

Рикю Кодзи — известный в то время мастер чайной церемонии. В 1591 г. навлек на себя гнев сёгуна, который приказал ему покончить с собой.

«Амакава никки» («Дневник Амакава») — название книги придумано автором.

С. 445. Кампаку — канцлер, верховный советник. Пост, введенный в VIII в. и просуществовавший до реставрации Мэйдзи в 1867 г.

С. 446. «Фусута» — (португ. fusta) — тип старинных морских судов.

С. 452. Сямурая — название одного из торговых домов.

Кяра — тропическое дерево.

С. 453. Удайдзи — правый министр, третий по рангу министр в средневековой Японии.

САД

Первая публикация — 1922 г., июльский номер журнала «Тюокорон».

С. 456. Лет десять после революции... — Имеется в виду революция (реставрация) Мэйдзи 1867 г.

С. 456. Принцесса Кадзу — сестра императора Комэй и жена сёгуна Иэмоти.

...грубый с виду старик инкё... — Инкё — глава семьи, юридически отрекшийся от своих прав и передавший их старшему сыну.

С. 457. ...средний ушел зятем... — Когда в семье не оставалось продолжателей рода по мужской линии, в дом брали зятя, принимавшего фамилию жены. Таким образом он становился старшим сыном.

Куэз — придворная аристократия.

Фусудзава Юкити (1834 — 1901) — японский ученый, педагог, много сделавший для знакомства японцев с достижениями мировой науки.

С. 459. Нэйсан — фамильярное обращение к горничной, официантке и т. д.

...с лубочных картинок Оцу. — Картинки на буддийские темы, жанровые картинки. Оцу — название городка, где они изготовлялись.

Ойран — так именовались самые дорогие проститутки.

С. 463. Момоварэ — прическа молодой девушки с пучком на затылке.

БАРЫШНЯ РОКУНОМИЯ

Первая публикация — 1922 г., августовский номер журнала «Хёгэн».

С. 464. Хёбунодайдзю — низшее придворное звание в Японии VIII—XII вв.

С. 465. Пуэзария — вид лианы.

С. 466. Сугороку — игра в кости.

С. 470. Ах, там огненная колесница! — Принадлежность одного из кругов буддийского ада, именуемого огненным.

Я вижу золотой лотос. — Принадлежность буддийского рая.

С. 471. ...преподобный Найки, в миру Ёсисигэ Ясутанэ. — Ёсисигэ Ясутанэ (934 — 997) был человеком знатного рода, занимавшим высокий государственный пост. Позже он постригся в монахи, приняв имя Найки. Им написан ряд буддийских сочинений.

Преподобный Куя (? — 972) — буддийский священник, основатель моления во имя Будды путем танцев.

ЧИСТОТА О-ТОМИ

Первая публикация — 1922 г., майский — сентябрьский номер журнала «Кайдзо».

С. 472. ...*военные действия против отряда сёгитай в монастыре Тозидзан*. — Имеется в виду подавление мятежа правительственными войсками в 1868 г. Отряд мятежников носил название сёгитай.

Аваби — морское ушко, съедобный моллюск.

Восемь... Восемь без половины. — По принятой в то время системе счисления времени сутки делились на две половины, а каждая половина на шесть отрезков. Восемь часов соответствовали нынешним двум часам дня, восемь без половины — трем часам дня.

С. 480. *Двадцать третий год Мэйдзи* — 1890 г.

Мазда Масада, Тагути Укити, Сибусава Эйити, Цудзи Синдзи, Окакура Кокудзо, Гэдзё Масао — видные политические деятели, занявшие высокие посты после революции (реставрации) Мэйдзи 1867 г.

О-ГИН

Первая публикация — 1922 г., сентябрьский номер журнала «Тюокорон».

С. 482. *Годы Гэнна* — 1615—1624 гг.

Годы Канъэй — 1624—1644 гг.

Сан-Джеан Батиста — Иоанн Креститель (искаж. португ. San Joanbaptista).

Адзиро — особый способ плетения для придания изделию жесткости.

С. 483. *Сагурамэнто* — крещение, причастие (искаж. португ. Sacramento).

С. 484. *Натафа* — Рождество (искаж. португ. natal).

Вакагими-сама — старинное почтительное обращение к молодому человеку высокого положения.

КУКЛЫ-ХИНА

Первая публикация — 1923 г., мартовский номер журнала «Тюокорон».

С. 488. *Куклы-хина* — декоративные куклы, выставяемые в праздник кукол Хинамацури.

Ки-но Куния — богатый купец. Настоящее имя Куния Будзаэмон (1672 — 1734).

...*со времен падения Бакуфу*. — Бакуфу — военно-феодальное правительство, павшее в результате революции (реставрации) Мэйдзи в 1867 г.

...*Касю-сама*. — Речь идет о главе княжества Кага, доход которого составлял миллион коку риса в год.

Инесю-сама. — Имеется в виду глава княжества Инаба, доход которого составлял триста двадцать коку риса в год.

Акамагасэки — местность, славившаяся изготовлением тушечниц.

С. 489. ...*справить конец года*. — В Японии принято провожать старый год, а не встречать новый.

С. 491. ...*чтение поперечных строчек*. — Речь идет о европейских книгах. Японцы пишут сверху вниз, строки идут справа налево.

С. 492. ...*ходила в... храм Инари-сама и совершала стократный обход*. — Инари — синтоистское божество, обход храма совершается для его умилоствления.

С. 495. ...*он решил взять фамилию Токугава*. — Род Токугава — один из могущественных родов Японии, правивший страной 265 лет.

ИЗ ЗАПИСОК ЯСУКИТИ

Первая публикация — 1923 г., майский номер журнала «Кайдзо». В новеллах, которые носят автобиографический характер, Акутагава использует имя Ясукити.

С. 500. *Токи Дзэнмаро* (1885 — 1963) — японский поэт.

С. 501. *Сакэ «Масамунэ»* — один из лучших сортов сакэ.

С. 502. ...*Исав ради печеного мяса отказался от права первородства*. — В Ветхом завете (кн. 1, гл. 25) есть эпизод, когда Исав за чечевичную похлебку отказывается от права первородства.

С. 505. ...*между подокартов и торрей*... — Вечнозеленые тропические растения.

Ламарк Жан Батист (1744 — 1829) — французский естествоиспытатель, создатель теории эволюции.

СНЕЖОК

Первая публикация — 1923 г., августовский номер журнала «Дзэсэй кайдзо».

БОЛЕЗНЬ РЕБЕНКА

Первая публикация — 1923 г., августовский номер журнала «Кёкугай».

С. 521. *Ити Ютэй* — псевдоним друга Акутагава, — художника Оана Рюити (1894—1966).

Тансо — Хиросэ Тансо (1782—1856) — поэт, писавший стихи на китайском языке.

С. 528. *Осочи-сама* — так именовались основатели буддийских сект.

А-БА-БА-БА-БА

Первая публикация — 1923 г., декабрьский номер журнала «Тюокорон».

С. 529. «*Кинсэн-сайда*» — сорт сидра.

С. 531. ...*девушка во вкусе «Кэньюся»*. — Группа «Кэньюся» («Друзья тушечницы»), созданная в 1885 г., сыграла большую роль в становлении современной японской литературы. Акутагава иронизирует над склонностью создателей группы Одзаки Коё (1867 — 1903) и Ямада Бимё (1868 — 1910) к романтической выпренности.

«*Сверстники*» — роман писательницы Хигути Итиё (1872 — 1896).

С. 534. *Де Хуг* — голландский художник XVII в.

Спарго Джон (1876 — ?) — английский социалист, эмигрировавший в Америку.

КОМ ЗЕМЛИ

Первая публикация — 1924 г., январский номер журнала «Синтё».

С. 546. *Доё* — название четырех народных праздников: 18 января, 17 апреля, 20 июля, 20 октября.

ТРИ СОКРОВИЩА

Первая публикация — 1923 г., январский номер журнала «Фудзин-но-томо».

ПРЕСТУПЛЕНИЕ САНЭМОНА

Первая публикация — 1924 г., январский номер журнала «Кайдзо».

С. 559....*на четвертом году Бунсэй*. — Годы Бунсэй — 1818 — 1830 гг.

ХОЛОД

Первая публикация — 1924 г., апрельский номер журнала «Кайдзо».

Ясукичи — персонаж, присутствующий в большинстве новелл Акутагава, носящих автобиографический характер.

ОБРЫВОК ПИСЬМА

Первая публикация — 1924 г., майский номер журнала «Фудзин корон».

С. 575. *Сюнъёкай* — образованное в 1922 г. общество художников, сторонников европейской живописи.

Токутоми Рока (1868 — 1927) — японский писатель.

Арисима Такэо (1878 — 1923) — японский писатель, испытавший большое влияние Толстого.

С. 577. ...*напоминает Крейсера*. — Фриц Крейслер (1875 — 1962) — известный скрипач.

Галли-Курчи — Амелита Галли-Курчи (1882 — 1963) — итальянская певица.

Карузо — Энрико Карузо (1873 — 1921) — выдающийся итальянский певец.

С. 577. *Торамафу* — знаменитый японский певец жанра исполнявшегося речитативом сказа нанивабуси.

Девять колец — девять бронзовых колец на шпилье храма Сайсёдзи.

Ёсано Акико (1877 — 1941) — известная японская поэтесса, писательница.

С. 577. *Нагаи Кафу* (1879 – 1959) – японский писатель, эссеист.

Танидзаки Дзюнъитиро (1886 – 1965) – крупнейший японский писатель.

«*Перевал Дайбосацу*» – популярный роман Накадзато Кайдзана (1885 – 1944), печатавшийся в газете «То симбун» в 1913 г.

С. 578. *Курота Хякюдзо* (1891 – 1943), *Кикутти Кан* (1889 – 1948), *Кумэ Масао* (1891 – 1931), *Мусякодзи Санзацу* (1885 – 1976), *Сатоми Тон* (1888 – 1983), *Сато Хафуо* (1892 – 1964), *Ёсида Гэндзиро* (1886 – 1957), *Ногами Яёи* (Яэко, 1885 – 1985) – известные японские писатели.

Следя примеру Кёйдэна и Самба. – Санто Кёдэн (1761 – 1816) и Сикитэй Самба (1776 – 1822) – родоначальники городской литературы. Часто сами рекламировали свои произведения.

ЛОШАДИНЫЕ НОГИ

Первая публикация – 1925 г., январский и февральский номера журнала «Синтё».

С. 587. *Годы Гэнкё* – 1321 – 1324 гг.

С. 590. ...*редактор «Дзюнтэн дзихо», господин Мудагуми*. – Речь идет о японской газете, которая выходила в Китае. Говоря «наша империя», авторы имели в виду Японию.

С. 593. *Окада Сабуро* (1890 – 1954) – японский писатель.

У МОРЯ

Первая публикация – 1925 г., сентябрьский номер журнала «Синтё».

С. 594. «*История восьми псов*» – роман японского писателя Кёкутэй Бакина (1767 – 1848).

С. 601. «*Типеррери*» – распространенная после Первой мировой войны песенка ирландских солдат.

ПОМИНАЛЬНИК

Первая публикация – 1926 г., октябрьский номер журнала «Кайдзо».

С. 602. «*Сисянцзи*» – одна из знаменитых китайских драм XIV в.

С. 603. *Посмертная табличка* – деревянная дощечка с посмертным именем покойного, которая ставится на могиле.

Ее звали Хацуко, потому что она родилась первой. – «Хацуко» в переводе «первый ребенок».

С. 604. ...*детский сад мадам Саммаз в Цукидзи*. – Известный в конце прошлого века английский детский сад и школа, открытые женой пастора-англичанина в Цукидзи, одном из районов Токио.

Двадцатые годы Мэйдзи – 80-е годы прошлого века.

С. 606. ...*меня окликнули: «А-сан!»* – По первой букве имени с суффиксом «сан» гейши называют своих постоянных посетителей.

Дзёсо – Дзёсо Утифудзи (1662 – 1704) – японский поэт. Приведенное стихотворение названо им «Придя на могилу Басё, думаю о своей болезни». Мацуо Басё (1644 – 1694) – великий японский поэт.

ОН

Первая публикация – 1927 г., январский номер журнала «Дзёсэй».

С. 608. *Хонго, Хондзё, Камэидо* – районы Токио.

С. 610. *Поль Верлен* (1844 – 1896) – французский поэт.

Артур Рембо (1854 – 1891) – французский поэт.

Шарль Бодлер (1821 – 1867) – французский поэт.

Сусаки – в те годы район развлечений в Токио.

С. 611. *Одавара* – горячие источники, курортное место недалеко от Токио.

ЕЩЕ ОДИН ОН

Первая публикация – 1927 г., январский номер журнала «Синтё».

С. 617. *Лафкадио Херн* (1850 – 1904) – американский писатель, в 1890 г. приехал в Японию, женился и взял псевдоним по фамилии жены Коидзуми Якумо. Своими книгами о Японии способствовал росту интереса к этой стране в Европе и Америке.

С. 618. *Янагибаси* — в то время район публичных домов в Токио.

«*Полевой мак*» — роман крупнейшего японского писателя Нацумэ Сосэки (1867 — 1916).

С. 620. «*Букмэн*» — известный английский литературный журнал.

«*Манъёсю*» — первая в Японии поэтическая антология VIII в.

ГОРНАЯ КЕЛЬЯ ГЭНКАКУ

Первая публикация — 1927 г., январский и февральский номера журнала «Тюокорон».

С. 623. ...*район «культурной деревни»* — так назывались пригороды, в которых селились служащие.

Ардизия — вечнозеленый кустарник.

Тофу — продукт из соевых бобов, внешним видом похожий на творог.

Вряд ли это игра слов — гэнкаку. — Гэнкаку — собственное имя. Написанное другими иероглифами, это слово означает «строгий».

С. 624. «*Горудэн батто*» — (англ. Golden bat) — название самых дешевых японских сигарет.

С. 627. *Ло Лянфэн* (1733 — 1799) — китайский художник.

С. 633. *Энгава* — открытая галерея, идущая с двух или трех сторон японского дома.

С. 634. «...*для охраны конституционного правления.*» — Приведенные слова — начало декларации Общества охраны конституции, созданного в 1913 г.

«*Мёон Кандзюн...*» — слова последней части буддийской сутры Каннон-кё. Каннон — богиня милосердия.

«*Каппорэ*» — название популярной в то время песенки.

С. 635. ...*цветочной картой «вишня 20».* — Цветочные карты — один из видов игральных карт. Карта «вишня 20» давала играющему максимальное количество очков.

Глядя на строку Обаку... — Имеется в виду иероглифическая надпись, выполненная в стиле Обаку. Обаку — название храма, где в XVII в. возник этот стиль.

ЗУБЧАТЫЕ КОЛЕСА

Первая публикация — 1927 г., октябрьский номер журнала «Бунгэй сюндзю».

С. 640. *Ояко-дамбури* — японское блюдо из риса, куриного мяса и яичницы.

С. 641. *Каруидзава* — дорогой японский курорт.

С. 642. ...«*модан*» — имеется в виду англ. «modern girl» — «модная девица». Так в то время называли европеизированных японских девушек.

Цилинь и фынхуан — мифологические животные, встречающиеся в древней китайской поэзии.

С. 645. ...*царя из греческой мифологии, обутого в одну сандалию.* — Речь идет о Ликурге, мифологическом царе эдонян во Фракии, которого Зевс покарал безумием.

С. 646. ...*души, превращенные в деревья в Дантовом аду.* — Имеется в виду «Божественная комедия» Данте (кн. 1, Ад, песнь 13).

С. 649. «*Горная келья*» — так назывался загородный дом выдающегося японского писателя Нацумэ Сосэки (1867 — 1916).

С. 650. «*Марудзэн*» — крупнейший книжный магазин в Токио, существующий поныне.

С. 651. *Хань Фэйцзы* (280 — 233 до н. э.) — древнекитайский философ.

...*рассказ об искусстве сдирать кожу с дракона...* — имеется в виду никому не нужное, бесполезное искусство.

С. 652. *Суйко* (593 — 628) — полумифическая японская императрица конца VI — начала VII вв.

...*вспомнил медную статую перед дворцом.* — Речь идет о статуе Масасигэ Кисуноки, удостоенного такой чести за верное служение императору.

С. 656. «*Путь в темную ночь*» — роман известного японского писателя Сига Наоя (1883 — 1971), рассказывающий о разочаровании и пессимизме японской молодежи.

Сю Сюнсуй — японское звучание имени китайского ученого XVI в. Чжу Шуньшуня, переехавшего в Японию.

С. 661. *Я сейчас же вспомнил древнего грека...* — Речь идет о греческом мифе о Дедале и Икаре.

...*невольно вспомнил Ореста, преследуемого духами мщения.* —

Орест, по греческой мифологии, убийца своей матери Клитемнестры и ее второго мужа. Духи мщения – эринии – преследовали его за это.

С. 663. ...населил мир моего рассказа сверхъестественными животными. – Имеются в виду каппы – водяные из новеллы «В стране водяных».

С. 664. «Вхожу в чертог радостных птиц». – Радостные птицы – метафорическое название сорок.

С. 665. Бато-Кандзэон – один из образов буддийской богини милосердия Каннон. В этом образе она выступает богиней гнева.

СОН

Новелла написана в 1927 г. Первая публикация – «Собрание сочинений», 1958 г.

ЖИЗНЬ ИДИОТА

Первая публикация – 1927 г., октябрьский номер журнала «Кайдзо».

С. 678. Сумидагава – река, протекающая в Токио.

С. 679. Пан – по греческой мифологии божество стад, лесов и полей. Его именем было названо общество, объединившее в 1909 г. японских писателей, поэтов, художников. Пан воспринимался ими как символ полнокровной жизни.

С. 680. ...голландец с обрезанным ухом. – Речь идет о голландском художнике Ван Гоге, отрезавшем себе кусок уха.

Это ему нужно было для новеллы. – Имеется в виду новелла Акутагава «Муки ада».

С. 681. ...он читал книгу учителя. – Учитель – выдающийся японский писатель Нацумэ Сосэки (1867 – 1912).

С. 689. «Человек из Хокурику». – Под этим названием в марте 1925 г. в журнале «Мэйсэй» был опубликован цикл стихотворений Акутагава. Хокурику – северная часть острова Хонсю.

Сугзаса – плетенная из осоки шляпа в виде зонта или гриба.

С. 692. «Divan» – «Западно-восточный диван» Гёте.

С. 692. «Новая жизнь» – исповедальный роман известного японского писателя Симадзакэ Тосона (1872 – 1943).

С. 692. Франсуа Вийон (1431 – ?) – французский поэт, приговоренный к смертной казни.

С. 693. «Поэзия и правда» – автобиографическое произведение Гёте.

С. 694. Один из его приятелей сошел с ума. – Речь идет о приятеле Акутагава писателя Уно Кодзи.

Раймон Радигэ (1903 – 1923) – французский писатель.

Жан Кокто (1892 – 1963) – французский писатель, художник, театральный деятель, киносценарист, прошел через увлечение символизмом, кубизмом, сюрреализмом.

СЛОВА ПИГМЕЯ

Первая публикация – 1923 – 1925 гг., январский номер за 1923 г. – ноябрьский номер за 1925 г. журнала «Бунгэй сюндзю».

С. 697. Одна из звезд... – стихотворение известного японского поэта Масаока Сики (1867–1902).

Блез Паскаль (1623 – 1662) – французский ученый, философ, писатель.

С. 702. Сэндзю – район Токио.

С. 704. ...удар резакком – поклон. – Существовал обычай, согласно которому, когда ваялась статуя Будды, после каждого удара резакком мастер делал три поклона.

«Луньши» – древний китайский трактат о поэзии.

Гора Родзан – славится тем, что с разных точек видится по-разному, в отличие от знаменитой конусообразной горы Фудзи.

С. 705. Исигуро Тэйити – японец, с которым Акутагава познакомился в Шанхае во время поездки в Китай.

С. 706. Уильям Джеймс (1842 – 1910) – американский философ-идеалист и психолог, один из основателей прагматизма.

С. 708. Если был бы я дома... – Стихотворение из японской поэтической антологии VIII в. «Манъёсю».

С. 709. Сиддхартха – Сакья Муни, родоначальник буддизма.

С. 710. «Записки от скуки» – памятник японской литературы XIV в. Автор – монах Кэнко-хоси (1283 – 1352).

С. 710. «Любовь сильнее смерти». – Имеется в виду роман Мопассана «Сильна как смерть».

С. 710. *Боваризм* — понятие, возникшее во Франции после появления романа Флобера «Мадам Бовари» для обозначения философии этого образа.

С. 711. ...*в мире голодных духов...* — Мир голодных духов — один из кругов буддийского ада.

Скандалная история с Белой Лилией, скандалная история с Арисимой, скандалная история с Мусякодзи... — Белая Лилия — сценическое имя модной певицы, жены промышленника, сбежавшей от мужа с молодым человеком. Известный писатель Арисима Такэо (1878 — 1923) совершил совместное самоубийство со своей возлюбленной. Писатель Мусякодзи Санэацу (1885 — 1979) в 1922 г. развелся с женой и стал открыто жить с другой женщиной.

Реми де Гурмон (1858 — 1915) — французский писатель, сыгравший большую роль в истории символизма.

С. 713. *Нинамия Сонтоку* (1787 — 1856) — один из теоретиков перестройки сельского хозяйства в Японии. Его идеи получили в стране большое распространение.

С. 714. *С.М.* — Муроо Сайсэй (1889 — 1962) — японский поэт, писатель.

С. 716. ...*Лягушка, прыгнувшая в заросший пруд...* — Пересказ трехстишия Басё: «Старый пруд. Прыгнула в воду лягушка. Всплеск в тишине» (пер. В. Марковой).

С. 718. *Каибара Экэн* (1630 — 1714) — известный японский ученый-конфуцианец.

С. 720. *Луи Огюст Бланки* (1805 — 1881) — французский революционер, утопист-коммунист.

С. 723. *Сасаки Мосаку* (1894 — 1966) — японский писатель.

С. 727. *Джордж Мур* (1852 — 1933) — английский писатель, эссеист.

С. 728. *Мэй Ланьфань* (1895 — ?) — известный китайский актер.

Ху Ши (1891 — ?) — китайский философ, литератор.

Куникада Doppo (1871 — 1908) — японский писатель, поэт.

С. 729. ...*хотя персик и слива безмолвны...* — Слова из «Исторических записок» («Ши Цзи») Сыма Цяня (145 — 86 гг. до н. э.), которого называют «отцом китайской историографии».

«*Бунгэй сюндзю*» — литературно-художественный и общественно-политический журнал. Основан в 1923 г.

С. 730. *Сатоми Тон* (1888 — 1983) — японский писатель.

Ван Шанчжэн (1526 — 1590) — китайский ученый, занимавшийся вопросами литературы и искусства.

Дуньхуанские раскопки. — Речь идет о раскопках в Дуньхуанских пещерах в Китае, где было найдено огромное количество прекрасно сохранившихся произведений искусства.

С. 731. *Тосю Сяраку* — знаменитый мастер портретной живописи. Писал главным образом актеров. Его деятельность как художника длилась всего десять месяцев — с середины 1794 г. Биографические сведения о нем отсутствуют.

Огата Корин (1658 — 1716) — известный японский художник, прославившийся разрисовкой ширм.

Рутерфорд Оллок (1809 — 1897) — первый британский посланник в Японии. В 1859 г. подвергся нападению ронинов, самураев, потерявших место в своем княжестве.

С. 736. *Сафудахико* — японское синтаистское божество, отличающееся уродством.

С. 740. *Такаяма Тёгю* (1871 — 1902) — японский критик, литературовед.

С. 741. *Уно Кодзи* (1891 — 1961) — японский писатель.

С. 742. *Икэ Тайга* (1723 — 1776) — японский художник.

Огю Сорай (1666 — 1728) — японский ученый-конфуцианец.

С. 755. *Ли Тайбо* (Ли Бо, 701 — 762) — великий китайский поэт.

Тикамацу Мондзаэмон (1653 — 1724) — великий японский драматург.

Первый день первого года Сёва — 26 декабря 1925 г.

СЛОВАРЬ ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ТЕКСТЕ
ЯПОНСКИХ СЛОВ

- Акомэ* — старинная японская одежда.
Асида — деревянная обувь на высоких подставках.
Бакуфу — вначале — военная ставка командующего войсками сёгуна. Впоследствии, с 1192 г., когда сёгунат узурпировал власть в стране, бакуфу превратилось в правительство, возглавляемое сёгуном, хотя формально власть принадлежала императору.
Бива — японский четырехструнный музыкальный инструмент.
Бодхисаттва (бодисатва) — по буддийским представлениям наставник, ведущий людей к внутреннему совершенствованию. Достижение состояния бодхисаттвы — одна из ступеней к просветлению.
Бу — мера длины, равная 3 мм.
Бу — старинная монета в четверть рё, золотой монеты высокого достоинства.
Буддизм — религиозно-философское учение, возникшее в Древней Индии в VI — V вв. до н. э.
Бусидо — кодекс поведения самурая, подразумевающий в первую очередь беспрекословное подчинение старшему.
Варадзи — соломенные сандалии или полусапожки.
Вариго — небольшая перегородчатая коробка для еды.
Го — распространенная в Японии и других странах Востока игра фишками на многоклеточной доске.
Го — мера емкости, равная 0,18 л.
Гэта — японская национальная обувь в виде дощечек на высоких поперечных подставках.
Даймё — глава клана (княжества).
Даосизм — учение о Дао — Пути. Возник в Китае в VI — V вв. до н. э. Основателем считается Лао-цзы. Главная идея — следовать природе, жить естественной жизнью.
Дзабутон — плоская подушка для сидения на полу.
Дзё — мера жилой площади, равная 1,5 кв. м.

КОММЕНТАРИИ

- Дзё* — мера длины, равная 3,8 м.
Дзимму (Дзимму-Тэнно) — мифический правитель Японии, сын Бога, восшествие которого на престол в 660 г. до н. э. считается годом основания японского государства.
Дзори — сандалии из соломы или бамбука.
Дзэн-буддизм — одна из буддийских сект. Возник в Китае в VI в. Получил большое распространение в Японии, а впоследствии и в других странах мира. Главное в этом учении — мгновенное просветление, достижение истины естественным путем, а не теоретизированием.
Дзюдо — вид японской национальной борьбы.
Доно — господин (после фамилии, чина, воинского звания).
Икан — старинная придворная одежда.
Имаё — одна из форм японского стиха, состоит из двух четверостиший.
Кадзами — легкое кимоно в виде накидки.
Какэмоно — картина или каллиграфическая надпись, выполненная на полосе шелка или бумаги. Вешается вертикально.
Каммэ (*кан*) — мера веса, равная 3,75 кг.
Кан — старинная японская денежная единица.
Кана — общее название для двух видов японской слоговой азбуки: катакана и хирагана.
Каригину — короткое кимоно.
Катакана — один из видов японской слоговой азбуки. Другой ее вид — хирагана.
Кимоно — японская национальная одежда в виде халата.
Коку — мера емкости, равная 180 литрам. 1 коку риса — около 150 кг.
Конфуцианство — древнекитайская философская школа, основанная Конфуцием. Одно из главных философско-религиозных течений наряду с буддизмом и даосизмом.
Косодэ — шелковое кимоно, подбитое ватой.
Котацу — прямоугольная жаровня, вделанная в углубление в полу и накрываемая одеялом.
Кото — национальный японский тринадцатиструнный музыкальный инструмент.
Кун — суффикс, присоединяемый к имени при фамильярном обращении.
Кэн — мера длины, равная 1,8 м.
Магатама — старинное украшение из драгоценных камней, по существующему поверию обладающее магической силой.
Моммэ — мера веса, равная 3,75 г.
Мон — мелкая старинная монета.

- Му* — мера площади, равная 0,06 га.
- Мукабаки* — короткие кожаные или меховые штаны.
- Наоси* — старинная придворная одежда.
- Ниоо* — страж ворот в буддийском храме.
- Норэн* — полог, часто бамбуковый, завешивающий вход.
- Оби* — широкий пояс в виде длинного куска материи, который несколько раз обматывают вокруг талии, на женском кимоно сзади укладывают бантом.
- Рё* — японская золотая монета высокого достоинства.
- Ри* — мера длины, равная 3,9 км.
- Рэнга* — название средневекового поэтического жанра «нанизанных строф», представляющего собой экспромтный диалог двух поэтов, один из которых сочиняет трехстишие, другой — двухстишие.
- Рэнку* — поэтический жанр, именуемый рэнга-цепочка в 36 строф. В создании стихотворения, как правило, участвовало несколько поэтов, каждый из которых подписывал свою строфу последним слогом своего имени.
- Сакура* — японская вишня, отличающаяся красотой цветения, но не плодоносящая.
- Сакэ* — японская рисовая водка, как правило, пьют подогретой.
- Сасими* — тонко нарезанные ломтики рыбы или молодой говядины. Подаются с соевым соусом и специями.
- Сан* (более вежливо — сама) — суффикс, присоединяемый к имени при вежливом обращении.
- Сасинуки* — вид коротких штанов.
- Сё* — мера емкости, равная 1,8 л.
- Сёгун* — вначале это был титул главнокомандующего войсками. Впоследствии — военный правитель Японии, узурпировавший власть у императора. Правление сёгуна называлось сёгунат.
- Сёдзи* — раздвижная наружная стена японского дома в виде деревянной решетчатой рамы, обтянутой плотной промасленной бумагой.
- Синтоизм* — религия, сложившаяся в Японии и имеющая большое распространение в стране наряду с буддизмом.
- Сокутай* — старинная придворная одежда.
- Суйкан* — короткое кимоно, принадлежность официальной женской одежды.
- Сумо* — один из видов японской борьбы.
- Сун* — мера длины, равная 3,3 см.
- Суси* — удлиненные рисовые колочки с рыбой, креветками, овощами.

- Сэн* — одна сотая иены.
- Сэнсэй* — дословно «учитель». Почтительное обращение к профессору, учителю, врачу и т. п.
- Сяку* — мера длины, равная 30,3 см.
- Сямисэн* — национальный японский трехструнный щипковый инструмент.
- Таби* — японские носки из плотной белой материи, в которых большой палец отделен, чтобы можно было носить гэта, удерживаемые на ноге ремешком, проходящим между большим и средним пальцем.
- Тан* — мера площади, равная 0,099 га.
- Танка* — японское пятистишие размером 5 — 7 — 5 — 7 — 7 слогов. Одна из самых распространенных форм классической поэзии.
- Татами* — толстые маты из рисовой соломы, которыми застилается пол в японском доме.
- Тё* — мера площади, равная 0,99 га.
- Тё* — мера длины, равная 109 м.
- То* — мера емкости, равная 18 л.
- Токонома* — стенная ниша, в которой висит вертикальный свиток картины или каллиграфии, лежит меч, стоят цветы.
- Тян* — уменьшительное от сан, суффикс, прибавляемый к имени при обращении к ребенку.
- Укиёэ* — жанр гравюры на дереве в эпоху Токугава.
- Фундоси* — мужская набедренная повязка.
- Футо* — сидячая ванна и помещение, в которой ее принимают. Баня.
- Фуросики* — большой платок для переноски мелких вещей.
- Фусума* — внутренняя раздвижная перегородка в японском доме, представляющая собой решетчатую раму, обтянутую бумагой.
- Футон* — ватная перина, служащая матрасом и одеялом.
- Хайку* (хокку) — японское трехстишие размером 5 — 7 — 5 слогов. Широко распространенная в Японии форма поэзии.
- Хакама* — часть японского выходного костюма, у мужчин в виде широких штанов, у женщин в виде юбки.
- Хантэн* — рабочая куртка свободного покроя.
- Хаси* — палочка для еды.
- Хаори* — короткое кимоно для улицы, принадлежность выходного костюма.
- Хибати* — круглая угольная жаровня из керамики или металла для обогрева помещения.
- Химэ* — девушка, девочка. Присоединяется к имени.

КОММЕНТАРИИ

Хирагана — один из видов японской слоговой азбуки. Другой ее вид — катакана.

Хифу — короткое женское кимоно.

Эбоси — старинный мужской головной убор знатных японцев.

Юката — легкое домашнее кимоно.

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

АКУТАГАВА РЮНОСКЭ

ВОРОТА РАСЁМОН

НОВЕЛЛЫ

Редактор Н. Любимова

Художественный редактор М. Суворова

Технический редактор Н. Носова

Компьютерная верстка Е. Мельникова

Корректор М. Мазалова

ООО «Издательство «Эксмо».
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел.: 411-68-86, 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Подписано в печать 09.03.2007.
Формат 84×108^{1/32}. Гарнитура «Нью-Баскервиль»
Печать офсетная. Бумага тип. Усл. печ. л. 42,0.
Тираж 5000 экз. Заказ 7312.

Отпечатано с электронных носителей издательства.
ОАО «Тверской полиграфический комбинат». 170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.
Телефон: (4822)44-52-03, 44-50-34. Телефон/факс (4822)44-42-15
Home page - www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru

